Г. Адамович

георгий **АДАМОВИЧ**

«КОММЕНТАРИИ»

T. Agouthan

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ГЕОРГИЙ **АДАМОВИЧ**

КОММЕНТАРИИ



Санкт-Петербург 2000

УДК 882+882.09
ББК 84(2Рос)6+83.3(2)
А28

АДАМОВИЧ Георгий Викторович
А28 Собрание сочинений. «Комментарии» / Сост., послесл. и примеч. О. А. Коростелева. — СПб.: Алетейя, 2000. — 757 с.

«Комментарии» — лучшая книга известного эмигрантского поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), его литературное завещание.

Эту выдающуюся книгу Адамович писал на протяжении полувека. В настоящее издание помимо 83 фрагментов канонического текста (Вашингтон, 1967) включены все 224 фрагмента, опубликованные в эмигрантской периодике с 1923 по 1971 год.

ISBN 5-89329-242-1





КОММЕНТАРИИ

Эта книга составлена из заметок и статей, написанных в последние тридцать—тридцать пять лет. Бóльшая их часть была помещена в различных изданиях под общим заглавием «Комментарии».

Заметки на первый взгляд разрознены, и связи между ними нет. Как ни трудно человеку о себе самом судить, впечатление это представляется мне поверхностным и ошибочным: связь есть, а если читатель не в силах ее уловить, значит, автору, к сожалению, не удалось сказать то, что сказать он хотел, с необходимой отчетливостью.

В книге попадаются повторения, немало в ней и противоречий, в особенности когда речь возникает о поэзии. Оставил я их умышленно, считая, что не к чему искусственно сглаживать написанное на протяжении долгих лет, порой с очень большими промежутками. Именно единство или по крайней мере родство тем делают естественным и даже неизбежным возникновение иной, новой их разработки: на одной странице надо было оттенить то, что оставалось не ясно, на другой — дать место тому, что было забыто.

Хронологический порядок заметок кое-где нарушен. Мне казалось это нужным для внутренней цельности книги, — так же, как и включение в нее трех статей, помещенных в конце.

Париж, 1967

Г. А.

КОММЕНТАРИИ

I.

После всех бесед, споров, недоумений, надежд, гаданий, обещаний, после евразийства, после русского шпенглерианства, вспыхнувшего и погасшего в берлинских и парижских кофейнях, после всех наших крушений, когда, как ни разу еще в памяти нации, оставался человек один, наедине с собой, вне общества и лишь с насмешливо-ядовитым сознанием, что вот и вне общества можно еще существовать, любить, думать, жить, — все-таки и после всего этого не поздно и нелишне повторить, что главный для нас, общерусский вопрос, над личными темами, есть вопрос о Востоке и Западе, о том, с кем нам по пути и с кем придется разлучиться: Россия — страна промежуточная. И конечно, этот вопрос, будучи главным везде и всегда, остается главным и в литературе. Ответа еще нет, но все, что мы теперь предпринимаем, во всех областях, есть подготовка материала для решения, составление «дела», «досье», где время наведет порядок.

А все же, так или иначе, Россия должна бы остаться Россией, с единственными своими чертами, с тем, чему она нас научила и от чего не отречемся мы никогда. С тем, что должны бы мы передать нашим детям, внукам, правнукам.

Как долго, годами, десятилетиями, обольщались мы насчет Европы! «Дорогие там лежат могилы». Действительно, дорогие, этого забыть нельзя. Хорошо и верно, Иван Федорович, говорили вы об этом своему младшему брату, послушнику. В Европу, на Запад, нас несло почти что на крыльях любви. И вот, донесло. И после всех наших скитаний, без обольщения и слезливости, со свободной памятью, спокойно, уверенно, говоришь себе: сладок дым отечества. Все серо, скудно и, Боже мой, до чего захолустно. Но уверенно, ответственно, учитывая последствия и выводы, хочется повторить: сладок дым отечества, России.

Не потому, что это — отечество, а потому, что это — Россия.

II.

Как бы об этом сказать? Бывало в рассказах, в одном из толстых журналов. Вечер. Станция, где-нибудь в средней полосе России. Поезд только что прошел. Станционная барышня еще гуляет взад и вперед, вполне традиционная: шестнадцать лет, косы, мечты. Пожалуй, еще и березки, непременно «чахлые», за палисадником, непременно «пыльным». Ждать больше нечего.

Это, разумеется, должно было быть в восьмидесятые или девяностые годы, в «безвременье». Знакомо так, что незачем и вглядываться, а кому не знакомо, тот действительно ничего «не поймет и не заметит». Здесь почти все пелены уже прорваны, жизнь наполовину призрачна. Это русская глушь, переходящая в елисейские тени. Все белое

и черное, как в монастыре. (Сюда же: позднее, безнадежное народничество, безнадежная музыка Чайковского, выветривающиеся «идеалы»...)

Но долго длиться это не могло. Что-то должно было произойти — и произошло.

III.

А. говорил мне: — Какие должны быть стихи? Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле и вдруг взлетали... если и не высоко, то со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось. Чтобы входило, как игла, и не видно было раны. Чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня оставил?», и вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, «последний ключ», от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками.

В дополнение: любопытно, что теперь наши поэты все больше клонятся к тому, чтобы уподобиться ангелам за счет естества человеческого. Им душен воздух земли, и поднять весь человеческий груз им очевидно не по силам. Они и сбрасывают его, после чего беспрепятственно добираются до мнимых небесных сфер. Но но старинному глубокомысленному преданию человек больше ангела. «Гете был пошляк!» — воскликнул в запальчивости и раздражении, на многолюдном парижском собрании, один из старых ангелических русских

писателей, верно улавливая отталкивание, но с ужасающим кощунством в порядке истинной иерархии ценностей.

IV.

Конец литературы.

Книги, конечно, никогда не перестанут выходить, их всегда будут читать, разбирать, хвалить, критиковать. Но речь вовсе не о книжном рынке, хотя бы и самом изысканном, самом «культурном», а о том, что может смутить сознание писателя.

По самой природе своей литература есть вещь предварительная, вещь, которую можно исчерпать. И стоит только писателю возжаждать «вещей последних», как литература (своя, личная литература) начнет разрываться, таять, испепеляться, истончаться и превратится в ничто. Может убить ее ирония. Но вернее всего убьет ее ощущение никчемности. Будто снимаешь листик за листиком: это не важно и то не важно, это — пустяки и то — всего только мишура. Листик за листиком, безостановочно, безжалостно, в нетерпеливом предчувствии самого верного, самого нужного... которого нет. Есть только листья, как в кочане капусты. Едва пожелаешь простоты, как простота примется разъедать душу серной кислотой, капля за каплей. Простота есть понятие отрицательное, глубоко мефистофельское и по-мефистофельски неотразимое. Как не хотеть простоты, но и как достичь ее, не уничтожившись в то же мгновение? Все не просто, простоты быть не может. Простота есть ноль, небытие. «Я — ко-

нечно, я воображаемый — еще могу написать то, что все вы пишете, но я уже не хочу этого. И пусть не намекают мне с сочувственной усмешечкой на бессилие: умышленно, сознательно предпочитаю молчание».

Возможно и другое объяснение, пожалуй, более наглядное: литература принуждена выбирать случайную тему, случайные образы, то есть одного человека из миллионов, не схему, а личность. Если же случайного, то есть игры, я избегаю, литература гибнет. Представим себе круг с радиусами. Литература — на концах радиусов, где поле необозримо, где манят и мерцают тысячи тонов, ритмов, случаев, сюжетов, настроений. Удача выбора, оправданность его посреди всей этой сложности и есть свойство таланта, и чем безграничнее материал выбора, то есть чем дальше скольжение по радиусам, тем в творчестве больше радости, а в игре больше свободы. Но иногда возникает желание: спуститься к центру. («Не хочу пустяков, хочу единственно нужного».) И поле неуклонно суживается, радиусы стягиваются, выбор уменьшается, все удаленное от центра кажется поверхностным, все одно за другим отбрасывается. Человек ищет настоящих слов, ненавидя обольщения, отказываясь от них неумолимо-логическими в своей последовательности отказами. И вот, наконец, он у желанной цели, он счастлив, он у центра. Но центр есть точка, отрицание пространства, в нем можно только задохнуться и умолкнуть. Настоящих слов в языке нет, а передумывать и перестраиваться, — бить отбой, — поздно, да и невозможно.

В духовной биографии Пушкина кое-что именно так становится понятно. Пушкин ссыхался, затихал в тридцатых годах, и не только Бенкендорф с Натальей Николаевной были тут повинны. Пушкина точил червь простоты. Не талант его иссякал, вопреки предположению Белинского, — конечно, нет! Но, по-видимому, не хотелось ему уже того, чем этот талант прельщался раньше, мутило от неги и звуков сладких, претил блеск. Что было бы дальше, останься Пушкин жив, как знать? — но пути его не видно, пути его нет. В последних, чудесно зрелых стихах нет даже и попытки что-либо от себя и других скрыть. Оставалась проза. Но кто с таким даром уже соскользнул со ступеньки на ступеньку, мог бы докатиться и до конца. Это — к великой чести Пушкина, как и всех, кому мерещится «непоправимо белая страница», после чего еще можно жить, но уже нельзя писать. (Рембо — одна из снеговых вершин французской литературы, внезапно променявший поэзию на коммерцию, а вместе с ним, наверное, и другие, оставшиеся нам навсегда неведомыми, устоявшие перед соблазном литературной удачи и славы.)

V.

За что вы любите Толстого? Вопрос задан был мне с оттенком недоверия в голосе. Ответив уклончиво, я задумался. За что? Узко-эстетически, в плоскости «нравится», мне все-таки не все у Толстого нравится. Язык? Да, конечно, язык у него несравненный, но нельзя же любить Толстого за язык, это ведь не Лесков. Ощущение жизни? Да,

но по давним декадентским воспоминаниям, от которых мне трудно отделаться, оно мне чуждо. (При всем желании не говорить о себе, этого не избежать, когда хочешь сказать что-нибудь не совсем общее. Убрать себя со своей дороги нельзя. Здесь «я» не цель, а средство, не объект, а призма. Приходится это объяснять во избежание «досадных недоразумений», устраивать которые всегда найдутся добровольцы-любители.) Многое другое перебирал я, но, признавая «да и это», все же чувствовал, что главное обхожу.

Помогла случайность, мелочь. Конечно, это не было открытие: просто я по-новому понял то, что знал и раньше. Попался мне на глаза номер «России и славянства», юбилейный, ко дню «русской культуры». Чудовищный номер по количеству торжествующе-самодовольной фальши, густо залившей его юбилейные страницы! О бальмонтовском переводе «Слова о полку Игореве» не стоит говорить, да этот нелепый «перевод» и не относится к делу. Но рядом, со всех сторон, особенно на первой странице, русская культура, русская государственность, заветы Петра, традиции Сперанского, наша миссия в эмиграции, наш долг перед родиной, Пушкин, Достоевский и Суворов, даже Суворов... И ни разу, нигде — имени Толстого! Как это хорошо! Как хорошо, что имя его невозможно... нет, не в этом ряду, а в этом контексте! Как хорошо, что нельзя устроить ко «дню русской культуры» собрание в зале Трокадеро, посвященное Толстому, а если устроить, то получится такая ложь или такой конфуз, что горько придется устроителям раскаиваться. А ведь Толстой — это все-таки Россия, только не

такая, какой представляет ее себе редактор «России и славянства». Что говорить, и Пушкин в действительности не тот, что у Петра Струве, и даже Достоевский не тот, но они беспрепятственно поддаются стилизации, они безропотно участвуют в сусально-патриотическом маскараде, и даже соседству с Суворовым не очень удивляются. А в Толстом правдивость так сильна, что его не сломаешь. Он и после смерти «не может молчать», и поэтому на юбилейном торжестве с демонстрированием наших национальных слав лучше и благоразумнее сделать вид, что его в России никогда и не было.

Повторяю, это мелочь. Ну что такое какая-то парижская газетка, что такое «день русской культуры» с речью профессора Кульмана и хористками в кокошниках? Но Толстой всюду таков, в великом и в малом.

Надо бы нам условиться, что без него русской культуры не будет, — хотя и не совсем еще ясно, как его в какую бы то ни было культуру включить. Но лучше хоть что-нибудь с ним — и, значит, без бутафории, — чем любое благоустройство, будто бы его «преодолевшее» и успокоившееся на Суворове.

VI.

В судьбе и деятельности Толстого одно обстоятельство смущает.

Им владела навязчивая идея, будто в каждом человеческом поступке, в каждом слове есть доля лицемерия. Он вскрывал это лицемерие с неутомимой настойчивостью, доходя до ясновидения и усматривая ложь там, где никто никогда ее не за-

мечал. В сущности, это его главный художественный прием, тот, которому он больше всего остального обязан репутацией «сердцеведа». Он и в самом деле знал людей, как никто. Но не случалось ли ему твердить будто по инерции: «Ложь, фальшь, притворство!», когда никакой лжи не оставалось? Ему верили потому, что он обладал неотразимой, гипнотической убедительностью. Но это была скорей маниакальная подозрительность, чем зоркость.

В лицемерии он готов был заподозрить и Бога, каким представила его церковь. Он отверг обрядность, ибо «зачем это Богу нужно?». Неужели, если Бог есть Бог, требуются Ему какие-то ухищрения, штучки, фокусы, неужели нельзя обращаться к Нему просто, как бы «с глазу на глаз», без проводников и посредников? Цепь необходима в спиритизме, для вызова духов, но неужели нужна она и всемогущему Богу? Затем, неужели Богу не противны славословия, воскурения фимиама? Ведь вот даже ему, слабому человеку, Толстому, это противно, и, лишь по слабости своей иногда этим наслаждаясь, он знает и чувствует, что наслаждаться нечем. Зачем нужна Богу вера в Него? Богу должны быть нужны только дела. Религия Толстого вся вышла из этого ощущения, при всей своей прямолинейности чрезвычайно значительного, чрезвычайно серьезного, вопреки обличениям, бóльшей частью малосерьезным. Есть вообще в облике Толстого, — как в позднем протестантстве, — какое-то глубоко человечное, очищающее и честное величие. Но, требуя от Бога прямоты, он отдалил от Него людей, подорвал веру в Бога. Толстовский Бог неуловим, и доступа к Нему нет.

Так путь к правде оказался путем к небытию... Не ошибся ли Толстой в расчете? Не бросил ли он вызов вместе с «цивилизацией» и всему мировому строю, в котором доля условности должна быть допущена? Может быть, Богу нужны обряды? Может быть, Богу нужны догматы? Толстой с этим никогда не согласился бы, но как знать? — не остался ли он в ужасном и безысходном одиночестве, без опоры, без поддержки именно там, в тех высших, небесных духовных сферах, где он уверен был опору и поддержку найти?

VII.

Есть древняя легенда, которую, вероятно, все знают. Но, зная, будто сложили на полочку, где лежат и прочие «ценности»: для обозрения в часы досуга.

Бог не создал мира, не хотел создавать его. Мир вырвался к бытию помимо его воли, из его полноты, рискнул пожить за свой страх, на авось, на будь что будет. И вот выясняется, что ровно ничего не «будет». Смерть непобедима, несчастья и страдания неустранимы, их будет все больше и больше на «пути прогресса», потому что пути нет, прогресса нет и всякое «вперед» есть только дальнейший прыжок в пустоту, без малейшей надежды на что-либо опереться, чего-либо достичь.

Конечно, это удивительное сказание, с удивительными выводами, которые сами собой из него возникают, не для всех на «полочке ценностей». Оно многих измучило, но его следовало бы предложить на ежедневное размышление всем людям

в качестве «пробного камня» внутреннего опыта, как духовное упражнение. Опровергается оно только изнутри, не умом, а каким-то согласием со всей жизнью, «солидарностью» с ней до тех ее слоев, которые невозможно заподозрить в своеволии. Однако сомнение остается. А что, если все это обман, иллюзия — эти слияния с природой, эти летние полдни, когда все видимое, окружающее так спокойно и счастливо и почти одушевленно приглашает человека к покою и счастью, — что, если все это обман?

Закаты не обманывают, — куда они зовут? Поэзия не обманывает, — о чем она? Откуда она и куда?

Отчего в шестнадцать лет, на пороге жизни, человеку всегда так безотчетно-тревожно, отчего так понятны ему закаты, так близка ему поэзия, будто именно у «порога», «оттуда» его в последний раз призывают оглянуться, возвратиться, одуматься? А потом человек становится инженером, поступает в банк и уж до самой смерти ни на что не оглядывается... И вот в душу закрадывается соблазн, поистине последний: не надо ли «погасить мир», то есть на это работать, потому что всякое подлинное «вперед» идет лишь по направлению назад, а если упорствовать и заниматься «строительством» в любом стиле, в любом вкусе, то никогда ничего, кроме умножения бедствий, не получится? «Могий вместити...» Принципиальные, прирожденные оптимисты ничего не подозревают, «вперед без страха и сомнения», и точка! Опыт их не имеет никакого значения ни в жизни, ни в искусстве, потому что они просто-напросто не знают

в чем дело, «не подозревают». Если им растолковать, они ответят: «Полноте, батенька, чепуха-с!» (Оттого этот человеческий склад, «батенька» и прочее, во всех его современнейших разновидностях, невыносим до дрожи, до тошноты, как кощунство. И рядом так хороша «задумчивость».) Но тот, кто услышал, уловил «голос оттуда» и справился с ним, действительно достоин быть учителем человечества. Если даже все остается гадательным, лучше наугад решить «да», чем наугад сказать «нет», а здесь, в этом случае, не только лучше, а мужественнее, прекраснее, милосерднее, не знаю, как выразиться еще...

В сущности, в этом «да» все таинственное обаяние Гете. Другие или не все расслышали, или — как русская литература, кроме Пушкина, — не окончательно справились.

VIII.

Тайна писательства, по-видимому, заключается в ощущении веса слова. Не только в составлении фразы, где тяжесть имеет огромное значение и при даровитости пишущего интонационно приходится там, где поддержки требует смысл. Не только в способности согласовать это распределение веса с естественным течением речи.

Но еще и в том — больше всего в том, — что слово падает на точно предчувствуемом (нельзя было бы сказать «точно отмеренном») расстоянии, не давая ни перелета, ни недолета, описывая ту кривую, которая ему предназначена. Слишком близко — оно безжизненно, слишком далеко — оно пусто, и от-

того, пожалуй, настоящие писатели так редко бывают многоречивы, что напрасное разбрасывание слов им претит. Безошибочность же первоначального «толчка», если и не всегда требует вдохновения, есть результат напряжения всего существа — ума, сердца, воли. «Набить руку» тут нельзя.

Сейчас почти никому не даются стихи. Два-три имени, и конец. Найдется ли и два-три? Если продолжить ту же метафору, похоже, что потеряна из виду линия, на которой слово должно падать. Линия стерта, затоптана, и ни талант, ни техника не помогают: слова падают то слишком далеко, то слишком близко. «Пишите прозу, господа», — сказал когда-то Брюсов. «Пишите прозу, господа», — говорит сейчас поэтам само время. Дайте стихам отдохнуть, как дают отдохнуть земле.

IX.

Годами, годами думает человек о том, что хотел бы написать, а именно этого никогда и не напишет.

«Прощание с Вагнером». Не сомневаюсь, страница останется пустой, навсегда, «средь всякой пошлости и прозы», благополучно и беспрепятственно, из-под того же пера, укладывающихся на бумагу.

Вагнер. Имя незаменимое, хоть и вызывающее досаду. Свет сильнейший, но не вполне чистый. Волшебство, огромным усилием воли достигнутое, но без первичной благодати. Вагнер... да, да, театральщина, романтизм, звуки, оказавшиеся все же чуть-чуть беднее, чем нам казалось... да, да, дважды два четыре, Волга впадает в Каспийское море.

Но, как будто сходя с лестницы, на последней ступени, с которой еще виден «весь горизонт в огне», перед тем, как перестать оглядываться, перед тем, как пойти вместе с другими в общий путь в общих тесных рядах, перед всем этим — привет, поклон, благодарность! Вагнер — наша круговая порука, будто одним только нам и было понятно, о чем вспоминает Зигфрид перед смертью. Вагнер — таран, пробивший главную брешь, Вагнер — залог, «может быть, залог». Пусть и старый фальшивомонетчик, пусть, возможно, — как знать, может быть, Ницше и прав, да и в чем, кроме мелочей, Ницше когда-либо ошибался? — но за фальшивые ассигнации нам-то выдано было чистое золото. Прощание с тем, что мы сами уже еле-еле различаем, что «в ночь идет», что «плачет уходя». Прощание с тем, что кружило голову Андрею Белому, с тем, что знал бедный, мало кому уже ведомый Иван Коневской, написавший несколько таких вещих строк о вечернем небе на севере, над валаамскими куполами и соснами, в сравнении с которыми на истинных весах поэзии мало чего стоят десятки отличных поэм, со смелыми образами и оригинальными рифмами. Прощание, смешанное с надеждой, с предчувствием новой встречи, когда-нибудь, где-нибудь.

X.

После доклада Бердяева.

Утверждение, что именно «красота спасет мир», что без красоты мир спасен быть не может.

А не сжимается ли сердце в сомнении и страхе оттого, что красотой, может быть, придется

пожертвовать? Красота аристократична — я едва не написал реакционна, — и по связям своим, в родственном своем окружении, она социально порочна, — и как остро, как безошибочно верно чувствовал это Константин Леонтьев, человек эстетически-гениальный, но морально-безумный, как остро, как безошибочно чувствовал это Толстой, человек морально-гениальный и именно потому-то, именно в силу этого-то стремившийся к эстетическому нигилизму, принявший его как вериги! Красота исключает равенство, и пускай Леонтьев вкупе с Достоевским сколько им угодно издеваются: не равенство, мол, а «всемство», — от игры слов сущность дела не изменяется. Красота, создаваемая одним человеком, требует молчания, подчинения, невольной, бессознательной жертвы со стороны ста тысяч других, лежащих под ней навозным удобрением. Красота возникает от пестроты мира, от игры света и теней, от скрещения бесчисленных лучей в одной точке, а если свет распределить равномерно, она иссякает... «Анна Каренина»: Толстого сочли умственно ослабевшим, когда он отверг свое художественное творчество, а ему ведь было стыдно, что в то время как обворожительная Анна в бархатном черном платье пляшет на московском балу, какие-то люди, такие же люди, как она, по тому же образу и подобию созданные, моют на кухне грязные тарелки. И на это, на праведность этого стыда нечего возразить. Красота? Дело даже не в бархатных платьях или подоткнутых грязных подолах, дело в том, что Анна не могла бы так изящно любить и мучить Вронского, не носи она этих платьев с детства. А если все рав-

ны, если все имеют право на то же самое, то бархата на всех не хватит, и придется нам остаться с грязными подолами во всех смыслах, дословном и переносном.

Как трагичен этот вопрос. В какую глубь уходит он корнями. К каким отказам и отречениям мало-помалу ведет. Но можно ли без кощунства произнести слово «Бог» или хотя бы только слово «культура», если усомниться хоть на миллионную долю секунды, что все равны, что в доступе к духовным и жизненным благам все должны быть сравнены, какой бы ценой ни пришлось за это платить.

XI.

Как можно не видеть, что христианство уходит из мира!

Доказательств нет. Но ведь не все же надо доказывать. Достаточно вглядеться повнимательнее: позднее утро сейчас, солнце взошло уже высоко, и все слишком ясно для общих восторгов, испугов и надежд. Тайна осталась на самых низах культуры, иногда на самых верхах ее, но в воздухе ее нет, и нельзя уже навязать ее миру. Будет трезвый, грустный день[1].

[1] Это писано лет тридцать пять тому назад, и теперь, после долгожданного оживления Церкви, после Папы Иоанна и Второго Ватиканского собора, это может показаться ошибочным. Дай Бог, чтоб ошибочным это и было! Но не оттого ли Церковь и очнулась от забытья, не оттого ли содрогнулась, что опасность стала слишком уж очевидной и близкой?

Мережковский кричит: «Кем же надо быть, чтобы оставить Его в эти дни?». Увы, увы, это лишь полемический прием, один из тех, без которых в таких делах лучше бы обойтись. Ответ несомненен. Кем надо быть? — подлецом. Возражающий посрамлен и умолкает. Но дело не в оставлении «Его», не в личном предательстве, о нет: можно быть верным, не надо быть слепым, можно ужаснуться грядущей пустоте в душах, бессмысленно все-таки ее отрицать. И честнее, мужественнее подумать: чем же пустоту заполнить? «Что делать нам и как помочь?» Мережковский брезгливо упирается, опасливо прячет голову в подушку, сочиняет как ни в чем не бывало новые догматы: старых ему, очевидно, мало. От уверенности, что обладает истиной, он-то, может быть, и предает ее: в темных углах, по одиноким душевным убежищам еще прячется она, отступая, бросая все за собой, и не до догматов ей! Страшно сейчас христианину в мире, страшнее, чем было на аренах со львами, — тогда все рвалось вперед, а сейчас впереди ничего. «Осанна сыну Давидову»: последние пальмы, последние слабеющие руки тянутся вслед Ему, и уж какие тут догматические увещания и споры, будто на вселенских соборах, если исчезает дух, тема, образ.

«Мы свой, мы новый мир построим». Лично — отказываюсь (не о себе: «я» предполагаемое). Остаюсь на той стороне. Но не могу не сознавать, что остаюсь в пустоте, и тем, другим, «новым», ни в чем не хочу мешать. Хочу только помочь. Удивительно, что Мережковский не захотел понять потустороннего риска христианства и, пристыдив

подлеца-собеседника насчет «оставления Его», не заметил, что даже и в религиозном плане, с допущением проникновения во всякую мистику и метафизику, ставка христианства может быть проиграна. Ибо в конечном счете «подлец» говорит: «Не люди — Бог против Него, не может быть, чтобы сотворивший мир хотел испепелить его, не может быть, чтобы этот вызов всему всемирному здоровью или благополучью был в согласии со всемирной жизненной волей...» И так далее. И тут же евангельские цитаты: блаженны нищие, — отчего именно нищие? блаженны плачущие, — отчего только плачущие? отчего вообще блаженны неудачники? И непонятный, навсегда непонятный рассказ о блудном сыне, окончательно, если вдуматься, взрывающий все вверх дном! И богатый юноша, который не случайно же «отошел с печалью». И наконец, последнее: «Кто не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»! Одиночество Христа тут и обнаруживается вполне. Не люди оставляют Его: природа, мир отказываются подчиниться Ему. Последний, предсмертный стон на кресте: «Боже мой, Боже мой...» еще не утратил значения, и если уж быть Ему верным, то «нельзя в это время — то есть до конца дней — спать», как дрожащей от волнения и любви рукой писал Паскаль. Надо согласиться на все: даже и умереть с Умершим.

Не опровергнуто христианство, конечно. Но испускает дух, выдыхается, изошло за два тысячелетия всеми своими силами и всей страстью. Сей-

час мы смотрим *вслед* ему — смотрим, и не можем оторвать глаз. «О, свет вечерний!» Единственный свет, никогда такого не было, надо бы на колени стать, провожая его.

Но слепота ничему не поможет. Даже и подумать нелепо, чтобы сейчас можно было опять вдохнуть его в кровь человечества и, например, поднять какие-нибудь новые крестовые походы. Кровь по-другому кипит теперь, о другом кипит. Сейчас люди лишь до-любливают это, до-веровают, до-думывают, и если в некоторых душах христианство действительно будет (или должно бы) жить вечно, то лишь в разбитых и растерянных душах, таких, которых жизнь хорошенько потрепала перед этим. В выбывших из строя, словом. Тогда они вспомнят «блаженны нищие» — и поймут. Удивительна в Евангелии именно эта победа над безнадежностью: нет положения, из которого, по Христу, не было бы выхода, нет «дна» вообще. В этом смысле — нет смерти.

Кстати, у Мережковского приведено незаписанное, отвергнутое Церковью изречение, — в дополнение к тому, известному, что «если двое соберутся во имя Мое...»:

— Где и один человек, Я с ним.

Будто торопливая, запоздалая поправка, в ясновидящем и милосердном понимании того, что бывает иногда человеку нужно. Церковь должна была эту поправку отвергнуть: она подрывает самое ее основание. Но все очарование христианства в этих словах. Нечего больше сказать.

XII.

Веяния подлинности. — Наука, признавая существование Христа, почти ничего о нем не знает. «Он неуловим», — заметил недавно осторожный Рейнак. То же утверждает Луази.

Но избыток осторожности умерщвляет самую возможность знания. Случается, перечитывая Евангелие, останавливаешься и, пораженный, говоришь себе: этого не могло не быть! Есть у всех четырех евангелистов такие «проблески», в особенности у Марка. Читаешь в сотый раз, почти ничего уже не видя, и вдруг каждое слово становится по-новому ясно.

Рассказ о крестной смерти: «В девятом часу возопил Иисус громким голосом: “Элои, Элои, лима савахвани!”, что значит “Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил!”. Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: “Вот зовет Илию”».

То же повторено у Матфея.

Невероятно! Как мог я столько лет читать и знать это, ничего не замечая! Ведь если этого не было на самом деле, в простейшей и реальнейшей действительности, то кому же надо было сочинять эту подробность относительно «некоторых», может быть, тугих на ухо, которые не расслышали и сказали: «Вот зовет Илию». Можно ли у литературно-простодушного Марка предположить такой профессионально писательский опыт, чтобы выдумать этот «штрих», ни для чего абсолютно не нужный, кроме как для беллетристической живости, которую он не мог же ценить! Ведь так сочинять впору умелому теперешнему бытовику, Тригорину какому-нибудь... Значит — было. Марк не заботится о кар-

тинности. Марк записал то, что знал: эпизод, почти анекдот, не имеющий никакого значения, как собирал и другое. Значит, было, все было: по одному слову убеждаешься в целом.

XIII.

Он говорил с людьми решительно обо всем. Но Он ни разу не сказал им, что надо быть честными. Нагорная проповедь, заповеди блаженства. Представьте себе в них: «Блаженны честные». Невозможно! Будто какой-то барабан вторгается в райские скрипки: все меркнет, все проваливается и умолкает. Невозможно!

Но Рим и здесь одержал над Ним победу. От всяческих римских Муциев Фабрициусов, которые вместе с конем и, конечно, в полном вооружении бросались со скалы, если были «обесчещены», идет прямая соединительная нить к какому-нибудь нашему седоусому, грозноокому орлу-полковнику, который, не моргнув, подсовывает своему набедокурившему сыну револьвер:

— Иди, застрелись. Это твой последний долг.

И потом гордо и страдальчески, с облегченной совестью смотрит «прямо в глаза» обществу, которое почтительно восхищено. Это Рим в чистейшем виде, в самом высоком виде его. От Христа здесь не осталось ничего, и хотя наш полковник, вероятно, ходит по воскресеньям к обедне и лобызает золотой крест, выносимый его приятелем-батюшкой, все-таки он душой всецело с Цельсием, со всеми теми, кого ужаснуло когда-то христианство как безумие и ужас. Если бы ему это сказали, он

удивился бы, ибо привык чтить все установленное веками: как же ему враждовать с церковью? Глухой, длительный, кропотливый реванш Рима произошел негласно, «под самым носом» церкви, при ее попустительстве или в редчайших случаях под ее беспомощные, грустные вздохи. Надо было вновь укрепить и скрепить расшатывавшийся мир, нельзя было признать, что над идеалом общественно нужным вознесен идеал общественно неясный и опасный. «Долг выше всего, честь выше всего». Человек нашего времени повторяет это как непререкаемую истину. Даже если он не в силах этим принципам полностью следовать, то не позволяет себе в них усомниться и в безмятежном неведении своем опять толкает забытого, мнимо чтимого Учителя на «второе пропятие».

По Христу, все это несущественно. Он не против, но Ему некогда о таких вещах думать. «Воздадите кесарево...» Да, конечно. Но это наверное не выше всего. Разбойник, которому обещан был рай, честным не был.

XIV.

Из писем А.

Тема Пушкина не дает мне покоя. Вернее, тема «Пушкин». Тема искусства. Бывает, мне хочется погрозить ему кулаком — «ужо тебе!», как Евгений Петру в «Медном всаднике». А потом принимаюсь читать — и мало-помалу все забываю, сдаюсь.

Чудный и грешный поэт, «несчастный, как сама Россия», по чьему-то верному — не помню, кто сказал, — слову. Непонятно, когда это успели

накурить ему столько благонамеренного фимиама, что за дымом ничего уже и не видно. К фимиаму большинство и льнет: удобно, спокойно. «Поклонник Пушкина, но человек неглупый...» — эту фразу я написал как-то само собой, не сразу заметив ее парадоксальность.

Иногда представляешь его себе, — схематически, так сказать: страшный оскал негритянских, сияющих зубов, не то в усмешке, не то в предсмертном изнеможении, и безвоздушное, черное пространство вокруг, без всяких Богов и утешений. О, как тяжело ему жилось!

XV.

Кто-то вполголоса запел в соседней комнате:

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была...

Вот услышал я эти строчки и, простите, друг мой, если сентиментально, едва не заплакал, застигнутый врасплох, не успев вовремя душевно защититься. Не могу без слез этого и читать и слушать. Есть вообще в двух последних главах «Онегина» такая для меня пронзительная, улетающая и грустная прелесть, что не могу ее выдержать. «Пушкин, Пушкин, золотой сон мой». Но послушайте, вот, — это слишком хорошо, и поэтому жизнь уже не вмещается в это. Оттого и грусть. Не уверен, что правильно здесь сказать «поэтому». Но жизнь рвется мимо мутным, тепло-рвотным, грязно-животворящим потоком, и я все-таки хочу быть с ней, несмотря ни на что, превозмогая ино-

гда отвращение, и зная, что обратно ее в былую стройную прелесть вогнать нельзя: уже другие элементы вошли в игру, уже явственно звучит другая музыка, и я хочу быть с ней! Поймите, мне иногда мечтается новый «Онегин». Для разума моего он еще невозможен, не могу себе представить его, но сердцем жду: опять все пронизать такой же гармонией, найти всему имя и место, упорядочить данные мира, одно к одному, — и не так, как теперь, не реакционно-музейно, жмурясь от одинокого наслаждения, вдыхая аромат полуувядшего цветка, а всем существом своим чувствуя влагу, еще идущую от земли.

Отсюда переход. Не удивляйтесь резкости скачка, но я всегда об этом, почти только об этом и думаю. Вернее, сразу думаешь обо всем, вместе с поэзией. Ну вот, скажу сразу, банальнее банального: «Вперед без страха и сомнения». Или со страхом и сомнением, но все-таки вперед. И не то что «да здравствует Москва», нет, о нет, — но да будет то, что будет, то, что должно быть. Не от пассивно-мечтательного безволия моего говорю это, а от морального — насколько оно мне доступно — ощущения времени и бытия. В прошлом было благолепие... Были ли вы когда-нибудь в Версале, зимой, в сумерках, бродили ли по пустым аллеям его? Это — как «Онегин», потому что здесь жизнь тоже достигла какого-то острия своего, какой-то завершенной формы, и исчезла. Но я от благолепия отказываюсь, отрываю от сердца любовь к нему, потому что, сколько ни вглядываюсь, не вижу других оснований к нему, кроме тьмы. Благолепие держалось на тьме: на выбрасывании всяких

шестерок и двоек из колоды, на беспощадном, ювелирном выборе и просеивании материала. Защитники «прекрасного», эстеты истории хорошо это знают, и если революцию они ненавидят с оттенком презрения, то не столько за казни и грабеж награбленного, сколько за прорыв плотины. Но, друг мой: да будет то, что будет.

XVI.

Когда-то Александр III заметил, что кухаркиных детей не следовало бы пускать в университеты.

По всей вероятности, с его стороны это было лишь брезгливое брюзжание: полвека спустя еще видишь всю сцену, хорошо знакомую по общей российской атмосфере, еще слышишь скрип тяжелого высочайшего пера, накладывающего «резолюцию». Но инстинкт самосохранения сказался здесь в полной мере, заменив проницательность ума.

Безошибочный, неумолимый расчет: увеличение знания, распространение его в ширину должно было неминуемо привести к «потрясению основ». Не только блекнул ореол царского помазанничества, священного уже только для некоторых чистосердечных чудаков или для толпы бессовестных публицистов (вспомните «Новое время» в 1917 году), но и вставал вдалеке, за всяческими свободами, призрак социального переворота. Всем все разделить поровну: едва только человек поймет, что он имеет на такой дележ право, — а не понять этого он рано или поздно не может, — как будет его требовать и к нему стремиться. Нельзя поровну разделить, так хоть владеть сообща: иначе всем

по справедливости разместиться на земле невозможно. Усилия власти, которая этого страшилась, должны были быть направлены к тому, чтобы те, нежелательные, кухаркины дети, подольше ничего не понимали, — и потому-то русская монархия и была давно обречена, что у нее не было силы и смелости противостоять общей тяге века к образованию. Резолюция Александра III вызвала осуждение везде, даже у самых благонамеренных людей, которые наивно представляли себе светлое будущее в таком виде, что повсюду откроются школы, мужички будут по вечерам читать газеты при свете электрических лампочек вместо лучин и благодарить доброго царя. Монархия сидела на двух стульях — и провалилась в небытие. Тысячу доводов найдут вам в ответ, чтобы сбить с толку: не обольщайтесь, это именно так, в грубой простоте своей. Просвещение работает на левизну, неотвратимо.

Вообще свет, идущий от человека, — левый. Божий... ну, это не по моей части, на это есть специалисты, считающие себя главноуполномоченными Господа Бога на земле. Ничего бы я против них не имел, если бы только были они менее изворотливы и самоуверенны.

XVII.

О советской России.

Множество недоумений. Хотелось бы задать множество вопросов, — но кому? Первое насчет того, что нам отсюда кажется притворством и бесстыдством: насчет полного исчезновения «фронди-

рования», насчет заведомого доверия к новым авторитетам и согласия всех со всеми. Затем об огрублении и опрощении, особенно ясном в литературе. Что́ было неизбежно и по-своему, значит, оправдано, что́ должно быть отвергнуто? Многое, многое и другое.

Наконец, последнее, самое важное. Сталин об этом, вероятно, не думает, не думал и Ленин... хотя, сидя в Кремле, когда-нибудь ночью, после докладов и совещаний, чувствуя все-таки ответственность за все, что было сделано, за то, что будет сделано, неужели мог он ни разу не побеспокоиться, ну ни на одну минуту, ни на одну секунду об этом, именно об этом? Неужели ни разу не спросил он себя: а что же дальше? Отлично, водворится коммунизм, бесклассовое общество, придет полное разрешение социальных проблем. А дальше? В планетарном, так сказать, масштабе? Что будет с человеком, что будет с миром? А если Бог все-таки есть? А если страдание неустранимо, и не стоило, говоря попросту, огород городить? И как говорил Толстой, «после глупой жизни придет глупая смерть», тоже в планетарном масштабе? Была пятилетка. Но есть ли тысячелетка? В смутных, смутнейших чертах существует ли истинный план, возможен ли он, или игра ведется вслепую?

Пишу и ловлю себя на мысли: в сущности, какое мне дело? «Смерть и время царят на земле». Умру, ничего не буду знать, значит — пей и веселись, пока можно. Но нет, мне не безразлично, что будет после меня, не стану же я сам себя обманывать. Вероятно, правда: жизнь одна везде, всегда.

2 Зак. 3049

XVIII.

Иногда думаешь: неужели это совершенно невозможно? Неужели все это исчезло навсегда, и нельзя никак, никаким способом все вернуть в России к тому состоянию, о котором многие в эмиграции так горько и бескорыстно мечтают?

Чтобы опять зазвенел валдайский колокольчик над тройкой в темном вековом лесу и ямщик, ну конечно в «красном кушаке», насвистывал песню. Чтобы мужики в холщовых рубахах кланялись в пояс редким проезжим. Чтоб томились купчихи на перинах в белокаменной Москве под смутный, протяжный гул колоколов. Чтоб в сумерках, на глухой станционной платформе, шептались гимназистки, под руку, от поезда до поезда, с тургеневскими думами в сердце и тяжелыми косами, а вдалеке гасла узкая, желтая полоска зари. Чтоб свободно и спокойно текли реки, чтоб утопали в прохладных рощах синеглавые в звездах монастыри и гостеприимные усадьбы. Чтоб воскресла «святая Русь», одним словом, и настала прежняя тишь да гладь, прежняя сонная благодать.

Надо было бы сжечь почти все книги, консервативные или революционные, все равно, закрыть почти все школы, разрушить все «стройки» и «строи» и ждать, пока не умрет последний, кто видел иное. Надо было бы на много лет прервать всякую связь с зараженным миром, закрыть все границы: это бред, конечно, это невозможно, но я говорю предположительно... После этого, когда улетучится всякое воспоминание об усилиях и борьбе челове-

ка, да, тогда, пожалуй, можно было бы попробовать свято-российскую реставрацию. В глубокой тьме, как скверное дело.

Блок: «Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Верно: «и такой»! Как почти всегда, Блок прав. Но, в сущности, он еще любовался прошлым, а нам теперь труднее: то, новое, чуждое, нам незнакомое, — будто уже и не совсем Россия. Что же делать! Оставим все-таки мертвых хоронить мертвецов.

XIX.

В оправдание стихов.

Конечно, никакого влияния, ни на кого, ни на что. В журналах — балласт, и если редакторы еще печатают их, то лишь из боязни прослыть некультурными: редакторы пошли нынче всепонимающие, всепрощающие, «Аполлон» победил «Русское богатство», редакторы захлебываются: «Помилуйте, мы приветствуем все красивое» и даже втайне озабочены, чтобы материал солидный, серьезный украсить этакими виньеточками. Полная беззащитность от упреков, которые делать легко и эффектно. «В наше время, когда...» — так, пожалуй, люди литературно грамотные уже не пишут, но внутренне все остается по-прежнему: мы, умницы, руководители общества, заняты делом, вы, лодыри, дайте же нам хоть поэзию, нас достойную, — и скрытое, инстинктивное злорадство от сознания, что требование невыполнимо, что «вы», то есть лодыри, с вашим непонятным, смутно-тревожным бредом в голове, будете все-таки неизбежно уличены в дармоедстве.

Но ведь стихи всегда беззащитны. По совести: кому они нужны, в жизни, для «жизнетворчества», для работы и бодрости, — кому? Все идет мимо. Не будем же лгать, оставшись с глазу на глаз: это — лунное, тихое дело, не надо на него нападать. Это — два слова там, два слова здесь, — еле заметно, не всегда внятно, — которые два сердца, два слуха то здесь, то там уловят. Прогресса не было в поэзии, не будет и упадка. Два слова, две-три струны, будто задетые ветром. И ничего больше. Остальное — для отвода глаз, для прикрытия слишком беспомощно-нежной сущности, и ничего больше. Круговой порукой мы это знаем, и даже, пожалуй, чем дальше, тем лучше знаем. Сейчас я ошибся и не то сказал: прогресс есть. Человек учится выбирать и ощущать, время точит душу, поэзия освобождается от трескотни, становится чище и тише. Другого ничего не может быть, не должно быть. Критические фельетоны об упадке необходимы, потому что иначе, без этого общего склада и стиля, нельзя жить: здесь нельзя жить. Но поэзия не здесь, а туда и оттуда. Кроме того: есть у человека дневные мысли и есть ночные... Узкий дымок. Два-три слова, которые мы все-таки лучше слышим теперь, чем сто лет тому назад.

XX.

Ходасевич считал лучшими стихами Пушкина — и вообще во всей русской поэзии — гимн чуме.

Спорить трудно. Стихотворение действительно гениальное. Будто факел, светящийся над нашей литературой.

...Бессмертья, может быть, залог!

Да что тут говорить, гениально. Не факел: солнце. Но... в этих стихах есть напряжение. В этих стихах есть пафос, который, может быть, холодней внутри, чем снаружи. Как трудно это объяснить, не наговорив глупостей! Ведь вспоминая такие стихи, даже такие, гениальные, невольно спрашиваешь себя: а нет ли тут декламации, хотя бы в сотой, тысячной доле? При таком подъеме может ли каждое слово быть одухотворенно? Яркости вдохновения в точности ли соответствует первоначальный огонь? Короче, проще: реальна ли сущность этих стихов и так ли богата человеческая душа, даже душа Пушкина, чтобы реальность эта была возможна?

Сомнения растекаются вширь. Но у того же Пушкина ни «Песнь председателя», ни «Пророк» не заменят мне стихов другого склада, грустных и ясных, как небо. Если бы нужно было назвать «лучшие» пушкинские стихи, я, пожалуй, прежде всего вспомнил бы то, что Татьяна говорит Онегину в последней главе романа: «Сегодня очередь моя...».

Это такое же волшебство, как и гимн чуме. Но еще более таинственное.

XXI.

По поводу «Пророка».

С оговорками и поправками, при живости фантазии, можно представить себе, что «Пророка» написал бы Гоголь. Можно представить себе, что «Пророка» написал бы Достоевский, столь вдох-

новенно его декламировавший. Но никак нельзя себе представить, чтобы «Пророка» написал Лев Толстой, — хотя кто же был «духовной жаждою томим» сильнее его?

Это не простое расхождение в характерах. Тут скрыт важнейший спор, и в споре этом правда полностью на стороне Толстого.

XXII.

«Du choc des opinions jaillit la verité».

«Из столкновения мнений возникает истина».

Казалось бы, так это и быть должно. Но на деле почти никогда в спорах не «возникает» ничего, и даже то немногое, что до спора было ясно, двоится и отступает вдаль.

Как люди спорят? Истина могла бы обнаружиться или хотя бы ненадолго блеснуть, если бы в споре мы именно о ней думали, — о ней, то есть о предмете спора. Но, сам того не замечая, не отдавая себе отчета, каждый из нас, втянувшись в спор, думает исключительно о том, как бы лучше возразить противнику. Как бы противника посрамить. Как бы выйти из спора победителем. Задор затуманивает сознание. Быв на своем веку свидетелем и, к сожалению, участником многих споров, не помню, чтобы кто-нибудь в пылу прений задумался, уступил, признал свое заблуждение, сказал: да, вы правы... А ведь если бы спорящие действительно были озабочены отысканием истины, это должно было бы случиться тысячи раз! Но спорящие озабочены личным своим торжеством и воюют «до победного конца», чего бы конец этот ни стоил.

Наши настоящие мысли о чем-либо мало-мальски значительном и отвлеченном большей частью похожи на облака: они волнисты, зыбки, переменчивы. А в споре мы придаем им видимость стали. Колебания, противоречия одно за другим отбрасываются, забываются, как исчезает и понимание того, что, может быть, в противоречиях истина и таилась.

Никогда не спорить. Во всяком случае, никогда не относиться к спорам иначе как к развлечению, как к игре. Блок хорошо сказал: «Тихо жить и тихо думать».

XXIII.

Дневники.

Дневник Поплавского, например.

«Боже, Боже, не оставляй меня. Боже, дай мне силы...»

Постоянное мое недоумение. Как можно так писать? Если это действительно обращение к Богу, зачем бумага, чернила, слова, — будто прошение министру? Если это молитва, как не вывалилось перо из рук? Если же для того, чтобы когда-нибудь прочли люди, как хватило литературного бесстыдства?

Не осуждаю, а недоумеваю — потому что у Поплавского бесстыдства не было. Да ведь и не он один в таком духе писал. На днях я прочел то же самое у Мориака. Не понимаю, и только! Не могу представить себе состояние, которое оправдывало бы переписку с Богом. Отчего тогда не пойти бы и до конца, не наклеить марки, не опустить в почтовый ящик?

XXIV.

Одно из последних, поздних и потому, вероятно, самых основательных впечатлений от Запада, после многолетнего сидения «на берегах сенских», есть его... Ставлю многоточие, не находя верного слова. Может быть, найдется оно потом.

Неуютность? Да, но слово это лишь при безошибочном ощущении оттенка приобретает нужный смысл, — а иначе получается чепуха, да еще с позорным, мелко обывательским привкусом. Париж, вообще-то говоря, «уютнее» большинства русских городов и уж наверное уютнее Петербурга. В Париже есть чувство меры, чувство размеров, которое там было потеряно, в соответствии, правда, с самой природой и будто под влиянием слишком широкой для городского пейзажа, слишком мощной и многоводной, какой-то океанской Невой. Петербург при сравнении с Парижем остается только черновиком или наброском города, но в черновике этом все же есть что-то более размашистое, грандиозное, с налетом холодноватого, бесполезного и чуть-чуть унылого величия, которого в Париже нет и в помине... Но обо всем этом — мимоходом. К слову пришлось, и само по себе интересно, но не относится к теме.

Неуютно и жутко в Европе потому, что после России всякий человеческий голос кажется в ней «гласом вопиющего в пустыне». Не в смысле какого-либо морального очерствления, не по чванливому сопоставлению с нашим мнимым духовным превосходством — совсем нет! Просто по густоте и сложности всяких культурных и бы-

товых сплетений, по невозможности что-то выделить в этой неразберихе, или еще проще: потому, что здесь разрушена (а может быть, по-новому создается) связь количества и качества. В Европе все меньше остается возможности для истории в «иловайском» значении слова, — потому что в ней исчезают объединяющие факты. И невозможна в ней жизнь, к которой привыкли мы в прежней России, с организованностью основных впечатлений, общественных и всяких других. «Все течет».

Факты и явления перестают здесь быть остовом расползающихся жизненных форм: ни один из них ничего не определяет и даже не отмечает. Жизнь несется мимо сознания, не успевающего не только понять ее, но даже рассмотреть... В России мы жили как бы в комнате, в квартире, в доме, в помещении, куда нельзя было без звонка войти, где каждый пришелец обращал на себя внимание. В России мы могли жить «задумчиво», еще не замыкаясь в самих себя, не затыкая ушей. Здесь люди очутились на выставке, на митинге: все распахнуто, слышен только невнятный гул, в котором тонут отдельные голоса.

Вникая дальше: приходится, значит, сказать, что Россия была еще провинцией по сравнению с Европой, и мы, как провинциалы, ошеломлены столичной сутолокой. Опрометчиво было бы что-либо тут осуждать, ибо Россия шла и тянулась к тому же, к той же полифонии бытия, и только не успела дойти. Да осуждение и морально недопустимо, ибо наш сравнительный уют — то есть однотемность, одностройность нашей культурной

жизни — уходит корнями в вековые российские ограничения, в отталкивание, в оттискивание основной толщи народа от «ценностей», которые ему будто бы не по зубам (на самых верхах — откровенно цинично, пониже — из кругов «просвещенных» — лицемерно, во имя идеалов, которые будто только мы одни, социально привилегированные, и способны хранить в силу особой нашей тонкости, с тем, чтобы со временем — но только со временем! — передать их бедненьким, темненьким нашим братьям)... Если же раз навсегда отказаться от ограничения прав на то, что мы для себя считаем благом, — как от дела, которому можно искать, но нельзя найти оправдания, — общая путаница и вавилонское столпотворение становятся неизбежны: вопрос только во времени. Наш уют вовсе не был нам дан как благодать. У нас, над безмолвным русским океаном, культурный слой держался только потому, что к «храму» простой народ не подпускали, — очевидно, чтобы «не потеснить гуляющих господ». Возвышенные помыслы о великом одухотворяющем значении «элиты» убаюкивали совесть.

В России еще нельзя было говорить о распаде личности. Здесь же это так очевидно, так непостижимо, — и что страшнее всего, так законно в смысле исторической неизбежности, — что от зрелища кружится голова... Основное, глубочайшее, конечно, — исчезновение или убыль христианства и роковая пустота «в сердцах восторженных когда-то». Но и помимо этого человек не выдерживает постоянного пребывания на выставке, на митинге. Утончаясь, обостряясь, усложня-

ясь в каждую отдельную минуту, он раздроблен на тысячи частиц, он как бы взвивается брызгами, клубится пылью по ветру и не в силах восстановить свое единство.

Так вот что, может быть, значило «холод и мрак грядущих дней».

XXV.

Пример.

Проповедь Толстого — очень важное явление в духовной жизни России, не только сама по себе, во внутренней и абсолютной своей ценности, но и как «фактор» в нашей истории. По существу, она и теперь так же важна, как прежде. От нее можно отмахнуться, «старик блажил», но разделаться с ней нелегко.

Однако эту несомненную, подлинную важность полностью уловить уже невозможно. Она уже не совсем «доходит», будто порвались какие-то провода. Ее только чувствуешь, воспринимаешь издалека, но она бездейственна.

Толстой проповедовал в России предвоенной, предкатастрофической, тихой и патриархально-провинциальной. Казалось, тишина водворилась навеки. Нечего стало делать, естественно было подумать о душе. Толстому страстно откликнулись современники: земские врачи, интеллигенты, даже генералы, растерявшие в общей спячке былую воинственность и безмятежно размечтавшиеся по всяким управлениям и интендантствам. Россия слушала Толстого: он давал ей выход, порыв, волнение, тему существования.

Но сейчас выходов, волнений, тем — хоть отбавляй. Тысячи возражений, тысячи случаев, когда в игру вошли совсем новые элементы... Человек оглушен. Надо бы снова стать земским врачом, но мы уже не земские врачи, и нам невозможно собрать то, что рассыпалось, воскресить былой душевный строй и стиль. Толстой со своей нужной правдой уходит в прошлое, а жизнь летит мимо «без руля и без ветрил».

XXVI.

Искусственная, насильственная и потому призрачная цельность: коммунизм и прочее.

Ничто не разрешено, ничто не устранено, а сколько внутренних уступок и жертв! И какое оскудение! Литература есть одно из немногих человеческих дел, с которым несовместимы обольщения, обманы, иллюзии. Поэтому с *такой* цельностью ей нечего делать: она от нее бежит, если только не впала в детство.

В стороне, задумавшись, она спрашивает: уверены ли вы, что у вас в разнообразных ваших строительствах действительно есть цель? Конечно, общество, которое как будто чего-то хочет и куда-то идет, всегда будет казаться богаче и творчески сильнее того, которое ничего скопом не хочет и никуда не идет. Но может ли общество иметь одну волю? Должно ли оно «идти»? Не мираж ли — общее дело, общая цель? В чем эта цель? Не снизу ли возникает творчество, чтобы затем, в единичных случаях, дорасти до общего понимания и признания во всей своей лич-

ной неповторимой живой прихотливости вместо коллективного равнения по правофланговому? И не окажется ли в конце концов, что больше движения было там, где как будто все стояло на месте, разлагаясь, «загнивая», но, по крайней мере, не играя в грубую, жестокую и финально-бессмысленную игру с лучшими человеческими надеждами?

XXVII.

Это все, может быть, очень современно, органично, стихийно. Это увлекает «массы».

Но если говорить о творчестве... оставьте творчество, господа! Товарищи, оставьте литературу. Да, вы можете создать недурные, даже блестящие, «полнокровные» романы, отразить, описать, показать. В критических разборах вас будут хвалить, анализировать. Типы недоработаны, что же касается языка, то язык образный, «сочный» — и так далее.

Будем, однако, говорить серьезно: литература — не ваше дело. А если она у вас как будто много дает, то лишь потому, что вы от нее мало требуете. Устроить такой «расцвет», право, не трудно, но ни вы ей, ни она вам не нужны. Литература возникает в «темном погребе личности», в вопросительно-лирических сомнениях, в тревоге, в мучениях, в безотчетной любви, и уж конечно без барабанного боя. Кто бы ни победил в житейской борьбе, *ваша* книга рядом с *другой*, настоящей книгой будет всегда глупа и груба, и всегда найдется кто-нибудь, кто это поймет.

Вот стихи:

Оставь меня. Мне ложе стелет скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе?

Рифмы обыкновенные. Образы тоже не Бог весть какие оригинальные. Но после этого, после того, что человек нашел такие звуки, дослушался до такой музыки, все ваши типы и проблемы, все оптимистические полотна и идейно насыщенные романы, все, все — пустота, скука и ничтожество. Я едва не написал крепкое русское словечко, для печати непригодное... Впрочем, Пушкин его любил.

И еще: это мы говорим не в припадке безнадежного, декадентски-хмельного восторга, с готовностью тут же сдать позиции. Нет, с твердым сознанием торжества и победы.

XXVIII.

Было это в середине прошлого века.

Жила в Лионе молодая и богатая женщина — мадам Гранье. Сохранился портрет ее: глубокие темные глаза, улыбка, легкая рука в браслетах, небрежно лежащая на спадающей с плеч шали. Почти красавица. Мадам Гранье считала себя счастливой: муж, двое маленьких детей, любовь, спокойствие, верность. Но муж заболел раком и умер, а за ним в течение одной недели умерли и дети. Первой мыслью было — покончить с собой. Но самоубийство отталкивает натуры чистые и сильные, и мадам Гранье решила жить.

Не для себя, конечно: все личное было кончено, — а с тем, чтобы кому-нибудь быть полезной. Деньги свои она раздала и стала ухаживать за больными. Но больные больным рознь: мадам Гранье искала безнадежных, одиноких, всеми забытых. Услышала она как-то про нищенку-старуху, страдавшую раком лица, и пошла ее проведать. В подвале, на гнилой соломе лежал «живой труп», издающий нестерпимое зловоние. Ни глаз, ни носа, ни зубов — сплошная кровоточивая рана. Мадам Гранье промыла старухе лицо, кое-как одела и привезла ее в госпиталь. Врачи и сиделки отшатнулись и не пожелали иметь дело с больной: никогда они такого ужаса не видели... Мадам Гранье убеждала, просила, умоляла их и наконец, чуть не плача, сказала: «Да что с вами? чего вы боитесь? посмотрите, как она улыбается», — и прижалась к старухе щекой к щеке, — к гнойной багровой язве, — а потом поцеловала ее в губы.

История эта — напоминающая флоберовского «Юлиана» — была недавно рассказана в одной французской газете. В память мадам Гранье основано общество «Les Dames du Calvaire».

Все, что делают люди, и все, чем они живут, похоже по форме на конус или на пирамиду: внизу, в основании — площадь огромна, и всякой отрасли легко находится свое место. Наверху все сходится. Что такое литература, что такое искусство? Я прочел рассказ о мадам Гранье и подумал: искусство должно быть похоже на то, что сделала она. Не в сострадании дело, а в победе над материей, в освобождении. Скрипки Моцарта поют об

этом. И Павлова иногда была об этом, сама ничего не зная и не понимая. «Бессмертья, может быть, залог»: иначе не скажешь.

XXIX.

А. когда-то заметил:

Есть понятия римские — и есть иерусалимские. Других нет.

И добавил: да не будет же Иерусалим побежден!

Он думал о христианстве, конечно: о том, почему «заповедь новая» была действительно новой, и о том, что без нее мир груб и пуст, — хотя бы никто ни во что уже не верил, хотя бы осталось у людей только немного чутья, понимания и памяти.

Да не будет же Иерусалим побежден! Загадочность «еврейского вопроса» в том, что вместе с мировым пожаром, который евреи зажгли, родилось и мировое сердце. Без их вклада мир не то что пресен — мир черств. Наша святая Русь в лучшие свои моменты перекладывала на мягкий славянский лад старые, чудные, вдохновенно-дикие еврейские песни и забывала, что сложила их не она.

XXX.

«Ум ищет божества, а сердце не находит».

Как это странно сказано у Пушкина. Казалось бы, наоборот. Ум «не находит».

Христианство в догматической и метафизической своей части не то что невероятно: оно неправдоподобно. Если человек взглянет на мир как бы в первый раз, без всякой предвзятости и забывая

все, чему его научили, он не может не покачать головой, со смущением, с грустью: едва ли, едва ли! Едва ли — это. Мир текуч, безграничен, расплывчат внешне и внутренне, а это слишком уж стройно, слишком уж складно, со вступлением, изложением и заключением. Природа не в ладу с христианством не потому, конечно, что изучение природы его отвергает, а потому только, что она к нему никак не ведет, никак не располагает. Нет связи: про́пасть. Природа, как она открывается в опыте, не драматична, не мистериальна. Христианство создалось будто в каком-то воспаленном сознании, а природа возвращает к спокойствию... Кажется, именно это оттолкнуло Гете, так таинственно с природой сроднившегося, — хотя за два года до смерти он и сказал канцлеру Мюллеру, что «это не может быть превзойдено». Но только морально.

Вероятно, и Льву Толстому его глубокая интуиция всего жизненного, животного, природного помешала стать вполне христианином, — что отчетливо чувствуют даже самые ревностные его поклонники, не придающие значения разладу с синодом и другим недоразумениям. Звук, скрытая сущность толстовских писаний — вне христианства, как бы он к нему ни рвался. Толстому противопоставляют Леонтьева или Соловьева. Но им было легко, у них не было и сотой доли его чутья и опыта, им нечего было преодолевать. А Розанов, единственный, у которого был нюх, кое в чем не уступавший толстовскому, так всю жизнь и проколебался, чувствуя, как никто, все «да» и «нет».

Но все-таки — «это не может быть превзойдено». Беречь, хранить, охранять стоит только это, — если человек не окончательно еще отупел, не окаменел, не выродился, не сошел с ума.

XXXI.

Непротивление злу у Достоевского. Тема на первый взгляд парадоксальная. Самое соединение слов звучит парадоксально и может даже вызвать предположение, что вместо одного знаменитого имени по рассеянности названо другое. Оба имени ведь постоянно сталкиваются, оба стали частями единого, почти нераздельного нашего целого.

Но нет, ошибки нет. А хочется мне сказать на эту тему несколько слов потому, что, перечитывая «Легенду о Великом Инквизиторе», внезапно я был поражен мыслью, никогда прежде мне в голову не приходившей: что такое в «Легенде» этот финальный поцелуй, в ответ на монолог, в котором «зла», злой воли, насмешливого и высокомерного мирского расчета более чем достаточно, — что такое этот поцелуй? Разве не непротивление в чистейшем его виде?

Конечно, можно возразить, что Достоевский, приписывая Христу поступок, с учением о непротивлении злу находящийся в полном согласии, личной ответственности за него не принимает. Суждения Достоевского почти всегда двоятся, и во всем том, в частности, что говорит или рассказывает Иван Карамазов, отчетливо отражен спор автора с самим собой. Достоевский предполагает, допускает многое такое, что, по-видимому, не решился бы утверждать.

Важно, однако, не это.

Важно то, что, по Достоевскому, Христос должен был именно так поступить, вместо всякого сопротивления, вместо всякого действия, — и, значит, содержание и смысл евангельской проповеди он, Достоевский, истолковал в согласии с Толстым.

Все возражения, делавшиеся Толстому, возражения, в которых апелляция к Достоевскому, безотчетная или сознательная, чувствуется постоянно, сводились именно к тому, что Христос сказал не совсем то, что соответствует точному смыслу его слов: буква евангельского учения — будто бы одно, дух — совсем другое... Именно эту мысль развивал, и с полемической точки зрения блестяще развивал, с присущей ему, в нашей литературе почти беспримерной находчивостью Владимир Соловьев, будто припертый к стене, принужденный изворачиваться, лишенный возможности отрицать, что о непротивлении злу в Евангелии сказано вполне внятно и ясно. Буква — одно, дух, видите ли, нечто совсем другое: более удобного довода нельзя и найти, ибо после того как «буква» отброшена, поле свободно, и «дух» мы вправе выдумывать какой угодно, в соответствии с нашими потребностями, вкусами и взглядами. Несомненно, Достоевский не хуже Соловьева понимал страшный житейский риск, связанный с «буквальным» истолкованием Евангелия и практическим применением евангельской проповеди, что иногда и побуждало его высказывать мысли иного рода, — правда, охотнее и откровеннее в «Дневнике писателя», чем в романах, то есть в публицистике, чем в процессе истинного творчества.

Но Соловьев был гораздо последовательнее и логичнее, — что, впрочем, следует сказать при сравнении его не только с Достоевским, но и с другими нашими «государственно мыслящими» обличителями католичества. Соловьев — вопреки, например, Тютчеву, оказавшемуся в этой области в жестоком противоречии с самим собой, — был если и не на деле, то в сознании и в душе католиком. Соловьев понял сущность, природу и побуждение грандиозного исторического дела, предпринятого католицизмом, вгляделся в источник его — и преклонился перед ним.

У Достоевского тут произошло недоразумение: вместо благодарности Риму, — признавшему, что вольная церковная традиция оставляет столь же существенную часть веры, как и слова Христа, — он обрушился на него. Разгадка едва ли в близорукости Достоевского: уж кого-кого, а его упрекнуть в этом невозможно! Более правдоподобно предположение, что по совестливости своей, по чутью своей совести, более обостренной, чем у Соловьева, он отбросил доводы рассудка и в ужасе отшатнулся от основного римского стремления ограничить, обезвредить «безумие» евангельской проповеди[1].

---

[1] Знал ли он фразу Ренана: «История Церкви есть история предательства» (или измены — trahison — в «Апостолах»)? Впрочем, по существу, для Ренана все в этих делах было безразлично, и, не вдаваясь в обсуждение, кто прав, кто виноват, он под личиной исторического беспристрастия лишь «констатировал» со среднефранцузской антиклерикальной запальчивостью то, что Достоевского приводило в содрогание.

Да, Достоевский колебался. С одной стороны, тянуло его к тому, чтобы вслед за Тютчевым обозвать папу «ватиканским далай-ламой», а с другой стороны... с другой стороны — монархия, государство, армия, иерархический порядок, право, наконец — творчество, наконец — вся культура: как же все это могло бы существовать и уцелеть, если бы вечный Рим не устоял в схватке, начавшейся две тысячи лет тому назад, если бы не отстоял он от разгоравшегося пожара самые основания общественного устройства? Достоевский сомневался, колебался. Отважиться на то, чтобы «рискнуть миром», — как, по выражению Бердяева, сделал это Толстой, — он не решался.

Но что Христос сказал именно то, что хотел сказать, что «буква» и «дух» у Христа представляют одно и то же, что, даже не соглашаясь с Христом, мы не вправе слова Его перетолковывать, к чему бы они ни вели, — в этом Достоевский, очевидно, не сомневался. Или, вернее, не усомнился в минуту высокого своего просветления.

Иначе как истолковать поцелуй?

А если иначе истолковать его нельзя, то выходит, что обе наши «духовные вершины» могли бы и договориться, и что во всяком случае были они друг с другом в согласии хоть и скрытом, но более тесном, чем это иногда кажется.

Или чем утверждают те, кто с полувековым опозданием хотел бы и их поссорить.

XXXII.

В наше время мало осталось людей, которые настаивали бы на непримиримой розни науки и религии. Убеждение, что наука все объяснит и что разум всесилен, вдохновляло век восемнадцатый, вольтеровский, вдохновляло и девятнадцатый век, правда, уже несколько смущенный кантовской критикой и менее стремительный в своем порыве вперед. В наши десятилетья, однако, наука натолкнулась на такие ошеломляющие неожиданности, что волей-неволей принуждена была стать скромнее. Внуки и правнуки Базарова продолжают резать лягушек, но без прежней заносчивой уверенности в том, что обнаружат и поймут тайну жизни. Физики и астрономы продолжают изучать состав материи и строение Вселенной, но договариваются до таких выводов, которые в прошлом столетии угрожали бы им заключением в сумасшедший дом, — и чуть ли не каждый день приходится об этом читать и слышать. Кембриджская школа астрофизиков, одна из самых авторитетных в Англии, высказала, например, предположение — не с «кондачка» же, конечно, а, очевидно, на основании каких-то сложнейших догадок и соображений, — что вся Вселенная, во всем ее непостижимо-беспредельном объеме, с мириадами ее светил и туманностей, возникла почти мгновенно, по нашему исчислению в несколько секунд, путем какого-то извержения или взрыва, из одной точки, как из рога изобилия. Иными словами, произошло «сотворение мира», то самое, чему нас учили в детстве, то, которое изобразил на известном полотне

Айвазовский, только, пожалуй, без красивого старика с изящно расчесанной бородой, витающего над безднами... Невероятно! Мысль почти что парализована изумлением. Но, очнувшись, сейчас же она идет дальше: а этот первоначальный «рог изобилия», откуда он возник? — и останавливается в недоумении, на которое никакая наука никогда не даст ответа.

Помню, Зинаида Гиппиус, смеясь, рассказывала как-то о своем разговоре с покойным Минором, удивлявшимся, что некоторые из его друзей ходят в церковь. «Помилуйте, это же в прежние времена люди верили в Бога и в чудеса... ну, гром там или молния... воображение и разыгрывалось... но теперь же это все давно выяснено!» Лично я Минора не знал, сомневаюсь, однако, чтобы он мог быть так допотопно-наивен. Для комичности рассказа Гиппиус, вероятно, приукрасила его слова. Но, очевидно, что-то в этом роде он ей сказал, да и как было почтенному позитивисту и социалисту, одному из наших «последних могикан», одному из «стаи славных», блюстителю заветов и традиций, усомниться на старости лет в том, что было для него всю жизнь синайской заповедью? «Царство науки...» — и так далее.

Предел, однако, есть. Разум понял, что он не все может понять, — и в признании этого великая его заслуга, честь и достоинство его, истинный его «патент на благородство», а вовсе не повод к насмешкам, в наше время, к сожалению, распространенным. Разум — и его создание: наука не видят больше оснований с верой враждовать и в лице некоторых подлинных, недомороценных своих

«корифеев» склонны даже протянуть религии руку, что в прежние времена представило бы редкое исключение.

Но вера медлит. Вера — по крайней мере в традиционных своих формах — удручена не «ношей крестной», — о, эту ношу она принимает с восторгом и радостью! — а догматическим своим окаменением, разительно-мучительным несоответствием всего своего представления о мире тому, чего современный человек не может не знать и о чем он не может не думать... Именно в этом сейчас разлад религии и науки, разлад — в содержании церковной космогонии, и начинается он с того момента, как человек переступает порог церкви, католической, православной, протестантской, какой угодно. Из состояния взрослого он переводится обратно в состояние младенческое, притом не в евангельском смысле «будьте, как дети», а в другом, более элементарном, никакой духовной чистоты с собой не несущем. Нарицательный Минор смешон, но кое-что из того, чему обязан верить человек церковнопослушный, Минора оправдывает. Однако на деле, как всем известно, обычно бывает так, что человек ходит в церковь, крестится, исполняет обряды, кладет поклоны, а верит лишь «постольку-поскольку», с оговорками и пропусками, ни во что особенно не вникая. Предложите, например, людям, выходящим от обедни, ответить честно, искренне, откровенно — верят ли они в реальное существование дьявола. Девять десятых смутится и если и не ответит твердо «нет», то примется бормотать: «Да, как вам сказать?.. конечно, нельзя понимать дословно...» — или что-

нибудь в этом роде. Признаем, что и нелегко примирить его существование с принципом Божьего всемогущества. Лучше, значит, и не задумываться над тем, чему церковь учит.

Но иные люди задумываются... Да, теперь не подходящее время для новых вселенских соборов, для нового догматического вдохновения, и трудно сказать, что в этой области можно было бы сделать. Глубоко верно и то, что далеко не в одних догматах дело, что угасающее христианское пламя раздуть догматическими поправками нельзя, и тщетно было бы на это надеяться. Для оживления веры нужно было бы нечто совсем другое, — ну хотя бы то, чтобы папа, «наместник Христа», вышел из своего золоченого дворца и, босой и нищий, отправился проповедовать забытую «благую весть», как предсказывал Достоевский. Нужно было бы встряхнуть, всколыхнуть человечество, поразить воображение, влить в христианство свежую кровь, а не только убеждать доводами. О догматах пришлось бы подумать потом, позже, хотя значение они все-таки имеют очень большое... Если все оставить, как прежде, разлад будет с каждым поколением расти, церкви будут пустеть, безразличье к христианству будет усиливаться, и останется в конце концов лишь беспредметно-туманная вера во «что-то», в расплывчатую высшую силу без имени, без лица, без судьбы.

О дьяволе и признании его существования я упомянул мимоходом. То, что в реальность дьявола мало кто верит, сравнительно не так существенно, хотя в общем метафизическом здании христианства это все-таки один из краеугольных камней.

Но по характеру своему вся христианская догматика гораздо ближе к представлению, что боги живут на Олимпе, в двух шагах от людей, за которыми должны наблюдать, чем к тому образу Вселенной, который возник в новые века. Все в ней отражает убеждение, — да и могло ли быть иначе? — что Земля, разумеется, плоская, а не круглая, с висящим над ней небом, есть средоточие мира, что Солнце вертится вокруг нас, как наш слуга, единственно для того, чтобы нас освещать, греть, — и так далее, и так далее... Есть что-то во всех этих картинах комнатное, домашнее, почти игрушечное, и когда вдруг вспомнишь, что где-то, в беспредельно-необъятных мировых пространствах, за невероятной тьмой, за невероятной пустотой и холодом летят неизвестно куда, неизвестно почему и зачем другие солнца, в миллионы раз превосходящие по размерам наше Солнце, и что свет от них доходит до нас только через миллионы и миллионы лет, и что, значит, если мы их и видим в телескопы, то лишь такими, какими они были миллионы лет назад, — когда вспомнишь всю эту ужасающую, леденящую бесчеловечность Вселенной, стоя в церкви, то скажешь себе: а ведь, пожалуй, наш Бог, которому мы здесь молимся, — только маленький Бог, подчиненный другим или, может быть, равноправный с ними, но не тот, главный, единственный, абсолютно верховный, власть которого распространялась и над находящимися за Млечным Путем мирами во времена, когда самой Земли еще не существовало... Но мысль эта нестерпима и подрывает веру в корне. Легче для человека не верить ни во что, чем верить во что-то

ограниченное и в мировом масштабе как бы уездное. Кощунственная мысль отброшена, человек остается с выбранным им «ничем»... Но если действительно жизнь, возникшая на земле, возникла лишь в результате игры слепых сил, как выигрыш в триллионно-квадрильонной мировой лотерее, ни к чему не ведущий и рано или поздно обреченный на бесследное исчезновение, если действительно, кроме нас, в мире никого не было, нет и не будет, пустота, мрак, клочья материи, глыбы камней, ничего другого, то как не сойти с ума среди всех этих Млечных Путей со всей их квадриллионной бессмыслицей?

Вера должна, вера призвана внести некий порядок в это смятение, а между тем церковное представление о Боге, на словах вездесущем и всемогущем, едва-едва переросло прежние понятия о национальных, частных божествах, и, даже распространяя Промысл на все человечество, независимо от того, молятся ли отдельные народы Аллаху или Будде, — впрочем, и на это соглашаясь не без колебания, — церковь все еще замыкает Бога в земные пределы, с Землей как центром мира. Обращаясь к вере, цепляясь за нее, человек сам себе говорит: если нет победы над временем и пространством, то есть если то, что живет, бьется, трепещет во мне, не освобождено полностью от произвола понятий количественных, если этого нет, то вообще ничего нет, и тогда я песчинка из песчинок в непостижимом мне круговороте. Догмат должен бы стать выражением такой победы, заклинанием, призывом, волшебной формулой избавления от страха, — ибо все-таки в основе веры

лежит страх, и кое в чем Минор прав! — догмат должен быть свидетельством веры в высшую силу, для которой нет разницы между миллиметром и миллионом верст, между секундой и вечностью. Но наша догматика именно временем и пространством и ограничена, ей недостает того, что Шпенглер назвал «фаустовским чувством», новым сознанием беспредельности мира. Она создана в века, когда чувство это еще никому не было ведомо.

У Розанова, если не ошибаюсь в «Апокалипсисе», есть чрезвычайно странная страница, странная по своему простодушию и обманчивой логичности. Ему однажды пришло в голову, что солнце — это и есть Бог. Мысль сама по себе глубочайше-естественная, коренная, древняя, как сам человеческий род. Но тут же Розанов со смятением обратился ко Христу:

— Значит, Ты — не Бог?

Почему? Почему? Почему? Какое детское, механическое сцепление суждений! Одно другому не противоречит, и если в Символе Веры о возможной божественности, — то есть о живой чудотворности солнца, — ничего не сказано, то разве все в Символе Веры сказано? И с другой стороны, разве то, что в Символе Веры сказано, может быть в наше время полностью, без единого исключения предметом веры?

«И восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца...»

Для чего слова эти читаются и поются за каждой обедней, православной, католической, протестантской? Несомненно, для того, чтобы все присутствующие прониклись буквальной и совершен-

ной истинностью их, без каких-либо кривотолков. Вознесся на небеса в той плоти, которая и после Воскресения была по учению церкви настоящей человеческой плотью, той же самой, которая изнемогала на Кресте, той, от которой в земле, в добычу разложения и смрада, не осталось ни малейшей частицы. Вознесся на небо и сидит теперь по правую руку от Создателя Вселенной... Но что такое небо? Разве вообще существует небо? Самое понятие это, вдохновлявшее и религию, и поэзию, и все человеческое творчество в течение веков, — до лермонтовского «неба полуночи», самого глубокого вздоха о потустороннем во всей русской литературе, — понятие это внезапно обанкротилось, лишилось смысла: неба нет, как нет во Вселенной, вне земного притяжения, никакого «верха» и «низа». Среди всех христианских догматов догмат Вознесения представляет собой образец того, во что верить труднее всего. Никакие сделки с умом и воображением помочь тут ничему не могут: невозможно! — и не потому, что «quia absurdum», в каком-нибудь сверхразумном смысле, а наоборот, потому, что содержание догмата внушено представлением, когда-то находившимся с разумом в согласии. Едва ли кто-нибудь теперь в него действительно верит, и даже люди благочестивые, церковно настроенные говорят о теле просветленном, призрачном, чуть ли не «астральном». Об этом говорил Бердяев, в остальном заботившийся о том, чтобы не слишком Церкви противоречить, да говорят и другие мыслители, чувствующие невозможность оставить все в прежнем виде, без поправок.

Но церковь поправок не допускает. По учению церкви, вознеслось тело вполне вещественное, а не «астральное» — иначе неизбежно надо допустить разложение в могиле.

А ведь в «астральной» поправке, — распространяющейся, конечно, и на основной христианский догмат, на самое знаменательное из чудес: на догмат и чудо Воскресения, — в поправке этой ни кощунства, ни предательства нет, хотя она и не в ладу с Символом Веры. Есть в ней даже что-то праведно-нравственное, милосердное, способное вызвать в ответ не смущение сердца, а порыв благодарности. Да, то тело, с мускулами, кровью и всем, что составляет и наши тела, разложилось и истлело. Но если Он в милосердии своем, в снисхождении своем согласился быть человеком, то не распространяется ли это милосердие, это снисхождение и на смерть, то есть не мог ли Он согласиться и умереть такой же смертью, какой умрем все мы, со смрадом, зловонием и всей мерзостью смерти? Не углубляется ли при этом догмат, не восстает ли образ Его в чистейшем сиянии? Не утверждается ли дело Его тем, что Он преодолел смерть как исчезновение и мог явиться ученикам после того, как умер действительной, настоящей смертью, единой для всего сущего, без телесно-материального восстановления?

Церковь до сих пор учит: «Чаю воскресения мертвых» — и, значит, провозглашает грядущее всечеловеческое восстание из гробов, в согласии с нашим святым и сумасшедшим рационалистом Федоровым. Но верит ли теперь действительно кто-нибудь в воскресение мертвецов? Эллинизация

христианства, неотразимая и неуловимая, отчасти в том и сказалась, что греческая, платоновская, великая идея бессмертия души преобразила и почти вытеснила в сознаниях тяжелую еврейскую идею воскресения трупов, — и мало-помалу окрылила христианство, внесла в него воздух и освобождение, разрешила какие-то мучительные, двоящиеся, загадочные противоречия, заложенные в самой основе человеческого существа. «Чаю бессмертия души»: без этого не было бы средневековых соборов с их дивно-взвивающимися в беспредельность игольчатыми башнями, не было бы «безбрежной мечтательности» — по Достоевскому — протестантизма, не было бы, конечно, и самого Достоевского, ни Паскаля, ни Данте, ни Лермонтова, ни многих других.

«Чаю бессмертия душ», всех душ, и хороших, и плохих, — потому что если были они плохими, то разве по своей вине? Чаю бесстрашия перед бесконечным пространством и бесконечным временем, чаю преодоления пространства и времени, и пусть сгниет то, что сгнить должно, ночью, под звон пасхальных колоколов, со свечами, задуваемыми весенним ветром, нет ничего, что сильнее и радостнее объединяло бы людей, сошедшихся вспомнить о самом нужном им обещании и торжестве.

XXXIII.

Перечитывая Чаадаева.

Немного на свете книг, которые выдерживают второе или третье чтение без того, чтобы не вызвать разочарования. Казалось мне, чаадаевские

«Письма» — одна из таких книг. Но нет, есть в них все-таки что-то «салонное», пусть и в самом высоком смысле этого слова. Есть что-то преувеличенно надменное, нарочито-ледяное и леденящее, чуть-чуть декламационное. Обвинительный акт России надо было бы написать иначе, в более русском складе, возможном даже при том условии, что Чаадаев писал по-французски. Надо было бы написать его изнутри, а не в позе постороннего наблюдателя.

Но действует до сих пор, и неотразимо действует, глубокая грусть, которой письма проникнуты. Действует музыка, в них звучащая, — не совсем, может быть, русская, но настоящая, редкого качества... Это Чаадаеву зачтется, это останется за ним навсегда. После него все-таки мало кого из русских мыслителей можно вспомнить, не чувствуя падения, разве что Герцена, — да и то не целиком, а преимущественно те его страницы, где он не столько «борец за светлое будущее», сколько стареющий, чуть ли не во всем усомнившийся человек. Или Конст. Леонтьева.

Удивительно, что Россия становится тем ближе, чем суровее и притом вернее суждения о ней. Русский «квасной» или какой бы то ни было иной патриотизм, русское бахвальство и самоупоение нельзя выдержать. От Батюшкова с его постыдным сверхквасным афоризмом о Кремле, этом будто бы «прекраснейшем месте на земном шаре, в прекраснейшем городе, принадлежащем величайшему в мире народу», от Гоголя с его злосчастной тройкой до нынешних советских вариаций на те же мотивы и темы, все это ничего, кроме тош-

ноты, не вызывает, — тем более, что меры русский человек, как известно, ни в чем не знает, и уж если почудилась его расстроенному воображению удалая тройка, то должна она опрокинуть решительно все на свете. И наоборот, едва только услышишь отрицания вроде чаадаевского или вроде полюбившихся Мережковскому печеринских строк:

Как сладостно отчизну ненавидеть...

хочется сказать: да, может быть, а все-таки... И эти «все-таки» уходят так глубоко, что упреки теряют значение. Защитительные доводы сталкиваются, дополняют, обгоняют друг друга, пока мало-помалу не добираются до самых начал человеческой жизни: да, верно, то плохо и это сомнительно, но черновик нации, культуры, общества был набросан, как, пожалуй, нигде больше, замысел был такой, как ни у кого другого, и в догадках о несостоявшихся реализациях есть все-таки основания для преданности и даже гордости.

Замысел провалился, что тут спорить (или по Бердяеву, всегда искажающему и как бы компрометирующему свои простые и верные мысли своим дурным стилем: «то, что Бог думает о России...»)! Но было в замысле этом что-то широкое, свободное, вольное, доброе, не разрушительное, а только беспокойное, как бы от сознания, что нельзя достичь ничего, на чем стоило бы успокоиться. Чаадаев судит о России с высоты многовековой, величавой и по-своему удавшейся цивилизации. Но ему и в голову не приходит спросить себя: что в этой цивилизации, носящей имя христианской,

осталось от христианства? И даже больше: возможно ли соединение понятий «культура» и «христианство» без того, чтобы одно не истлело в пламени другого? И возможен ли выбор?

XXXIV.

Колебания, конечно, этим и вызваны: не удалось почти ничего, но хотели-то мы больше того, что удалось сделать другим. Или, по крайней мере, мечтали о большем... Если мы и вправе гордиться, то не тем, чего мы добились, а лишь тем, что мы хотели и чего не могли сделать, то есть высокой неосуществимостью русских стремлений, невозможностью воплотить их в государственных и социальных формах.

Упоенный собой русский именно тем и жалок, что этого не понимает, и при тяжбе с Западом уверен в своем реальном, ощутимом, осуществленном превосходстве. «Где им, всякой там немчуре и французишкам, до нас!» — Кто же этого не слышал? Кто не уловит в нынешних московских восхвалениях родины того, что существовало и прежде, но что прежде вызывало усмешку? Крайности всегда сходятся, и тройки, по-разному запряженные, с разными ямщиками на козлах, мчатся по родным раздольям все те же. Еще недавно, здесь, в эмиграции, Шмелев только этим и дышал и жил. Шмелев казался очень русским писателем, уж таким русским, что «русее» и не бывает, а на деле он при своем — для меня несомненном и большом таланте, при своей страдальческой искренности, — был отступником и вел от имени России запозда-

лую, измельчавшую, выдохшуюся славянофильскую игру, которая ничем, кроме конфуза, кончиться не может. По-своему он любил Россию — «до самозабвения», по собственным своим словам. Но любил, так сказать, беспрепятственно, сам себя обманывая, и о каком ни говорил бы он величии, величию этому грош цена.

Впрочем, можно и совсем по-иному объяснить, почему нестерпим упоенный собой русский человек. Но это и тема совсем другая, с уклоном скорей к психологии, чем к истории.

Беседуя с французом, немцем, англичанином или американцем, мы не так хорошо его понимаем, как понимаем русского. Язык и возможные затруднения в его оттенках тут решающей роли не играют, и даже если логический смысл речи вполне ясен, что-то в «обертонах» ее ускользает. Скажет что-нибудь плоское и пустое русский: иностранец, пожалуй, и не поморщится, как сразу поморщимся мы, — и, наоборот, к фальши французской, немецкой, всякой другой окажемся именно мы, а не иностранцы, менее чувствительны. Французские водевили, например, французские шаловливые песенки многим из нас нравятся, а все русское в таком же роде ничего, кроме тоскливого недоумения, не вызывает... Может быть, действительно, французы в этой своей специальности искуснее нас, может быть, они легче и бойче нас остроумничают, допустим, но дело не в этом. Дело в том, что сквозь отечественную русскую пошлость мы отчетливее улавливаем кое-что из убожества вечного и общечеловеческого. Нас ничто не отвлекает от ее созерцания, и по звуку

голоса, усмешке, по какой-нибудь вскользь брошенной прибаутке мы безошибочно восстанавливаем целый, во всех мелочах нам знакомый удручающий мир, будто по одному позвонку — целого мамонта. А с французом или американцем мы позвонок держим в руке, не зная, откуда он и куда его отнести. Конечно, и чужеземная кичливость бывает досадна сама по себе. Но кичливость русскую воображение невольно дополняет душком из былых истинно русских чайных со всеми их достопамятными атрибутами...

От того-то, вероятно, русское самодовольство отталкивает нас сильнее всякого другого, независимо от вопроса, где для него больше оснований. И, — продолжая мысль, — не в этом ли, не в обостренном ли слухе к соотечественникам ключ ко всему гневному и презрительному, что писал Байрон об англичанах, Шопенгауэр о немцах или Бодлер о французах и даже о Париже, вплоть до Розанова, признававшегося, что случается ему содрогаться при одном упоминании о русских? Пессимизм рождается от столкновения с людьми, насчет которых не может остаться иллюзий. По справедливости следует сказать, что и хорошее в близких по языку и крови людях яснее, чем в других.

Писатели, в особенности романисты психологического и бытового типа, поступили бы благоразумно, если бы взяли за правило рассказывать преимущественно о соотечественниках. Клюква бывает разная, от смехотворно-нелепой до едва уловимой, и как бы ни был правдоподобен внешний облик, некоторая внутренняя схематичность в изображении людей, в иных условиях сложив-

шихся, дает себя знать почти неизбежно. Слепок грубее, приблизительнее. Даже в «Войне и мире» французы (капитан Рамбаль, например, не говоря уж о Наполеоне) — не вполне живые люди вне той таинственно-естественной атмосферы, в которой движутся остальные толстовские герои.

XXXV.

Молодой человек, который в двадцать лет или даже раньше, прочтя Достоевского, не был бы потрясен «до мозга костей», не был бы ранен как будто в самое сердце, не ходил бы сбитый с толку, недоумевающий, измученный тысячью сомнений, такой молодой человек должен бы внушить недоверие. Конечно, не о всех молодых людях речь. Существуют прекрасные, добрые, честные молодые люди, так сказать, «спортивного» склада, с которых никакие потрясения не спросятся. Но я говорю о тех, с которых «спросится».

Нет писателя, который лучше, чем Достоевский, выразил бы и полнее дал бы почувствовать отсутствие правды в мире, боль жизни, все-таки порой слишком острую, чтобы с буддийским спокойствием отнести ее к явлениям естественным. Правда — слово расплывчатое: что есть правда, «что есть истина?» Что такое справедливость? Точного определения нет и быть не может... Что-то «не то» и «не так» в жизни, частью по вине людей, частью независимо от них и, значит, ни по чьей вине. Достоевский это уловил. От Достоевского сводит скулы, пересыхает в горле, и вовсе не после какого-либо отдельного его рассуждения, нет, а от

общего ужасного неблагополучия представленного им мира. В молодости именно к этому неблагополучию сознание чувствительно: оно его не предвидело, оно еще не утратило своей детской доверчивости. Молодой человек останавливается в тревожном изумлении: как, неужели это и есть жизнь? Откуда все это? Как же мне в такой жизни участвовать? Как исправить, можно ли помочь? Да, это первое, ни с чем не сравнимое впечатление от Достоевского благотворно и неизбежно, если только у молодого человека живая душа. Да, бесспорно...

Но...

Но тот, кто позднее не почувствовал бы, что и у самого Достоевского в его видениях и вымыслах что-то «не то» и «не так», что есть нечто глубоко произвольное в его основном творческом представлении, тот тоже может внушить недоверие. Недоверие другого рода: не к своей душевной отзывчивости, а, скорей, к своей умственной требовательности, к способности отличить существенное от случайного, найденное от выдуманного, то есть к тому, без чего нет настоящей зрелости. До чего у Достоевского все преувеличено, до чего схематично, «умышленно», если воспользоваться его же выражением, и как шатко это грандиозное здание, как торопливо, в каком смутном, рассеянном вдохновении оно возведено, будто из огромных, невиданных камней, однако без фундамента!

Если у меня всегда было и теперь еще остается какое-то сомнение в отношении Андрэ Жида, одного из самых проницательных людей нашего времени, то в числе других причин и потому, что он до глубокой старости сохранил фанатическую

преданность Достоевскому. Как он, казалось бы, все понимавший, во всем безошибочно разбиравшийся, мог тут сорваться и срыва не почувствовать? Андрэ Жид был чрезвычайно умен, и притом ум у него был не столько творческий, деятельный, полный своего содержания, — что нередко приводит к тому, что в голове не умещаются чуждые, чужие мысли, и она отшвыривает их как вздор, — сколько восприимчивый, открытый. А на Достоевском он споткнулся. Он читал Достоевского всю жизнь, он питался им и все-таки его недопонял. Может быть, объяснение в том, что Жид не знал русского языка. Достаточно сличить две-три странички любого из французских переводов Достоевского с оригинальным текстом, чтобы убедиться, что главное, то непередаваемо «достоевское», улетучилось и что в гладких, плавных фразах нет и следа знакомого нам лихорадочного, вкрадчивого, назойливого, единственного, неповторимого, несносного говорка.

XXXVI.

При всем том, что произошло в последние десятилетия, при тех сквозняках, которые дуют теперь во все щели нашего мира, Достоевский должен был стать властителем дум и душ. Иногда говорят, что литература влияет на жизнь, а не жизнь на литературу: нет, едва ли. Достоевский, может быть, и повлиял на душевный облик наших современников, но только потому, что время само подготовило ему почву для этого. Революции и войны расшатали умы и нервы, наполнили че-

ловеческие души отвращением к установившемуся укладу существования, создали тот тип анархически-мечтательного, раздраженного и как-то навыворот-эстетствующего интеллигента, которых в наше время хоть пруд пруди.

У него, у Достоевского, были свои причины быть больным. У его теперешних поклонников — причины совсем другие. Но в состоянии обнаружилось соответствие и нашлись черты если и не вполне одинаковые, то сходящиеся, одна за другую цепляющиеся, и это-то и вызвало страстное, исключительное влечение. Осуждать нечего и некого, но и разделять всеобщие восторги не обязательно. Достоевский ответствен за очень многое в современных литературных и художественных настроениях, — не виноват, а именно ответствен, — и, право, если хочется сказать «ответствен за порчу вкуса», то не в том значении слова «вкус», которое подразумевает любовь к изящным картинам и звучным стихам. Он ответствен за показную, непроверенную тревогу, возникшую в подражание ему, за опрометчивость в основных положениях, за новизну «во что бы то ни стало», провозглашенную, увы, Бодлером, но которую он, Достоевский, всеми своими открытиями и догадками, сам о том не думая, утвердил, ответствен за уверенность, что все, что угодно, можно вообразить и изобразить, раз мир все равно с каждым годом все больше уподобляется сумасшедшему дому. Короче, за коренную беззаконность тех или иных положений, за безумное метафизическое «все позволено», которое, раз прорвавшись, не скоро и не легко будет загнано обратно.

Достоевский, будто весь вытянувшись, глотнул воздуха, которым до него никто не дышал, и, собственно говоря, главный, даже единственно важный вопрос сводится к тому, был ли его опыт трагически-никчемным экспериментом, с неизбежным финалом у разбитого корыта, или действительно был обогащением, расширением горизонта. Было прозрение или был бред?

Вопрос риторический, если отнести его к тем людям, которые теперь распоряжаются наследием Достоевского как своим неотъемлемым достоянием. Никаких нет просветов из нашей жизни в иную, крышка захлопнута плотно, окончательно, нравится нам это или нет! Достоевский-то сам, может быть, и в силах был в своей разреженной атмосфере жить, но у них, у его последователей, закружилась голова, только и всего, и принялись они болтать лишнее, высокомерно поглядывая на тех, кто остался в стороне. Им-то что, им море по колено, и миражами своими они восхищены — до тех пор пока не настанет утро, рассвет и все опять водворится на свои прежние места. Скучные, бедные места, пусть и в скучном, бедном, плоском мире! Но других нет, и не стоит обольщаться, чтоб в конце концов опять стукнуться головой о крышку.

Все это должно было когда-нибудь обнаружиться. Достоевский заплатит, вероятно, за свое теперешнее влияние и славу долгим, на некоторое время даже преувеличенным помрачением, не той умеренной, почтительной переоценкой, которая постигла Тургенева, а озлобленной, несправедливой, вроде как после выхода из ловушки. Кстати,

Толстой, не любивший ни того, ни другого, сказал: «Тургенев переживет Достоевского» (у Бирюкова). Что это значит? Не мог же он не сознавать, что все-таки во всех отношениях Достоевский больше Тургенева, даже и как художник. По-видимому, Толстой о чем-то подобном и думал и, сопоставляя сравнительно-скромную и однообразную кухню с другой, роскошной, но сильно приперченной, оказал доверие первой.

XXXVII.

«Проблемы...»

Если говорить о «проблемах», то, разумеется, Достоевский неизмеримо щедрее и занимательнее Толстого. Да и кто же не знает, что задетыми или поднятыми им вопросами живет добрая половина новейшей западной литературы?

Но «проблемы» по существу призрачны, условны и требуют несколько суетливого участия в современной умственной путанице, без чего исчезают. «Проблемы» требуют аппетита к этой путанице. Конечно, бессовестно было бы со стороны любого из нас притворяться многомудрым пустынником, для которого ничего, кроме вечности, не имеет значения, и уж лучше на крайность окончательно в «проблемах» увязнуть, чем ломать комедию. Но Толстой-то комедии не ломал, и для него действительно «проблем», во множественном числе, не существовало. Он о них, вероятно, и не думал, а может быть, по складу его огромного, но малоподвижного, плохо дробившегося ума они и не были ему доступны. Для «проблем» нужно проникать в щели,

а глыба в щели не пройдет... Как бы то ни было, Толстой был на том духовном уровне, при котором «проблем» не *еще* нет, а *уже* нет.

Когда-то в Петербурге, еще до революции, Вячеслав Иванов в прениях по чьему-то докладу сказал фразу, поразившую меня и запомнившуюся, — и какой он был мастер окутывать всякую, даже заурядную свою мысль волшебными туманами! «В природе нет алгебры, ее выдумал человек...» Не совсем верно, если вдуматься. В строении природы алгебра есть, но она от человека скрыта, и человек ее не выдумал, а обнаружил. «Проблемы» тоже не выдуманы, но в стихиях действительно их нет: возникают они, скорее, в истории. Основное же отличие Достоевского от Толстого именно в том, что у одного был слух и чутье к истории при более чем натянутых отношениях с природой, а другой только в природе, то есть в стихиях, и жил, посматривая на историю хмурым, рассеянным и недоверчивым взглядом.

История движется, дробится, стирает в порошок человеческие судьбы и в ходе своем не может не оставлять за собой тысячи недоумений и загадок. Достоевский опередил свою эпоху, уловив, подхватив все, что она несла или только обещала, и наполнил свои романы намеками, отражениями, возражениями, утверждениями, развитием, искажениями ее сложнейшего идейного содержания. Читая «Бесы», например, мы невольно переносимся к тому, что происходит сейчас, и спрашиваем себя, верно ли оказалось пророчество. А иногда современность, «актуальность» Достоевского сказывается и в менее отчетливом виде, доходя до

едва различаемых оттенков в воззрениях и суждениях. Ницше признавался, что научился у Достоевского большему, чем у кого бы то ни было, а от Ницше до, скажем, Сартра заимствования продолжались непрерывно, порой безотчетно, порой сознательно, но всегда с такой наглядностью в преемственности, что без Достоевского, кажется, иные авторы и появиться на свет не могли бы.

Достоевский необычайно «интересный» писатель, и есть какое-то странное — и стоящее того, чтобы над ним задуматься! — соответствие между полицейски-авантюрной занятностью его фабул и тревожным, дразнящим изобилием затронутых им «проблем». У одних дух захватывает от любопытства, кто убил старика Карамазова, или сознается ли Раскольников, у других от того, можно ли вернуть билет на право входа в жизнь, или что именно символизируется баней с пауками, но глаза горят, книга зачитывается «до дыр», ночь проходит без сна. Конечно, и над «Анной Карениной» ночь порой проходит без сна. Но едва ли с тем же голым любопытством, едва ли с волнением, вызванным какой-либо особенно животрепещущей «проблемой». Алэн, большой французский философ, тончайший аналитический ум, и притом страстный почитатель Толстого, сказал о его мыслях: «...ces robustes pencées de l'age de fer»... И совершенно верно: железный, даже каменный век! В природе нет «проблем», нет личности, свободы, большевизма, всеобщей ответственности, государственной необходимости, европейской культуры, «страны святых чудес» и прочего и прочего, а два-три вечных, как сама природа, вопроса не поддаются ни

развитию, ни разработке и притом все-таки несут в себе всю мировую поэзию, все искусство от первого дня до последнего. Неизвестность остается точно такой же, какой была тысячи лет тому назад и какой будет через другие тысячи лет. В промежутке можно, разумеется, заниматься «проблемами», и даже не только можно, но и необходимо, — поскольку человек в истории живет, от нее страдает и с ней связывает свои надежды. Еще раз скажу: нелепо и бесчестно для среднего человека пофыркивать на историю, бежать от нее и от ее неурядиц, прикрывая бегство мнимой преданностью мнимым высшим, «единым на потребу», интересам. Но когда раз в столетье является человек, естественно обращенный лишь к «самому важному», нельзя и не почувствовать своего перед ним ничтожества.

(Не могу отказаться от кавычек при слове «проблема». Иностранные слова законны и необходимы, особенно в языке еще не вполне сложившемся, но от «проблем» веет чем-то слишком уж книжным, интеллигентским, приват-доцентским. Дурное слово, не само по себе дурное, а будто развращенное дурным и часто никчемным употреблением! Один видный философ-богослов читал несколько лет тому назад в Париже публичную лекцию, озаглавленную «Проблема рая»! Ну как после этого не почувствовать к «проблемам» отвращения!)

XXXVIII.

В сущности, Достоевский в русской и даже в мировой литературе — только эпизод.

Но революция, война — тоже эпизоды... И сразу вместе с этим внезапно мелькнувшим сопоставлением возникает, врывается другая мысль: как жаль, какое неповторимое несчастье, что он не дожил до наших дней! Никто в мире не в состоянии теперь сказать того, что сказал бы он — о человеке, об одиночестве, о потере всех прав и всех опор, о нищете, и не только нищете материальной, а об исчезновении всяких обязательств, о горестном счастье, с этим связанном, о грубости и безразличии окружающего, о тупой жестокости истории... Есть, правда, сейчас один писатель, который на эту тему набрел, писатель, у которого чутья больше, чем дарования, — Ремарк в «Триумфальной арке». Но Ремарк, увидев и наметив тему, лишь скользнул по ней, да если бы это и не было так, где же у него силы, чтобы с ней справиться?

Тут нечего было бы описывать, не о чем рассказывать. Нет, я представляю себе Ивана, который поговорил бы на эту тему с Алешей, и те слова, которые нашел бы Иван, чтоб растолковать все случившееся раз навсегда, в предостережение будущему, как будто еще не к тому готовому. Достоевский оказался бы в области, где у него нет соперников, он один попал бы в верный, нужный тон, его горячечный пафос вырвался бы на этот раз из самых глубин его духа, а если бы будущее, по всей вероятности, и прошло мимо, «не моргнув», то все же осталось бы утешение, что хоть кто-то попытался его расшевелить, остановить, в уровень с веком, с ужасной темой века! Ну да человек бывает в положении, когда он никому не

нужен и не может никому принести пользы. Что же из этого? Для того ли была культура, развитие, философия, все прочее, дивная наша музыка, для того ли... ловлю себя на желании перефразировать незабываемую страницу Леонтьева об Александре Македонском «в пернатом своем шлеме» и о прочих величиях, кончившихся гражданином в «куцем пиджачке»... для того ли, чтобы прийти к заключению, что такой человек действительно только обуза и нечего с ним считаться? Для того ли две тысячи лет тому назад вспыхнул духовный пожар, чтобы при последних его догорающих угольках невозмутимо связывать мораль со статистикой и одно выводить из другого? И притом с передержками, с недомолвками и малодушной боязнью провозгласить во всеуслышание то, что таится в уме? Ну, да, может быть, действительно есть «нисходящий» класс и есть «восходящий». Что же из этого? Если те, которые «восходят», хотят действительно до чего-то довзойти, не следовало ли бы им задуматься о цене и оборотной стороне восхождения? О том, что все-таки нет масс как неделимого целого, а есть миллионы отдельных воль, стремлений и страданий? О круговой поруке перед неизбежностью смерти и о том, как «бестиален» культ большинства, силы, молодости? О том, не разлетится ли при рубке весь лес в щепки? О том, стоит ли игра свеч?.. Я только начинаю бередить тему, и уже, как бирюльки, вопрос тянется за вопросом.

Человек до наших дней не отдавал себе отчета, что такое общество. Как неизменно бывает в благополучные времена, он жил среди декораций

и, не имея случая испытать их прочность, не догадывался, что они из картона. Но декорации, очевидно подгнившие, разлетелись при первой же буре, и истина обнаружилась, и притом не только в обнаженном, полном, трагическом виде, как в России, но и из-под еще державшихся обломков и лохмотьев, как здесь, на Западе. «И от судеб защиты нет». Нам, русским, это дано было узнать ближе, чем кому бы то ни было, и в этом смысле мы могли бы кое-что рассказать остальному миру. Но еще раз, еще раз, еще раз, как жаль, что нет Достоевского! История ошиблась, поторопившись выпустить его на полстолетия раньше, чем следовало бы. Он один нашел бы в наши дни вдохновенье для новых «записок» из нового «подполья», которые краской стыда легли бы на целую эпоху и на столь дорогое ей понятие прогресса.

Остракизм, которому подвергнут Достоевский в советской России, принято объяснять его реакционными взглядами. Но корень советской вражды к Достоевскому, несомненно, глубже. Из реакционера сделать передового, свободолюбивого деятеля в Москве, когда нужно, умеют, и недалеко ходить — Гоголя к юбилею там препарировали так, что от его реакционности, да и от всех его мучений и сомнений, не осталось и следа. Над Достоевским, во внимание к его всемирной славе, было бы проделано то же самое, если бы не этот беспокойный, взрывчатый его склад, который опаснее консерватизма. Удивительное замечание Толстого, — по-моему, самое проницательное, что о Достоевском вообще было сказано, — «в нем есть

что-то еврейское» — вспоминается сразу, как продолжение и подтверждение догадки. Евреи, до известной степени, были и остаются эмиграцией человечества с теми же темами, теми же обидами и укорами.

XXXIX.

Мережковский: «Они нас ненавидят, и они нас боятся».

Они — это, конечно, европейцы, Запад. Мережковский утверждает, что ему давно уже приходится сталкиваться с глухой неприязнью к России и что отношение это вовсе не ново и выходит далеко за пределы теперешней политики. По привычке своей он сгустил краски, «нажал педаль», притворно ужасаясь ненависти и боязни. Но за ораторской игрой было и верное чувство.

Действительно, неприязни ко всему русскому на Западе много. В частности, через все пренебрежительные оценки, через отрицательные рассуждения о России проходит одна мысль: Россия ничего оригинального не создала, она все заимствовала у других. Это было одним из основных доводов Чаадаева, об этом писал маркиз де Кюстин в книге, возведенной теперь в «пророческие» и где при несомненном уме и остроте взгляда есть и изрядная доля невежества, лжи и вздора. А с тех пор это повторяется на все лады. Даже Тургенев в «Дыме», раздраженный слепым и наивным русским мессианизмом, несколько опрометчиво присоединился к общему хору. В России будто бы нет ничего, полностью ей принадлежащего, кроме вар-

варства, рабства, тьмы и в лучшем случае какой-то нигилистической жажды все стереть с лица земли ради неясных будущих свершений.

Не будем сейчас спорить «по существу». Согласимся, что действительно русская цивилизация в последние два века была кое в чем слепком с цивилизации европейской... Но она-то сама, эта новая европейская культура, полностью ли она самостоятельна и оригинальна? Все то, чем она живет, ею ли единственно и создано? В вопросе этом нет никакого злорадства, нет и тени полемической запальчивости. Наоборот, Европа была и остается для нас «страной святых чудес», тысячу раз я готов повторить это, но, с совершенной искренностью кланяясь ей, храня в сердце бесконечную ей благодарность, позволительно вспомнить все-таки, что и ей самой есть кого благодарить за уроки. Весь смысл культуры — в преемственности, в отказе от национальных «авторских прав», и нельзя, не сойдя с ума, требовать в этой области оригинальности во что бы то ни стало. Новая Европа ничуть не теряет своей «святости» от сознания, что она не только творила, а и перерабатывала. Пусть же и за нами признает она право на переработку.

В нашем мире было только два подлинных, несомненных первоисточника — Афины и Иерусалим, да еще, пожалуй, — но в меньшей все-таки степени, на более низком уровне, — Рим, откуда человечество взяло государственные и правовые идеи. Бесспорно, и английская, и французская, и итальянская культуры внесли что-то свое, неотъемлемое в общее достояние. Англии мир обязан вы-

соким понятием гражданственности, истинного народовластия, — но даже и это, казалось бы, столь характерно-британское по духу, британски-горделивое по складу, могло ли бы оно возникнуть без того, чтобы римские и палестинские веяния, скрестившись и смешавшись, не принесли плодов? А Франция? «Париж — новые Афины», — как с видимым и понятным удовлетворением говорят сами французы. Действительно, это новые Афины, откуда в течение нескольких веков струился свет на весь остальной Запад. Но ведь те-то, настоящие Афины, маленький город на пыльных раскаленных скалах, чудо истории, никаких сравнений в памяти не вызывали? Ренан ездил молиться на ступенях Акрополя и был прав: если у него был Бог, то именно тот, который там впервые людям открылся. Паскаль, конечно, поехал бы молиться в другой город, дальше, на Восток, но и он чувствовал, что его «дом», его истинная «родина» — вне той земли, где приходится ему жить. В Британском музее хранятся обломки мраморов, когда-то украшавших Парфенон; на них поистине «без волнения смотреть невозможно», и вовсе не потому, чтобы они действительно казались так исключительно прекрасны, — в этом разбирается один человек из тысячи! — а потому, что они «оттуда», что их видел Платон, видел Софокл... Все европейское пришло «оттуда», осложнившись в течение веков иными, христианскими мотивами. «Фаустовское», по Шпенглеру, томление о бесконечности — от христианства. Нет в новой европейской культуре ни одной великой книги, ни одного сколько-нибудь значительного явления без этой двоя-

щейся родословной, и, следовательно, оригинальность этой культуры все-таки условна, и в процессе ее ковки были переплавлены иные, не ей принадлежащие руды... Конечно, у нас, русских, все это было проделано слишком торопливо, и даже с каким-то механическим привкусом, что и вызвало нескончаемый, неразрешимый славянофильско-западнический спор. Конечно, мы многое получили в готовом виде, из вторых рук. Конечно, были мы не столько наследниками, сколько учениками. Но если бы древний римлянин взглянул на то, что сделали потомки презираемых им готов и галлов, он, пожалуй, тоже обвинил бы их в обезьянничаньи — и при этом тоже ошибся бы. В культуре почти все, что кажется подражанием, есть продолжение, обработка, усвоение общих сокровищ, а сказать, что Россия ничего в этом смысле не сделала, может только тот, кто склонен заведомо называть белое черным! Нас попрекают Византией, вернее, византийством, темным, формальным, лукавым византийским духом, — но неужели русское христианство, например, у Нила Сорского, или более позднее, вплоть до Федорова, византийским и осталось? Или неужели сквозь «галломанию» не прикоснулась Россия и к другому вечному источнику всяческой ясности и гармонии?[1]

[1] Тэн — по свидетельству М. де Вогюэ — утверждал, что Тургенев — «единственный эллин» в новой литературе. Это, конечно, преувеличение. Но возможно, что сквозь Тургенева Тэн почувствовал его учителя, Пушкина, и если это так, никакого преувеличения в словах его нет.

До известной степени, значит, и со всякими оговорками и «мы» и «они» — в одном положении, и «мы» и «они» должны бы сознавать себя должниками. Разница есть. История оказалась к «ним» благосклоннее. Но и «мы» и «они» живем на чужой счет.

Спора не стоит начинать. Спор был бы пустым, а по нынешним временам даже и тягостным. Спорить, в сущности, и не о чем, и будущее рано или поздно наведет во всех этих недоразумениях порядок. Но трудно оставить без возражений или хотя бы только примечаний все то несправедливое, что было о России сказано и написано.

XL.

Отчего мы уехали из России, отчего живем и, конечно, умрем на чужой земле, вне родины, которую, кстати, во имя уважения к ней, верности и любви к ней надо бы писать с маленькой, а не с оскорбительно-елейной, отвратительно-слащавой прописной буквы, как повелось писать теперь. Не Родина, а родина: и неужели Россия так изменилась, что дух ее не возмущается, не содрогается всей своей бессмертной сущностью при виде этой прописной буквы? На первый взгляд — пустяк, очередная глупая, телячье-восторженная выдумка, но неужели все мы так одеревенели, чтобы не уловить под этим орфографическим новшеством чего-то смутно родственного щедринскому Иудушке?

«Последнее прибежище негодяя — патриотизм», сказано в «Круге чтения» Толстого. Не всякий патриотизм, конечно, и сам Толстой основными

чертами своего творчества, смыслом и сущностью явления «Толстой» опровергает этот полюбившийся ему старый английский афоризм. Дело, по-видимому, в том, что приемлем патриотизм лишь тогда, когда он прошел сквозь очистительный огонь отрицания. Патриотизм не дан человеку, а задан ему, он должен быть отмыт от всей эгоистической, самоупоенной мерзости, которая к нему прилипает. С некоторым нажимом педали можно было бы сказать, что патриотизм надо «выстрадать», иначе ему грош цена. В особенности патриотизму русскому.

Отчего же все-таки мы уехали из России? Или, точнее, раскаиваться ли в том, что уехали, считать ли это ошибкой, даже несчастьем, исторически, может быть, и оправданным, но все-таки несчастьем, тяжкой бедой, на нашу долю выпавшей?

Не могу удержаться от того, чтобы сразу, до всяких объяснений и разъяснений, не сказать: нет, нет, нет, не было ошибки, да и несчастья нет, поскольку всякие практические выводы, с бесправным положением беженца, со скитальчеством и неуверенностью в завтрашнем дне, с холодно-вежливым безразличием иностранцев к самому факту эмиграции во всех ее проявлениях, поскольку все это искупается с лихвой — с огромной, неисчислимой лихвой — ощущением какой-то почти метафизической удачи, решения долго смущавшей задачи! Даже больше: освобождения, — как бывает после трудного, страшного шага, который наконец сделан. Произошло то, что должно было произойти. Исторический рисунок, долго остававшийся бессвязным, внезапно оказался осмыслен, и

линии его сошлись. Надо было, чтобы именно было так, и в этом великое наше удовлетворение, даже если признать, что на неожиданном для нас экзамене мы, скорей, сплоховали... Братья-беженцы, по всему свету рассеянные, одиночки-литераторы, поэты, известные и никому не известные, мысленно мне хочется пожать руку тем из вас, которые это чувствуют, и я уверен, что есть руки, которые протянулись бы в ответ.

Оттого мы уехали из России, что нужно нам было остаться русскими в своем, особом обличии, в своей внутренней тональности, и, право, политика тут ни при чем или, во всяком случае, при чем-то второстепенном. Да, бесспорно, революция дала нашей судьбе определенные бытовые формы, отъезд фактический, а не аллегорический был вызван именно революцией, именно крушением привычного для нас мира. Разумеется, возможность писать по-своему, думать и жить по-своему, пусть и без пайков, без разъездов по заграничным конгрессам и без дач в Переделкине, имела значение первичное. Кто же это отрицает, кто может об этом забыть? Но не все этим исчерпывается, а если бы этим исчерпалось, то действительно осталось бы нам только «плакать на реках вавилонских». Однако слез нет и плакать не о чем. Понятие неизбежности, безотрадное и давящее, с понятием необходимости вовсе не тождественно: в данном случае была необходимость.

Есть две России, и уходит это раздвоение корнями своими далеко, далеко вглубь, по-видимому, к тому, что сделал Петр, — сделал слишком торопливо и грубо, чтобы некоторые органические тка-

ни не оказались порваны. Смешно теперь, после всего на эти темы написанного, к петровской хирургической операции возвращаться, смешно повторять славянофильские обвинения, да и преемственность тут едва намечена, и, думая о ней, убеждаешься, что найти для нее твердые обоснования было бы трудно. Есть две России, и одна, многомиллионная, тяжелая, тяжелодумная, — впрочем, тут подвертываются под перо десятки эпитетов, вплоть до блоковского «толстозадая», — одна Россия как бы выпирает другую, не то что ненавидя ее, а скорей не понимая ее, косясь на нее с недоумением и ощущая в ней что-то чуждое. Другая, вторая Россия... для нее подходящих эпитетов нашлось бы меньше. Но самое важное в ее облике то, что она не сомневается в полноправной своей принадлежности к родной стихии, не сомневается и никогда не сомневалась. Космополитизмом она не грешна; «космополит — нуль, хуже нуля», сказал, если не изменяет мне память, Тургенев в «Рудине». На что бы она ни натолкнулась, в какие пустыни ни забрела бы, она — Россия, дух от духа ее, плоть от плоти ее, и никакими охотнорядскими выталкиваниями и выпираниями, дореволюционными или новейшими, этого ее убеждения не поколебать.

Мережковский когда-то сказал в «Зеленой лампе», — и слова его поразили меня своей меткостью — или, может быть, думаю я теперь, тем неподражаемым умением преподносить эффектные афоризмы как глубоко проникновенные мысли, которым Мережковский отличался в своих словесных импровизациях под конец публичных споров: «Первым русским эмигрантом был Чаадаев».

Нет, это только поверхностно верно, хотя высочайший диагноз, признавший Чаадаева умалишенным, и совпадает с некоторыми теперешними утверждениями. Чаадаев очень умен, но надменен и в самом одиночестве своем, с примесью дендизма, как-то вызывающе декоративен: нет, гарольдов плащ москвичам не совсем к лицу. Но замечательно все-таки, что Мережковский уловил в исторической природе эмиграции нечто такое, что не одной только революцией было вызвано, а возникло задолго до нее. Не Чаадаев, так кто-нибудь другой, не одна книга, так строчка тут, полстранички там, обрывок стихотворения, вздох, не нашедший логического выражения, воспринятый современниками как нелепость, но предвидение отрыва, отказа, освобождения, смутное предчувствие короткого, как молния, счастья средь повседневных наших дел, да, «лицемерных», средь «всякой пошлости и прозы».

Эмигрантская литература должна была бы это подхватить. От чаадаевского наследия отталкивало ее, однако, то, что она отнюдь не была склонна променять Россию на Запад и никакой обетованной землей Запад для нее не был и не стал. Она искала родины, которая географически перестала быть Россией, она бежала в какое-то «никуда», «в глубь ночи», в русское рассеяние, внезапно наполнившееся для нее смыслом, но не на Запад, как могло бы показаться на первый взгляд. Запад был случайностью, Запад «подвернулся». Она ничуть не была соблазнена блеском, скажем, парижской литературной культуры, хотя ясно этот блеск видела, полностью его признавала и отдавала себе

отчет, что в Париже ей есть чему поучиться. Запад сиял перед ней во всем своем прочном, многовековом ореоле, а случаи вроде многим из нас памятной комически-высокомерной, расейски-заносчивой статьи Шмелева о Прусте были исключением. Но если бы нас спросили: то ли это, чего вы ищете? — ответ был бы: нет, не то. Дома на Западе мы не были.

XLI.

Чего же мы хотели? Думаю — по крайней мере надеюсь, — что нет никого, кто не понял бы беспредметности такого вопроса. Настаивать на нем можно только при предвзятом желании изобличить, вывести на чистую воду, во что бы то ни стало обнаружить наготу короля. Мы знали, чего не хотим, но чего мы хотим — не знали. Однако в плоскости исторической кое-что можно было бы объяснить, сославшись на тот литературный период, который принято называть декадентством или модернизмом. К 1917 году он как будто уже выдохся, однако не совсем и вскоре ожил, правда, в уже ослабленном, почти что призрачном виде.

Было в русском модернизме много глупого, шарлатански-крикливого, ребячески-вычурного — это бесспорно. Но было и что-то незабываемое, редчайшее, и, как никто другой, чувствовал это Блок, «трагический тенор эпохи», по определению Ахматовой, — трагический потому, что безнадежно и беспомощно хотелось ему в мечте обнаружить правду.

С Блоком у нас счеты трудные, до сих пор не конченные. Но с каждым годом отчетливее вырисовывается то, что облик его возвеличивает. Блок дорог вдвойне: и тем, что он уловил в воздухе своего времени струйки, которыми никто прежде не дышал, и тем, что он отказался от них, подозревая — ошибочно или нет, как знать? — обман, иллюзию, «последнюю лесть горше первой». Блока измучила потребность этического оправдания эстетики, и это дает ему среди даровитых и ученых современников, которые претендовали на учительство, место исключительное. Блоку чужда была беспечность, столь характерная для остальных деятелей и столпов русского Ренессанса. Блок — друг, верный спутник и потому-то и учитель: чувствуется, что на полдороге он не заскучает и не бросит. Блок запутался, зашел в тупик, но потому-то и близок всякому, кто знает, что от тупика не застрахован. Замечание, которое, к сожалению, надо сделать хотя бы ради беспристрастия: по-видимому, Блок, при всем своем чутье, при глубокой интуитивной мудрости, не был умен в смысле сметливости, в смысле быстроты и точности рассудка, в том смысле, в каком обаятельно умен, например, Пушкин, — что отчасти и объясняет его срыв к «Двенадцати» (с удивительной авторской записью в дневнике: «Сегодня я — гений») или некоторые замечания в письмах. Блок оказывался иногда беззащитен перед натиском той грошовой, лжемистической одури, которую культивировало его окружение. Но в главном, в основном он остался на высоте, никем в то время не достигнутой. По внутренней линии он восходит, конечно, гораздо вер-

нее к Толстому, чем к Вячеславу Иванову или даже к Соловьеву, — хотя помню, как Алданов, толстовец, так сказать, дословный, сердился и с взволнованным недоумением разводил руками, когда я ему об этом говорил. Блок — нищета, предпочтенная богатству, неизвестно каким путем нажитому, победа над себялюбивым удовлетворением под предлогом принадлежности к «элите», и, в конце концов, именно в силу своей безупречной душевной честности он залог того, что не все в догадках русского модернизма было досужей блажью и выдумками. Что-то действительно мелькнуло.

У нас было к этому «что-то» чувство верности, обостренное одиночеством и веяниями, доходившими из России. «Тень несозданных созданий...» — готовы были мы повторить как пароль. Нам представлялось, что надо бы это продолжить, и тут же мы останавливались, смущенные воспоминанием о Блоке, его «трагическим» примером. В глубине души по складу своему мы, — придавая этому личному местоимению значение самое собирательное, расширяя его до включения анонимных, неведомых друзей, разбросанных волею судьбы по всему свету, — в глубине души, что же скрывать, мы были людьми толка скорей «достоевского», чем толстовского, воспринимая Толстого преимущественно как упрек. И конечно, те леденящие, сулящие короткое головокружительное блаженство эфирные струйки, о которых я упомянул, конечно, проскользнули они в нашу литературу при содействии Достоевского или еще до него, но еле-еле уловимо с Лермонтовым. Пушкин и Толстой — наши вершины, но беседа у нас легче

налаживалась с Достоевским и Лермонтовым, они меньше нас стесняли, и в общении с ними мы были свободнее. С Достоевским в особенности, по меньшей его, сравнительно с Лермонтовым, загадочности. В вольных, произвольных, нередко плохо кончающихся умственных странствованиях Достоевский даже казался вожатым с Бедекером в руках. Только полюбопытствовать насчет маршрута, заглянуть в книжку он нам не давал, да и знал ли сам, что в ней, на последних ее страницах, содержится?

XLII.

Геббельс говорил, что при слове «культура» первая его инстинктивная реакция — схватиться за револьвер. Револьвера у меня нет. Но когда я слышу и читаю размышления о «парижской ноте» русской поэзии, чувства у меня возникают отдаленно-геббельсовские.

Чем ближе был человек к тому, что повелось «парижской нотой» называть, чем настойчивее ему хотелось бы верить в ее осуществление, тем больше у него сомнений при воспоминании о ней. Что было? Был некий личный литературный аскетизм, а вокруг него или иногда в ответ ему некое коллективное лирическое уныние, едва ли заслуживающее названия школы. Для образования школы подлинной вовсе не обязателен был бы признак географический, в данном случае — парижский. Состав пишущих был в Париже случаен, отбор единомыслящих, единочувствующих ограничен, и поэтическое содружество поневоле осталось искусст-

венным. «Нота» могла бы сложиться иначе, и к этому я снова, не в первый уже раз, возвращаюсь: могли бы, должны были бы найтись друзья, раскиданные по разным странам, одни молодые, другие, может быть, изведавшие все, что суждено было узнать тем, кого революция застигла взрослыми, духовные родственники, об одинаковом догадывавшиеся, одинаковое улавливавшие, готовые наладить перекличку еще до стихов, еще до того, как влюбились они в Анненского и отвергли обольщение бальмонтовщины во всех ее видах.

В Париже было три-четыре поэта, которым жизнь помешала, однако, одушевить «ноту» и в согласном порыве довести ее до убедительной высоты и силы. Остальные, мнимые, ее адепты — не в счет, по крайней мере в качестве адептов именно «нотных», да ведь и сообщено им было только то, чего следует избегать: то, что надлежит развить, осталось тайной. Утверждают, что авторство выражения «парижская нота» принадлежит Поплавскому, не имевшему к ней, кстати сказать, почти никакого отношения, творчески слишком непоседливому и в даровитости своей слишком расточительному, чтобы какую-либо дисциплину принять.

В основе, в источнике было, конечно, гипнотически-неотвязное представление об окончательном, абсолютном, незаменимом, неустранимом: нечто очень русское по природе, связанное с вечным нашим «все или ничего» и с отказом удовлетвориться чем-либо промежуточным. На Западе мы не были «дома» именно потому, что здесь это «или—или» ни сочувствия, ни отклика не встречает. Французы предлагали нам оценить какие-нибудь необыкно-

венно смелые, меткие, красочные образы, а мы недоумевали: к чему они нам? Образ можно отбросить, значит, его надо отбросить. Образ, по существу, не окончателен, не абсолютен. Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из «да» и «нет», из «белого» и «черного», из «стола» и «стула», без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без поэзии! Виньетки и картинки, пусть и поданные на новейший сюрреалистический лад, нам не нужны.

Основное было именно в ощущении: то, что может поэзией не быть, не должно ею казаться, недостойно ее имени. Поэзия — порыв, полет, говорили и говорят нам, поэзия — это крылатое вдохновение, забвение обыденщины, веселое преображение, радость, торжество, свобода. Допустим. Но если поэзия — порыв, полет и все прочее в том аспекте, в каком это неизменно вызывает «переходящие в овацию» аплодисменты любителей всего изящного и красивого, то разрешите вернуть билет на вход в поэтические сады. Не интересно. «Нота», может быть, и скучна, но это еще скучнее.

В поэзии должно, как в острие, сойтись все то важнейшее, что одушевляет человека. Поэзия в далеком сиянии своем должна стать чудотворным делом, как мечта должна стать правдой: если вдуматься, это то же самое. Но с каждой написанной строчкой приходилось горестно убеждаться, что это недостижимо, и оттого мы умолкали или же писали стихи, над которыми сами готовы были усмехнуться: писали по привычке, от нечего делать, как от нечего делать ходят в гости или обсуждают текущие новости.

Зинаида Гиппиус однажды сказала мне: «В сущности, вы хотите, чтобы в стихах не было слов». Да, но не в фетовском значении «сказаться без слов», то есть унестись на поэтических крылышках в поднебесную высь, совсем не в этом смысле; нет, найти слова, которые как будто никогда еще не были произнесены и никогда уже не будут заменены другими. Их у нас не было, и оставалось только свернуть с дороги, которая от волшебной удачи отдаляла и представление о ней искажала. Другая формула принадлежит Поплавскому. После одного из долгих ночных монпарнасских разговоров он, помолчав, сказал, будто подводя итог своим возражениям:

— Знаете что это такое? Это — поэзия от Пилата.

Остроумно в высшей степени: умываю руки, не могу сделать того, что хорошо, но не хочу и участвовать в том, что плохо. В устах Поплавского это был упрек. Но ему было чуждо многое, что внушено было крушением нашего мира и образовавшейся пустотой. А «нота», конечно, была с этим связана: хотелось спросить себя, чтó без привычных подпорок надо мне в жизни сделать и куда без костылей могу я дойти?

Конечно, это — эмигрантская тема, одна из тех тем, которые в эмигрантской литературе должны были бы оказаться развитыми. А отчасти это и наследие русского символизма в том, что не было им досказано. Отцы, может быть, и отреклись бы от детей, но дети свою родословную знают, и в ней их не собьешь.

XLIII.

Оправдание черновиков — или апология записных книжек.

В статье, в книге одно закругляешь, другое искусственно связываешь с тем, что в связи не нуждается. Нельзя без этого обойтись, как нельзя, идя в гости или на собрание, не придать себе более или менее пристойного, общепринятого вида. Уважение к читателю? Никто не спорит, к читателю действительно надо относиться с уважением. Но в результате остывшая мысль подогревается, разогревается и выдается за мысль живую. «В предыдущей главе мы указывали...», «из вышеизложенного следует...» и так далее. Часто случается, что главное, самое живое — моментальная фотография мысли — исчезает бесследно, растворившись в плавных, гладких периодах.

Да, бесспорно, за великими, основными человеческими книгами чувствуется долгая работа, огромное волевое усилие, проверка, охват темы во всем ее развитии, будто с птичьего полета. Оправдание черновиков может обернуться оправданием лени. Но иные, не «основные» книги выиграли бы, если бы остались в черновиках, как выиграла, например, посмертная книга Бунина о Чехове, которую он, Бунин, наверно обезличил бы, если бы, готовя ее к печати, выбросил, сгладил отдельные, в сердцах сделанные замечания на полях прочитанного. Да и вообще, кто же из пишущих этого не знает: бывает, исправляешь, час-другой подчищаешь, а потом с удивлением убеждаешься, что восстановил именно тот текст, который написан был сразу.

4 Зак. 3049

Критики требуют от авторов стройной последовательности изложения, солидной согласованности суждений, сплошь и рядом не замечая под этой внешней связностью отсутствия внутреннего единства. А только оно, это внутреннее единство, и способно что-то удержать от развала, связать, одухотворить, при любых противоречиях и скачках от одного к другому.

Оправдание черновиков, апология записных книжек... Есть, однако, и опасность: болтовня, розановщина, излишек внимания к самому себе, развязность, кокетство. Но ведь в каждой написанной строке таится опасность, от этого не уйдешь, — «боязнь фразы есть тоже фраза», по Тургеневу, — и в черновиках она всего только очевиднее. Риск «размахнуться Хлестаковым» в них сильнее, но тем сильнее и стремление остаться собой, каково бы твое «я» ни было. От себя тоже не уйдешь.

XLIV.

Розановщина... Пренебрежительное это словечко вырвалось у меня сейчас почти безотчетно. Нет, Розанов все-таки замечательный писатель, и помню, было время, когда был он для меня писателем чуть ли не единственным, «властителем дум».

Шестов справедливо заметил, что из всех наших «новых христиан» один только Розанов умеет произносить имя Божие в верном тоне. У Бердяева и даже у Булгакова, священника, умения этого не было, и с марксистско-журнального лексикона они беспрепятственно перешли к темам

религиозным, не уловив насущной потребности писать и выражаться иначе. Розанов кощунствовал, называл Христа «царем ужаса», дошел в удивительных своих примечаниях к рассказу Сикорского о сектантах-самосожженцах в терновских плавнях и до иного, худшего, но неизменно чувствовалось: нет, оскорбления Христа тут нет, это бунт человека, который и сам смутно тоскует, как бы «пострадать», он болен христианством, ранен, отравлен им, и он мечется, хорошо зная в глубине души, что никакого избавления не хочет.

«И да сияют эти образа вечно». Это ведь Розанов написал, и никогда Бердяеву не написать бы предисловия к «Людям лунного света», никогда он со своим сильным, ясным аналитическим умом не поднялся бы к тому, до чего неизвестно как договаривался в минуты просветления болтун и путаник Розанов.

Конечно, болтуном он был. Нельзя сравнивать его с Паскалем, как делают это некоторые неумеренные его поклонники. Не говоря уж о мощи разума, у Паскаля был дар молчания, остановки, оставшийся Розанову неведомым. Паскаль обрывает фразу, наполняя образовавшуюся пустоту таинственным смыслом. Розанов говорит, говорит, пришепетывает, подмигивает, ухмыляется, намекает, сам себе возражает — и случается, иногда недоумеваешь: только-то и всего, Василий Васильевич? Нельзя ли было бы покороче? Ничего и отдаленно схожего не может случиться над книгой Паскаля.

А все-таки писатель замечательный, природно устремленный к «самому важному». Среди новых русских литераторов он один мог себе позволить

решительно все, не «размахиваясь Хлестаковым», потому, вероятно, что был до самозабвения искренен и меньше всего думал о впечатлении, которое слова его произведут.

(Давнее мое сомнение, упрек самому себе: отчего никогда не написал, — а теперь уже не напишешь, поздно! — о том, что́ ночью, когда не спится, обрывками проносится в мозгу, о том, что́ с первых лет юности, может быть, именно под воздействием Розанова, казалось «самым важным»: о Евангелии и о том, что́ в нем загадочно, об отсутствии «дна» в этой книге, о неистребимости надежды, которая мерцает и светит вдалеке, куда бы человек ни забрел, как бы ни запутался, о преодолении отчаяния, о том, рассчитана ли была евангельская проповедь на тысячелетия или, наоборот, на представлявшийся неминуемо близким конец мира, — да, отчего не попробовал написать об этом, «средь всякой пошлости и прозы», постыло-привычной, обманчиво-поэтической, попытавшись перенять у Розанова его непогрешимое чутье ко лжи и правде слова, продолжив его темы, заразившись его страстностью в этих темах, но оставшись все-таки самим собой. А потом спохватываешься — и хорошо, что не написал! Подумаешь, о «самом важном»! Что получилось бы? Тремоло в голосе, самолюбование, чернила, чернила, чернила, будто бы ставшие кровью. Пиши, голубчик, лучше о внутренних отличиях пятистопного ямба от четырехстопного, тут, по крайней мере, и сорваться трудно.)

XLV.

У нас, в нашей культуре, да и вообще на Западе, — поскольку мы все-таки — Запад и от него, надеюсь, не отречемся, — у нас есть только две большие темы: христианская и эллинская. Все сколько-нибудь значительное связано с их развитием, а в особенности с их скрещиванием, с их борьбой.

У французов до сих пор все идет по этим двум скрещивающимся и расходящимся линиям — линии Монтеня и линии Паскаля, — и духовная родословная каждого сколько-нибудь значительного французского писателя этими именами определяется. Да и могло ли быть иначе? Больше трехсот лет тому назад французам было в упор, без обиняков, разъяснено, в чем тут дело: разъяснено не с уклончивой объективностью свидетеля, а с нетерпимостью участника, не допускающего колебаний, требующего «да или нет», «со мной или против меня». Несколько строк мученика Паскаля в упрек жизнелюбцу Монтеню, тот будто бы только тем и озабочен, чтобы «умереть безмятежно и малодушно»! — несколько этих строк так невероятно проницательны, так гениальны в способности схватить самую сущность разлада, что нечего к ним и добавить.

У Сент-Бева, в одной из его понедельничных «Бесед», есть замечательная и фантастическая страница: похороны Монтеня.

За гробом учителя, «основоположника» идет вся французская литература. Мадам де Севинье рассказывает придворные сплетни и слухи. Буало, окруженный учениками, толкует о правилах

построения трагедии, Вольтер, насмешливо косясь на Руссо, «обезьяну, вообразившую себя Сократом», тут же сочиняет на него эпиграммы, Виктор Гюго вполголоса декламирует новую оду — словом, все как обычно, каждый занят своим, до покойника никому нет дела.

Последним, вдалеке от других, идет Паскаль — и «только он плачет».

Это — несколько произвольный комментарий к монтене-паскалевскому расхождению. Но комментарий, полный смысла.

XLVI.

В России дело осложнено тем, что в нашем Монтене, Толстом, неожиданно проснулся Паскаль, впрочем, дремавший в нем смолоду, — и возненавидел, сжег все то, к чему предназначен он был природой.

Но и для нас очерчен тот же круг идей, с естественными индивидуальными особенностями двух писателей, которыми они отчетливее всего представлены: Толстым и Достоевским, конечно. Оттого мы постоянно о Толстом и Достоевском и говорим, и будем говорить еще долго, сколько бы ни удручало это и ни раздражало любителей новинок и так называемых «новых течений». Имена можно было бы и не называть, в разговоре мало что изменилось бы, разве что он потерял бы ясность.

Достоевский тоже плакал бы на похоронах Толстого и, вероятно, тоже плакал бы «один», — в особенности если представить себе Достоевского истинного, такого, каким он отражен в великих

своих романах, то есть освободившегося от суетливой и завистливой мелочности, одолевавшей его в повседневной, внетворческой жизни.

Кстати: теперешняя Россия, советская, так страшно опровинциалилась, так обездарилась, несмотря на обилие несомненных и больших талантов, именно потому, что, приняв и усвоив тему Монтеня, пусть и с ленинскими поправками, лишь «постольку-поскольку», она игнорирует тему Паскаля. Нет скрещения, нет трения, дающего огонь, и оттого все стало бесцветно и пресно. Кажется, в последние годы Россия начинает это чувствовать, и дай ей Бог поскорее очнуться!

XLVII.

По Альберу Камю, мечта каждого подлинного писателя, «усвоив все то, что есть в “Бесах”, написать когда-нибудь “Войну и мир”». Или иначе: «ценой смирения и мастерства найти путь к общечеловеческому искусству».

Замечательно, что Камю упомянул о смирении, о скромности, — «humilité» во французском тексте. Едва ли он знал, что Чехов сказал о Достоевском почти то же самое: «Не достигает скромности». Чехов о Достоевском говорил вообще неохотно, будто стесняясь признаться, что не любит его, вроде того как Чайковский стеснялся говорить, что не любит Шопена. Карамазовские бунты и неприятия мира были, по-видимому, ему не по душе: о чем тут толковать, все и так ясно, «пойдем лучше чай пить», как говорит старый профессор в «Скучной истории».

XLVIII.

Надо бы установить, был ли когда-нибудь хоть один случай несомненного, бесспорного предвидения будущего. Говорят, св. Серафим Саровский видел убийство Александра II, рассказывают и о многом другом в том же роде... Но насколько все это достоверно?

Если можно видеть будущее, хотя бы только один-единственный раз увидеть его, значит, будущее где-то есть: есть. Нельзя видеть того, чего нет. Если кто-нибудь видел будущее, значит, оно уже существует (но еще не дошло до нас или мы не дошли до него). Машина мироздания, очевидно, дала перебой, осечку, и в образовавшуюся на миллиардную долю секунды трещинку мелькнуло что-то, к данному времени не относящееся. Как на кинематографической ленте: сцена из другого эпизода.

А если будущее уже существует, то от нашей свободы воли, как в обоснование ее ни изворачивайся, не остается ровно ничего. Если в припадке философического отчаяния я даже покончил бы с собой, то и это в какой-то программе уже занесено и предопределено: ни вызова, ни своеволия. Кириллов попал впросак.

По-моему, это неопровержимо, то есть неопровержима связь существования и предвидения.

Но тут же холодный ветерок: а почему, собственно говоря, ты столь «неопровержимо» уверен, что мир построен по законам, совпадающим с законами твоего разума? Ведь если даже в плане материальном далеко не все в мире согласовано с

нашим разумом — в чем теперь уже не осталось сомнений, — то почему должно существовать согласие там, где и материи-то нет?

(Алданов справедливо сетовал на Зеньковского за умолчание о Лобачевском. В своей обстоятельной и добросовестной «Истории русской философии», где не обойден вниманием ни один приват-доцент, Зеньковский о Лобачевском просто-напросто забыл. А ведь догадка о том, что Эвклид вовсе не всегда и не везде общеобязателен, ошеломляюще огромна в своих выводах. Достоевский это уловил и в разговоре Ивана с Алешей об этом упомянул. Куда же мне, в самом деле, понять пути мироздания и «финальную гармонию», если даже того не в состоянии я понять, что параллельные линии могут где-то сойтись!)

XLIX.

Не «стиль — это человек», а ритм — это человек, интонация фразы — это человек. Стиль можно подделать, стиль можно усовершенствовать, можно ему научиться, а в интонации фразы или стиха пишущий не отдает себе отчета и остается самим собой. Как в зеркале: обмана нет.

В нашей литературе было три гения интонации: Лермонтов, Толстой и Блок.

К Блоку следовало бы поставить эпиграфом последнюю строчку пушкинских «Цыган»: «И от судеб защиты нет». Удивительно у него чувство солидарности со всеми людьми перед лицом слепых «судеб», круговая порука, которой он себя связывает. «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды,

ниже травы...» — незабываемо! Повторяя такие строчки, говоришь себе: «Нет, Блок все-таки — поэт единственный», и это в данный момент верно, как мгновенный отклик читателя поэту. Но, читая Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова или Анненского, говоришь себе то же самое.

Лермонтов был близоруко недооценен многими «мэтрами» нашего серебряного века, которому, впрочем, лучше было бы называться веком посеребренным. Им, как и когда-то Жуковскому, не по душе была его риторичность, порой в самом деле напоминающая юнкера Грушницкого. Но за «младенческой печалью» Лермонтова, за его «как будто кованым стихом» — по ироническим формулам Брюсова — они не расслышали райского тембра его голоса. Не почувствовали, что риторику это искупает. Помню, Гумилев, сидя у высоких полок с книгами, говорил:

— Если мне нужен Баратынский, я не поленюсь, возьму лестницу, полезу хоть под самый потолок... А для Лермонтова нет. Если он под рукой, возьму, но тянуться не стану.

Насчет Баратынского споров нет, он заслуживает того, чтобы взять хоть десять лестниц: учитель, мастер, образец достоинства, правдивости, сдержанности. Но Лермонтов... как бы это объяснить? Лермонтов — это совсем другое. «По небу полуночи...» — волшебство, захватывает дыхание.

Проверяю себя: неужели действительно эти полстрочки, взятые отдельно, так волшебны? Или сказывается самовнушение, гипноз? Допускаю, что, если бы эти полстрочки только полстрочками и остались, головокружения они не вызвали бы.

Но они гениальны как вступление к тому, что открывается дальше: все, что дальше сказано, в этих трех словах обещано, безошибочно предвещено. «По небу полуночи» — если бывает в поэзии магия, вот ее несравненный пример.

Иногда у Лермонтова слышна та же круговая порука, та же «круго-поручная» интонация, которая позднее была подхвачена и развита его учеником Блоком. «Я говорю тебе, я слез хочу, певец...», «Подожди немного...» Или в начале «Валерика» чудесное в своей прозаической непринужденности «во-первых», сразу дающее стиху особую его мелодию:

Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил...

А риторика действительно была, только не Брюсову бы о ней говорить.

L.

Случайная цитата из Толстого, притом не из романа или повести, которые автором отделывались и исправлялись, а из письма к другу, Бирюкову, года за два до смерти. Толстой вспомнил о своем выступлении на суде, в начале шестидесятых годов, по делу унтер-офицера Шибунина, ударившего своего ротного командира по щеке и затем расстрелянного, — вспомнил и писал:

«Ужасно возмутительно мне было перечесть эту мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов Божеских и человеческих, которое одни люди го-

товились совершить над своим братом, я не нашел ничего лучшего, как ссылаться на какие-то кем-то написанные глупые слова, называемые законами. Ведь если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трех сторон стола, воображая себе, что вследствие того, что они так сели, и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с печатными заголовками написаны известные слова, — что вследствие этого они могут нарушить вечный, общий закон, написанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих, то ведь одно, что можно сказать этим людям, это то, чтобы умолять их вспомнить, кто они и что они хотят делать...»

Никак нельзя сказать, что это «хорошо написано». Покойный Карсавин, даровитый человек и по-своему человек проницательный, настойчиво утверждавший, что Толстой писал плохо, неуклюже, косноязычно, надо думать, с удовольствием сослался бы на эти строки. Шутник Ремизов, решившийся высказать мнение, что Толстой был «словесно бездарен», тоже им, вероятно, обрадовался бы как подтверждению своей оценки.

Да, нельзя сказать, что это «хорошо написано». Но можно и надо сказать, что, за редчайшими исключениями, самые совершенные образцы русской прозы тускнеют и чуть ли не кажутся словесной трухой рядом с этим «косноязычием», изнутри оживленным библейской огненной несговорчивостью, и что с такой силой, с таким верным соответствием между «что» и «как» никто никогда в России не писал.

На цитату эту я натолкнулся, перелистывая для справки книгу Гольденвейзера «В защиту права». Перечел и подумал, что Горький-то, пожалуй, был прав: если человек может так писать, то действительно «человек — это звучит гордо».

LI.

У молодых есть все преимущества перед старыми. Все, кроме одного: старые знают, что каждое поколение приходит со своей правотой и своими иллюзиями. Молодые видят только свою правоту и склонны счесть ее правотой окончательной.

Умный Базаров был бы еще умнее, если бы догадался, каким тупицей прослывет он у первых эстетов и декадентов.

LII.

Корни все усиливающегося в наше время внимания к Тейяру де Шардену, по-видимому, связаны со смутной, безотчетной тревогой: не изменяет ли человек самому себе? Расширение, распыление культуры — как бы оно ни было нравственно оправдано — не грозит ли торжеством тупости и «всемства», пугавшим Конст. Леонтьева? Если миллиарды лет тому назад возникло одухотворение материи, если много, много позже началось — по Тейяру — «очеловечение» земли с долгими веками той же работы впереди, то не приобретает ли «понятие культуры оттенка метафизического? Не в том ли единственно важное человеческое дело, чтобы довести одухотворение и очеловечение до конца?

Далеко не все эпохи в себе сомневались. Восемнадцатый век, а за ним и девятнадцатый шли вперед в уверенности, что с пути свернуть уже не придется. Но история подставила заносчивому веку ножку, и он споткнулся и растерялся. К сожалению? Да, все-таки к сожалению. Путь был в общих чертах верен, только походка была не совсем та, какая нужна бы. Были шоры, была нетерпимость... Но теперь, после всех наших крушений и передряг, на развалинах прежнего мира человек оглядывается, тревожится: не оказаться бы предателем? Тейяр именно о возможности предательства напомнил, хотя сам ее не допускал.

LIII.

Сартр и Альбер Камю.

Эти два имени постоянно называются рядом — вероятно, потому, что когда-то их связывали общие темы, были они друзьями, затем резко и шумно разошлись, и это их расхождение вызвало долгие споры. Это одна из тех литературных «пар», о которых сам собой возникает вопрос: кто же из них больше, выше? Вопрос бессмыслен, все с этим согласны, но отвыкнуть от него трудно: Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, Корнель и Расин... примеры классические, а есть и множество других, помельче.

Вспомнил я Камю, однако, не для сравнения с Сартром, а потому, что им, его личностью, его писаниями отчетливо оттеняется то, что есть в Сартре особого. Сартр и Камю связаны, но и резко разделены: были разделены еще до ссоры. Два

мира, друг другу противостоящих, два «мироощущения», чуть ли не две эпохи, причем эпоха, которую предвещает Сартр, еще не совсем ясна, и он сам как будто еще отвергает предназначенное ему в развитии культуры место.

Не думаю, чтобы по размерам своего дарования Камю был подлинно великим писателем. Но это — писатель, у которого ум, совесть и сердце еще находятся в естественном и нерасторжимом согласии, можно бы даже сказать — в сотрудничестве. Это — человек в том смысле, в каком слово это действительно «звучит гордо» и в каком можно его отнести к великим писателям прошлого. У него в рабочем кабинете висело только два портрета: Толстой и Достоевский; и, кстати, уместно вспомнить, что когда один из его советских посетителей стал жаловаться на недостаток внимания к России со стороны западной интеллигенции, Камю вместо ответа обернулся и молча указал ему на эти портреты.

Сартр необыкновенно умен. Ум, «острый галльский смысл» обнаруживаются не только в его теоретических рассуждениях, но и в каждой написанной им фразе, в умении найти незаменимое, хотя порой и неожиданное, слово в безошибочной расстановке слов, в точности, в исчерпывающей меткости малейшего эпитета. При чтении требуется усилие, чтобы уловить и оценить не стилистическое мастерство в обычном значении этого понятия, вовсе нет, а именно ум, сквозящий в этой суховатой, обманчивой стилистической простоте. Какого бы современного французского писателя после Сартра ни взять, чуть ли не все кажется вялой словесной канителью.

Но ум находится у Сартра в положении самодержавного, неограниченного монарха. Он всем управляет и раздела власти не признает. При читательской рассеянности может — и даже должно — возникнуть впечатление противоположное: в самом деле, нет сейчас писателя, который настойчивее твердил бы о морали и моральных вопросах. Сартр во всеуслышание заявляет, что стыдно заниматься сочинением романов и стихов, когда миллионы людей голодают и бедствуют. Сартр ратует за социальную и расовую справедливость, за равенство и прекращение войн, за уничтожение последних остатков колониализма, и не случайно Мориак назвал его «Толстым в миниатюре». Сравнение, однако, явно насмешливо. Не говоря уж о Толстом, трудно найти пример подобного отсутствия эмоциональной заразительности, подобной выхолощенности прекрасных призывов и порывов, подобного торжества «литературы» при ожесточенном отрицании ее. Все от ума, все под диктовку ума и оттого все как будто впустую! Защита угнетенных внушена исключительно ненавистью к угнетателям: ни одного слова, в котором чувствовалась бы жалость к жертвам и боль за них. Симона де Бовуар, друг и подголосок Сартра, писала в «Силе вещей», что «Камю отстаивал буржуазные ценности, в то время как Сартр верит в правду социализма». Вздор, который стыдно читать, если только не подводить под понятие буржуазности все то, что до сих пор называлось человечностью.

Надо все же без колебаний и с некоторой горечью признать, что Сартр гораздо значительнее, чем Камю, как явление, как голос из будущего.

Сартр — это именно явление. Зловещие утопии, нарисованные Оруэллом, Хаксли или у нас Замятиным в «Мы», всегда представлялись мне домыслами из разряда «он пугает, а мне не страшно». Есть в этих книгах что-то торопливое, плохо проверенное, да и чисто литературный их уровень не Бог весть как высок, оттого и мало было к ним доверия. Но как знать? Может быть, что-то в них угадано? От книг Сартра, написанных скорее в опровержение оруэлло-замятинских фантасмагорий, чем в их поддержку, веет тем же ветерком ледяной справедливости, ледяного и неумолимого равенства. Ни одной оплошности в нравственно-социальных расчетах, ни одной уступки человеческим слабостям и мечтаниям. И человек задыхается. Сартр как будто — первый пришелец из неведомого «оттуда», первый несомненно большой писатель с каким-то кибернетическим привкусом в творчестве, первый, давший возможность почувствовать то, что, может быть, действительно ждет людей в далеком или близком будущем. Он не пугает, но читателю страшновато.

LIV.

Теперь постоянно приходится читать и слышать, что реализм выдохся. И это верно. Не говоря уж о реализме «социалистическом», почти все книги, вышедшие за последние десятилетия и написанные «под Толстого», «под Бальзака», «под Диккенса», не вызывают ни малейшего сомнения насчет того, что былые открытия превратились в мелкообщедоступные, механизированные приемы.

Почти все эти книги внутренне ничтожны. Это, в сущности, «вагонное чтение», с подлинным творчеством имеющее мало общего. Их читают, чтобы «убить время», ни для чего другого.

Но если бы люди острее чувствовали неисчерпаемую таинственность повседневности, реализм мог бы продержаться еще века и века. Изменилась бы манера, но сущность осталась бы той же. Глупые теперешние романы, где все «совсем, как в жизни», глупы потому, что жизнь в них и не ночевала. Повседневность фантастичнее всякой фантастики, сказочнее любой сказки, экзотичнее — если в нее вглядеться — самой изысканной экзотики. Достаточно растворить окно, выйти на улицу, сказать два слова со случайным встречным — и при этом, конечно, заставить себя вдруг очнуться от привычного житейского забытья, чтобы ощутить, до чего непонятно наше существование, даже в примелькавшейся своей оболочке. Что это все такое, вокруг нас? Где мы? Откуда мы? Есть какое-то малодушие в бегстве новых художников от непостижимости ближайшей, зримой, реальной во всевозможные сны и выдумки. От реализма к «сюрреализму», хотя бы в самых обольстительных и усовершенствованных его формах.

LV.

Алданов однажды сказал в присутствии Бунина:

— Великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате»...

Бунин покачал головой, поворчал:

— Что-то, Марк Александрович, стали вы чересчур строги! Были и после Толстого неплохие писатели...

Но мне показалось, что ворчит он скорее так, для виду, чтобы не сразу сдаться, а на деле с Алдановым согласен.

Русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате». Да, но было все-таки смутное, горестное, растерянное послесловие к ней — Блок. Сказать с уверенностью, что Блок был талантливее всех других писателей нашего века, нельзя. Но дело не столько в таланте, сколько в том, что поэзия Блока изнутри оживлена дыханием судьбы, присутствием судьбы. «Он весь — дитя добра и света...»

У Бунина, у Горького нет судьбы. Одно очень хорошо, другое, пожалуй, слабее, но за словами ничего не происходит. Нечему гибнуть, нечему торжествовать.

LVI.

Есть величина таланта и есть качество таланта — понятия, далеко не совпадающие, по существу даже совсем разнородные. Мне никогда прежде не приходило это в голову, а когда внезапно пришло — не помню, над какой книгой, — многое в литературном прошлом и настоящем сделалось яснее. Привычная, традиционная табель о рангах оказалась нарушена, но лишь потому, что обнаружилась условность или ошибочность мерила, на котором она держалась.

Есть писатели, бесспорно, очень даровитые и все-таки ничтожные. Читаешь и думаешь: зачем

я это читаю? Блестяще? Да, блестяще. Остроумно? Да, в высшей степени остроумно. Но и при блеске, и при остроумии, и при стилистической виртуозности это все-таки плохой писатель. Плохой, то есть как бы не питательный. Бумага, чернила. Нет воды и хлеба, без которых нельзя жить.

Кстати, о вопросе «зачем?».

Если писатель, как бы вдохновенен он ни казался, ни разу не остановился над своей рукописью и, неожиданно смущенный мыслями о суетности своего дела и об искажении первоначального видения, ни разу не спросил себя: «зачем я пишу?», «какой смысл в том, что я пишу?», если он ни разу не был этими вопросами взволнован и озадачен, то едва ли это писатель подлинный, пришедший с чем-то своим, до него не сказанным. Пожалуй, плох именно тот писатель, который «творит» с неизменным удовлетворением, как, бодро хлопнув себя по ляжкам, в разговоре с уже больным, отступавшим перед всяческим «зачем?» Тургеневым сказал Боборыкин («А я, знаете, наоборот, пишу много и хорошо!» Слышал удивительный этот рассказ от Мережковского).

LVII.

Некоторая переменчивость оценок, мнений и суждений не есть результат общей их неустойчивости и еще менее «каприза», как нередко утверждают: для одних она непонятна, для других неизбежна.

И те, для кого она неизбежна, в ответ на упреки только разводят руками: как же может быть иначе? Разве иные великие, даже бессмертные произ-

ведения не написаны в форме диалогов? И разве не от того авторы их выбрали именно эту форму, что видели возражения, которые сами себе могли бы сделать, не считая нужным их скрывать? В «Федоне», например, два центральных возражения Сократу глубже и значительнее всех его дальнейших цифровых выкладок, которые если что-нибудь и доказывают, то не бессмертие души, а лишь то, что разум в еще младенческом вдохновении своем, еще сам себе изумляясь, возвел логику в верховное, непререкаемое божество.

Но оставим эти высоты, спустимся к нашим родным равнинам. Разве Герцен не двоится, не колеблется, не противоречит порой сам себе, в то время как Чернышевский неизменно долбит одно и то же, не удостаивая ни во что чуждое себе вдуматься? И разве не оттого это так, что Герцен бесконечно проницательнее, даровитее Чернышевского и видит в каждом явлении многое, чего тот и не подозревает? Я вовсе не хочу сказать, что все колеблющиеся, все, кому случается высказать об одном и том же явлении противоречивые суждения — в частности, в литературной критике, — непременно умны и талантливы. Конечно нет. Колеблющихся тупиц на свете много. Но заранее требовать на протяжении всей жизни строгого единства оценок тоже нельзя. Хорошо сказал Толстой: «Я не воробей, чтобы всегда чирикать то же самое».

Помимо того, в литературе, в искусстве, во всем, что объединено общим словом «культура», речь в конце концов идет как бы о возведении некоего общего храма. Возникает чувство ответственности: не ошибиться бы в расчетах. Действительно ли

нужно то-то, не окажется ли никчемным и даже вредным другое? Годы, годы поисков, отступлений, самопроверок, на весь тот срок, который каждому из нас отпущен. А тут выскакивает какой-нибудь шалун и бойко всех расталкивает: позвольте, я здесь в два счета приделаю балкончик с резьбой, что это вы, в самом деле, то работаете без устали, то разбиваете только что сделанное и часами стоите в оцепенении!

LVIII.

Не помню, решился ли кто-нибудь, при всесветной и, что же тут толковать, вполне оправданной славе Достоевского, при сложившемся на Западе, особенно на Западе, убеждении, что уж если кто-нибудь глубок и прозорлив, то именно он, при его ореоле, при необычайной его власти над новыми, по-новому встревоженными умами, — не помню, сказал ли кто-нибудь, что «Легенда о Великом Инквизиторе» — произведение опрометчивое и легковесное. Вспоминаю только восторги. «Величайшее создание Достоевского», — утверждает Мочульский, «залитые бессмертным светом страницы», по Розанову, и так далее.

Не касаюсь оценок чисто литературных, эстетических, хотя даже и с этой точки зрения никак не могу согласиться, что декламационно-риторическая, театрально-эффектная «Легенда» представляет собой у Достоевского некую вершину. Нет, вершины у него другие. Но существенно не это.

Такие слова, как «опрометчивость», «легковесность», будучи отнесены к писателю, который признан гордостью России, могут вызвать возмущение,

и даже наверно его вызовут. Возмущение, однако, было бы основательно лишь в том случае, если бы против Достоевского, как мишень, как предмет его сарказмов, не стояло нечто, что все-таки гораздо больше и его самого, и всех его книг, вместе взятых: христианская Церковь. Удивительно, что наши благочестивые авторы не обратили на это достаточно внимания! Правда, оклеветана в «Легенде» церковь католическая, а не православная. Но дело это меняет мало, скорей даже ухудшает позицию Достоевского, ибо тут дает себя знать славянофильство, типично славянофильская смесь притворного смирения с ничуть не притворным патриотическим самоупоением и заносчивостью. В этом повинен даже мудрец Тютчев, обозвавший римского первосвященника «ватиканским далай-ламой»[1]. Будто бы в православии, в православном быту евангельская проповедь сохранилась во всей своей первоначальной сияющей чистоте, будто бы нам, русским, и упрекнуть себя не в чем, будто не все мы одинаково грешны одним и тем же! Не надо бы ведь забывать, что обличитель Рима, ревностный церковник Достоевский называл себя единомышленником Победоносцева и, по собственным своим словам, восторженно следил за его «драгоценной деятельностью».

[1] Тютчеву же принадлежит удивительное объяснение гибели французской армии в 1812 году. Наполеон, «воитель дивный», не предвидел, по его мнению, «лишь одного»: того, что противником его будет не Барклай де Толли, не Кутузов, а сам Христос. А стихотворение это — «Проезжая через Ковно» — само по себе необыкновенно хорошо: один из тютчевских шедевров.

Основное утверждение «Легенды» верно и просто, как дважды два четыре: Церковь от Евангелия отступила и в течение веков не нашла в себе силы устоять перед соблазном житейских и государственных компромиссов. Этого отрицать нельзя, с этим всякий беспристрастный человек согласиться должен, тяжело ему это или нет. Но Достоевский в своем воинствующем антикатолицизме делает чудовищный скачок вперед. «Мы не с Тобой, мы с ним», говорит у него Христу старик кардинал, «мы с ним», то есть мы с дьяволом, и здесь сразу напрашивается столько возражений, исторических, идейных, моральных, что не знаешь с чего и начать. Памятник опрометчивости, хочется мне повторить, — непревзойденный образец полемического ослепления и клеветы! «Мы не с Тобой, мы с ним». Достаточно взглянуть на взвивающиеся к небу стрельчатые готические соборы, чтобы уловить в них ответ сошедшему с ума кардиналу.

Есть маленькая, исключительно содержательная книжка, вышедшая много лет после появления «Легенды», но касающаяся затронутых в ней тем, — «Евангелие и Церковь» Альфреда Луази. По причуде судьбы именно за нее Луази, бывший священник, ученейший церковный историк, основатель целой школы, оказался отлучен от церкви по обвинению в «модернизме». Между тем едва ли было когда-нибудь написано что-нибудь более страстное и проницательное в защиту и оправдание церкви как исторической необходимости, как установления, без которого христианство оказалось бы исторически неосуществимо. Луази спорит не с Достоевским — он его и не называет, — а с Адоль-

фом Гарнаком, автором знаменитой «Сущности христианства», протестантом и, значит, противником Рима. Отчасти спорит он и с Ренаном, по-видимому, допускавшим, как и Гарнак, что евангельское учение рассчитано было на тысячелетия, что оно могло сквозь эти тысячелетия пройти и в них полностью уцелеть, и в связи с этим решившимся сказать, что «история Церкви есть история измены» (в «Апостолах»), история умышленно сделанного отступнического выбора. Измена? — будто бы спрашивает Луази. Измена? Но ведь не будь этой измены, не осталось бы ровно ничего, все исчезло бы, все оказалось бы безвозвратно забыто, — приблизительно так же, скажу от себя, как происходит это в рассказе Анатоля Франса о состарившемся Понтии Пилате, только и способном промямлить в ответ на расспросы друзей: «Не знаю... право, ничего не помню».

Читая Послания апостолов — не столько Павла, сколько другие, — убеждаешься ведь чуть ли не на каждой странице, что первые последователи и ученики Христа ждали конца мира и чудесного свершения того, что было им обещано, со дня на день, с часу на час. А свершение откладывалось, оттягивалось, непостижимо опаздывало, и пришлось жить, устраиваться, ограничиваться, свыкаться, мечтать, надеяться, каяться, молиться — и по мере сил хранить остатки света. «Мы не с Тобой, мы с ним». Нет, остается только верить, что, проживи Достоевский дольше, он сам пришел бы в ужас от этого безумного навета и вообще посоветовал бы своим неумеренным поклонникам поменьше «Легендой» восхищаться.

LIX.

Ницше сказал о хоре пилигримов в «Тангейзере», что это — «самая католическая музыка в мире».

Вот бы Достоевскому в нее вслушаться, расслышать в ней то, что уловил Ницше: упорство, волю, передаваемое из поколения в поколение согласие на подвиг, готовность нести Крест, отсутствие отречения и предательства...

Впрочем, Достоевский отозвался и о Вагнере по-своему: «прескучнейшая немецкая каналья».

LX.

Еще о Достоевском и его наследии.

Конечно, мир менее плосок, чем представляли себе это самоуверенные «передовые» люди в прошлом столетии, последыши Белинского. Конечно, мир загадочен, и сколько бы ни были ошеломительны новейшие научные открытия, «царство науки знает предел». Будь это иначе, загадочность предстала бы еще бесконечно большей: как, значит, есть только то, что мы видим, то, что мы понимаем, только то, что на крайность можно было бы уложить в математические формулы? Ничего другого? Да ведь это было бы в миллионы раз невероятнее и необъяснимее, чем любая нарочитая непонятность! Тайны существуют, не могут не существовать. Но нам-то, нам-то, да и то мало кому, видна лишь узкая-узкая щель и почти ничего за ней. Что-то как будто брезжит, что-то светится, но, может быть, это всего только мираж. А он, Достоевский, широко распахнул воображаемые

ворота, в которые и бросились вслед за ним бесчисленные ученые и полуученые комментаторы, и принялись они вкривь и вкось рассуждать о том, о чем возможны только слабые, смутные догадки.

Достоевский — великий, огромный писатель. Но многое из того, что им в критической литературе вдохновлено, многое, что о нем написано, до крайности тягостно.

LXI.

У Карла Ясперса в его «Философской вере» сказано: «Человек не удовлетворен самим собой. В нем живет что-то несоизмеримое с его повседневным существованием, с его знаниями и его духовным миром».

Это — почти дословно то же, что говорит Толстой о князе Андрее, которому хочется плакать, когда он слушает, как поет Наташа, — несколько удивительных строк, достойных того, чтобы поставить их эпиграфом ко всей русской литературе. Эпиграфом и предостережением: не идите дальше, не выдумывайте ничего другого, потому что будут это именно только выдумки, только пустые домыслы. Больше о самих себе мы ничего не знаем и никогда не узнаем.

Ну, а как же с интуицией, которую иные русские философы даже обосновали, как же с гениальными метафизическими построениями, по праву составившими за две тысячи лет славу и гордость человечества? Когда-то за воскресным чайным столом в Кламаре, у Бердяева, рассуждавшего с одним из гостей о том, чего Бог требует от

человека, и авторитетно, очевидно, с полным знанием дела, растолковывавшего непонятливому посетителю, в чем эти божественные требования состоят, я вполголоса спросил хозяина:

— Откуда вы все это знаете?

Бердяев обернулся, усмехнулся и ответил както шуткой: вопрос, мол, глупый, ребяческий. Приблизительно то же самое произошло у меня однажды со Степуном. Допускаю, каюсь, может быть, вопрос в самом деле глупый. Действительно, не было бы некоторых величайших, вдохновеннейших философских систем, если бы невозможность проверки и ответа принята была за преграду. Потеряны были бы великие богатства.

Но каюсь и в том, что эта невозможность ответа представляется мне все же бесконечно значительной, не менее полной смысла и духовного веса, чем любая метафизическая система. Кстати, тот же Ясперс, человек религиозный, в той же своей книге полностью признает, что доказывать существование Бога можно было только до Канта, а теперь заниматься этим способны только мыслители малодобросовестные (к которым он с оговорками причисляет Гегеля). Вот именно! И не только доказывать существование Бога, а и логически рассуждать обо всем, что нашему разуму недоступно. (Лосский упрекает ненавистный ему пантеизм в том, что тот «не логичен». Как будто логика в этих догадках может иметь решающее значение, как будто заранее известно, что все беспредельное бытие нашей логике подчинено!) Уверенности нет, уверенности ни в чем быть не может, а «интуитивные» соображения и построения... что же, до-

ступ к ним широко открыт всякому. Плохо, однако, то, что сколько бы их ни было, как бы стройны и убедительны они порой ни казались, все они расходятся. Единство недостижимо. Его никогда не было и не будет. Каждый мыслитель предлагает свое, личное, произвольное, ни для кого другого не обязательное и большей частью противоречащее всему предложенному прежде.

И поневоле остаешься с князем Андреем и с одним только блаженно-мучительным сознанием невозможности самим собой удовлетвориться, чувствуя, однако, что в нем-то и таится «бессмертья, может быть, залог».

LXII.

Михайловского когда-то просили дать статью о свободе печати. Он ее написал, но потом признался, что писал с трудом — труднее, чем другие свои статьи. Всю жизнь думая о свободе печати, ища все новых доводов в ее защиту, он забыл доводы основные. Пришлось вспоминать, возвращаться к истокам.

Человек, который всю жизнь думал о поэзии — в частности, о поэзии русской, во многом расходящейся с западной, находится приблизительно в том же положении. Может быть, он плохо думал, путаясь, сбиваясь, противореча сам себе, а главное — принимая свои спорные, личные пристрастия за непреложные истины. Может быть. Но если думал он о поэзии всю жизнь, ему хочется «подвести итог», спросить себя, что же такое, в конце концов, поэзия, в чем ее сущность, в чем ее смысл и,

пожалуй, даже в чем ее оправдание. Да, в чем ее оправдание, — в ответ тем, кто балуется стишками, пребывая притом в непоколебимой уверенности, что всякий стихотворец — существо избранное, отмеченное Богом и что поиски рифм и придумывание образов представляют собой занятие высшего порядка.

В чем сущность поэзии и в чем ее смысл? Чем настойчивее и упорнее об этом думаешь, тем неотвратимее втягиваешься в области почти метафизические.

Если бы в чем-нибудь метафизическом быть уверенным, ответ был бы ясен. По крайнему моему разумению, заключался бы он в том, чтобы служить единственно важному человеческому делу: одухотворению бытия, тому торжеству духа, которое, может быть, и свершится в далеких будущих веках... Но сослагательное «бы» при раздумье мало-помалу теряет значение, перестает быть препятствием. Даже если бы все оказалось иллюзией, даже если ты со своим мнимым «одухотворением» всего только разобьешь себе голову о стену, другой ставки у нас нет. Да и риска в ставке нет, как в «пари» Паскаля: выиграть можно, проигрывать нечего. Поэты, «надо дело делать». Но как его делать? Как?

Конечно, не рассудочно-дидактически, с постоянной, назойливой памятью о цели: рассудочность все засушила бы и убила. Нет, иначе. Не думая о воздействии на читателя, о впечатлении, которое будет произведено. Отказываясь от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы дышать. Отбрасывая все словесные

украшения, обдавая их серной кислотой. Не боясь одиночества, ища в одиночестве — как бы сквозь себя — связи с миром и будущим, веря, что в одиночестве связь эта окажется прочнее и вернее, чем в рассеянном житейском общении. Будто бросая бутылку в море: кто-нибудь найдет, кто-нибудь поймет, кто-нибудь продолжит. Зная, что если есть солнце, то не к чему развешивать разноцветные электрические гирляндочки... Трудно все это связно объяснить не только другим, но и самому себе. Оттого, вероятно, и вспомнился мне Михайловский.

Формула «делать дело» обманчиво совпадает с требованиями, предъявляемыми к поэзии в Москве, хотя внутренне ничего общего с ними не имеет: нельзя же смешивать дело с делишками и многовековую молчаливую духовную работу ощупью, приправленную бесчисленными западнями и внезапными пробуждениями в тупике, нельзя же отождествлять даже слабое подобие ее с одами, внушенными очередной партийной резолюцией и прочим. Не стоит об этом и говорить: лошади едят сено и овес.

Надо дело делать — и, к великой чести Блока, следует сказать, что он чувствовал это глубже какого-либо другого нового русского поэта. Чем был бы без него русский модернизм, этот столь теперь восхваляемый серебряный век, похожий на пир во время чумы? «Век» был вызывающе беспечен и беспечность свою с гордостью противопоставлял наследию столетия предыдущего. «Век» бессовестно играл в тайны, многозначительно давая понять, что узнал что-то важней-

шее, открыл что-то вещее, и многие из нас, из тогдашнего декадентствовавшего стада, из тогдашней желторотой литературной молодежи, откликались, ловились на удочку и с дрожью раскрывали «Весы» или даже поздний, уже обмельчавший «Аполлон», надеясь вот-вот прозреть, приобщиться, удостоиться посвящения[1].

Блок по природной честности своей не допускал обмана, верил не только Соловьеву, но и тем, кто на фальшиво-глубокомысленной интерпретации соловьевских трех видений бойко делал литературную карьеру. А когда догадался, что был одурачен, сделался навсегда угрюм и печален, вплоть до революции, которая его не оживила, нет, а только гальванизировала. Не в этом ли ключ к «Двенадцати»: обида, счет за духовное шулерство, поиски хоть какого-нибудь выхода и избавления? Блока возвышает не столько самый талант, сколько требовательная и настороженная серьезность таланта, отталкивание от комедиантства, слух к

---

[1] Думаю все же, по далеким, дорогим воспоминаниям, что «что-то» загадочное, неподдающееся определению, «какой-то отблеск какого-то света» тогда действительно мелькнул в сознаниях. Но сколько было лживой шумихи, бесподобно описанной Андреем Белым, сколько было подделок, подлаживаний! Уже здесь, в Париже, у меня был об этом любопытнейший разговор с Зинаидой Николаевной Гиппиус, «бабушкой русского декадентства», разговор, о котором стоило бы когда-нибудь рассказать. Она отрицала то, что до сих пор представляется мне несомненным, и настойчиво повторяла:

— Нет, не было ничего!

Но едва ли была она права.

ошибкам и горечь от сознания их, в частности своих личных, к которым перед смертью причислил он «Двенадцать» как ошибку тягчайшую. Блок знал, что поэзия должна быть делом, но, как никто другой, чувствовал и пропасть, отделяющую «должна быть» от «становится», «стала». Он запутался, погиб, но погиб в столкновении с силами, которые навсегда в русской литературе облагородили его облик. Даже стоя на этом берегу, он обращен был к берегу иному и весь озарен был его далеким сиянием.

LXIII.

Один из молодых французских критиков, сын известного романиста, да и сам романист, один из тех преуспевающих литераторов, которые все понимают, за всем следят, все новое принципиально одобряют, обо всем высказывают самые утонченные, самые что ни на есть смелые суждения и мысли, — критик этот недавно писал:

«Мы теперь поняли, что поэзия тоже (“тоже”: очевидно, как и наука?) дает нам знание»[1].

Я прочел и, усмехнувшись, вспомнил то, что сказал о поэзии Боссюэ: «La plus jolie de toutes les bagatelles» — «Самый хорошенький из всех пустячков». Конечно, Боссюэ не совсем прав или толь-

[1] Догадка при пересмотре текста: возможно, что термину «знание» придано здесь значение ограниченно-психологическое, внушенное Фрейдом, Юнгом или новейшими теориями о природе слова. Но опрометчивости его это не уменьшает.

ко в девяти случаях из десяти прав. Человек это был, бесспорно, гениальный, по мнению Поля Валери, даже первый французский писатель, стилистически первый, никем не превзойденный. Однако жил он в одну из тех повторяющихся в истории эпох, когда распространяется чувство, что все окончательно достроено и упорядочено, что остается только в мелочах усовершенствовать достигнутое, а искать больше нечего. Помимо того, истина, по его убеждению, была давно известна, она была полностью в католичестве, и с великой страстью и нетерпимостью истину эту отстаивая, он не мог отнестись к поэзии иначе, чем как к шалости. Вскоре, однако, мир стал давать трещины, все было мало-помалу подвергнуто пересмотру — замечательная книга Поля Азара «Кризис европейского сознания 1680–1715», неужели не переведена она на наш язык? — и взгляд на поэзию не мог не измениться.

Но вернусь к утверждению французского критика. Во-первых, как всегда в подобных обстоятельствах, надо бы спросить: кто это «мы»? А во-вторых, неужели можно, положа руку на сердце, отрицать, что если поэзия и обогащает нас чем-то смутно похожим на знание, то лишь в редкостно-редчайших случаях, раз или два в столетие, посреди бесчисленного количества «пустячков» всех видов, направлений и школ? Да и открывает это знание лишь то, что над нами есть «нечто» — без имени, без образа, без ответа. У нас в России, может быть, единственный такой случай — Лермонтов: темное, иссиня-черное, таинственное небо над его стихами. Метафизичность Лермонтова сильнее,

она у него вернее, чем у других наших поэтов — в особенности у поэтов новых, вероятно, потому, что в новые времена возникла почти повальная болтливость. Болтливость, именно болтливость отличает серебряный век от золотого: один, с трудом и сомнением прорвавшийся у «золотых» намек «серебряные» с хмельным упоением принялись разжижать и многословно развивать, ничуть не делая, однако, мнимое знание полнее и отчетливее. Блок, «дитя страшных лет России», питомец окружавшей его среды, по сравнению с Лермонтовым (и конечно, Пушкиным) болтлив, а о Пастернаке и говорить нечего: недержание догадок, призрачных мыслей, снов, предчувствий, густо приправленное метафорами, очевидно, за отсутствием других подпорок. Разумеется, немедленно нашлись и критики, «литературоведы», готовые в каждом случайно подвернувшемся эпитете обнаружить глубокий смысл и, как когда-то Луначарский, поблескивая роговыми очками, авторитетно и солидно разъясняющие доверчивым аудиториям, в чем этот смысл состоит.

(Пишу и думаю: зачем? Зачем пытаешься ты навести свою аскетическую одурь на тех, кому весело и занятно сочинять стихи, похожие на пирожки с кремом? А в особенности на тех, кто там, в России, в молодой своей модернистической резвости, отталкиваясь от внедряемых начальством прописей, ищут «ярких, блестящих образов», «необычайно острых ритмов» и прочей дребедени? Во-первых, все равно не наведешь. Во-вторых, если даже в правоте своей ты уверен, то неужели так же уверен, что истина должна всегда восторжество-

вать? Что правоте по самой природе ее обеспечено признание? Что рано или поздно жизнь ей подчиняется? Скорей ведь наоборот, и очень многое в истории, от самого великого до самого малого, в этом убеждает. «Пора смириться, сэр».)

Молодые наши модернисты учились главным образом у Пастернака. При всем, что было в Пастернаке шаткого и как бы ветреного (в том смысле, в каком можно бы это сказать об Андрее Белом, но нельзя сказать о Блоке), он был, конечно, подлинным и большим поэтом. В этом не было бы сомнения, не напиши он даже ничего, кроме пяти-шести таких стихотворений, как «Никого не будет в доме...». Но у Пастернака почти никогда не бывает преодолена выделка. Нет одухотворяющей небрежности. Словесная ткань чуть-чуть слишком «шикарна», чуть-чуть «воняет литературой», по выражению Тургенева. Изделие из очень хорошего магазина, сработанное очень искусным мастером, но это именно изделие, перед которым, как перед роскошной витриной, изнемогая и потея от вожделения, стоят зеваки-прохожие. Вместе с тем было в Пастернаке что-то «телячье-восторженное», слишком назойливо-лирическое, слишком демонстративно вдохновенное, вроде как у Ленского, с его кудрями черными до плеч. Ахматова сказала о нем, что он «одарен каким-то вечным детством», и это постоянно приводится как дань восхищения. Но комплимент двусмыслен. Ни к одному из других больших русских поэтов отнести его было бы невозможно.

LXIV.

Нельзя быть поэтом, не помня о смерти. Не может быть поэзии без отдаленного ее присутствия. Это, конечно, не значит, что слово «смерть» должно в стихах постоянно мелькать. Не значит и того, что стихи должны быть мрачны, унылы, «морбидны». Но это значит, что они должны быть во внутреннем ладу со строками Платона о связи творчества и смерти — строками, которые настолько поразили и околдовали Шестова, что он без конца их цитировал и на них ссылался. Правда, по Платону, смерть — источник и побуждение философии[1]. Но поэзии — тем более. Если бы не было смерти, о чем поэзия, к чему поэзия? Так, для забавы, для мимолетной услады. Только и всего.

Пушкин, удивительные в своей твердости и мужественности строки его: «И от судеб защиты нет», «И пусть у гробового входа...» — будто в подтверждение того, что он помнит, о чем всегда помнить надо, в поучение неисправимым поэтическим весельчакам, готовым счесть его своим союзником. В одной малозамеченной, но умной книге о Пушкине, вышедшей где-то в Белграде или Софии лет тридцать тому назад, «Пушкин и музы-

[1] Платон, как всем известно, был врагом поэтов и обрек их на изгнание из своего идеального общества. Но не произошло ли тут недоразумения? Не сузил ли он понятие поэзии до условного, хотя и самого распространенного о ней представления? Если бы ему возразили, что он, величайший поэт древности, осуждает самого себя, каков был бы его ответ? Пример недоразумения — как у нас осуждение Шекспира Толстым.

ка» Серапина — есть определение тональности пушкинской поэзии: «трагический мажор». Как верно! Одно из редких, как будто творческих замечаний о Пушкине, если не считать, конечно, полезных, кропотливых, интересных, но все-таки мелкоинтересных, второстепенно-интересных изысканий по вопросу о том, какая пушкинская строка по ошибке включена в такое-то стихотворение или с кем Пушкин в Москве, после свидания с царем, пил чай.

Во всем великом, что людьми было написано, смерть видимо или невидимо присутствует. Она не всегда тема, но она всегда фон, как и в нашем существовании. То, без чего искуснейшее повествование, размышление или стихотворение неизбежно остаются плоскими. То, что оттеняет каждое слово. Нестерпимая бездарность казенной советской литературы, при явном обилии дарований, коренится именно в том, что смерть в ней забыта. Будто не стоит о ней думать. Бессмертие, товарищи, в коллективе, в общей работе, в возведении нового общественного строя! Ни вызова, ни отчаяния, ни преодоления, ни света, ни мрака впереди, ничего из вечного человеческого достояния. Таблица умножения в отмену будто бы никчемных логарифмов.

LXV.

Настоящая поэзия возникает над жизнью, все в себя вобрав, все претворив, а не в стороне от жизни, всего избегнув, всего испугавшись. «После» жизни, а не «до» нее.

Краска стыда на лице Фета (как у Ницше: «Краска стыда на лице Платона»). Впрочем, не Фета подлинного, не Афанасия Афанасьевича, которого надо бы еще прочесть и перечесть по-новому, а Фета нарицательного, того, который возвеличен был современниками в пику Некрасову, то есть Фета как олицетворение «поэтичной поэзии», со всеми позднейшими Фофановыми и Бальмонтами, за которых он частично ответствен.

Бальмонт: «Я зову мечтателей, вас я не зову». И не зовите, не трудитесь: все равно не пойдем.

LXVI.

Отчего застрелился Маяковский? Ответы даны были разные, и, вероятно, в каждом из них есть доля правды. Люди редко кончают с собой по одной причине: одна причина, может быть, и была главной, но сплелась с другими, и все вместе они привели к самоубийству.

Маловероятно, чтобы мое представление о будто бы «главной» причине смерти Маяковского оказалось правильным. Очень мало надежды на это. Но как хотелось бы, чтобы это было так!

Маяковский мог покончить с собой от сознания, что свой огромный поэтический дар он не то что растратил, нет, а погубил в корне. Оттого, что, будучи по природе избранником, он предпочел стать отступником. Оттого, что заключил союз с тайновраждебными себе силами. Имею я в виду не большевизм, к которому он поступил на службу, — объяснение упадка его творчества, дававшееся Пастернаком. Нет, дело не в этом, вовсе не

только в этом. Маяковский с первых своих юношеских стихов принял нелепую, ребячески-наивную позу: громыхать, ругаться, поносить все без разбора. Мир подгнил, мир порочен, корыстен, темен, убог? Это не новость. Поэты как ни в чем не бывало пишут о ручейках и цветочках? Поощрять их не следует. Но есть другая поэзия, есть другой ее образ, и перед ним площадная демагогия ничем не лучше цветочков. Пожалуй, даже хуже, потому что претенциознее и заносчивее, оставаясь столь же уныло-банальной. Перевоспитать читателей? Ну, допустим, перевоспитает (что отчасти Маяковскому удалось), допустим, читатели начнут восхищаться посрамлением цветочков — а что дальше? Допустим, будет «сублимировано» хамоватое панибратство с землей и небом, как в «100 000 000», — а что дальше? Нет, не могу понять, как Маяковского до конца жизни не стошнило от собственных его од, сатир и филиппик.

Пастернак упрекал Маяковского в уподоблении какому-то футуристическому Демьяну Бедному, делая исключение для последней его вещи — «Во весь голос»: она, по его мнению, гениальна. Да, она могла бы оказаться замечательной. Трагическое, почти некрасовское дыхание, мощная ритмическая раскачка, какой-то набат в интонации — все это могло бы оказаться неотразимо. Но плоский, нищенский текст невыносимо противоречит ритму. Дыхание рвется к небу, а текст упирается в низко нависший потолок и под этой грошовой известкой отлично себя чувствует. На двухаршинный взлет он ведь всего только и был рассчитан!

А слова, то есть дословное содержание текста, в поэзии все-таки имеют значение, поскольку она не «проста, как мычание». Приходится угадывать то, чего в стихотворении нет, с унынием перечитывая то, что в нем есть...

Как возвеличена была бы память о Маяковском в русской поэзии, если бы верным оказалось предположение, что он ошибку свою понял и не в силах был с ней примириться! До крайности мало вероятия, что это было так. А все-таки «тьмы низких истин нам дороже...»

LXVII.

Блока я знал мало.

Относился я к нему приблизительно так же, как Эдуард Род, забытый, но довольно замечательный швейцарский романист, к Толстому, — с уважением, с преклонением почти суеверным. Эдуард Род всю жизнь мечтал о поездке в Ясную Поляну, но желания своего так и не исполнил. «С чем я поеду, что я ему, Толстому, скажу?» — заранее смущался он, откладывая поездку из года в год. Думая о знакомстве с Блоком, я тоже спрашивал себя: что я ему скажу?

Впервые увидел я его в Тенишевском полукруглом зале, на вечере памяти Владимира Соловьева, — десятилетие со дня смерти? — будучи еще гимназистом. «Ночных часов» тогда еще не было, но была волшебная — по крайней мере, казавшаяся мне волшебной — «Земля в снегу»:

О, весна без конца и без краю,
Без конца и без краю мечта...

Стихами Блока я бредил, сходил от них с ума. Кому не было шестнадцати или восемнадцати лет в пору блоковского расцвета, тот этого не поймет и даже, пожалуй, с недоумением пожмет плечами. Да, от Блока многое уцелело, осталось в русской поэзии навсегда. Но дух эпохи выветрился, обертона ее, особые ее веяния, ее трепет, ее надежды — это теперь неуловимо. А Блок был сердцем и сущностью эпохи, и теперь стихи его уже не те, не таковы, какими когда-то были. Это случается в истории искусства. Счастлив тот, кто был молод, когда появился вагнеровский «Тристан».

Потом были редкие, случайные встречи. Помню, во «Всемирной литературе» Блок, после долгих проб и попыток, отказался переводить Бодлера, заявив, что «окончательно не любит его». Меня это озадачило и смутило. Помню эпизод с переводами Гейне.

Блок, эти переводы редактировавший, колебался, следует ли наново перевести «Два гренадера». Гумилев вызвался предложить ему на выбор с десяток переводов знаменитой баллады и просил друзей и учеников этим заняться. Мы трудились целую неделю, и, право, некоторые переводы оказались совсем недурны. Но Блок отверг их — и оставил старый перевод Михайлова.

«Горит моя старая рана...» — задумчиво, чуть-чуть нараспев произнес он михайловскую строчку, будто в укор всем нам, в том числе и Гумилеву.

У меня было письмо Блока, одно-единственное, увы, оставшееся в России, — письмо в ответ на первый, совсем маленький сборник стихов, который я ему послал. Насколько можно было по

письму судить, стихи ему не понравились, да и могло ли быть иначе? За исключением трех или четырех строчек не нравились они и мне самому. Зачем я постарался их издать? Для глупого молодого удовольствия иметь «свой» сборник стихов — «как у других», о, поручик Берг! — и делать авторские надписи.

Письмо Блока по содержанию своему польстить мне никак не могло. Но сдержанно-отрицательную оценку искупил тон письма, дружественный, вернее — наставительно-дружественный, от старшего к младшему, проникнутый той особой, неподдельной человечностью, которая сквозит в каждом блоковском слове.

Последние строчки письма помню наизусть, хотя и прошло с тех пор почти полвека:

«Раскачнитесь выше на качелях жизни, и тогда вы увидите, что жизнь еще темнее и страшнее, чем кажется вам теперь».

LXVIII.

Ницца. Андрэ Жид.

Я сидел в кафе и что-то писал. Невдалеке грузный, осанистый старик перелистывал толстую французскую справочную книгу «Ле Боттен» — и, не знаю как, уронил ее на пол, опрокинув и стоявший перед ним стакан. Я поднял голову и узнал Андрэ Жида. Знаком я с ним не был. Но в своем «Дневнике» он одобрительно отозвался о коротком докладе, прочитанном мною за несколько лет до того, — и я решил к нему подойти, тем более что ему, по-видимому, трудно было поднять упавшую книгу.

— Мсье Андрэ Жид?

— Да, Жид... а что дальше? (Непереводимое французское «et après?».)

Вид был хмурый, голос сердитый, почти вызывающий. Позднее он объяснил мне, что к нему довольно часто подходят люди, знающие его лишь с виду, и что он неизменно их «отшивает».

Я назвал себя, поблагодарил за отзыв, он протянул руку, сделался очень любезен. Мы условились встретиться в том же кафе на следующий день.

Давно уже мне хотелось задать Жиду несколько вопросов — частью о русской литературе, главным образом о Достоевском, частью о его собственных книгах. Он представлялся мне одним из редких во французской литературе людей, которые все понимают, даже и то, что должно было бы им быть чуждо, а от Шестова я слышал, что это едва ли не самый умный человек, какого он вообще встречал.

Разговор с Андрэ Жидом с глазу на глаз я, можно сказать, предвкушал. Но настоящего разговора не вышло. Началось с Достоевского. Мне показалось, что Жид связывает с ним свою литературную репутацию, именно на него сделав ставку, и воспринимает малейшее критическое замечание о «Карамазовых» или «Бесах» как личную обиду. Предположение: не догадывался ли он тогда, не чувствовал ли через двадцать с лишним лет после знаменитых своих лекций о Достоевском в театре «Вье Коломбье», что кое в чем все-таки ошибся, кое-что просмотрел и, как в таких случаях бывает, не старался ли сам себя переубедить? Ничего невозможного в этом нет.

После Достоевского речь зашла о Маяковском, об Эренбурге, затем довольно неожиданно о Мережковском, которого Жид не любил и упорно называл Мерейковским, очевидно считал, что французское «жи» в этом имени соответствует русскому «и краткому». Потом он заговорил о советской России, о каких-то катакомбах, которые должны там возникнуть, о бессмертном русском духе, который в эти катакомбы уйдет до лучших времен... Было это довольно выспренно, слегка театрально.

Я слушал его, и мне хотелось спросить: «Как может случиться, что вы, Андрэ Жид, первый писатель первой в мире литературы, говорите мне, двадцать третьему или сорок девятому писателю литературы, которая во всяком случае на первое место в мире права не имеет, как может случиться и чем объяснить, что вы говорите мне вещи, заставляющие меня с трудом сдерживать улыбку?»

Конечно, я этого не спросил, да в такой форме и нельзя было бы спросить это. Личные мои чувства значения не имеют. Но вопрос сам по себе интересен и даже важен, и так или иначе в беседе с Жидом поднять его можно было бы.

Без постылого российского зазнайства, без патриотического самоупоения ответ, думаю, свелся бы к тому, что если не во всем, нет, не во всем, то в какой-то одной плоскости, в смысле чутья ко всякой «педали», к чистоте звука — и в конце концов, значит, к правде и лжи, — русская литература действительно первая в мире, и тот, кто с ней связан, частицей этого дара наделен.

Во всяком случае, она была первой в мире. Не уверен, что можно было бы без натяжки сказать «была и осталась до сих пор».

LXIX.

В коммунизме загадочно то, что он до сих пор для тысяч и тысяч людей сохраняет свою притягательную силу. Даже после всех его российских метаморфоз.

А между тем многие, многие из этих людей твердо знают, что если бы в любой из теперешних буржуазно-либеральных стран произошел переворот, то житься им в ближайшем будущем, на их веку, стало бы гораздо хуже, чем жилось прежде, как бы мало прежняя жизнь их ни удовлетворяла, сколько бы ни накопилось в их сердцах обиды, зависти и мстительности. «Les lendemains qui chantent», по слащаво-картинному выражению Вайяна-Кутюрье, то есть царство справедливости и равенства, может быть, когда-нибудь и наступит. Если и в высшей степени сомнительно, что это царство принесет человечеству счастье, то все же мечта о нем понятна. Исторически мечта о нем обоснована, счет предъявлен за долгое, долгое прошлое, так или иначе платить по нему приходится... Но в ближайшем-то будущем, после переворота, возникнет гнет, насилие, жизнь без отдушин, полицейщина, ограничения, все хорошо знакомое, все, по-видимому, неизбежное. Одно, два, три поколения окажутся принесены в жертву этому «певучему будущему», за исключением юркого меньшинства, вовремя прильнувшего к новым

властителям. Остальным будет, наверное, хуже. Каждому отдельному человеку будет хуже, чем было прежде. И все-таки эти остальные, эти отдельные люди сочувствуют, помогают, стараются, стремятся, борются, будто жертвуя собой для проблематического обещанного рая. Что это, действительно жертва, внушаемая каким-то действительно существующим многомиллионным темным «я», которое пренебрегает единичными лишениями и страданиями? Или это просто слепота, наивность, иллюзия?

«Лес рубят — щепки летят» — самая бесчеловечная из всех пословиц.

LXX.

У Бердяева, в его кламарском доме. Обсуждение книги Кестлера «Тьма в полдень». В прениях кто-то заметил. что любопытно было бы — будь это возможно! — пригласить на такое собрание Сталина, послушать, что он скажет.

Бердяев расхохотался.

— Сталина? Да Сталин прежде всего не понял бы, о чем речь. Я ведь встречался с ним, разговаривал. Он был практически умен, хитер, как лиса, но и туп, как баран. Это ведь бывает, я и других таких людей знал. Ленин, тот понял бы все с полуслова, но не стал бы слушать, а выругался бы и послал всех нас... сами знаете куда.

По утверждению Бердяева, основным побуждением Ленина была ненависть к былому русскому политическому строю и стремление к его разрушению. Что дальше, к чему все в конце концов

придет, об этом Ленин будто бы не думал, хотя свое безразличие к будущему скрывал. Действительно ли коммунизм даст людям удовлетворение и благополучие? Ищет ли человек равенства, хочет ли он его? Не был ли прав Герцен, предвещавший в далеком будущем неизбежность новой, уже индивидуалистической революции? Ленина, как утверждал Бердяев, это нисколько не интересовало.

— Ленин оттого и добился своей цели, — говорил он, — что признавал только цель ближайшую, а рассуждения, к ней ведущие или тем более задерживающие ее осуществление, презирал и отбрасывал как занятие пустое и вредное.

LXXI.

Поразивший меня чей-то рассказ у Мережковских за воскресным чайным столом.

Захолустный городишко в Псковской губернии. Первые революционные годы. По стенам и заборам афиши: «Антирелигиозный диспут. Есть ли Бог?» Явление в те времена обычное.

Народу собралось много. Остатки местной интеллигенции, лавочники, бородачи-мужики, две какие-то монашенки, пугливо посматривающие по сторонам, молодежь. Выступает «оратор из центра».

— Поняли, товарищи? Современная наука неопровержимо доказала, что никакого Бога нет и никогда не было. Так называемый Бог определенно является выдумкой представителей капитала с целью эксплуатации рабочего класса и содержания его в рабстве. Коммунистическая партия во главе

с товарищем Лениным борется с предрассудками, и нет сомнения, что вскоре окончательно их ликвидирует. Невежеству и суеверию пора положить конец...

И так далее... Доклад окончен. Председатель предлагает проголосовать заранее составленную резолюцию с единогласным упразднением Бога.

– Может быть, кто-нибудь просит слова?

Руку поднимает старик, одетый как все, но с подозрительно длинными волосами, уходящими под воротник. Председатель иронически приглядывается к нему.

— Поднимитесь, гражданин, на эстраду... В вашем распоряжении три минуты, чтобы ознакомить собрание с вашим мнением по вышеизложенному вопросу.

На эстраде старик мнется, долго молчит, но наконец громко, на весь зал, восклицает:

— Христос Воскресе!

Поднимается шум. На эстраде, где сидят лица начальственные, суматоха, растерянность. Кричат, перебивают друг друга, кто-то предлагает немедленно закрыть собрание, другой требует нового голосования... Но вот встает заведующий отделом народного образования, солдат-коммунист, до тех пор молчавший, недавно вернувшийся с фронта. В ожидании пламенной и гневной отповеди зазнавшемуся пособнику буржуазии воцаряется тишина.

Солдат медленно, чуть пошатываясь, подходит к старику, кланяется ему и произносит всего три слова:

— Воистину Воскресе, батюшка!

Что было дальше, не знаю. Несомненно, коммунист этот был со своего поста смещен, вероятно, и арестован. Но нельзя ему не позавидовать. В эти секунды, собрав все свое мужество, предвидя последствия своего поступка, он должен был испытать огромное, редчайшее счастье, то, за которое заплатить стоит чем угодно. Львы, римские арены — здесь, пусть и в потускневшем виде, было, в сущности, то же самое.

LXXII.

Мережковский был и остается для меня загадкой. Должен сказать правду: писатель он, по-моему, был слабый, а мыслитель почти никакой. Но в нем было «что-то», чего не было ни в ком другом. Какое-то дребезжание, далекий, потусторонний отзвук неизвестно чего. Она, Зинаида Николаевна, была человеком обыкновенным, даровитым, очень умным (с глазу на глаз умнее, чем в статьях), но по всему своему составу таким же, как все мы. А он — нет.

С ним наедине всегда бывало «не по себе», и не я один это чувствовал. Разговор обрывался: перед тобой был человек с прирожденным диковинным оттенком мыслей и чувств, весь будто выхолощенный, немножко «марсианин». Было при этом в нем что-то мелко-житейское, расчетливое, но было и что-то нездешнее. И была особая одаренность, трудно поддающаяся определению.

Оратора такого я никогда не слышал и, конечно, никогда не услышу. «Арфа серафима». У Блока в дневнике есть запись о том, что после какой-

то речи Мережковского ему хотелось поцеловать его руку — «потому, что он царь над всеми Адриановыми». У меня не раз возникало то же чувство, и над всеми нашими «нео-Адриановыми» он царем бывал всегда.

И стихи он читал так, как никто никогда, и до сих пор у меня в памяти звучит его голос, будто действительно что-то свое, ему одному понятное он уловил в волшебных лермонтовских строках:

И долго на свете томилась она...

Какой-то частицей своего существа он, должно быть, в самом деле «томился на свете».

А в книгах нет почти ничего.

LXXIII.

Перечитываю — в который раз! — Достоевского.

И в который раз с удивлением вспоминаю, что находятся люди, требующие единого твердого взгляда на великие литературные явления, люди, не допускающие противоречия в суждениях, подхода с разных сторон, спора с самим собой, наконец — беседы с самим собой...

Перечитываю Достоевского. Да, есть какая-то шаткость в замыслах, многие из которых правильнее было бы назвать домыслами. Нередко есть фальшь, как во всем, что не найдено, а выдумано. «Высшая реальность» Достоевского порой перестает быть реальностью вовсе, в любом значении слова, и, как бы ни захлебывались от метафизического восторга современные властители и вице-вла-

стители дум, от нее едва ли многое уцелеет. Мучительные усилия договориться до чего-то еще неслыханного, произвольные догадки — и удар головой о крышку, над всеми нами плотно завинченную. Да, это так.

Но все-таки Достоевский — писатель единственный, заменить, «перечеркнуть» которого никаким другим писателем в мире нельзя. Однако не в плоскости «проблем».

О человеке, которому «пойти некуда», обо всем, до чего истерзанное человеческое сердце может дочувствоваться, о стыде, отчаянии, боли, возмущении, раскаянии, об одиночестве не писал так никто и никогда никто не напишет. Перечитываю главу из «Подростка», ту, где мать с пряниками и двугривенным в узелочке приходит во французский пансион к своему болвану-сыну — нет, это все-таки страницы единственные, — и да простит милосердный Бог Бунина и Алданова за все, что оба они о Достоевском наговорили, да простит Набокова за «нашего отечественного Пинкертона с мистическим гарниром» (цитирую из «Отчаяния» по памяти, но, кажется, верно) и всех вообще, кто в этом страшном свидетельстве о человеке и человеческой участи в мире ничего не уловил и не понял.

LXXIV.

Было это в Париже, ночью, незадолго до войны.

В дверях монпарнасского кафе «Дом» стоял, держась за косяк, поэт Верге или Вернье, не помню точно его имени, знаю только, что друзья

считали его чрезвычайно талантливым, хотя и погибшим из-за беспутного образа жизни. Хозяин ругательски ругал его и выталкивал, а он упирался, сердился, требовал, чтобы его впустили обратно. Наконец его вышвырнули на улицу. Случайно я вышел вслед за ним. Он стоял под дождем, без шляпы, в изодранном пальто и, опустив голову, еле слышно, совсем слабым голосом повторял:

— O, Dostoievsky, o, Dostoievsky! — взывая к Федору Михайловичу как к последнему оставшемуся у него защитнику, покровителю всех униженных и оскорбленных.

На ту же тему очень хорошо сказал о Достоевском английский поэт Оден (Auden) в статье, написанной к его юбилею несколько лет тому назад. «Построить человеческое общество на всем том, о чем рассказал Достоевский, невозможно. Но общество, которое забудет то, о чем он рассказал, недостойно назваться человеческим».

LXXV.

Думая о том, что сейчас происходит в мире, о том, что сделало двадцатое столетие с мечтами и надеждами прошлого века, многие из нас, вероятно, с особой горечью вспоминают все написанное о «народе-богоносце».

Политические предсказания и догадки о судьбах человечества — дело исключительно сложное и рискованное: за редчайшими исключениями — вроде лейбницевского описания грядущей французской революции — все они оказываются плодами слепой фантазии. Очевидно, историческая законо-

мерность не так сильна, как принято считать, или, во всяком случае, основана она не только на том, что поддается учету и анализу, но и на том, что остается неуловимым.

С «народом-богоносцем» нам очень не повезло. Как известно, некоторые из самых глубоких русских умов — Тютчев, Достоевский и другие — утверждали, что Россия призвана спасти мир: Запад будто бы подпал под власть дьявола, Россия служит Христу и должна, значит, озарить своим светом заблудившуюся, обезумевшую и грешную часть человечества. Это очень русская мысль, проходящая через почти все русские писания, окрашенные в славянофильские тона. В некоторых своих разветвлениях — у Данилевского, например, — она почти доходит до нетерпения в ожидании неотвратимой будущей финальной схватки или, точнее, войны, этого «единственного достойного способа решения мировых вопросов».

Сейчас Запад с Россией как будто поменялись ролями, и об этом одинаково часто приходится и читать и слышать: в наше время Запад будто бы представляет христианство и христианскую культуру, Россия представляет сатану и все сатанинское.

Долю истины, долю иллюзии в этих современных суждениях каждый определит по-своему — на то ведь это и современность! Но вот что, однако, ни сомнению, ни спорам не подлежит: со всем строем прежней русской мысли, поскольку она нашла свое выражение у Достоевского или у Тютчева, соображения насчет обмена ролей не имеют ничего общего.

Тютчев как свидетель в данном случае ценнее и важнее, чем Достоевский, хотя бы потому, что последовательнее его. Знаменитая его статья о «России и революции» есть своего рода манифест или катехизис христианского призвания России, как отчасти и вторая статья, о «Римском вопросе», с ее величественным и картинным заключением: русский царь, благоговейно павший ниц в соборе Св. Петра, а вокруг него, символически, вся Россия тоже на коленях.

Тютчев, несомненно, признал бы, что в наше время Россия с колен встала и христианское свое служение отвергла. Но признал ли бы он, что на колени опустился Запад? Нет ни малейшего основания утверждать это.

Если бы Тютчев, Достоевский или такие славянофилы, как Хомяков, а еще лучше Ив. Киреевский — менее блестящий в мыслях, конечно, но, пожалуй, более глубокий в чувствах, с мыслями связанных, — если бы вышли они из могил и взглянули на современный мир, то в соответствии со своими основными утверждениями должны были бы признать, что христианского лагеря, христианского «стана» на земле больше нет: осталось два сатанинских лагеря или, на крайность, один полностью сатанинский — в России, другой полусатанинский — на Западе.

По Тютчеву, по Достоевскому, по славянофилам, в неумолимом следственном согласии со всей этой линией русской мысли, сатана уже победил, и сейчас происходит нечто вроде «домашнего спора» между подвластными ему силами, без того чтобы спор этот мог иметь решающее значение.

Решающие события уже произошли, а что произошли они иначе, по-другому, чем хотелось бы и чем было предсказано, дела не изменяет.

Исчезла христианская, царская, православная Россия. Новая Россия неожиданно обошла Запад слева и заставила его для борьбы с ней, а то и просто для разговора с ней сделать крутой поворот на сто восемьдесят градусов. Но при этом Запад остался таким же, как был. Поворот изменил его позу, то положение, в котором он стоял, но не изменил его сущности.

Все, что отвращало Тютчева, осталось или даже усилилось. Вспомним: народовластие, основной демократический принцип — для Тютчева принцип безбожный, ибо это «власть человеческого "я", бесконечно умноженного в числе». А человеческое «я», предоставленное себе, в корне враждебно христианству, и французская революция была не чем иным, как «апофеозом этого я». Кого Запад признал своими духовными вождями? Папу Григория VII и Лютера. Никогда Россия не согласится счесть Лютера за подлинного христианина, да и католичество осталось ей чуждо именно потому, что оно Лютера в себе несло, было им беременно, поскольку с самого начала возвеличило разум и на нем основало свое здание. Лютер — плоть от плоти католичества и был в нем логически неизбежен (это, впрочем, мысль не Тютчева, а Ивана Киреевского, и мысль очень верная).

Об этом толковали русские мыслители сто лет тому назад, а с тех пор ничто не изменилось. Смирение, столь им дорогое, никого в западной культуре не соблазнило. «Эти бедные селенья, эта скуд-

ная природа» исчезли в России за всякими электрификациями и Днепростроями, и если то, о чем сказано в последней строке тютчевского стихотворения — навеки незабываемого, чудесно одушевленного, будто насквозь светящегося! — если об этом глупо и кощунственно было бы говорить теперь в применении к нашей земле, то не менее глупо и кощунственно было бы и делать географические перестановки.

Для этих видений нет больше места в мире. По Тютчеву и по всем его единомышленникам, игра проиграна, темные силы восторжествовали, а если между собой они не ладят, то от исчадий ада и ждать нельзя мирного сожительства.

Не думаю, чтоб эта философия — в наши дни, по ходу истории, оказавшаяся столь скорбной — пришлась кому-нибудь по сердцу. Не думаю, чтобы кто-нибудь попытался ее гальванизировать. Мысль приноравливается к обстановке, ищет в ней опоры, пищи и выхода... Но нельзя при этом искать какой-либо поддержки в великом русском религиозно-политическом вдохновении прошлого века. И нельзя на него ссылаться, говоря об изменении ролей.

LXXVI.

Более полутораста лет тому назад Карамзин, под непосредственным впечатлением французской революции, задумался над вопросом, который стоит перед нами и до сих пор: как могло случиться, что идеи и принципы, несомненно благотворные, привели к невиданным в истории ужасам? в чем дело? случайно ли это?

«Век просвещения, я не узнаю тебя! В крови и пламени, среди убийств и разрушений я не узнаю тебя! Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плоды наук и мудрости? Сердца ожесточаются ужасными происшествиями... Я закрываю лицо свое...»

Много позднее Герцен, у которого не было оснований относиться к Карамзину с особой симпатией, вспомнил эти слова и признал, что они «бьют в самую точку». Еще позднее, в 1904 году, Лев Толстой записал в дневнике своем мысль если не совсем однородную, то все же задевающую те же самые темы:

«Французская большая революция провозгласила несомненные истины, но все они стали ложью, когда стали вводиться насилием».

Вероятно, Карамзин согласился бы с Толстым. Но за ним остается то преимущество, что он в отмеченных и Толстым фактах увидел загадку и в явно взволнованных словах передал ее на рассмотрение и возможное разрешение людям следующих столетий.

В самом деле, если и верно, что «насилие превратило истину в ложь», то надо бы спросить себя: откуда возникает насилие? почему? Есть ли надежда, что в будущем торжество свободы и равенства обойдется без насилья, подобно тому как в России, в 1917 году, на несколько дней почти все поверили, что революция действительно останется «бескровной»?

Карамзинская загадка разрешается порой до крайности элементарно, так сказать, по-обывательски. Объяснение должно будто бы свестись к тому, что властью завладели негодяи, жестокие, бесприн-

ципные, ненасытно-честолюбивые люди, которые ради ее удержания согласны на все решительно. Кое-что в этом наблюдении может быть и верно, но беда-то в том, что это не столько объяснение, сколько именно наблюдение. Ничуть не идеализируя и не драпируя под добродетельных овечек ни Робеспьера, ни Ленина, надо бы все-таки вглядеться в сущность вопроса, на которую поверхностные психологические замечания ответа не дают. Сделаем для ясности все необходимые уступки: признаем, что и в идеях, робеспьеровских или ленинских, «плоды наук и мудрости» оказались искажены, что в их личной окраске это — идеи фанатические, узкие, пусть даже изуверские... Но вопрос и после этого остается вопросом во всей своей неумолимой, поразившей Герцена простоте. Революции совершаются во имя чего-то несомненно хорошего, правильного, нужного и справедливого. Почему вырождаются они во что-то злое и отталкивающее? Каким образом из добра возникает зло? Неужели действительно потому, что во главе доброго дела становятся злые люди? И если даже это так, чего же эти злые люди в конце концов хотят?

Как во всяком сложном историческом явлении, причины тут, конечно, скрещиваются и сплетаются. Нет единой решающей причины, их множество, и в каждом отдельном случае причины общие, постоянные, скрыты другими, связанными с данной эпохой и ее деятелями. Но кое-что, общее и роковое, выделить можно.

Народные волнения и перевороты сколько-нибудь длительные и глубокие движутся и одушевляются двумя идеями: идеей свободы и идеей спра-

ведливости или иначе — равенства. Но понятия эти вовсе не дополняют одно другое, как мы часто по инерции считаем, а друг друга исключают. Никакой гармонии между ними достичь нельзя до тех пор, по крайней мере, пока человек останется таким, каков он сейчас, и оттого-то третий член великого революционного символа веры — «братство» — в наше время стыдливо опускается и заменяется другим, менее лицемерным, не «брат», а «товарищ» или всего только «гражданин». Если бы достижимо было братство, все было бы сглажено, все противоречия сами собой разрешились бы и свобода с равенством, чисто по-карамзински, в слезах обнялись бы и установили бы между собой вечный мир. Но братства нет, а равенства человек не хочет.

В этом, вероятно, самая сущность, само острие вопроса: равенства человек не хочет или, во всяком случае, им не удовлетворяется. Он мечтает о нем, он требует его, пока от недостатка социальной справедливости страдает и пока верит, что всеобщее правильное распространение всякого рода благ должно положение его улучшить. Если представить себе горизонтальную черту, символизирующую уравнение всех людей в обладании земными сокровищами, человек стремится к этой черте, пока находится под ней, ниже ее. Достигнув ее, он рвется вверх, не говоря уже о том, что находящиеся наверху ни малейшего желания спуститься не проявляют, разве что в самых исключительных случаях, примером которых должны бы остаться в истории наши декабристы, доказавшие, что не всегда все-таки «человек есть то, что он ест».

Русская революция вначале сделала ударение на свободе и в лице первых ее руководителей была именно идеей свободы одушевлена. О горизонтальной черте равенства мало кто думал, а если и думал, то мысленно допускал ее лишь там, где она могла бы быть проведена безболезненно: равенство избирательных прав например. Все февральское, какими бы подземными толчками подготовлено оно ни было, предстало под ярлыком свободы и потому мало кого испугало, а, наоборот, почти всех обрадовало — кто же, в самом деле, свободы не хочет? Но октябрь, на словах от свободы не отрекшийся, совершился во имя равенства, и никакие захваты власти, ни даже успехи в гражданской войне не были бы возможны, если бы мечта о равенстве, в самых примитивных ее формах, не владела десятками миллионов людей, не подозревавших, чем обернется она в будущем. Октябрьский переворот мог бы, конечно, кончиться неудачей по причинам случайным, то есть местным, временным, психологическим, военным, каким угодно другим... Но по общему, основному его устремлению — выразившемуся хотя бы в формуле «грабь награбленное» — торжество было ему обеспечено, тем более что свободе он, казалось, угрожал лишь «постольку-поскольку» и, не церемонясь в отношении бывших баловней жизни, обещал — всем другим, то есть огромному большинству, довольство и покой.

Вероятно, и многие из тех, кто движением тогда руководили, — или думали, что руководят, — убеждены были в возможности гармонического сочетания равенства со свободой. Не Ленин, ко-

нечно, человек дальновидный, отбросивший всякие иллюзии, но, скажем, Каменев или краснобай Луначарский, искренне, кажется, поверивший, что ворота в рай распахнуты и, после первых передряг, ему как «наркому» предстоит беспрепятственно сеять разумное и вечное. Однако вскоре истина стала очевидна, ошеломив одних, заставив других изощряться в «революционной диалектике», то есть в более или менее бесстыдной болтовне. Истина обнаружилась: от свободы не осталось ничего ни для кого, и вовсе не потому, чтобы октябрь сбился с пути, изменил себе, нет, наоборот, потому, что он изменил бы себе, если бы свободы не уничтожил.

Конечно, это лишь схема того, что произошло, а жизнь мало бывает похожа на схему. Еще раз: бесчисленные, почти неуловимые мотивы должны были сплестись, прежде чем образовать реальное историческое целое. Но схема тоже имела значение, и, вероятно, не меньшее, нежели что-либо иное... Движение по линии свободы, то есть со свободой в качестве конечной цели, сопротивления не встречает. Движение по линии равенства наталкивается на бесчисленные «не хочу» не только сверху, но и снизу, задолго до всех проблематических будущих свершений. Отталкивает и ужасает новый, неожиданный тон власти, с первыми угрозами, с явственно ощущаемым впереди переходом от простого понуждения к чему-то неизмеримо более бесчеловечному и беспощадному.

Свободу можно, так сказать, «декларировать» без дальнейшей опеки над ней. Равенство можно было бы только навязать силой, и стремление к

нему неизбежно ведет к контролю над поступками, действиями, а затем и над мыслями каждого отдельного человека. Каждый отдельный человек — как правило, с несомненными из него исключениями, — заботится прежде всего о себе. Даже веря в достижимость свободы и благополучия для класса как живого целого, он не согласен ради этого целого жертвовать собой. Класс, общество по сравнению с ним самим — понятия почти ирреальные, условно живые, книжно-живые, как и пресловутое «классовое самосознание». Нет класса, есть Иван Иванович, который хочет, чтобы жена его ходила в шелковом платье, недоступном для жены Петра Петровича, и, что особенно удивительно, от этого шелкового платья Ивану Ивановичу меньше радости, если жены всех Петров Петровичей в состоянии завести себе такие же! Именно так ежедневные, едва заметные многомиллионные маленькие взрывы сливаются в глухое, стихийное противодействие теоретически праведному и, по Карамзину, «святому» стремлению. Безотчетно или сознательно человека тянет обратно, в первобытный лес, и никаких приглашений выйти оттуда он к себе лично не относит. (А стремление в самом деле «свято», хоть и находится в противоречии со всем тем, что можно бы назвать поэзией жизни, прелестью жизни, восхитительной пестротой жизни, — и это-то и заставляет людей константинолеонтьевского типа, эстетически чутких, но этически глухих, бледнеть от ярости и презрения при одном упоминании о нем.)

Неизбежно, само собой, стремление теряет энергию и слабеет. В непрестанных столкновениях искажается самое вдохновение его. Начинает-

ся игра словами, вроде того, что «равенство» не есть «уравниловка», хотя при зыбкости всех этих понятий и не видно, как могла бы безупречная, окончательная социальная справедливость без «уравниловки» обойтись.

Полицейское рвение, поощряемое сверху, расцветает пышным цветом. Волчьи инстинкты вырываются наружу — и в результате получается та страшная карикатура на общее счастье, на рабочий и демократический рай, которую нам и нашей эпохе впервые дано видеть во всей ее полноте.

LXXVII.

У Белинского в письме к Боткину есть такое признание:

— Я понял кровавую любовь Марата к свободе...

Здесь два не совсем правильно употребленных слова: во-первых, едва ли в применении к Марату можно говорить о любви; затем, если и была у Марата любовь, то не к свободе, а к другому облику, к другим стремлениям и другим мечтам революции.

Белинский в своем «неистовстве» всегда захлебывался словами, и требовать от него стилистической точности нельзя, особенно в письме. Но ошибка в выражениях объясняется у него еще и тем, что между понятиями «революция» и «свобода» связь долго казалась неразрывной и естественной. Одно без другого не мыслилось. Белинскому, по-видимому, и в голову не приходило, что революция может свободе быть враждебна.

Вероятно, если бы он знал, что пришлось узнать нам, рука его дрогнула бы, «понял» не звучало бы у него как «оправдал», «одобрил», и душевного расположения к Марату оказалось бы у него меньше.

LXXVIII.

В дополнение ко всему тому основному, необходимому и подчас проницательному, что было о Тургеневе написано, дождемся ли мы когда-нибудь иной статьи о нем, о том, что было в нем самого «тургеневского»?

Определить тему было бы нелегко, потому что сущность ее была самим автором тщательно скрыта под бесчисленными наслоениями. Некоторые из них исчезли, и о «певце русской девушки» или «поэте родной деревни» никто теперь не говорит. Но яснее от этого Тургенев не стал.

Забудем Рудина и скучнейшего Хоря с Калинычем вместе с их общественными заслугами, забудем даже Базарова, как бы ни было жаль с ним расстаться: уж очень он Тургеневу удался, да если и не в нем самом, то в некоторых особенностях рассказа о нем кое-что сквозит очень существенное... Забудем вообще все то боборыкинское, к чему Тургенев себя принудил: типы и образы сменяющих друг друга поколений, добросовестно уловленные и образцово обрисованные, со всеми их бесконечными разговорами. Тургенев оттого и остался холодным писателем, что скучновато ему было обо всем этом писать, и писал он почти что нехотя, сам того, вероятно, не сознавая.

6 Зак. 3049

Был он человек слабый и в себе неуверенный, как будто даже чем-то испуганный. Была, вероятно, оттого в его писаниях какая-то постоянная фальшь, не громоподобная, взвивающаяся к небу, как порой у Гоголя, а вкрадчивая, уклончивая, застенчивая, с усмешечками, вроде, например, упоминания о петухе незадолго до смерти Базарова, петухе, странную неуместность которого так верно и остро уловил покойный Бицилли. Да и не только в иронии тургеневской была тончайшая фальшь. Вспомним «Живые мощи», один из тех рассказов, который больше всего вызвал восхищения как вещь несомненно классическая. Прекрасный рассказ, и все в нем кажется прекрасно, пока вдруг не смутишь себя вопросом: а мог ли бы такой рассказ появиться за подписью Толстого? И сразу «Живые мощи» становятся смешны, сразу обнаруживается их сусальная благостность, их слащаво-лубочная и декоративная нарочитость.

Но это — эту фальшиво дребезжащую струнку — Тургенев, вероятно, в себе чувствовал. Как чувствовал, вероятно, и «прохладность» свою, прохладную, беспредметно-беспричинную свою грусть. Ну конечно, он навсегда оттеснен на второй план своими двумя «сверстниками-гигантами» — о чем же тут спорить? Но слабый, легкий и тихий голос его никем все-таки не заглушен и до сих пор отчетливо слышен. Особенно если иначе, не так, как прежде, не с теми требованиями, что прежде, к нему прислушаться.

Тургенев только к концу жизни начал становиться самим собой, и только по его поздним вещам можно догадаться, чем должен был бы он

стать. Ему, по-видимому, тягостно было жить. Все везде ему было чуждо. Одиночество с каждым годом усиливалось. Романы куда-то проваливались в небытие, в неизбежное забвение, и с его умом мог ли он этого не сознавать, какой бы ни курили ему фимиам? Все проваливалось, он ни во что не верил, а главное — ничего не пытался изменить. Тут, в этой духовной скромности Тургенева, в отсутствии всякой самонадеянности и уж тем более всякой «гордыни», есть что-то неожиданно христианское. «Смирись, гордый человек!» — вопиял, весь дрожа и задыхаясь от гордости, Достоевский, а Тургенев до него и без него это почти исполнил. Иногда, вдоволь намучившись над Толстым или Достоевским, спрашиваешь себя: а что, не ближе ли к тому, о чем с такой исступленной страстью и силой они кричали, не пробрались ли какой-то окольной тропинкой к недоступному для них состоянию, именно как «малые сии», которым все обещано, а не как самозваные пророки, которым не обещано ничего, словом, не лучшие ли христиане самые тихие русские писатели — Тургенев и Чехов? Особенно Чехов. Но и Тургенев тоже, каким бы эллином он себя ни считал.

В «Стихотворениях в прозе» еще много мишуры. «Как хороши, как свежи были розы» и все в этом роде, — Бог знает что, если наконец сказать правду, сплошная нестерпимая патока! Но тут же рядом удивительные страницы, как, например, рассказ о бабе, которая, похоронив сына, молча хлебала щи. Будто проблески — вот, вот что надо было делать, вот как надо было писать! Если ты действительно грек, как о тебе говорят, в этих щах

больше Греции, чем во всех роскошно увядающих букетах... Но поздно. Париж, старость, бесцельная и бессмысленная слава, огромная тень Толстого вдали как упрек и угроза и, вероятно, тревожные, разъедающие душу воспоминания о тщетных попытках самого себя уверить, что вовсе не так Толстой и хорош, что «Война и мир» — дрянь, что «Анна Каренина» еще хуже, а потом, уже совсем перед смертью, знаменитое письмо к нему, образец истинного и естественного человеческого благородства. «Песнь торжествующей любви», тоже с чрезмерным обилием всяких «роз», но уже бесконечно далекая от зарисовки общественных типов и с первым вторжением чертовщины, столь плохо с ними вяжущейся. Мучительная жалость к стареющей Полине и остатки любви. «Моя бедная подруга своим совершенно разбитым голосом поет у себя наверху...» А ей, этой бедной подруге, даже не присылают уже и билетов в оперу, где она когда-то блистала. Совсем забыли ее, как забудут и его. Как забудут всех. Что она поет? «Нет, только тот, кто знал...» — самую магическую из всех мелодий Чайковского, ту, которую поет и Клара Милич. «Ниэт, только тот, кто зналь...» Все проваливается, но Клара Милич придет с того света говорить о любви, обманывать, утешать, убаюкивать. Никакого нет бессмертия, и Базаров был прав, «лопух на могиле», но пусть это всего только темное волшебство, а Клара Милич здесь, и говорит она о любви. А они? О чем они все шумят? Что им надо? Даже Толстой, ведь тоже немолодой уже человек, какими пустяками он занят! Рассказывает, «в чем его вера», учит чему-то. Не все ли равно, по Толстому ли верить

или так, как верит какой-нибудь сельский попик, только и знающий что бормотать: «Сусе, Сусе, Христе»? Раз ничего нет? Лучше остаться с попиком, проще, скромнее. Да, есть искусство, и о Пушкине на московском празднестве он воскликнет — именно «воскликнет», а не скажет: «Сияй же, благородный, медный лик...» — с такой трескучей риторикой, что хочется еще и теперь в стыде и растерянности закрыть лицо руками. Ему самому, вероятно, было стыдно. Но оттого и «сияй, медный лик», что нет о таких вещах настоящих слов и невозможно найти их. «Боязнь фразы есть тоже фраза». А люди этого не понимают и требуют от старика болтовни на юбилеях и чествованиях. Да, есть искусство, суррогат бессмертия. Надо было бы иначе искусству служить, писать о Кларе Милич, то есть не о ней именно, а в этом плане, без параллелей между эпохами и поколениями. Но поздно, «кладу перо», как издевался ослепший от ненависти Достоевский, «мерси, мерси», страшно, смерть идет, никто не может помочь, полное одиночество и холод вокруг, как холоден «зеленый зимний край неба в окне», о котором упоминается в одном из его последних писем. И что обещает он, этот край неба, о чем говорит он, кроме игры бессмысленных сил и наших миражей? Надо по мере возможности жить просто, жить благожелательно к другим, жить, как живут другие, не в том смысле, как понимал это поручик Берг, а в смысле круговой поруки перед общей для всех участью, пожалуй, даже по-базаровски резать лягушек во имя прогресса и цивилизации и, конечно, молчать о том, что за «зеленым краем неба» решительно ничего нет и что даже

Клара Милич со всеми потусторонними видениями — жалкий самообман, ампула морфия, помогающая сносить боль до той минуты, когда ни боли не остается, ничего...

LXXIX.

А. говорил мне:

1) Да, нечего от себя скрывать истину: конечно, христианство не удалось. Исторический размах был огромный, но он давно уже суживается, и теперь вопрос только в том, удержится ли хоть что-нибудь...

Верующие скажут, что скрыта здесь великая тайна и великая надежда! Может быть! Но и верующим, вероятно, случалось ночью, в часы бессонницы, когда все такое в уме перебираешь, вдруг вздрогнуть, чуть ли не вскочить в недоумении: как же так, если действительно это всемогущий Бог послал двадцать столетий тому назад Своего Сына на землю, если это правда, неужели могло бы все ограничиться частичным и, в сущности, скромным успехом? За двадцать столетий неужели не произошло бы торжества несомненного и окончательного? Тайна! — невозмутимо ответят верующие. Но рассудок даже и при самом страстном стремлении к вере сохраняет свои права и на согласие «quia absurdum» идти колеблется. Именно для рассудка, для разума христианство не удалось, то есть не удалось как целое, с его будто бы всемирным и всечеловеческим предназначением. А что в отдельных душах оно еще живо, да, вероятно, и всегда будет жить, кто же это отрицает?

Но вот что мне хотелось бы добавить: даже то частичное, даже то ограниченное, чего христианство достигло, есть ошеломляющее чудо истории. И тут действительно есть какая-то тайна. Потому что невозможно ведь ничего себе представить, что было бы в более очевидном разладе с природой со всеми ее естественными силами, всеми ее потребностями, всеми ее законами.

Об этом верно... но, поймите, я не соглашаюсь с ним, я только нахожу, что по-своему он был прав!.. Об этом верно сказал Цельсий: для них зло есть добро, а добро есть зло. Для них, то есть для первых христиан, — и это же вместе с ним ощутил весь Рим, вероятно, не допускавший на первых порах и мысли о возможной победе какой-то темной и безумной ереси.

Было синее небо; христианство сказало: нет, ночное небо лучше! Было здоровье и сила; христианство сказало: нет, плоть есть враг человека и надо ее умерщвлять! Было счастье; христианство сказало: нет, друзья, будем страдать и плакать! И так далее и так далее, почти до бесконечности, — все оказалось вывернуто наизнанку. Нормально мир должен был бы расхохотаться, залиться плотоядным, презрительным смехом и вытолкнуть всех этих сумасшедших евреев в их вечно сумасшедшую Палестину, вместо того чтобы приняться окрашивать их бред в благородные эллинистические тона. Но случилось то, чего нельзя было ждать, и никакие ссылки на тоску и растерянность языческого мира к началу нашей эры всего не объясняют и не оправдывают. Стоит только отряхнуть с себя нашу общую двадцативековую привычку к

результатам этой «переоценки ценностей», как слова Цельсия предстают во всей своей неопровержимости. Действительно, есть тут какая-то тайна или, скажем проще, загадка!

2) Под окном шла бесконечная католическая процессия, с детьми впереди, со взрослыми за ними, с крестами, хоругвями, священниками, певчими, затем снова детьми, с какими-то стариками и старухами, и была на всех лицах такая глубокая, счастливая вера, что я вспомнил Розанова, одну из тех фраз его, которые пронзили меня на всю жизнь: «И да сияют образа эти вечно!», из предисловия к «Лунному свету».

Но оставим Розанова... Шла у меня вчера под окном католическая процессия. На всех лицах была вера, и если бы любого из шедших спросить: ты знаешь, что ждет людей за гробом? ты знаешь, что будет Страшный Суд? ты знаешь, что есть рай и ад? — каждый без колебаний ответил бы: верю, знаю.

И вот я подумал: до чего доверчивы люди! В сущности, они ведь ровно ничего не знают. Но им сказали, что за гробом будет то-то и то-то, что на небесах происходит то-то, — и они приняли все это как истину с чужих слов. Духовный опыт? Бросьте ссылаться по привычке на этот вздор. Духовный опыт если и бывает, то у одного человека на миллионы, да и то сводится он к чему-то бесформенному и неуловимому. А тут ведь у каждого в голове таблица с описанием и расписанием всевозможных потусторонних происшествий и ни малейшего сомнения насчет ее точности... До чего доверчивы люди! Откровение? Откровение если и

было, то ведь никак не у них; им рассказали, что было Откровение, что в таких-то книгах оно запечатлено. И они поверили! Если вдуматься, это ошеломляет. Один за другим идут, поют, что-то будто бы знают, веками, веками, и все с чужих слов... Но и хорошо, что верят, было бы в мире больше несчастных людей, если бы не верили, «и да сияют образа эти вечно!».

LXXX.

3) У меня нет сына. И, пожалуй, слава Богу, что нет. Потому что, если бы у меня был сын, я не знал бы, что ему сказать. Знаете, я всегда представляю себе — хотя на деле это, вероятно, редко случается, — что в шестнадцать-семнадцать лет мальчик может прийти к отцу и сказать приблизительно следующее: «Папа, ты прожил несколько десятков лет, ты много видел и читал, много думал, скажи мне, что такое жизнь? скажи мне, как надо жить?»

И я не знал бы, что ему ответить. Вероятно, я сказал бы ему то же самое, что сказали бы в таком случае и другие: надо работать, надо иметь идеалы, надо быть честным и смелым, надо уважать чужие мнения. Надо, наконец, «бороться», как принято выражаться: неизвестно за что бороться, но бороться. Как же в самом деле не «бороться»! Но если бы сын у меня был умный, не такой, от которого можно отделаться прописями, он понял бы, что у меня нет для него ответа. Не только насчет того, что такое жизнь, — тут никакого ответа и не может быть! — но и о том, как следует

жить и что важнее всего в этом смысле. Да, я прожил несколько десятков лет, читал, вглядывался и по мере отпущенных мне сил думал. Но чем глубже вдумываюсь, чем больше себя проверяю, тем яснее сознаю, что не могу ни на чем остановиться окончательно. Конечно, надо работать! Конечно, надо бороться! Но... но... и тут меня охватывают такие сомнения, и даже за других, такая усталость от трудолюбивой поддержки всех наших шатающихся устоев, что в конце концов положил бы я сыну руки на плечи и сказал бы: «Не знаю, дорогой! И не верь тем, которые думают, что знают». Если бы он хотел просто-напросто добиться успеха в жизни, рецептов для этого сколько угодно. Но сомнения-то мои именно к успехам и обращены, притом не только в грубых их видах, но и в других. Пожалуй, все-таки кое-что я посоветовал бы... Как там сказано: «учитесь властвовать собой»? Так вот, не «властвовать», а «жертвовать»: учитесь жертвовать собой! Не очень собой дорожите, а остальное приложится... Да, приложится, даже если с такими советами, как мои, и умрешь ты где-нибудь под забором, не оставив никакого следа ни на каком «поприще». Вот насчет «поприща» ничего сказать на могу — но ведь ты не об этом и спрашивал, не об этом, нет?

LXXXI.

4) Вспоминая свою молодость, я даже приблизительно не могу определить, когда именно наступил в ней перелом, по-моему, очень важный. И присматриваясь к теперешним «русским мальчикам»,

да и не только русским, тоже не знаю, когда это с ними случается. Но должно бы случиться непременно, и, собственно говоря, только с этого момента человек становится взрослым.

В ранней юности само собой возникает противопоставление: «я», «мы», то есть сверстники, — и «они», старшие. «Они» представляются силой или средой если и не враждебной, то чуждой: вроде как если бы мореплаватели, высадившись на неведомом острове, нашли там туземцев, занявших лучшие места. Что у «нас» с «ними» общего, в самом деле? Иной язык, иные нравы, иные влечения и надежды. Бывает даже, что налет «чуждости» ложится в юности на самую жизнь: самая жизнь «нас», еще ничем с ней прочно не связанных, будто бы не касается, и участвовать в ее передрягах «мы» не намерены. «Они» что-то там намудрили, напутали, каких-то бед натворили, пусть в них и разбираются, а мы постоим в стороне.

Вероятно, перелом наступает с первым толчком сзади, от новых, следующих мореплавателей, и случается это рано, лет в тридцать, а то и раньше. Человек вдруг понимает, вернее, чувствует, что попал в ловушку и что у судьбы нет ни желания, ни основания, ни даже возможности отнестись к нему иначе, чем к другим. Иллюзии насчет стояния в стороне рассеиваются. «Товарищ, друг, дай мне руку», как склонен бы сказать Блок. Но те, очередные «новые», в рукопожатье не нуждаются и приняли бы его нехотя, со скептической, недоумевающей усмешкой. До следующего, очередного толчка в спину, когда в том же положении окажутся и они.

LXXXII.

5) Было время, я любил читать новые книги, бывать там, где обсуждались новые идеи, новые стихи, то вообще, что называется «веяниями».

Но теперь мне почти все стало казаться так глупо и ничтожно, настолько «ни к чему», что, честное слово, предпочитаю я сидеть у себя сложа руки и смотреть в потолок. По крайней мере, «покой и свобода»! Раскроешь журнал: Боже мой, о чем они пишут! и как пишут! Пойдешь на какое-нибудь собрание: Боже мой, какие самодовольные физиономии, какое пустословие! Хочется бежать, выйти на улицу, где небо, дождь, ветер, и никто не лезет из кожи, чтобы продемонстрировать, какой он умный... Но в глубине-то души я прекрасно знаю в чем дело, и если бы не лукавил, должен был бы сказать себе: ничто не изменилось, люди не хуже и не лучше, чем были прежде, это ты, голубчик, уходишь мало-помалу из жизни, выпускаешь ее из рук — и брюзжишь, а то даже сердишься, что она продолжается и без тебя!

LXXXIII.

«Люди не могли бы жить, если боги не дали бы им дара забвения».

Кому из великих древних поэтов, Эсхилу или Эврипиду, принадлежит эта глубокая и верная мысль? Вероятно, это — Эврипид, который вообще много сказал такого, что кажется сказанным не две с половиной тысячи лет тому назад, а вчера.

Дар забвения... Если мы теперь пишем, просматриваем журналы, ходим на литературные собрания, невозмутимо спорим о том, какова должна быть в наши дни поэзия и влияет ли кинематограф на литературу, если вообще мы «живем», в том суетливом, мелком, повседневном, ничтожном смысле слова, которого нечем заменить, если даже по мере сил, со «скудеющей в жилах кровью» еще влюбляемся и скучаем, то только благодаря тому, что наделены способностью забывать. Иначе мы должны были бы сойти с ума или сидеть в каком-то столбняке, недоумевая: неужели все это было? совсем недавно было? как все это могло случиться? как же после этого перейти к житейским очередным делам?

Неправильно было бы сказать, что человек отгоняет от себя тревожащие его воспоминания. Не приходится и отгонять. Нечего отгонять. Воспоминания лежат под спудом, они не уничтожены, но вытеснены в прошлое и не влияют ни на мысли наши, ни на поступки. Иначе нельзя было бы жить. Внезапно, как молния, то или другое из них пронесется в сознании, взбудоражив его, а затем опять тьма, безразличье и привычные интересы или заботы. Двигало ли богами милосердие к человеку, было ли у них к нему скорей пренебрежение, как к созданию не совсем удавшемуся, с которым не стоит и возиться, — кто скажет? Но некое соответствие между существом и существованием, между нами и жизнью оказалось соблюдено.

Случается над этим задуматься. Попадется какая-нибудь газетная статья вроде той, на которую хорошо, с верным указанием на «нерелигиоз-

ное использование религии», ответил недавно архиепископ Иоанн. Попадется роман вроде «Хождения по мукам», книги столь же отвратительной, сколь и талантливой, книги, о которой хотелось бы сказать, что она слишком легковесно-занятна для своей темы, слишком пестра, бойка, картинна, шаблонно-увлекательна, что в ней «хождений» много, а «мук» мало, что тему свою она погребла под всякими беллетристическими завитушками и виньетками, правда, прекрасно сработанными... Прочтешь, перечтешь что-нибудь такое, «бередящее старые раны», — и задумаешься над благодатным бесчувствием и беспамятством человека. Не будь человек чурбаном, мы не находили бы себе места, выли бы от ужаса и стыда, усиленного еще и тем, что, по-видимому, «так было и так будет», пока стоит свет. Мы бросили бы запоздалые, мстительные, глупые взаимные обвинения, поняли бы, что все виноваты, каждый по-своему, что всем есть в чем упрекнуть себя, есть от чего внезапно покраснеть «до корней волос», что в судьи нас никто не ставил, что слепая жестокость истории воплощается в отдельных волях, которыми играет, как пешками, что какая-то общечеловеческая круговая порука должна бы восторжествовать над раздорами, над страшным и бессмысленным месивом последних десятилетий. Словом, мы не «жили» бы, а остановились бы в оцепенении, с внезапной остановкой всех бесчисленных мелких колесиков, на которых благополучно катимся от одного дня к другому, от года к другому году и дальше, дальше к общему для всех нас финалу, с речами, венками или без речей и без венков, в яме... Но мы живем.

— Да, да, конечно, все это ужасно, да, поговорим об этом когда-нибудь в другой раз, да, совершенно верно, нельзя забыть, «человек человеку бревно», я сам так считаю... А знаете, завтра вечером г. Икс, только что прилетевший из Мюнхена, читает доклад с любопытнейшими, говорят, прогнозами насчет эволюции международных отношений. Наш г. Игрек рвет и мечет, говорит, что пахнет провокацией, собирается возражать. Надо бы сбегать за билетом, а то все разберут, при входе не останется. Но вы что-то морщитесь... Неужели вам не интересно?

— Нет, интересно. Возьмите, пожалуйста, и для меня билетик.

НАСЛЕДСТВО БЛОКА

Не думаю, чтобы существовал когда-либо в России поэт, которого при жизни любили так, как сверстники и младшие современники любили Александра Блока. Пушкин? Нет, при всем увлечении его поэзией в двадцатых и тридцатых годах прошлого века подлинное признание Пушкина и настоящая оценка его значения пришли позднее, после того, как гимназист Писарев (да, гимназист, — но даже в озорстве своем какой талантливый, как много обещавший гимназист!) вдоволь наиздевался над «миленьким, маленьким Пушкиным», после речи Достоевского, полной фантастических домыслов и догадок, но несомненно положившей начало новому, углубленному взгляду на «Онегина» и все пушкинское творчество. Некрасова любили до слез, до тех «рыданий над книжкой», о которых говорил, помнится, еще Треплев в «Чайке», но любили вопреки мнению знатоков, дружно утверждавших, что поэзия в некрасовских стихах «и не ночевала». О Надсоне или о Бальмонте незачем упоминать: это были метеоры, мерцавшие обманчивым, неверным светом и исчезнувшие, надо полагать, бесследно.

Блок был для современников Поэтом с большой буквы, не то чтобы первым по мастерству или чисто литературным достоинствам, а скорей един-

ственным по совпадению с духом эпохи, корифеем, объединителем хора, составленного из противоречивых голосов. Нечто вроде подданства по отношению к Блоку чувствовали, — хотя не всегда открыто признавали, — все те в нашей поэзии, кто был моложе его. С природной своей порывистостью, со своим даром восхищения и преклонения это выразила Цветаева в цикле «стихов к Блоку», где одно стихотворение, — кстати сказать, чудесное, одно из лучших Цветаевой когда-либо написанных, — кончается восклицанием: «Вседержитель моей души!» Для Ахматовой Блок был «нашим солнцем». Даже такой человек, как Ходасевич, менее всего расположенный к порывистости, склонен был другими словами сказать приблизительно то же самое. У меня остался в памяти один позднейший, уже парижский разговор с ним, когда, перебрав, — как обычно в таких случаях водится, — одну за другой различные цитаты из блоковских стихотворений, в частности, несколько раз повторив строки «Будьте ж довольны жизнью своей...», Ходасевич сказал: «Что тут говорить, был Пушкин и был Блок... Все остальное — между!» — с интонацией, похожей, вероятно, на ту, с которой Писемский сказал о молодом «офицеришке» Толстом: «Хоть перо бросай!».

Блок был прежде всего поэтом поколения, выразившим все то темное, смутное, горестное — впрочем, и смешанное с какими-то надеждами, — что наполняло умы и души людей, сложившихся в предреволюционные годы. Он сам дал этому поколению имя: «дети страшных лет России». Для него был у Блока свой особый message, не вполне

поддававшийся, конечно, переводу на язык логический, но улавливавшийся современниками в самом тоне его стихов и глубоко их волновавший. Бывали дни, когда, прочитав в каком-нибудь журнале новое блоковское стихотворение, — вот хотя бы эти строки о «детях России», появившиеся в «Аполлоне», — они чувствовали и знали, что прочли нечто для себя крайне важное, и оставались под этим впечатлением надолго: всякие другие стихи, даже и те, которые определяются как «блестящие», «мастерские», казались рядом досужей выдумкой.

Конец Блока, духовное крушение его было в этом смысле не только развязкой его личной драмы, а и событием, которое по тогдашним условиям, по тогдашнему обострению всех ощущений и эмоций, в «разреженном воздухе уходящей эпохи» представлялось событием общенациональным, полным еще неведомого исторического значения, приблизительно как 29 января 1837 года... Блок казался жертвой, которую приносила Россия. Зачем? Никто не знал. Кому? Ответить никто не был в состоянии. Но что Блок был лучшим сыном России, что если жертва нужна, выбор судьбы должен был пасть именно на него, — насчет этого не было сомнений в тот вечно-памятный январский день, когда он в ледяном зале петербургского «Дома литераторов» на Бассейной, бледный, больной, весь какой-то уже окаменелый и померкший, еле разжимая челюсти, читал свою пушкинскую речь. А ведь споры о «Двенадцати» были тогда в полном разгаре, и, несомненно, были в зале люди, которым поэма эта представлялась и политическим

предательством и кощунством! Но даже если они и склонны были, как Зинаида Гиппиус, сказать: «Я не прощу никогда», то вслед за ней тут же спешили добавить: «Твоя душа невинна». Заподозрить Блока в расчете и каких-либо сделках с совестью способен был только сумасшедший, а ошибки... кто же в состоянии прожить без ошибок? Не есть ли риск, а значит, и возможность проигрыша, одно из условий духовного движения и роста?

Однако все это далеко. Прошло с тех пор тридцать пять лет. Как ни трудно представить себе это людям, его знавшим, Блок был бы в наши дни стариком более чем «маститым». Не только новые поколения, но и блоковские сверстники и современники вправе спросить себя: что осталось от былых восторгов и головокружений, что с годами развеялось? Время не учит ни безразличию, ни равнодушию, но мало-помалу время избавляет от иллюзий и дает возможность издалека взглянуть на то, что на коротком расстоянии оставалось незаметным. Наши предреволюционные сомнения и надежды, магически Блоком оркестрованные, напетые им на какую-то волшебную пластинку, стали воспоминаниями, — притом такими, к которым теперь и перенестись мыслью трудно без недоумения: о чем они были, откуда, куда, к чему? Остались, значит, стихи, остался блоковский текст, без поддержки извне, без нашего самозабвенного, послушного с ним сотрудничества. Перечтем эти стихи с посильным беспристрастием, — однако добавлю сразу, без колебаний: с уверенностью, что о разочаровании или о «переоценке» сколько-нибудь коренной, полной, не может быть и речи.

Но сначала несколько слов о русском символизме вообще, столь мало похожем на символизм французский, с которым его часто связывают.

В лучшем, наиболее органическом, что русские поэты-символисты оставили, есть черта постоянная, объединяющая авторов различных: то, что определялось в те годы как «трепет» и что было, в сущности, ожиданием какого-то огромного события, как бы уже нависшего над миром, катастрофы, счастья, «преображения жизни», как тогда говорили, — кто знал, чего? Андрей Белый язвительно смеялся в своих воспоминаниях о Блоке над адвокатами, игравшими в мистику, утверждавшими, что «посвященный уже шествует по Москве», несшими и другой вздор, — но смеялся над болтунами и шарлатанами, а не над тем, о чем говорили они понаслышке и к чему старались приблизиться. Сам-то он, вместе с Блоком, и был именно одним из людей, которые чувствовали и предчувствовали больше, чем способны были отчетливо выразить. Соловьевских видений и формул уже не хватало. «Трепет» с каждым годом изменялся в своей сущности, у Блока в особенности, мало-помалу соскальзывавшего от обольстительно-соблазнительного соловьевства к нищему, прозаическому толстовству, и именно в силу этого решившегося на горькие упреки по адресу Вячеслава Иванова, безмятежно державшегося на своих метафизических высотах...

Если бы тогда Блоку, Белому или Вячеславу Иванову сказали, что впереди — революция, что это она, а не что другое составляет содержание их предчувствий, и даже эти предчувствия оправдывает, вероятно, они такое истолкование отвергли бы.

Революция пусть и очень большое событие, но все же не такое, какого они, казалось, ждали: не того характера, не того значения! Им нужно было бы что-нибудь вроде Второго Пришествия или светопреставления, чтобы соблюден был уровень надежд, волхвований и заклинаний... Но теперь, когда умы у нас достаточно охлаждены, не самое ли это правдоподобное объяснение особой сущности русской поэзии начала нашего века, даже у Анненского, от всяких гаданий и прозрений далекого? Никто в те времена не предвидел размаха будущего потрясения, никто не представлял себе, до какой степени смысл и значение революции выйдут за пределы чисто политических рамок. Никто не предполагал, что предстоит — притом в ближайшие годы — крушение всего, бывшего в русском строе, в русском жизненном укладе, с точки зрения иных крупнейших русских мыслителей — Достоевского, Тютчева, — чуть ли не отражением божественной воли. По Тютчеву, предстояла борьба мрака и света, а Блок ведь говорил не только о «детях страшных лет России», но и о «детях добра и света». Революцию ждали и считали неизбежной давно, в течение долгих десятилетий, и нельзя, разумеется, думать, что былые ожидания никакого воздействия на поэтов-символистов не оказали. Однако элементы рассудочные были в них вытеснены другими, более или менее иррациональными, а общий характер эпохи окрасил целое в свои особые тона. Не думаю, чтобы тревожный и квазирелигиозный характер русской символической поэзии был сколько-нибудь умален, если признать, что другого объяснения — и даже другого обоснования — у него нет.

Определить с точностью, что такое стихи, что такое вообще поэзия, до крайности трудно. Не легко установить и правильное отношение, правильный «подход» к стихам.

Стихи можно читать, как всякий печатный текст или рукопись, вникая прежде всего в значение слов и общий смысл сказанного. Отношение это в крайних своих формах не только заведомо неправильно, но и просто-напросто абсурдно, однако до сих пор оно очень распространено, даже среди людей образованных, «культурных». Стихи можно и слушать, как слушаем мы музыку, поддаваясь главным образом воздействию ритма и сцепления звуков... Истина, то есть «подход», вернее других соответствующий природе и сущности поэзии, по-видимому, где-то посредине, как и в большинстве случаев. Некоторые поэты — у нас, например, на вершинах творчества Пушкин, а на высотах более скромных, скажем, Гумилев — такое отношение сами внушают, настойчиво его требуют, стремясь в стихах к гармонии стиля и напева.

Блок пушкинской традиции чужд.

Со стилистической точки зрения у Блока уязвимо многое, и даже в те годы, когда словесная расплывчатость оправдывалась восприятием мира и жизни как чего-то преходящего и призрачного, это смущало иных его читателей. У Блока в стихах много «воды», и достаточно сравнить любое его стихотворение с любым стихотворением Анненского, — пора наконец сказать: единственно-возможного, вместе с Блоком, претендента на русский поэтический трон со смерти Тютчева и Некрасова! — чтобы в этом убедиться. Анненский не-

измеримо «гуще» Блока, всегда вещественнее его. У Анненского слово значит то, что значит, и хотя он один из всех русских символистов действительно чему-то научился у Малларме и других французов, влияние великой русской прозы было, по-видимому, на него еще сильнее. Не говоря уже о том, что Анненский, несомненно, «вышел из "Шинели"», — он и стилистически остался несколько прозаичен, вопреки веяниям времени. Впрочем, неизгладимое впечатление произвели на него, классика по образованию, и греки, в частности Эврипид, страстно им любимый.

Блока ничто классическое не привлекало, Блок — ультраромантик, и для него символизм был именно продолжением романтизма, притом, конечно, немецкого, а не французского. Порой, перечитывая некоторые средние, ординарные блоковские стихи, написанные без подъема, вспоминаешь пушкинские слова о стихах Ленского, тем более что их и легко перефразировать: «темно и вяло», «что символизмом мы зовем»... Блока спасает и возвеличивает в лучшие его моменты именно подъем, дающий его напеву неотразимую силу, именно тот огонь, то отражение «гибельного пожара», в котором он горел и сгорел, а вовсе не такого рода мастерство, которое можно было бы отделить от самого предмета поэзии, как, например, у Брюсова. Во всяком случае — не мастерство стилистическое.

Не знаю, было ли у него пристрастие к метафорам «как таковым» и считал ли он, подобно многим современным поэтам, русским и в особенности западным, что без образности вообще нет

поэзии. Едва ли. Но случалось ему иногда, будто по инерции, нагромождать образ один на другой до совершенной неразберихи, — и не в силу творческого метода или принципа, как делает это Пастернак, а скорей потому, что для его «несказанного» слов настоящих не было и подбирал он слова лишь как условные знаки. Сошлюсь в качестве примера на знаменитое стихотворение «Все на земле умрет...», где ради вкушения «иной», неземной сладости поэту советуется «взять свой челн», «плыть на дальний полюс», приучать душу «к вздрагиваниям медленного хлада» и прочее и прочее... А стихи — дивные в ритмической своей убедительности, в глухой и печальной своей музыке, такие, каких, кроме Блока, никому и не написать. Надо сделать усилие, чтобы очнуться и спросить себя: что же это все-таки такое, эти челны, эти полярные экспедиции и леденящие вздрагивания, и если это не настоящий челн и не настоящий географический полюс, к чему декорации? После прекрасных первых двух строк, ведя и развивая ту же неотразимую мелодию, не иллюстрирует ли ее поэт некой лубочной картинкой на мистический лад?

Указание на ошибки чутья и вкуса вызовет, пожалуй, гневные возражения. Что за самоуверенность! — возмутятся иные читатели: подумаешь, обнаружил у Блока безвкусицы! Очевидно, свой вкус он, критик, считает непогрешимым! Споров такого рода было много, и далеко не всегда они разрешались в пользу критиков (Белинский считал, например, безвкусным лермонтовского «Ангела»!). Надо поэтому быть осмотрительным. Однако «узкие ботинки», о которых поэт помнит,

«влюбляясь в хладные меха», или «французский каблук», вонзающийся в сердце, да и кое-что другое при самой крайней осмотрительности невозможно оценить иначе, как досаднейшие срывы... Только вот что следует тут же заметить: если срывается Бальмонт, со всякими «атласными грудями», если срывается Брюсов, что бывало и с ним часто, вплоть до «выключателя», на который следует нажать — или не следует нажимать, не помню точно, — во время любовного сеанса, — получается просто пошлость, иначе не скажешь. У Блока пошлостей нет и быть их не может, — потому что все всегда поддержано у него изнутри, очищено еще в замысле. Бывают у него слабые строчки, бывают неудачные строчки, но даже и в них еще теплится огонь, не гаснущий никогда.

Умышленно я подчеркнул — может быть, даже настойчивее, чем следовало, — то, что должно быть отнесено к слабым сторонам блоковской поэзии. Незачем закрывать себе глаза на эти слабости, и несправедливо было бы счесть их разбор педантической придиркой или разглядыванием пятен на солнце. За Блока бояться нечего, и чем сильнее свет, наведенный на его поэзию, тем и лучше: это как бы страховка от возможности каких-либо критических пересмотров. Отчасти ведь именно в том величие Блока и открывается, что при несомненной стилистической своей спорности, а порой и тусклости он все же в состоянии был «глаголом жечь сердца людей», как никто другой из его современников.

Мастерство Блока главным образом ритмическое, и вряд ли можно назвать поэта, у которого интонация и напев имели бы большее значение. Употребляя обычный термин «мастерство», я все же хотел бы оговориться, что и в области ритма Блок был скорей интуитивен, чем сознательно расчетлив и искусен. Но интуиция, то есть в данном случае способность найти напев, наиболее отвечающий смыслу слов, или оборвать его, ввести паузу именно там, где она нужна, — интуиция эта никогда ему не изменяла. Благодаря своему удивительному ритмическому дару, своему «абсолютному слуху», Блок достигал подлинной магии в стихах, где стремился выразить основное состояние своей души: темный ужас, ею владевший, и нечто вроде солидарности со всеми людьми перед судьбами, от которых — по Пушкину — «защиты нет».

Есть ли что-нибудь во всей нашей поэзии более завораживающее, чем восьмистишие о мировой бессмыслице:

Ночь, улица, фонарь, аптека...

где простые, на этот раз не книжные, не условно-символические, не выдуманные слова, вроде ирреальных челнов и полюсов, в точности отвечают такой же простой, как бы неумолимо-простой, безысходной мелодии текста. При одном воспоминании о таких блоковских удачах, убеждаешься, что своим, пусть и окольным, путем он достигал цели, которой стихотворцы, изощрившиеся в искусстве «делать стихи», не достигнут никогда, даже с точки зрения «делания». Не потому, конечно, Блок велик, что он был возвышенно настроен и

полон глубоко поэтических чувств, — и если замечания о его стиле могут кого-нибудь склонить сделать такой вывод, это был бы вывод ошибочный: Блок велик потому, что в его лучших стихах содержание — нередко таинственное, но без нарочитого затуманивания — слито со всем, что это содержание выражает; потому, что стихи его ни о чем не рассказывают, но все передают; потому, наконец, что стихи его не «о чем-то», а само это «что-то».

Блок не был мастером в каком-либо школьном смысле, и если бы он свою школу создал, это была бы, вероятно, школа плохая. Учиться у Блока в формальной области почти нечему, а приблизиться к нему, без подделки и пародии, в силах только тот, кто сколько-нибудь с ним схож. В тех случаях, когда Блока оставляло вдохновение, — или когда он требовал от своего вдохновения того, к чему не было оно склонно, — получалось у него нечто далеко не перворазрядное. «Скифы», например: риторика, декламация, с отдельными ослепительными проблесками, но в целом — работа на тройку с плюсом. Не говоря уж о «Клеветникам России», вещи тоже риторической, но блестящей именно в качестве «упражнения на заданную тему». Брюсов, вздумай он написать «Скифы», написал бы их лучше Блока, и, пожалуй, сильнее Блока оказался бы даже Макс Волошин: риторика была их делом, их призванием. Однако когда Блок попадал в свой тон, в свою линию, Брюсов с Волошиным были в сравнении с ним грубыми ремесленниками, не Сальери рядом с Моцартом, а людьми, знающими толк в азах и прописях искус-

ства, но не подозревающими (во всяком случае, не показавшими этого на практике), что азы и прописи существуют исключительно для того, чтобы их узнать, понять, усвоить — и забыть. Бунин где-то говорит о Чехове, что он писал «небесно» (кажется, об «Архиерее»). Так и Блок иногда писал «небесно». Да, иногда, не всегда... Но поэта и надо судить по «иногда»: десяти — пятнадцати таких небесных «иногда» достаточно для бессмертия.

Что составляет сущность поэзии Блока и дает ей смысл? Надеюсь, нет в наши дни комментаторов, которые решились бы обстоятельно излагать своими словами то, что Блок будто бы «хотел сказать». Если бы такая задача могла быть успешно выполнена, следовало бы заключить, что Блок — не поэт.

Вспомним строки его о детях «добра и света»: едва ли не в них — ключ к его творчеству, разгадка особого характера этого творчества... «Дитя добра и света». Для Блока мир, его окружавший, — со всем тем упоительным, восхитительным, единственным, к чему никакие потусторонние видения вкуса у человека не отобьют, — был все же миром «страшным», и воля Блока была направлена к тому, чтобы его изменить, притом в двойном смысле: первичном и другом, метафизическом, однако для него ничуть не менее реальном. Блок не бежал из «страшного мира», а, наоборот, видел в поэзии помощь «добру и свету», с судьбой которых связывал и свою судьбу, и судь-

бу всех людей. Я упомянул выше о «солидарности», которая при чтении блоковских стихов мало-помалу выделяется среди случайных мотивов как одна из основных его тем, пожалуй, даже самая основная: да, солидарность, — или, лучше, круговая порука. Оттого поэзия Блока так и действенна, что при неумолимой, драматической последовательности во внутреннем развитии она до крайности антиэгоистична и вся проникнута сознанием ответственности всех за все, с очевидной готовностью поэта первым принять возмездие, стать первой жертвой. «Дай мне руку, товарищ, друг»: наиболее блоковские из блоковских стихов это неизменно и говорят, и нет в них ничего патетичнее иных вопросительных интонаций: «Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?», «В самом чистом, в самом нежном саване сладко ль спать тебе, матрос?». Все кончено, надеждам больше нет места, но камнем человек не стал и образу и подобию своему по-прежнему верен.

Блок духовно щедрее, неизмеримо расточительнее Анненского и оттого выигрывает в сравнении с ним. У Анненского при всей его щемящей «шинельности» чувствуется осторожность, сдержанность в излучении энергии, и не случайно Вяч. Иванов в статье о нем и его последователях обронил жестокое, тончайшее замечание о «скупых нищих». В дополнение к этим двум словам, а отчасти и в возражение им, можно было бы сказать многое, но есть в них и доля правды... Блок к скупости органически неспособен, как и неспособен к расчету. Блок — там, где остальные люди, Блок заодно с ними, что бы ни

случилось, и этим — ничем другим — объясняется, отчего он теснее Анненского связан с эпохой, а частью и теряет, вместе с ее исчезновением, былую свою притягательную силу. Блок неспособен писать «для вечности», будучи свидетелем и участником некоторого исторического периода в жизни России: ему, очевидно, представлялось непреложным долгом, да и единственной возможностью жить в своем времени, пусть и с риском преимущественно временное отразить. Это было для него тем естественнее, что время его оказалось исключительно тревожно и само собой толкало сознание к мыслям и чувствам, к сомнениям и вопросам, от «вечности» не очень и далеким. Пожалуй, кое в чем Блок стал менее убедителен, чем был сорок лет тому назад, да и мы кое к чему «оглохли», выражаясь его языком. Но связь свою со временем Блок все-таки преодолевает тем, что по натуре своей неспособен смешать ее со злободневностью: «прошлое страстно глядится в грядущее, нет настоящего — жалкого нет». Он писал о России, он думал о ее участи, о значении и смысле ее исторических несчастий, о двоящейся, полудемонической, полуангельской сущности искусства, с «роковой о гибели вестью», рано или поздно становящейся для художника достоверностью, — а за этим было недоумение, которое с первым человеком на земле возникло и с последним умрет: кто я? откуда? что значит все то, что вокруг себя я вижу?

Неотразимость блоковских стихов держится еще и на том (подчеркиваю: и на том, а в статье, которая претендовала бы на полноту, таких «и»

должно бы оказаться много), что у него поистине был «песен дивный дар», соловьиный голос, страдивариусовская скрипка в руках, какой давно в русской поэзии слышно не было. Помнит ли читатель «То не ели, не тонкие ели...» из «Ночных часов»? Или «О, весна без конца и без края...». Когда о других поэтах говорят «пел», «поет», это условное выражение. Для Блока оно почти точно.

Несомненно, в самых существенных чертах своей поэзии Блок продолжает Лермонтова, хотя о Лермонтове мы можем больше догадываться, чем действительно судить, из-за количественной скудости того, что успел он оставить драгоценного и волшебного. От Лермонтова — драматизм внутренней биографии. Круговая порука тоже — от Лермонтова. А главное — в отношении к творчеству: Пушкин в поэзии ищет совершенства, Лермонтов в поэзии ждет чуда — и свое «бессмысленное мечтание» передал Блоку.

Ко времени выхода в свет «Ночных часов» — Блоку было тогда около тридцати лет — следует, мне кажется, отнести расцвет его творчества, длившийся до революции или немногим менее. Стихи этого периода — «На поле Куликовом», «Художник», «Шаги командора», «Пляска смерти» и другие — полны мужественной силы, недостававшей Блоку в юности. Чувствуется в них истинная зрелость поэта, гармония устремлений, остановка в зените. Гумилев, помнится, писал о «царственном безумии, влитом в полнозвучный стих», и по не

совсем для меня понятному скачку мысли добавил, что оно «достойно Байрона». С Байроном или без Байрона, оценка была верная[1].

Что было потом? Стихи, включенные в «Седое утро», с формальной точки зрения, пожалуй, самые искусные из всего Блоком написанного, однако разъедаемые каплей серной кислоты, в них попавшей, — будто внушены они сыном, иронизирующим над «промотавшимся отцом» еще при его жизни...

Он нашел весьма банальной
Смерть души своей печальной.

Очень искусно сказано: вкрадчиво, ядовито-насмешливо, превосходно! Дисгармония, вносимая непривычным в лирике эпитетом «банальный», да еще с «весьма» в придачу, — по неожиданности прозаического эффекта достойная Анненского, — сразу действует, «доходит». Но не подозрительна ли эта ирония? «Над кем смеетесь, над собой смеетесь?» Нет ли в странно радужных переливах настроений, отраженных в «Седом утре», в причудливости эмоций, прежде Блоку чуждых, чего-то смутно напоминающего разложение материи или

---

[1] По поводу «Куликова поля» Бунин как-то мне сказал: «Послушайте, да ведь это же Васнецов». На словах я, как водится, запротестовал, а про себя подумал: «Как верно, как убийственно метко». Да, Васнецов, то есть маскарад и опера... Но тут мы возвращаемся к стилю, а если в «Куликово поле» вслушаться, то чудится, что татарские орды где-то в двух шагах, схватка неминуема и отстоять надо не древнерусские города, а что-то такое, без чего нельзя жить.

организма, еще недавно цельного. «Утреет. С Богом! По домам». К утру, к утреннему отрезвлению после ничего не давших соблазнительно-мистических ночных пиршеств давно уже шла поэзия Блока, но в последнюю минуту вместо бесстрашного взгляда в лицо истине, какова бы она ни была, появилась в ней усмешка — двусмысленная, блудливая, уклончивая, как улыбка леонардовской Монны Лизы, по Флоренскому (в замечательной его книге «Столп и утверждение»).

Как это случилось, почему — Блок, вероятно, сам не знал. Но о возможности духовного умирания, и даже смерти, задолго до исчезновения физического он говорил не раз и с такой настойчивостью, что, по-видимому, опыт по этой части у него был. «Живым и страстным притворяться» — как мертвец на балу, у «хозяйки-дуры и супруга-дурака», — большой охоты у него не было: он над собой усмехался, но состояния своего не скрывал.

Потом была революция, «Скифы», «Двенадцать» — самое знаменитое из произведений Блока, а по распространенному мнению, и самое значительное. Над тем, что эта поэма значит и как следует истолковать появление Христа в заключительных строках ее, бьются люди до сих пор: бьются и спорят. Каждое толкование по-своему законно, хотя ни одно из них не исключает возможности другого, — и еще раз скажу: Блок не был бы поэтом, если бы дело обстояло иначе. О «Медном всаднике» было ведь тоже немало споров, однако и до сих пор твердо не решено, направлена ли поэма к вящей славе «державца полумира» или к скрытому осуждению его.

7 Зак. 3049

Вспомнил я о «Медном всаднике» не совсем случайно. При появлении «Двенадцати» блоковскую поэму сравнивали с пушкинской и без колебаний приписывали ей одинаковое значение в нашей литературе. Было действительно в ней что-то опьяняющее, затруднявшее беспристрастный анализ — кто же станет это отрицать? Откровенно признаюсь, что и мне в те годы параллель «Медный всадник» — «Двенадцать» не казалась преувеличенной, а если я об этом упоминаю, то лишь для того, чтобы избежать подтасовки фактов во всем знакомом жанре: «я всегда утверждал», «я и тогда предвидел» и так далее.

Но поэма выдохлась. Она насыщена злободневностью и потому увяла, обветшала. В ней нет, — как бывало в лучших стихах Блока, — второго подводного течения, не говоря уже о волнах таинственной и вещей музыки, поднимавшейся когда-то из глубин его сознания. Все ясно, нечего перечитывать. Остроумно, в особенности начало, но как-то непривычно мелко, бойко, чуть-чуть плоско и суетливо, и как еще раз не вспомнить Пушкина: «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво!». Это сказано на веки веков, это должны бы усвоить, как абсолютную истину, все поэты, хотя это и вовсе не значит, конечно, что стихи следует писать в духе ломоносовских од. Нет, это значит... в сущности, это значит именно то, что Блок всем своим умом и сердцем знал, чувствовал раньше, до «Двенадцати». Христос в конце, «в белом венчике из роз»... об этом и говорить тягостно: не кощунство в обычном смысле слова, не политическая ошибка, а об-

раз невозможный, мучительно-легковесный и фальшивый, — потому что нельзя же Христом пользоваться для литературного эффекта! А здесь именно эффект, под занавес. Блок ужасно волновался перед смертью, с содроганием вспоминал «Двенадцать» и даже в бреду говорил о них. Уверен, что не только политические сомнения терзали его, не брань былых друзей, не одобрение друзей новых, а то — и даже главным образом то, — что было грехом на его художнической совести. Слишком глубоко было у него сознание ответственности поэта за каждое слово, чтобы оплошность столь грандиозная и столько «малых сих» соблазнившая, столько откликов вызвавшая, не представлялась ему тяжким, непростительным преступлением.

Уверен еще и в другом: поэма «Двенадцать» если в нашей литературе и останется, то к сокровищам ее причислена не будет. Былые страсти улягутся, да, в сущности, улеглись они уже и теперь: кто же в самом деле станет теперь выискивать в этом ряде набросков, в этих горьких, растерянных и сбивчиво-живописных вариациях на октябрьские темы какую-либо политическую идею? Будет, вероятно, признано, что поэма искусно написана. Но того, что в истинной и бессмертной поэзии утоляет духовную жажду человека, — как в мире физическом: ледяное, горное, прозрачно-бездонное озеро, — этого будущее в «Двенадцати» не найдет.

Не только к роману, но иногда и к статье применимы слова о магическом кристалле, через который не совсем ясно, к чему она придет. Мне казалось, что для поэзии Блока настало время

окончательных суждений. Но нет, рановато еще подводить итоги, и достаточно освежить впечатления, — кое-что перечесть, другое вспомнить, над третьим дольше, чем прежде, задуматься, — чтобы противоречивые доводы с прежней силой вступили в борьбу.

Он был сыном великого русского девятнадцатого века и в поэзии своей дал к нему некое послесловие, печальное и несравненно-искреннее. Бывают писатели, глядящие в прошлое, страстно мечтающие о том, чтобы его продолжить, удержать: Бунин, например. Блок не мечтал ни о чем, да ни о чем и не тосковал. Блок носил в себе прошлое, договаривал, дошептывал все то, что когда-то упреками и вопросами взвилось к самому небу. Несомненно, он был последним нашим «кающимся дворянином», и, кстати, ничем другим невозможно объяснить его отношение к революции. Да и хмурая недоверчивость его к русскому культурно-эстетическому возрождению начала столетия, на вячеславо-ивановский или дягилевский лад, внушена была тем же самым. Народничество было его сердцу ближе, чем модернизм, а сознание его заблудилось где-то между этими двумя путями, не найдя себя, в сущности, ни на одном из них.

Сознание это было лишено всякого подобия пушкино-вольтеровской быстроты и точности. Блок мыслил по-своему, но мыслил медленно и как бы ощупью. В нем была скорей мудрость, чем ум, а среда и эпоха навязали этой мудрости многое такое, что должно было бы остаться ей чуждо. Гибнет «Титаник», например. Блок признается в письме, что очень этому рад: «Есть еще океан!». Когда

люди, по разным причинам от Блока отталкивающиеся, на такие его строки указывают, возразить нечего: действительно, стыдно читать! Но эта мистическая чепуха насчет океана принадлежит среде, а Блок повинен лишь в том, что не успел весь прах ее от ног своих отрясти.

Замечательно в стихах его то, что каждое из них продолжает и дополняет другое, как комментарий к его внутренней биографии, с отчетливо намеченной линией восхождения и падения. Пожалуй, на этом и основана особая действенность блоковских стихов: читатель мало-помалу превращается в свидетеля драмы, притом свободной от влияния житейских невзгод, — как в случаях сравнительно мелких, скажем у Есенина. Ни притворства, ни позы, ни лжи, ни кокетства, ни жалоб. Драма Блока развивается вне вмешательства каких-либо случайностей, исключительно в силу того, что был он человеком, который искал «не счастья, а правды», как было о нем справедливо сказано.

Ни о ком другом в нашей новой литературе повторить этих слов было бы нельзя. Оттого-то Блок и был в ней единственным «вседержителем душ». Оттого книги его — не сборники разных стихотворений, хороших или плохих, слабых или восхитительных, а летопись удач и неудач в каком-то таинственном деле, к которому обыкновенным смертным — пусть и очень талантливым писателям — доступа нет... Боюсь под конец, «под занавес» впасть в то же туманное и бесконтрольное краснобайство, о котором только что упомянул в связи с «океаном». Что это за дело, в которое вовлечен был Блок? Может быть, вовсе и нет

его, может быть, это всего только мираж? Не знаю, да и никто не знает. Но даже если в блоковских формах это только мираж, поэт, оказавшийся в силах его создать, коснулся основ и свойств человеческого духа, — иначе не было бы ему в ответ всех этих длительных, протяжных откликов. Какая-то вечная, глухая борьба в мире идет. С Блоком мы, по глубочайшему нашему ощущению, — и ничуть не забывая при этом о его ошибках, колебаниях и уступках, — с Блоком мы на верной, праведной стороне, на стороне «добра и света». Оттого и отречение от него, тоже по глубочайшему ощущению, ничем нельзя было бы оправдать, как ничем нельзя оправдать предательства.

ПОЭЗИЯ В ЭМИГРАЦИИ

Давно уже думая о статье, в которой было бы «изнутри» рассказано о поэзии в эмиграции, я думал и о названии ее, и хотелось мне взять для этого два всем известных исторических слова: «бессмысленные мечтания». Но намерение это я оставил: ирония, — говорил я сам себе, — опять ирония! Много скрытых бед наделала она в русской поэзии за последние полвека, пора бы с ней наконец и расстаться, пусть и помахав на прощание рукой в знак признательности за отдельные мелкие услуги: «с поэтическим», мол, «приветом!» Ирония ничем не лучше сентиментальности, это две родные сестры, обе происхождения темного, обе поведения сомнительного, с той лишь разницей, что одна из них, младшая, изящнее одевается и искуснее выдает себя за барыню-аристократку. В благопристойных домах, однако, принимать ее вскоре тоже перестанут. Отчего мечтания «бессмысленные»? Разве смысла не было? И если был он, этот смысл, бесконечно-ускользающим, разве мы первые, мы последние пытались райскую птицу эту за хвост поймать? Проще, точнее было бы другое название: Бедекер, путеводитель. Но о Бедекере говорил уже Блок в статье, помещенной в «Аполлоне» и написанной на приблизительно та-

кую же тему... Кстати, кто читал эту его статью в двадцать лет, забудет ли ее когда-нибудь? Блок пробовал в ней перевести на общий язык то, о чем писал стихи: предприятие было отважно до крайности и при меньшей органичности поэзии могло бы привести к результатам комическим. У Блока логика сплоховала, и в штурме крепости-музыки сил ее оказалось недостаточно. Но тон его статьи, растерянные отзвуки ее, метеорные ее осколки, длящееся дребезжанье отдельных порвавшихся под натиском логики струн — все это было для двадцатилетнего сознания откровением, от которого не отреклось оно и позднее, научившись многому другому.

Не хочу употреблять слово «музыка» в расплывчатом, хотя после Ницше и узаконенном значении. Правда, трудно без него обойтись, — но самое понятие это такое, о котором не следует говорить попусту. От самоограничения вреда не будет: чем меньше «музыки» в кавычках, тем и лучше.

Но музыка без кавычек... В наследстве, которое оставил нам символизм, было много трухи, громких слов, писавшихся с большой буквы, неосновательных претензий, напыщенной болтовни: было, однако, и что-то другое, не совсем выдохшееся и до сих пор. Наши поэты, вероятно, удивились бы, если бы услышали, что по вине символизма (или благодаря ему) у музыки они в долгу, притом даже те из них, для которых она — только шум, скучный и «дорогой», как смеялся Уайльд.

Долг передан тоже по наследству, в тех впечатлениях и снах, которые дошли до нас уже без имени, без адреса, без отправительной этикетки. Последним передаточным пунктом был Вагнер. Если бы поэты наши о большем помнили своей личной памятью, они уловили бы, узнали бы — именно «узнавание»! — в иной обрывающейся мелодии «Тристана» или, может быть, в тех нескольких тактах, которые иллюстрируют предсмертное отрезвление Зигфрида, что-то свое, им странно близкое. У Вагнера было очень много пороков в творчестве, его во многом можно упрекнуть. Но некую безблагодатность вдохновения он искупил небывалым волевым усилием, позволившим ему коснуться того, что составляло когда-то содержание мифов, а вместе с ними и каких-то дремлющих в сознании человека, глубоких, загадочных воспоминаний. Символизм, искавший под конец прошлого века убежища от тиранических, измельчавших претензий этого века, немыслим без Вагнера, глуп и смешон без Вагнера, — и подданство по отношению к нему засвидетельствовано еще Бодлером в его знаменитом, именно «верноподданническом» письме.

Как жаль, что поэты в большинстве случаев ко всему этому так равнодушны! Может быть, их стихи и не были бы лучше, будь это иначе, — может быть! А все-таки жаль: то в одной строчке, то в другой пробежала бы электрическая искра, за разряд которой можно простить и промахи, непростительные без нее. Не промахи, в сущности: вернее, слишком короткое расстояние между словом и поводом к его произнесению.

Андрей Белый утверждал, что столкновение Ницше с Вагнером было величайшим событием девятнадцатого века. Да, не прибегая к весам и прочим измерительным приборам, да, пожалуй, это и так: одно из значительнейших событий, во всяком случае. Символизм, в лучшем, что он к жизни вызвал, родился из смутного, двоящегося ощущения, что Ницше прав, а Вагнер неотразим. Только что Ницше Вагнеру противопоставил: «Кармен», прелестный пустячок, солнце, как-то слишком простодушно-фольклорно воспринятое, — не оглянувшись, чтобы вызвать на помощь Моцарта, солнце истинное, не нуждающееся в испанских облачениях! Символизм в лучшем, что он создал, уже догадывался, что Вагнер — действительно «старый фальшивомонетчик», и все же не в силах был не поддаться его наваждениям. Но у символистов еще были насчет этого иллюзии... А теперь мы всем существом своим чувствуем, что Вагнер — «не то». Усилье воли не может заменить «того»: как в сказке старый, злой, могучий волшебник в конце концов разоблачен. Туман прорван — за ним ничего нет: пустота, пустое, мертвое, белое небо, и мы с удивлением глядим теперь на отцов, которые были чуть-чуть слишком доверчивы.

Кто это «мы»? — слышится мне вопрос. Если под любопытством кроется ехидство, втихомолку уже радующееся, что удалось подставить ловушку, не стоит и отвечать. Ловушка в случае надобности найдется и другая, за ней третья, и последнее сло-

во останется в конце концов за тем, кому спор этот доставляет удовольствие. А если ответить честно, надо бы сказать: не знаю точно. «Мы» — три-четыре человека, еще бывшие петербуржцами в то время, когда в Петербурге умер Блок, позднее обосновавшиеся в Париже; несколько парижан младших, иного происхождения, у которых с первоначальными «нами» нашелся общий язык; несколько друзей географически далеких, — словом, то, что возникло в русской поэзии вокруг «оси» Петербург—Париж, если воспользоваться терминологией недавнего военного времени... Иногда это теперь определяется как парижская «нота». К этой «ноте» я имел довольно близкое отношение, и так как она сейчас уже почти не слышна, хочется подвести итоги всему, что входило в ее состав. К тому же времена теперь настают другие, с другими нетерпеливыми голосами, со вниманием и слухом к другим порывам. Пора, значит, сделать подсчет и перекличку тем, кто остался, а среди них — как знать? — найдутся, может быть, и незнакомцы уже не второго, а третьего возрастного призыва: отзовутся ли они на ауканье? Или надеяться остается лишь на то, что придет много позже, после «лопуха»? Или обманет даже и это?

В Париже не все сложилось сразу, беспрепятственно, и общего сотрудничества на первых порах не было. В петербургские трагические воспоминания вплетались остатки гумилевской, цеховой выучки, очень наивной, если говорить о сущности поэзии, очень полезной, если ограничиться областью ремесла. Кто был рядом? Ходасевич, принципиально хмурившийся, напоминавший о Пушкине и

о грамотности «верно, но неинтересно», как отозвался на его наставления Поплавский. Был воскресный салон Мережковских, с Зинаидой Николаевной, которая понимала в поэзии все, кроме самих стихов... здесь, однако, сделаем короткую остановку: если уж названо ее имя, поклонимся памяти Зинаиды Гиппиус, «единственной», по аттестации Блока! Что было в ней дорого? Не капризно-декадентский разговор, извивавшийся, как дымок ее папироски, не разнородно-приперченные ее «штучки» и «словечки», не то даже, что она писала, а то, чем она была наедине с собой или вдвоем, с глазу на глаз, без аудитории, для которой надо было играть роль: человек с редчайшими антеннами, мало творческий, если сказать правду, но с глубокой тоской о творчестве, позволившей ей с полуслова догадываться о том, что в полные слова и не уложилось бы. Была еще Марина Цветаева, с которой у нас что-то с самого начала не клеилось, да так и не склеилось, трудно сказать по чьей вине. Цветаева была москвичкой, с вызовом петербургскому стилю в каждом движении и каждом слове: настроить нашу «ноту» в лад ей было невозможно иначе, как исказив ее. А что были в цветаевских стихах несравненные строчки — кто же это отрицал? «Как некий херувим...», без всякого преувеличения. Но взять у нее было нечего. Цветаева была несомненно очень умна, однако слишком демонстративно умна, слишком по-своему умна, — едва ли не признак слабости, — и с постоянными «заскоками». Была в ней вечная институтка, «княжна Джаваха», с «гордо закинутой головкой», разумеется, «русой» или еще лучше «золотистой», с

воображаемой толпой юных поклонников вокруг: нет, нам это не нравилось! Было в ней, по-видимому, и что-то другое, очень горестное; к сожалению, оно осталось нам неизвестно.

Пребывание во Франции не могло не возбудить колебаний, особенно на первых порах. Одно дело — читать иностранные книги, сидя у себя дома, другое — оказаться лицом к лицу с тем, что книги эти питает, одушевляет и оправдывает.

Нас смутили резкие различия между устремлениями нашими и французскими, различия и формальные и волевые. Как бы ни была в основной сущности своей литература французская чужда литературе русской, Франция в наших глазах полностью сохраняла свой престиж, тем более что в передовых петербургских эстетических кружках о ней и не говорили иначе, как в тоне грибоедовских княжон: «нет в мире лучше края». Нашлись и в эмиграции люди, у которых в Париже закружились головы, и, захлебываясь, они толковали о местных ошеломляющих поэтических открытиях и достижениях, вплоть до рифмованных анекдотов Жака Превера (впрочем, даже и не рифмованных). Для них, разумеется, мы были отсталыми провинциалами.

О Превере говорить всерьез не стоит, к слову пришлось, я его и назвал. Но бесспорно, французская поэзия, даже в теперешнем состоянии, — явление замечательное и значительное, и действительно, лишь отсталый провинциал способен это

отрицать. Не впадая, однако, ни в западническое раболепие, ни в славянофильское бахвальство, следует сказать, что поэзии русской — если не склонна она отречься от самой себя — у нее почти нечему учиться, отчасти потому, что культурный возраст наш другой, отчасти по причинам внутренним.

Во Франции, да и вообще на Западе, поэзия давно уже отказалась от надежд и от веры не в каком-либо религиозном значении слова, а в другом, впрочем, почти столь же основном и глубоком, что и толкает некоторых поэтов к «ангажированию», ко «включению» в текущие, преимущественно политические заботы: все, что угодно, лучше в их ощущении, нежели игра без цели и смысла. Поэзия во Франции более или менее откровенно ставит знак равенства между собой и мечтанием, и особенно это стало ясно у Малларме со всеми его последователями: «le rêve» — слово — ключ к его творчеству. Но мечта никуда не ведет, кроме разбитого корыта в конце каких угодно феерических блужданий и вопроса: только и всего? — после исчезновения обольщений. Вероятно, именно поэтому французская поэзия легко отбросила логический ход речи, предпочитая развитие стихотворения по ассоциации образов или даже еще более причудливым законам: ей при этом не приходилось отбрасывать что-либо другое, бесконечно более существенное, чем тот или иной литературный прием. Имеет, правда, значение и то, что Франция, отечество рационализма, от разума и рассудочности устала: слишком долго она ничего, кроме разума, не признавала, и когда при его же благосклонном посредничестве стали обнаруживаться

его границы, она не без злорадства попросила обанкротившегося зазнайку удалиться из области, где ему действительно нечего было делать. «Des roses sur le néant», то есть закроем глаза, глядеть в лицо истине слишком страшно. Да и «что есть истина?»

Для русской поэзии вопрос этот — об истине — существовал тоже, существовал всегда. Но он не имел в ней позднеримского, насмешливо-скептического оттенка. У Блока, например, все обращено к тому, чтобы неуловимую эту «истину» уловить и из поэзии сделать важнейшее человеческое дело, привести ее к великому торжеству: к тому, что символисты называли «преображением мира». Да, слово призрачно, оно больше обещает, чем способно дать, и я не уверен, что «преображение мира» вообще что-либо значит. Но при зыбкости цели показательно было стремление: не загонять поэзию в тупик «снов золотых», бесконтрольно и беспрепятственно «навеваемых», не искать для нее развода с жизнью после не совсем благополучного брака, а доделать то, чего сделать не удалось, без отступничества и, уж конечно, без сладковатого хлороформа. Это корень и сущность всего. Разум, конечно, ограничен, конечно, беден, но как же им пренебречь, раз это все-таки одно из важнейших наших орудий, да еще в важнейшем деле, требующем всех сил? Да и что это за поэзия, которая опасается, как бы что-нибудь, Боже упаси, не повредило ее поэтичности! Все, что в поэзии может быть уничтожено, должно быть уничтожено: ценно лишь то, что уцелеет. Мечта? Но Блок не хотел мечтать, он занят был делом, которое не

казалось ему априори безнадежным. Он не бывал темен искусственно, умышленно, по примеру Малларме. Он бывал темен лишь тогда, когда не в силах был перевести на внятный язык то, что хотел бы внятно сказать, и когда будто бился головой о стену своего «несказанного»... А мы, с акмеизмом и цехом в багаже, мы все-таки чувствовали, что не Гумилев — наш учитель и вожатый, а он. Гумилев, чрезвычайно любивший все французское, вероятно, пошел бы на разрыв поэзии с логической последовательностью речи: в самом деле, новый литературный прием, новые, в сущности беспредельные, горизонты — отчего же не попробовать? Он вел свою родословную от Теофиля Готье, но и Готье, живи он в наше время, оказался бы, вероятно, в отношении его веяний покладист: вопрос школы, вкусов, литературной моды, ничего общего не имеющий с тем, что оказалось бы препятствием для Блока.

Кстати, о Блоке... У нас вовсе не было беспрекословного перед ним преклонения, наоборот, была — и до сих пор остается — критика, было даже отталкивание: однако исключительно в области стилистики, вообще в области ремесла, и главным образом при мысли о той «воде», которой разжижены многие блоковские стихи. Но если ценить в поэзии напев, ритм, интонацию, то по этой части во всей русской литературе соперника у Блока нет. Критиковать можно было сколько угодно, но критика становилась смешна и смердяковски-низменна, едва только в ответ ей звучали отдельные, «за сердце хватающие» блоковские строчки. У Цветаевой это чувство чудесно выражено в том чудес-

ном ее, обращенном к Блоку, бормотании, где «во имя его святое» она «опускается на колени в снег» и «целует вечерний снег», не зная в душевном смятении, что делать и что сказать.

Другое имя, может быть менее «святое», но не менее магическое, — Анненский. Во французском нашем смущении его роль была не ясна, и казался он иногда перебежчиком в чуждый лагерь (не враждебный, а именно чуждый), — вопреки всему тому русскому, что в его бессмертных стихах звучит. У Анненского надежд нет: огни догорели, цветы облетели. У Анненского в противоположность Блоку поэзия иногда превращается в ребусы, даже в таком стихотворении, как «О, нет, не стан...», с его удивительной, ничем не подготовленной последней строфой. Но Анненский — это даже не пятый акт человеческой драмы, а растерянный шепот перед спустившимся занавесом, когда остается только идти домой, а дома, в сущности, никакого нет.

Вероятно, судьба русской поэзии в эмиграции — по крайней мере парижской ее «ноты» — была бы иной, если бы иначе сложились исторические условия. Вероятно, эта злополучная, мало кого из современников прельстившая «нота» была бы громче, ярче, счастливее, увлекательнее, не одушевляй и не связывай нас сознание, что «теперь» или «никогда»... А при такой альтернативе дело почти всегда решается в пользу «никогда», о чем мы не сразу догадались.

Будь все по-другому, возникла бы, вероятно, новая поэтическая школа или полушкола. В журналах толковали бы о ее лозунгах и декларациях. Как водится, мы вели бы словесные сражения с противниками, настаивающими на правоте своих приемов, своих взглядов. Все было бы как обычно, «как у людей», к удовлетворению литературных поручиков Бергов. Нам самим порой становилось скучновато без прежних литературных развлечений, и, случалось, мы спрашивали себя: а не выдумать ли какой-нибудь новый «изм»? Как же в самом деле без «изма»?

Но для развлечений было неподходящее время, неподходящая была и обстановка. В первый раз — по крайней мере на русской памяти — человек оказался полностью предоставленным самому себе, вне тех разносторонних связей, которые, с одной стороны, обеспечивают уверенность в завтрашнем дне, а с другой — отвлекают от мыслей и недоумений коренных, «проклятых». Впервые движение прервалось; была остановка, притом без декораций, бесследно разлетевшихся под «историческими бурями». Впервые вопрос «зачем?» сделался нашей повседневной реальностью без того, чтобы могло что-нибудь его заслонить. Зачем? Незачем писать стихи — нет, на сделки с сознанием мы все-таки шли, иначе нельзя было бы и жить, — а зачем писать стихи так-то и о том-то, когда надо бы в них «просиять и погаснуть», найти единственно важные слова, окончательные, никакой серной кислотой не разъедаемые, без всех тех приблизительных удач, которыми довольствовалась поэзия в прошлом, но с золотыми нитя-

ми, которыми она бывала прорезана, с памятью о былых редких видениях, с верностью, без предательства, наоборот, с удесятеренным чувством ответственности — ибо, в самом деле, как же было этого не чувствовать, когда остался человек лицом к лицу с судьбой, без посредников: теперь или никогда!

Нам говорили «с того берега», из московских духовных предместий, географически с Москвой не связанных: вы — в безвоздушном пространстве, и чем теснее вы в себе замыкаетесь, тем конец ваш ближе. Спорить было не к чему, не нашлось бы общего языка. Вашего «всего» — следовало бы сказать — мы и не хотим, предпочитая остаться «ни с чем». Наше «все», может быть, и недостижимо, но если есть в наше время... да, именно «в наше время, когда», только без вашего постылого окончания этой фразы... если есть одна миллионная вероятия до него договориться, рискнем, сделаем на это ставку! Если будущее и взыщет с нас, найдется по крайней мере у нас оправдание в том, что предпочли мы риск почти безнадежный игре осмотрительной, позволяющей при успехе составить скромный капиталец...

Конечно, чуда не произошло.

Нам в конце концов пришлось расплачиваться за мираж поэзии абсолютной — или поэзии абсолютного, — ускользающей по мере кажущегося к ней приближения. Понятие абсолютного по самой природе своей исключает возможность выбора: тематического, стилистического, всякого другого. Нечего выбирать и взвешивать, если найде-

ны наконец незаменимые слова, действительно «лучшие в лучшем порядке», по Кольриджу. Выбор им не мог бы даже и предшествовать, им предшествовало бы только ожидание, напряжение воли, слепящая боль от нестерпимого света... А на деле бывало так: слово за словом, в сторону, в сторону, не то, не о том, даже не выбор, а отказ от всякого случайного, всякого произвольного предпочтения, без которого нет творчества, но которое все-таки искажает его «идею» в платоновском смысле, не то, нет, в сторону, в сторону, с постепенно слабеющей надеждой что-либо найти и в конце концов — ничего, пустые руки, к вящему торжеству тех, кто это предсказывал. Но и с дымной горечью в памяти, будто после пожара, о котором не знают и не догадываются предсказатели.

Было, быть может, не очень много сил. По-своему, может быть, были правы те, кто утверждал, что подлинных несомненных поэтов в парижской группе раз-два и обчелся, а остальные — только какие-то неонытики, аккуратно перекладывающие в пятистопные ямбы — (пятистопные ямбы, мало-помалу оттеснившие в русской поэзии ямб четырехстопный, и не потому, что четырехстопный ямб просто «надоел», как Пушкину, нет, удлинение строки — факт едва ли не случайный, ему можно бы найти и объяснение и основание) — свои скучные мысли и чувства. Допустим, согласимся, как соглашаются с рабочей гипотезой, даже и не считая ее вполне верной. Однако некоторая

тусклость красок, некоторая приглушенность тона и общая настороженная, притихшая сдержанность той поэзии, которая к парижской «ноте» примыкала, нарочитая ее серость были в нашем представлении необходимостью, неизбежностью, оборотной стороной медали поэтического максимализма, ценой, в которую обходилась верность «всему или ничему». Никчемной казалась поэзия, в которой было бы и ребенку ясно, почему она считается поэзией: вот образы, вот аллитерации, вот редкое сравнение и прочие атрибуты условной художественности! Все в поэзии, говорили нам слева, рождается из слов, из словосочетаний: «слово, как таковое» — и прочие прописи. Да, бесспорно! Но к черту поэзию, в которой можно определить, из чего она родилась, скучно этим делом заниматься, не стоит с этим делом связывать жизнь — лучше поступить служащим в какую-нибудь контору или по вечно-памятному, великому, загадочному примеру отправиться в Абиссинию торговать лошадьми. По крайней мере знаешь, в чем работа, да и не даром работаешь. От поэзии с украшениями, новыми или старыми, нас мутило, как от виньеток на обложке и на полях, как от эстрадной декламации. Поэзия и проза — чувствовали мы — глубоко различны, но различны по существу, вовсе не по наряду: от поэзии, озабоченной тем, как бы ее с прозой не спутали, жеманничающей под Щепкину-Куперник или под Маяковского, от поэзии расфранченной, расфуфыренной, от поэзии «endimanchée» хотелось бежать без оглядки! Нам смешно и досадно было читать иные словесные фейерверки с головокружительными риф-

мами, с умопомрачительными метафорами, с распустившимся, как павлиний хвост, ребяческим или дикарским вдохновением, — да, смешно и досадно, тем более что сопровождалось это большей частью претензией на исключительное представительство современной поэзии! Бывало, перелистывая иной сборник, мы спрашивали себя: талантливые ли это стихи? Да, очень талантливые. А что, могу ли я так написать? Не знаю, не пробовал... может быть, и не могу. Но мало ли чего я не могу! Не могу, например, быть цирковым акробатом, не могу быть опереточным премьером, не могу и не хочу. Меня это не интересует. По той же причине — то есть как чуждое мне дело — не интересует меня и сочинение стихов, в которых самодовлеющая словесная изобретательность не контролируется памятью о поэтическом видении и не может быть оправдана иначе как его отсутствием.

Два слова еще о мысли, «во избежание недоразумений». Напомнив о том, что Блок, — у которого инстинкт художнической совести был острее инстинкта художественного, — отказался от разрыва с логикой, я не имел, конечно, в виду какого-либо рационализирования поэзии. Нет, вопрос сложнее, противоречивее, чем был бы при такой постановке — да и кто же, не потеряв к поэтическому слову слуха, стал бы настаивать, чтобы стихотворение строилось как научный трактат или речь в парламенте? Острие вопроса в том, что поэзия, — как по апостолу совершенная любовь — «изгоняет страх»: поэт не может мысли бояться, не может в себе бояться вообще ничего.

Иначе творчество превращается в баловство, как было баловством повальное увлечение сюрреалистов так называемым «автоматическим письмом», рассчитанным на какие-то фрейдистские откровения. В поэзии надо помнить, что о многом следует забыть.

Одним из открытий наших, — которое заслуживает названия открытия, конечно, только в личном плане, никак не в общем историко-литературном значении, — было то, что стихи можно, в сущности, писать как угодно, то есть как кому хочется. От школ, от метода, от «измов» колебания и изменения происходят лишь такие, которые напоминают рябь на поверхности реки: течение, ленивое или сильное, глубокое или мелкое, остается таким же, как было бы при полной тишине или сильной буре. Чутье — если оно есть — подсказывает метод верный, то есть соответствующий тому, что каждый поэт в отдельности хочет выразить. Но и только. Мучительная развязность почти всей футуристической поэзии, — как бы морально «подбоченившейся», — свидетельствует о каких-то подозрительных внутренних сдвигах — беда именно в этом! Против самого метода возражений основных, коренных, неустранимых нет.

Отсюда — рукой подать до открытия второго, неизмеримо более значительного, но оставшегося смутной, невысказанной догадкой, очевидно «чтоб можно было жить»: стихи нельзя писать никак...

Настоящих стихов нет, все наши самые любимые стихи «приблизительны», и лучшее, что человеком написано, прельщает лишь лунными отсветами неизвестно где затерявшегося солнца.

Догадка, впрочем, бывала иногда высказана в очень осторожной форме, хотя и с надеждой, что отклик должен бы найтись. Как водится, в ответ раздавалось главным образом хихиканье: «сноб», «выскочка», «не знает, что еще выдумать», «Пушкин, видите ли, для него плох», «Пушкин приблизителен» — и так далее.

О Пушкине, кстати, — и вопреки досужим упрекам со стороны, — никогда, вероятно, так много не думали, как в тридцатых годах двадцатого века в Париже. Но не случайно в противовес ему было выдвинуто имя Лермонтова, не то чтобы с бóльшим литературным пиететом или восхищением, нет, но с большей кровной заинтересованностью, с бóльшим трепетом, если воспользоваться этим неплохим, но испорченным словом... Пушкин и Лермонтов — вечная русская тема, с гимназической скамьи до гроба. В последние месяцы и недели своей жизни к теме этой все возвращался Бунин и утверждал, что Лермонтов в зрелости «забил бы» Пушкина. У меня до сих пор звучит в ушах фраза, которую Бунин настойчиво повторял: «Он забил... забил бы его». Не думаю, однако, чтобы это было верно. В прозе, пожалуй: поскольку речь о прозе, можно даже обойтись без сослагательного наклонения и признать, что лермонтовская проза богаче и гибче пушкинской, и притом «благоуханнее», как признал это еще Гоголь. Но не в стихах. Здесь, в своей сфере, Пуш-

кин, конечно, — художник более совершенный, и даже последние, поздние, почти зрелые лермонтовские стихи — хотя бы та «Чинара», которая приводила в восхищение Бунина, — неизменно уступают стихам пушкинским в точности, в пластичности, в непринужденности, в той прохладной царственной бледности, которая роднит Пушкина с греками. А так называемый «кованый» стих Лермонтова — большей частью сплошная риторика... Нет, в области приближения к совершенству Лермонтов от Пушкина отстает и едва ли его когда-нибудь нагнал бы. Но у Лермонтова есть ощущение и ожидание чуда, которого у Пушкина нет. У Лермонтова есть паузы, есть молчание, которое выразительнее всего, что он в силах был бы сказать. Он писал стихи хуже Пушкина, но при меньших удачах его стихи ближе к тому, чтобы действительно стать отражением «пламени и света». Это трудно объяснить, это невозможно убедительно доказать, но общее впечатление такое, будто в лермонтовской поэзии незримо присутствует вечность, а черное, с отливами глубокой, бездонной синевы небо, «торжественное и чудное», служит ей фоном.

Оттого о Лермонтове как-то по-особому и вспомнили в годы, о которых я говорю. Не все в нем вспомнили, нет, и не всего, а те его строки, в которых разбег и стремление слишком много несут в себе смысла, чтобы не оборваться в бессмыслицу или в риторическую трясину: например, удивительное, непорочно-чистое, «как поцелуй ребенка», начало «Паруса» с грубо размалеванным его концом или «Из-под таинственной холодной полу-

маски...» — строчка, из которой вышел Блок, — с совершенно невозможными «глазками» тут же, — и другое.

Был, кроме того, в поэзии Лермонтова трагически-дружественный тон, — то же, как у Блока, но мужественнее и тверже, чем у Блока: на него отклик возникает сам собой. Оправдания поэтической катастрофы, которая не катастрофой быть не соглашалась, искать больше было негде. А как бы мы сами себя ни уверяли в противоположном, оправдание было нам нужно, — и во всяком случае нужен был в классическом прошлом голос, который больше других казался обращенным к нашему настоящему.

Мелькает мысль: да, прекрасно, Лермонтов, а к нему в придачу какие-то вагнеровские, похожие на сон воспоминания, какие-то волшебные цели, безнадежно-изнурительные порывы с величественной финальной катастрофой, — а что на деле? Стихи как стихи: то хорошие, то слабоватые — о любви, о природе, о скуке, об одиночестве, о смерти, об ангелах, о парижском городском пейзаже. Где в них отражение этих метафизических надежд и падений?

Возражение я делаю самому себе — главным образом потому, что не сомневаюсь: было бы оно сделано и извне. В этом возражении есть доля правды. Но подумаем: могло ли все быть по-другому? Были возможны изменения и колебания лишь в литературных, материальных качествах здешней поэзии, в размерах дарований и в уровне мастерства. Но невозможна была ее общая «однотонность», ее непрерывная, неизменная обращенность

к единой теме, ее рыцарское служение лишь одной Прекрасной Даме без всякого поглядывания по сторонам. Все мы хорошо знаем, как слаб и рассеян человек. Даже храня где-то в глубине памяти представление о «самом важном», — как любила говорить Гиппиус, тянет иногда слабости своей поддаться и сочинить стихи, «стишки» без всякой связи с подобными представлениями, именно о любви или о цветах. Иначе можно ли было бы жить? Подвижников и героев на свете мало, а поэт бывает «меж детей ничтожных мира всех ничтожней» порой даже и тогда, когда Аполлон его к очередной, более или менее священной жертве требует. Неужели у всех нас — и вовсе не в поэзии только, а во всем нашем существовании — слова и дела так строго согласованы, что пришлось бы удивляться перебоям или случайному отступничеству? Неужели жизнь проходит по стройному, твердо установленному плану?

Думаю, что «нота» все-таки звучала — и прозвучала не совсем напрасно. Случайности в ее чертах было меньше всего, и то, что ее особенности оказались во внутреннем, скрытом от посторонних глаз согласии с историческими условиями, это подтверждает. Надо было все «самое важное» из прошлого как бы собрать в комок и бросить в будущее, отказавшись от лишнего груза. Нельзя было — и в те редкие минуты, когда Аполлон оказывался действительно требовательным, — привычными пустяками заниматься. Память подсказывает мне, что были и другие побуждения, другие толчки изнутри, вызвавшие тягу к поэзии, которая «просияла и погасла» бы. А Некрасов,

по-новому прочитанный, противоядие от брезгливо-эстетической щепетильности? А неотвязное понятие творческой честности не в каком-либо шестидесятническом смысле, а как постоянная самопроверка, как антибальмонтовщина, с отвращением ко всякой сказочности и всякой экзотике, с вопросом: кто поверит словам, которым не совсем верю я сам? — и прямой дорогой от него к пустой, белой странице?.. Но обо всем не скажешь и не расскажешь.

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЭЗИИ

Самое трудное — начать: как начать, с чего? Случается иногда завидовать людям «одной мысли», тем, которым это затруднение неведомо, да еще тем, кого не смущают слова стереотипно-газетные, стертые, одно с другим склеившиеся в готовые фразы, тем, кто берет перо и пишет:

«В настоящей работе я поставил себе задачей...»

и дальше, без помарок, в час или два, с этой «задачей» справляется: статья готова, хоть отдавай ее в печать. Так писал, например, Бердяев. Отчасти это ему помогло стать «Бердяевым», то есть фигурой, авторитетом, знаменитостью, — потому, что иначе, при большей словесной взыскательности, он не мог бы написать и половины своих книг. Есть, однако, что-то тягостное в книгах Бердяева. У него были мысли, много мыслей, щедрых, грубовато-добротных, чуть-чуть элементарных, — по сравнению хотя бы с мыслями Федотова, зато более прочных, чем у Федотова, — но у него не было сомнений, и стилистически это особенно ощутительно. Бердяев был однодумом: не в течение всей жизни однодум, не однодум en grand, как, например, Толстой, а однодумом в каждую отдельную минуту. Он видел идею, но не видел бесчислен-

ных контридеек, брызгами возникающих тут же, будто от брошенного в воду камня (ценнейшее свойство в политике, пожалуй, даже во всякой деятельности, но не в литературе, которая ссыхается и скудеет, приближаясь к деятельности, — кроме самых вершин, где все сплавлено).

К названию — «Невозможность поэзии» — нужен бы подзаголовок. Что-нибудь незамысловатое, вроде «из дневника» или «из писем к Иксу», хотя всякому ясно, что никакого Икса на свете не было и нет. Хорошо было бы добавить «Для немногих», как у Жуковского, если бы в иных, чем у Жуковского, условиях это не было претенциозно. В самом деле — «для немногих»: я и немногие, я сам, изволите ли видеть, из немногих! «Мы с вами одни понимаем», «мы — избранные, посвященные, особенные», «nous autres, les безумцы», как смеясь сказал однажды Поплавский, редкий, незабываемый умница. Нет, «Для немногих» не годится, и суть-то, пожалуй, ведь и не в том, что написанное обращено к ним. Суть в другом. У Анненского, в одной из его «Книг отражений», есть несколько строк о человеке, который давно стоит в хвосте у кассы, мало-помалу продвигается вперед и уже близок к заветному окошечку. Билеты в кассе выдаются специальные, не для входа в мир, а для выхода из него, то есть такие, которые вернуть Богу, по карамазовскому примеру, невозможно, как бы этого ни хотелось... У Анненского это очень убедительно изображено, с особой его вкрадчиво-ядовитой настойчивостью, и подошло бы к размышлениям о поэзии как нельзя лучше.

Подошло бы потому, что человеку, который, в сущности, только то и делал, что писал или думал о поэзии, хочется наконец «подвести итоги». Договорить, договориться. Одно было сказано впустую, другое — настолько мимо, для красного словца, что стыдно перечитывать, тут я поторопился, напутал, там по легкомыслию повторил без проверки то, что слышал от Ходасевича или от Зинаиды Гиппиус, — и так далее. «Итог», что же обольщаться, скуден, а окошечко-то ведь недалеко, и впереди, над плечами стоящих в очереди, уже мелькает склоненное лицо кассирши, видно, как один за другим, улыбаясь или хмурясь, отрывает она билетики. «Пора, мой друг, пора». Поговорим же о поэзии всерьез, может быть, в первый и, как знать, пожалуй, в последний раз в жизни.

Не размахнуться бы, однако, Хлестаковым, по гоголевскому признанию о самом себе: контрсоображеньице, разумеется, тут как тут! Да и где бы оказалось оно уместнее?

Человек создан по образу и подобию Божьему.

Кому принадлежат эти слова? Имени мы не знаем. Но это, конечно, одна из глубочайших мыслей, которые когда-либо были высказаны, одна из самых благородных и важных, одна из тех, от которых нельзя отречься, пока не стали мы для самих себя предателями. Доиграетесь! — хочется сказать туда, в Россию, где под предлогом борьбы с предрассудками и невежеством насаждается ту-

пая беззаботность по части всего, что отличает людей от машин и животных.

Человек создан по образу и подобию Божьему. Никто теперь не истолкует этих слов физически, материально, и не решит, что если у нас есть руки и ноги, то, значит, должны они быть и у Бога. Но именно потому, что это истолкование навсегда оставлено, смысл слов, очищенный, углубленный, открывается во всем своем значении. В сущности, это кантовский «нравственный закон внутри нас», великое, второе, рядом со «звездным небом над нами», мировое чудо, — хотя едва ли в одной нравственности тут дело. Или понятие нравственности должно быть расширено до включения в него чувства эстетического? Очень возможно, что так, и, вероятно, именно этим и объясняется, что всякие демонизмы, чародейства и соблазны рано или поздно отталкивают, как пустые, постылые выдумки. Ложь ведь повсюду ложь, во всех областях, и должна где-нибудь существовать ложь единая, объединительная, Ложь с большой буквы, как существует же где-нибудь — где? — единая Истина. И в нас это отражено.

Все, что человек в себе угадывает, все, что находит в себе верного, непреложного, несговорчивого, окончательного, неустранимого после того, как перестал он играть с собой в прятки, все, что мы называем совестью, во всех смыслах, даже и в эстетическом, и что в нас большей частью дремлет, — а если, случается, и очнется, то, наглотавшись разнообразных житейских наркотиков, тут же засыпает снова, — все это и есть «образ и подобие». Для верующих объяснение сравнительно просто:

«То, чего я хочу, — но именно по-настоящему хочу, всем сердцем хочу, и никак не для самого себя, не эгоистически хочу, того хочет Бог. Это Он вложил в меня подобную себе душу, Он наделил каждого из людей частицей своих стремлений, своих оценок. У меня с Ним одинаковая сущность, и разница лишь в масштабах, да еще в том, что Он, вероятно, знает, почему назвал добро добром, а зло злом, я же бреду на ощупь, как слепой, не видя ни направления, ни конечных целей». Так скажут верующие. Ну а у других, у тех, кто в сотрудничестве своем с Провидением не вполне уверен, остается чувство, что коренные их побуждения чему-то все-таки отвечают вовне и с чем-то вовне согласованы. Даже если и не стекаются эти побуждения по радиусам бесчисленных отдельных сознаний в единый центр, то радиусы не совсем разнородны, и это исключает случайность.

Я знаю, конечно, что, едва начав говорить об этом, отваживаюсь в метафизические дебри, вдоль и поперек исхоженные, многими мудрецами исследованные, хотя и без желанного результата. Да и при чем тут поэзия? — пожалуй, скажут мне.

Ответить хотелось бы, что не только «при чем-то», а «при всем». От «образа и подобия» — даже если это не догмат, а только предположение, рабочая гипотеза — к поэзии прямая нить. Но не к тому, конечно, что большей частью за поэзию выдается и ею считается, а скорей к платоническому представлению и мечте о ней. Вот тут-то и запятая, если еще раз вспомнить Карамазова: тут-то и обнаруживается невозможность ее! Надо, однако, немедленно добавить, пояснить: не невозможность писания

8 Зак 3049

хороших, прекрасных, замечательных стихотворений, — что в редких случаях некоторым людям еще удается, — а невозможность продолжения, невозможность метода, школы и развития.

Поэзия есть лучшее, что человек может дать, лучшее, что он может сказать. Иначе действительно, как утверждают иные почтенные и по-своему вовсе не глупые люди, смешно было бы выстукивать размеры и, покусывая карандаш, искать, с чем можно было бы срифмовать, например, нежность, кроме непристойно истрепавшейся, готовой к любым услугам безнадежности. Самая условность и ограниченность поэтических средств обязывает к тому, чтобы лег на целое отблеск безграничности и безусловности.

«Лучшие слова в лучшем порядке». Кольриджевскому определению поэзии у нас повезло, с легкой руки Гумилева, которому формула эта чрезвычайно нравилась. Не помню, не знаю, скажу откровенно, какой смысл вложил в нее сам Кольдридж, но едва ли тот, который вкладывал Гумилев, а за ним и другие молодые авторы: едва ли смысл чисто формальный, в духе Буало, советовавшего, как известно, «полировать» стих без устали. К лучшему «порядку» это, пожалуй, и могло бы отнестись, — но что значит «лучшие слова»? Что могут они значить, кроме того, что в поэзии недопустимы: обман, притворство, поза, кокетство, фокусничанье, комедиантство, самолюбование, развязность, баловство, ходули... о, список того, что насмерть враждебно поэзии, мог бы занять несколько страниц! Недопустимо то, что наверное не от «образа и подобия» и за что «образ и подобие» не

может принять ответственности. Наедине с собой человеку не трудно в себя всмотреться, и, конечно, поэт всегда знает, нашел ли он действительно «лучшие слова» — то есть лучшие для него, в данном его состоянии, вовсе не безотносительно «хорошие», «красивые», «поэтические», — или увлекся соображениями посторонними, вплоть до предвкушения читательского восторга от какого-нибудь идиотски-новаторского литературного выверта.

Но необходимо предостережение: может показаться, что требование «лучших слов» есть нечто вроде совета писать стихи по вячеславу-ивановскому образцу, то есть стихи торжественные, велеречивые, парящие в заоблачных высях. Ни в коем случае! И не думаю, чтобы Пушкин, когда указывал на «служение, алтарь и жертвоприношение» как на сущность творчества, имел что-либо подобное в виду. Нет, вся его поэзия этому противоречит. Однако о жертве упомянул он все-таки не напрасно, и образ этот, понятый как нужно, точен и верен: в поэзии человек возвращает на «алтарь» лучшее, что он получил, приносит некий дар, может быть и бедный, но чистый, полностью свой. В поэзии нельзя мошенничать, как нельзя — ибо слишком уж бессмысленно! — бросив в церковный ящик пятачок, поставить перед иконой свечу в рубль... Вот ведь в чем дело. По Вячеславу Иванову, только рублевые свечи и допустимы, но он забыл, что у людей в кармане всего только медяки. Да и те наперечет.

«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Да, может быть. Но это как-то слишком расплывчато сказано, и «лучшие слова в лучшем порядке» в самой сухости своей предпочтительнее. А кроме

того, — замечу мимоходом, — для меня лично эти «святые мечты» навсегда отравлены воспоминанием о статейке, которую благодушно-благочестивый автор, прелестный, хотя и несколько анемичный поэт, счел возможным написать о смертной казни: мерзость в нашей классической литературе беспримерная.

Движение, развитие, а тем более «новаторство» в поэзии сопряжено с некоторой долей суетности и с отклонением от всего того, что можно бы назвать поэтической идеей в платоновском смысле.

Движение — как это на первый взгляд ни удивительно — рассеивает мысли, разжижает чувство, притом сразу, с первых же шагов, и в конце концов приводит к отступничеству.

Что же поэту делать? Топтаться на месте? Удовольствоваться стилизацией под классиков? Двенадцать гладеньких строк, четырехстопный ямб, любовь и кровь? Нет, это не решение, не выход. Выход найти трудно. В прошлом движение было, иначе нам теперь не на чем было бы и «топтаться». Исторически понятие движения, развития неопровержимо, и законность его как будто — вне сомнений. Но, очевидно, не все времена в этом отношении одинаковы, и сейчас приходится перефразировать знаменитое леонтьевское изречение: «Надо поэзию подморозить, чтобы она не сгнила».

Это, пожалуй, наше открытие, и обязаны мы им не особой нашей прозорливости, а только тому, что оказались волею судеб в особом, небывалом

положении, да еще в эпоху, когда новизна во что бы то ни стало сделалась чуть ли не лозунгом иных влиятельнейших художников. Нашим историческим уделом было созерцание в чистейшем, беспримесном виде, поскольку для деятельности, при не очень-то большой природной склонности к ней, не было поля, не было арены, — и, оцепенев, остановившись исторически и общественно, мы кое-что разглядели такое, что от других ускользает. Гордиться этим было бы глупо. Радоваться тоже нет оснований. А меньше всего было бы оснований возводить в какой-то общеобязательный и постоянный принцип то, что открылось в порядке исключительном, как бы с глазу на глаз с судьбой, «на духу», не для разгласки. «Да здравствует победное шествие искусства к новым светлым горизонтам, да здравствует всяческое “вперед”»! — склонны воскликнуть люди в положении исторически нормальном, пусть и находят они для своих стремлений выражения более изысканные, чем те, которые в насмешку привел я. Ну что же, согласимся: да здравствует! Почему бы в самом деле искусству и не здравствовать? В наши дни восхваляется непрерывное обновление, непрерывное изменение манеры, и освящено это еще Бодлером, призывавшим «нырять в глубь неизвестности в поисках нового»: плохой, внутренне плоский стих великого поэта. Итак, да здравствует! Но найдется пять-шесть человек, которые, наверно, скажут: этого своего неожиданного открытия не променяем мы ни на что, и никто никакими доводами, никакими ссылками ни на какие авторитеты не убедит нас, что оно — досадное следствие «эмигрант-

щины», результат утраты живых связей с действительностью или попросту бессильно-снобическое брюзжание. Да, невольная историческая остановка, факт выхода из затянувшегося пребывания на сцене, откуда убрано было все бутафорское, роль свою сыграли. Но стоило, стоило, стоило растерять все, что удерживается в обычной исторической обстановке, чтобы в образовавшейся пустоте, будто в далекой узкой щели, блеснул свет... Ибо утверждение неосуществимости поэзии есть в конце концов великое ее прославление, поклон до земли, объяснение в вечной любви, пусть и в любви к призраку. Но призрак так хорош, что, уловив его черты, ни на что другое не захочешь смотреть. «Он имел одно видение»...

Запад и западная поэзия несомненно против нас, и весь западный поэтический опыт нас в этом смысле опровергает. Ни о какой «невозможности» на Западе речи нет, и, в частности, Франция, по утверждению некоторых ценителей, переживает сейчас такой поэтический расцвет, какого никогда и не знала.

Возразить на это, особенно с русской точки зрения, следовало бы многое — хотя бы, например, то, что в поэзии Запад нам не указ, что по глубокой нашей взаимной разнородности нам на Западе почти не у кого учиться, что у нас был Пушкин в те годы, когда во Франции блистал, сверкал и царил Виктор Гюго, а кто из них варвар, кто поэтический младенец, об этом и спорить смешно. Но, даже оставаясь в границах местных, нам чуждых, можно было бы заметить, что теперешний «расцвет» вызван, вероятно, во Франции

не столько буйством творческих сил, сколько упразднением всего, что еще недавно составляло формальную основу и ткань поэзии. Сейчас во французской поэзии «все позволено», и где начинается творчество, где кончается болтовня, не знает твердо никто. Недавний инцидент-западня, инцидент-ловушка с десятилетней девочкой-поэтом Мину Друэ в этом смысле достаточно показателен.

Конечно, по-настоящему человек в силах и даже вправе судить только о стихах, написанных на его родном языке, в котором улавливает он и тона и обертона. Конечно, иностранец должен быть осторожен в своих приговорах, особенно когда речь идет о таком сложном, многовековом явлении, как французская поэзия. Потому лишь в виде догадки, в виде предположения скажу, что, по-моему, Ренэ Шар — подлинный и значительный поэт, а, например, Сен-Жон Перс, окруженный узким, тесным, но почти благоговейным культом, скорей мечтатель-декламатор, хоть и необыкновенно изощренный. Но об отдельных французских поэтах — только мимоходом, иначе не хватило бы и сотни страниц. К русской моей теме о «невозможности» они отношение имеют только возразительное, хотя у Шара кое-что родственное глухо и скрыто слышится, вопреки изобилию роскошных «images», которыми восхищаются его поклонники-французы. Слышится «невозможность» и у Малларме, чем, вероятно, и должно быть объяснено, что линия его оборвалась, несмотря на усилия Поля Валери. Да к тому же Клодель (вместе с Гюго — самый антирусский поэт, какие были на Западе) со своим безудержным словесным разли-

вом создал иллюзию, будто всякое самоограничение, всякий отказ, а тем более тупик могут быть внушены только бессилием.

У англичан есть Дилан Томас, в которого подлинно влюблена молодежь: поэт очень одаренный, духовно-расточительный, с отблеском Рембо, прельстивший даже Игоря Стравинского, который откликнулся на его раннюю смерть — «In memoriam Dylan Thomas».

Но и пример Дилана Томаса неубедителен, он тоже — «мимо», «не о том».

Если поэзия вместе с жизнью, и как составная часть жизни, более или менее благополучно движется в общем потоке, если назначение ее в том, чтобы доставлять более или менее пряные, острые, неизведанные ощущения, отвлекать, радовать, утешать, торжествовать над повседневной скукой, если удачный, смелый образ, «имаж», оправдывает ее существование, то, разумеется, правы западные поэты — как по-своему, в огрубленном, безмятежно-дубовом своем состоянии правы и многие поэты советские, — а не правы мы.

Но, вероятно, дает себя знать русский максимализм: все или ничего. Если «всего» достичь нельзя, не хочу никаких промежуточных инстанций, выбираю «ничего» или почти «ничего» — потому, что какие-то крохи спасти все-таки удается... Но в нищете своей не завидую псевдо-Крезам, даже дилан-томасовского обаятельного типа, и отказываюсь от совместных с ними игр.

Нет никаких возражений против новаторства, которое ограничилось бы изысканиями формальными, и беда исключительно в том, что в поэзии — и нагляднее всего в русской поэзии, где несомненная столичность соседствует с неискоренимым миргородским захолустьем, — беда только в том, что в поэзии нововведения формальные обычно сочетаются с особой литературной позой, с вызовом, «заскоком». Теоретически это сочетание вовсе не обязательно, но на практике оно обнаруживается сразу, и наша матушка-Россия не упускает тут случая покрасоваться, блеснуть всем, что есть в ней смешного и жалкого (о чем с такой горечью писал в «Дыме» Тургенев).

В музыке искания к «заскоку» не ведут, во всяком случае не всегда ведут, вероятно, потому, что музыка по самой природе своей есть искусство абстрактное, а ее безнадежные стремления к программности если в чем и выражаются, то преимущественно в названиях. Не берусь судить, по музыкальному дилетантизму своему, о внутренних достоинствах того, что было сделано, например, Шенбергом и его последователями, но если основываться на всем, что об этой группе известно — в частности об Антоне Веберне, по-видимому, самом значительном в ней человеке и художнике, — она полностью заслуживает внимания и уважения. Сейчас никто еще не знает, останется ли от нее долгий след в искусстве. Но бесспорно, это были люди творчески-взрослые, творчески-честные, требовательные, не дикари и не дети.

Переход к поэтам, в особенности к поэтам русским, довольно тягостен.

Мне наплевать на бронзы многопудье,
Мне наплевать на мраморную слизь...

Это — из Маяковского, из самого прославленного его стихотворения «Во весь голос». Во вступительной статье к лежащему передо мной собранию его сочинений восторженно и подобострастно указывается, что Маяковский «бесстрашно ломал установившиеся каноны», а дальше следует лепет столь знакомый, настолько примелькавшийся, что он даже не удивляет. Надо сделать усилие, чтобы очнуться и, очнувшись, спросить себя: что это такое, что это такое? Что это за вздор? Куда все идет?

Маяковский был чрезвычайно талантливым человеком и мог бы стать очень большим поэтом. Не думаю, чтобы после Некрасова у кого-либо в русских стихах явственнее звучали ноты трагические. В голосе Маяковского была медь, был закал, и хотя ранние его фиоритуры не совсем обходились без Несчастливцева и ближе были к футуристической мелодраме, нежели к футуристическому Эсхилу, в дальнейшем, казалось, он должен был от сгущения красок освободиться. «Облако в штанах» было редким поэтическим обещанием. Но самое название поэмы, то есть характер этого названия, внутренний склад его мог вызвать опасения, и опасения оказались оправданы.

Оставим, забудем «кроме как в Моссельпроме», поскольку сам Маяковский эти упражнения поэзией не считал. Но и то, что он считал поэзией, удручает: развязность, зычное похохатывание, отсутствие «словечка в простоте», хотя бы только

одного словечка, непоколебимая уверенность, что в этом-то и сказывается прогресс искусства и ломка канонов, что эта ломка нужна, благотворна, что с ней поэзия триумфально идет вперед... Руки опускаются, а если пришлось бы возражать, убеждать, спорить, начать надо было бы с самых азов: дважды два четыре.

Маяковский был прав в основном своем убеждении, что сто лет после смерти Пушкина нельзя писать стихи так же, как писал Пушкин. Но вместе с формальным выводом из положения бесспорного он наспех, кое-как, сделал вывод эмоциональный, учитывая мгновенный глупый отклик, шум и успех, и не то что погубил себя, а дал в себе вырасти какому-то поэтико-демагогическому чудищу. Маяковский довел русскую поэзию до обрыва, почти до пропасти, хотя неизменно оставался блестяще находчив в словосочетаниях и всяких словесных ухищрениях. Отталкивают у него не средства, а цели. Почему бронзы «многопудье»? О, это «многопудье»! Отталкивает ведь не самый неологизм, а величаво-хамски-небрежная эмоциональная его окраска, в сущности которой окончательно рассеивает сомнения дальнейшая «мраморная слизь». Эх, что вы там, вот мы, душа нараспашку, парень-рубаха, знай наших!

Иностранец «не поймет и не заметит», конечно, что за этим кроется. Иностранцу, даже взыскательному, это может понравиться. Надо быть русским, чтобы с содроганием сказать себе: это она, наша родимая матушка, наша «Русь державная, родина православная», как чуть ли не в слезах говорит у Бунина купец-патриот (и, конечно, по-

тенциальный погромщик) Ростовцев, — это она, оставшись в советском своем обличии до странного верной прежним расейским чертам, это она в недрах своих породила и взлелеяла все это! Пусть же простит она, если для этого ее облика у иных ее сыновей не находится других слов, кроме запомнившейся мне розановской фразы: «расстаюсь вечным расставанием»[1].

С Мариной Цветаевой дело проще. Довольно часто мне приходится слышать упреки, что я ее недооцениваю и не понимаю. Недооценка возможна. Но не понимать в Цветаевой нечего.

Она, конечно, была настоящим поэтом, и, конечно, у нее попадаются отдельные блестящие строфы, мелодические и меланхолические, женственные, как ни у кого. Задумчивость, полусонно-певучие интонации, тихий, сомнамбулический ход некоторых ее стихов к Блоку или ранних стихотворений о Москве неотразимы. Но творческие претензии Цветаевой мало-помалу оказались в разладе с ее силами: утверждаю это как очевидную ис-

[1] Мне привелось один только раз довольно долго говорить с Маяковским: в «Привале комедиантов», в ночь, когда распространился слух об убийстве Распутина. Все были взволнованы, обычные перегородки между литературными группами и группками на несколько часов исчезли. С Распутина разговор, конечно, перешел на поэзию. Маяковский был непривычно сдержан и умен, бесконечно умнее своей раз навсегда принятой позы.

тину, хотя и знаю, что остаюсь в одиночестве. Юрий Иваск, например, один из ее верных, стойких поклонников, вспомнил даже Державина, говоря о ней: высокий поэтический склад, высокий душевный строй, пафос, роскошь, пышность. Это — портрет, это — характеристика, но это не довод, и расходимся мы лишь в догадках, на чтении основанных, было ли у Цветаевой достаточно «горючего» для непрерывного пламенения, или пламенела она большей частью призрачно, механически, по инерции, как во многом ей родственный Бальмонт. Об этом можно спорить. Но о том, что в ее скороговорке, в ее причитаниях и восклицаниях, в ее ритмической судороге нет творческой новизны — то есть данных для развития, — по-моему, и спорить нельзя. Цветаева принадлежит к тем, с кем кончается эпоха, и только дух противоречия, которым она была одержима, дух творческого «наперекор» помешал ей в этом сознаться. Даже самой себе.

Гораздо значительнее — формально и внутренне — Пастернак, хотя у него и нет цветаевского «шарма». Но ищет ли он его, хочет ли, склонен ли был им прельститься? Едва ли, — как Пушкин едва ли прельстился бы тем, что иногда подкупает у Фета.

Пастернак — вместе с Хлебниковым — единственный наш поэт «новаторского» типа, который свои лабораторные опыты не считает нужным соединять с противопоставлением себя всему остальному человечеству, с самоупоением и гениальничаньем. Одно это должно бы внушить к нему доверие, не будь даже в его поэтическом облике других

черт, редких и замечательных. Однако самый опыт его не только не колеблет сомнений в дальнейшей «возможности поэзии», но неожиданно подводит под них новые основания, поддерживает их своим примером, всей своей импровизационной произвольностью.

У Пастернака слово сошло с ума, впервые в русской поэзии: слово перестало быть единицей логической, связанной в движениях логическим смыслом и не поддающейся обращению, в котором смысловые сцепления понятий были бы заменены какими-либо другими. Пастернак делает со словом все, что ему вздумается, и заставляет его изменять значение там, где ему это угодно. Для Пастернака существенно не то, что небо есть небо, а дерево есть дерево, для Пастернака важны, в качестве целостного замысла, лишь данная строка или строфа, и «небо» может утратить в ней все свои небесные признаки, признававшиеся до сих пор постоянными. Освобождение, шаг вперед? На первый взгляд как будто бы так: «ломка канонов». Но если это и освобождение, то вместе с тем и оскудение, убыль действенности, — потому что и прежде, у поэтов истинных, слово никогда ни в коем случае не бывало исключительно логическим знаком. В слове было то, что возвеличивает в нем Пастернак, плюс логический смысл, — и есть глубокое, пусть и почти метафизическое, обоснование уверенности, что логическое содержание должно бы остаться важнейшей, первейшей сущностью слова. «В начале бе слово...» Отстаивание логики было едва ли не главным устремлением Ходасевича, а раньше — Гумилева, который, по-

мнится, особенно настаивал на необходимости зрительной проверки метафор. У Пастернака метафоры нередко бывают вполне безумны, и отчасти это позволяет ему взметать словесные вихри, в которых он — царь и бог, никем, ничем не ограниченный. Вихри, что и говорить, вдохновенны. Но вдохновение — личная черта, личный дар поэта, который он никому передать не может, а передавая метод и стиль, он внушает отказ от прозы, боязнь ее вместо ее преодоления. Именно в этом-то ведь корень всего, всех надежд, мечтаний, всех «невозможностей», всех творческих тупиков и драм: проза должна быть в поэзии претворена, должна в нее войти и в ней раствориться. Поэзия должна возникнуть над прозой, после нее, а не в сторонке, как малодушное бегство от встречи, без согласия на риск. Линия Пастернака есть линия наименьшего сопротивления, при всей внешней, чисто синтаксической или стилистической его сложности: формальный замысел его поэзии таит в себе предчувствие «невозможности» (хотелось бы сказать: предзнание), но вместо того, чтобы разбить себе голову о стену, — или хотя бы рискнуть этим! — Пастернак ищет обходных тропиночек, да еще со скамейками для отдыха. Все это может показаться нарочитым, предвзятым искажением пастернаковской позиции: подумайте, он, труднейший из трудных, — и наименьшее сопротивление! В оправдание Пастернака напрашиваются разнообразные выводы: во-первых, он делает со словом то, что давно уже делают иные поэты на Западе, и значит, идет вровень с передовой западной культурой, не в пример большинству соотечественников,

во-вторых — наш эвклидовски-рационализированный мир рухнул под ударами науки, и как знать, не точнее ли отвечает пастернаковский мнимый хаос истинной реальности, чем поэзия трехмерная? Не в лобачевски-римановском ли восприятии реальности обнаруживается острая, интуитивная современность Пастернака? Этот второй довод я уже как-то слышал, и уверен, на удочку эту можно с успехом поймать людей, принципиально падких до модернизма. Но это довод лживый. Догадки, пусть и научно бесспорные, о том, что наше мышление подчинено законам, которые вовсе не обязательны для вселенной, с земли нас не уводят, в устройстве нашего мозга ничего не изменяют, и никакая относительность, досадно нам это или не досадно, поэзии не задевает, — если только поэзия — не приятное времяпрепровождение с новейшими чудо-игрушками. Игра у Пастернака неизменно чувствуется — в противоположность творчеству наименее склонного к ней из новых русских поэтов, Блока. Но странно: привкус пастернаковской поэзии при этом горек. Освобождение не привело никуда, привело в «никуда»: Пастернак остался в пустоте и видит вокруг себя только миражи.

«Невозможность» он укрепляет, впрочем, и по-другому: читаешь Пастернака — и с первой же строки знаешь, чувствуешь, что тебе предлагают нечто художественное, поэтическое да еще новое. А мало что расхолаживает сильнее, чем художественность назойливая или, правильнее сказать, наглядность художественных намерений. Ледяной душ! У Пастернака, правда, эти претензии — хо-

рошего качества, не такие, как у иного беллетриста, который пишет, например: «Серебряная скатерть моря была расшита вздрагивающими жемчужинами...» — и в допотопной наивности своей думает, что пишет «художественно», а если бы написал, что в море отражалась луна, то это было бы не «художественно»! Нет, Пастернак, конечно, на другом уровне, но намерения его, то есть, в сущности, швы, все же видны. Пастернак дает поэзию, «поэзию» в кавычках. А когда голодному дают пирожное, он склонен сказать: дайте кусок хлеба. Поэтического голода кремом не утолить.

В попытках доискаться, в чем же самая суть расхождения, является мысль: не главное ли в поэзии — ощущение суеты сует? Голод не оттого ли, что суета сует не питательна? Читаешь стихи, видишь, как они крепко и ладно сделаны, — и недоумеваешь: зачем они сделаны, зачем? Поэзия должна бы на этот вопрос ответить или перечеркнуть, отбросить его. Но все доступные ей средства приблизительны, и в свете недоумения «зачем?» обнаруживается их несостоятельность. Золотая райская птица все равно упорхнет. В руках останется в лучшем случае попугай с красными и зелеными перьями, к тому же и крикливый.

Что же делать? — спрашиваешь себя в сотый раз. Что делать во имя «образа и подобия»? Ради «лучших слов», какие надо в себе найти? Попытка вытравить все украшения, всякого рода побрякушки, не только грошовые, но и отличной выделки, высокой пробы, мало-помалу приводит к белой странице. Никакой мед не пришелся по вкусу, и «се аз умираю», хоть и с блаженным чув-

ством правоты и верности (немножко как у Анненского в монологе Фамиры после состязания с Музой... Как у него это хорошо! А кто этот монолог помнит? Пять-шесть человек. Зато о «многопудье бронзы» известно миллионам).

Подстерегает опасность и хуже, чем пустая страница: естественное, даже в каком-то смысле здоровое стремление избавиться от тирании «невозможности», однако без согласия вступить на путь беспечно-развлекательный, в духе «лимонада», о котором говорил Державин, и говорил, конечно, в насмешку, — стремление это может привести к сочинению стихов, ничем не отличающихся от тех, которые писали майковские эпигоны, вялых, бледных, даже не мертвых, а как бы еще не родившихся, никаких. Преодоление прозы может оказаться на деле осуществлением прозы и ее победой. Если в ответ нет отклика, сетовать не на кого: виноват ты сам, надо все начинать сначала.

У нас в эмиграции есть поэт сравнительно еще молодой, который с темой моей связан, хоть и не знаю, согласился ли бы он с таким утверждением, — Игорь Чиннов. Некоторый недостаток внимания к нему вызван, по-видимому, крайней его «камерностью», и правда, читая его, вспоминаешь иногда остроумное, типично галльское в своей отчетливости замечание Поля Валери: «Ecrire en moi naturel. Tels écrivent en moi dièse». Чиннов пишет в «moi bémol», он приглушает тон с той же одержимостью, с какой Цветаева или Маяковский упорствовали в своих диезах. Но его тончайшие стилистические находки, переливчато-перламутровые

оттенки иных его эпитетов внушены, мне кажется, двойным отталкиванием: и от эпигонства, и от пышности, за которой можно протащить контрабандой что угодно. Будто эквилибрист на проволоке, он то сделает шаг, то остановится, переводя дыхание, но равновесия не теряет никогда. Ни одного срыва.

Опять вспомню Валери: «будет ли еще в Европе что-нибудь великое» или «будет ли двадцать первый век?» — как спросил себя недавно один из наших русских писателей.

Недоумение относится к творчеству, хотя в наш «атомный» век истолковать его можно шире и тревожнее. Это распространяющееся теперь ощущение иногда сопоставляется с позднеримским, тем, которое запечатлено в знаменитом верленовском сонете — «все выпито, все съедено, plus rien à dire». Но на Рим надвигалась неизвестность, огромное темное варварство, притом таившее в себе не меньше сил, чем было их в классической древности. Сейчас в мире светло: все ясно, все подсчитано, неизвестности прийти неоткуда. А стремительное ускорение технического прогресса оказалось для искусства настолько заразительным, что в последние сто лет оно больше сменило форм, больше отвергло, большим увлеклось, больше возненавидело или провозгласило — словом, больше проявило нетерпения и непоседливости, чем за два тысячелетия до того: у Пушкина с Горацием, например, общие черты очевиднее, чем у Пушкина и Хлеб-

никова или у Пушкина и французских сюрреалистов. И нетерпение это, непоседливость эта все усиливается...

В первые, озорные футуристические годы был человек по имени Василиск Гнедов, считавшийся поэтом, хотя, кажется, он ничего не писал. Его единственное произведение называлось «Поэма конца». На литературных вечерах ему кричали: «Гнедов, поэму конца!»... «Василиск, Василиск!». Он выходил мрачный, с каменным лицом, именно «под Хлебникова», долго молчал, потом медленно поднимал тяжелый кулак — и вполголоса говорил: «Все!». В будущем, вероятно, найдутся поэты более словоохотливые, но это «все!» теперь, с оглядкой чуть ли не полвека назад, представляется символическим. Как продолжить, как развить поэзию? А если невозможно развитие, удержится ли в поэзии жизнь? «Будет ли двадцать первый век?»

Сейчас наши лучшие стихи не пишутся, а скорей дописываются. Георгий Иванов, в сущности, не пишет, а дописывает, искусно смешивая последние обрывки чувств, надежд и мыслей, и притом, слава Богу, без уступок какому-либо модернизму. Но насчет возможности развития своих приемов он, надо думать, не обольщается сам.

Возвеличение прошлого в ущерб и в упрек настоящему — позиция банальная и смешная, в особенности если внушена она возрастом. Об этом не стоит и говорить: это — «вы, нынешние, ну-тка!»

Но и утверждение, что все эпохи одинаковы и что след, оставляемый в искусстве каждым поколением, равноценен всякому другому, — не менее ошибочно.

В русском прошлом было много хорошего, было и много слабого. Но, обрывая эти свои заметки — в которых столько осталось недоговоренного! — в виде лучшего к ним комментария, в виде ключа к ним и даже оправдания не могу удержаться, чтобы именно из прошлого не привести короткое стихотворение — шесть строк Баратынского:

Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой,

Заблуждений земли
Мне забвенье пошли,

И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

Обычно о стихах, которые очень нравятся, говорят: «удивительно», «изумительно». Ничего «изумительного» в этих стихах нет! Но мало найдется во всей русской литературе стихов чище, тверже, драгоценнее, свободнее от поэтического жульничества: это именно возвращение на алтарь того, что человек получил свыше, ясное отражение «образа и подобия». Ни иронии, ни слез, ни картинно-живописной мишуры: никаких симптомов разжижения воли. Экономия средств, то есть начало и конец мастерства, доведена до предела: все стихотворение держится, конечно, на одном слове «строгий». Но слово это наполнено содержанием,

которого хватило бы на десяток поэм вроде какой-нибудь несчастной «Инонии», и целое залито отброшенным назад светом этого слова.

После всего, что пронеслось в памяти перед этим, таким строкам поистине «без волнения внимать невозможно». И хочется сказать: Евгений Абрамович, не первый русский поэт, но в поэзии первый наш учитель, за холод, вас окружавший, за снисходительное, да и то с оговорочками, одобрение пустомели Белинского, дававшего вам понять, что вы — человек отсталый, а он — человек передовой, и потому вправе учить вас уму-разуму, за все, куда докатились мы после вас, за человеческую низость, за «бронзы многопудье», за вашу стойкость, ясновидение и печаль позвольте послать вам поклон, «смиренно преклонить колени», как сказано у другого поэта, «учитель перед именем твоим...»

Или иначе — будто пьяный Мармеладов с пустым полуштофом в руках, обратиться к поэзии с мольбой: «Да приидет царствие твое!».

Но не придет оно никогда.

ДОПОЛНЕНИЯ

КОММЕНТАРИИ <I>

1.

На одном из обычных диспутов, где никто никого не слушает и никто никому не отвечает, В. Шкловский возмущался:

— Пушкин! Напрасно вы вспоминаете Пушкина!.. Пушкин не ваш... Пушкин был прежде всего сорванец и пародист. Он был пугачом для «хранителей традиций»...

В этом есть большая доля правды. Вспомним, что и Кузмин обозвал Пушкина «добрым малым».

Но это одна из тех вещей, которые не следовало бы говорить громко в «приличном обществе». Конечно, в Пушкине было немного «рубахи-парня», «души нараспашку», одним словом, немного Сергея Городецкого, — но непонятно, как можно этим восхищаться и это ставить в пример.

Неизменное обывательское сопоставление имен Пушкина и Лермонтова ведь только тем и оправдано, что относительную свою художественную слабость Лермонтов искупил своей средневековой, савонароловской напряженностью тона, и каждый обыватель это почувствовал. Каждый гимназист это чувствует и влюбляется в Лермонтова, со страхом и трепетом.

Лермонтов часто был пошл, — и скверно пошл, по-юнкерски и по-кавалерийски. Но между «Сашкой» и «Ангелом» нет решительно никакой связи,

никаких промежуточных тонов. Разные люди писали их. Болотная муть «Сашки» не заволакивает и не закрывает «неба полуночи».

У Пушкина же «Здорово, Юрьев, лейб-улан» как чуть слышное эхо нет-нет да и почудится то здесь, то там.

Но надо еще раз сказать: в лучших вещах Пушкина этого нет. Этого нет в «Заклинании (О, если правда...)». Этого нет ни в «Полтаве», ни в печально-прекрасной седьмой песне Онегина. Оттого мы его и вспоминаем.

2.

Нельзя не прийти в уныние, разбираясь в наследстве, оставленном нам прошлым веком. Романтизм, пройдя через безотчетно-восторженные мечтания времен Руссо и Вертера, в 1830 году вдруг приобрел голос и повадку среднего парижского адвоката, с остроконечной бородкой, заботами о всеобщей справедливости и принципиальным культом всего «grand». История была благосклонна к адвокатам и дала им тему и тональность: в их памяти жила еще фигура человека со скрещенными на груди руками, l'Empereur.

Победа французского романтизма была быстрой и прочной. Потоки лишенных стиля, блестяще-вялых стихов затопили мир. По небосклону торжественно катилось солнце Гюго. Из прошлого вспомнили Шекспира, — и в нем его ошибки и его уродства.

3.

За два года до смерти Пушкин писал о «глубоком и жалком упадке» современной ему французской литературы. Несколько случайных строчек Вольтера казались ему недостижимым образцом для французов его эпохи.

Пушкинские стихи с каждым годом становились все суше и все строже, иногда даже ценой потери прежней «неги». Он как бы сдерживал, напрягая все силы, готовое рухнуть здание — стиль искусства. Он избирал наименее песенные формы — шестистопный ямб или белый стих.

После его смерти медленно и верно начинается разложение. В стилистике Лермонтова уже даны шестидесятые и девяностые годы, романы Чернышевского и Успенского, идеология русской общественности et caetera.

Поэзия Тютчева есть как бы история жизни очень здорового сознания в эпидемически-зараженном воздухе, история стилистических побед и поражений (далеко не редких).

Позднее пришли Надсон и Бальмонт.

4.

Едва ли надо объяснять, что порча стиля есть желание сделать его вполне свободным: никаких рамок, и ничем художник не ограничен. Но «стиль — это человек». Всегда и везде это идет параллельно с назойливой выразительностью чувства и с затмением разума. Разум ведь на то и дан человеку, чтобы знать цену «рамкам».

5.

На Западе было назидательное явление: парнасцы. Во главе их стоял человек если и не гениальный, то проникнутый сознанием высокого назначения поэзии. Они безошибочно определили место индивидуального чувства в искусстве. Они упорно работали над техникой.

И все-таки почти все, что они оставили, напоминает лишь превосходные черновики. Романтизм, из которого они вышли, тяготеет над ними, давит и опутывает их. Они многословны и педантичны. Леконт де Лиль, ни за что на свете не согласившийся бы вспомнить о своем личном горе или радости, легко отдает целые десятки строф на описание чувства Каина или Сигурда. Как будто это не одно и то же?

Исключим навсегда из числа французов прошлого века: Альфреда де Виньи, самого холодного, самого печального, самого одинокого из всех когда-либо живших на земле поэтов (мне хотелось бы еще добавить: и самого взрослого).

И Бодлера, конечно.

6.

Банвиль в остроумнейшем «Petit Traite» оживленно и настойчиво спорит с Буало, будто со своим современником. Это лучшее подтверждение силы влияния Буало.

Очень часто Банвиль прав: нетрудно заметить и показать ошибку противника, умершего полтора века назад. В блистательной концепции Буало не все, конечно, было продумано и сглажено.

Но Банвиль хочет большей частью подтвердить свои шаткие положения примерами и, захлебываясь, цитирует Гюго.

Тогда невольно вспоминается, что «Art poetique» может быть иллюстрировано примерами из Расина.

На том же вечере, когда Шкловский «восстанавливал» образ Пушкина, часто упоминалось имя Расина.

7.

Расин есть прекраснейший из поэтов христианской Европы. Мне хочется еще раз повторить это.

Многим он обязан эпохе: чувством меры прежде всего, какой-то версальской сдержанностью. Но от природы у него был чистый и сильный голос, и ум, как раз настолько острый, чтобы оставить жизнь иллюзиям. Во всем новом искусстве нет ничего равного короткой драме об Эсфири — по ясности и прямоте линий, по глубокой нежности замысла, по «ужасу и жалости».

8.

Есть предрассудок, общий почти всем любителям поэтического искусства. Он состоит в том, что с появлением символистов началось будто бы возрождение поэзии.

Это не верно. Этого не было ни у нас, ни во Франции. Ранние стихи Бальмонта и Брюсова свидетельствуют лишь о некотором расширении кругозора — и только. Прежде был «гнет оков», теперь «дрожь предчувствий», — но и только. В чувстве же слова,

в честности по отношению к нему был сделан резкий прыжок, — если и не назад, то в сторону. Может быть, это и было нужно, но безотносительно «идеалы» и «грезы» восьмидесятых годов все-таки лучше, чем «стозвонности» Бальмонта.

Декаденты стали употреблять в своем словаре слова: звезда, луч, гора, свеча и другие имена реальных сущностей мира не для того, чтобы назвать их, а чтобы уподобить другим предметам или даже чувствам. Это до сих пор еще не изжито. И теперь еще мы читаем стихи с какими-то неведомыми, вне времени и пространства существующими солнцами и звездами. С декадентами пришел культ метафоры. И это еще не брошено, как пустая забава (имажинисты).

9.

Еще о декадентах: лучшим из них, в лучшие их минуты не хватало простоты и проясненности замысла.

Их искусство напоминает облака. Нет линий и нет архитектуры. Ничего не заострено. Поэтому, в конце концов, они оставляют (и оставили) в сознании равнодушие и лень. Иногда, читая их, хочется спросить: что это значит, это сплетение полуслов и полуобразов, о каких человеческих чувствах говорит оно? И повторить: «Какой тяжелый, темный бред!».

10.

Часто приходится слышать:

— Нет хороших и дурных эпох в искусстве. Никто не прав и никто не виноват. Каждое поколе-

ние отрицает наследие предыдущего. Каждый истинный художник должен быть художником-революционером...

И прочая, и прочая, и прочая.

Эта легкомысленная теория имеет и свою формулу: ход коня.

Основная мысль ее (о неизбежности смен) правильна. Действительно, в мире все происходит так. Но вывод о «непротивлении злу» по природе своей нигилистичен. Неужели человеческий разум окончательно решил склониться перед фактами и отказался руководить ими?

— Расина неизбежно сменяет Гюго.

— Знаем.

— Отбросим индивидуальные различия... Первый не лучше и не хуже второго.

— Нет. Если художник не шут и не ребенок, то он знает, что у искусства есть цель. И тогда у него есть некоторый «критерий оценки».

В искусстве были эпохи упадка и просветления. Это не может не помнить поэт первой четверти двадцатого века, определяя свое место в истории.

И совершенно безразлично, разрушает ли он традиции или «топчется на месте». Это зависит от того, чем занимались его ближайшие предшественники: можно ли взять их с собой в дорогу или их необходимо «сбросить с парохода современности».

11.

Часто приходится слышать:

— Это тупик! Логический строй речи, прозаический порядок слов, точность языка, отсутствие

метафор, молчаливое недоверие к свободному стиху — весь этот кларизм упирается сам в себя. Это никуда не ведет и не может быть продолжено!..

Иногда, «в состоянии запальчивости и раздражения», случается с этим взглядом спорить. Но в часы спокойствия с ним надо согласиться. Он не только правилен теоретически, — он поддерживается всей историей искусства.

Но это ничуть не меняет дела: идея прогресса и развития далеко не так обаятельна, чтобы ради нее жертвовать нашим лучшим достоянием.

И мы не откажемся ради ее прекрасных глаз от того, что кажется нам установленным не относительно, а абсолютно, в условиях нашего мира, по крайней мере.

12.

Красноармейская частушка:

Ах ты, Бог, ты, мой Бог,
Улетел на небо,
Нас забыл на земле
На полфунте хлеба.

Как это прекрасно и как пронзительно! Это лучше, чем «Двенадцать». Если бы Бодлер знал автора этой песенки, он улыбнулся бы ему и сочувственно пожал его руку.

КОММЕНТАРИИ <II>

13 (I).

После всех бесед, споров, *острот, бездомничества,* гаданий, обещаний, после *евразийцев*, после русского шпенглерианства, вспыхнувшего и погасшего в берлинских и парижских кофейнях, после всех наших крушений, когда, как ни разу еще в памяти нации, оставался человек один, наедине с собой, вне общества, и лишь с насмешливо-ядовитым *сознаньицем*, что вот и вне общества *может еще существовать человек*, любить, думать, жить, — все-таки и после всего этого не поздно и нелишне повторить, что главный *для нас вопрос «современности», над личными темами, есть* общерусский вопрос о Востоке и Западе, о том, с кем нам по пути и с кем придется разлучиться: Россия — страна промежуточная. И конечно, этот вопрос, будучи главным *вообще и* везде, остается главным и в литературе. Ответа еще нет, но все, что мы теперь предпринимаем, во всех областях, — есть подготовка материалов для *ответа*, «дело», досье, где время наведет порядок.

Французская литература блистательна. Какой ум в ней, какая точность в диагнозе эпохи, какая «взрослость»! Одно расхолаживает: она слишком благополучна. Это вовсе не нигилистический,

9 Зак. 3049

не эстетико-безответственный упрек, а то, что о ней думаешь после всех отдельных оценок. И, на русский вкус, она, за редчайшими исключениями, никогда не переставала быть слишком благополучной и поэтому — в настоящем смысле — слабо-влекущей, мало-прельщающей[1]. *Уровень? Да, такого уровня нигде нет, и пройдут еще сотни лет, пока мы чего-либо подобного добьемся, да, вероятно, и не добьемся никогда. Но что с «уровнем» делать в литературе, и на что он нужен! Нужно, чтобы все инженеры умели более или менее хорошо строить мосты, чтобы все столяры умели более или менее хорошо делать столы и стулья, но чтобы все писатели умели более или менее удачно писать романы, а поэты стихи, даже совсем удачно, восхитительно удачно, — это совершенно никому не нужно. Не хочу с легкомысленным или обиженным высокомерием*

---

[1] Слово «благополучна» может быть неверно понято. Сейчас французская литература серьезна и по-своему тревожна. Она очень далека от Вольтера, не говоря уж о поль де коках. В ней не осталось никакой беспечности: время все меняет, и теперешние французы нисколько не похожи на традиционных французиков, тех, «из Бордо». Но природы не изменишь; остаются четыре стены и потолок, «плотно прикрытая крышка». Очень честная литература, без блудливых заигрываний с «мирами иными», — но скучающая и сухая. По существу — со своими трагедиями. Но для человека, который умирает на ветру и под открытым небом, другой человек, мучающийся «bien au chaud», под шелковым одеялом, с сиделками, с докторами, с ежеминутным выслушиванием пульса, для него и это — благополучие. Два исключения: Паскаль, Бодлер.

отворачиваться от французов, не спорю, что учиться у них нам полезно, что противопоставить им сейчас мы почти ничего не можем, — но воображение дополняет то, чего в русской литературе сейчас нет. «Прорыв» русской литературы глубже, в воздухе меньше пыли, а все остальное, что тут спорить, слабее и беднее. Но, испробовав этого воздуха, другого уже не захочешь. Как мы долго обольщались, годами, десятилетиями, насчет Европы. «Дорогие там лежат могилы». И действительно, дорогие. *От нестерпимой тупости славянофильства* нас в Европу и к Западу несло почти что «на крыльях *восторга*». И вот — донесло. И после всех наших скитаний, без обольщений и слезливости, со свободной памятью, *как только можно спокойно и рассудочно* говоришь: *нам* сладок дым отечества. Все серо, скудно и, Боже мой, *как* захолустно. Но *вполне рассудочно*, ответственно, *с сознанием* последствий и выводов, хочется повторить: сладок дым отечества, России.

14.

Конечно, этот важнейший и существеннейший наш вопрос, за литературой, политикой, историей, есть вопрос «метафизический», т. е. разрешимый неизбежно вслепую, с возможностью целиком ошибиться и целиком прогадать. «Како веруеши?» и чего ждешь от жизни, — предварительно должен был спросить себя человек, и только тогда про себя решать. Но хорошо, что уже выметен и безвозвратно разметен по ветру старый, залежавшийся сор: о царе-батюшке, о благолепии исконного быта, о народе-

богоносце, с Советами или без Советов. Если устраиваться, да покрепче и поустойчивее, то уж лучше по-европейски, трезво, с расчетом, разумом и зрячестью, без слащавой блажи и декоративной трухи. Тут западничество остается непоколебленным. Но устраиваться ли? Петр и министры со Сперанским не сомневались и делали дело. Однако русское «умозрение» сомневалось сплошь и, собственно, только этим непостижимым уму сомнением и потрясло мир. Устраиваться ли? Две тысячи лет тому назад этим же сомнением потрясло мир Евангелие, — и расшатало бы до основания, если бы сомнение вовремя не улеглось и мир не оправился. Слово, в которое все в этом сомнении опирается, страшно произнести, и не надо, потому что оно беззащитно от логических, «позитивных» нападок, — если только становится целью. А оно во всяком антизападничестве есть таинственная и последняя цель. Не вернуться ли? Куда? — спросит европеец. — О, не в Азию, а много, много дальше... От одного этого сомнения леденяще-эфирными струйками пронизана русская литература, а, кажется, именно в нем ее «дух, судьба, ничтожество и очарование».

15.

...И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

Тема «возвращения» есть скрытая тема всей русской литературы, одинаково значительная от Пушкина, у которого она пробивается сквозь все еще фарфорово-восковое в нем (время, едва ли натура), сквозь

все навязанное ему и наносное, по существу ненавистное, сквозь барабанное «люблю тебя, Петра творенье!» — и до Блока, у которого она как основной фон присутствует всегда. Это вообще самая лирическая тема человечества, с самыми глубокими откликами на нее. Немцы (Вагнер, и у него особенно предсмертное возвращение памяти Зигфриду) еще питаются ею, но она, словно вода, иссякает на сухой, как будто песчаной почве Франции. Ее во Франции только «литературно обрабатывают». Но это уже не то. Между тем вся поэзия только на нее отвечает: в поэзии есть жажда воссоединиться, опять слиться, вечно пребыть в полноте, — и в «розовые зори», в «холодеющие небеса» человек смотрит как в окно «туда». Это, прежде всего, тема верности. Она лежит в глубине легенды о блудном сыне, так неотразимо поразившей все русские сознания, — и ведь для нашей литературы человеческая жизнь гораздо менее была «строительством», чем именно «блудной» прогулкой, которой рано или поздно пора положить конец, от которой неодолимо тянет домой. Толстой именно как блудный сын надевал лапти и брался за плуг.

16 (II).

Как бы это сказать? Бывало в рассказах — *в каком-нибудь «Вестнике Европы»*. Вечер. Станция, где-нибудь в средней России, поезд только что прошел. *Холод, май и черемуха.* Станционная барышня еще гуляет взад и вперед, вполне традиционная: шестнадцать лет, косы, мечты. Пожалуй, еще и «березки», непременно «чахлые», за палисадником, непременно пыльным. Ждать больше нечего.

Это, разумеется, должно быть в восьмидесятые, *лучше*, в девяностые годы, в «безвременье». Знакомо так, что *бесполезно* и вглядываться, а кому не знакомо, тот действительно ничего «не поймет и не заметит». Здесь почти все уже пелены прорваны, *почти что ничем жизнь уже не держится*, это русская глушь, *истаивающая*, переходящая в елисейские тени; все белое и черное, как в монастыре. (Сюда же: позднее, безнадежное народничество, музыка Чайковского, «идеалы»...)

Потом, — худо ли, хорошо, — все опять пришло в норму. Но без следа такие припадки слабости не проходят и без причины не случаются. Да и «норма» наша не высокая.

17.

Русская литература мало занималась человеком, «собственно человеком», у нее нет навыка и пристальности во взгляде, и теперь, когда первый ее, «прометеевский», героический период закончился, и единственное, что ей остается, это быть с человеком с глазу на глаз, без тяжбы с Богом, она внезапно и ослабела. Она долго спорила с Богом, вернее, не спорила, а взывала, молила, требовала, негодовала, отрекалась, возвращала входные билеты, — и все было гласом в пустыне. Она устала и выдохлась, потому что нельзя все время вести монолог. Слишком долго Бог не отвечал. И она уже стала забывать, с чего начала, что спрашивала, и Леонид Андреев, последний спорщик, просто-напросто громыхал и ухал, совершенно невпопад, скорее из молодецки-спортивных побуждений, чем по внутренней необ-

ходимости. Другие (не все, — но почти все) скатились вниз, как на салазках. Они принялись описывать и рассказывать, — как человек пьет чай, как бежит собачка по саду, как «Николай Феоктистович, запахнув байковый халат, вышел на крыльцо и, взглянув на копошившихся у корыта поросят, с наслаждением причмокнул губами:

— Фу ты, ну ты...»

Или как комбриг Иванов послужил революции, — все равно. В свое оправдание они утверждают, что иначе нельзя: внутреннее через внешнее (мимоходом: по смыслу надо бы «внутреннее-де», иначе не совсем точно; но лучше исказить смысл, чем написать «де»). Хорошо, если «через». Но большей частью ничего не сквозит, и Николай Феоктистович чмокает себе на здоровье губами, на чем дело и кончается. Сквозить может в одной, долго сверленной, упорно буравленной точке: внезапно вспыхивает свет. Но когда на десятиметровой толще быта литература растекается по поверхности тонким масляным слоем, локутинской лакированной картинкой, — ничего не сквозит. Второй, послегероический период русской литературы требует меньше пафоса, чем было прежде, но не меньшего вслушивания, не меньшего всматривания: разрядилось звучание, и душа человека не вся собрана в одном взлете, но по существу только она одна есть предмет, тема и смысл (не психология, конечно, «für sich», а то, что прикрывается иногда во внутреннем опыте; как дом с телефоном или TSF, даже еще молчащим, живее другого дома, — в возможности, — так и литература, если в ней может послышаться нежданный, невидимый отзвук).

18.

Есть творчество — внутрь. Оно совершенно не требует вымысла, хотя и над ним можно «слезами облиться». Оно ищет раскрытия того, что дано, и этим довольствуется. Другому — вовне вымысел нужен. Но Толстой на старости лет сказал (в воспоминаниях Микулич):

— Как я могу написать, что по правой стороне Невского шла дама в бархатной шубе, если никакой дамы не было...

Точка. Заповедь: больше нечего добавить. Нравственный закон художника. Не было дамы, значит, не надо о ней и писать, — и черт с ними, со всеми возвышающими обманами и навеваниями снов золотых. Это не значит, что надо писать «художественные биографии», где приятным стилем сообщается только то, что было... Все требует компромисса, если хочет жить. И если вы непременно желаете быть романистом, про даму писать вам придется. Но значительность творчества измеряется тем, насколько вы ею тяготитесь и насколько все то, что вы о ней рассказываете, управляется не прихотью фантазии, а движением внутренних образов.

19 (III).

А. говорил мне:

— Какие должны быть стихи? Чтобы, как аэроплан, тянулись, тянулись по земле, и вдруг взлетали... не высоко, со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось.

Чтобы входило, как игла, *тончайшая,* и не видно было раны. Чтобы нечего было *сказать, чтобы* некуда было уйти, чтобы «ах!», чтобы «зачем ты меня оставил»... и вообще, чтобы человек как будто пил горький, ледяной и черный напиток, «последний ключ», от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками.

В дополнение: любопытно, что теперь поэты все больше клонятся к тому, чтобы *превратиться в ангелов, — за счет человеческого.* Им душен воздух земли, и поднять весь человеческий груз им, очевидно, не по силам. Они и сбрасывают его, после чего *без труда достигают «чистейших сфер».* Но по старинному глубокомысленному преданию человек больше ангела. «Гете был пошляк», — *обмолвился* в запальчивости и раздражении один из ангелических русских писателей, — верно, *по ощущению,* но с ужасающим кощунством в порядке истинной иерархии ценностей.

20 (IV).

«Конец литературы». Книги, конечно, не перестанут никогда выходить. Их всегда будут читать, будут разбирать, «критиковать». *Но литература может кончиться в сознании отдельного человека. Дело в том, что* по самой природе своей литература есть вещь предварительная, вещь, которую можно исчерпать. И стоит только писателю «возжаждать вещей последних», как литература (своя, личная) начнет разрываться, таять, испепеляться, истончаться и превратится в ничто. Еще: ее может убить ирония. Но вернее всего убьет ее ощущение

никчемности. Будто снимаешь листик за листиком: это не важно и то не важно (или нелепо — в случае иронии), это — пустяки и то — всего *лишь* мишура, листик за листиком, безжалостно, в предчувствии самого верного, самого нужного, а его нет. *Одни* только листья, *будто* кочан капусты. Стоит только пожелать простоты, — простота *разъест* душу серной кислотой, капля за каплей. Простота есть понятие отрицательное, глубоко-мефистофелевское и по-мефистофельски неотразимое. Как не хотеть простоты и как достичь ее, не уничтожившись в *тот же момент*! Все не просто. Простота *же* есть ноль, небытие. «Я — воображаемый, — еще могу написать то, что все вы пишете, но уже я не хочу этого писать. И пусть не *говорят* мне о бессилии: *отказываюсь* умышленно, *намеренно*; сознательно *выбираю* молчание».

Есть еще объяснение, более наглядное. Литература принуждена выбирать случайную тему и случайные образы, *живого* человека из миллионов, не схему, а личность. Если же я случайного (т. е. игры) избегаю, то литература гибнет. Представьте себе *окружность* с радиусами. Литература — на концах радиусов, где поле *обширное и* необозримое, где тысячи случаев, тем, настроений, тонов, ритмов, сюжетов. Удача выбора, оправданность его во всей этой сложности и есть свойство таланта, и чем безграничнее материал выбора, т. е. чем дальше скольжение по радиусам — тем больше радости в творчестве, свободы в игре. Но *бывает желание в душе человека*: спуститься к центру («Не хочу пустяков — хочу единственно-нужного»). И мало-помалу поле суживается, радиусы стягиваются, выбор уменьшается,

все удаленное от центра кажется *в переносном смысле* поверхностным, все одно за другим отбрасывается. Человек ищет «настоящих слов», *простоты и правды*, ненавидя *всякие* обольщения и отказываясь неумолимо-логическими в своей последовательности отказами. Наконец он у центра. Но центр есть точка, т. е. отрицание пространства, и в нем можно только задохнуться, умолкнуть. Настоящих слов в языке нет, а передумывать поздно, да и невозможно.

В Пушкине *и Толстом многое* становится понятным *так. Пушкинский «конец» яснее, и отчетливее замкнут он в области литературы.* Пушкин *иссякал* в тридцатых годах, и не только Бенкендорф с Натальей Николаевной тут повинны. Пушкина точил червь простоты. Не талант его *ослабел*, — нет. Но, по-видимому, не хотелось ему того, чем этот талант *удовлетворялся* раньше, мутило от неги и звуков сладких, претил блеск. Что было бы дальше, если бы Пушкин жил, — кто знает? — но пути его не видно, пути его нет *(в противоположность Лермонтову). «Полтава» еще струится, играет, «блистает всеми красками». Но в «Медном всаднике» нет уже внутренней уверенности. Рука опытнее, чем когда бы то ни было, но ум и душа сомневаются, и все чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть отдает будущим Брюсовым. А* в последних стихах нет даже и попытки что-либо от себя и других скрыть. Оставалась проза. Но кто с таким даром уже соскользнул с одной ступеньки на *другую*, докатился бы и до конца: это — к великой чести Пушкина, как и всех, кому хоть вдалеке мерещится «непоправимо белая страница», после *которой* еще можно жить, но уже нельзя писать.

КОММЕНТАРИИ <III>

21.

Крах идеи художественного совершенства отразился отчетливее всего на нашем отношении к Пушкину.

Конечно, Пушкин совершенен, более совершенен, во всяком случае, чем другие русские писатели. Но, утверждая это, мы имеем в виду не столько богатство, разнообразие, силу или гармоническую стройность его внутренней, умственно-душевной одаренности, сколько литературную его удачу. Прежде всего, это удача стиля, и, читая, например, Толстого после «Путешествия в Арзрум» или поздние, в каждой строчке как бы излучающие какой-то добрый и теплый свет стихи Тютчева (не говоря уже о Некрасове, о Блоке) после «Безумных лет...», — острее всего ощущаешь потерю стиля (т. е. отсутствие единого стержня в речи). Но Толстой не слабее Пушкина, и если бы взглянуть изнутри, думается, и не менее «совершенен». Огня в нем не меньше. Один раз, в «Смерти Ивана Ильича», и он приблизился к полноте литературной удачи, достигнутой притом не отбором и отказом от неподходящих, засоряющих элементов, а включением их всех и мощным, тираническим их оживлением. Собственно говоря, уже с этого момента пушкинский «предел» перестал

быть пределом. Но много позже случилось, что литературная непогрешимость, словесное совершенство были как бы «развенчаны». Что в них, на что они? Пожалуй, тут некоторую роль сыграл вечный толстовский вопрос, ко всему применимый, все разъедающий: ну, а дальше что? Вот мы читаем «Безумных лет...» — нечто вполне законченное, закругленное, скорей «вещь», чем «мир». А дальше что? Именно то, что раньше пленяло, теперь стало смущать, ибо этот «дивный состав» все-таки чем-то подкрашен, чтобы даже на цвет быть таким приятным, чем-то все-таки подслащен, чтобы убит в нем был горький, извечный привкус творчества... Нет выхода для «дальше», это не оборванная линия, а круг, все само в себя возвращается, все само себе отвечает.

«Мир скучает о музыке». Ее мало в мире. Но если уж она слышится, то пусть звучит полностью, без отбора, хотя бы и «божественного». Оставьте, хочется сказать. Иллюзии «искусства» рассеялись. Прекрасная вещь — мера, но не всем все-таки стоит ради нее жертвовать.

22.

«Грациозный гений Пушкина...» Не помню, кто написал это много лет тому назад. Но вот совсем недавно Бердяев (которому часто случается «падать с луны») повторил то же самое. Наверное, многие улыбнулись, читая. Бердяев написал даже не «грациозный», а «чарующий», но passons, постараемся сдержать улыбку. Тем более что это правда.

Как ни странно, это правда. Пушкин действительно явление грациозное, чарующее, последний

из «чарующих», удержавшийся на той черте, за которой очаровывать было уже невозможно... Это — во всех планах, и прежде всего в плане историческом. Пушкину удалось еще спасти «грацию» от уже закрадывавшейся в нее глупости. И ничего нет более противопушкинского, чем утверждения, что «он все знал, все понимал», но нашел будто бы для всех противоречий какую-то волшебную гармонию. Во-первых — это голословно. Откуда вы знаете, что он все знал? Нет никакого свидетельства, никакого следа в том, что он оставил. Во-вторых — это искажает и портит Пушкина, низводя его до уровня тех, которые что-то «знают», но, однако, не очень много, что-то «понимают», но не совсем. В плоскости «знающих», средь детей ничтожных мира, Пушкин нисколько не замечателен, и если «мировые бездны» у Пушкина имеются, то, признаемся, это бездны довольно скромные. Но в том-то и все дело, что «бездн» у Пушкина нет и в помине, что старое, естественное, наивное его понимание вернее гершензоновской ахинеи. Конечно, нельзя, как в учебнике Незеленова, писать «чарующий гений», но надо иначе сказать то же самое, чтобы вновь очарование заняло место мудрости, чтобы вновь хрупкость и зябкость Пушкина, его отступление перед будущим, его безнадежное стремление удержать игрушечно-стройную Россию, которая уже по всем швам расползалась, и отказ принять расползание, хотя бы оно и было неизбежно (здесь стиль, как маленькое зеркало), — чтобы все это выступило вперед по сравнению с «провидцем», с «учителем», с «пророком». Да и на чем он сам стоит, наш «основоположник»? Откуда он взялся? Из ничего, из темной ночи, из

екатерининского тусклого рассвета, из державинского мощного варварства, вдруг, каким-то чудом это неслыханное, утонченнейшее совершенство, и опять, сразу вслед за ним сумерки, мощь, варварство, Гоголь, Достоевский, Толстой... Россия в это время помалкивала да с удивлением посматривала, как эти двести лет, с их очевиднейшим началом и концом, с головокружительной быстротой процесса рождения, развития и смерти, принимаются за всю ее историю, и как это «чудо», непонятно-скороспелое, подозрительное, вероятно, с гнильцой в корнях, — ибо без этого слишком уж непонятное, — на веки веков канонизируется ее главной, единственной, важнейшей вершиной.

Два слова о «гнильце». Вспомните письма Пушкина, пронзительно-грустные, которые так любил Анненский, чувствуя в них, вероятно, «свое». «Женка, женка, ангел мой...» В них Пушкин не притворяется, позы не принимает, он лишь отшучивается, отсмеивается, не оглядываясь, пятится назад, нехотя балагурит, как будто зная, что все равно все пойдет к черту: Россия, любовь, стихи, все.

23 (V).

За что вы любите Толстого?

Вопрос был *предложен* мне с оттенком недоверия в голосе. Ответив уклончиво, я задумался. За что? Узко-эстетически, в плоскости «нравится», мне *далеко* не все у Толстого нравится. Язык? Да, конечно, язык у него несравненный, но нельзя же любить Толстого за язык, это ведь не Лесков. Ощущение жизни? Да, — но оно мне чуждо (при всем

желании не говорить о себе, этого не избежать, когда хочешь хоть что-нибудь сказать не совсем общее; убрать себя со своей дороги *трудно*; здесь «я» не цель, а средство, не объект, а «призма»; это приходится объяснять «во избежание досадных недоразумений», устраивать которые всегда находятся добровольцы-любители). Многое другое *вспоминал* я и, признавая «да, и это», все же чувствовал, что главное обхожу.

Помогла случайность, мелочь. Конечно, это не было открытие, просто я *снова* понял то, что знал и раньше. Попался мне на глаза *в тот же вечер* номер «России и славянства», юбилейный, ко дню «русской культуры». Чудовищный номер по количеству торжествующе-самодовольной фальши, густо залившей его юбилейные страницы! О бальмонтовском «Слове о полку Игореве» не стоит говорить, да этот нелепый «перевод» и не относится к делу. Но рядом, со всех сторон, особенно на первой странице: русская культура, русская государственность, заветы Петра, традиции Сперанского, наша миссия в эмиграции, наш долг перед родиной, Пушкин, Достоевский и Суворов, даже Суворов... И ни разу, нигде *нет* имени Толстого! Как это хорошо! Как хорошо, что его имя невозможно в этом ряду! Как хорошо, что нельзя устроить ко дню русской культуры *заседание* в Трокадеро, посвященное Толстому, — а если устроить, то получится или такая ложь, или такой конфуз, что горько придется устроителям раскаиваться. А ведь Толстой это все-таки Россия, только не такая, как ее представляет себе *Струве*. Что говорить, и Пушкин в действительности не тот, *как* у Струве, и Достоевский не тот, но они беспрепятственно поддаются стилизации, они безропотно

участвуют в маскараде, *они* даже соседству с Суворовым не очень удивляются. А в Толстом правдивость так сильна, что его не сломаешь. Он и после смерти «не может молчать», и поэтому на юбилейном *празднестве*, с демонстрированием наших национальных слав лучше и благоразумнее сделать вид, что его в России никогда и не было.

Повторяю, это мелочь. Ну что такое какая-то парижская газетка, что такое «день русской культуры» с речью профессора Кульмана и хористками в кокошниках? Но Толстой всюду таков, в малом и в великом.

Надо бы нам условиться, что без него русской культуры не будет, — хотя и совсем неясно еще, как его в какую бы то ни было культуру включить. Но лучше хоть что-нибудь с ним — и без бутафории, *разумеется*, — чем любое благоустройство, его будто бы «преодолевшее» и успокоившееся на Суворове. *Здесь сразу, если продолжить мысль, возникает другой вопрос, глубже и больше — о Христе, который до сих пор противостоит всей культуре «огромной и тревожной тенью».*

(*Струве, совсем как Ленин, рассчитывает, по-видимому, что «глупость спасет мир». Едва ли! И нельзя же Россию «подмораживать» без конца. Если она и не сгниет, то окоченеет.*)

24 (VI).

В судьбе и деятельности Толстого одно обстоятельство смущает.

Им владела навязчивая идея, будто в каждом человеческом поступке, в каждом слове есть доля лицемерия. Он вскрывал это лицемерие с неутоми-

мой настойчивостью, доходя *иногда* до ясновидения и *находя* ложь там, где ее никто никогда не замечал. В сущности, это *«совлечение покровов» есть* его главный художественный прием, тот, которому он больше всего остального обязан репутацией «сердцеведа». Он и *вправду* знал людей, как никто. Но не случалось ли ему твердить будто по инерции «ложь, фальшь, притворство!», когда никакой лжи не оставалось *больше*? Ему верили потому, что он обладал неотразимой, гипнотической убедительностью. Но это *уже был бред*, маниакальная подозрительность, *а не* зоркость.

В лицемерии он *заподозрил* и Бога, *только церковного конечно*. Он отверг обрядность, ибо «зачем это Богу нужно?». Неужели если есть Бог, если Бог это Бог, Ему требуются какие-то ухищрения, штучки, фокусы и нельзя к Нему обращаться *открыто*, просто, как бы «с глазу на глаз», без проводников и посредников? Цепь необходима в спиритизме, для вызова духов, но неужели нужна она и Богу? Затем, неужели Богу не противны славословия, воскурения фимиама? Ведь вот даже ему, человеку, Толстому, это противно, и, лишь по слабости своей иногда этим наслаждаясь, он знает и чувствует, что наслаждаться нечем. Зачем вообще Богу вера в Него? Богу должны быть нужны только дела... Религия Толстого вся вышла из этого ощущения, *протестантского в основе* и при всей своей прямолинейности чрезвычайно значительного, чрезвычайно «серьезного». Есть вообще в облике Толстого, — как в позднем протестантстве, — какое-то глубоко человечное, очищающее и честное величие... Но, требуя от Бога прямоты, *Толстой*

уничтожил Его. Веры у Толстого нет. Есть только вопрос, «порыв» — без ответа. Ищущим Бога он не дает ничего.

Так путь к правде оказался путем к небытию... Не ошибся ли Толстой в расчете? Не бросил ли он вызов вместе с «цивилизацией» и всему мировому строю, в котором доля условности допущена? Может быть, Богу нужны *«штучки»* ? Может быть, *Бог, вообще-то мало во что вмешиваясь, склонен все же скорей поддержать «общественное мнение», нежели тех, которые требуют невозможного*? Толстой с этим никогда бы не согласился, но как знать, не остается ли он — *и с ним вместе далекий его Учитель* — в ужасном и безысходном одиночестве?

25.

Из писем А.

«Сен-Санс рассказывает в своих воспоминаниях, как в девяностых годах к нему приехала какая-то дама, американка... Разговор шел о музыке. Сен-Санс посмеивался над вагнеристами, над их крайностями. Для иллюстрации какой-то своей мысли он подошел к роялю и взял два аккорда, два простых трезвучья, минорное и мажорное, те, с которыми просыпается на скале Брюнгильда. "Здравствуй, солнце!"

Дама побледнела и упала в глубокий обморок.

Сен-Санс смеется. Это ведь самые простые аккорды, они у него самого встречаются десятки раз в том же сочетании. Ему нечего возразить... Но где она, эта дама? Жива ли она еще? Слышит ли она еще то, что слышала тогда? Я хотел бы поцеловать ее руку».

«Может быть, литература вовсе не то, что мы с вами думаем. Может быть, правда, нужно “прорабатывать характер”, “искать связи с эпохой”, “очищать стиль”, “идти вперед”? Вообще с пользой работать на словесной ниве, и только. Понимаете ли, мой друг? Без иронии? Работники вправе сердиться, у них отличные доводы, за них надежные союзники. Они вообще во всем правы. Но тогда, будем откровенны, — я плюю на литературу».

«В Москве холодно, хотя по календарю и весна. Послушайте, не мешайте им. Ну, допустим, они провалятся, допустим (хотя, по совести, не думаете же вы, что они провалятся окончательно, во всем?). Ну, а мы — не интеллигенция, а шире, в “мировом масштабе”? Вы все бережете, вам всего жаль. Благодарите Бога за то, что еще все так вышло, могло быть гораздо хуже, и только по какому-то необъяснимому попустительству судьбы не стало хуже. Не мешайте им, я забочусь не о них, а о вас, в особенности же не смейтесь над ними. Тяжкий млат дробит булат, вы брезгливо кривите губы от эстетической вульгарности, а в сущности, как Джиоконда в удивительных примечаниях Флоренского, от того, что раз все погибло, так отчего же не улыбнуться на всякий случай, не пококетничать с роком? Правда? Их богохульства — ничего, Бог не обидится. Не хуже, чем “Иисусе, Иисусе” прежних богаделок. Все ничего, потому что в верном направлении. Простите, это плоско, но не морщитесь, я пишу против себя самого, в редкую, редчайшую минуту зрячести самоустранения».

«Не надо говорить о смерти. Это заразительная, мелко-заразительная тема, она соблазняет в людях их слабость, она им по вкусу, как что-то сладкова-

тое и снотворное... Начинается "умирание скопом", не опасное, но довольно-таки мерзкое, в качестве зрелища. Вы думали, они ужаснутся, а они восхитились: "Ах, как мило, ах, как увлекательно"».

«Конечно, стихи лучше печатать без картинок на обложке. Но мне все-таки хотелось бы одну обложку нарисовать.

Надо, чтобы сверху было много белого места, пустого, как небо. А внизу, неясно, как после землетрясения, но не совсем так, чуть-чуть иначе, страннее, одно на другом, огромная расползающаяся груда — камни, деревья, какая-нибудь невозможно-прекрасная южная пальма, дома, мосты, высокий гнутый электрический фонарь, как ночью, подъезжая к большой станции, книги, куклы, руки, чье-нибудь спокойное и мертвое лицо... и вдали, опустив голову, стоит человек и на все это смотрит.

Нарисовать бы я не мог, впрочем. Вышло бы, вероятно, глупо и безвкусно. Я вижу внутренне, но не вижу внешне».

«Не выношу Владимира Соловьева. Не выношу скорбно-шарлатанской наружности его, "с выражением на лице", при взгляде на которое совестно становится за Соловьева, за эту смесь библейского апостола с фокусником; убрал бы я ему эту прядь со лба, подрезал бы одухотворенную бороду, спрыснул бы одеколоном, вот бы и посмотрели вы тогда на вашего всемирного пророка. Не выношу его гладких и возвышенных рассуждений, не выношу его холодно-трупных стихов, несмотря на Вячеслава Иванова — "за то, что оба Соловьевым таинственно мы крещены" — и безгрешного Блока... Послушайте, ведь можно в стихах о чем угодно болтать, можно

каких угодно туда бездн и мраков набить, но это еще не значит, что стихи об этом! Здесь не “как” и “что”, а полное слияние. Ведь так пишутся трактаты о садоводстве, а потом совершенно так же о машиностроении, и действительно, это вот о садоводстве, а это о машиностроении. Но стихи, литература другое дело, и поминай он Мадонну сколько хочет, он говорит только о каких-то поверхностных мелочах! И этот-то элегантный безумец осмелился еще третировать Некрасова, свысока, “обманул глупцов”, “расчетливый обман”, “шумящий балаган”, подумаешь! Некрасов, правда, ничего не понимал, кроме народушка и картишек (кстати, Кони как-то на самой старости лет в “Доме литераторов” рассказывал, озираясь пугливо по сторонам, чтобы не подслушала “история”, любопытнейшие штучки о Некрасове; и кое-что в другом роде о других, еще знаменитее). Но Некрасов промычал, не находя слов, о великих, действительно мировых трагедиях, как глухонемой, и за сердце хватаешься, читая его, от высоты и ужаса полета, от отсутствия воздуха. В черновике и в проекции Некрасов величайший русский поэт. А этот сочинял свои мистические мадригалы и думал, что это поэзия.

Еще — шуточки. Уж тут и вы согласитесь. Вообще-то шуточки противны, везде и всегда, но соловьевские, когда он с другими своими бородатыми конфрерами переписывается в стихах, и все его пародии, это уж свыше сил. Помните, “Христос никогда не смеялся”?»

26 (VII).

Есть древняя легенда, которую все знают. Но, зная, будто сложили на полочку, где лежат прочие «ценности» — для обозрения *по воскресеньям и праздничным дням*.

Бог не создал мира, не хотел создавать его. Мир «вырвался» к бытию *против* его воли, из его полноты, рискнул пожить за свой страх, на авось, на будь что будет. И вот выясняется, что ровно ничего не «будет». Смерть непобедима, несчастья и страдания неустранимы, их будет все больше и больше на «пути прогресса», потому что пути нет, прогресса нет, и всякое «вперед» есть только дальнейший прыжок в пустоту, без малейшей надежды на что-либо опереться, чего-либо достичь... Конечно, это удивительное сказание с удивительными выводами, которые *из него* сами собой *делаются*, не для всех на «полочке ценностей». Оно многих помучило, но его следовало бы предложить на ежедневное размышление всем людям, *как «пробный камень»* внутреннего опыта, как духовное упражнение. Оно опровергается только изнутри, не умом, а каким-то согласием со всей жизнью, «солидарностью» с ней до тех ее слоев, которые невозможно заподозрить в своеволии. *Но* сомнение остается. А что, если все это обман, иллюзия, — это слияние с природой, эти летние полдни, когда все видимое, окружающее так спокойно и счастливо, и почти одушевленно приглашает *и* человека к покою и счастью, — если все это обман?

Закаты не обманывают, — куда они зовут? Поэзия не обманывает, — о чем она? Откуда она и куда?

Отчего в шестнадцать лет, «на пороге жизни», человеку всегда так безотчетно-тревожно, *и* так по-

нятны ему закаты, так близка ему поэзия, *как* будто именно у порога, «оттуда» его в последний раз призывают оглянуться, возвратиться, одуматься? А потом человек становится инженером или поступает в банк и уж до самой смерти ни на что не оглядывается... И вот в душу закрадывается соблазн, поистине «последний»: не надо ли «погасить мир», т. е. на это работать, потому что всякое подлинное «вперед» *лежит* лишь по направлению назад, а если упорствовать и заниматься «строительством» в любом стиле, в любом вкусе, то никогда ничего, кроме умножения бедствий, не получится. «Могий вместити, *да вместит*». Принципиальные *и* прирожденные оптимисты ничего не подозревают, вперед без страха и сомнения, и точка! Их опыт не имеет никакого значения ни в жизни, ни в искусстве, потому что они просто-напросто не знают, в чем дело, «не подозревают». Если им растолковать, они ответят: «Полноте, батенька, чепуха-с!». (Оттого этот человеческий *стиль* «батенька» и *так далее*, во всех его современнейших *и утонченнейших разноязычных* разновидностях, невыносим до дрожи, до тошноты, как кощунство... И рядом так хороша «задумчивость».) Но тот, кто услышал «голос оттуда» и справился с ним, действительно достоин быть учителем человечества. Если даже все остается гадательным, как в пари Паскаля, лучше наугад решить «да», чем наугад сказать «нет», — а здесь, в этом случае, не только лучше, *но* мужественнее, прекраснее, милосерднее, *труднее*, не знаю, как *сказать* еще...

В сущности, в этом все таинственное обаяние Гете. Другие или *плохо слышали*, или — как русская литература, — не окончательно справились.

27 (VIII).

Кажется, тайна писательства заключается в ощущении веса слова. Не только в составлении фразы, где тяжесть имеет огромное значение и, при *одаренности* пишущего, интонационно приходится там, где требует поддержки смысл. Не только в *умении* согласовать это распределение веса с *видимо*-естественным течением речи.

Но еще и в том, больше всего в том, что слово падает на точно-предчувствуемом (нельзя сказать — отмеренном) расстоянии, не давая ни перелета, ни недолета, описывая ту кривую, которая ему предназначена. Слишком близко — оно безжизненно, слишком далеко — оно пусто, и оттого, пожалуй, настоящие писатели так редко бывают многоречивы, что напрасное разбрасывание слов им претит. Безошибочность же первоначального «толчка», если и не всегда требует вдохновения, есть *все же* результат напряжения всего существа — ума, сердца, воли. «Набить руку» тут нельзя.

Сейчас почти никому не даются стихи. Два-три имени, и конец. Найдется ли и два-три? Если продолжить ту же метафору, похоже, что потеряна из виду линия, на которой слово должно падать. *Она* стерта, затоптана, и ни талант, ни техника не помогают — слова падают то далеко, то близко. «Пишите прозу, господа», — сказал когда-то Брюсов. «Пишите прозу, господа», — говорит сейчас поэтам само время. Дайте стихам «отдохнуть», как дают отдохнуть земле.

КОММЕНТАРИИ <IV>

28.

Проблема критики. О критике много говорят. Научная, импрессионистическая, формальная, какой метод, какая цель. Все это бывает любопытно. Но пожив, подумав, понаблюдав и нисколько не повторяя Экклезиаста, видишь, что подлинная проблема критики, реальная, на самом деле — совсем другая. Теории рушатся: Буало, Лессинг, Тэн, прах... Учитель гимназии в роговых очках пренебрежительно роняет: «Taine, qui ne comprenait absolument rien...», и он спокоен, ему нельзя сейчас ничего возразить. Критика поумнела, она не боится печально-неизбежного родства с рецензией, не уклоняется от оценки, пристрастной и спорной, не играет больше в научность, не «притворяется». Есть, с одной стороны, писатель, человек, сочинитель, быть может, не Бог весть какой, но для которого его писания — все, вся жизнь. Он обливается слезами над вымыслом. Он не знает, что написал, он знает только то, что хотел написать. Он спасается в литературу от небытия, он ощущает осуждение, и даже не полное одобрение, как стремление его в это небытие столкнуть, — будто с мчащегося поезда. На другой стороне — читатели, — пятьдесят тысяч человек, скажем. Для них, конечно, приятнее и полез-

нее, чтобы им не втирали очки и не старались их уверить, что плохое — хорошо, бездарное — талантливо. Но пользы и приятности каждому в отдельности из них достается мало. Им, в сущности, почти безразлично, что говорит критика.

И вот возникает вопрос: что же, нужно говорить правду, думая о пятидесяти тысячах мелких мимолетных удовольствий, которые на противоположной стороне складываются в тяжелый удар, настолько иногда тяжелый, что читатели о длительной его «горестности» и понятия не имеют; или не говорить, не договаривать правды, ценой пятидесяти тысяч обманчиков, раздраженьиц и недоуменьиц покупая одно удовлетворение — пусть даже одно спокойствие. Кто решит? Рокфеллер до сих пор думает, что лучше: раздать по доллару полмиллиону человек или осчастливить одного только человека, но зато осчастливить вполне. И Пушкин сказал, — отвечая на вопрос, зачем хвалит он Дельвига, кажется: «литература исчезнет, дружба останется».

В плоскости литературной вопроса нет: надо говорить правду. Но в литературу врывается жизнь со своими убедительными, страстными и серьезными доводами, — и, пожалуй, жизнь одерживает верх.

Все-таки надо было бы когда-нибудь — для литературы — написать статью, начав ее приблизительно так: «Ну, поговорим откровенно... такой-то, такой-то, такой-то». Кстати, выяснилось бы, пожалуй, что много есть у нас и действительно хорошего, не различимого теперь в устоявшемся, однотонном тумане устоявшихся, однотонных похвал.

29.

Попытка доказательства бессмертия души. Человек сидит, смотрит в потолок, бездельничает, думает. Вот я пишу сейчас эти слова. Кто-то их будет потом читать. Если в миллиарды миллиардов веков мое сознание обречено жить только срок человеческой жизни — т. е. мгновение, — то какое же вероятие, что вот сейчас, как раз сейчас, настал черед этой неизмеримо малой доли неизмеримо огромного времени, — как будто угадана цифра из бесконечного ряда их? Для меня, пишущего, для вас, это читающего. Не естественно ли предположить, что если я себя сознаю сейчас, то я не мог не быть всегда прежде и не могу не быть всегда впоследствии, ибо — еще раз, — как же допустить, что в промежутке между вечностью за мной и вечностью передо мной именно сейчас длится-мелькает мгновение моего существования? Не cogito ergo sum, а ergo был и буду всегда. Нельзя найти песчинку в Сахаре, не перебрав всего ее песка. Это иногда поражает, как ясновидение.

30.

«Обратите внимание, евреи в оркестрах всегда играют на скрипке или на виолончели... Что им тромбоны, например? Им надо, чтобы скрипка пела, изнывала, изнемогала, им выплакаться хочется».

Эти слова я слышал от одного знаменитого музыканта, редко-умного человека. Потом, вспомнив по какому-то поводу о рожке пастуха над умирающим Тристаном, он искренно и просто сказал:

— Нет, я теперь слушать это больше не могу.

Его вкус, его взгляды были мне давно известны. Они не могли меня удивить. Но удивило их спокойно-стойкое, какое-то «непоколебимое», не подлежащее пересмотру подтверждение. Помимо музыки, — о которой кто же решится с ним спорить, — в чем дело? И почему содрогается он, рассказывая о евреях с плачущей скрипкой в руке? Подумав, я вспомнил: он верит в Бога, он не сомневается ни в чем, — в сущности, он даже не верит, — не то слово, — он знает, что Бог есть, что церковь во всем права, это тоже для него «не подлежит пересмотру»... И сразу все стало ясно. Ну конечно, о чем же тогда плакать, и не кощунственно <ли> в безнадежности своей звучит тристановский рожок, если главное известно — и решено положительно, — если отпадает единственная и вечная причина всей человеческой тоски, и в будущем не тьма, а одни только желаннейшие соединения, слияния, одна только полнота. Не от теперешних же, не от здешних несчастий плачет человек, не от какой-нибудь житейской неудачи изнывает скрипка в руках бывшего гомельского аптекаря, а бессознательно от тамошней неизвестности, от предчувствия лопуха на могиле, от «стенки смерти», которую ничем не пробить. «И в ночь идет, и плачет уходя». О непробиваемой ничем, никак, никогда, стенке вспоминает тристановский рожок, обещая и обманывая, утешая и безжалостно рассеивая иллюзии... И конечно, для счастливых «божьих детей» это звуки ненужные, чуждые, греховные.

У них иной строй, иной тон, — иной мир даже. Только как же решаются они со своей недоступной, надменной высоты осуждать бедных гомельских и

житомирских скрипачей, и всех вообще, обойденных, не виновных в своей отверженности, в неумении верить и знать? Плачущие скрипки по-своему это неумение искупают.

31.

Когда человек слышит: «а есть а», он почти всегда, невольно, не отдавая себе отчета, хочет сказать: «Нет, а есть б...». Так возникают разговоры, и, думается, «дух противоречия» есть одно из неискоренимых человеческих свойств.

Дело, по-видимому, в том, что «а» никогда не бывает вполне «а», что во всяком нашем отвлеченном суждении есть приблизительность, есть — по Тютчеву — ложь. Слыша и чувствуя это, человек стремится исправить ошибку и, сам того не видя, делает ошибку еще большую. Но согласиться с предложенным суждением он действительно почти никогда не может.

32.

Ницшевское замечание о «писании кровью» — как оно ни опошлено, — сохраняет все-таки всю свою глубину и всю силу.

Даже больше, — это непреложный закон всякого творчества; и если Владимир Соловьев со всем своим умом и талантом так померк для нас теперь, то именно поэтому: нет крови, одни только чернила. Нельзя за это упрекать, но нельзя этого и исправить. Ум ведь неотделим в подлинно живом существе от сердца или воли, и совершенно так же в

подлинном живом литературном творчестве мысль связывается с интонацией и внутренним ходом каждой фразы: «Книга написана прекрасным, образным (или еще лучше: “сочным”) языком» — есть великий абсурд, если речь идет о настоящей литературе. И когда привыкнешь читать писанное кровью — Толстого, Розанова или Блока — то становится невозможно чтение «просто статьи», «просто стихов», как бы они блестящи ни были. Ничему в них не веришь. Написано чернилами — обращено только к рассудку: все остальное в человеке недоумевает.

Много хуже, впрочем, писания «под кровь», бесчестные и бесстыдные подделки.

КОММЕНТАРИИ <V>

33.

История литературы — летопись легкомыслия и непостоянства. Нет, кажется, ни одного течения, ни одной теории, которая через двадцать пять — тридцать лет не показалась бы вздорной и плоской.

Сейчас новые беллетристы пишут большей частью «под Пруста»; стараются, по крайней мере... Крайне вероятно, что через двадцать пять лет будут ужасаться тому, что нам сейчас нравится. Опять будут восстановлены в правах вещи и внешний мир. Опять будет считаться признаком изящного тона — писать короткими фразами. Найдены будут умные, язвительные, временно-неотразимые доводы против психологизма. Одним словом, мы останемся в дураках... Не через двадцать пять лет, так через пятьдесят, не в том виде произойдет переворот, так в другом. Но произойдет наверное.

Единственный вывод из всего этого: надо слушать голос книги, то, что за словами, после слов и что переоценке не подлежит. Не имеет никакого значения, каковы приемы автора. Конечно, писатель, делающий подлинно творческое усилие, почти всегда бывает и формально нов, т. е. бывает в согласии с временем: это дважды два четыре, не стоит объяснять... Но все-таки важно только то, что остается в памяти,

когда остов книги забыт, когда тускнеет фабула и облик героев: если не остается ничего, значит, ничего в книге и не было, как бы «блестяща» она ни казалась. Все можно подделать, кроме этого arrière-goût, безошибочно определяющего ценность творчества, отражающего то, без чего литература есть всего лишь праздная пошлость (Метерлинк в ранней молодости очень верно сказал: «развлечение для дикарей»).

34.

Толстой, в «Анне Карениной».

Анна, перед самоубийством, едет в коляске по московским улицам, и растерянно-сомнамбулически смотрит по сторонам. «Тютькин куафер. Je me fais coiffer par Тютькин». Этот Тютькин в свое время многих поразил.

Но теперь он поражает по-другому: зачем это понадобилось Толстому, в конце великого и грозного его романа, когда в последний раз склоняется он над своей жертвой, когда тема отмщения звучит как какой-то средневековый орга́н, на этих предельных для человеческого искусства страницах, — зачем понадобился ему этот верный, и пусть даже в свое время смелый, но все-таки дешевый, непрочный эффект. Ну да, конечно: подмечено и найдено безошибочно. Но с тех пор ведь все научились так подмечать, и неужели Толстой не должен был пренебречь тем, что всякому стало так легко доступно? Для чего это щегольство деталями, — раз уже и без них все беспощадно ясно, и никакой Тютькин к сути дела ничего добавить не может, а, наоборот, только рассеивает внимание.

10 Зак. 3049

Когда-то я об этом говорил Бунину. Он сразу, с живостью согласился: «Да, да, конечно» — и переменил разговор, будто не желая разглядывать пятен на солнце.

Нас во многом упрекнет будущее. Но кое-что мы все-таки нашли такое, от чего не откажемся никогда, как никогда никто нас не убедит, что не были мы правы: сознание тщеты и суетности всего, что не окончательно неустранимо в литературе, желание покончить раз навсегда со всеми маленькими «красотами», которые заслоняют главную, единственную красоту, недоверие к образной яркости, к образам вообще. «Я лютеран люблю богослуженье». Говорят, лютеранство убило религию, может быть, это убивает литературу, ограничивает ее область, во всяком случае, — и чем дальше вдумываешься, тем круг все теснее. Но все-таки «я лютеран люблю богослуженье», чистую, позднюю, трагическую простоту его.

35 (XI).

Как можно не видеть, что христианство уходит из мира!

Доказательств нет. Но ведь не все же надо доказывать. Достаточно вглядеться повнимательнее: позднее утро сейчас, солнце взошло уже высоко, — и все слишком ясно для общих восторгов, испугов и надежд. «Тайна» осталась на самых низах культуры, иногда на самых верхах, но в воздухе ее нет, и нельзя уже *миру ее навязать*... Будет трезвый, грустный *и умный* день.

Мережковский кричит: «Кем же надо быть, чтобы оставить Его в эти дни!». Увы, увы, это лишь по-

лемический прием, один из тех, без которых в таких делах лучше *было* бы обойтись. Ответ несомненен: кем надо быть? — подлецом. Возражающий посрамлен — и умолкает. Но дело не в оставлении «Его», не в личном предательстве, о нет: можно быть верным, не надо быть слепым, можно ужаснуться грядущей пустоте в душах, бессмысленно все-таки ее отрицать... И честнее, мужественнее подумать: чем же пустоту заполнить? «Что делать нам и как помочь?» Мережковский брезгливо упирается, опасливо прячет голову в подушку, как ни в чем не бывало сочиняет новые догматы: старых ему, очевидно, мало... От уверенности, что обладает истиной, он-то, может быть, и предает ее: в темных углах, по *забытым* душевным убежищам еще прячется она, отступая, бросая все за собой, и не до догматов ей! Страшно сейчас христианину в мире, страшнее, чем было на аренах со львами, — тогда все рвалось вперед, а сейчас впереди ничего. «Осанна сыну Давидову»: последние пальмы, последние слабеющие руки тянутся вслед Ему, и уж какие тут догматические увещания и споры, будто на вселенских соборах, если исчезает дух, тема, образ.

«Мы свой, мы новый мир построим». Лично — отказываюсь (не о себе; «я» предполагаемое). Остаюсь на той стороне. Но не могу не сознавать, что остаюсь в пустоте, и тем, другим, ни в чем не хочу мешать. Хочу только помочь... Удивительно, что Мережковский не захотел понять «потустороннего» риска христианства и, пристыдив *воображаемого* собеседника-подлеца насчет «оставления Его», не заметил, что даже и в религиозном плане, с допущением проникновения во всякую мистику и мета-

физику, ставка христианства может быть проиграна. Ибо в конечном счете «подлец» говорит: «Не люди, — Бог против Него; не может быть, чтобы сотворивший мир хотел испепелить его, не может быть, что этот вызов всему всемирному здоровью или *благоразумию* был в согласии со всемирной жизненной волей...» И так далее. И тут же *страшные* евангельские цитаты: блаженны нищие, — отчего именно нищие? блаженны плачущие, — отчего только плачущие? Отчего *неудачники блаженны вообще*? И непонятный, навсегда непонятный рассказ о блудном сыне, окончательно, если вдуматься, взрывающий все «вверх дном»! И богатый юноша, который не *напрасно* же «отошел с печалью». И, наконец, последнее: «Кто не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни, тот не может быть Моим учеником»! *«Ужасное»* одиночество Христа *тогда* и обнаруживается вполне. Не *только, кажется,* люди оставляют Его: *природа мира отказывается* подчиниться Ему. Последний, предсмертный *крик* на кресте: «Боже мой, Боже мой...» еще не *потерял* значения, и уж если быть Ему верным, то *«il ne faut pas dormir pendant ce temps-là»*, как дрожащей от волнения и любви рукой писал Паскаль. Надо согласиться на все: даже и умереть с Умершим.

Еще гораздо страннее (если бы не была так давно знакома) — добродетельная новоградско-утвержденская модернистическая кашка из приторного нестеровского православия и социалистических «достижений», вся эта вообще революция на лампадном масле. Доказать и тут ничего нельзя. Но вся фальшь, которая есть в Достоевском, — в

«Дневнике писателя» больше всего, хотя и в письмах, и даже в «Карамазовых», — и во всей этой государственно-православной литературной линии, с отклонениями то к Соловьеву, то к Леонтьеву, здесь сгущена до нестерпимой отчетливости. Народ наш — Богом отмечен, ризой пречистой одет, царя и церковь святую чтит, однако, «ружей бы нам побольше» (увы, Достоевский). Главное: они хотят «строить», реально, во времени и истории, на земле, — и не чувствуют неумолимого «или — или», разделяющего христианство и будущее. Если иногда и чувствуют, то конфеток новейшего производства у них припасено достаточно, чтобы внезапную эту горечь заглушить.

36 (XIa).

Не опровергнуто христианство, конечно. Но «*испустило* дух», *выдохлось*, изошло за два тысячелетия всеми своими силами и всей страстью. Сейчас мы смотрим вслед ему — смотрим и не можем оторвать глаз. «О, свет вечерний»! Единственный свет, никогда не было такого, надо бы на колени стать, провожая его.

Но слепота ничему не поможет. *Уже* и подумать нелепо, чтобы можно было опять вдохнуть его в кровь человечества и поднять, например, какие-нибудь новые крестовые походы. Кровь по-другому кипит теперь, о другом кипит. Сейчас люди это лишь до-любливают, до-верывают, до-думывают, и если в некоторых душах христианство действительно будет (или должно бы) жить вечно, то лишь в разбитых и растерянных душах, таких, которых жизнь хорошень-

ко *потреплет перед тем*... В выбывших из строя, *одним* словом. Тогда они вспомнят: «Блаженны нищие» — и поймут. Удивительна в Евангелии именно эта победа над безнадежностью: нет положения, из которого не было бы выхода, по Христу, нет «дна» вообще. В этом смысле — нет смерти.

Кстати, у Мережковского приведено незаписанное, отвергнутое церковью изречение, — в дополнение к тому, известному, что «если двое соберутся во имя мое...»:

— Где и один человек, Я с ним.

Будто торопливая, запоздалая поправка, в *предельно*-ясновидящем и милосердном понимании того, что иногда нужно человеку... Церковь должна была *ее* отвергнуть. Но все очарование христианства в этих словах. Нечего больше сказать.

37 (XII).

Веяние подлинности. Наука ничего о Христе не знает. «*Il est insaisissable*», — заметил недавно осторожный Рейнак.

Но избыток осторожности умерщвляет самую возможность знания... Случается, *что*, перечитывая Евангелие, останавливаешься и, пораженный, *чувствуешь*: этого не могло не быть. Есть *изредка*, *кое-где*, у всех евангелистов такие «проблески», в особенности у Марка. Читаешь в сотый раз, почти ничего уже не видя, — и вдруг каждое слово становится по-новому ясно.

Рассказ о Крестной смерти.

— В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, элои, ламма савахфани?», что значит

«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?». Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот, Илию зовет». То же повторено у Матфея.

Невероятно! Как мог я столько лет читать и знать это, ничего не замечая. Ведь если этого не было на самом деле, в простейшей и реальнейшей действительности, то кому же надо было сочинять эту подробность относительно «некоторых», может быть, тугих на ухо, которые не расслышали и сказали: «Вот зовет Илию». Можно ли у простодушного Марка предположить такой профессиональный писательский опыт *и эстетическую изощренность*, чтобы выдумать этот «штрих», ни для чего абсолютно не нужный, кроме как для беллетристической живости, которую он не мог же ценить! Ведь *это* впору умелому теперешнему бытовику — *так сочинять*, Тригорину какому-нибудь... Значит — было. Марк не заботится о картинности. Марк *только* записал то, что знал: эпизод, почти анекдот, не имеющий никакого значения, — как собирал и другое. Значит, было все: по одному слову убеждаешься в целом.

38 (XIII).

Он говорил с людьми решительно обо всем. Но он ни разу не сказал им, что надо быть честными... Нагорная проповедь, заповеди, блаженства. Представьте себе: «Блаженны честные». Невозможно! *Сразу* будто барабан какой-то вторгается в райские скрипки: все *тут же* меркнет, все проваливается и умолкает. Невозможно.

Но Рим и здесь одержал победу над ним. От всяческих римских Муциев Фабрициусов, которые вмес-

те с конем и, конечно, в полном вооружении бросались со скалы, если были «обесчещены», идет прямая соединительная нить к какому-нибудь нашему седоусому, грозноокому орлу-полковнику, который, «не моргнув», подсовывает своему набедокурившему сыну револьвер:

— Иди, застрелись. Это твой последний долг.

И потом гордо и страдальчески, с облегченной совестью смотрит «прямо в глаза» обществу, которое почтительно восхищено... Это Рим в чистейшем виде, в самом высоком виде его. От Христа здесь не осталось ничего, и хотя полковник, вероятно, ходит по *праздникам* к обедне и лобызает золотой крест, выносимый его приятелем-батюшкой, все-таки он душой всецело с теми, кого ужаснуло когда-то христианство как *позор и мерзость*. Если бы ему сказали это, он удивился бы, *потому что* привык чтить все установленное веками... Как ему враждовать с *Христом? Жестокий*, длительный, кропотливый реванш Рима произошел негласно, *тут же* «под самым носом» церкви, *при тайном ее согласии, или непонимании того, что делается, или, в редчайших случаях,* под ее беспомощные, грустные вздохи... Надо было вновь укрепить и скрепить расшатавшийся мир, нельзя было *допустить, чтобы* над идеалом общественно-нужным вознесен *был иной* идеал, общественно-неясный и опасный. «Долг выше всего, честь выше всего». Человек нашего времени повторяет это *спокойно и уверенно*; даже если не в силах этим *твердым* принципам следовать, *он в них* не позволяет себе усомниться и в безмятежном неведении своем опять толкает забытого, мнимо-чтимого Учителя на «второе пропятие».

По Христу, все это несущественно. Он не «против» *и не «за»*: ему некогда о таких вещах думать. «Воздадите кесарево...» *Только*, наверное, не выше всего. *Это просто «закон»*.

39 (XIV).

Письма А.

Тема Пушкина не дает мне покоя. Тема «Пушкин», вернее... Тема искусства. Бывает, *что* мне хочется погрозить ему кулаком, «ужо тебе!», как Евгений Петру в «Медном всаднике». А потом *я* принимаюсь читать — и мало-помалу все забываю, «сдаюсь».

Чудный и грешный поэт, «несчастный, как сама Россия», по чьему-то верному — не помню, кто сказал, — слову. Непонятно, когда это успели накурить *перед ним* столько благонамеренного фимиама, что за дымом ничего уже и не видно. К фимиаму большинство и льнет: удобно, спокойно. «Поклонник Пушкина, но человек неглупый...» — эту фразу написал я как-то само собой, не сразу заметив ее парадоксальность.

Иногда представляешь его себе, — схематически, так сказать: страшный оскал негритянских сияющих зубов, не то в усмешке, не то в предсмертном изнеможении, — и безвоздушное, черное-*черное* пространство вокруг, без всяких Богов и утешений. О, как тяжело ему жилось!

40 (XV).

Кто-то вполголоса, *рассеянно* запел в соседней комнате:

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была...

Вот услышал я эти строчки и, простите, друг мой, если сентиментально, едва не заплакал, застигнутый врасплох, не успев вовремя душевно «защититься»... Не могу без слез этого читать и слушать. Есть вообще в последних главах «Онегина» такая *предельно*-пронзительная для меня, улетающая и грустная прелесть, что не могу ее выдержать. «Пушкин, Пушкин, золотой сон мой». Но послушайте, вот, — это слишком хорошо, и поэтому жизнь уже не вмещается в это. Оттого и грусть. Не уверен, что правильно здесь сказать «поэтому»... Но жизнь рвется мимо, мутным, тепло-рвотным, грязно-животворящим потоком, и я все-таки хочу быть с ней, несмотря ни на что, превозмогая иногда отвращение, и знаю, что обратно ее в былую стройную прелесть вогнать *уже* нельзя: уже другие элементы вошли в игру, уже явственно звучит другая музыка, и я хочу быть с ней! Поймите, мне иногда мечтается новый «Онегин». Для разума моего он еще невозможен, не могу себе представить его, но сердцем жду: опять все пронизать такой же гармонией, найти всему имя и место, упорядочить данные мира, одно к одному, — и не так, как теперь, реакционно-музейно, жмурясь от одинокого наслаждения, вдыхать аромат *редкого*, полуувядшего цветка, а всем своим существом чувствовать влагу, еще идущую от земли.

Отсюда переход. Не удивляйтесь резкости скачка, но я всегда об этом, почти только об этом и думаю. Вернее — сразу думаешь обо всем вместе с поэзией. Ну вот, скажу *прямо*, банальнее банального: «Вперед без страха и сомнения». Или со страхом и сомнением, но все-таки вперед. И не то что «да здравствует Москва», нет, о нет, — но да будет то, что будет, то, что должно быть. Не от пассивно-мечтательного безволия моего говорю это, *но* от морального — насколько оно мне доступно — ощущения времени и бытия... В прошлом было благолепие. Были ли вы когда-нибудь в Версале зимой, в сумерках, бродили ли по пустым аллеям его: это — как «Онегин», потому что здесь жизнь тоже достигла какого-то острия своего, какой-то *окончательно*-завершенной формы, — и исчезла... Но я от благолепия отказываюсь, отрываю от сердца любовь к нему, потому что сколько ни вглядываюсь, не вижу других оснований *для него* — кроме тьмы. Благолепие держалось на тьме: на выбрасывании всяких шестерок и двоек из колоды, на беспощадном, ювелирном выборе и просеивании матерьяла. Защитники *«стиля»*, эстеты истории это хорошо знают, — и если революцию они ненавидят, то не столько за казни и за «грабеж награбленного», сколько за прорыв плотины. Но, друг мой: да будет то, что будет.

...У Константина Леонтьева: «Какое же великое человеческое дело не было замешано на крови!». Отвратительно! — потому, что не просто «констатирование факта», а и скрытая попытка оправдать его, со смакованием даже, как бегают полюбоваться на пожар. Однако достойно все-таки внимания, что эта мысль встречала живейшее со-

чувствие и поддакивание у людей того же склада, которые теперь революцией так возмущены, — пока «неизбежная» во всех великих человеческих делах «кровь» относилась к убийствам с молебнами. Исчезли молебны: совесть сразу стала необычайно чуткой... Кстати, о Леонтьеве. Ум, каких немного в нашей литературе (Чаадаев? Герцен?). Блистательный талант: меня всегда поражало его преклонение перед Соловьевым, который куда же беднее и беднее его. При всем том, ничего не сделал, ничего не оставил после себя, кроме двух-трех удивительных по остроте **эстетического** *суждения критических статей, в частности о Толстом. Кажется, разгадка в глубочайшей исторической «безнравственности» его духа, в предпочтении законченности творчеству. Несерьезно, в конце концов. Увлекательное чтение, любопытнейший психический случай, — но и только.*

41 (XVI).

Когда-то Александр III заметил, что кухаркиных детей не следовало бы пускать в университет.

По всей вероятности, с его стороны это было лишь брезгливое брюзжание: полвека спустя еще видишь всю сцену, хорошо знакомую по общей российской атмосфере; еще слышишь скрип тяжелого высочайшего пера, накладывающего «резолюцию»... Но инстинкт самосохранения сказался здесь в полной мере, заменив *зоркость* ума.

Безошибочный неумолимый расчет: увеличение знания, распространение его в ширину должно было неминуемо привести к «потрясению основ». Не толь-

ко блекнул ореол царского помазанничества, священного уже только для некоторых *искренних* чудаков и для толпы бессовестных публицистов (вспомните «Новое время» в 1917 году), но и вдалеке, за всяческими свободами, вставал призрак социального переворота... Всем все разделить поровну: едва только человек поймет, что он имеет на *этот* дележ право, — а не понять этого он рано или поздно не может, — как будет его требовать и к нему *идти*. Нельзя поровну разделить, так хоть владеть сообща: иначе всем по справедливости разместиться на земле невозможно... Усилия власти, которая этого страшилась, должны были быть направлены к тому, чтобы те, нежелательные, кухаркины дети, подольше ничего не понимали, — и потому-то русская монархия и была давно обречена, что у нее не было силы противостоять общей тяге века *и эпохи* к образованию. Резолюция Александра III вызвала *ведь* везде осуждение, даже у самых «благонамеренных» людей, которые представляли себе «светлое будущее» в таком виде, что повсюду откроются школы, мужички будут по вечерам при электрических лампочках читать газеты и благодарить доброго царя. Монархия сидела на двух стульях — и провалилась. Тысячу доводов найдут вам в ответ, чтобы сбить с толку: не обольщайтесь, это именно так, в грубой простоте своей. Просвещение работает на левизну, неотвратимо.

Вообще свет, идущий от человека, — левый. Божий... ну, это не по моей части, на это есть специалисты, считающие себя главноуполномоченными Бога на земле. Ничего бы я против них не имел, если бы только *поменьше они шулерничали*.

42 (XVII).

О советской России.

Множество недоумений. Много вопросов хотелось бы задать, — но кому? Первое, насчет того, что нам отсюда кажется притворством и бесстыдством: насчет полного исчезновения «фрондирования», заведомого доверия к новым авторитетам и *всяческого вообще удовлетворения в полном* согласии всех со всеми.

Притворщиков и бесстыдников — без конца, не стоит о них говорить. Но нет ли за ними естественного и здорового ощущения, которое сомнительно для нас только по нашей непривычке к нему? Ирония разъедает сознание, как ржавчина: мы заподозриваем все и, конечно, не всегда напрасно. Кроме того, российская история приучила к недовольству, и оно вошло в «плоть и кровь». Нас возмущает не только угодничество перед властью, но и отсутствие предвзято-протестующего начала в отношениях личности к обществу. Признаемся: нас раздражает «товарищество». А какая, должно быть, отрада, какое облегчение: поверить, довериться, протянуть руку; примириться, сказать «давайте жить вместе», прекратить поиски тайных мыслей у других... Не знаю, есть ли это в России. Но, может быть, есть — и хорошо, если бы было.

Затем об огрублении и опрощении, особенно ясном в литературе. *Какой-то немец написал им недавно: «Ваша литература отстала от европейской на пятьдесят лет» — и по-своему был бесспорно прав. Но одна ли только прямая, «столбовая» дорога у людей? Не правильнее ли предположить, что существуют рядом тропинки, никуда не приводящие, и что заблудившиеся в них и возвращающиеся назад,*

хотя бы и на «пятьдесят лет», могут оказаться все-таки впереди тех, которые безмятежно продолжают идти к тупику? Все дело в этом. Не политически, но морально: реакция ли та потеря тонкости и сложности, которая произошла в духовном мире России, — или исцеление? Можно ли жить, т. е. вынести жизнь и идею развития, сохраняя в душе все то, что знает (слышит, как обертона) культурный, «на уровне века» теперешний европейский человек? Не требует ли природа и история какой-то жертвы, — как не раз уже бывало? Или никаких тупиков нет, и надо продолжать, все продолжать, только продолжать, — как молотом в стену, пока в трещину, с противоположной стороны, не блеснет свет?

Наконец, последнее, самое важное. Сталин об этом, вероятно, не думает, не думал и Ленин... хотя, сидя в Кремле, ну, когда-нибудь ночью, после докладов и совещаний, чувствуя все-таки ответственность за все, что было сделано и что будет сделано, неужели мог он ни разу не побеспокоиться, ну ни на одну минуту, ни на одну секунду об этом? Неужели ни разу не спросил он себя: а что же дальше? Отлично, водворится коммунизм, бесклассовое общество, придет полное разрешение социальных проблем. А дальше? В планетарном, так сказать, масштабе? Что будет с человеком, что будет с миром? А если Бог все-таки есть? А если страдание неустранимо, и не стоило, говоря попросту, огород городить? И как говорил Толстой, «после глупой жизни придет глупая смерть», тоже в планетарном масштабе. Была пятилетка. Но есть ли тысячелетка? В смутных, смутнейших чертах существует ли истинный «план», возможен ли он, — или игра ведется вслепую?

Пишу и ловлю себя на мысли: в сущности, какое мне дело? «Смерть и время царят на земле». Умру, ничего не буду знать, значит — *все равно*, пей, *голубчик*, и веселись, пока можно. Но нет, мне не *все равно*, не *буду* же я сам себя обманывать. Вероятно, правда: жизнь одна везде.

43 (XVIII).

Иногда думаешь: неужели это совершенно невозможно? Неужели все это исчезло навсегда, и нельзя никак, никаким способом, в России все вернуть к тому состоянию, о котором многие так горько и, *в сущности*, бескорыстно мечтают?

Чтобы опять зазвенел валдайский колокольчик над тройкой в темном вековом лесу *да* ямщик — ну, конечно, в «красном кушаке» — насвистывал песню. Чтобы мужики в холщовых рубахах кланялись в пояс редким проезжим. Чтоб томились купчихи на перинах в белокаменной Москве, под смутный, *неумолкающий* гул колоколов. Чтобы в сумерках, на глухой станционной платформе шептались гимназистки, под руку, от поезда до поезда, с тургеневскими думами в сердце и тяжелыми косами, — и вдалеке гасла узкая, желтая полоска зари. Чтобы свободно и спокойно текли реки, чтобы утопали в прохладных рощах синеглавые в звездах монастыри и гостеприимные усадьбы. Чтобы воскресла «святая Русь», одним словом, — и настала прежняя тишь да гладь, прежняя сонная благодать.

Надо было бы сжечь почти все книги, консервативные и революционные, все равно, закрыть почти все школы, разрушить все «стройки» и «строи» —

и ждать сто лет, пока не умрет последний, кто видел иное. Надо было бы на *сто* лет прервать всякую связь с зараженным миром, закрыть все границы: это бред, конечно, это невозможно — но я говорю предположительно... После этого, когда улетучится всякое воспоминание об усилиях и борьбе человека, можно было бы, пожалуй, попробовать святороссийскую реставрацию. В глубокой тьме, — как скверное дело.

Блок: «Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Да, верно: «и такой». Блок, как всегда, прав. Но, в сущности, он еще любовался, *и* нам теперь труднее: то, новое, чуждое, *чужое* — будто уже и не Россия. Что же делать! Оставим все-таки мертвых хоронить мертвецов.

44 (XIX).

В оправдание стихов. Конечно, никакого влияния, ни на кого, ни на что. В журналах — балласт, и если редакторы *все-таки* печатают их, то лишь из боязни прослыть некультурными: редакторы в журналах пошли нынче всепонимающие *и* всепрощающие, «Аполлон» победил *все-таки* «Русское богатство», редакторы захлебываются: «Помилуйте, мы приветствуем все красивое», и даже *сами* втайне озабочены, чтобы матерьял солидный, серьезный украсить этакими виньеточками. Полная беззащитность от упреков, которые, *кстати, так* легко и эффектно делать. «В наше время, когда...» — так, пожалуй, люди литературно-грамотные уже не пишут, но внутренне все, *даже в лучших случаях,* остается по-прежнему: мы, умницы, заняты делом, вы, лодыри, дай-

те же нам хоть поэзию, достойную *этого дела*, — и скрытое, инстинктивное злорадство *при этом* от сознания, что требование невыполнимо, *и* что «вы», с вашим непонятным, смутно-тревожным бредом в голове, будете все-таки уличены в дармоедстве.

Но ведь стихи всегда беззащитны. По совести: кому они нужны, — в жизни, *ну для этого* «жизнетворчества», для работы и бодрости, кому? Все идет мимо. Не будем же лгать, оставаясь с глазу на глаз: это лунное, тихое дело — не надо на него нападать. Это два слова там, два слова здесь, — еле заметно, не всегда внятно, — которые два сердца, два слуха то здесь, то там *услышат*. Прогресса не было в поэзии, не будет и упадка. Два слова *еще*, две-три струны, будто задетые ветром... И ничего больше. Остальное — для отвода глаз, для прикрытия слишком беспомощно-нежной сущности — и ничего больше. Круговой порукой, *молчаливо*, мы это знаем, и даже, пожалуй, чем дальше, тем лучше знаем. Сейчас я ошибся и не то сказал: прогресс есть. Человек учится ощущать и выбирать, время точит душу, поэзия освобождается от трескотни, становится чище и тише. Другого ничего не может быть и не должно быть. Критические фельетоны об упадке необходимы, потому что иначе, без этого общего склада и стиля, нельзя жить: здесь *иначе* нельзя жить. «Да здравствует разум, да скроется тьма». Но поэзия не здесь, а туда и оттуда. *Затем еще*: есть у человека дневные мысли и есть ночные... Узкий дымок. Два-три слова, которые мы лучше все-таки слышим теперь, чем сто лет назад.

КОММЕНТАРИИ <VI>

45 (XXIV).

Одно из последних, поздних и потому, *кажется*, основательных впечатлений от *Европы* после *десятилетнего* сидения «на берегах сенских», есть ее... Ставлю многоточие, не находя верного слова. Может быть, найдется оно потом.

Неуютность? Да, — но лишь при безошибочном ощущении оттенка слово это приобретает нужный смысл, а иначе получается чепуха, да еще с позорным мелкообывательским привкусом. Париж, вообще-то говоря, «уютнее» большинства русских городов, и уж наверное уютнее Петербурга. *Здесь* есть чувство меры, чувство размеров, которое там потеряно, в соответствии, правда, с самой природой и будто под влиянием слишком широкой для городского пейзажа, слишком мощной и многоводной, какой-то океанской Невы. Петербург при сравнении с Парижем остается, *конечно*, только черновиком или наброском города, но в черновике это что-то более размашистое, грандиозное, с *тем* налетом холодноватого, бесполезного и чуть-чуть унылого величья, которого в Париже нет и в помине... Но обо всем этом — мимоходом. К слову пришлось, и само по себе интересно, — но не относится к теме.

Неуютно и жутко в Европе потому, что после России *в ней* всякий человеческий голос кажется «гласом вопиющего в пустыне». *Опять оговорка:* не в смысле какого-либо морального очерствления, не по чванливому сопоставлению с нашим мнимым духовным превосходством — совсем нет. Просто по густоте и сложности всяких культурных и бытовых сплетений, по невозможности в этой *сгущающейся* неразберихе что-то выделить, или еще проще: потому, что здесь разрушена (а может быть, по-новому создается?) связь количества и качества. В Европе все меньше остается возможности для истории в «иловайском» значении слова, — потому что в ней исчезают объединяющие факты. И невозможна жизнь, к которой привыкли мы в России, — с организованностью основных впечатлений, общественных и всяких других. *Как бы* «все течет».

Факты и явления перестают здесь быть остовом расползающихся жизненных форм, — ни один из них ничего не определяет и даже не отмечает. Жизнь несется мимо сознания, не успевающего не только понять ее, но даже рассмотреть... В России мы жили как бы в комнате, в квартире, в доме, в помещении *с запертыми дверьми*, куда нельзя было без звонка войти, где каждый пришелец обращал на себя внимание. В России мы могли жить «задумчиво», еще не замыкаясь в самих себя, — не затыкая ушей. Здесь люди очутились на выставке, на митинге: все распахнуто, слышен только невнятный гул, в котором тонут отдельные голоса.

Вникая дальше: приходится сказать, что Россия была, *значит*, еще провинцией по сравнению с Европой — и мы, как провинциалы, *сбиты с тол-*

ку столичной сутолокой. Опрометчиво было бы *тут* что-либо осуждать, *потому что* Россия шла и тянулась к тому же, к той же полифонии бытия — и только не успела дойти. Да и морально осуждение недопустимо, ибо наш сравнительный уют — то есть однотемность, одностройность нашей культурной жизни — уходит корнями в вековые российские ограничения, в отталкивание *и* оттискивание основной толщи народа от «ценностей», которые ему будто бы не по зубам (на самых верхах — откровенно цинично, пониже, из просвещенных «кругов» — лицемерно, во имя идеалов, которые будто *бы* только мы одни, *в силу особой нашей тонкости*, и способны хранить, — чтобы со временем, но только со временем, передать им, бедненьким, темненьким нашим братьям)... Если раз навсегда отказаться от ограничения прав на то, что мы для себя считаем благом, — как от дела, которому можно искать, но нельзя найти оправдания, — общая путаница и вавилонское столпотворение становятся неизбежны: вопрос только во времени. Наш уют вовсе не был нам дан как благодать. У нас, над безмолвным русским океаном, культурный слой, *будто бы религиозно-одухотворенный (т. е. внутренне-цельный)*, держался только потому, что к «храму» *не пускали* простой народ, — «чтоб не потеснить гуляющих господ». Возвышенные помыслы о *высоком* значении «элиты» убаюкивали совесть.

В России еще нельзя было говорить о распаде личности. Здесь же это так *поразительно*-очевидно, так непостижимо, и — что страшнее всего — так законно, в смысле исторической неизбежности, что от зрелища кружится голова... Основное, глу-

бочайшее, конечно, — исчезновение или убыль христианства и роковая пустота «в сердцах восторженных когда-то». Но помимо этого: человек не выдерживает пребывания на выставке, на митинге. Утончаясь, обостряясь, усложняясь в каждую отдельную минуту, он раздроблен на тысячи частиц, он как бы взвивается брызгами, клубится пылью по ветру — и не в силах восстановить свое единство.

Так вот что, может быть, значит: «*О, если б знали, дети, вы,* холод и мрак грядущих дней».

46 (XXV).

Пример.

Проповедь Толстого — очень важное явление в духовной жизни России, не только сама по себе, во внутренней и абсолютной своей ценности, но и как «фактор» в нашей истории. По существу, она и теперь так же важна, как *и пятьдесят лет тому назад*. От нее можно отмахнуться, «старик блажил», но разделаться с ней не легко. *«On mordra sur du granit» — хочется вспомнить наполеоновские слова.*

Однако эту несомненную, подлинную важность уловить уже невозможно. Она уже не «доходит», будто порвались какие-то провода. Ее только чувствуешь *и сознаешь* издалека, — но она бездейственна.

Толстой проповедовал в России предвоенной, предкатастрофической, тихой и патриархально-провинциальной. Казалось, тишина водворилась навеки. Нечего стало делать, естественно было «подумать о душе». *Ему* страстно откликнулись современники — земские врачи, «интеллигенты», даже генералы, растерявшие в общей спячке воинственность

и безмятежно размечтавшиеся по всяким управлениям и интендантствам. Россия слушала Толстого — он давал ей выход, волнения, порыв, тему.

Но сейчас выходов, волнений и тем — хоть отбавляй. Тысячи возражений, тысячи случаев, когда в игру вошли совсем *иные* элементы... Человек оглушен. Надо бы снова стать земским врачом, но мы уже не земские врачи, и нам невозможно собрать *распавшееся*, воскресить былой душевный строй и стиль. Толстой *превращается в эпизод, только и всего*, — а жизнь летит мимо, «без руля и без ветрил».

47 (XXVI).

Искусственная, насильственная — и поэтому призрачная — цельность: *фашизм*, коммунизм и прочее.

Ничто не разрешено, ничто не устранено, — а сколько внутренних уступок и жертв (и какое оскудение!). Литература есть одно из немногих человеческих дел, *которые ничуть, ни в какой мере, не нуждаются в обольщениях, обманах, иллюзиях*. Поэтому с такой цельностью ей нечего делать: она от нее бежит, — если не впала в детство.

В стороне, задумавшись, она спрашивает: уверены ли вы, что у вас, в разнообразных ваших строительствах, действительно есть цель? Конечно, общество, которое как будто чего-то хочет и куда-то идет, всегда будет казаться богаче и творчески сильнее *такого*, которое ничего скопом не хочет и никуда не идет. Но может ли общество иметь одну волю? Должно ли «идти»? Не мираж ли — общее дело, общая цель? В чем эта цель? Не снизу ли возникает творчество, чтобы затем, в единичных слу-

чаях, дорасти до общего понимания и признания во всей своей личной неповторимой живой прихотливости — вместо коллективного равнения по правофланговому? И не окажется ли в конце концов, что больше движения было там, где как будто *бы* все стояло на месте, разлагаясь, «загнивая», — но по крайней мере не играло в грубую, жестокую и финально-бессмысленную игру с лучшими человеческими надеждами?

48 (XXVII).

Это все, может быть, очень современно, органично, стихийно. Это увлекает «массы», — *не случайно же!*

Но если говорить о творчестве... оставьте творчество, господа! Товарищи, оставьте литературу. Да, вы можете создать *увлекательные*, даже блестящие, «полнокровные» романы, отразить, описать, показать. В критических разборах вас будут хвалить, анализировать. Типы недоработаны, что же касается языка, то язык образный, сочный...

Будем говорить серьезно: литература — не ваше дело. А если она у вас как будто бы много дает, то лишь потому, что вы от нее мало требуете. Устроить такой «расцвет», право, не трудно: но ни вы ей, ни она вам — не нужны. Литература возникает в «темном погребе личности», в вопросительно-лирических сомнениях, в тревоге, в мучениях, в безотчетной любви — и уж, конечно, без барабанного боя. Кто бы ни победил в житейской борьбе, ваша книга рядом с другой, настоящей книгой будет всегда глупа и груба, и всегда найдется кто-нибудь, кто это поймет.

Вот — стихи:

Оставь меня. Мне ложе стелет скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе?

Рифмы обыкновенные. Образы тоже не Бог весть какие оригинальные. Но после этого, после того, что человек нашел такие звуки, дослушался до такой музыки, все ваши типы и проблемы, оптимистические полотна и идейно-насыщенные романы, все, все — пустота, скука и ничтожество... Я едва не написал крепкое русское словечко, для печати непригодное. Впрочем, Пушкин его любил.

И еще: это мы говорим *вовсе* не в припадке безнадежного, декадентски-хмельного восторга, с готовностью тут же сдать позиции. Нет — с твердым сознанием торжества, победы *и бессмертия.*

49 (XXVIII).

Было это в середине прошлого века.

Жила в Лионе молодая и богатая женщина — мадам Гранье. Сохранился портрет ее: глубокие темные глаза, улыбка, легкая рука в браслетах, небрежно лежащая на спадающей с плеч шали... Почти красавица. Мадам Гранье считала себя счастливой: муж, двое маленьких детей, любовь, спокойствие, верность. Но муж заболел раком и умер, а за ним в течение одной недели умерли и дети. Первой мыслью было — покончить с собой. Но самоубийство отталкивает натуры сильные и чистые, — и мадам Гранье решила жить.

Не для себя, конечно: все «личное» было кончено, — а с тем, чтобы кому-нибудь быть полезной. Деньги свои она раздала — и стала ухаживать за больными. Но больные больным рознь: мадам Гранье искала безнадежных, одиноких, всеми забытых. Услышала она как-то про старуху, страдавшую раком лица, — и пошла проведать ее. В подвале, на гнилой соломе лежал «живой труп», издающий нестерпимое зловоние. Ни глаз, ни носа, ни зубов — сплошная кровоточивая рана. Мадам Гранье промыла старухе лицо, кое-как одела — и привезла ее в госпиталь. Врачи и сиделки отшатнулись и не пожелали иметь дело с больной: никогда они такого ужаса не видели... Мадам Гранье убеждала, просила, умоляла их и наконец, чуть не плача, сказала: «Да что с вами? чего вы боитесь? посмотрите, как она улыбается», и прижалась к старухе щекой к щеке, — к гнойной багровой язве, — а потом поцеловала ее в губы.

История эта — напоминающая флоберовского «Юлиана» — была недавно рассказана в одной французской газете. В память мадам Гранье основано общество — «Les Dames du Calvaire».

Все, что делают люди, и все, чем они живут, похоже по форме на конус или пирамиду: внизу, в основании — площадь огромная, и всякой отрасли легко находится свое место. Наверху — все сходится. Что такое литература, что такое искусство? Я прочел рассказ о мадам Гранье — и *мне кажется*: искусство должно быть похоже на то, что сделала она. *Или, точнее: на то, чем была она*. Не в сострадании дело, — а в победе над материей, в освобождении. Скрипки Моцарта поют — об этом. И Павлова иногда — была об этом. «Бессмертья, может быть, залог» — иначе не скажешь.

50 (XXIX).

А. когда-то заметил:

— Есть понятья римские — и есть иерусалимские. Других нет.

И добавил: да не будет же Иерусалим побежден!

Он думал о христианстве, конечно: о том, почему «заповедь новая» была действительно новой, и о том, что без нее мир груб и пуст, — хотя бы никто ни во что уже не верил, хотя бы осталось у людей только немного чутья, понимания и памяти.

Да не будет же Иерусалим побежден! Загадочность «еврейского вопроса» в том, что вместе с мировым пожаром, который евреи *зажигают*, рождается и мировое сердце. Без их *приношения* мир не то что пресен — мир черств. Наша святая Русь в лучшие свои моменты перекладывает на мягкий славянский лад старые, чудные, вдохновенно-дикие еврейские песни — и забывает, что сложила их не она.

51 (XXX).

«Ум ищет божества, а сердце не находит».

Как это странно сказано у Пушкина. Казалось бы — наоборот. Ум «не находит».

Христианство в метафизической своей части не то что невероятно, — оно неправдоподобно. *А это гораздо хуже — потому что подрезывает, подкашивает возможность «credo quia absurdum»*. Если человек взглянет на мир как бы в первый раз, без всякой предвзятости и забывая все, чему его научили, он не может не покачать головой, со смущением, с *грустной усмешкой*: едва ли, едва ли! Едва ли — это. Мир текуч, безграничен, расплывчат внешне и

внутренне, а это слишком уж стройно, слишком уж складно, со вступлением, изложением и заключением — *в виде первородного греха, искушения и всего дальнейшего. Будто какой-то небесный режиссер ставил*. Природа не в ладу с христианством не потому, конечно, *чтобы ее изучение «опровергало» его, как считал Базаров*, а потому только, что она к нему никак не ведет, никак не располагает. Нет связи: про́пасть. Природа, как она открывается в опыте, не драматична. Христианство создалось будто в каком-то воспаленном сознании, а природа возвращает спокойствие... Кажется, именно это оттолкнуло Гете, так таинственно с природой сроднившегося, — хотя за два года до смерти он и сказал Мюллеру, что «это не может быть превзойдено». Но только морально.

Вероятно, и Льву Толстому его глубокая «интуиция» *жизненных явлений* помешала стать вполне христианином, — что отчетливо чувствуют даже самые *рьяные* поклонники его, не придающие значения разладу с синодом и *догматическим* недоразумениям. Звук, скрытая сущность толстовских писаний — вне христианства, как бы он к нему ни рвался. Толстому противопоставляют К. Леонтьева или Соловьева. Но им было легко, у них не было и сотой доли его опыта, им нечего было преодолевать. *Им не мешала жизнь.* А Розанов, единственный, у которого был «нюх», кое в чем не уступавший толстовскому, так и проколебался всю жизнь, чувствуя, как никто, все «да» и «нет».

Но все-таки — «это не может быть превзойдено». *Тут нужна бы молчаливая круговая порука тех, кто знает: не о чем говорить — и поистине,*

«если надо объяснять, то не надо объяснять». Право, «стоять на страже», беречь, хранить стоит только это, — если человек не окончательно еще отупел, не окаменел, не выродился, не сошел с ума.

52.

По поводу ходкого сейчас — и глупого — слова «разложение».

Такой-то разлагает то-то. Этот разлагает это. Один подрывает любовь к родине и патриотизм. Другой непочтителен к классикам — и так далее... Поклонники цельности и единства «во что бы то ни стало» возмущенно пожимают плечами, поднимают очи к небу. Но большой вопрос, кто вернее предан «положительным идеалам», разлагатели или охранители, а вдуматься, то и вопроса не остается.

По аналогии заключать опасно. Но тут, кажется, аналогия получается примитивно точная: в глубине организма гной, — надо сделать разрез, хотя снаружи ничего и не видно... Приверженцы цельности согласны на цельность с гноем внутри, — а чем это может кончиться, им как будто и безразлично. Были бы крепкие, здоровые, лучше всего «национальные» чувства. Была бы «непримиримость», хотя бы и звериная. Были бы звонкие фразы. Был бы там, в глубине, старый застоявшийся смрад, — и шагали бы с поднятой рукой какие-нибудь неоударники, торжествовало бы «волевое начало» под безмятежный звон ко всему привыкших православных колоколов.

О, да — это надо бы «разложить»! И не только это, в такой именно форме, — но и все родственное, как бы оно ни называлось, в искусстве, в культуре, в литературе... Но только из верности тому, что достойно верности, и как сказано где-то у Рильке, «за мировую нежность против мировой грубости», потому что в ней, в нежности, — жизнь, все лучшее, «печаль и музыка мира». Разложение — будто снятие покровов, из нетерпеливого влечения к последней прелести, к последней чистоте, по несговорчивости, по страху предать.

В «Федоне», посредине диалога, есть такой эпизод... Сократ в глубокой задумчивости слушает возражения двух учеников. Один из них предлагает свою «версию» понятия души: не похожа ли душа на гармонию, таящуюся в лире? можно ли, однако, утверждать, что гармония неистребима? казалось бы, она действительно должна пережить разрушение материала, из которого лира сделана, — и после распада струн и дерева где-то уцелеть; но нетленное, бесплотное исчезает вместе с тленным и плотским, — как бы мы ни обольщались насчет его потустороннего существования...

Это одна из самых бессмертных (хотя и холодных — в отличие от евангельских) страниц, когда-либо написанных человеком, неизгладимое сияние в памяти. Дальше идут строки еще, может быть, больше «головокружительные» — о том, что конец души и конец тела не всегда совпадают, что тело может жить и одно, как бы по инерции.

Книгу эту вспоминаешь, как последний довод, без прямой логической связи, просто апеллируя к ней, в смутной уверенности найти оправдание, глот-

нуть немного чистого, чистейшего воздуха. С ней возвращаешься к истинному представлению о «ценностях»... Но в наших-то лирах осталась ли еще возможность гармонии? не надо ли попробовать еще раз настроить их? не ближе ли к цели тот, который будто бы бесцельно перебирает струны, вслушиваясь в их слабый, дребезжащий звон, — и мучительно морщится при всякой попытке сыграть бравурно-триумфальный марш в расчете, что «сойдет»?

КОММЕНТАРИИ <VII>

53.

Поэзия и разум. Каждое новое прочитанное стихотворение наводит на мысль об их связи — или взаимном отталкивании. Едва ли не самый важный для современной поэзии вопрос. В сущности, только для нашей, русской поэзии, — так как на Западе он уже решен, ясней всего это во Франции, где сдача разумом позиций особенно знаменательна: никогда он не был так силен. Во Франции поэзия — это сон, «le rêve», без выхода и надежд. Разум отвергается не только как вдохновитель, но и как союзник. Он — худший враг. Поэтично то, что иллогично — как будто эти самые трезвые, самые умные в мире люди пресыщены логикой настолько, что готовы терпеть ее только в банковских отчетах или министерских декларациях. Круг пройден, Поль Валери еще упирается, но сдается... Вернее, — уже сдался, так как доказывает своей судьбой как раз обратное тому, что хотел бы доказать творчеством.

На первых порах — радость: мир снова беспределен, и даже краски его свежи и чисты, как давно не были! Будто прошел дождь. Но что дальше? — и как «горько будет пробуждение», когда страусу придется все-таки вытащить голову из-под крыла и оч-

нуться. Или расчет на то, что можно и не очнуться? Так, до конца, «розы над бездной», розы, розы, — а потом уже настоящая бездна, где ничего и не понадобится?

Конечно, поза соблазнительна, не говоря уже о том, что в ней есть соблазн художественной левизны: постоянная приманка для малодушия. У нас на нее тянуло Поплавского, в котором было и малодушие, и ничтожество, и полугениальность, и редкостное чутье к тому, чего требует время. Поплавский вечно тревожился, как бы ему не отстать от Поля Элюара, <но это была> дрожь не только за пребывание на уровне эпохи, но и за свою репутацию. Он сам это знал и в этом иногда признавался, с нахлынивавшей на него правдивостью тут же объясняя, что все это humanum est, — да и действительно, как же это не humanum! Но неужели круг и для нас замкнут? И остается и для нас только сон, «мечта», как средство спасти поэзию? Опыт Франции тревожен потому, что смутно мы чувствуем: уж это-то, наверно, их область, и если они запутались, то и нам не выбраться! Но попробуем. Пока еще можно — не будем отрекаться. Не для будущего, которого не изменишь, а для настоящего, в котором мы живем. «Товарищ, дай мне руку».

Отношение философии или науки к разуму не имеет в этом плане никакого значения (да к тому же они оказались бы скорей «за»). Дело в личном ощущении и личной проверке его. И уже, конечно, не о том речь, чтобы возвращаться к Буало, отвергнув все, что было найдено, уловлено, открыто, — по Фету: «учуяно» — позже, всю звенящую и неясную «сладостность» поэзии, как будто откуда-то и

11 Зак. 3049

куда-то мчащейся. «Polissez le toujuours et le repolissez»: нет — все-таки требовать нужно больше. Логическая связность текста тоже не существенна, так как разрыв с разумом возможен и при ней, а верность ему возможна и без нее. Но в замысле налаживать хоть самую отдаленную тожественность творчества и дела, держать наготове «откидной мостик, ведущий к жизни», ограничивать поэтическое своеволие, верить в единство всего, что как-либо нас касается, на самых верхах и в самых низах, не замыкать в безнадежности своего миража, не отказываться от того, чтобы отягчить поэзию, надолго отбив у нее охоту к никчемным полетам, ради полета истинного, не превращать ее в какую-то прелестную Монну Лизу, с лукавой «потерянной» улыбкой, в ответ на которую хочется повторить: над кем смеетесь? над собой! — вот что еще могло бы составить подобие программы... Франция, кстати, имеет право на отдых, а нам нежиться рановато.

Некоторые задачи решаются только практически, и только практически они перестают быть «проклятыми». У Томаса Манна можно прочесть о разуме замечательные слова, внушенные ему вовсе не какими-либо особыми прозрениями, а только сознанием ответственности. По его утверждению, в теперешнем «одичании» Европы виноваты прежде всего мыслители, все свои силы направившие на ниспровержение рассудка. Неважно, правильны ли их доводы. Может быть, и правильны. Но с изъятием стержня разваливается весь образ человека, и ни сердце, ни совесть не знают больше, что им делать.

Строки, имеющие непосредственное отношение к вопросу, как писать стихи.

54.

Наблюдение.

На приманку «левизны» ловятся люди особого склада, преимущественно богемно-байронического, с неутомимой жаждой протеста и вызова. Но девяносто процентов читателей можно поймать иначе, — и у многих пишущих настолько обострена интуитивная хитрость, что они безошибочно этим пользуются.

Я — в данном случае, я воображаемый, — пишу, например, статью или рассказ. Если я отнесусь и к сочинению, и к изложению с максимумом добросовестности, на которую я способен, если я скажу только то, что действительно хотел сказать, и притом как можно отчетливее и яснее, если я додумаю все намеки и сглажу все провалы, — словом, если я напишу лучшее, что могу написать, — ничего, кроме вежливого и холодного одобрения, в ответ я не услышу. «Очень интересно», но в интонации добавление: скучновато.

Может быть, я бездарен. Допускаю, соглашаюсь. Но, значит, я должен быть вдвойне бездарен, вдвойне пуст и скучен, когда пишу кое-как! Однако стоит мне заторопиться, смошенничать, поставить какое-нибудь идиотское многоточие там, где полагалось бы быть обыкновенному окончанию фразы, пустить неизвестно зачем какую-нибудь цитату с сомнительным резонансом, усмехнуться, вздохнуть, будто от избытка эмоций и бессилья человеческого языка, — словом, дать образец недостойной, распутной, грязной, сентиментальной, гениальничающей прозы, — как со всех сторон послышатся ахи и охи, вроде как Белинский после «Бедных людей» тряс за плечи Достоевского:

— Да знаете ли вы, что вы написали?

К сожалению, знаю.

55.

У Алданова есть в «Началах и концах» определение: «человек с шу», «человек без шу». «Шу» — китайское, непереводимое понятие, означающее дар серьезности, серьезного отношения к жизни. У кого его нет, тот не станет взрослым никогда, и, случается, сам это понимает.

Правдоподобная и меткая гипотеза. Невольно начинаешь перебирать в памяти всех, кого знаешь, или других, знакомых только по книгам: кто с шу, кто без? Наверно, есть «шу» только у Толстого, больше же всех под сомнением — Гоголь. А Пушкин? А Достоевский? А Лермонтов?

По-видимому, прирожденная «серьезность», «взрослость» есть не что иное, как прирожденная уверенность, что в жизни или в мире существует цель и смысл. Нет ничего реже, чем истинное убеждение в этом, — и все наше существование так устроено и к тому сведено, чтобы цель и смысл ни в чем не были видны. Нужна, действительно, исключительная сила нравственного или, может быть, религиозного чувства, чтобы где-либо их усмотреть и, раз усмотрев, не потерять глазами тут же, в ту же минуту. Толстой ненавидел Наполеона. «Обожествление злодея ужасно», — записал он в Париже. Миллионы и миллионы людей восхищаются Наполеоном и до сих пор бескорыстно восторгаются им потому, что процесс его деятельности заслоняет от них то, к чему она направлена. Лишь торжество морального чувства над эстетическим может вызвать иное отношение к «злодею» — или если не торжество, то слияние обоих мерил. Встречаются люди, менее всего кровожадные, воспитанные в самых либеральных традициях, миролюбивые, тихие и все-таки не способные вовсе без волнения вспомнить

Аустерлиц, Ватерлоо, Св. Елену. Они не в состоянии противиться эстетическому обаянию легенды и взглянуть на нее иначе, чем эстетически. Иных простачков это возмущает, порой доходит до нравоучений, разъяснений, проповедей! Но ничего тут объяснить и внушить нельзя, если от природы не дано человеку безотчетно спрашивать себя — зачем? с какой целью? А дано это на тысячу одному, да и то едва ли. Зрелище траты сил увлекает. Но блестяще сыгранная роль в нелепой, бессмысленной пьесе и сама должна быть тронута мелочностью: Толстой почувствовал это не только в Наполеоне, к которому был, кажется, лично недоброжелателен, по таинственным причудам своей души, — он чувствовал это всегда, везде. Для него не существовала роль вне пьесы. Мы же каждый день, каждый час судим, оцениваем, глядим, взвешиваем, решаем, будто нет на свете ничего, кроме игры, — и будто поэтому всякая «точка зрения» условна и произвольна. Наполеон — великий человек.

Кто прав, кто ошибается — никто не знает. Огромное большинство людей ведет себя так и так воспринимает жизнь, что должно бы по справедливости признать бессмысленность мира. Часто это люди верующие или «с принципами». Но и у этой веры, и у этих принципов вместо фундамента — поплавок, который в первую же бурю может опрокинуться.

Иногда это люди гениальные, необыкновенные. «Шу» скорей стесняет творчество, чем помогает ему. Исключения — наперечет. Кстати, можно вспомнить Гамлета, который после прохода войск Фортинбраса говорит: «Велик тот, кто без великой цели не восстает... Со стыдом гляжу, как 20 000 войска идет на смерть. За что? За клок земли, где даже нет и места прижаться всем».

КОММЕНТАРИИ <VIII>

56.

У литературы есть странное, с виду как будто взбалмошно-женское свойство: от нее мало чего удается добиться тому, кто слишком ей предан. В лучшем случае получается Брюсов, пишущий с удовольствием и важностью, поощряемый общим уважением к его «культурному делу», переходящий от успеха к успеху — и внезапно проваливающийся в небытие... У Блока — в каждой строчке отвращение к литературе, а останется он в ней надолго.

Некоторые наблюдения опасны в качестве рецепта. Мысль о «патенте на благородство», связанном с отвращением к литературе, может, конечно, вызвать скверную игру в усталость или в ироническое всепонимание, со вздохами на поздне-римский лад. «Ah, tout est bu, tout est mangé, plus rien a dire». Не только может, но и вызывает... Это досадно, как всякое притворство, однако ничуть не колеблет самой мысли. Настоящий писатель пишет с тоской и даже смятением, чувствуя, что все ускользает, каждое слово предает, как предает солдат, старательный, но не понимающий замысла сражения, — а графоман пишет «много и хорошо», хлопая себя по ляжкам после работы, как Боборыкин. У Боборыкина нет видения и потому нет искажения. У него слова

только заполняют пустоту, зиявшую перед ним до писания, и он радуется разряду энергии и наглядности результата.

Возражения. Пушкин, глубочайший «литератор», конечно, и, кстати, тоже покрикивавший от удовольствия после «Бориса Годунова». Но во-первых, Пушкин умер в том возрасте, когда ощущения такого порядка еще не успевают пробиться, — и вопрос, чем был бы, что дал бы Пушкин, проживи он нормально-долгую жизнь (вопрос, блистательно, хоть и немного поверхностно затронутый Константином Леонтьевым в фантастическом предположении, какой получилась бы у Пушкина «Война и мир»), уже содержит в себе опровержение торопливых и квазибезапелляционных суждений по Пушкину тридцатисемилетнему (особенно, если вспомнить пушкинские стихи последних лет, смутно похожие на поздние бетховенские квартеты или живопись Рембрандта и уже как бы подтачивающие всякую такую творческую радость, которая может быть подточена, оставляющие лишь неустранимое, редко кому доступное, «холодный ключ забвенья»). А во-вторых, Пушкин был одушевлен своим колумбовски-петровским литературным предназначением и всякими авгиевыми конюшнями, которые ему надо было расчистить. Другое возражение — Толстой и его знаменитое: «Люблю жену, но роман свой люблю больше, чем жену». Тут возражение — если в него вдумываться, — оборачивается против самих возражающих. Именно потому толстовское бегство из литературы, или от нее, и полно смысла, что ему предшествовало такое упоение ею, — как вообще в Толстом все чисто духовное значительно тем, через

какие стихийные и животные толщи оно пробилось, не ослабев. Толстовское отвращение — урок тем, кто отвращается слишком быстро, «на двух статейках утомив кое-какое дарованье»: сначала полюбите, господа, то, что в литературе достойно любви, а уж потом бегите, разочаровывайтесь! Иначе гримаса на лице капризна и глупа.

Еще — «против». Пруст, пробковая комната, умирание — и страстно-настойчивое дописывание романа. Надо признаться, это самое веское «contra», и самое смущающее... Ответить, объяснить какой-нибудь выдумкой было бы нетрудно, как вообще выдумать легко все! Но, по правде сказать, — ответить нечего. Чувство долга? Стремление к бессмертию, хотя бы и фальсифицированному? Скорей все-таки тут сказалось то «человеческое, слишком человеческое», что было в Прусте, чем то, что было в нем ослабленно-божественного.

Стопка рукописей на столе — стихи и проза. Кто из этих авторов талантлив, кто бездарен — не так интересно, при очевидной скромности талантов и почти всякому в наши дни доступном умении затушевать бездарность. Но поговорить хотелось бы только с некоторыми. С теми, у кого в первой же фразе слышится возможность будущего, может быть, через сорок лет, на вершине успехов, недоумения перед праздностью, тщеславием, кичливостью, пустотой, бессовестностью почти всего, что принято называть литературой. Многие писатели связаны безмолвной круговой порукой, о которой никто, кроме них, не догадывается.

57.

Перечитывая Шекспира — и изумляясь «до мозга костей, до корней волос» некоторым совершенно невероятным страницам.

Когда родилась новая литература? Когда Полоний подошел к Гамлету с вопросом «что вы читаете, государь?» — и Гамлет ответил:

— Слова, слова, слова...

Был как будто ясный день. Все стояло на своих местах, и все было отчетливо видно, до мельчайших линий и очертаний. И вдруг кто-то приоткрыл дверь, за которой мелькнул другой свет, другие тени, изменяющие представление о том, что знакомо было раньше... Сравнение примитивно, конечно, но передает впечатление довольно верно. Со «словами, словами, словами» что-то куда-то распахивается, — именно «что-то», «куда-то», потому что и до сих пор никому еще не удалось подобрать нужные, точные выражения для этого открытия.

Прошло триста лет, — и мы все еще живем Шекспиром, вернее, идем шаг за шагом в найденном им направлении. Как это, на первый взгляд, ни парадоксально, Пушкин — при всей его обращенности вперед в духовной жизни России — в области чисто творческой, личной, вне каких-либо национальных и исторических соображений обращен назад. Пушкин — против «Гамлета» (а в особенности та охранительно-формальная критическая традиция, которая на Пушкина демонстративно предъявляет какие-то особые права). По самому составу чувств, по материалу — Пушкин до «Гамлета» и ведет свою волшебную и беспроигрышную творческую игру без тех элементов, при которых срыв ино-

гда неизбежен. Срывается сразу Лермонтов, будто в колоду карт ему подбросили какие-то двойки и тройки, с которыми большого шлема не назначить.

Замечание на всякий случай: рассуждать — не значит умалять значение или чего-либо «недооценивать», тем более в данном случае. На своем языке, в кругу своих понятий приблизительно то же говорил Белинский, — а он, хоть и не всегда поспевая за Пушкиным, понял его все-таки проще и глубже, чем Достоевский, понявший только самого себя. (Недолет мысли у Белинского, перелет у Достоевского: но в первом случае Пушкин остается перед нами, а во втором он позади, — и видны лишь будущие бесконтрольные мистические фантазии, вплоть до Андрея Белого.)

58.

Годами ходишь «вокруг» да «около» каких-то необходимых, в каждой строчке подразумеваемых слов, — а когда хочешь наконец извлечь их в чистом виде из потока привычных периодов, оказывается, что они растворились в них почти без остатка.

Конечно, лирические ссылки на «наше небывалое время», на «одиночество», будто бы заставившее «многое взвесить и многое пересмотреть», на возвращение к «голому человеку на голой земле» — на границе пошлости... Если вообще об этом говорить не следовало, то теперь больше говорить об этом решительно невозможно! «A consommer de suite», как обозначается на обертке скоропортящихся продуктов. Опрятность в выражениях и в том, что выражается, — добродетель обязательная.

Постараемся же говорить «опрятно» — о том, что достойно любви в литературе и что скорей вызывает усмешку. Как часто случается, мысль мелькнула в результате случайного впечатления: огромные афиши на парижских заборах, возвещающие о «Жанне д'Арк, оратории в двух частях с прологом и эпилогом, сочинения Поля Клоделя». Мгновенно, как при вспышке молнии, все представилось абсолютно отчетливо, сверкнули все причины, доводы и следствия, — а потом пришлось ощупью брести во тьме, пытаясь восстановить понятое.

Основная аксиома: надо писать правду, — т. е. верно о верном. Но тут же сомнение: что такое правда? — и почему, самонадеянно считая законом свой личный вкус, ты так уверен, что в оратории о Жанне д'Арк ее быть не может? Безотчетно, всем существом своим ощущая возможность обоснования, упорствую — «Нет, ее быть не может», — но и недоумеваю: почему? История литературы бурно протестует, проносясь в сознании со всеми своими чудесами, школами, «измами», вдохновениями, сказками, причудами, — и вопиет, что бессмысленно сводить творчество к грустному (и уж не бессильно ли старческому? — намекнет, разумеется, кто-нибудь) перебиранию двух-трех мотивов, очищенных от всякой позолоты. Однако, Бог с ней, с историей искусства и литературы, неубедительной, как всякая история, — и будем делать то, что нам кажется нужным делать, считаясь только с настоящим, а не с прошлым.

Надо взять бутылочку с серной кислотой — и облить все, что распустилось постыло-роскошным цветом вокруг. Ничего не уцелеет? Что же делать, —

значит, обойдемся без букетов! Но что-нибудь уцелеет наверное, и эти-то цветы уже не увянут у нас в руках. Эти цветы не обманут, — и самый скромный такой лепесток дороже всех бутафорских клумб и рощ, как бы ни были они талантливо взращены. Клодель чрезвычайно талантлив, он большой поэт, но это ничуть не меняет дела, ничуть! Интересно играть в интересную игру, а сочинять и слушать оратории из жизни святых — неинтересно, и если это литература, хочется немедленно «возвратить билет» для входа в нее.

«Вы всегда танцуете от печки, — сказал мне как-то с лас-казовской трибуны какой-то язвительный оппонент, — а печка эта — Лев Толстой!» Станцуем еще раз, печка стоит того! Представим себе объявление, например, о «Сергии Радонежском, оратории в двух частях, сочинения Льва Толстого», — кто же не почувствует, что это совершенно невозможно! И вовсе не потому невозможно, чтобы не соответствовал жанр и метод писания, а потому, что уровень творческой серьезности не тот... А для нее, для этой серьезности, только и есть одно мерило — преданность правде, не исключающей вымысла, конечно, но и не допускающей любования литературными красотами с сомнительно небесным привкусом.

Еще по поводу «печки». Бунин и Алданов, к глубокому моему удивлению, постоянно говорят, едва только зайдет о таких вещах речь: величайшая книга в мире — «Война и мир»! Что это значит, величайшая книга в мире, — и если даже принять такое понятие, можно ли считать книгой, в которой отражено величайшее творческое усилие человечес-

кого духа, «Войну и мир»? Едва ли. Но, конечно, Толстой — писатель единственный, именно в плоскости «серьезности», «антижульничества», — хоть иногда, кажется, все на свете отдал бы, чтобы уберечь от его бутылочки с серной кислотой поэзию мира, всю чуть-чуть лживую прелесть мира, Вагнера, Наполеона, многое другое! Шекспир не в счет, с ним у него простое недоразумение.

59.

Литературное собрание с христианскими разговорами.

Личность, личность, личность — во всех падежах. Христианство будто бы утверждает личность, христианство освящает личность, — наперекор дьявольскому наваждению, стремящемуся к ее позорной коммунистической гибели.

Со стороны зрелище наставительное и грустное. Одинокие души, мало-помалу растерявшие все живые, животворящие связи с миром и потому обостренно, надтреснуто-звенящие, — ищут «соломинки». Кто же примет их, если не христианство, — и куда им больше пойти? Тут иронизировать нечего, и «да сияют образа эти вечно», как дважды, с незабываемой интонацией сказано в предисловии к «Людям лунного света».

Но разум от своих прав не отказывается. Личность абсолютная, самодовлеющая, замкнутая в себе — напрасно ищет опоры в христианстве, и напрасно обанкротившийся индивидуализм идет с таких позиций в атаку. Ему вообще не надо бы сейчас воевать. Ему лучше уйти в себя — и посмотреть, под-

считать, что осталось от былых «бессмысленных мечтаний», корня стольких великих духовных драм в прошлом веке.

Самый догмат грехопадения и искупления — т. е. самая основа христианства — подрывает индивидуалистическое представление о личности. Если я ответствен за то, что кто-то до меня согрешил, если возможно освобождение мое от этого греха без моего участия в этом деле, — значит, я не вполне сам по себе, значит, «я во всем и все во мне», и одиночества нет, пока я сам на его безнадежные просторы не вырвался. Даже крик о том, что «кровь Его на нас и на детях наших» входит в этом смысле в евангельский текст естественно, без логического противоречия, — хотя для кричавших это ведь не была кровь божественная, создающая возможность исключения! Личность, может быть, и утверждена в христианстве, — но не та, не такая личность, как хотелось бы ее поздним, забывчивым защитникам, ведущим ее к пропасти.

60.

Доклад читал совсем молодой человек, поэт, еврей, в очках, — слабым голоском, растерянно и по внутреннему звуку «не без музыки». Какой-то ягненок на эстраде, смиренный, кудрявый, скромно ссылающийся на авторитеты — на отцов церкви.

Что ему Гекуба? До безразличия, до сопротивления, до трагического «помоги моему неверию», — что ему религия, особенно такая загадочная, как эта? не слишком ли легковесно и шатко увлечение? не надо было ли бы послать его обратно «в жизнь»,

чтобы хорошенько покрутился он по ее омутам (не практическим, конечно, а «идейным») — и набрался бы впечатлений? не прельстила ли его — и многих ему подобных — именно музыка, поэтическая тональность, а не сущность христианства, воспринятого все-таки торопливо в его обволакивающей, обещающей, утешающей гармонии?

«Да не смущается сердце ваше...» Конечно, после этого почти невозможно быть поэтом вне этого, если только у человека есть слух. Но не ищут ли сейчас многие откликающиеся просто чего-то вроде подушки под голову, чтобы забыться, — только забыться?

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ <I>

61.

Мне говорили о нем: очень умный человек.

Первая попавшаяся мне на глаза статья его начинается так:

— В нашу динамическую эпоху...

Едва ли это умный человек. А впрочем, может быть, — но с налетом пошлости, наверное.

62.

Прекрасная Франция.

Что ни говори, как ни верти, отрицать этого все-таки невозможно: русского человека что-то от Франции отталкивает, и здесь, в последние двадцать пять лет, при окончательной проверке, это обнаружилось с совершенной ясностью. Не по сердцу.

Споришь, волнуешься, пожимаешь плечами, а в глубине души знаешь, что это так. Было на земле только два города — Афины и Париж, а все-таки это так, к стыду и, может быть, к несчастью нашему.

Есть отталкивание вульгарное и, так сказать, безграмотное — в стиле: «да где им до нас, сантимщикам! да вот мы...». Но есть и другое, очень глубокое.

63.

Пушкин о французской литературе, — будто бы она «родилась в передней и не пошла дальше гостиной». Почти дословно то же самое, что в дневнике своем Андре Жид говорит об Анатоле Франсе: «нет спальни, нет комнаты, где совершено преступление», и так далее. Значит, для Пушкина французская литература была сплошным Анатолем Франсом, и ничего другого он в ней не уловил. Между тем... впрочем, что же «между тем»? Тысячи томов не хватило бы на это «между тем».

64.

Заслуги, труды, седины. Какая-то вечная, грустная, монастырская, будто охолощенная серьезность. Острый слух ко всему, что чуть-чуть не от мира сего.

Да, все это у него было. Был редкий талант, от которого, впрочем, в книгах его остался только слабый, неверный след. Да, да... Но как я мог уважать его?

Ведь если бы я к нему пришел и стал нести любой вздор, для него лестный, — например:

— То, что свет есть тьма, а тьма есть свет, знал, может быть, один человек на земле — Данте. А теперь знаете вы.

Любой высокопарный, льстивый вздор, тут же мною наобум сочиненный, то он не оборвал бы меня:

— Что вы за чепуху городите! — а наоборот, немедленно приосанился бы, взглянул бы на меня самым проникновенным своим, из бездны бездн

идущим взором, ответил бы самым тихим, значительным, серафическим голосом, согласился бы, что он, действительно, что-то такое знает.

Ну как я мог уважать его!

65.

Кстати, нет человека, которого нельзя было бы поймать на лесть. Или почти нет.

Однажды, в редакторском кабинете Милюкова, я, войдя слишком рано, застал предыдущего посетителя, который, задерживаясь у порога, будто не в силах уйти, рассыпался не то что в комплиментах, а в каких-то безграничных, блаженных восторгах по поводу прочитанной накануне Милюковым лекции, — и слушая, я думал: как ему не стыдно! ведь Милюков же понимает!

Но Милюков, розовый, полный, сияющий, в ответ поощрительно улыбался, скромно разводил руками — и явно был очень доволен. Вероятно, он понимал. Но слушать лесть, даже и настолько грубую, было ему приятно.

А возможно, что и понимал он не вполне. Кто же не бывал в таком положении? — Чувствуешь: врет, подлец, — но остается сладкое сомнение: а, может быть, я в самом деле такой удивительный человек, гений и светоч? Может быть, со мной он искренен?

66.

Случайно раскрыл томик де Севинье и ахнул: «Ces beaux jours de cristal du début de l'automne...» Ведь это же тютчевский «день как бы хрустальный»,

и не может быть ни малейшего сомнения, что Тютчев этот образ у мадам де Севинье заимствовал! Так взял он у Паскаля «мыслящий тростник», да и кое-что еще. О совпадении не может быть и речи.

Кажется, это никогда еще отмечено не было. Но в поэзии плагиата не существует, и «день как бы хрустальный» остается одной из драгоценнейших тютчевских находок. Все дело в том, как сказано, как расположены слова. Строчку мадам де Севинье можно ведь было перевести и так, что никакой прелести в ней не удержалось бы.

67.

Мастерство поэта.

Немало есть книг по этому предмету. Есть, между прочим, книга Брюсова «Опыты», интересная и в качестве «человеческого документа», для характеристики ее автора.

Брюсов, по-видимому, полагал, что сущность поэтического мастерства может быть растолкована и изложена в учебнике: существуют такие-то законы стихотворения, такие-то стихотворные формы. Ямбы и дактили, сонеты и рондо. Понятие цезуры требует особого исторического очерка, понятие рифмы тоже, — и так далее.

Брюсов считал Иннокентия Анненского дилетантом и отзывался о нем несколько свысока, как о поэте талантливом, однако не вполне овладевшем поэтической техникой.

И тут разверзается пропасть.

Ямбам и цезурам действительно можно научиться по книгам. Но это оболочка мастерства, это при-

готовительный класс. Конечно, не следует хвастаться незнанием и нежеланием знать, что такое ямбы, — как хвасталась Цветаева, — но не надо и преувеличивать значение подобной учености, в конце концов почти сплошь условной. Самое важное — и не условное — в книге объяснить до крайности трудно. Самому важному поэт учится сам, — ощупью, чутьем, бесконечными проверками, на своих же срывах и ошибках, год за годом, до самой последней написанной им строчки.

Так учится он: расположению образов и «экономии» их, т. е. тому, чтобы строфа не была отягощена картинностью и чтобы образы второстепенные не заслоняли основного; игре гласных, ведущих мелодию, и аккомпанементу согласных, — что имеет мало общего с дикарскими упражнениями, вроде «вечер, взморье, вздохи ветра, величавый возглас волн»; ощущению веса слова, умению найти для каждого слова единственно подходящее ему место, — чтобы создалось впечатление, будто утряслись слова сами собой, навсегда; оправданию возникающей иногда необходимости переставить слова и нарушить естественный ход фразы, — оправданию, обоснованию «инверсии», вопреки Т. де Банвилю, который в своем остроумнейшем «Маленьком трактате» посвящает ей главу рекордно-короткую и рекордно-вздорную: — Il n'en faut jamais (впрочем, действительно, «Il n'en faudrait jamais», если иметь в виду случаи, когда слова переставлены исключительно потому, что иначе они не уложились бы в стих).

Многому, многому другому еще, — что знал дилетант Анненский и о чем забыл мэтр Брюсов.

68.

Стиль (догадки).

Слово должно быть всегда скромнее и бледнее того, что оно выражает. Слово должно всегда чуть-чуть отставать от смысла. Обещание должно быть меньше того, что в действительности дано. У символистов на каждом шагу Красота и Смерть, с большой буквы, а мысль нередко короче воробьиного носа. Оттого писания их так и обветшали.

О стиле Розанова: чудо гибкости, текучести, непринужденности, уступчивости, отзывчивости, но чудо все-таки довольно жалкое. У Розанова нет пауз. Розанов не умеет молчать, не способен остановиться, оборвать речь — и в щели дать сверкнуть свету. Розанов все выбалтывает, как пьяный, — и закрыв книгу, остыв, справившись с волнением, спрашиваешь себя: и только? Человек, человеческая душа, в книге полностью запечатленная, — только это, не больше? И этот сухой, короткий, деревянный звук — это что же, дно? Русский Паскаль! Ну, нет, от Паскаля так легко не отделаешься, он в самом деле спутник «вечный», и притом всегда идущий впереди.

69 (XXIII).

Дневники.

Дневник Поплавского, например.

«Боже, Боже, не оставляй меня. Боже, дай мне силы...»

Постоянное мое недоумение. Как можно такое писать? Если действительно к Богу, зачем бумага,

чернила, слова, — будто прошение министру? Если молитва, как не вывалилось перо из рук? Если же для того, чтобы когда-нибудь прочли люди, как хватило литературного бесстыдства?

Не осуждаю, а недоумеваю, — потому что у Поплавского бесстыдства не было, да ведь и не он один в таком духе писал. Не понимаю, и только. Не могу себе представить состояния, которое оправдывало бы переписку с Богом.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ <II>

70 (XXII).

«Du choc des opinions jaillit la vérite».

Казалось бы, так это и быть должно. Но на деле почти никогда в споре не «*jaillit*» ничего, и даже то немногое, что до него было ясно, двоится и отступает в даль.

Как люди спорят? Истина могла бы обнаружиться или хотя бы ненадолго блеснуть, если бы в споре мы именно о ней думали, — о ней, т. е. о предмете спора. Но, сам того не замечая, не отдавая себе в том отчета, каждый из нас, втянувшись в спор, думает почти исключительно о том, как бы лучше возразить противнику. Как бы противника посрамить. Как выйти из спора победителем. Задор *ослепляет и* затуманивает сознание. Быв на своем веку свидетелем и, к сожалению, участником многих споров, не помню, чтобы кто-нибудь в пылу прений вдруг задумался, уступил, признал *хотя бы частично* свое заблуждение, сказал: да, вы правы. А ведь если бы спорящие действительно озабочены были отысканием истины, это должно было бы *произойти* тысячу раз. Но спорящие озабочены личным своим торжеством и воюют «до победного конца», чего бы конец этот ни стоил.

Наши настоящие мысли о чем-либо мало-мальски значительном и отвлеченном похожи на облака, — они волнисты, зыбки и переменчивы: *а в споре они выдаются за сталь. Неуместные* колебания и противоречия одно за другим отбрасываются, забываются, — а ведь истина-то, может быть, в них и таилась. *К ней иначе надо идти, если именно ее ищешь.*

Никогда не спорить. Во всяком случае, никогда не относиться к спору иначе *как к игре и развлечению, по общей нашей слабости неизбежному.* Блок хорошо сказал: «*Надо* жить тихо и тихо думать».

71.

Странное слово: своеволие.

Своя воля: что же тут дурного? Отчего в слове этом нам исподтишка внушается, что своя воля до добра не доведет? Откуда в нем этот рабский душок?

Или происхождения оно религиозного, с мыслью о подчинении Богу?

72 (IX).

Годами, годами думает человек о чем-либо, что *надо было бы ему* написать, — и именно этого-то никогда и не напишет.

«Прощание с Вагнером». Не сомневаюсь, страница *эта* останется *непоправимо-белой*, навсегда, «средь всякой пошлости и прозы», благополучно и беспрепятственно из-под того же пера укладывающейся на бумагу.

Вагнер. Имя незаменимое, хотя и вызывающее досаду, сомнения: свет *сильный*, но не вполне чистый. Волшебство, огромным усилием воли достигнутое, но без благодати. Вагнер, да, да, — *нестерпимая* театральщина, романтизм, *почти уже выдохшийся*, звуки, оказавшиеся — *увы!* — все же *легковеснее и* беднее, чем *мы верили*. Да, да, дважды два четыре, Волга впадает в Каспийское море.

Но, как будто сходя с лестницы, на последней ступеньке, с которой еще виден «весь горизонт в огне», перед тем как окончательно перестать оглядываться, перед тем как пойти вместе с другими в общий путь, в общих тесных рядах, перед всем этим, туда — привет, поклон, благодарность! Вагнер — наша круговая порука, будто одним нам только и было понятно, о чем вспоминает Зигфрид перед смертью. Вагнер — таран, пробивший главную брешь. Вагнер — залог, «может быть залог». Пусть и старый «фальшивомонетчик», пусть, возможно, — как знать, может быть, Ницше *был* прав, да и в чем, кроме мелочей, Ницше когда-либо ошибался? — но за фальшивые ассигнации нам-то было выдано чистое золото. Прощание с тем, что кружило голову Андрею Белому, с тем, что знал бедный, мало уже кому ведомый Иван Коневской, написавший несколько таких вещих строк о вечернем небе на севере, над валаамскими куполами и соснами, в сравнении с которыми на весах поэзии мало чего стоят десятки отличных поэм, со смелыми образами и оригинальными рифмами. Прощание, смешанное с надеждой, с предчувствием новой встречи, когда-нибудь, где-нибудь.

73.

А. говорит мне:

— А вы все еще на что-то надеетесь? Упорно, непоколебимо, без малейшего основания, только потому, что лучше надеяться, чем не надеяться? Огоньки впереди, как у Короленки, хотя и перенесенные для пристойности в метафизический план, да? Неужели никогда, ну хотя бы ночью, наедине с собой, как при свете молнии, не поняли вы раз навсегда, не рассудком, а целым своим существом, неужели не почувствовали вы, что все идет к черту?

74.

Проверяя себя:
безразлична ли мне моя посмертная репутация? безразлично ли мне, будет у меня какая-нибудь посмертная репутация — или не оставлю я по себе в памяти людей ровно ничего, никакого следа? тревожит ли меня этот вопрос? По совести должен ответить: да, тревожит. И не только сейчас, здесь важно мне знать, какого мнения будут обо мне люди после моей смерти, но мне кажется, что и там, «на том свете», если каким-нибудь невероятным, непостижимым чудом уцелеет мое сознание, отрадно и утешительно было бы мне вспомнить о моих земных успехах.

Догадка, действующая, как холодный душ.

Допустим, что когда-нибудь, сто лет или сто тысяч лет тому назад, был я муравьем. И добился я в муравьином обществе великих триумфов, — настолько великих, что до сих пор муравьи с благоговением чтут мое имя и ставят мне на муравьиный лад бесчисленные памятники. И был я к тому же

страстно, восторженно, рыцарски влюблен в какую-нибудь прекрасную муравьиху, и казалось мне, что образ ее запечатлен в сердце моем навеки... Да ведь если бы теперь мне все это сообщили, с достовернейшим ручательством, что все это действительно так и было, я не то что расхохотался бы, я возмутился бы от одного предположения, что это может для меня иметь какое-либо значение! Если нарочно искать чего-либо, на что было бы мне «абсолютно наплевать», дальше в безразличии идти некуда.

А не окажусь ли я со всеми моими теперешними, здешними тревогами и надеждами, там, с той, новой моей потусторонней точкой зрения, таким же муравьем?

75.

Он пришел ко мне бледный, растроганный, взволнованный, по-видимому, сразу после свидания с «ней», с вечной своей Лелей, — и, изменяя обычной своей уклончивой сдержанности, сказал:

— Какое счастье любить. Какое счастье быть с ней, смотреть на нее. Подумайте, ведь я мог бы родиться в другой стране, жить в другое время, я мог бы не знать ее — и жизнь моя была бы бессмысленна!

Я ничего не ответил. Но подумал: отчего любовь всегда слепа? Отчего боится назвать она иллюзию иллюзией? Разве что-либо рассудочное может быть ей опасно?

— Бедный друг мой, — должен был бы я сказать, — бедный и счастливый, поверьте, я знаю, что эта женщина для вас сейчас единственная в мире, сокровище из сокровищ, ангел из ангелов. Но не

говорите о непостижимой удаче, приведшей к такой встрече. Если бы в самом деле существовала на свете одна, единственная женщина, которая вам предназначена судьбой, если она где-нибудь сейчас живет, нет решительно никакого вероятия — математически нет — что вы с ней встретитесь. Сколько у вас знакомых? Двести? Пятьсот? Тысяча? А людей на земле миллиарды — и, значит, математика против вас. Иногда, раз в столетие, роковая и чудная встреча возможна, как возможен выигрыш в лотерею, — но ведь таких влюбленных, как вы, без счета, и каждый живой человек хоть раз что-либо подобное на своем веку испытал. Поверьте, сейчас в Лондоне, в Москве, в Сан-Франциско или на острове Таити ходят, смеются и разговаривают с другими людьми, не зная о вас, десятки женщин, перед которыми в случае «удачи» и встречи готовы вы были бы упасть на колени, с блаженной уверенностью, что, наконец, нашли свою, обещанную, единственную. И за каждой из них было бы то же заблуждение. Вы должны были любить, вы стремились к любви, и, встретив Лелю, вы приняли приблизительное за совершенное, от себя его дополнив, обольщаясь, но в конце концов не обманывая себя. О нет, тут я вам полностью уступаю: нет, не обманывая себя... Скажите, не страшат вас досужие метафизические домыслы? Вы искали огня, света, вне вас существующего, и который нужен был вам, чтобы просиять, вспыхнуть. Этот свет, очевидно, доходит до нас только через другого человека, будто через стекло. Но не стекло светит, а солнце, и вот тут-то и возникает иллюзия... Вы прильнули к стеклу, вы не можете от него оторваться, и другие женщины сейчас для вас — как

железная непроницаемая завеса. Но таких, вам соответствующих, по вашей мерке созданных стекол множество, многие из них, вероятно, еще прозрачнее и чище, чем ваша Леля, и каждое из них показалось бы вам единственным потому только, что единственно солнце, которое горит за ними.

76 (X).

После доклада Бердяева.

По-видимому, он считает, что «красота спасет мир», или, по крайней мере, — что без красоты мир спасен быть не может.

А не сжимается ли сейчас сердце в сомнении и страхе именно от того, что красотой, кажется, надо будет пожертвовать? Красота — аристократична, я чуть не написал реакционна, и по связям своим, в родственном своем окружении, она социально порочна, — и как остро, как безошибочно верно чувствовал это Конст. Леонтьев, человек эстетически-гениальный и морально-безумный, как остро, как безошибочно чувствовал это Толстой, человек морально-гениальный и именно потому-то, именно в силу этого-то стремившийся всем своим существом к эстетическому идиотизму, принявший его, как вериги. Красота исключает равенство, и пускай Леонтьев вкупе с Достоевским сколько им угодно издеваются: «не равенство, а всемство», — от игры слов сущность дела не изменяется. Красота, создаваемая одним человеком, требует молчания, подчинения, невольной, бессознательной жертвы со стороны ста тысяч других, навозным удобрением под ней лежащих. Красота возникает из пестроты мира, из игры

света в тени, от скрещения бесчисленных лучей в одной точке, и если свет распространить равномерно, она иссякает... «Анна Каренина»: Толстого сочли умственно ослабевшим, когда он свое художественное творчество отверг, а ему было стыдно, что, в то время как обворожительная Анна в бархатном черном платье пляшет на балу, какие-то люди, такие же люди, как она, по тому же образу и подобию созданные, моют на кухне грязные тарелки. И на это, т. е. на праведность этого стыда нечего возразить. Красота? Дело даже не в бархатных платьях или подоткнутых грязных подолах, дело в том, что Анна не могла бы так изящно любить и так возвышенно мучить Вронского, не носи она этих платьев с детства. А если все равны, если все имеют право на то же самое, то, конечно, бархата на всех не хватит, и придется нам остаться с грязными подолами, — во всяческих смыслах, дословных и переносных...

О, как трагичен этот вопрос! В какую глубь уходит он корнями. К каким отказам и отречениям мало-помалу ведет. Но можно ли без кощунства произнести слово «Бог» или хотя бы только слово «культура», если усомниться хоть на миллионную долю секунды, что все равны, что в доступе к духовным и жизненным благам все должны быть сравнены, какой бы ценой ни пришлось за это платить.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ <III>

77.

Воскресенье в Кламаре у Бердяева.

Разговор о книге, в которой обстоятельно рассказано о том, что должен думать Бог о тех или иных наших делах, как устроен ад, как устроен рай и какую из ипостасей Св. Троицы раскроет и воплотит будущая культура. Книга будто бы замечательная.

Постоянное мое недоумение: откуда он — автор — все это знает?

Бердяев смеется и широко оглядывается за круглым чайным столом, будто приглашая смеяться и других.

— Откуда он это знает? Да ведь это все гимназисты спрашивают! Пожалуй, вы еще и меня спросите, откуда я знаю о многом из того, о чем писал и пишу. Разве можно так ставить вопрос? Откуда вы это знаете! Это же ребяческое возражение!

Кто-то из гостей в поддержку ссылается на «всю мировую метафизику от Плотина до о. Сергия Булгакова», которая будто бы спокойно делает свое дело и с любопытствующими гимназистами не считается.

Может быть, может быть. Возражение, действительно, элементарное. Беда только в том, что никто, от Плотина до о. Сергия Булгакова, не нашел на него вразумительного ответа. И никогда никто не найдет.

Булгаков-то хоть верил и молился. А другие читают публичные лекции на темы вроде «Проблема второго пришествия» с прениями и холодным буфетом в антрактах.

78.

— Вы что же, оказывается, позитивист? Это бывает, я знал таких декадентов базаровского толка! У вас, значит, никакого интереса к непознаваемому?

Ответил я какой-то шуткой.

А думал другое:

— Нет, интерес есть, если только уместно тут слово интерес... Но чем он больше, этот «интерес», тем решительнее отказ от обольщений, чем глубже беспокойство, тем сильнее отталкивание от успокоения обманчивого. Впрочем, очевидно, все люди сделаны по-разному, и никто никому не судья. Действительно, от Плотина до о. Булгакова или Бердяева — великие умы и великое вдохновение. Но остаюсь в стороне, с маленьким глупым вопросом.

79.

У Толстого князь Андрей слушает, как поет Наташа:

«Он был счастлив и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать. О чем? О прежней любви? О своих разочарованиях? О своих надеждах на будущее? Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг осознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределен-

ным, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам. Эта противоположность томила и радовала его...»

Нельзя точнее, проще и глубже определить то, что дает человеку искусство. Да и не только искусство.

Больше этого мы, по совести, сказать ничего не вправе. Больше этой «страшной противоположности» мы ничего не знаем, и ничего никогда не узнаем.

80.

Приходит Ф. и рассказывает длинную путаную историю о том, как ему что-то необыкновенное приснилось, а потом приснившееся исполнилось, и как он когда-то, давно, еще в Петербурге, шел по улице и увидел существо, в котелке и с тросточкой, которое по его достовернейшему убеждению и знанию было лишь наполовину человеком, а наполовину выходцем с того света.

Вспоминаю тысячи приблизительно таких же рассказов. Но вспоминая, удивляюсь: ни разу, никогда за всю свою долгую жизнь не видел я ничего, что было бы действительно и бесспорно сверхъестественным. Конечно, если бы мир был только таким, каким мы его воспринимаем, и состоял только из того, что нас окружает, это было бы чудо много более поразительное, чем все чудеса, нашему воображению доступные! Наивный материализм, сам того не понимая, верит в величайшее из чудес и разуму ставит самую неразрешимую из всех загадок.

Но крышка мира захлопнута плотно, завинчена крепко, без всяких трещин. По крайней мере, надо мной.

12 Зак. 3049

81.

Покой в русской литературе.

Пушкин:

— На свете счастья нет, а есть покой и воля...

Лермонтов, редко с Пушкиным в чем сходящийся, вторит почти дословно:

— Я ищу свободы и покоя...

Позднее у Блока:

— Покоя нет... покой нам только снится.

Много, много хуже, чем у Пушкина и Лермонтова. Тремоло в голосе, распущенность чувства, преувеличение. «Покой нам только снится». Если бы это не был Блок, хотелось бы сказать: «Что ты, любезный, болтаешь лишнее, будто не совсем трезв!»

С других, значит, и спрашивать нечего.

82.

Сопоставление Блока с прежними поэтами внезапно вызвало «вихрь мыслей»: отчего все, почти без исключения, стали писать плохо, во всяком случае, много хуже, чем люди писали прежде? Убыль талантов — вздор, таланты не убывают. В чем же дело?

Маяковский, например: талант — вне всякого сомнения, но ведь невозможно читать, книга валится из рук, не знаешь, куда бежать от этой развязности, от этого мрачного и язвительного актерства в духе какого-то футуристического Несчастливцева. Говорят, это у Маяковского была поза, нечто вроде самозащиты. Но неужели он всю жизнь только и делал, что «защищался», неужели это ему не надоело, и ни разу не пришло ему в голову, что не стоит ломаться?

Или Цветаева. У нее, правда, не то. Она была совсем другим человеком, со слухом к «музыке». Но на девять десятых невозможно читать и ее, главным образом из-за ее демонстративной сверхпоэтичности.

В чем дело? Оставив личные особенности отдельных поэтов, в чем дело вообще? Даже у Блока? По-видимому, во всяческих подчеркиваниях, в настойчивости, с которой раздробляется цельность мысли и чувства, в ошибочности прицела и в почти непрерывных перелетах. «Tout ce qui est exagéré est insignifiant», ключ, кажется, именно в этом. Слово всегда должно быть беднее и скромнее того, что за ним: только тогда и дает оно радость узнавания, открытия, вглядывания, отклика, обогащения... А стиль всей русской модернистической поэзии так щедр в обещаниях, что охарактеризовать его можно бы как вовлечение в невыгодную сделку.

83.

Три дня подряд, случайно вспомнив, хожу и повторяю с восхищением:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей,
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается...

До чего хорошо! Какая тяжесть в каждом слове! Какие простые и вечные слова!

В те годы поэзия наша дремала и нежилась в лунном сиянии Жуковского. Но вся поэзия Жуковского, со всей ее «пленительной сладостью», этого восьмистишия не перевесит.

84.

Еще о покое.

У Розанова есть в «Уединенном» запись:

— Я не хочу истины, я хочу покоя.

Замечательно! Книге сорок лет, а фразу до сих пор нельзя забыть, столько в ней печали и дребезжащих долгих отзвуков. «Я не хочу истины, я хочу покоя». Все-таки, со всеми оговорками и разочарованиями, Розанов — замечательный писатель, один из самых замечательных писателей, которые когда-либо были в России. Есть в «Уединенном» и другие записи, которых нельзя забыть: «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти». Как сказано! Или предисловие к «Людям лунного света», с рассказом о молившейся женщине, с восклицанием «и да сияют образа эти вечно!» — незабываемо. Досадно только то, что Розанов был болтун. После увлечения им, после влюбленности в него неизбежно настает время охлаждения. Русский Паскаль, как сказал не помню кто. Ну, нет, тут дистанция такая, что никакими километрами ее не измерить, и не надо бы имя Паскаля упоминать всуе. Розанов — спутник не «вечный», хотя и трудно расстаться с ним окончательно, навсегда.

Мережковские утверждали, что замечательный писатель — именно писатель — и Лев Шестов, и, кажется, Шестов сам очень ценил у себя стиль и слог. Странно! У Шестова есть огонь, есть сила, но нет никакого чутья к языку, и чего стоят одни названия его! «Разрушающий и созидающий миры», «Дерзновения и покорности»... Будто дурной перевод.

85.

Редко что доставляло мне такое удовлетворение, как то, что я узнал на днях. Толстой считал Ключевского плохим писателем и терпеть не мог его хваленых стилистических прелестей. Браво!

Есть суждения, которых не стоит даже и высказывать потому, что единственным ответом бывает упрек в оригинальничанье. Собеседник смотрит на тебя с усмешкой, колеблясь в диагнозе: что он, дурак или сноб?

Ссылка на Толстого может пригодиться. «Кое-что старик в своем деле понимал», как говорил Куприн.

86.

Если верно, что из Пушкина вышла вся новая русская литература, то есть у Пушкина две строчки — «К морю», — от которых могли бы вести свою родословную Бенедиктов и Бальмонт:

...И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег.

87.

Не только книги, но и отдельные стихотворения «имеют свою судьбу». Некоторых прекраснейших пушкинских стихов — «пьес», как любил по-старинному выражаться Ходасевич, — нигде не найти, как только в полном собрании его сочинений. А вот «Брожу ли я вдоль улиц шумных», стихотворение, написанное рассеянно и сравнительно бедное энергией (кроме конца), вошло во все хрестоматии и по традиции почитается одним из пушкинских шедевров.

Между тем у Пушкина и для Пушкина это совсем не шедевр, как не шедевр, конечно, и знаменитый сонет о сонете («Суровый Дант...»), где к тому же произошла во второй строфе какая-то странная путаница с глаголами.

88 (XX).

Ходасевич считал лучшими стихами Пушкина и вообще всей русской поэзии — гимн чуме.

Спорить трудно. Стихотворение, действительно, гениальное. Будто факел, светящийся над всей нашей поэзией.

...Бессмертья, может быть, залог!

Да, да, что тут говорить, гениально! Не факел, *а* солнце.

Но... в этих стихах есть напряжение. В этих стихах есть пафос, который, может быть, холоднее внутри, чем снаружи... Как это трудно объяснить! Ведь вспоминая даже такие стихи, гениальные *и все-таки взвинченные*, невольно спрашиваешь себя: а нет ли тут декламации, хотя бы в сотой, в тысячной доле? При таком подъеме каждое ли слово *действительно* одухотворенно? Яркости вдохновения в точности ли соответствует *его* первоначальный огонь? Короче, проще: реальна ли сущность этих стихов и так ли богата человеческая душа, даже душа Пушкина, чтобы реальность эта была возможна?

Сомнения растекаются вширь. Но у того же Пушкина ни Песнь председателя, ни «Пророк» не заменят мне стихов другого *толка*, грустных и яс-

ных, как небо. Если бы нужно было назвать «лучшие» пушкинские стихи, я, пожалуй, прежде всего вспомнил бы то, что Татьяна говорит Онегину в последней сцене романа.

Это такое же волшебство, как и гимн чуме. Но еще более таинственное.

89.

Все дело в том, где ложь и где правда. Где граница правды, где начало лжи?

Не «апофеоз бескрылости», как иронизировала Цветаева, а верность крыльям верным, отвращение от крыльев бумажных.

90 (XXI).

По поводу «Пророка».

С оговорками и поправками, при *некоторой* живости фантазии, можно представить себе, что «Пророка» написал бы Гоголь. Можно представить себе, что «Пророка» написал бы Достоевский. Но никак нельзя представить себе, чтобы «Пророка» написал Лев Толстой, хотя кто же был «духовной жаждою томим» сильнее его.

Это не простое расхождение в характерах. Тут скрыт спор, и в воображаемом споре этом правда на стороне Толстого. *Оказывается, у самого Пушкина кое-что есть такое, что недурно было бы спрыснуть толстовской серной кислотой.*

91.

Нет ни одной французской книги по теории или истории словесности, где обстоятельно не толковалось бы о понятии «sublime».

Le sublime chez Racine. Le sublime chez Victor Hugo.

Достойно внимания, что в русском языке вовсе нет такого слова.

КОММЕНТАРИИ <IX>

92 (XXXIII).

Перечитывая Чаадаева.

Не много на свете книг, которые выдерживают второе или третье чтение без того, чтобы не вызвать разочарования. Казалось мне, чаадаевские «письма» — одна из таких книг. Но нет, есть в них все-таки что-то «салонное», пусть и в самом высоком смысле этого слова. Есть что-то преувеличенно надменное, нарочито-ледяное и леденящее, чуть-чуть декламационное. Обвинительный акт России надо было бы написать иначе, в более русском складе и тоне, возможном даже при том условии, что Чаадаев писал по-французски. Надо было бы написать его изнутри, а не в позе постороннего наблюдателя.

Но действует до сих пор, и неотразимо, глубокая грусть, которой письма проникнуты. Действует музыка, в них звучащая, — не совсем, может быть, русская, но настоящая, редкого качества... Это Чаадаеву зачтется, это останется за ним навсегда. После него все-таки мало кого из русских мыслителей можно вспомнить, не чувствуя падения, разве что Герцена, — да и то не целиком, а *некоторые его несравненно-глубокие* страницы, где он не столько «борец за светлое будущее», сколько стареющий, чуть ли не во всем усомнившийся человек, — или Конст. Леонтьева.

Удивительно, что Россия становится тем ближе, чем суровее и притом вернее суждения о ней. Русский «квасной» или какой бы то ни было иной патриотизм, русское бахвальство и самоупоение нельзя выдержать. От Батюшкова с его афоризмом о Кремле, этом будто бы «прекраснейшем месте на земном шаре», в прекраснейшем городе, принадлежащем величайшему в мире народу, от Гоголя с его злосчастной тройкой до нынешних советских вариаций на те же мотивы и темы, все это ничего, кроме тошноты, не вызывает, — тем более что меры русский человек, как известно, ни в чем не знает, и уж если почудилась его расстроенному воображению удалая тройка, то должна она опрокинуть решительно все на свете. И наоборот, едва только услышишь отрицания, вроде чаадаевского, или вроде полюбившихся Мережковскому печеринских строк:

Как сладостно отчизну ненавидеть...

хочется сказать: да, *верно*, а все-таки... И эти «все-таки» уходят *так далеко*, так глубоко, что упреки теряют значение. Защитительные доводы сталкиваются, дополняют, обгоняют друг друга, пока мало-помалу не добираются до самых начал человеческой жизни: да, верно, то плохо и это *отвратительно*, но черновик нации, культуры, общества был набросан, как, пожалуй, нигде больше, замысел был такой, как ни у кого другого, и в догадках о несостоявшихся реализациях *есть*, есть все-таки основания для *привязанности* и даже гордости.

Замысел провалился, что тут спорить! (или по Бердяеву, *почти* всегда искажающему и как бы компрометирующему свои простые и верные мысли своим

скверным стилем: «то, что Бог думает о России...»). Но было в замысле этом что-то широкое, свободное, вольное, доброе, не разрушительное, а беспокойное от сознания, что нельзя достичь ничего, на чем стоило бы успокоиться. Чаадаев судит о России с высоты многовековой, величавой и по-своему удавшейся цивилизации. Но ему и в голову не приходит спросить себя: что в этой цивилизации, носящей имя христианской, осталось от христианства? И даже больше: возможно ли соединение понятий «культура» и «христианство» без того, чтобы одно не истлело в пламени другого? И возможен ли выбор?

93 (XXXIV).

Колебания, конечно, этим и вызваны: не удалось почти ничего, но хотели-то мы больше того, что удалось сделать другим. Или, по крайней мере, мечтали о большем... Если мы и вправе гордиться, то не тем, чего мы добились, а лишь тем, что мы хотели и чего не могли сделать, то есть высокой неосуществимостью русских стремлений, невозможностью воплотить их в государственных и социальных формах.

Упоенный собою русский именно тем и жалок, что этого не понимает, и при тяжбе с Западом уверен в своем реальном, ощутимом, осуществленном превосходстве. «Где им, всякой там немчуре и французишкам, до нас!» — Кто же этого не слышал? Кто не уловит в нынешних московских восхвалениях родины... *нет, простите, я ошибся: Родины с идиотской прописной буквы!* — того, что существовало и прежде, но что прежде *нередко* вызывало *и*

усмешку? Крайности всегда сходятся, и тройки, поразному запряженные, с разными ямщиками на козлах, мчатся по родным раздольям все те же. Еще недавно, здесь, в эмиграции, Шмелев только этим и дышал, и жил. Шмелев казался очень русским писателем, уж таким русским, что «русее» и не бывает, а на деле он при своем — для меня несомненном и большом — таланте, при своей страдальческой искренности, — был отступником и вел от имени России запоздалую, измельчавшую, выдохшуюся славянофильскую игру, которая ничем, кроме конфуза, кончиться не может. По-своему он любил Россию — «до самозабвения», *как написал где-то*. Но любил, так сказать, беспрепятственно, сам себя обманывая, *до — и в другом смысле «до», — сомнения, до отрицания*, и о каком ни говорил бы он величии, величию этому грош цена.

Впрочем, можно и совсем по-иному объяснить, почему нестерпим упоенный собой русский человек. Но это и тема совсем другая, с уклоном скорей к психологии, чем к истории.

Беседуя с французом, немцем, англичанином или американцем, мы не так хорошо его понимаем, как понимаем русского. Язык и возможные затруднения в его оттенках тут решающей роли не играют, и даже если смысл речи *до мельчайших подробностей* ясен, что-то в «обертонах» ее ускользает. Скажет что-нибудь плоское и пустое русский — иностранец, пожалуй, не поморщится, как сразу поморщимся мы, — и, наоборот, к фальши французской, немецкой, всякой другой окажемся именно мы менее чувствительны. Французские водевили, французские шаловливые песенки *большинству* из нас

очень нравятся, а все русское в таком же роде ничего, кроме тоскливого недоумения, не вызывает... Может быть, действительно французы в этой своей специальности искуснее нас, может быть, они легче и бойче нас остроумничают, допустим, но дело не в этом. Дело в том, что сквозь отечественную русскую пошлость мы отчетливее улавливаем коечто из убожества общечеловеческого. Нас ничто не отвлекает от ее созерцания, и по звуку голоса, усмешке, по какой-нибудь вскользь брошенной прибаутке мы безошибочно восстанавливаем целый, во всех мелочах нам знакомый удручающий мир, будто по одному позвонку — целого мамонта. А с французом или американцем мы позвонок держим в руке, не зная, откуда он и куда его отнести. Конечно, и чужеземная кичливость бывает досадна сама по себе. Но кичливость русскую воображение невольно дополняет душком из былых истинно-русских чайных со всеми их достопамятными атрибутами...

Оттого-то, вероятно, русское самодовольство отталкивает нас сильнее всякого другого, независимо от вопроса, где для него больше оснований. И, — продолжая мысль, — не в этом ли ключ ко всему гневному и презрительному, что писал Байрон об англичанах, *или* Шопенгауэр о немцах, или Бодлер о французах, вплоть до Розанова, признававшегося, что случается ему содрогаться при одном упоминании о русских. Пессимизм рождается *не от столкновения с человеком вообще, которого в мире и не существует, — а от общения с соотечественниками*, насчет которых не может остаться иллюзий. По справедливости следует сказать, что и хорошее в близких по языку и крови людях яснее, чем в других.

Писатели, в особенности романисты психологического и бытового типа, поступили бы благоразумно, если бы взяли за правило рассказывать преимущественно о соотечественниках. Клюква бывает разная, от смехотворно-нелепой до едва уловимой, и как бы ни был правдоподобен внешний облик, некоторая внутренняя схематичность в изображении людей, в иных условиях сложившихся, дает себя знать почти неизбежно. Слепок грубее, приблизительнее. Даже в «Войне и мире» французы (капитан Рамбаль, например, не говоря уж о Наполеоне) — не вполне живые люди вне той таинственно-естественной атмосферы, в которой движутся остальные толстовские герои.

94 (XXXV).

Молодой человек, который в двадцать лет или даже раньше, прочтя Достоевского, не был бы потрясен «до мозга костей», не был бы ранен как будто в самое сердце, не ходил бы сбитый с толку, недоумевающий, измученный тысячью сомнений, такой молодой человек должен бы внушить недоверие. Конечно, не о всех молодых людях речь. Существуют прекрасные, добрые, честные молодые люди, так сказать, «спортивного» склада, с которых никакие потрясения не спросятся. Но я говорю о тех, с которых спросится, *да, пожалуй, другие и не станут Достоевского читать..*

Нет писателя, который лучше выразил бы и полнее дал бы почувствовать отсутствие правды в мире *и еще* боль жизни, все-таки порой слишком острую, чтобы с буддийским спокойствием отнести ее к явлениям естественным (*ежедневные, ежеминутные*

разрывы жизненных тканей и связей, неизбежные в природе, где «царят смерть и время»; конечно, homo sapiens тоже был природой, но ему уже не по себе в ее лапах, он бьется в них, и, как бы доводы о неизбежности ни были убедительны для его ума, они возмущают его развившееся, научившееся чему-то в природе непредвиденному сердце). Правда — слово расплывчатое: что есть правда, «что есть истина?» Что такое справедливость? *Но* точного определения *быть и не может*... Что-то «не то» и «не так» в жизни, частью по вине людей, частью независимо от них, *а* значит, ни по чьей вине. От Достоевского сводит скулы, пересыхает в горле, и вовсе не после какого-либо отдельного его рассуждения, нет, а от общего ужасного неблагополучия представленного им мира. *А* в молодости к этому неблагополучию сознание *и* чувствительно: оно его не *ждало*, оно еще не утратило своей детской доверчивости. Молодой человек останавливается в тревожном изумлении: как, неужели это и есть жизнь? Откуда все это? Как же мне в такой жизни участвовать? Как исправить, можно ли помочь? Да, это первое, ни с чем не сравнимое впечатление от Достоевского *и* благотворно, и неизбежно, если только у молодого человека живая душа. Да, *да*, бесспорно...

Но...

Но тот, кто позднее не почувствовал бы, что и у самого Достоевского в его видениях и вымыслах что-то «не то» и «не так», что есть нечто глубоко произвольное — *arbitraire* — в его основном творческом представлении, тот тоже может внушить недоверие. Недоверие другого рода: не к своей *нравственной* отзывчивости, а скорей к своей умственной требо-

вательности, к способности отличить существенное от случайного, найденное от выдуманного, то есть к тому, без чего нет настоящей зрелости. *Душа-то, может быть, и стареет, черствеет, ссыхается, душа, может быть, и идет на всяческие компромиссы, «чтоб можно было жить», но в охлаждении к Достоевскому не это, не только это, играет роль. Да и не так уж опустошительны компромиссы, и от некоторых страниц «Бесов» или «Подростка» (например, от главы о визите матери в пансион Тушара) в горле пересыхает по-прежнему. И прежние вопросы встают с той же силой... Но в целом,* до чего все преувеличено, до чего схематично, «умышленно», если воспользоваться выражением *самого Достоевского*, и как шатко это грандиозное здание, как торопливо, в каком смутном вдохновении *было* оно возведено, будто из огромных, невиданных камней, но без фундамента.

Если у меня всегда было и теперь остается какое-то сомнение в отношении Андрэ Жида, одного из самых проницательных людей нашего времени, то в числе других причин и потому, что он до глубокой старости сохранил фанатическую преданность Достоевскому. Как он, казалось бы, все понимавший, во всем безошибочно разбиравшийся, мог тут сорваться и срыва не почувствовать? Андрэ Жид был чрезвычайно умен, и притом ум у него был не столько творческий, деятельный, полный своего содержания — что нередко приводит к тому, что в голове не умещаются чуждые, чужие мысли, и она *отбрасывает их*, — сколько восприимчивый, открытый. А на Достоевском он споткнулся. Он читал Достоевского всю жизнь, он питался им и все-таки его недопонял. Мо-

жет быть, объяснение в том, что Жид не знал русского языка. Достаточно сличить две-три странички любого из французских переводов Достоевского с оригинальным текстом, чтобы убедиться, что главное, то, непередаваемо «достоевское», улетучилось и что в гладких, плавных фразах нет и следа знакомого нам лихорадочного, вкрадчивого, назойливого, единственного, неповторимого, несносного говорка.

95 (XXXVI).

При всем том, что произошло в последние десятилетия, при тех сквозняках, которые дуют теперь во все щели нашего мира, Достоевский должен был стать «властителем дум», *или не дум, а* душ. Иногда говорят, что литература влияет на жизнь, а не жизнь на литературу: *вздор*. Достоевский, может быть, повлиял на душевный облик наших современников, но только потому, что время само подготовило ему почву для этого. *Революции и войны не им вызваны, но именно* революции и войны расшатали умы и нервы, наполнили человеческие души отвращением к установившемуся укладу существования, создали тот тип анархически-мечтательного, раздраженного и как-то навыворот-эстетствующего интеллигента, которых в наше время хоть пруд пруди.

У него, у Достоевского, были свои причины быть больным. У его теперешних поклонников — причины совсем другие. Но в состоянии обнаружилось соответствие, и нашлись *в нем* черты если и не вполне одинаковые, то сходящиеся, одна за другую цепляющиеся, и это-то и вызвало страстное, исключительное влечение. Осуждать нечего и некого, но и разде-

лять всеобщие восторги не обязательно. Достоевский ответствен за очень многое в современных литературных и художественных настроениях, — не виноват, а именно ответствен, — и, право, если хочется сказать «ответствен за порчу вкуса», то не в том значении слова «вкус», которое подразумевает любовь к изящным картинам и звучным стихам. Он ответствен за показную, непроверенную тревогу, *хлынувшую в проломленную им брешь*, за опрометчивость в основных положениях, за новизну «во что бы то ни стало», провозглашенную, увы, Бодлером, но которую он всеми своими открытиями и догадками, сам о том не думая, утвердил, за уверенность, что все, что угодно, можно вообразить и изобразить, раз мир все равно с каждым годом все больше уподобляется сумасшедшему дому. Короче, за коренную беззаконность *тем и* положений, за безумное метафизическое «все позволено», которое, раз прорвавшись, не скоро и не легко будет загнано обратно.

Достоевский, будто весь вытянувшись, глотнул воздуха, которым до него никто не дышал, и, собственно говоря, главный, даже единственно-важный вопрос *о нем* сводится к тому, был ли его опыт трагически-никчемным экспериментом, с неизбежным финалом у разбитого корыта, или действительно был обогащением, расширением горизонта. Было прозрение или был бред?

Вопрос риторический, если отнести его к тем людям, которые теперь распоряжаются наследием Достоевского как своим неотъемлемым достоянием. Никаких нет просветов из нашей жизни в иную, крышка захлопнута плотно, окончательно, нравит-

ся нам это или нет! Достоевский-то сам, может быть, и в силах был в своей разреженной атмосфере жить, но у них, у его последователей, закружилась голова, только и всего, и принялись они болтать лишнее, высокомерно поглядывая на тех, кто остался *трезв*. Им-то что, им море по колено, и миражами своими они восхищены, — до тех пор пока не настанет утро, рассвет и все опять *не* водворится на свои прежние места. Скучные, бедные места, пусть и в скучном, бедном, плоском мире! Но других нет, и не стоит обольщаться, чтоб в конце концов опять стукнуться головой о крышку.

Все это должно *бы* когда-нибудь обнаружиться. Достоевский заплатит, вероятно, за свое теперешнее влияние и славу долгим, на некоторое время даже преувеличенным помрачением, — не той умеренной, почтительной переоценкой, которая постигла Тургенева, а озлобленной, несправедливой, вроде как после выхода из ловушки. Кстати, Толстой, не любивший ни того, ни другого, сказал: «Тургенев переживет Достоевского» (у Бирюкова). Что это значит? Не мог же он не *понимать*, что все-таки, во всех отношениях, Достоевский больше Тургенева, даже и как художник. По-видимому, Толстой о чем-то подобном и думал и, сопоставляя сравнительно-скромную и однообразную кухню с другой, роскошной, но сильно приперченной, оказал доверие первой.

96 (XXXVII).

«Проблемы...»

Если говорить о «проблемах», то, разумеется, Достоевский неизмеримо щедрее и занимательнее

Толстого. Да и кто же не знает, что задетыми или поднятыми им вопросами живет добрая половина новейшей западной литературы?

Но «проблемы» по существу призрачны, условны и требуют несколько суетливого участия в современной умственной путанице, без чего исчезают. «Проблемы» требуют аппетита к этой путанице. Конечно, бессовестно было бы со стороны любого из нас притворяться многомудрым пустынником, для которого *ничто*, кроме вечности, не имеет значения, и уж лучше окончательно в «проблемах» увязнуть, чем ломать комедию. Но Толстой-то комедии не ломал, и для него действительно «проблем», во множественном числе, не существовало. Он о них, вероятно, и не думал, а может быть, по складу его огромного, но малоподвижного, плохо дробившегося ума, они и не были ему доступны. Для «проблем» нужно проникать в щели, а глыба в щели не пройдет... Как бы то ни было, Толстой был на том духовном уровне, при котором «проблем уже нет, а не еще нет.

Когда-то. *лет тридцать пять тому назад*, Вячеслав Иванов в прениях по какому-то докладу сказал фразу, поразившую меня и запомнившуюся, — и какой он был мастер окутывать всякую, даже заурядную свою мысль волшебными туманами: «в природе нет алгебры, ее выдумал человек...». Не совсем верно, если вдуматься. В строении природы алгебра есть, но она от человека скрыта, и человек ее не выдумал, а обнаружил. «Проблемы» тоже не выдуманы, но в стихиях действительно их нет, *а* возникают они, скорее, в истории. Основное же отличие Достоевского от Толстого именно в том, что у одного был слух и чутье к истории при более чем натяну-

тых отношениях с природой, а другой только в природе, *т. е.* в стихиях, и жил, посматривая на историю хмурым, рассеянным и недоверчивым взглядом.

История движется, дробится, стирает в порошок человеческие судьбы и в ходе своем не может не оставлять за собой тысячи недоумений и загадок. Достоевский опередил свою эпоху, уловив, подхватив все, что она несла или только обещала, и наполнил свои романы намеками, отражениями, возражениями, утверждениями, развитием, искажениями ее сложнейшего идейного содержания. Читая «Бесы», например, мы *приводим мысли* к тому, что происходит сейчас, и спрашиваем себя, верно ли оказалось пророчество. А иногда современность, «актуальность» Достоевского сказывается и в менее отчетливом виде, доходя до едва различаемых оттенков в воззрениях и суждениях. *Уже* Ницше признавался, что научился у Достоевского бóльшему, чем у кого бы то ни было, а от Ницше до, скажем, Сартра заимствования продолжались непрерывно, порой безотчетно, порой сознательно, но всегда с такой наглядностью в преемственности, что без Достоевского, кажется, иные авторы и появиться на свет не могли бы.

Достоевский необычайно «интересный» писатель, и есть какое-то странное — и стоящее того, чтобы над ним задуматься! — соответствие между полицейски-авантюрной занятностью его фабул и тревожным, дразнящим изобилием затронутых им «проблем». У *одного* дух захватывает от любопытства, кто убил старика Карамазова, или сознается ли Раскольников, у других от того, можно ли вернуть билет на право входа в жизнь, или что именно

символизируется банькой с пауками, но глаза горят, книга зачитывается «до дыр», ночь проходит без сна. Конечно, и над «Анной Карениной» ночь порой проходит без сна. Но едва ли с тем же голым любопытством, едва ли с волнением, вызванным какой-либо особенно животрепещущей «проблемой». *Alain*, тончайший аналитический ум, и притом страстный почитатель Толстого, сказал о его мыслях: «...ces robustes pencées de l'âge du fer»... И совершенно верно: железный, даже каменный век! В природе нет «проблем», нет личности, свободы, большевизма, всеобщей ответственности, государственной необходимости, европейской культуры, «страны святых чудес» и прочего, и прочего, а два-три вечных, как сама природа, вопроса не поддаются ни развитию, ни разработке и притом все-таки несут в себе всю мировую поэзию, все искусство от первого дня до последнего. *Князь Андрей не понимает, отчего хочется ему плакать, когда поет Наташа, а объяснение Толстого только к тому и сводится, что объяснить этого нельзя. Но нельзя и отбросить. Есть что-то в душе человека, чего она не может вместить... Но что? Откуда? Куда это «что-то» рвется? Зачем рвется?* Неизвестность остается *в точности* такой же, какой была тысячи лет тому назад и какой будет через другие тысячи лет. В промежутке можно, разумеется, заниматься «проблемами», и даже не только можно, но и необходимо, — поскольку человек в истории живет, от нее страдает и с ней связывает свои надежды. Еще раз скажу: нелепо и бесчестно пофыркивать на историю, бежать от нее *со всеми ее неурядицами*, прикрывая бегство мнимой преданностью мнимым высшим, «единым

на потребу», интересам. Но когда раз в столетье является человек, естественно обращенный лишь к «самому важному», нельзя и не почувствовать своего перед ним ничтожества.

(Не могу отказаться от кавычек при слове «проблема». Иностранные слова законны и необходимы, особенно в языке еще не вполне сложившемся, но от «проблем» веет чем-то слишком уж книжным, интеллигентским, приват-доцентским. Дурное слово, не само по себе дурное, а будто развращенное дурным и часто никчемным употреблением! Один видный философ-богослов читал несколько лет тому назад публичную лекцию, озаглавленную «Проблема рая». Ну как не почувствовать к «проблемам» отвращения?)

97 (XXXVIII).

В сущности, Достоевский в русской и даже в мировой литературе — только эпизод.

Но *эмиграция* — тоже эпизод... И сразу вместе с этим внезапно мелькнувшим сопоставлением возникает, врывается другая мысль: как жаль, какое неповторимое несчастье, что он не дожил до наших дней! Никто в мире не в состоянии сказать того, что сказал бы он — о человеке, об одиночестве, о потере всех прав и всех опор, о нищете, и не только нищете материальной, об исчезновении всяких обязательств, о горестном счастье, с этим связанном, о грубости и безразличии окружающего, о тупой жестокости истории... Есть сейчас один писатель, который на эту тему набрел, писатель, у которого чутья больше, чем дарования, — Ремарк в «Триумфаль-

ной арке». Но Ремарк, увидев и наметив тему, лишь скользнул *около нее*, да если бы это и не было так, где же у него силы, чтобы с ней справиться?

Тут нечего было бы описывать, не о чем рассказывать. Нет, я представляю себе Ивана, который на эту тему поговорил бы с Алешей, и те слова, которые нашел бы Иван, чтоб растолковать все случившееся раз навсегда, в предостережение будущему, как будто еще *и* не к тому готовому. Достоевский оказался бы в области, где у него нет соперников, он один попал бы в верный, нужный тон, его горячечный пафос вырвался бы на этот раз из самых глубин его духа, а если бы будущее, по всей вероятности, и прошло мимо, «не моргнув», то осталось бы утешение, что кто-то хоть попытался его расшевелить, остановить, в уровень с веком, с ужасной темой века! Ну да человек бывает в положении, когда он никому не нужен и не может никому принести пользы. Что же из этого? Для того ли была культура, развитие, философия, все прочее, дивная наша музыка, для того ли... ловлю себя на желании перефразировать незабываемую страницу Леонтьева об Александре Македонском «в пернатом *его* шлеме» и о прочих величиях, кончившихся гражданином в «куцем пиджачке»... для того ли, чтобы прийти к заключению, что такой человек действительно только обуза и нечего с ним считаться? Для того ли две тысячи лет тому назад в мире вспыхнул пожар, чтобы при последних его догорающих угольках невозмутимо связывать мораль со статистикой и одно выводить из другого? И притом с передержками, с недомолвками и малодушной боязнью провозгласить во всеуслышание то, что таится в уме?

Ну да, может быть, действительно есть «нисходящий» класс и есть «восходящий». Что же из этого? Если те, которые «восходят», хотят действительно до чего-*нибудь* довзойти, не следовало ли бы им задуматься о цене и оборотной стороне восхождения? О том, что все-таки нет масс как неделимого целого, а есть миллионы отдельных воль, стремлений и *возможных* страданий? О круговой поруке перед неизбежностью смерти и о том, как «бестиален» культ молодости? О том, не разлетится ли при рубке весь лес в щепки? О том, стоит ли игра свеч?.. Я только начинаю бередить тему, и уже, как *в* бирюльки, вопрос тянется за вопросом.

Человек до наших дней не отдавал себе отчета, что такое общество. Как неизменно бывает в благополучные времена, он жил *посреди* декораций и, не имея случая испытать их прочность, не догадывался, что они из картона. Но декорации, очевидно, подгнившие, разлетелись при первой же буре, и истина обнаружилась, — и притом не только в обнаженном, полном, трагическом виде, как в России, но и из-под еще держащихся обломков и лохмотьев, как здесь, на Западе, *что остро почувствовал Ремарк*. «И от судеб защиты нет». Нам, русским, это дано было узнать ближе, чем кому бы то ни было, и в этом смысле мы могли бы кое-что сказать остальному миру. Но еще раз, как жаль, что нет Достоевского! История ошиблась, *поторопилась* выпустить его на полстолетия раньше, чем следовало бы. Он бы нашел в наши дни вдохновенье для новых «записок» из нового «подполья», которые краской стыда легли бы на целую эпоху и на столь дорогое ей понятие прогресса.

Остракизм, которому подвергнут Достоевский в советской России, принято объяснять его реакционными взглядами, *т. е. тем же, что побуждало, например, Милюкова относиться к нему отрицательно*. Но корень советской вражды к Достоевскому, несомненно, глубже. Из реакционера сделать передового, *бодрого*, свободолюбивого деятеля в Москве, когда нужно, умеют, и недалеко ходить — Гоголя к юбилею там препарировали так, что от всех его мучений и сомнений не осталось и следа. Над Достоевским, во внимание к его всемирной славе, было бы проделано то же самое, если бы не этот его беспокойный, взрывчатый склад, который опаснее консерватизма. Удивительное замечание Толстого, — по-моему, самое проницательное, что о Достоевском вообще было сказано, — «в нем есть что-то еврейское» — вспоминается сразу, как продолжение и подтверждение догадки. Евреи, до известной степени, были и остаются эмиграцией человечества, с теми же темами, теми же обидами и укорами.

98 (XXXIX).

«Они нас ненавидят, и они нас боятся», — *прошептал как-то Мережковский зловещим шепотом на заседании «Зеленой лампы», под занавес, будто поверяя с эстрады одну из самых затаенных своих догадок*.

Они — это, конечно, европейцы, Запад. Мережковский утверждал, что ему давно уже приходится сталкиваться с неприязнью к России и что отношение это, *обострившееся теперь*, вовсе не ново и выходит далеко за пределы теперешней политики.

По привычке своей он сгустил краски, «нажал педаль», ужасаясь ненависти и боязни. Но за ораторской игрой было и верное чувство.

Действительно, неприязни ко всему русскому на Западе много. В частности, через все пренебрежительные оценки, *все* отрицательные рассуждения о России проходит одна мысль: Россия ничего оригинального не создала, она все заимствовала у других. Это было одним из основных доводов Чаадаева, об этом писал маркиз де Кюстин в книге, возведенной теперь в «пророческие», и где при несомненном уме и остроте взгляда есть и изрядная доля невежества, лжи и вздора, а с тех пор это повторяется на все лады. Даже Тургенев в «Дыме», раздраженный слепым и наивным русским мессианизмом, несколько опрометчиво присоединился к общему хору. В России будто бы нет ничего, полностью ей принадлежащего, кроме варварства, рабства, тьмы и в лучшем случае какой-то нигилистической жажды все стереть с лица земли ради неясных будущих свершений.

Не будем сейчас спорить «по существу». Согласимся, что действительно русская цивилизация в последние два века была *во многом* слепком с цивилизации европейской... Но она-то сама, эта новая европейская культура, полностью ли она самостоятельна и оригинальна? Все то, чем она живет, ею ли единственно и создано? В вопросе этом нет никакого злорадства, нет и тени полемической запальчивости. Наоборот, Европа была и остается для нас «страной святых чудес», тысячу раз я готов повторить это, но, с совершенной искренностью кланяясь ей, храня в сердце бесконечную ей благодарность, позволительно вспомнить все-таки, что и ей

самой есть кого благодарить за уроки. Весь смысл культуры — в преемственности, в отказе от национальных «авторских прав», и нельзя, не сойдя с ума, требовать в этой области оригинальности во что бы то ни стало. Новая Европа ничуть не теряет своей «святости» от сознания, что она не только творила, а и перерабатывала. Но *пусть* и за нами признает она право на переработку, *по своему же примеру.*

В мире было только два подлинных, несомненных первоисточника — Афины и Иерусалим, да еще, пожалуй, — но в меньшей все-таки степени, на более низком уровне, — Рим, откуда человечество взяло государственные и правовые идеи. Бесспорно, и английская, и французская, и итальянская культуры внесли что-то свое, неотъемлемое в общее достояние. Англии мир обязан высоким понятием гражданственности, истинного народовластья, — но даже и это, казалось бы, столь характерно-британское по духу, британски-горделивое по складу, могло ли бы оно возникнуть без того, чтобы римские и палестинские веяния, скрестившись и смешавшись, не принесли плодов? А Франция? «Париж — новые Афины», как с видимым и понятным удовлетворением говорят сами французы. Действительно, это новые Афины, откуда в течение нескольких веков струился свет на весь остальной Запад. Но ведь те-то, настоящие Афины, маленький город на пыльных раскаленных скалах, чудо истории, *«новыми» не были и* никаких сравнений в памяти не вызывали? Ренан ездил молиться на ступенях Акрополя и был прав: если у него был Бог, то именно Тот, Который там впервые людям открылся. Паскаль *бы*, конечно, поехал молиться в другой город, дальше

на восток, но и он чувствовал, что его «дом», его истинная «родина» — вне той земли, где приходится ему жить. В Британском музее хранятся обломки мраморов, когда-то украшавших Парфенон: на них «без волнения смотреть невозможно», и вовсе не потому, чтобы они действительно казались так исключительно прекрасны, — в этом разбирается один человек из тысячи, — а потому, что они «оттуда», что их *видели Платон и Софокл*... Все европейское пришло «оттуда», осложнившись в течение веков иными, христианскими мотивами. «Фаустовское» — по Шпенглеру — томление о бесконечности — от христианства. Нет в новой европейской культуре ни одной великой книги, ни одного сколько-нибудь значительного явления без этой двоящейся родословной, и, следовательно, оригинальность этой культуры все-таки условна, и в процессе ее ковки были переплавлены иные, не ей принадлежащие руды... Конечно, у нас, русских, все это было проделано слишком торопливо, и даже с каким-то механическим привкусом, что и вызвало нескончаемый, неразрешимый славянофильско-западнический спор. Конечно, мы многое получили в готовом виде, из вторых рук. Конечно, были мы не столько наследниками, сколько учениками. Но если бы древний римлянин взглянул на то, что сделали потомки презираемых им готов и галлов, он, пожалуй, тоже обвинил бы их в обезьянничанье — и при этом тоже ошибся бы. В культуре почти все *то*, что кажется подражанием, есть продолжение, обработка, усвоение общих сокровищ, а сказать, что Россия ничего в этом смысле не сделала, может только тот, кто склонен заведомо называть белое черным! Нас

попрекают Византией, вернее, византийством, темным, формальным, лукавым византийским духом, — но неужели русское христианство, например, у Нила Сорского, или более позднее, вплоть до Федорова, византийским и осталось? Или неужели сквозь «галломанию» не прикоснулась Россия к другому, вечному источнику всяческой ясности и гармонии?[1]

До известной степени, значит, и со всякими оговорками, и «мы» и «они» — в одном положении, и «мы» и «они» должны бы сознавать себя должниками. Разница есть. История оказалась к «ним» благосклоннее. Но и «мы» и «они» живем на чужой счет.

Спора не стоит начинать. Спор был бы пустым, а по нынешним временам даже и тягостным, *если принять во внимание, что в Москве сейчас от всякой преемственности открещиваются*. Спорить, в сущности, не о чем, и будущее рано или поздно наведет во всех этих недоразумениях порядок. Но трудно оставить без возражений или хотя бы только примечаний все то несправедливое, что было о России написано.

[1] Тэн — по свидетельству М. де Вогюэ — утверждал, что Тургенев — «единственный эллин в новой литературе». Это, конечно, преувеличение. Но возможно, что сквозь Тургенева Тэн почувствовал его учителя Пушкина, и если это так, никакого преувеличения в словах его нет.

КОММЕНТАРИИ <X>

99 (LXXV).

Думая о том, что сейчас происходит в мире, о том, что сделало двадцатое столетие с мечтами и надеждами прошлого века, многие из нас, вероятно, с особой горечью вспоминают все написанное о «народе-богоносце».

Политические предсказания и догадки о судьбах человечества — дело исключительно сложное и рискованное: за редчайшими исключениями — вроде лейбницевского описания грядущей французской революции — все они оказываются плодами слепой фантазии. Очевидно, историческая закономерность не так сильна, как принято считать, или, во всяком случае, основана она не только на том, что поддается учету и анализу, но и на том, что остается неуловимым.

С «народом-богоносцем» нам очень не повезло. Как известно, некоторые из самых глубоких русских умов — Тютчев, Достоевский и другие — утверждали, что Россия призвана спасти мир: Запад будто бы подпал под власть дьявола, Россия служит Христу и должна, значит, озарить своим светом заблудившуюся, обезумевшую и грешную часть человечества. Это очень русская мысль, проходящая через почти все русские писания, окрашенные в славянофиль-

ские тона. В некоторых своих разветвлениях — у Данилевского например, — она почти доходит до нетерпения в ожидании неотвратимой будущей финальной схватки или, точнее, войны, этого «единственного достойного способа решения мировых вопросов».

Сейчас Запад с Россией как будто поменялись ролями, и об этом одинаково часто приходится и читать и слышать: в наше время Запад будто бы представляет христианство и христианскую культуру, Россия представляет сатану и все сатанинское. *Это утверждение, именно в такой лапидарной форме, сделалось в наши дни чуть ли не аксиомой, и всякое упоминание о прежних славянофильских домыслах неизменно сопровождается указанием на перестановку задач и стремлений. Еще немного, и мы при русской склонности к крайностям услышали бы, пожалуй, о «богоносце-Западе».*

Долю истины, долю иллюзии в этих современных суждениях каждый определит по-своему — на то ведь это и современность! Но вот что, однако, ни сомнению, ни спорам не подлежит: со всем строем прежней русской мысли, поскольку она нашла свое выражение у Достоевского или у Тютчева, соображения насчет обмена ролей не имеют ничего общего.

Тютчев как свидетель в данном случае ценнее и важнее, чем Достоевский, хотя бы потому, что последовательнее его. Знаменитая его статья о «России и революции» есть своего рода манифест или катехизис христианского призвания России, как отчасти и вторая статья, о «Римском вопросе», с ее величественным и картинным заключением: русский

царь, благоговейно павший ниц в соборе Св. Петра, а вокруг него, символически, вся Россия на коленях тоже.

Тютчев, несомненно, признал бы, что в наше время Россия с колен встала и христианское свое служение отвергла. Но признал ли бы он, что на колени опустился Запад? Нет ни малейшего основания утверждать это.

Если бы Тютчев, Достоевский или такие славянофилы, как Хомяков, а еще лучше Ив. Киреевский — менее блестящий в мыслях, конечно, но более глубокий в чувствах, с мыслями связанных, — если бы вышли они из могил и взглянули на современный мир, то в соответствии со своими основными утверждениями должны были бы признать, что христианского лагеря, христианского «стана» на земле больше нет: осталось два сатанинских лагеря, или, на крайность, один полностью сатанинский — в России, другой полусатанинский — на Западе.

По Тютчеву, по Достоевскому, по славянофилам, в неумолимом следственном согласии со всей этой линией русской мысли, сатана уже победил, и сейчас происходит нечто вроде «домашнего спора» между подвластными ему силами, без того чтобы спор этот мог иметь решающее значение. Решающие события уже произошли, а что произошли они иначе, по-другому, чем хотелось бы и чем было предсказано, дела не изменяет.

Исчезла христианская, царская, православная Россия. Новая Россия неожиданно обошла Запад слева и заставила его для борьбы с ней, а то и просто для разговора с ней, сделать крутой поворот на сто восемьдесят градусов. Но при этом Запад остал-

13 Зак. 3049

ся таким же, как был. Поворот изменил его позу, то положение, в котором он стоял, но не изменил его сущности.

Все, что отвращало Тютчева, осталось или даже усилилось. Вспомним: народовластие, основной демократический принцип — для Тютчева принцип безбожный, ибо это «власть человеческого “я”, бесконечно умноженного в числе». А человеческое «я», предоставленное себе, в корне враждебно христианству, и французская революция была не чем иным, как «апофеозом этого я». Кого Запад признал своими духовными вождями? Папу Григория VII и Лютера. Никогда Россия не согласится счесть Лютера за христианина, да и католичество осталось ей чуждо именно потому, что оно Лютера в себе несло, было им беременно, поскольку с самого начала возвеличило разум и на нем основало свое здание. Лютер — плоть от плоти католичества и был в нем логически-неизбежен (это, впрочем, мысль не Тютчева, а Ивана Киреевского, и мысль очень верная).

Об этом толковали русские мыслители сто лет тому назад, а с тех пор ничто не изменилось. Смирение, столь им дорогое, никого в западной культуре не соблазнило. «Эти бедные селенья, эта скудная природа» исчезли в России за всякими электрификациями и Днепростроями, и если то, о чем сказано в последней строке тютчевского стихотворения — навеки незабываемого, чудесно одушевленного, будто насквозь светящегося! — если об этом глупо и кощунственно было бы говорить в применении к нашей земле, то не менее глупо и кощунственно было бы и делать географические перестановки.

Для этих видений нет больше места в мире. По Тютчеву и по всем его единомышленникам, игра проиграна, темные силы восторжествовали, а если между собой они не ладят, то от исчадий ада и ждать нельзя мирного сожительства.

Не думаю, чтоб эта философия — в наши дни, по ходу истории, оказавшаяся столь скорбной — пришлась кому-нибудь по сердцу. Не думаю, чтобы кто-нибудь попытался ее гальванизировать. Мысль приноравливается к обстановке, ищет в ней опоры, пищи и выхода... Но нельзя при этом искать какой-либо поддержки в великом русском религиозно-политическом вдохновении прошлого века. И нельзя на него ссылаться, говоря об изменении ролей.

100 (LXXVI).

Более полутораста лет тому назад Карамзин, под непосредственным впечатлением французской революции, задумался над вопросом, который стоит перед нами и до сих пор: как могло случиться, что идеи и принципы, несомненно, благотворные привели к невиданным в истории ужасам? в чем дело? случайно ли это?

«Век просвещения, я не узнаю тебя! В крови и пламени, среди убийств и разрушений я не узнаю тебя! Кто мог думать, ожидать, предвидеть? Где люди, которых мы любили? Где плоды наук и мудрости? Сердца ожесточаются ужасными происшествиями... Я закрываю лицо свое...»

Много позднее Герцен, — у которого не было оснований относиться к Карамзину с особой симпатией, — вспомнил эти слова и признал, что они

«бьют в самую точку». Еще позднее, в 1904 году, Лев Толстой записал в дневнике своем мысль если не совсем однородную, то все же задевающую те же самые темы:

«Французская большая революция провозгласила несомненные истины, но все они стали ложью, когда стали вводиться насилием».

Вероятно, Карамзин согласился бы с Толстым. Но за ним остается то преимущество, что он в отмеченных и Толстым фактах увидел загадку и в явно взволнованных словах передал ее на рассмотрение и возможное разрешение людям следующих столетий.

В самом деле, если и верно, что «насилье превратило истину в ложь», то надо бы спросить себя: откуда возникает насилье? почему? Есть ли надежда, что в будущем торжество свободы и равенства обойдется без насилья, подобно тому как в России, в 1917 году, на несколько дней почти все поверили, что революция действительно останется «бескровной»?

Карамзинская загадка разрешается порой до крайности элементарно, так сказать, по-обывательски. Объяснение должно будто бы свестись к тому, что властью завладели негодяи, жестокие, беспринципные, ненасытно-честолюбивые люди, которые ради ее удержания согласны на все решительно. Кое-что в этом наблюдении верно, но беда-то в том, что это не столько объяснение, сколько именно наблюдение. Ничуть не идеализируя и не драпируя под добродетельных овечек ни Робеспьера, ни Ленина, надо бы все-таки вглядеться в сущность вопроса, на которую поверхностные психологические замечания ответа не дают. Сделаем для ясности все необходимые уступки: признаем, что и в идеях, ро-

беспьеровских или ленинских, «плоды наук и мудрости» оказались искажены, что в их личной окраске это идеи фанатические, узкие, пусть даже изуверские... Но вопрос и после этого остается вопросом во всей своей неумолимой, поразившей Герцена простоте. Революции совершаются во имя чего-то несомненно хорошего, правильного, нужного и справедливого. Почему вырождаются они во что-то злое и отталкивающее? Каким образом из добра возникает зло? Неужели действительно потому, что во главе доброго дела становятся злые люди? И если даже это так, чего же эти злые люди в конце концов хотят?

Как во всяком сложном историческом явлении, причины тут, конечно, скрещиваются и сплетаются. Нет единой, решающей причины, их множество, и в каждом отдельном случае причины общие, постоянные скрыты другими, связанными с данной эпохой и ее деятелями. Но кое-что, общее и роковое, выделить можно.

Народные волнения и перевороты сколько-нибудь длительные и глубокие движутся и одушевляются двумя идеями: идеей свободы и идеей справедливости или, иначе — равенства. Но понятия эти вовсе не дополняют одно другое, как мы часто по инерции считаем, а друг друга исключают. Никакой гармонии между ними достичь нельзя, до тех пор, по крайней мере, пока человек останется таким, каков он сейчас, — и оттого-то третий член великого революционного символа веры — «братство» — в наше время стыдливо опускается и заменяется другим, менее лицемерным: не «брат», а «товарищ» или всего только «гражданин». Если бы

достижимо было братство, все было бы сглажено, все противоречия сами собой разрешились бы, и свобода с равенством, чисто по-карамзински, в слезах обнялись бы и установили бы между собой вечный мир. Но братства нет, а равенства человек не хочет.

В этом, вероятно, самая сущность, само острие вопроса: равенства человек не хочет или, во всяком случае, им не удовлетворяется. Он мечтает о нем, он требует его, пока от недостатка социальной справедливости страдает и пока верит, что всеобщее правильное *распределение* всякого рода благ должно положение его улучшить. Если представить себе горизонтальную черту, символизирующую уравнение всех людей в обладании земными сокровищами, человек стремится к этой черте, пока находится под ней, ниже ее. Достигнув ее, он рвется вверх, не говоря уже о том, что находящиеся наверху ни малейшего желания спуститься не проявляют, разве что в самых исключительных случаях, — примером которых должны бы остаться в истории наши декабристы, доказавшие, что не всегда все-таки «человек есть то, что он ест».

Русская революция вначале сделала ударение на свободе и в лице первых ее руководителей была именно идеей свободы одушевлена. О горизонтальной черте равенства мало кто думал, а если и думал, то мысленно допускал ее лишь там, где она могла бы быть проведена безболезненно: равенство избирательных прав, например. Все февральское, какими бы подземными толчками подготовлено оно ни было, предстало под ярлыком свободы и потому мало кого испугало, а, наоборот, почти всех обрадовало, — кто же, в самом деле, свободы не хочет? Но октябрь, на

словах от свободы не отрекшийся, совершился во имя равенства, и никакие захваты власти, ни даже успехи в гражданской войне не были бы возможны, если бы мечта о равенстве, в самых примитивных ее формах, не владела десятками миллионов людей, не подозревавших, чем обернется она в будущем. Октябрьский переворот мог бы, конечно, кончиться неудачей по причинам случайным, то есть местным, временным, психологическим, военным, каким угодно другим. Но по общему, основному его устремлению, — выразившемуся хотя бы в формуле «грабь награбленное» — торжество было ему обеспечено, тем более что свободе он, казалось, угрожал только «постольку-поскольку» и, не церемонясь в отношении бывших баловней жизни, всем другим, то есть огромному большинству, обещал довольство и покой.

Вероятно, и многие из тех, кто движением тогда руководил, — или думал, что руководит, — убеждены были в возможности гармонического сочетания равенства со свободой. Не Ленин, конечно, дальновидный, отбросивший всякие иллюзии человек, но, скажем, Каменев или краснобай Луначарский, искренне, кажется, поверивший, что ворота в рай распахнуты и, после первых передряг, ему как «наркому» предстоит беспрепятственно сеять разумное и вечное. Однако вскоре истина стала очевидна, ошеломив одних, заставив других изощряться в «революционной диалектике», т. е. в более или менее бесстыдной болтовне. Истина обнаружилась: от свободы не осталось ничего, ни для кого, и вовсе не потому, чтобы октябрь сбился с пути, изменил себе, нет, наоборот, потому, что он изменил бы себе, если бы свободы не уничтожил.

Конечно, это лишь схема того, что произошло, а жизнь мало бывает похожа на схему. Еще раз: бесчисленные, почти неуловимые мотивы должны были сплестись, прежде чем образовать реальное историческое целое. Но схема тоже имела значение и, вероятно, не меньшее, нежели что-либо иное... Движение по линии свободы, то есть со свободой в качестве конечной цели, сопротивления не встречает. Движение по линии равенства наталкивается на бесчисленные «не хочу» не только сверху, но и снизу, задолго до всех проблематических будущих свершений. Отталкивает и ужасает новый, неожиданный тон власти, с первыми угрозами, с явственно ощущаемым впереди переходом от простого понуждения к чему-то неизмеримо более бесчеловечному и беспощадному.

Свободу можно, так сказать, «декларировать», без дальнейшей опеки над ней. Равенство можно было бы только навязать силой, и стремление к нему неизбежно ведет к контролю над поступками, действиями, а затем и над мыслями каждого отдельного человека. Каждый отдельный человек — как правило, с несомненными из него исключениями, — заботится прежде всего о себе. Даже веруя в достижимость свободы и благополучия для класса как живого целого, он не согласен ради этого целого жертвовать собой. Класс, общество по сравнению с ним самим — понятия почти ирреальные, условно живые, книжно-живые, как и пресловутое «классовое самосознание». Нет класса, есть Иван Иванович, который хочет, чтобы жена его ходила в шелковом платье, недоступном для жены Петра Петровича, и, что особенно удивительно, от этого шелкового платья Ивану Ивановичу меньше радости, если жены

всех Петров Петровичей в состоянии завести себе такие же! Именно так ежедневные, едва заметные многомиллионные маленькие взрывы сливаются в глухое, стихийное противодействие теоретически праведному и, по Карамзину, «святому» стремлению. Безотчетно или сознательно, человека тянет обратно, в первобытный лес, и никаких приглашений выйти оттуда он к себе лично не относит (а стремление в самом деле «свято», хоть и находится в противоречии со всем тем, что можно бы назвать поэзией жизни, прелестью жизни, восхитительной пестротой жизни, — и это-то и заставляет людей константинолеонтьевского типа, эстетически чутких, но этически глухих, бледнеть от ярости и презрения при одном упоминании о нем).

Неизбежно, само собой, стремление теряет энергию и слабеет. В непрестанных столкновениях искажается самое вдохновение его. Начинается игра словами, вроде того, что «равенство» не есть «уравниловка», хотя при зыбкости всех этих понятий и не видно, как могла бы безупречная, окончательная социальная справедливость без «уравниловки» обойтись.

Полицейское рвение, поощряемое сверху, расцветает пышным цветом. Волчьи инстинкты вырываются наружу — и в результате получается та страшная карикатура на общее счастье, на рабочий и демократический рай, которую нам и нашей эпохе впервые дано видеть во всей ее полноте.

Выводы из этих размышлений пессимистичны, в особенности если верно — как утверждал Бергсон в последние годы жизни, — что человек усовершенствованию не поддается и что сердца и души наши остаются точно такими же, какими

были в каменный век. Но в каменный век никто о справедливости не говорил. В наше время есть к ней глубокое влечение, и те, кто при этом охвачен и нетерпением, кто не довольствуется, как британские социалисты, осторожным, кропотливо упорным, шаг за шагом, ее отстаиванием, те приходят к утверждению насилия в любых его видах.

101.

Зачем?

От вопроса этого можно отмахнуться, сославшись на то, что цепляются, мол, за власть — и так далее. Согласимся: цепляются за власть. Но есть же и люди, которые у власти не стоят, никакими благами ее не пользуются и до сих пор твердо уверены, что направление намечено правильно. Нельзя же считать, что все они одурачены и что следует раскрыть им глаза. Откуда упорство? На что надежда? Неужели верят они, что когда-нибудь сдерживающее начало страха будет отменено и постройка все же останется стоять? Или соглашаются на страх как на один из элементов будущего насильственно-справедливого устройства? Или в самом деле считают, что существует живой организм — коллектив, пролетариат, народ — и что его будущее, общее благосостояние основывается на бесчисленных единичных уступках, жертвах и даже страданиях? Или просто-напросто дает себя до сих пор знать революционная инерция?

Даже больше: неужели не случается никакому очередному диктатору, у себя в кабинете, наедине с собой, задуматься над тем же вопросом: зачем? Да, держатся за власть, знают, что отступления нет, отгоня-

ют мысль о расплате. Но после всего этого, помимо этого, должен же возникнуть вопрос: зачем? Неужели все-таки держится еще вера, что «перемелется, мука будет», и если даже ничуть не тревожит мысль о цене, в которую обходится революция, неужели цель ее представляется достижимой, хотя бы через сотни лет?

Когда-то, после публичной беседы о первой нашумевшей кестлеровской книге, я спросил об этом Бердяева, лично знавшего главнейших революционных деятелей. Он усмехнулся и сказал:

«Сталин? Сталин, во-первых, не понял бы, чего от него хотят. Ленин понял бы с полуслова и в ответ выругался бы. Он был отчаянный игрок и в пылу игры не думал ни о каких ее конечных целях».

В дверях, при выходе, Бердяев добавил: «Послушайте, в том-то ведь и дело, что люди, которые удерживаются во главе революций, об этом не думают! Те, которые начинают думать, попадают в тюрьму, а оттуда отправляются и дальше...»

102 (LXXVII).

У Белинского в письме к Боткину есть такое признание:

— Я понял кровавую любовь Марата к свободе...

Здесь два не совсем правильно употребленных слова: во-первых, едва ли в применении к Марату можно говорить о любви; затем, если и была у Марата любовь, то не к свободе, а к другому облику, к другим стремлениям и другим мечтам революции.

Белинский в своем «неистовстве» всегда захлебывался словами, и требовать от него стилистической точности нельзя, особенно в письме. Но ошиб-

ка в выражениях объясняется у него еще и тем, что между понятиями «революция» и «свобода» связь долго казалась неразрывной и естественной. Одно без другого не мыслилось. Белинскому, по-видимому, и в голову не приходило, что революция может свободе быть враждебна.

Вероятно, если бы он знал *то*, что пришлось узнать нам, рука его дрогнула бы, «понял» не звучало бы у него, как «оправдал», «одобрил», и душевного расположения к Марату оказалось бы у него меньше.

103.

В какие времена мы живем, «переходные» или такие, когда не к чему и переходить? Как разгадать, что происходит сейчас в старой западной культуре: передышка перед прокладкой «новых рельс» для движения к не совсем еще ясно намеченным целям, а то и вовсе без цели, — или иссякание сил, как у дряхлеющего человека, которому чужды и смешны стали былые его порывы?

Конечно, готических соборов больше не будет, и крестовых походов не будет, и Данта не будет. Но в новом, потускневшем обличье, с новым, менее декоративным вдохновением будет ли еще что-нибудь равное всему этому по жизненной силе? Неизбежное, ненавистное Леонтьеву, отвращавшее Достоевского «всемство» приведет ли к окончательным будням истории, без борьбы и без творчества?

В наши дни то или другое мелкое событие, занимающее в газете несколько строк, позволяет иногда «измерить температуру» цивилизации, убедиться, как она изменилась, как постарела.

Несколько месяцев тому назад в Англии скончался доктор Барнс, бывший в течение тридцати лет епископом Бирмингамским.

Если бы он жил не в наше время, а лет триста— четыреста назад, имя и дела его потрясли бы всю Европу, наполнили бы ее гневом, содроганием, сочувствием, ужасом и до нас дошли бы в пламени и дыму поднятых ими пожаров. А теперь — о нем полстранички: чудак, оригинал, сумасброд, — что же о нем долго толковать?

Вот что было необыкновенного в этом епископе: он торжественно, во всеуслышание заявил, что не верит в Воскресение Христа — и при этом отказался оставить свой пост. По короткому газетному описанию можно догадаться, как величественна и грозна была бы картина прежде: на собрании высших церковных чинов архиепископ Кентерберийский, бледный от возмущения, глядя в упор на Барнса, требовал от него отставки, а тот, бледный тоже, но спокойный, ответил категорическим отказом, добавив, что в служении Христу — единственный смысл и единственная цель его жизни... Если бы произошло это еще в семнадцатом веке, мы до сих пор слышали бы раскаты голосов, с откликами во всех уголках Европы, угрозы вечными адскими муками, столкновение воль и страстей. А теперь — ничего. Курьезный, оригинальный случай, но в сущности всего только «внутрицерковное» происшествие, которое князья церкви и должны бы между собою уладить.

Вполне возможно, что епископ Барнс в самом деле был чудаком и оригиналом. Не знаю. Но есть что-то трагическое в его — по-видимому, глубоко

искреннем — желании остаться «слугой Христа», даже если... да, с этим ужасным для всякого христианина «даже если». Есть в его облике что-то глубоко преемственное, совпадающее с общей линией протестантства, и как бы ни было понятно и законно негодование архиепископа Кентерберийского, сущность этого негодования в том, что протестантство испугалось самого себя, сжалось, остановилось перед пропастью. Католики давно почувствовали, что к этой пропасти оно неминуемо движется, и, подхлестываемые всякими личными счетами и расчетами, личными обидами, прокляли его все-таки именно за направление и путь. Не за обиды же!

Одно имя само собой приходит в голову — Боссюэ, Боссюэт, как писали у нас в старину. Нам, русским, трудно его читать: слишком пышные фразы, слишком гладкие и гармонические периоды, нас, признаться, немножко «мутит» от этого, ничего не поделаешь, нам это не совсем по душе, хотя самые требовательные французы — Поль Валери например — до сих пор считают Боссюэ первым, непревзойденным своим стилистом... Но во всей его деятельности какой огонь, какая тревога при виде все увеличивающихся трещин в многовековом здании церкви! Представим себе Боссюэ в столкновении с глазу на глаз с Барнсом: он его убил бы или в пароксизме негодования и изумления умер бы сам. В те годы в Риме был папа, но истинным римским первосвященником был тогда Боссюэ, страдавший, споривший, мчавшийся туда, где была опасность, убеждавший, отстаивавший, утверждавший, между прочим, что у «истинного сына церкви никаких личных мнений быть не может», поддерживавший начавшие сда-

вать стены, готовый сам погибнуть под ними, лишь бы не видеть развалин. Боссюэ был, конечно, глубочайшим консерватором. Но консерватизм его имел и глубочайший внутренний смысл, глубочайшее оправдание! Боссюэ стоял стражем у входа в вечную жизнь, а не у какого-либо политического порядка или сословных преимуществ. И не оттого ли так страстно и требовал он беспрекословного послушания, что слышался ему в дали веков спокойный, холодный голос епископа Барнса: не верю!

104 (LXXVIII).

В дополнение ко всему тому основному, необходимому и подчас проницательному, что было о Тургеневе написано, дождемся ли мы когда-нибудь иной статьи о нем, о том, что было в нем самого «тургеневского»?

Определить тему было бы нелегко, — потому что сущность ее была самим автором тщательно скрыта под бесчисленными наслоениями. Некоторые из них исчезли, и о «певце русской девушки» или «поэте родной деревни» никто теперь не говорит. Но яснее от этого Тургенев не стал.

Забудем Рудина и скучнейшего Хоря с Калинычем, вместе с их общественными заслугами, забудем даже Базарова, как бы ни было жаль с ним расстаться: уж очень он Тургеневу удался, да если и не в нем самом, то в некоторых особенностях рассказа о нем кое-что сквозит очень существенное... Забудем вообще все то боборыкинское, к чему Тургенев себя принудил: типы и образы сменяющих друг друга поколений, добросовестно уловленные и

образцово обрисованные, со всеми их бесконечными разговорами. Тургенев оттого и остался холодным писателем, что скучновато ему было обо всем этом писать, и писал он почти что нехотя, сам того, вероятно, не сознавая.

Был он человек слабый и в себе неуверенный, как будто даже чем-то испуганный. Была, вероятно, оттого в его писаниях какая-то постоянная фальшь, не громоподобная, взвивающаяся к небу, как у Гоголя, а вкрадчивая, уклончивая, застенчивая, с усмешечками, вроде, например, упоминания о петухе незадолго до смерти Базарова, петухе, странную неуместность которого так верно и остро уловил покойный Бицилли. Да и не только в иронии тургеневской была тончайшая фальшь. Вспомним «Живые мощи», один из тех рассказов, который больше всего вызвал восхищения как вещь несомненно классическая. Прекрасный рассказ, и все в нем кажется прекрасно, пока вдруг не смутишь себя вопросом: а мог ли бы такой рассказ появиться за подписью Толстого? И сразу «Живые мощи» становятся смешны, сразу обнаруживается их сусальная благостность, их слащаво-лубочная и декоративная нарочитость.

Но это — эту фальшиво-дребезжащую струнку — Тургенев, вероятно, в себе чувствовал. Как чувствовал, вероятно, и «прохладность» свою, прохладную, беспредметно-беспричинную свою грусть. Ну конечно, он навсегда оттеснен на второй план своими двумя «сверстниками-гигантами» — о чем же тут спорить? Но слабый, легкий и тихий голос его никем все-таки не заглушен и до сих пор отчетливо слышен. Особенно если иначе, не так, как прежде, не с теми требованиями, что прежде, к нему прислушаться.

Тургенев только к концу жизни начал становиться самим собой, и только по его поздним вещам можно догадаться, чем должен был бы он стать. Ему, по-видимому, тягостно было жить. Все и везде ему было чуждо. Одиночество с каждым годом усиливалось. Романы куда-то проваливались, в небытие, в неизбежное забвение, и с его умом мог ли он этого не сознавать, какой бы ни курили ему фимиам! Все проваливалось, он ни во что не верил, а главное — ничего не пытался изменить. Тут, в этой духовной скромности Тургенева, в отсутствии всякой самонадеянности, и уж тем более всякой «гордыни», есть что-то неожиданно христианское. «Смирись, гордый человек!» — вопиял, весь дрожа и задыхаясь от гордости, Достоевский, а Тургенев до него и без него это почти исполнил. Иногда, вдоволь намучившись над Толстым или Достоевским, спрашиваешь себя: а что, не ближе ли к тому, о чем с такой исступленной страстью и силой они кричали, не пробрались ли какой-то окольной тропинкой к недоступному для *тех* состоянию, именно как «малые сии», которым все обещано, а не как самозваные пророки, которым не обещано ничего, словом, не лучшие ли христиане самые тихие русские писатели — Тургенев и Чехов? Особенно Чехов. Но и Тургенев тоже, каким бы эллином он себя ни считал.

В «Стихотворениях в прозе» еще много мишуры. «Как хороши, как свежи были розы» и все в этом роде, — Бог знает что, если наконец сказать правду, сплошная, нестерпимая патока! Но тут же рядом удивительные страницы, как, например, рассказ о бабе, которая, похоронив сына, молча хлебала щи. Будто проблески — вот, вот что надо было

делать, вот как надо было писать! Если ты действительно грек, как о тебе говорят, в этих щах больше Греции, чем во всех роскошно увядающих букетах... Но поздно. Париж, старость, бесцельная и бессмысленная слава, огромная тень Толстого вдали как упрек и угроза и, вероятно, тревожные, разъедающие душу воспоминания о тщетных попытках самого себя уверить, что вовсе не так *он* и хорош, что «Война и мир» — дрянь, что «Анна Каренина» еще хуже, а потом, уже совсем перед смертью, знаменитое письмо к нему, образец истинного и естественного человеческого благородства. «Песнь торжествующей любви», тоже с чрезмерным обилием всяких «роз», но уже бесконечно далекая от зарисовки общественных типов и с первым вторжением чертовщины, столь плохо с ними вяжущейся. Мучительная жалость к стареющей Полине и остатки любви. «Моя бедная подруга своим совершенно разбитым голосом поет у себя наверху...» А ей, этой бедной подруге, даже не присылают уже и билетов в Оперу, где она когда-то блистала. Совсем забыли ее, как забудут и его. Как забудут всех. Что она поет? «Нет, только тот, кто знал...» — самую магическую из всех мелодий Чайковского, ту, которую поет и Клара Милич. «Ниэт, только тот, кто зналь...» Все проваливается, но Клара Милич придет с того света говорить о любви, обманывать, утешать, убаюкивать. Никакого нет бессмертия, и Базаров был прав, «лопух на могиле», но пусть это всего только темное волшебство, а Клара Милич здесь, и говорит она о любви. А они? О чем они все шумят? Что им надо? Даже Толстой, ведь тоже немолодой уже человек, какими пустяками он занят! Рассказывает, «в чем его вера»,

учит чему-то. Не все ли равно, по Толстому ли верить или так, как верит какой-нибудь сельский попик, только и знающий что бормотать: «Сусе, Сусе, Христе»? Раз ничего нет? Лучше остаться с попиком, проще, скромнее. Да, есть искусство, и о Пушкине на московском празднестве он воскликнет — именно «воскликнет», а не скажет: «Сияй же, благородный, медный лик...» — с такой трескучей риторикой, что хочется в стыде и растерянности закрыть лицо руками. Ему самому, вероятно, было стыдно. Но оттого и «сияй, медный лик», что нет о таких вещах настоящих слов и невозможно найти их. «Боязнь фразы есть тоже фраза». А люди этого не понимают и требуют от старика болтовни на юбилеях и чествованиях. Да, есть искусство, суррогат бессмертия. Надо было бы иначе *ему* служить, писать о Кларе Милич, т. е. не о ней именно, а в этом плане, без параллелей между эпохами и поколениями. Но поздно, «кладу перо», как издевался ослепший от ненависти Достоевский, «мерси, мерси», страшно, смерть идет, никто не может помочь, полное одиночество и холод вокруг, как холоден «зеленый зимний край неба в окне», о котором упоминается в одном из его последних писем. И что обещает он, этот край неба, о чем говорит он, кроме игры бессмысленных сил и наших миражей? Надо по мере возможности жить просто, жить благожелательно к другим, жить, как живут другие, не в том смысле, как понимал это поручик Берг, а в смысле круговой поруки перед общей для всех участью, пожалуй, даже по-базаровски резать лягушек во имя прогресса и цивилизации и, конечно, молчать о том, что за «зеленым краем неба» решительно ничего нет и что даже Клара Милич со все-

ми потусторонними видениями — жалкий самообман, ампула морфия, помогающая сносить боль до той минуты, когда ни боли не *останется*, ничего...

LXXIX.

А. говорил мне:

1) Да, нечего от себя скрывать истину: конечно, христианство не удалось. Исторический размах был огромный, но он давно уже суживается, и теперь вопрос только в том, удержится ли хоть что-нибудь...

Верующие скажут, что скрыта здесь великая тайна и великая надежда. Может быть! Но и верующим, вероятно, случалось ночью, в часы бессонницы, когда все такое в уме перебираешь, вдруг вздрогнуть, чуть ли не вскочить в недоумении: как же так, если действительно это Бог послал двадцать столетий тому назад Своего Сына на землю, если это правда, неужели могло бы все ограничиться частичным и, в сущности, скромным успехом? За двадцать столетий неужели не произошло бы торжества несомненного и окончательного? Тайна! — невозмутимо ответят верующие. Но рассудок даже и при самом страстном стремлении к вере сохраняет свои права и на согласия «quia absurdum» идти колеблется. Именно для рассудка, для разума христианство не удалось, то есть не удалось как целое, с его будто бы всемирным и всечеловеческим предназначением. А что в отдельных душах оно еще живо, да, вероятно, и всегда будет жить, кто же это отрицает?

Но вот что мне хотелось бы добавить: даже то частичное, даже то ограниченное, чего христианство достигло, есть ошеломляющее чудо истории!

И тут действительно есть какая-то тайна. Потому что невозможно ведь ничего представить себе, что было бы в более очевидном разладе с природой, со всеми ее естественными силами, всеми ее потребностями, всеми ее законами.

Об этом верно... но, поймите, я не соглашаюсь с ним, я только нахожу, что по-своему он был прав!.. об этом *хорошо* сказал Цельсий: для них зло есть добро, — а добро есть зло. Для них, то есть для первых христиан, — и это же вместе с ним ощутил весь Рим, вероятно, не допускавший на первых порах и мысли о возможной победе какой-то темной и безумной ереси.

Было синее небо: христианство сказало — нет, ночное небо лучше! Было здоровье и сила: христианство сказало — нет, плоть есть враг человека и надо ее умерщвлять! Было счастье: христианство сказало — нет, друзья, будем страдать и плакать! И так далее и так далее, почти до бесконечности, — все оказалось вывернуто наизнанку. Нормально мир должен был бы расхохотаться, залиться плотоядным, презрительным смехом и вытолкнуть всех этих сумасшедших евреев *обратно*, в их вечно-сумасшедшую Палестину, вместо того чтобы приняться окрашивать их бред в благородные эллинистические тона. Но случилось то, чего нельзя было ждать, и никакие ссылки на тоску и растерянность языческого мира к началу нашей эры всего не объясняют и не оправдывают. Стоит только стряхнуть с себя нашу общую двадцативековую привычку к результатам этой «переоценки ценностей», как слова Цельсия предстают во всей своей неопровержимости. Действительно, есть тут какая-то тайна или, скажем проще, загадка!

2) Под окном шла бесконечная католическая процессия, с детьми впереди, со взрослыми за ними, с крестами, хоругвями, священниками, певчими, затем снова детьми, с какими-то стариками и старухами, и была на всех лицах такая глубокая, счастливая вера, что я вспомнил Розанова, одну из тех фраз его, которые пронзили меня на всю жизнь: «И да сияют образа эти вечно!», из предисловия к «Лунному свету».

Да, вспомнил Розанова: в сущности, жалкий писатель, непомерно сейчас раздуваемый, гений для разбитых душ, для растерянных, сбитых с толку людей, для всех тех, кто болен несварением духовного желудка, отказывающегося принимать твердую пищу, болтун, которого наши литературные неврастеники чуть ли не сравнивают с Паскалем, — и все-таки единственный русский подлинно христианский писатель по тону и интонации, т. е. по тому, что нельзя подделать. «И да сияют образа эти вечно!» Ведь как сказано, с какой болью, с какими отзвуками! Да и все это предисловие, как оно написано! А примечания к статье Сикорского в «Темном лике»! Если бы хоть раз у одного из наших неохристиан попалась хоть одна такая фраза, все значение их писаний было бы иное...

Но я отвлекся, оставим Розанова... *Так вот,* шла у меня вчера под окном католическая процессия. На всех лицах была вера, и если бы любого из шедших спросить: ты знаешь, что ждет людей за гробом? ты знаешь, что будет Страшный Суд? ты знаешь, что есть рай и ад? — каждый без колебаний ответил бы: верю, знаю.

И вот я подумал: до чего доверчивы люди! В сущности, они ведь ровно ничего не знают. Но им сказали, что за гробом будет то-то и то-то, что на небесах происходит то-то, — и они приняли все это как истину с чужих слов. Духовный опыт? Бросьте ссылаться по привычке на этот вздор. Духовный опыт если и бывает, то у одного человека на миллионы, да и то сводится он к чему-то бесформенному и неуловимому. А тут ведь у каждого в голове таблица с описанием и расписанием всевозможных потусторонних происшествий и ни малейшего сомнения насчет ее точности... До чего доверчивы люди! Откровение? Откровение если и было, то ведь никак не у них; им рассказали, что было Откровение, что в таких-то книгах оно запечатлено. И они поверили! Если вдуматься, это ошеломляет. Один за другим идут, поют, что-то будто бы знают, веками, веками, и все с чужих слов... Но и хорошо, что верят, было бы в мире больше несчастных людей, если бы не верили, «и да сияют образа эти вечно!».

106 (LXXX).

3) У меня нет сына. И, пожалуй, слава Богу, что нет. Потому что, если бы у меня был сын, я не знал бы, что ему сказать. Знаете, я всегда представляю себе — хоть на деле это, вероятно, редко случается, — что в шестнадцать-семнадцать лет мальчик может прийти к отцу и сказать приблизительно следующее: «Папа, ты прожил несколько десятков лет, ты много видел и читал, много думал, скажи мне, что такое жизнь? скажи мне, как надо жить?»

И я не знал бы, что ему ответить. Вероятно, я сказал бы ему то же самое, что сказали бы в таком случае и другие: надо работать, надо иметь идеалы, надо быть честным и смелым, надо уважать чужие мнения. Надо, наконец, «бороться», как принято выражаться: неизвестно за что бороться, но бороться. Как же в самом деле не «бороться»! Но если бы сын у меня был умный, не такой, от которого можно отделаться прописями, он понял бы, что у меня нет для него ответа. Не только насчет того, что такое жизнь, — тут никакого ответа и не может быть! — но и о том, как следует жить и что важнее всего в этом смысле. Да, я прожил несколько десятков лет, читал, вглядывался и по мере отпущенных мне сил думал. Но чем глубже вдумываюсь, чем больше себя проверяю, тем яснее сознаю, что не могу ни на чем остановиться окончательно. Конечно, надо работать! Конечно, надо бороться! Но... но... и тут меня охватывают такие сомнения, и даже за других, такая усталость от трудолюбивой поддержки всех наших шатающихся устоев, что в конце концов положил бы я сыну руки на плечи и сказал бы: «Не знаю, дорогой! И не верь тем, которые думают, что знают». Если бы он хотел просто-напросто добиться успеха в жизни, рецептов для этого сколько угодно. Но сомнения-то мои именно к успехам и обращены, притом не только в грубых их видах, но и в других. Пожалуй, все-таки кое-что я посоветовал бы... Как там сказано: «учитесь властвовать собой»? Так вот, не «властвовать», а «жертвовать»: учитесь жертвовать собой! Не очень собой дорожите, а остальное приложится... да, приложится, даже если с такими советами, как мои, и умрешь ты где-нибудь под за-

бором, не оставив никакого следа ни на каком «поприще». Вот насчет «поприща» ничего сказать на могу, — но ведь ты не об этом и спрашивал, *правда, а?*

(Позднее, уже записав это, вспомнил я две строчки Виньи:

Fais energiquement ta longue et lourde tache,
Puis un jour, comme moi, souffre et meurs sans parler.

Но это — не ответ. Весь смысл этого горестного, достойного, но мало убедительного стоицизма в том, что ответа не существует.)

107 (LXXXI).

4) Вспоминая свою молодость, я даже приблизительно не могу определить, когда именно наступил в ней перелом, по-моему, очень важный. И присматриваясь к теперешним «русским мальчикам», да и не только русским, тоже не знаю, когда это с ними случается. Но должно бы случиться непременно, и, собственно говоря, только с этого момента человек становится взрослым.

В ранней юности само собой возникает противопоставление: «я», «мы», т. е. сверстники, — и «они», старшие. «Они» представляются силой или средой если и не враждебной, то чуждой: вроде как если бы мореплаватели, высадившись на неведомом острове, нашли там туземцев, занявших лучшие места. Что у «нас» с «ними» общего, в самом деле? Иной язык, иные нравы, иные влечения и надежды. Бывает даже, что налет «чуждости» ложится в юности на самую жизнь: самая жизнь «нас», еще ничем с ней прочно не связанных, будто бы не ка-

сается, и участвовать в ее передрягах «мы» не намерены. «Они» что-то там намудрили, напутали, каких-то бед натворили, пусть в них и разбираются, а мы постоим в стороне.

Вероятно, перелом наступает с первым толчком сзади, от новых, следующих мореплавателей, и случается это рано, лет в тридцать, а то и раньше. Человек вдруг понимает, вернее, чувствует, что попал в ловушку и что у судьбы нет ни желания, ни основания, ни даже возможности отнестись к нему иначе, чем к другим. Иллюзии насчет стояния в стороне рассеиваются. «Товарищ, друг, дай мне руку», как *сказано у Блока*. Но те, очередные «новые», в рукопожатье не нуждаются и приняли бы его нехотя, со скептической, недоумевающей усмешкой. До следующего, очередного толчка, когда в том же положении окажутся и они.

108 (LXXXII).

5) Было время, я любил читать новые книги, бывать там, где обсуждались новые идеи, новые стихи, то вообще, что называется «веяниями».

Но теперь мне почти все стало казаться так глупо и ничтожно, настолько «ни к чему», что, честное слово, предпочитаю я сидеть у себя сложа руки и смотреть в потолок. По крайней мере, «покой и свобода»! Раскроешь журнал: Боже мой, о чем они пишут! и как пишут! Пойдешь на какое-нибудь собрание: Боже мой, какие самодовольные физиономии, какое пустословие! Хочется бежать, выйти на улицу, где небо, дождь, ветер, и никто не лезет из кожи, чтобы продемонстрировать, какой он умный...

Но в глубине-то души я прекрасно знаю, в чем дело, и если бы не лукавил, должен был бы сказать *сам* себе: ничто не изменилось, люди не хуже и не лучше, чем были прежде, это ты, голубчик, уходишь мало-помалу из жизни, выпускаешь ее из рук — и брюзжишь, а то даже сердишься, что она продолжается и без тебя!

109.

6) Страх смерти... Скажите, любили ли вы кого-нибудь сильнее, чем самого себя? Жив этот человек или умер? Если умер, то вы меня поймете... Как же могу я бояться того, что случилось с ним? Раз с ним это случилось, если он умер, если он перешел какую-то пугающую всех людей черту, как же могу я ужасаться, отвиливать, гнать от себя мысль о смерти? Если ему было страшно, может ли меня страшить то, что пришлось испытать ему? Исчезнуть там же и так же, где исчез и он? Нет страха. Вы, может быть, думаете, что сказывается расчет на проблематическую потустороннюю встречу? Нет, едва ли, да у меня-то лично какие уж там расчеты! Инстинкт справедливости тоже ни при чем. Сказывается исключительно любовь, которая требует для меня того же, что случилось с ним. Я не могу не хотеть того же самого, я всем существом своим готов к тому же самому, как бы оно, это «то же самое», ни было безнадежно и беспросветно. Да, стена. Но я хочу разбиться об эту же самую стену, и ни на что другое я не согласен, даже если бы это было возможно...

110 (LXXXIII).

«Люди не могли бы жить, если боги не дали бы им дара забвения».

Кому из великих древних поэтов, Эсхилу или Эврипиду, принадлежит эта глубокая и верная мысль? Вероятно, это — Эврипид, который вообще много сказал такого, что кажется сказанным не две с половиной тысячи лет тому назад, а вчера.

Дар забвения... Если мы теперь пишем, просматриваем журналы, ходим на литературные собрания, невозмутимо спорим о том, какова должна быть в наши дни поэзия и влияет ли кинематограф на литературу, если вообще мы «живем», в том суетливом, мелком, повседневном, ничтожном смысле слова, которого нечем заменить, если даже по мере сил, со «скудеющей в жилах кровью» еще влюбляемся и скучаем, то только благодаря тому, что наделены способностью забывать. Иначе мы должны были бы сойти с ума или сидеть в каком-то столбняке, недоумевая: неужели все это было? как все это могло случиться? как же после этого перейти к житейским очередным делам?

Неправильно было бы сказать, что человек отгоняет от себя тревожащие его воспоминания. Не приходится и отгонять. Нечего отгонять. Воспоминания лежат под спудом, они не уничтожены, но вытеснены в прошлое и не влияют ни на мысли наши, ни на поступки. Иначе нельзя было бы жить. Внезапно, как молния, то или другое из них пронесется в сознании, взбудоражив его, а затем опять тьма, безразличье и привычные интересы или заботы. Двигало ли богами милосердие к человеку, было ли у них к нему скорей пренебрежение, как к со-

зданию не совсем удавшемуся, с которым не стоит и возиться, — кто скажет? Но некое соответствие между существом и существованием, между нами и жизнью оказалось во всяком случае соблюдено.

Случается над этим задуматься. Попадется какая-нибудь газетная статья вроде той, на которую хорошо, с верным указанием на «нерелигиозное использование религии», ответил недавно архиепископ Иоанн. Попадется роман вроде «Хождения по мукам», книги столь же отвратительной, сколь и талантливой, книги, о которой хотелось бы сказать, что она слишком легковесно-занятна для своей темы, слишком пестра, бойка, картинна, шаблонно-увлекательна, что в ней «хождений» много, а «мук» мало, что тему свою она погребла под всякими беллетристическими завитушками и виньетками, правда, прекрасно сработанными... Прочтешь, перечтешь что-нибудь такое, «бередящее старые раны», — и задумаешься над благодатным бесчувствием и беспамятством человека. Не будь человек чурбаном, мы не находили бы себе места, выли бы от ужаса и стыда, усиленного еще и тем, что, по-видимому, «так было и так будет», пока стоит свет. Мы бросили бы запоздалые, мстительные, глупые взаимные обвинения, поняли бы, что все виноваты, каждый по-своему, что всем есть в чем упрекнуть себя, есть от чего внезапно покраснеть «до корней волос», что в судьи нас никто не ставил, что слепая жестокость истории воплощается в отдельных волях, которыми играет, как пешками, что какая-то общечеловеческая круговая порука должна бы восторжествовать над раздорами, над страшным и бессмысленным месивом последних десятилетий. *Одним* словом, мы не

«жили» бы, а остановились бы в оцепенении, с внезапной остановкой всех бесчисленных мелких колесиков, на которых благополучно катимся от одного дня к другому, от года к другому году, и дальше, к общему для всех финалу, с речами, венками или без речей и венков... Но *надо жить*: да, конечно, это все ужасно, да, поговорим об этом когда-нибудь в другой раз, да, совершенно верно, нельзя забыть, «человек человеку бревно», *конечно*... а знаете, *сегодня* вечером г. Икс, только что прилетевший из *Германии*, читает доклад с любопытнейшими, говорят, прогнозами насчет эволюции международных *взаимоотношений*. Наш г. Игрек рвет и мечет, собирается возражать, говорит — *провокация!* Надо бы сбегать за билетиком... *или при входе?*

КОММЕНТАРИИ <XI>

111 (XXXI).

Непротивление злу у Достоевского. Тема на первый взгляд парадоксальная. Самое соединение слов звучит парадоксально и может даже вызвать предположение, что вместо одного знаменитого имени по рассеянности названо другое. Оба имени ведь постоянно сталкиваются, оба стали частями единого, почти нераздельного нашего целого.

Но нет, ошибки нет. А хочется мне сказать на эту тему несколько слов потому, что, *перечитав — в который раз?* — «Легенду о Великом Инквизиторе», внезапно я был поражен мыслью, никогда прежде в голову мне не приходившей: что такое в «Легенде» этот финальный поцелуй, в ответ на монолог, в котором «зла», злой воли, насмешливого и высокомерного мирского расчета более чем достаточно, — что такое этот поцелуй? Разве не непротивление в чистейшем его виде?

Конечно, можно возразить, что Достоевский, приписывая Христу поступок, с учением о непротивлении злу находящийся в полном согласии, личной ответтственности за него не принимает. Суждения Достоевского почти всегда двоятся, и во всем том, в частности, что говорит или рассказывает Иван Карамазов, отчетливо отражен спор *его создателя* с самим

собой. Достоевский предполагает, допускает многое такое, что, по-видимому, не решился бы утверждать.

Важно, однако, не это.

Важно то, что, по Достоевскому, Христос должен был именно так поступить, вместо всякого сопротивления, вместо всякого действия, — и, значит, содержание и смысл евангельской проповеди он, Достоевский, истолковал в согласии с Толстым.

Все возражения, делавшиеся Толстому, возражения, в которых апелляция к Достоевскому, безотчетная или сознательная, чувствуется *в каждом слове, сводились* ведь именно к тому, что Христос сказал не совсем то, что *должен был бы сказать*; буква евангельского учения — будто бы одно, дух — совсем другое... Именно эту мысль развивал, и с полемической точки зрения блестяще развивал, с присущей ему, в нашей литературе почти беспримерной *умственной* находчивостью Владимир Соловьев, будто припертый к стене, принужденный изворачиваться, лишенный возможности отрицать, что о непротивлении злу в Евангелии сказано вполне *точно* и ясно. Буква — одно, дух, видите ли, — нечто совсем другое: более удобного довода нельзя и найти, ибо после того, как «буква» отброшена, поле свободно, и «дух» мы вправе выдумать какой угодно, в соответствии с нашими потребностями, вкусами и взглядами. Несомненно, Достоевский не хуже Соловьева понимал страшный риск, связанный с «буквальным» истолкованием Евангелия и практическим применением евангельской проповеди, что иногда и побуждало его высказывать мысли иного рода, — правда, охотнее и откровеннее в «Дневнике писателя», чем в романах, т. е. в публицистике, *а не* в процессе истинного творчества.

Но Соловьев был гораздо последовательнее и логичнее, что, впрочем, следует сказать при сравнении его не только с Достоевским, но и с другими нашими «государственно-мыслящими» обличителями католичества. Соловьев — вопреки, например, Тютчеву, оказавшемуся в этой области в жестоком противоречии с самим собой, — был если и не на деле, то в сознании и в душе католиком. Соловьев понял сущность, природу и побуждение грандиозного исторического дела, предпринятого католицизмом, вгляделся в источник его *мощного вдохновения* — и преклонился перед ним.

У Достоевского тут произошло недоразумение: вместо благодарности Риму, — признавшему, что церковная *учительная* традиция составляет столь же существенную часть веры, как и слова Христа, — он обрушился на него. Разгадка едва ли в близорукости Достоевского: уж кого-кого, а его упрекнуть в этом невозможно! Более правдоподобно предположение, что по совестливости своей, по чутью своей совести, более обостренному, *конечно*, чем у Соловьева, он отбросил доводы рассудка и в ужасе отшатнулся от основного римского стремления ограничить, обезвредить «безумие» евангельской проповеди[1].

[1] Знал ли он фразу Ренана: «История церкви есть история предательства» (или измены — trahision, в «Апостолах»)? Впрочем, по существу для Ренана все в этих делах было безразлично, и, не вдаваясь в обсуждение, кто прав, кто виноват, он под личиной исторического беспристрастия лишь «констатировал» со среднефранцузской антиклерикальной запальчивостью то, что Достоевского приводило в содрогание.

14 Зак. 3049

Да, Достоевский колебался. С одной стороны, тянуло его к тому, чтобы вслед за Тютчевым обозвать папу «ватиканским далай-ламой», а с другой стороны... с другой стороны — монархия, государство, армия, иерархический порядок, право, наконец — творчество, наконец — вся культура, как же все это могло бы существовать и уцелеть, если бы *в лице римского первосвященника древний*, вечный Рим не устоял в схватке, начавшейся две тысячи лет тому назад, если бы не отстоял он от разгоравшегося пожара самые основания общественного устройства? Достоевский сомневался, колебался. Отважиться на то, чтобы «рискнуть миром» — как, по выражению Бердяева, сделал это Толстой, — он не решался.

Но что Христос сказал именно то, что хотел сказать, что «буква» и «дух» у Христа представляют одно и то же, что даже не соглашаясь с Христом, мы не вправе слова Его перетолковывать, к чему бы они ни вели, — в этом Достоевский, очевидно, не сомневался. Или, вернее, не усомнился в минуту высокого своего просветления, *в «Легенде», выразившей важнейшие его мысли, перечеркнувшей как заурядную журнальную болтовню воинственно-патриотические рассуждения в «Дневнике» и даже в частной переписке.*

Иначе как истолковать поцелуй?

А если иначе истолковать его нельзя, то выходит, что обе наши «духовные вершины» могли бы и договориться, и что во всяком случае были они друг с другом в согласии хоть и скрытом, но более тесном, чем это иногда кажется.

Или чем утверждают те, кто с полувековым опозданием хотел бы их поссорить.

112 (XXXII).

В наше время мало осталось людей, которые настаивали бы на непримиримой розни науки и религии. Убеждение, что наука все объяснит и что разум всесилен, вдохновляло век восемнадцатый, вольтеровский, вдохновляло и девятнадцатый век, правда, уже несколько смущенный кантовской критикой и менее стремительный в своем порыве вперед. В наши десятилетия, однако, наука натолкнулась на такие ошеломляющие неожиданности, что волей-неволей принуждена была стать скромнее. Внуки и правнуки Базарова продолжают резать лягушек, но без прежней заносчивой уверенности в том, что обнаружат и поймут тайну жизни. Физики и астрономы продолжают изучать состав материи и строение Вселенной, но договариваются до таких выводов, которые в прошлом столетии угрожали бы им заключением в сумасшедший дом, — и чуть ли не каждый день приходится об этом читать и слышать. Кембриджская школа астрофизиков, одна из самых авторитетных в Англии, высказала, например, *недавно* предположение, — и не «с кондачка» же, конечно, а, очевидно, на основании каких-то сложнейших догадок и соображений, — что вся Вселенная, во всем ее непостижимо-беспредельном объеме, с мириадами ее светил и туманностей, возникла почти мгновенно, по нашему исчислению — в несколько секунд, путем какого-то извержения или взрыва, из одной точки, как из рога изобилия. Иными словами, произошло «сотворение мира», то самое, чему нас учили в детстве, то, которое изобразил на известном полотне Айвазовский, только, пожалуй, без красивого старика с изящно расчесан-

ной бородой, витающего над безднами... Невероятно! Мысль почти что парализована изумлением. Но, очнувшись, сейчас же она идет дальше: а этот первоначальный «рог изобилия», откуда он возник? — и останавливается в недоумении, на которое никакая наука никогда не даст ответа.

Помню, Зинаида Гиппиус, смеясь, рассказывала как-то о своем разговоре с покойным Минором, удивлявшимся, что некоторые из его друзей ходят в церковь. «*Не понимаю*, это ж в прежние времена люди верили в Бога и в чудеса... ну, гром там, или молния... воображение разыгрывалось... но теперь же это все давно выяснено!» Лично я Минора не знал, сомневаюсь, однако, чтобы мог он быть так допотопно-наивен. Для комичности рассказа Гиппиус, вероятно, приукрасила его слова. Но, очевидно, что-то в этом роде он ей сказал, да и как было почтенному позитивисту и социалисту, одному из наших «последних могикан», одному из «стаи славных», блюстителю заветов и традиций, усомниться на старости лет в том, что было для него всю жизнь синайской заповедью: «царство науки *не знает предела*?».

Предел, однако, есть. Разум понял, что он не все может понять, — и в признании этого великая его заслуга, честь и достоинство его, истинный его «патент на благородство», а вовсе не повод к насмешкам, в наше время, к сожалению, распространенным. Разум — и его создание: наука — не видят больше оснований с верой враждовать и в лице некоторых подлинных, не доморощенных своих «корифеев» склонны даже протянуть религии руку, что в прежние времена представило бы редкое исключение.

Но вера медлит. Вера — по крайней мере, в традиционных своих формах — удручена не «ношей крестной», — о, эту ношу она принимает с восторгом и радостью! — а догматическим своим окаменением, разительно-мучительным несоответствием всего своего представления о мире тому, что современный человек не может не знать и о чем он не может не думать... Именно в этом сейчас разлад религии и науки: разлад — в содержании церковной космогонии, и начинается он с того момента, как человек переступает порог церкви, католической, православной, протестантской, какой угодно. Из состояния взрослого он переводится обратно в состояние младенческое, притом не в евангельском смысле «будьте, как дети», а в другом, более элементарном, никакой духовной чистоты с собой не несущем. Нарицательный Минор смешон, но кое что из того, чему обязан верить человек церковнопослушный, Минора оправдывает. Однако на деле, как всем известно, обычно бывает так, что человек ходит в церковь, крестится, исполняет обряды, кладет поклоны, а верит «постольку-поскольку», с оговорками и пропусками, ни во что особенно не вникая. Предложите, например, людям, выходящим от обедни, ответить честно, искренне, откровенно — верят ли они в реальное существование дьявола: девять десятых смутится и если и не ответит твердо «нет», то примется бормотать: «да как вам сказать?.. конечно, нельзя понимать дословно...» или что-нибудь в этом роде. *Да, признаться*, и не легко примирить его существование с принципом божьего всемогущества, лучше, значит, и не задумываться над тем, чему церковь учит.

Но иные люди задумываются... Да, теперь не подходящее время для новых вселенских соборов, для нового догматического вдохновения, и трудно сказать, что в этой области можно было бы сделать. Глубоко верно и то, что далеко не в одних догматах дело, что угасающее христианское пламя раздуть догматическими поправками нельзя, и тщетно было бы на это надеяться. Для оживления веры нужно было бы нечто совсем другое, — ну, хотя бы то, чтобы папа, «наместник Христа», вышел из своего золоченого дворца и, босой и нищий, отправился проповедовать забытую «благую весть», как предсказывал Достоевский. Нужно было бы встряхнуть, всколыхнуть человечество, поразить воображение, влить в христианство свежую кровь, а не только убеждать доводами. О догматах пришлось бы подумать потом, позже, но значение они все-таки имеют большое... Если все оставить, как прежде, разлад будет с каждым поколением расти, церкви будут пустеть, безразличье к христианству будет усиливаться, и останется в конце концов и *в лучшем случае* лишь беспредметно-туманная вера во «что-то», в расплывчатую высшую силу, без имени, без лица, без судьбы.

О дьяволе и признании его существования я упомянул мимоходом. То, что в реальность дьявола мало кто верит, сравнительно не так существенно, хотя в общем метафизическом здании христианства это все-таки один из краеугольных камней. Но по характеру своему вся христианская догматика *еще* гораздо ближе к представлению, что боги живут на Олимпе, в двух шагах от *народа*, за которым должны наблюдать, чем к тому образу Вселенной, который

возник в *послегалилеевские* века. Все в ней отражает убеждение, — да и могло ли быть иначе? — что Земля, разумеется, плоская, а не круглая, с висящим над ней небом, есть средоточие мира, что Солнце вертится вокруг нас, как наш слуга, единственно для того, чтобы нас освещать и греть, — и так далее, и так далее... Есть что-то во всех этих картинах комнатное, домашнее, почти игрушечное, и когда вдруг вспомнишь, что где-то, в беспредельно-необъятных мировых пространствах, за невероятной тьмой, за невероятной пустотой и холодом летят неизвестно куда, неизвестно почему и зачем другие солнца, в миллионы раз превосходящие по размерам Солнце наше, и что свет от них доходит до нас только через миллионы и миллионы лет, и что, значит, если мы их и видим в телескопы, то лишь такими, какими были они миллионы лет *тому* назад, — когда вспомнишь всю эту ужасающую, леденящую бесчеловечность Вселенной, стоя в церкви, то и скажешь себе: а ведь, пожалуй, наш Бог, которому мы здесь молимся, — только маленький Бог, подчиненный другим, или, может быть, равноправный с ними, но не тот, главный, единственный, абсолютно-верховный, власть которого распространялась и над находящимися за Млечным Путем мирами во времена, когда самой Земли еще не существовало... Но мысль эта нестерпима и подрывает веру в корне. Легче для человека нашего времени не верить ни во что, чем верить во что-то ограниченное и в мировом масштабе как бы уездное. Мысль отброшена, человек остается с выбранным им «ничем»... Но если действительно жизнь, возникшая на земле, возникла лишь в результате

игры слепых сил, как выигрыш в триллионно-квадриллионной мировой лотерее, ни к чему не ведущий и рано или поздно обреченный на бесследное исчезновение, если действительно кроме нас в мире никого не было, нет и не будет, пустота, мрак, клочья материи, глыбы камней, то как не сойти с ума среди всех этих Млечных Путей со всей их квадриллионной бессмыслицей?

Вера должна, вера призвана внести некий порядок в это смятение, а между тем церковное представление о Боге, на словах вездесущем и всемогущем, едва-едва переросло прежние понятия о национальных, частных божествах, и даже распространяя Промысел на все человечество, независимо от того, молятся ли отдельные народы Аллаху или Будде, — впрочем, и на это соглашаясь не без колебания, — церковь все еще замыкает Бога в земные пределы, с Землей как центром мира. Обращаясь к вере, цепляясь за нее, человек сам себе говорит: если нет победы над временем и пространством, т. е. если то, что живет, бьется, трепещет во мне, не освобождено полностью от произвола понятий количественных, если этого нет, то вообще ничего нет, и тогда я песчинка из песчинок в непостижимом мне круговороте. Догмат должен бы стать выражением такой победы, заклинанием, призывом, волшебной формулой избавления от страха, — ибо все-таки в основе веры лежит страх, и кое в чем Минор прав! — догмат должен быть свидетельством веры в силу, для которой нет разницы между миллиметром и миллионом верст, между секундой и вечностью. Но наша догматика именно временем и пространством и ограничена, ей недостает того, что Шпенглер назвал «фа-

устовским чувством», новым сознанием беспредельности мира. Она создана в века, когда чувство это *было еще мало распространено*.

У Розанова, если не ошибаюсь, в «Апокалипсисе», есть чрезвычайно странная страница, странная по своему простодушию и обманчивой логичности: ему однажды пришло в голову, что солнце — это и есть Бог. Мысль сама по себе глубочайше-естественная, коренная, древняя, как сам человеческий род. Но тут же Розанов со смятением обратился ко Христу:

— Значит, Ты — не Бог?

Почему? Почему? Почему? Какое детское, механическое сцепление суждений! Одно другому не противоречит, и если в Символе Веры о возможной божественности — т. е. о живой чудотворности — солнца ничего не сказано, то разве все в Символе Веры сказано? И с другой стороны, разве то, что в Символе Веры сказано, может в наше время быть полностью, без единого исключения предметом веры?

«И восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца...»

Для чего слова эти читаются *или* поются за каждой обедней, православной, католической, протестантской? Несомненно для того, чтобы все присутствующие проникались буквальной и совершенной истинностью их, без каких-либо кривотолков. Вознесся на небеса в той плоти, которая и после Воскресения была по учению церкви настоящей человеческой плотью, той же самой, которая изнемогала на кресте, той, от которой в земле, в добычу разложения и смрада не осталось ни малейшей частицы. Вознесся на небо и сидит теперь по правую

руку от Создателя Вселенной... Но что такое небо? Разве вообще существует небо? Самое понятие это, вдохновлявшее и религию, и поэзию, и все человеческое творчество в течение веков, — до лермонтовского «неба полуночи», самого глубокого вздоха о потустороннем во всей русской литературе, — понятие это внезапно обанкротилось, лишилось смысла: неба нет, как нет во Вселенной, вне земного притяжения, никакого «верха» и «низа». Среди всех христианских догматов догмат Вознесения представляет собой образец того, во что верить *невозможно*. Никакие сделки с умом и воображением помочь тут ничему не могут: невозможно! — и не потому, что «quia absurdum», в каком-нибудь сверхразумном смысле, а наоборот, потому, что содержание догмата внушено представлением, когда-то находившимся в *тесном* согласии с разумом. Едва ли кто-нибудь теперь в него действительно верит, *а если случается размышлять по поводу Вознесения, то люди даже благочестивые* говорят о теле просветленном, призрачном, чуть ли не «астральном». Об этом говорил Бердяев, в остальном заботившийся о том, чтобы не слишком церкви противоречить, да говорят и другие *писатели*, чувствующие невозможность оставить *детскую* картинку в прежнем виде, без *всяких* поправок.

Но церковь поправок не допускает. По учению церкви, вознеслось тело вполне вещественное, а не «астральное», — иначе неизбежно надо допустить разложение в могиле. *А дальше? Что произошло дальше? Где тело превратилось в дух? А одежда, его покрывавшая, что сделалось с ней? Тоже осталась на небе?*

Предвижу, что эти строки вызовут обвинение в кощунстве, а то и в тупом зубоскальстве. Но без того, что иными людьми воспринимается как кощунство, — и по-своему, может быть, основательно, — нельзя сделать сейчас и шагу для поддержки готового рухнуть здания. На какую-то долю «кощунства» — т. е. отбора того, что спасти надо, от того, чем приходится пожертвовать, — решиться необходимо. Удержать все в таком же виде, как прежде, нельзя все равно. Нет, — слышится мне гневное возражение, — это придирки, это мелочи, стоит ли о них толковать? Целое во всем своем величье стоит незыблемо, а то, что вы сейчас написали, напоминает известную главу из «Воскресения», которая, вероятно, очень вам по душе... Pro domo, и чтобы больше к этому не возвращаться, хотелось бы мне заранее, в двух словах, ответить, что при всем моем преклонении перед Толстым, глава в «Воскресении» с насмешливым пересказом обедни всегда представлялась мне крайне тягостной и Толстого не достойной. Но верно ли, что «мелочи», всем авторитетом церкви провозглашенные истиной, не имеют значения? Не правильнее ли признать их симптомами, может быть, и не сразу заметными, но свидетельствующими о роковом одряхлении всего организма?

Да и можно ли догмат Вознесения счесть мелочью? Он непосредственно связан с другим, основным христианским догматом, с грозным и трудным догматом Воскресения. Здесь, конечно, колебаниям конец, здесь непреложное «или—или»... Но если человек и дотянется, душой и умом до финального признания знаменательнейшего из чудес, через ка-

кие мытарства, через какие испытания ему, его душе и уму, придется пройти до этого, и в каком духовно-истерзанном состоянии произнесет он как свои, а не чужие, слова о том, что «смертию смерть поправ», слова, ради которых и стоит идти на любые изменения, любые поправки, даже и «астральные», слова, в которых заключена защита от миллионно-далеких бесчеловечных пространств и бесконечно-беспредельного потока времени.

А ведь в «астральной» поправке, — *какие бы виды она ни приняла, — ни кощунства, ни предательства, — как, вероятно, завопил бы Мережковский! — нет, хотя она и не в ладу с представлением церкви*. Есть в ней даже что-то праведно-нравственное, милосердное, способное вызвать в ответ не смущение сердца, а порыв благодарности... Да, то тело, с мускулами, кровью и всем, что составляет наши тела, разложилось и истлело. Но если Он, в милосердии своем, согласился быть человеком, то не распространяется ли это милосердие, это снисхождение и на смерть, т. е. не мог ли Он согласиться и умереть такой же смертью, какой умрем все мы, со смрадом, зловонием и всей мерзостью смерти? Не углубляется ли при этом догмат, не восстает ли образ Его в еще чистейшем сиянии? Не утверждается ли дело Его тем, что Он преодолел смерть как исчезновение и мог быть *узнан учениками* после того, как умер действительной, настоящей смертью, *одной для всех, без телесно-материального восстановления? Разумеется, что-то неясное тут все-таки остается, в особенности если счесть всякую «астральность» суеверием и ересью. Современный мистицизм, опустившийся до спиритизма,*

окрасил эти понятия в тона почти что вульгарные... Но в догмате Воскресения несомненно есть монофизитский привкус, лишающий Христа полноты Его человеческих черт: церковь монофизитство отвергла, а каких-то изначальных следов его в догмате не заметила, — потому, вероятно, что в ее представлении единственно-чудесно было само-восстание из гроба, действие всесильной божественной воли в самой себе, а вовсе не самый факт плотского воскресения, в евангельских рассказах ничего исключительного не представляющий.

Церковь и до сих пор учит: «чаю воскресения мертвых», и значит, *приглашает верить* во всечеловеческое восстание из гробов, в согласии с нашим святым и сумасшедшим рационалистом Федоровым. Но верит ли кто-нибудь действительно в воскресение мертвецов? Эллинизация христианства, неотразимая и неуловимая, отчасти в том и сказалась, что греческая, платоновская, великая идея бессмертия души преобразила и почти вытеснила в сознаниях тяжелую еврейскую идею воскресения трупов, — и мало-помалу окрылила христианство, внесла в него воздух и освобождение, разрешила какие-то мучительные, двоящиеся, загадочные противоречия, заложенные в самой основе человеческого существа. «Чаю бессмертия души»: без этого не было бы средневековых соборов с их дивно-взвивающимися в беспредельность игольчатыми башнями, не было бы «безбрежной мечтательности» — по Достоевскому — протестантизма, не было бы, конечно, и самого Достоевского, ни Паскаля, ни Данте, ни Лермонтова, ни *даже Толстого, которому за все, что он сказал и сделал, должна бы проститься обедня в «Воскресении».*

«Чаю бессмертия всех душ», хороших и плохих, — потому что если были они плохими, то разве по своей вине? Чаю бесстрашия перед пространством и временем, и пусть гниет то, что сгнить должно: ночью, под звон пасхальных колоколов, со свечами, задуваемыми весенним ветром, ничто сильнее не объединяет людей, сошедшихся вспомнить о самом нужном им обещании и торжестве.

113.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины...»

Все, вероятно, помнят эти слова: ими начинается тургеневское знаменитое стихотворение в прозе о нашем «великом, могучем, правдивом и свободном» языке.

Не знаю, существуют ли еще люди, способные в языке искать опоры и поддержки. Но тягостные-то раздумья о судьбах родины — наш общий удел, и не только в эмиграции, а, надо полагать, и там, дома, каким бы невозмутимым официальным оптимизмом ни казались они заглушены.

Мысль неизменно возвращается к тому, что в прошлом веке было о России сказано.

Неужели действительно все они так бесспорно и бесповоротно ошиблись? — спрашиваешь себя, перебирая в памяти суждения некоторых славянофилов, в частности, тех, которым особенно дорого было представление о «народе-богоносце»: Тютчева, Достоевского, двух-трех других (прежде всего именно Тютчева, наиболее отчетливо эти мысли выразившего)... Что осталось от их видений? Смея-

лась ли над кем-нибудь история язвительнее, чем посмеялась над ними?

В нескольких словах, что они предсказывали? России, монархической и православной, предстоит спасти заблудшее человечество. Запад — во власти дьявольского наваждения, Запад, отпавший от божественной истины, преисполнен пагубной гордыни и увлечен пустыми, лживыми притязаниями, нашедшими свое ярчайшее выражение в идеях французской революции. Демократия — обман, общественный разврат. Подлинный свет, подлинную свободу даст человечеству Россия, призванная к этому самим Провидением.

Неужели люди гениально-умные, и притом вдумывавшиеся в эти вопросы годами и годами, вдохновенно о них говорившие, вложившие все свое сердце в их разрешение, — неужели могли они так страшно, так «стопроцентно» ошибиться? Нет сомнений, что если бы взглянули они на то, что произошло в наши десятилетия, отчаянию и ужасу их не было бы границ. Признать, что христианскую культуру представляет и отстаивает теперь Запад, они не могли бы иначе, чем ценой отречения от самого основания своих взглядов. Единственное, что им оставалось бы, — это провозгласить, что дьявольское наваждение одержало победу и что в мире сейчас противостоят одна другой две силы, ни одна из которых содействия и сочувствия не заслуживает и добра не обещает. Разница исключительно в степени, в размерах подчинения дьявольскому внушению, а если и приходится между двумя враждующими силами сделать выбор, то лишь по принципу выбора из «двух зол».

Другого вывода из всего того, что было о «богоносце» написано, сделать нельзя. Заключение ясное: все, случившееся в наше время, резко противоречит тому, что было предсказано, и сводит эти предсказания к пустым произвольным домыслам.

Как будто бы так.

Однако... как знать?.. может быть, мыслители, связывавшие с русским будущим самые заветные свои надежды, в конце концов окажутся правы. Ошибка произошла главным образом в сроках, да еще в путях... Догадка о том, что это не только возможно, а и вероятно, прорезывает «тягостные раздумия» внезапным лучом света. Догадка сразу усложняется множеством других, побочных соображений, растет, крепнет — и мало помалу превращается в уверенность. «Сие буди, буди», — хочется в волнении повторить слова Зосимы. «Сие буди», должно быть, не может не быть, — и тогда-то и выяснится, что Россия не напрасно пережила и перестрадала все, что выпало на ее долю, недаром выпила до дна, до самой последней полынно-горькой капли всю уготованную ей историей «чашу испытаний».

Но всему ли суждено сбыться? Мечта о православной монархии — мечта безнадежная, обреченная, как всякого рода реставрация, как все то, что в истории отмечено роковой юлиановской печатью. Если когда-нибудь и предстоит этой мечте воплотиться, то едва ли прочно и надолго, да и едва ли существует сейчас человек, даже из самых горячих сторонников православно-самодержавного строя, который этой обреченности втайне, и с тайной грустью, не чувствовал бы. Константин Леонтьев, воскликнувший: «На что нам Россия не самодержав-

ная и не православная?» — вероятно, в наши годы отрекся бы от русского имени, но не стал бы себя убаюкивать иллюзиями насчет того, что дорогие ему формы общественного устройства восстанут из небытия... О формах вообще говорить трудно, а в особенности не следует в этой области приписывать своим предпочтениям слишком большое действенное значение. Как будет жить русский народ, какие возникнут в России виды общественного устройства, никто не знает, хотя гадать об этом вправе всякий, как и всякий вправе способствовать установлению наиболее совершенного, по его мнению, политического и социального строя.

Но свобода, дух свободной жизни, братство в свободе, пусть даже «товарищество», очищенное от теперешнего волчье-классового, постыдно-ретроградного оттенка; одним словом — человечность общества, справедливость общества, равенство в обществе, свободно принятое, без попыток тюремно-лагерной нивелировки; да, равенство, ненавистное всем эстетам истории, с пеной у рта кричащим о «всемстве», но заключающее в себе красоты иного, более высокого порядка, чем все красоты внешние; то, что в идеале, может быть, и неосуществимо, но к чему осуществимо приближение; то, к чему тянулись и о чем думали в течение двух веков люди, неожиданно оказавшиеся в идейном смысле «за бортом» нашей современности; то, что должно было манить мыслителей тютчевского умственно-нравственного склада и что в пророчествах их было сущностью, а не временной декорацией; то, что они противопоставляли Западу, уже и в их годы ясно сознавшему неизбежность ограничения, принужде-

ния и контроля, как единственного средства предотвратить уподобление царства денег первобытному лесу, где каждый стремится перегрызть другому горло, — разве у России не больше шансов, чем у Запада, к осуществлению этого возродиться? Россия рванулась вперед, проделала в короткий срок весь путь, намеченный Западом, и, хоть и в несколько азиатском преломлении, отведала всего, что таили в себе западные уроки. А сам Запад еще колеблется на полдороге, упирается, как бык на бойне, и шаг за шагом, уступка за уступкой уходит все дальше от всего, чем был — или хотел быть — когда-то.

Как знать, «мессианскому», «богоносному» заданию России, может быть, впервые в предстоящие десятилетия, — пусть даже столетия, — суждено выступить не в розовом тумане панславистских фантазий, а в качестве одного из творческих и созидательных начал будущего? Именно потому, что «до дна». Именно потому, что было «море крови», и дальше идти некуда. Именно потому, что было насилие, был гнет, были «суровые порядки, каких мы еще не видывали», предвозвещенные тем же Леонтьевым, была казарменно-полицейская метаморфоза социализма, заранее пугавшая Герцена. Все можно допустить, во всем можно ошибиться, только не в этом: наверно, это, т. е. гнет, казарма, насилие, находилось и находится в жесточайшем разладе с самой сущностью России, с «русской душой», какой она отразилась в лучшем, что мы вспоминаем из прошлого. Одно или два поколения оказались искалечены, да, правду сказать, «русская душа», русское сознание в поверхностных своих пластах всегда имели в себе что-то неодолимо льнувшее к дер-

жимордам всякого толка. Как, почему это возникло, как уживалось с иными русскими свойствами — один Бог знает! Но, несомненно, душок былых дубровинских, «истинно»-русских чайных жив до сих пор, — и что такое, например, пресловутая «ждановщина», как не вывернутое на коммунистическую изнанку старое русское черносотенство? А в свою очередь, не «ждановщиной» ли, вывернутой наизнанку эмигрантскую, следует признать то, что приходится иногда читать или слышать здесь, особенно в последнее время, по адресу, скажем, Блока или даже Льва Толстого?

В революционной перетасовке эта муть оказалась подхлестнутой кверху, она осмелела, стала бойчее, самоувереннее. Но нельзя поддаться обману: это — не сущность России, это именно муть, накипь, и в последнем, конечном счете это — предательство России.

Надо бы наладить нечто вроде сговора, согласия людей, верящих в иной облик, в иное призвание русского народа и готовых, там или здесь, содействовать осуществлению его, храня в самих себе верность ему. «Не оживет, аще не умрет»: вечные евангельские слова должны бы оправдаться на исторических судьбах России. Западничество, славянофильство, все теперь спуталось, а в революции обе эти линии переплелись так, что невозможно и отделить одну от другой. Но то, что нехотя, хмуро, угрюмо Запад постепенно выпускает из рук, Россия должна бы когда-нибудь ему вернуть в преображенном виде, умудренная всем своим опытом, научившаяся многому такому, чего он и вообще никогда не знал.

«...У ней особенная стать, в Россию можно только верить!» В этих строках, воспринимавшихся в течение долгих лет как традиционное квасно-патриотическое бахвальство заложена, пожалуй, крупица мудрости и правды. Но трудно было в прежние годы ее заметить.

Сомнения? Согласен, сомнения остаются: «помоги моему неверию». По-моему, и веры нет без сомнения. Но при наличии сомнения — и, значит, неизвестности — всегда лучше быть на стороне «да», чем на стороне «нет», хотя бы потому, что утверждение способствует осуществлению и в самом себе несет его. «Сие буди» без колебаний: не для нас, так для наших внуков.

ТЕМЫ

114.

«Поэзия возникает из света и безнадежности». Это не совсем хорошо сказано, чуть-чуть слишком нажата педаль. Но ничего не поделаешь: «серебряный» век, не «золотой». Надо было бы выразиться суше, сдержаннее, как выражались в «золотом». Надо было бы на полуслове остановиться, чтобы наполнить содержанием и самое молчание. Но нашим поэтам я все-таки сказал бы: если вы этого «света и безнадежности» не понимаете, бросьте писать стихи! Объяснять тут нечего, и в поэзии вам делать нечего.

115.

У Толстого вовсе не самые люди живы, как ни у кого другого. Старик Верховенский в «Бесах» или удивительный в своей трагикомической картинности генерал Иволгин в «Идиоте» мало чем уступают в этом смысле самым ярким толстовским персонажам. Но у Достоевского, — как у Диккенса, с которым у него в приемах изобразительности столько общего, — каждый человек существует сам по себе, без связи с остальными. Каждого можно беспрепятственно перенести в другой роман, даже друго-

го автора. У Толстого единственны не люди, а единственно то, что между людьми: атмосфера, воздух, которым они дышат, невидимые нити от одного к другому, общая принадлежность к единому миру.

Есть в кулинарии выражение «lier». Например, lier un potage: сделать суп слитным, цельным. Вот в искусстве lier у Толстого действительно нет соперников. Шарль дю Бос правильно сказал: Толстой и Шекспир.

116.

Давно известно, что твердость, тяжесть и точность латыни нашему языку недоступна. И не только латыни: недоступна нам и французская отчетливость. Когда-то в Петербурге возникла коллективная попытка перевести Ларошфуко, но ничего не вышло. Ослепительная галльская сжатость теряла в русском переводе и блеск и остроту. Наш язык богаче в оттенках, вкрадчивее, но зато и уступчивее. Из дерева хорошего копья не сделаешь, нужна сталь.

Если есть что-нибудь в русской литературе, что дает представление о латыни — и даже о греках, — то один только Толстой. «И после глупой жизни придет глупая смерть». Правда, это латынь безотчетная, но именно полное отсутствие подражания и стилизации приводит к родству. Такая фраза по духу ближе к латыни, чем Карамзин или даже Пушкин. У Пушкина слог чище, у Пушкина больше внешнего словесного мастерства, больше заботы о слове, но у него все-таки нет толстовской силы. Мятежники торжествовали: это — «под латынь», умышленно, а Толстой устремляется в противоположную сторону,

и, ни о каких образцах не думая, будто описав круг, возвращается в нужную точку.

Стиль и слово. Пример писателя, лингвистически многоопытного, но стилистически беспомощного, — Ремизов. Не случайно он в своих «Подстриженных глазках» пролепетал что-то о «словесно бездарном Толстом».

Вспоминаю, впрочем, и другое. Как-то я увидел у него на столе книжку журнала, испещренную заметками на полях, — и с разрешения хозяина «полюбопытствовал», взял посмотреть. В одной из статей была цитата из Пушкина: «Бессмертья, может быть, залог». На полях значилось: «Может быть — лишнее. Можно бы выбросить».

«Бессмертья, может быть, залог»! «Может быть», на котором все держится, «может быть» — вызов, надежда, заклинание, прорыв в неизвестность, почти уже победный клич, волшебное сверкающее над всей русской поэзией «может быть» — лишнее!

117.

Вторжение разночинцев в нашу литературу совпадает с порчей языка, или, вернее, — привело к порче. Белинский, духовный отец разночинцев, писал, в сущности, «никак», т. е. серо, бескостно, и эту свою бескостно-серую манеру передал Чернышевскому, Добролюбову и другим. Из людей того же идейного лагеря сопротивление у Герцена, читать которого — истинное наслаждение. Отчасти у Писарева (до крепости), который должен бы еще дождаться справедливой оценки, сколько бы ни наболтал он мальчишеского вздора.

Но манера Белинского привилась. Благодаря ей легко стало писать без помарок, страниц десять в полчаса, «блистательно», как тот же Чернышевский сказал о Добролюбове, имея, очевидно, о «блистательности» представление совсем особое. К концу века мы докатились до Скабичевского, а от него по прямой дорожке к языку советских газет. Однако все-таки по былым цветочкам нельзя было ждать теперешних ягодок!

Иногда, читая московские газеты и журналы, думаешь: ну хорошо, несравненная мудрость Ильича, необыкновенно глубокие указания Никиты Сергеевича по вопросам творчества и все прочее, — пускай, пускай! Но почему все это изложено таким сверхдубовым, сверхканцелярским, обезличенным языком? И в чем тут дело: в российской подспудной, исконной тупости, прорвавшейся во всю ширь наружу и мстящей за годы и годы унижения? или в том, что данный общественный строй обусловливает соответствующий литературный стиль? То есть виновата ли наша матушка-Русь православная и охотнорядская или виноват коммунизм, который всюду привел бы к тому же?

Второе предположение вероятнее. И, если вдуматься, страшнее.

118.

«Проблема» — не совсем то же самое, конечно, что «вопрос». Но в девяти случаях из десяти можно без ущерба вместо «проблемы» сказать «вопрос», и даже в десятом, неудачном случае «вопрос» все-таки лучше.

Боязнь иностранных слов тут ни при чем. Есть множество иностранных слов вполне приемлемых, равноправных со словами русскими. Такие, как «проблема», отталкивают не стилистически, а психологически, а отмыть их от всего, что к ним приросло, трудно...

«Пастернак поставил проблему Бога». «Проблема смерти в новейшем американском романе»...

Психологически что за этим? Эстрада, роговые очки, мягко поблескивающие, высококультурные глаза, приятные жесты, скрыто-самодовольная улыбка. Фрейд? Ну, как же, разумеется, Фрейд, как же теперь без Фрейда! Пикассо? Помилуйте, я давний, убежденный поклонник Пикассо! Я давно уже указывал, что Пикассо... Необходимо заметить, что и влияние Эйнштейна...

Словом, «сублимированный», многоликий, всепонимающий, всеодобряющий, бессмертный Луначарский. «Проблемы», победоносно разрешаемые на каждом шагу. Оттого и даешь себе слово обходиться без «проблем».

119.

От поэзии условно-поэтической, от «поэзии» в кавычках до завуалированной пошлости — рукой подать.

Пушкин, как метод, как отношение к творчеству, как антипоза, выше и чище Блока. Не сравниваю таланты. Но Пушкин сгорел бы со стыда, если бы написал о «черной розе в бокале» и о какой-то дуре, розу получившей и полной «презрения юного». Другие времена, другой век? Да, может быть.

Но идти по течению века вовсе не обязательно. Блок на редких своих вершинах — прекрасен, навсегда, без допустимости какого-либо «пересмотра», но Блок средний, включая, конечно, и «Двенадцать», — тягостен.

Меня все чаще корят Цветаевой. «Замечательный поэт, а вы упираетесь или просто не понимаете!» Недавно я — как бы в свое оправдание, в свое «понимание» — узнал, что самым любимым ее русским стихотворением было фетовское «Рояль был весь раскрыт»... Человек весь в том, что он любит, и не все ли мне равно, при таком выборе, что Цветаева была действительно очень даровита!

120.

Кстати, по поводу «Двенадцати».

Когда поэма только что появилась, Сергей Бобров, умный человек, где-то написал: «горький пустячок». Я до сих пор помню свое тогдашнее возмущение. А теперь думаю: как это было верно!

121.

Хамы и снобы.

В наших литературных спорах это разделение становится основным. Одни считают своих противников хамами, другие в ответ — снобами.

Обмен любезностями дает литературной полемике окраску, даже если до открытой перебранки дело и не доходит.

122.

По Гете, духовная культура складывается из чувства жизни и чувства смерти (не то у Эккермана, не то у канцлера Мюллера, не помню точно, но за смысл ручаюсь. Вероятно, у Мюллера, который был умнее Эккермана и лучше знал, что следует записать).

В согласии со своей натурой Гете добавил, что необходимо равновесие. Замечательно, однако — и лишний раз доказывает, какой это был необыкновенный ум, — что преодоление чувства смерти он желательным отнюдь не считал.

В России равновесия не было. В самом глубоком, что Россия дала, было 51 % чувства смерти и 49 % чувства жизни: стрелка весов неизменно клонилась влево. Оттого мы действительно «самый неклассический народ в мире», по диагнозу Ницше. Оттого и о Пушкине, вопреки ходячему утверждению, далеко еще не «все сказано».

123.

У Пастернака в романе много такого, что трудно забыть. Но у него слишком «геттингенская» душа, и символически ему очень были бы к лицу «кудри до плеч». Он в Германии учился, и голубоглазый, мечтательный немецкий студент жив в нем до сих пор. Сердце не совсем в ладу с разумом и притом сильнее его. Музыка Шуберта, не музыка Моцарта.

124.

«Об уменьшительной степени у Достоевского»: тема для диссертации трудолюбивого молодого слависта.

Пальтишко, пиджачишко, вещичка, старушоночка, ребеночек, «узкий мучительный следок», пьяненький, гаденький, «ваше возможное возраженьице», — и так далее, до бесконечности.

Стоило бы все это собрать, классифицировать, подытожить, сделать выводы. Необыкновенно характерно, необыкновенно важно, чтобы как следует Федора Михайловича понять, ощутить: будто фиоритуры в самых патетических мелодиях.

Отчасти из-за этих фиоритур его иногда и неловко читать (но это уж не для диссертации). Хочется отвернуться, отвести глаза. «Аркадий, не говори красиво», хотя бы и навыворот. Пиши без ужимок.

125.

Едва ли не самая важная тема нашего времени сходится с темой К. Леонтьева. Но Леонтьев не видел в ней вопроса, притом «проклятого», и, в парадоксальном сочетании эстетической гениальности с моральной слепотой, не допускал колебаний при решении.

Что нужнее — культура узкая и глубокая, доступная лишь «элите», которая по своему убеждению и движет человечество вперед? или другая, расплывшаяся в ширину, сравнительно плоская, пресная, но, худо ли, хорошо ли, приобщающая всех к своим оскудевшим богатствам?

В том, что мир мало-помалу сереет, обезличивается, идет к ненавистному Леонтьевым «всемству», сомнений быть больше не может. Но нет ли в этом и непреложной правоты? Эстетика не грешила ли безразличьем и самодовольством? С взаимного ли согласия одни творили, а другие молчали и удобряли для творчества почву? Красота мира не должна ли быть разделена по крохам, — «разбазарена», скажут некоторые, — во имя того, чтобы каждый получил свою долю в ней?

Об этом у нас когда-то верно и умно писал Лавров. Весь Некрасов — об этом. И сам Леонтьев на пороге смерти дрогнул, сдался, с великой горечью признав, что христианство — против него.

Это очень сложный вопрос, со внезапно возникающими при размышлении «за» и «против». Но истинная «современность» человека в наши годы, пожалуй, в том-то и заключается, чтобы его себе поставить и про себя, для себя решить, каких бы отказов это ни требовало.

TABLE TALK <I>

Название — пушкинское. И именно при чтении Пушкина пришла мне в голову мысль последовать его примеру и записать отдельные вспомнившиеся мне мелочи из нашего литературного житья-бытья. Получилось то, что французы определяют словами «la petite histoire», но что, может быть, пригодится и для «большой» истории русской литературы. Записи эти я мог бы продолжить, дополнить, и думая о многом, уже полузабытом, жалею, что не вел дневника.

Г. А.

125.

Андрей Белый рассказывает в своих воспоминаниях, что у Сологуба в последние годы жизни было что-то вроде навязчивой идеи: пение Патти. О чем бы он ни говорил, речь рано или поздно сводилась к тому, как пела Патти.

Записки Белого я прочел уже в эмиграции и, читая, вспомнил, что и сам слышал когда-то, как Сологуб говорил о Патти. Было это в редакции «Всемирной литературы». У Сологуба даже лицо изменилось, он оживился, как будто помолодел, глаза блестели. «Патти! Если бы вы слышали Патти!»

Много лет позднее я об этом рассказал Бунину, — рассказал случайно, «так», не придавая рассказу значения. Но Бунин насторожился.

— Ах, как это мне нравится! Как хорошо! А ведь я считал его истуканом.

И потом задумался, умолк. Вероятно, в его представлении это обернулось чем-то вроде «звуков небес». Или младенческим воспоминанием Лермонтова о пении матери.

126.

Бунин о Достоевском.

— Да! — сказала она с мукой. — Нет! — возразил он с содроганием... Вот и весь ваш Достоевский!

Потом: — Ну, я шучу, шучу... В целом я его терпеть не могу, плохой был писатель и человек плохой. Но кое-что у него удивительно. Этот Петербург... не пушкинский, парадный, а заплеванный, грязный, чахоточный... эти черные лестницы с кошачьей вонью, голодный Раскольников со своим топором, это у него удивительно... Но сколько злобы, какое самолюбие! Мне когда-то Боборыкин много о нем рассказывал... Ужасно!

127.

У постели больного Бунина, за несколько месяцев до смерти. Он совсем слаб, но начиная говорить о литературе, мало-помалу оживляется.

— Знаете, я хочу написать повесть в новом духе... чепуху какую-нибудь. Начну с конца, а кончу началом, ничего нельзя будет понять, да и

язык тоже будет новый. «Небо, как носовой платок»... это я недавно где-то прочел. Замечательно, а? Будут у меня и носовые платки. И вот увидите, какой-нибудь критик напишет, что «Бунин ищет новых путей». Уж что-что, а за «новые пути» я вам ручаюсь. Без них не обойдется, — хотите пари?

128.

Вернувшись из Стокгольма после получения Нобелевской премии, Бунин пришел к Мережковским: visite de courtoisie, тем более необходимый, что Мережковский был его нобелевским соперником и даже тщетно предлагал условиться о разделе полученной суммы пополам, кому бы из них двоих премия ни досталась.

Зинаида Николаевна встретила его на пороге и будто не сразу узнала. Потом, не отнимая лорнета, процедила:

— Ах, это вы... ну, что, облопались славой?

Бунин рассказывал об этом несколько раз и всегда с раздражением.

129.

На одном из парижских собраний, где чествовали Бунина, — не помню, по какому случаю, — приветственную речь произнес Борис Константинович Зайцев и между прочим сказал:

— С тобой, Иван, мы впервые встретились еще задолго до революции, в Москве. Ты тогда писал еще не так, как пишешь теперь...

Бунин вполголоса:

— Ну, что ж с ребенка спрашивать!

Ребенку было тогда лет под сорок.

130.

Некий молодой писатель, из «принципиально-передовых и левых», выпустил книгу рассказов, послал ее Бунину — и при встрече справился, прочел ли ее Иван Алексеевич и каково его о ней мнение.

— Да, да, прочел, как же!.. Кое-что совсем недурно. Только вот что мне не нравится: почему вы пишете слово «Бог» с маленькой буквы?

Ответ последовал гордый:

— Я пишу «Бог» с маленькой буквы потому, что «человек» пишется с маленькой буквы!

Бунин с притворной задумчивостью:

— Что же, это, пожалуй, верно... Вот ведь и «свинья» пишется с маленькой буквы!

131.

Зинаида Гиппиус вспоминает четверостишие Буренина, посвященное Минскому. Тот где-то срифмовал «мрамор» и «замер», да будто бы и произносил звук «и» как «ы».

Буренин назвал свое произведение «Памятник»:

Я к храму подошел и замер:
Там Минскому поставлен мрамер.
Но двери храма были заперты.
Зачем же мрамер не на паперты?

15 Зак. 3049

132.

Буренина я видел только один раз. Было это в Петербурге, в начале двадцатых годов. Аким Львович Волынский числился тогда председателем Союза писателей, а принимал посетителей в «Доме искусств», где жил.

Однажды явился к нему старик, оборванный, трясущийся, в башмаках, обвязанных веревками, очевидно, просить о пайке — Буренин. Теперь, вероятно, мало кто помнит, что в течение долгих лет Волынский был постоянной мишенью буренинских насмешек и что по части выдумывания особенно язвительных, издевательских эпитетов и сравнений у Буренина в русской литературе едва ли нашлись бы соперники (Зин. Гиппиус — «Антона Крайнего» — он упорно называл Антониной Посредственной).

Волынский открыл двери — и, взглянув на посетителя, молча, наклонив голову, пропустил его перед собой. Говорили они долго. Отнесся Волынский к своему экс-врагу исключительно сердечно и сделал все, что было в его силах. Буренин вышел от него в слезах и, бормоча что-то невнятное, долго, долго сжимал его руку в обеих своих.

133.

Зинаида Гиппиус о поэзии:

— Первый русский поэт — Тютчев. И Лермонтов, конечно. Затем, пожалуй, Баратынский. Некрасов? Вы знаете, что я его не люблю, но талант у него, действительно, был огромный. Еще Жуковский. Тут как раз наоборот: таланта не Бог весть как много, зато много прелести. Затем еще кто же... Фет?

— Позвольте, а Пушкин?

— Что Пушкин?

— Где же у вас Пушкин?

— Ах, Пушкин! Да, Пушкин. Так ведь Пушкин — это совсем другое. Пушкин это Пушкин. Ну, что вы пристали, в самом деле? Пушкин!

134.

«Зеленая лампа».

На эстраде Талин-Иванович, публицист, красноречиво, страстно — хотя и грубовато — упрекает эмигрантскую литературу в косности, в отсталости и прочих грехах.

— Чем заняты два наших крупнейших писателя? Один воспевает исчезнувшие дворянские гнезда, описывает природу, рассказывает о своих любовных приключениях, а другой ушел с головой в историю, в далекое прошлое, оторвался от действительности...

Мережковский, сидя в рядах, пожимает плечами, кряхтит, вздыхает, наконец просит слова.

— Да, так оказывается, два наших крупнейших писателя занимаются пустяками? Бунин воспевает дворянские гнезда, а я ушел в историю, оторвался от действительности! А известно господину Талину...

Талин с места кричит:

— Почему это вы решили, что я о вас говорил? Я имел в виду Алданова.

Мережковский растерялся. На него жалко было смотреть. Но он стоял на эстраде и должен был, значит, смущение свое скрыть. Несколько минут он что-то мямлил, почти совсем бессвязно, пока овладел собой.

135 (LXXII).

Мережковский был и остается для меня загадкой. Должен сказать правду: писатель он, по-моему, был слабый, — *исключительная скудость словаря, исключительное однообразие стилистических приемов,* — а мыслитель почти никакой. Но в нем было «что-то», чего не было ни в ком другом: какое-то дребезжание, далекий, потусторонний отзвук, *а отзвук чего — не знаю...* Она, Зинаида Николаевна, была человеком обыкновенным, даровитым, очень умным (с глазу на глаз умнее, чем в статьях), но по всему составу своему *именно — обыкновенным,* таким же, как все мы. А он — нет.

С ним наедине всегда бывало «не по себе», и не я один это чувствовал. Разговор обрывался: перед тобой был человек с прирожденно-диковинным оттенком *в мыслях и чувствах*, весь будто выхолощенный, немножко «марсианин». Было при этом в нем и что-то мелко-житейское, расчетливое, *вплоть до откровенного низкопоклонства перед всеми «сильными мира сего»,* — но было и что-то нездешнее. И была особая одаренность, трудно поддающаяся определению.

Оратора такого я никогда не слышал — и, конечно, никогда не услышу. *Невозможны никакие сомнения:* «арфа серафима!». У Блока *есть* в дневнике запись о том, что после какой-то речи Мережковского ему хотелось поцеловать его руку — «потому, что он царь над всеми Адриановыми». У меня не раз *бывало* то же чувство, и над всеми нашими нео-Адриановыми, *на любом эмигрантском собрании*, он царем был всегда.

И стихи он читал так, как никто никогда *их не читал*, и до сих пор у меня в памяти звучит его голос, будто *что-то* действительно свое, ему одному понятное, он уловил в лермонтовских строках:

И долго на свете томилась она...

Какой-то частицей своего существа он, должно быть, в самом деле «томился на свете».

А в книгах нет почти ничего.

136.

Зинаида Николаевна не раз рассказывала о посещении Ясной Поляны, и, в частности, о том, как Толстой, уходя на ночь к себе, вполоборота, со свечой в руках, внимательно, в упор, смотрел на Мережковского.

— Мне даже жутко стало, молчит и смотрит, — добавляла она.

Каюсь, у меня возникло предположение, что Толстой заметил в Мережковском именно его «диковинность» и вглядывался в него с любопытством художника: что это за человек такой, как бы его надо было изобразить? Помнится, я даже где-то написал об этом.

Но в воспоминаниях Короленко есть опровержение этой догадки. Сидя за шахматной доской с одним из сыновей Толстого, он вдруг почувствовал на себе его взгляд, настолько пристальный и упорный, что ему, Короленко, тоже сделалось жутко.

Очевидно, это было у Толстого привычкой. Ничего «диковинного» в Короленко во всяком случае не было.

137.

Гумилев был полнейшим профаном в музыке: не любил, не понимал и не знал ее. Но настойчиво утверждал, что о музыке можно говорить все что угодно: не понимает ее будто бы никто.

В редакции «Всемирной литературы» он как-то увидел ученейшего, авторитетнейшего «музыковеда» Б. — и сказал приятелям:

— Сейчас я с ним заведу разговор о музыке, а вы слушайте! Только вот о чем? О Бетховене? Что Бетховен написал? Ах, да, «Девятая симфония», знаю, — и подошел к Б.

— Как я рад вас видеть, дорогой ...имя-отчество. Именно вас! Знаете, я вчера ночью почему-то все думал о Бетховене. По-моему, у него в «Девятой симфонии» мистический покров превращается в нечто контрапунктически-трансцендентное лишь к финалу... Вы не согласны? В начале тематическая насыщенность несколько имманентна... как, например, в ноктюрнах Шопена...

На лице Б. выразилось легкое изумление, брови поднялись. Гумилев спохватился:

— Нет, конечно не того Шопена... нет, Шопена проблематического... впрочем, я у него признаю лишь третий период его творчества! Но у Бетховена слияние элементов скорей физических с элементами панпсихическими в «Девятой симфонии» находит свое окончательное выражение в катарсисе, как у Эсхила... или нет, не у Эсхила, а скорей у Эврипида...

Длилась эта вдохновенная импровизация минут десять. Под конец Б. взволнованно сказал:

— Николай Степанович, вы должны непременно написать это! Непременно! Все это так оригинально, так ново, и позволю себе сказать... нет, не скромничайте, не возражайте!.. все это так глубоко! Вы меня чрезвычайно заинтересовали, Николай Степанович.

Гумилев торжествовал.

— А что? Кто был прав? И ведь какую я околесицу нес!

138.

Милюков у евразийцев.

Идти на собрание ему не хотелось, но уговорам он поддался. Выступления его все ждали с нетерпением.

Милюков поднялся на эстраду с записной книжкой в руках, то и дело в нее заглядывая.

— Князь... да (книжечка) ... князь Ширинский-Шихматов... высказал некоторые мысли, по-видимому, представляющиеся ему оригинальными. Позволю себе посоветовать ему заглянуть в том пятый... (здесь название какого-то исторического труда, не помню, какого именно). Он мог бы найти там свои суждения, изложенные... я бы сказал, несколько более систематически. А впрочем, не отрицаю... в ваших взглядах есть кое-что любопытное. И слово любопытное... (книжечка) ...Евразия. Ев-ра-зия! Любопытно. Впрочем, можно было бы сказать и иначе — Азиопа. Тоже недурно!

139.

Кто-то из сотрудников «Последних новостей», — если не ошибаюсь, покойная Ю. Л. Сазонова, — в статье своей назвал имена Пушкина и Ломоносова рядом, как одинаково значительные в истории России.

Милюков, просматривая рукопись, эти строчки вычеркнул. В редакции возник спор: чьи заслуги Милюков ценит больше, кого ставит выше? Мнения разделились.

Оказалось, Милюков вступился за Пушкина.

140.

Зинаида Гиппиус жалуется, что Милюков по целым неделям задерживает ее статьи и вообще намерен «отказать ей от дому».

— И знаете, что он мне сказал? Нет, вы не поверите! Он сказал: «Я слишком стар и слишком занят, чтобы уследить за всеми шпильками, которыми вы украшаете ваши фельетоны». Как вам это нравится, а? У меня шпильки!

141.

История, которую мог бы рассказать Чехов, или даже Чехонте. Нечто вроде «Смерти чиновника» — о плевке на лысину его превосходительства.

Жил в Париже старичок, когда-то лицо виднейшее, чуть ли не товарищ министра, и ежедневно ходил обедать в скромный русский ресторан под названием «Ласточка».

Прислуживали в ресторане дамы обычного эмигрантского типа: каждая бывала при дворе, у всех

были несметные миллионы, особняки, кареты, имения, а если случалось, одна из них была артисткой, то, конечно, знаменитостью и солисткой Его Величества. Других дам, как всем известно, в эмиграции до крайности мало.

К старичку, по его бедности, отношение было пренебрежительное.

— Будьте любезны, сударыня... биточки в сметане!

— Сегодня биточков нет. Я вам принесла зразы.

— Но я не люблю зраз.

— Что за капризы! Кушайте, что дают.

В другой раз:

— Борщ что-то как будто не очень горячий.

— А вы, может быть, хотели бы, чтобы он для вас кипел целый день?

Длилось это несколько лет. Старичок все молчал. Наконец он совсем одряхлел, слег и попал в больницу. Пришло ему время умирать. За несколько минут до смерти он приподнялся на постели и еле слышно сказал:

— Много я обид в «Ласточке» видел!

Вздохнул и умер.

142.

Поздно вечером в кафе «Мюра», вдвоем с Ходасевичем, только что расставшимся со своими партнерами-бриджистами.

Он утомлен, нервен и как-то более лиричен, чем обычно. Разговор, конечно, о поэзии. Строчки Блока:

Будьте ж довольны жизнью своей,
Тише воды, ниже травы...

Ходасевич вздыхает, разводит руками.

— Да, что тут говорить!.. Был Пушкин и был Блок. Все остальное — между.

Эти его слова, — которые помню совершенно точно, — позднее я передал Алданову. Он был ими озадачен.

— Как? А Тютчев? А ваш же Некрасов? А, наконец, Лермонтов?

Но в каком-то смысле Ходасевич был прав, даже если в этом почти столетнем «между» были поэты и крупнее Блока.

143.

Алданов на каком-то банкете или обеде в Ницце встретился с Метерлинком. И, сидя за столом с ним рядом, сказал ему:

— Я никогда в жизни не видел Толстого и до последнего своего дня буду жалеть об этом. Но теперь у меня есть утешение... вы, конечно, понимаете, какое!

Метерлинк, по его словам, был чрезвычайно доволен, а разговорившись о Толстом, сказал, что, по его мнению, «Власть тьмы» — самая замечательная драма из всех, написанных после Шекспира.

144.

Тэффи, чуть-чуть смеясь глазами, но с самым деловитым и серьезным видом рассказывает:

— Сижу я вчера вечером в кафе, против монпарнасского вокзала. Вдруг вижу — из бокового зала выходят много пожилых евреев, говорят по-русски.

Я заинтересовалась, остановила одного и спрашиваю, что это было такое... А это, оказывается, было собрание молодых русских поэтов.

145.

Мережковский и Лев Шестов не любили друг друга, а полемизировать начали еще в России, — из-за Толстого и его отношения к Наполеону. Книга Мережковского «Толстой и Достоевский» — о «тайновидце плоти» и «тайновидце духа» — прогремела в свое время на всю Россию.

Шестов, уже в эмиграции, рассказывал:

— Был я в Ясной Поляне и спрашивал Льва Николаевича: что вы думаете о книге Мережковского? — О какой книге Мережковского? — О вас и о Достоевском. — Не знаю, не читал... разве есть такая книга? — Как, вы не прочли книги Мережковского? — Не знаю, право, может быть и читал... разное пишут, всего не запомнишь.

Толстой не притворялся, — убедительно добавлял Шестов. Вернувшись в Петербург, он доставил себе удовольствие: при первой же встрече рассказал Мережковскому о глубоком впечатлении, произведенном его книгой на Толстого.

146.

Марина Цветаева на собрании «Кочевья», литературного кружка под председательством Марка Слонима.

У нее еще длится ее увлечение кн. Волконским, и в перерыве она во всеуслышание советует одному из молодых прозаиков читать его как можно усерднее.

— Читайте Пушкина и читайте Волконского! Лучшего языка я не знаю.

Вероятно, я улыбнулся, потому что, взглянув на меня, она не без запальчивости сказала:

— Вот Адамович, кажется, не согласен!

— Нет, отчего же... Просто мне вспомнилось то, что о языке Волконского сказано в дневнике Блока.

— А что? Не помню.

— У Блока сказано: «Князь Волконский всех учит русскому языку, а сам изъясняется со средне-княжеской грамотностью».

Цветаева вспыхнула и «отрезала», — совсем как незабываемая курсистка в шигалевской главе «Бесов»:

— Не согласна. Это, значит, мое третье расхождение с Блоком.

Какие были первые два, я не знаю.

147.

В Петербурге, где-то на Моховой, на сводчатом чердаке, убранном с подчеркнуто футуристической художественностью, — многолюдное, шумное сборище. Пластинки Изы Кремер и Вертинского, прерываемые бранью поэтов, оскорбленных в своей эстетической чуткости, попытки читать стихи, прерываемые танцами, много вина и водки.

Охмелевший Есенин сидит на полу, не то с гармошкой, не то с балалайкой, и усердно «задирает» всех присутствующих, — в особенности Маяковского, демонстративно не обращающего на него внимания. Тут же сочиняет и выкрикивает частушки.

Эй сыпь, эй жарь!
Маяковский — бездарь.
Рожа краской питана,
Обокрал Уитмэна.

Помню и другую его частушку:

Как на горке, у кринички
Зайчик просит у лисички...

К сожалению, воспроизвести две последние строчки в печати не совсем удобно.

148.

Литературный вечер эфемерного общества «Арзамас» в Тенишевском зале. 1919 год.

Жена Блока, Любовь Дмитриевна Басаргина, должна читать «Двенадцать». Кроме поэтов более или менее «своих» решили пригласить Федора Сологуба.

Принял он Георгия Иванова и меня очень вежливо и очень холодно. Не давая еще согласия, справился о программе вечера.

— Раз будет чтение «Двенадцати», я участвовать не могу.

— Федор Кузьмич, что вы! Вы читали «Двенадцать»?

(В то время нам казалось, что блоковская поэма — это вершина поэзии, и, кстати, тогда же Иванов-Разумник написал, что тот, кто не понимает, что «Двенадцать» — такое же великое произведение, как «Медный всадник», вообще ничего не понимает в поэзии.)

— Нет, не читал. И читать такую мерзость не намерен.

— Как? Правда, не читали?

— Не читал. И вообще новейших мерзостей не читаю.

Настаивать было бессмысленно и бесцельно.

149.

Тот же 1919 год, — или, может быть, 1918-й. Литературный вечер в «Привале комедиантов».

В первом ряду — Луначарский, рядом с хозяйкой, Верой Александровной Лишневской. На эстраде — Владимир Пяст, когда-то друг Блока, бледный, больной, с перекошенным лицом. В упор глядя на «наркома», читает стихи о другом сановнике — Крыленко. Последние строчки, почти задыхаясь:

Заплечный мастер, иначе — палач,
На чьих глазах растерзан был Духонин!

В зале молчание и смущение. Лишневская что-то шепчет нервно жестикулирующему Луначарскому, держит его за рукав, но тот встает.

— Нет, господа, это, право, никуда не годится! Зачем же так преувеличивать? И что за выражение! Палач! Разве это поэзия?

Он направляется к выходу, но Лишневская делает последнюю отчаянную попытку уговорить его, особенно напирая на то, что это, мол, — «друг Блока». Луначарский наконец сдается и поэтам, читающим вслед за Пястом, аплодирует весьма благосклонно.

Несколькими годами позже такой вечер кончился бы совсем иначе.

150.

Кн. Владимир Андреевич Оболенский, сотрудник «Последних новостей», старый земец, кадет, добрейший, скромный, обаятельный человек, — между прочим, хорошо знававший Иннокентия Анненского и с легким недоверием в глазах спрашивавший меня, действительно ли это большой поэт, — в юности был небогат, давал уроки, искал работы.

Салтыкову-Щедрину, в те годы уже старому и больному, нужен был секретарь, и общие знакомые рекомендовали ему Оболенского. Тот, разумеется, был в восторге: помимо заработка, ему льстило предстоящее сотрудничество со знаменитым писателем. Условились о плате, о времени работы. Оболенский явился точно в назначенный час.

— Ну вот, молодой человек, садитесь и просмотрите внимательно эти гранки. А я пока должен еще кое-что тут дописать.

Неслышно вошла жена Салтыкова.

— Михаил Евграфович, ты забыл, что сказал доктор? Тебе нужно после завтрака отдыхать. Доктор мне три раза повторил, что...

Салтыков с раздражением отбросил рукопись и стукнул по столу.

— Оставишь ты меня наконец в покое со своими докторами? Уходи и не мешай мне работать. Дура!

Когда писатель и секретарь остались одни, Оболенский решил почтительно выразить свое одобрение.

— Совершенно правильно вы сказали!

Салтыков откинулся в кресле.

— Правильно? То есть как это — правильно? То есть что это, собственно, значит — правильно?

Вы, следовательно, хотите сказать, что моя жена — дура? Да? Вон! Сию же минуту вон! И чтоб духу вашего больше здесь не было!

На этом секретарство Оболенского кончилось.

151.

Собрание у Ильи Исидоровича Фондаминского-Бунакова. Поэты, писатели: «незамеченное поколение». Настроение тревожное, и разговоров больше о Гитлере и о близости войны, чем о литературе. Но кто-то должен прочесть доклад — именно о литературе.

С опозданием, как всегда шумно и порывисто, входит мать Мария (Скобцова, в прошлом Кузьмина-Караваева, автор «Глиняных черепков»), раскрасневшаяся, какая-то вся лоснящаяся, со свертками и книгами в руках, — и, протирая запотевшие очки, обводит всех близоруким, добрым взглядом. В глубине комнаты молчаливо сидит В. С. Яновский.

— А, Яновский!.. Вас-то мне и нужно. Что за гадость и грязь написали вы в «Круге»! Просто тошнотворно читать. А я ведь чуть-чуть не дала свой экземпляр о. Сергию Булгакову. Хорошо, что прочла раньше... мне ведь стыдно было бы смотреть ему потом в глаза!

Яновский побледнел и встал.

— Так, так... я, значит, написал гадость и грязь? А вы, значит, оберегаете чистоту и невинность о. Сергия Булгакова? И если не ошибаюсь, вы христианка? Монашка, можно сказать, подвижница? Да ведь если бы вы были христианкой, то вы не об о. Сергии Булгакове думали, а обо мне, о моей погибшей душе,

обо мне, который эту грязь и гадость... так вы изволили выразиться?.. сочинил! Если бы вы были христианкой, то вы бы вместе с о. Сергием Булгаковым ночью прибежали бы ко мне, плакать обо мне, молиться, спасать меня... а вы, оказывается, боитесь, как бы бедненький о. Сергий Булгаков не осквернился! Нет, по-вашему, он должен быть в стороне, и вы вместе с ним... подальше от прокаженных!

Мать Мария сначала пыталась Яновского перебить, махала руками, но потом притихла — и сидела, низко опустив голову. Со стороны Яновского это был всего только удачный полемический ход. Но по существу он был, конечно, прав, и мать Мария, человек не глупый, это поняла, — вроде как когда-то митрополит Филарет в знаменитом эпизоде с доктором Гаазом.

152 (LXXI).

Поразивший меня чей-то рассказ, — *не помню имени рассказчика,* — у Мережковских, за воскресным чайным столом.

Первые революционные годы, захолустный городишко Псковской губернии. По стенам и заборам *уже давно расклеены* афиши: «Есть ли Бог? Антирелигиозный диспут». Явление в те времена обычное.

Народу собралось много. Остатки местной интеллигенции, лавочники, бородачи-мужики, две какие-то монашенки, пугливо *поглядывающие* по сторонам, молодежь. Выступает «оратор из центра».

— Поняли, товарищи? Современная наука неопровержимо доказала, что никакого Бога нет и никогда не было! Так называемый «Бог» определенно явля-

ется выдумкой *капиталистов* с целью эксплуатации *народных масс* и содержания их в рабстве. Коммунистическая партия во главе с тов. Лениным борется с предрассудками, и нет сомнения, что вскоре ликвидирует их. Невежеству и суеверию пора положить конец...

И так далее... Доклад кончен. Председатель предлагает проголосовать заранее составленную резолюцию о единогласном упразднении Бога. «Кто-нибудь просит слова?» Руку поднимает старик, одетый, как все, но с подозрительно длинными волосами, уходящими под воротник. Председатель иронически *вглядывается в него.* «Поднимитесь, гражданин, на эстраду... в вашем распоряжении три минуты, чтобы ознакомить нас с вашим мнением по вышеизложенному вопросу».

Старик мнется, молчит, но наконец громко, *твердо*, на весь зал *говорит*:

— Христос Воскресе!

Поднимается шум. На эстраде, где сидят лица *начальствующие*, суматоха, растерянность. Кричат, перебивают друг друга, кто-то *требует немедленного голосования, другой предлагает закрыть собрание*... Но вот встает заведующий отделом Народного образования, до тех пор молчавший, *солдат-коммунист*, недавно вернувшийся с фронта. В ожидании пламенной отповеди зазнавшемуся пособнику буржуазии воцаряется тишина.

Солдат медленно, чуть пошатываясь, подходит к старику, кланяется ему и произносит всего три слова:

— Воистину Воскресе, батюшка!

Что было дальше, не знаю. Несомненно, коммунист этот был со своего поста смещен, вероятно и арестован. Но нельзя ему не позавидовать! В эти секунды, собрав все свое мужество, предвидя последствия своего поступка, он должен был испытать огромное, редчайшее счастье, то, за которое заплатить стоит чем угодно. Львы, римские арены — здесь, пусть и в потускневшем виде, было, в сущности, то же самое.

TABLE TALK <II>

154 (LXVIII).

Андре Жид.

В Ницце, в годы войны. Я сидел в кафе и что-то писал. Невдалеке грузный, осанистый старик перелистывал толстую французскую справочную книгу, «Ле Боттен» и — не знаю как, — уронил ее на пол, опрокинув и стоявший перед ним стакан. Я поднял голову и узнал Андре Жида. Знаком я с ним не был. Но в своем «Дневнике» он одобрительно отозвался о коротком докладе, прочитанном мной за несколько лет до того, — и я решил к нему подойти, тем более что ему, по-видимому, трудно было поднять упавшую книгу.

— Мсье Андре Жид?

— Да, Жид... а что дальше? (непереводимое французское «Et après?»).

Вид был хмурый, голос сердитый, почти вызывающий. Позднее он мне объяснил, что к нему довольно часто подходят люди, знающие его лишь с виду, и что он неизменно их «отшивает».

Я назвал себя, поблагодарил за отзыв, он протянул руку, сделался очень любезен. Мы условились встретиться в том же кафе на следующий день.

Давно уже мне хотелось задать Жиду несколько вопросов, — частью о русской литературе, главным образом о Достоевском, частью о его собственных книгах. Он представлялся мне одним из редких во французской литературе *«всепонимающих» людей, т. е. людей с умом вполне открытым,* а от Шестова я слышал, что это едва ли не самый умный человек, какого он вообще встречал.

Разговор с Андре Жидом с глазу на глаз я, можно сказать, «предвкушал». Но настоящего разговора не вышло. Началось с Достоевского. Мне показалось, что Жид связывает с ним свою литературную репутацию, именно на него сделав ставку, и воспринимает малейшее критическое замечание о «Карамазовых» или «Весах» как личную обиду. Предположение: не догадывался ли он тогда, не чувствовал ли, через двадцать с лишним лет после знаменитых своих лекций о Достоевском в театре «Вье Коломбье», что кое в чем все-таки ошибся, кое-что просмотрел, и, как в таких случаях бывает, не старался ли сам себя переубедить? Ничего невозможного в этом нет.

После Достоевского речь зашла о Маяковском, об Эренбурге, затем довольно неожиданно о Мережковском, которого Жид не любил и упорно называл Мерейковским, очевидно, считая, что французское «жи» в этом имени соответствует русскому «и краткому». Потом он заговорил о советской России, о каких-то катакомбах, которые должны там возникнуть, о бессмертном русском духе, который будто бы в эти катакомбы уйдет до лучших времен... Было это довольно выспренно, чуть-чуть театрально.

Я слушал и мне хотелось *его* спросить:

— Как может случиться, что вы, Андре Жид, первый писатель первой в мире литературы, говорите мне, двадцать третьему или сорок девятому писателю литературы, которая во всяком случае на первое место в мире права не имеет, как может случиться и чем объяснить, что вы говорите мне вещи, заставляющие меня с трудом сдерживать улыбку?

Конечно, я этого не спросил, да в такой форме и нельзя было бы спросить это. Личные мои чувства значения не имеют. Но вопрос сам по себе интересен и даже важен, и так или иначе в беседе с Андре Жидом поднять его можно было бы.

Без постылого российского зазнайства, без патриотического самоупоения ответ, думаю, свелся бы к тому, что если не во всем, нет, не во всем, то в одной какой-то плоскости, в смысле чутья ко всякой «педали», к чистоте звука, — и в конце концов, значит, к правде и лжи, — русская литература действительно первая в мире, и тот, кто с ней связан, частицей этого дара наделен.

Во всяком случае, была первой в мире. Не уверен, что можно было бы без натяжки сказать: «Была и осталась до сих пор».

155.

Той же зимой я встретился с Андре Жидом у Буниных в Грассе.

За столом, пока завтракали, разговор шел о последних военных известиях, о положении во Франции, о Гитлере, о котором Жид сказал, что, по его мнению, он «крупнее Наполеона».

После завтрака заговорили, наконец, о литературе. Хозяин и гость явно нравились друг другу, хотя мало имели общего: Бунин — словоохотливый, шумный, насмешливый. Жид — сдержанный, вежливо улыбавшийся бунинским шуткам, но отвечавший на них как на замечания серьезные. По-французски Бунин говорил плохо, Жид по-русски — ни слова.

Толстой и Достоевский: рано или поздно разговор должен был их коснуться, и так оно и произошло. Бунин знал о преклонении Жида перед Достоевским и принялся его поддразнивать. Тот отвечал коротко, уклончиво, неожиданно переняв бунинский шутливый тон, — вероятно, для оправдания своей уклончивости. Бунин произнес имя Толстого, как бы для окончательного уничтожения и посрамления Достоевского. Жид пожал плечами, развел руками, несколько раз повторил «гений, да, великий гений...», но признался, что для него «Война и мир» — книга чудовищно скучная («un monstre d'ennui»).

— Что? Что он сказал? — громко переспросил Бунин по-русски и, схватив огромный разрезной нож, с нарочито зверским видом замахнулся им, будто собираясь Жида убить.

Жид рассмеялся и долго, долго весь трясся от смеха. Потом заметил:

— Я сказал то, что думаю действительно. В печати я, конечно, выразился бы иначе, не так откровенно. Но над «Войной и миром» я засыпаю... А вот позднего Толстого очень люблю. «Смерть Ивана Ильича», «Воскресение» — это незабываемо, это удивительно!

Не помню, как и в связи с чем я процитировал фразу из одной статьи Клоделя: «Это было в те годы, когда Толстого и Ибсена считали большими писателями...»

Жид пришел в полнейший восторг, опять весь затрясся от смеха и даже хотел записать цитату, приговаривая:

— О ла-ла, о ла-ла!.. Он один способен сказать подобный вздор, в этой области у него соперников нет.

Под вечер мы спускались с бунинского холма к автобусу. Речь зашла о французской печати, подлаживавшейся к оккупационным властям, и я выразил удивление, что такой человек, как Франсуа Мориак, печатается в «Кандиде», ежедневной газете сверх-петеновского склада.

Жид сказал:

— Да ведь ему платят сто тысяч франков за каждую главу романа. А сто тысяч это сто тысяч!

156.

Толстой и Достоевский.

Вечная русская тема, да и только ли русская? Не два романиста, а два мира, два отношения к бытию, при общей у обоих глубине и значительности этого отношения. Оттого спор и неразрешим, оттого он в самой сущности своей неисчерпаем.

Когда Андре Мальро пишет:

«Толстой в изображении заурядного чиновника перед лицом смерти не менее велик, чем Достоевский в речах Великого Инквизитора...» — за этим его «не менее» чувствуются дни и годы к себе, своему творчеству относящегося раздумья.

Джеймс Джойс назвал «величайшим из всех когда-либо написанных рассказов» — «the greatest story ever written» — толстовское «Много ли человеку земли нужно» (в письме к дочери, незадолго до смерти).

Едва ли Бунин эту оценку знал, но, вероятно, с Джойсом согласился бы, так как считал толстовские народные рассказы самыми совершенными, что русская литература дала. Он называл их «несравненными», говорил о них с особым восхищением, порой даже со скрытой завистью, вообще-то ему не свойственной.

Но меня лично выбор Джойса несколько удивляет: я назвал бы «Где любовь, там и Бог», — хотя «величайшего» рассказа вообще на свете не существует и никакой табели о рангах в литературе или в искусстве нет.

157 (LXXIII).

Перечитываю — в который раз! — Достоевского.

И в который раз с удивлением вспоминаю, что находятся люди, требующие единого твердого взгляда на великие литературные явления: люди, не допускающие противоречия в суждениях, подхода с разных сторон, спора с самим собой, в конце концов — беседы с самим собой.

Перечитываю Достоевского... Да, есть какая-то шаткость в замыслах, многие из которых правильнее было бы назвать домыслами. Нередко есть фальшь, как бывает во всем, что *выдумано, а не найдено*. «Высшая реальность» Достоевского порой перестает быть реальностью вовсе, в любом значении сло-

ва, и как бы не захлебывались от метафизического восторга современные властители и вице-властители дум, от нее едва ли многое уцелеет. Мучительные усилия договориться до чего-то еще неслыханного, произвольные догадки — и удар головой о крышку, плотно над всеми завинченную. Да, это так.

Но все-таки Достоевский — писатель в своем роде единственный, заменить, «перечеркнуть» которого никаким другим писателем в мире нельзя. Однако не в плоскости «проблем».

О человеке, которому «пойти некуда», обо всем, до чего истерзанное человеческое сердце может дочувствоваться, о стыде, отчаянии, боли, возмущении, раскаянии, об одиночестве не писал так никто, и никогда не напишет. Перечитываю главу из «Подростка», ту, где мать с пряниками и двугривенными в *узелочке* приходит в французский пансион к своему болвану-сыну: нет, это все-таки страницы единственные, *на веки веков*, — и да простит милосердный Бог Бунина и Алданова за все, что оба они о Достоевском наговорили, да простит Набокова за «нашего отечественного Пинкертона с мистическим гарниром» (цитирую из «Отчаяния» по памяти, но, кажется, верно) и всех, кто в этом страшном свидетельстве о человеке и человеческой участи в мире ничего не уловил и не понял!

158 (LXXIV).

Было это в Париже, незадолго до войны.

В дверях монпарнасского «Дома» стоял, держась за косяк, поэт Верге или Вернье: не помню точно его имени, знаю только, что друзья считали его

чрезвычайно талантливым, хотя и погибшим из-за беспутного образа жизни. Хозяин ругательски ругал его и выталкивал из кафе, а он упирался, сердился, требовал, чтобы его впустили обратно.

Наконец его вышвырнули на улицу. Случайно я вышел вслед за ним.

Он стоял под дождем, без шляпы, в изодранном пальто, и, опустив седую голову, еле слышно, совсем слабым голосом повторял:

— О, Dostoevsky... о, Dostoevsky... — взывая к Федору Михайловичу как к последнему оставшемуся у него защитнику, покровителю униженных и оскорбленных.

На ту же тему: английский поэт Оден (Auden) очень хорошо сказал о Достоевском в статье, написанной к его юбилею несколько лет тому назад:

«Построить человеческое общество на всем, о чем Достоевский рассказал, невозможно. Но общество, которое забудет то, о чем он рассказал, недостойно называться человеческим».

159.

У Бунина был очень острый ум, лишенный, однако, всего, что можно бы отнести к способностям аналитическим. Ошибался он в оценках редко, — в особенности, когда речь шла о прошлом, — но объяснить, обосновать свое суждение не мог. (Гумилев в «Цехе» при обсуждении стихов требовал «придаточных предложений», не допуская восклицаний, ничем не мотивированных: в «придаточных предложениях» Бунин терялся и, вероятно, оттого не был к ним склонен.)

Однажды он говорил о «Двенадцати» еще резче, чем обычно. Спорить я не стал, но, отстаивая Блока, сказал, что «Куликово поле», по-моему, — цикл чудесный.

Бунин усмехнулся.

— «Куликово поле»? Да ведь это же Васнецов!

Я был поражен меткостью сравнения: будто луч прожектора, внезапно наведенный на то, что оставалось в тени. Да, Васнецов, и, значит, чуть-чуть опера. И хотя этого Васнецова, т. е. «Куликово поле», горестную и величавую музыку его, я продолжаю любить, все же чувствую и правоту Бунина.

У него в поэзии было почти непогрешимое чутье к стилю — при глухоте к музыке. Сказалось это и на его собственных стихах, музыкой бедных.

160.

В полутемном коридоре редакции «Последних новостей» Михаил Андреевич Осоргин держал меня за пуговицу пиджака и, поблескивая умными, добрыми, насмешливыми глазами, говорил:

— Послушайте, какой же Некрасов поэт? Скажите хоть раз в жизни правду... мы здесь одни, никто не услышит, а я никому не передам, даю слово... ну, какой же Некрасов поэт? Не оригинальничайте, бросьте, скажите правду... ведь не поэт, а виршеплет, а?

В ответ я говорил «правду». Но напрасно: Осоргин не верил. Кстати, вспоминаю, что в самом начале двадцатых годов Корней Ив. Чуковский провел среди петербургских литераторов анкету: любите вы Некрасова или нет? Поэты, без единого исключения,

ответили утвердительно. Ахматова, помню, ответила одним словом: «Люблю». Однако Максим Горький высказался иначе: несомненно талантливый человек, выдающийся демократический писатель, но не поэт.

«Своя своих не познаша». С Осоргиным, писателем-общественником, произошло то же самое.

161.

Самое верное и глубокое, что вообще было сказано о Некрасове, сказано Достоевским, сразу после его смерти, в «Дневнике писателя».

«Страстный к страданию человек». Удивительно, что Достоевский, при всем том, что должно было от либерала и вольнодумца Некрасова его отталкивать, уловил скрытую, безотчетную религиозность его поэзии.

Было в России два подлинно религиозных поэта — Лермонтов и Некрасов. Но Лермонтов — это метафизика христианства, темное, ночное небо христианства, а Некрасов — мораль христианства, в тональности «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя». У одного только Некрасова, ни у кого больше, нестерпимая рифма «любовь — кровь» звучит как нечто незаменимое.

Сердце мое, исходящее кровью,
Всевыносящей любовью
Полно, друг мой.

Были разнообразные сделки с совестью, были картишки, было и кое-что другое, менее благовидное, но сердце действительно «исходило кровью», — и этого — нельзя не расслышать.

162.

Гумилев, обостренно чувствительный к самой ткани стиха, восхищался у Некрасова органичностью его мастерства, проявляющейся в любом сочетании слов:

Генерал Федор Карлыч фон Штубе,
Десятипудовой генерал
Скушал четверть телятины в клубе,
Крикнул: «Пас!» — и со стула не встал.

— До чего хорошо! — повторял он, будто испытывая какое-то чувственное удовольствие от этих крепких, «на диво слаженных», — как «возок» княгини Трубецкой, — строчек.

163.

Ницца — и Алданов.

Ночью, в русском ресторане. У стойки — женщина, довольно потрепанная, но, как говорится, «со следами былой красоты на лице», и даже былой элегантности, ведет с полусонным усталым хозяином разговор о музыке. Водка, соленые огурчики.

— Кого я особенно люблю, так это Россини! Россини это мое безумие! У него в «Риголетто» есть одна ария... помните, ла-ла-ла-ла...

Вполголоса, с места, я сказал:

— «Риголетто» не Россини, а Верди.

Женщина обернулась и «смерила меня глазами».

— Простите, господин Алданов... Я — лауреатка киевской консерватории и музыку знаю.

— Допустим, что есть два «Риголетто», как было два «Юрия Милославских»... Но во всяком случае я — не Алданов.

— Как же вы — не Алданов, когда я вас прекрасно знаю? Напрасно отпираетесь!

— Ну, делать нечего... Значит, я — Алданов.

— Да, вы — господин Алданов... Удивительная эмигрантская привычка скрывать свои имена!

На следующий день я, смеясь, рассказал об этом инциденте Марку Александровичу. Неожиданно для меня он взволновался.

— Надо бы это разъяснить... Мне не хотелось бы так это оставить. Вы не знаете, кто эта дама?

Он был смущен не самым смешением имен. Нет, ему, по-видимому, было неприятно другое: мог разнестись слух, что Алданов ночью, за рюмкой водки вступает в спор с незнакомыми, подвыпившими женщинами.

164.

В Ницце доживал свой век писатель далеко не бездарный — Дмитрий Николаевич Крачковский.

Когда-то о нем с надеждой и одобрением отзывался Сологуб, а вслед за ним и Мих. Кузмин, человек с очень острым критическим чутьем. Но с годами Крачковский исписался, выдохся и опустился. Жил он впроголодь, был болен, до крайности нервен, страдал высокомерием, — и когда Бунину дали Нобелевскую премию, настойчиво повторял:

— Да, да... пошлость торжествует, настоящая литература — в тени. Не удивляюсь. Так было, так будет!

Алданов с ним не то чтобы дружил, — дружить с Крачковским было невозможно, — но при своей несравненной обходительности, вежливости, деликатности поддерживал с ним добрые отношения и был к нему всегда внимателен.

Но Крачковский требовал иного. Крачковский считал, что его недооценивают, подозревал, что им тяготятся, и видел доказательство этого во всем.

Однажды, встретив меня на улице, он с кривой усмешкой сказал:

— Был я вчера у Алданова. Да, да, навестил, так сказать, приятеля... Представьте себе, он меня встречает и спрашивает: «Чем разрешите вас потчевать?» Так именно и сказал: «потчевать»! Этого я ему не забуду.

— Позвольте, Дмитрий Николаевич, а что же тут обидного?

— Нет, ничего обидного, ничего... Но этого я ему не забуду. «Потт...ччевать!»

Бедный Марк Александрович опять оказался взволнован, когда об этом разговоре узнал. Но помочь ему я тут не мог и так никогда и не понял, что Крачковского задело. «Потт...чевать!»

— «Нет, нет, ничего обидного...» — Но голос дрожал от ярости.

165.

Алданов любил разговоры исторические. Не об исторических процессах, не о состоянии русского внутреннего рынка в восемнадцатом веке или о чем-нибудь в таком роде, а о людях. У него была отличная память, с цитатами и фактами он обращался очень осмотрительно.

Однажды зашел разговор о екатерининских фаворитах. Платон Зубов, — вспомнил я, — уже в конце александровского царствования признавался, что когда он ночью шел к старухе-Екатерине, у него заранее «ногти тряслись от отвращения».

Где я это прочел? Не помню. Но такую «черточку», такой яркий «штрих» я, наверное, не выдумал: нет, где-то прочел. Сначала я думал, что об этом говорила Жеребцова, сестра Зубова, Герцену; но в «Былом и думах», где о встречах с Ольгой Александровной рассказано, этих слов нет. Второе предположение — Покровский, развенчанный марксистский историк, который после всяческих товарообменов и таблиц с цифрами нередко пишет: «не к чему приводить такие пустяки, как...» — и, сам того не замечая, «пустяками» увлекается. Но и у Покровского, давшего любопытнейший портрет Зубова, тоже слов этих нет.

Кто, какой зубовский «конфидент» их приводит? Алданов раз десять меня об этом спрашивал, просил отыскать цитату, не решаясь использовать ее без точной справки.

Но до сих пор я ее не нашел. Не поможет ли кто-нибудь из читателей, — хотя, в сущности, цитата эта уже никому теперь не нужна.

166.

Бунин:

— Странные вещи попадаются в Библии, ей Богу! «Не пожелай жены ближнего твоего, ни вола его, ни осла его...» Ну, жену ближнего своего я иногда желал, скрывать не стану. И даже не раз желал. Но осла или вола... нет, этого со мной не бывало!

6 Зак 3049

167.

В парижском кружке русской молодежи.

После доклада подходит ко мне очень бойкая и очень хорошенькая барышня, «ответственный руководитель» секции не то литературной, не то какой-то другой.

— Вы непременно, непременно должны бывать у нас почаще! У нас с вами такие будут споры, что ой-ой-ой... Вот вы, например, считаете Толстого гениальным романистом, а, по-моему, он просто хороший бытовой писатель, только и всего. Видите, как интересно? Вы восхищаетесь Пушкиным, а, по-моему, Блок куда выше, как же можно сравнивать. Видите, как интересно? Вы говорили о Баратынском, а я даже не читала его... нет, что-то начала читать, да сразу бросила, тощища патентованная. Видите, как интересно? Нет, вы непременно, непременно должны бывать у нас, обещаете?

— Как же, непременно. В самом деле, необычайно интересно.

168 (LXVII).

Блока я знал мало.

Относился к нему приблизительно так же, как когда-то Эдуард Род, забытый, но довольно замечательный швейцарский романист, к Толстому: с уважением, с преклонением почти суеверным. Эдуард Род всю жизнь мечтал о поездке в Ясную Поляну, но так желания своего и не исполнил. «С чем я поеду, что я ему, Толстому, скажу?» — заранее смущался он, откладывая поездку из года в год. Думая о знакомстве с Блоком, я тоже спрашивал себя: что я ему скажу?

Впервые увидел я его в Тенишевском полукруглом зале, на вечере памяти Владимира Соловьева, — десятилетие со дня смерти? — будучи еще гимназистом. «Ночных часов» тогда еще не было, но была волшебная, — по крайней мере, казавшаяся мне волшебной, — «Земля в снегу».

О, весна без конца и без края,
Без конца и без края мечта...

Стихами Блока я бредил, сходил от них с ума. Кому не было шестнадцать или восемнадцать лет в пору блоковского расцвета, тот этого не поймет и даже, пожалуй, с недоумением пожмет плечами. *Конечно,* от Блока многое уцелело, осталось в русской поэзии навсегда. Но дух эпохи выветрился, обертона ее, особые ее веяния, ее трепет *и* надежды — это теперь неуловимо. А Блок был сердцем и сущностью эпохи, и теперь стихи его уже не те, какими были когда-то. Это случается в истории искусства. Счастлив тот, кто был молод, когда появился вагнеровский «Тристан».

Потом были редкие, случайные встречи. Помню, во «Всемирной литературе» Блок, после долгих проб и попыток, отказался переводить Бодлера, заявив, что «окончательно не любит его». Меня это озадачило и смутило. Помню эпизод с переводами Гейне.

Блок, эти переводы редактировавший, колебался, следует ли наново перевести «Два гренадера». Гумилев вызвался предложить ему на выбор с десяток переводов знаменитой баллады и просил друзей и учеников этим заняться. Мы трудились целую неделю, и некоторые переводы оказались совсем недурны. Но Блок отверг их — и оставил старый перевод Михайлова.

«Горит моя старая рана...» — задумчиво, нараспев произнес он михайловскую строку, будто в укор всем нам, в том числе и Гумилеву.

У меня было письмо Блока, одно-единственное, увы, оставшееся в России, — письмо в ответ на первый, совсем маленький сборник стихов, который я ему послал. Насколько можно было по письму судить, стихи ему не понравились, — да и могло ли быть иначе? За исключением трех или четырех строчек не нравились они и мне самому. Зачем я постарался их издать? Для глупого молодого удовольствия иметь «свой» сборник стихов — «как у других», о, поручик Берг! — и делать авторские надписи.

Письмо Блока по содержанию своему польстить мне никак не могло. Но сдержанно-отрицательную оценку искупил тон его, дружественный, вернее — наставительно-дружественный, от старшего младшему, проникнутый той особой, неподдельной человечностью, которая сквозит в каждом блоковском слове.

Последние строчки письма помню наизусть, хотя прошло с тех пор чуть ли не полвека: «Раскачнитесь выше на качелях жизни, и тогда вы увидите, что жизнь еще темнее и страшнее, чем кажется вам теперь».

169 (LXX).

У Бердяева, в его кламарском доме. Обсуждение книги Кестлера «Тьма в полдень». В прениях кто-то заметил, что любопытно было бы, — будь это возможно! — пригласить на такое собрание Сталина, послушать, что он скажет.

Бердяев расхохотался:

— Сталина? Да Сталин, прежде всего, не понял бы, о чем речь. Я ведь встречался с ним, разговаривал. Он был практически умен, хитер, как лиса, но и туп, как баран. Это бывает, я и других таких же людей знал. Ленин, тот понял бы все с полуслова, но не стал бы слушать, а выругался бы и послал всех нас... сами знаете куда.

По утверждению Бердяева, основным побуждением Ленина была ненависть к былому русскому политическому строю и стремление к его разрушению. Что дальше, к чему все в конце концов придет? — об этом Ленин будто бы *никогда* не думал, хотя безразличие к будущему скрывал. Действительно ли коммунизм даст людям удовлетворение и благополучие? Ищет ли человек равенства, хочет ли он его? *Не потребует ли насильственное установление равенства постоянного контроля, непрерывного полицейски-государственного надзора?* Не был ли прав Герцен, предвидевший в далеком будущем неизбежность новой, уже индивидуалистической революции? Ленина, как утверждал Бердяев, все это нисколько не интересовало.

— Ленин оттого и добился цели, — говорил он, — что признавал только цель ближайшую, а всякое *мышление, к ней не ведущее или тем более осуществление ее задерживающее*, презирал как занятие пустое и вредное.

170.

Как я видел Иннокентия Анненского.

В петербургские классические гимназии довольно часто приезжали для наблюдения лица началь-

ственные: попечитель округа, окружные инспектора. Никого из них я, конечно, не помню.

Но Анненского помню, будто видел его вчера, и при склонности к объяснениям таинственным, мистическим должен был бы счесть это предначертанием свыше. Более правдоподобно, однако, объяснение другое: детское мое воображение поразила странность, диковинность его облика, и именно она помешала смешать его с другими важными чиновниками, к нам заглядывавшими.

Был я в пятом или шестом классе. В середине латинского урока в класс вошел высокий пожилой человек в форменном сюртуке со звездой и, молча пожав руку нашему учителю, бросившемуся ему навстречу, молча, откинув голову, сел на стул, рядом с кафедрой. Урок продолжался. Посетитель сидел, закрыв глаза, не шевелясь, будто окаменевший. «Аршин проглотил», — шепнул кто-то с задней парты. Действительно, «аршин проглотил»: живая иллюстрация к этому выражению.

Так прошло минут двадцать, может быть, больше. Внезапно окружной инспектор вздрогнул, открыл глаза, встал и, снова пожав руку учителю, не без аффектации заметил, что у того «превосходный метод» и что он испытал «истинное удовольствие», слушая наши переводы из Цезаря. Когда он скрылся за дверью, наш латинист, Петр Петрович Соколов, сообщил, что это был Анненский, «знаменитый оратор». Почему он назвал его именно оратором, не знаю.

Вскоре после этого Анненский умер. В некрологе, помещенном в «Журнале Министерства народного просвещения», было указано, что «покойный

посвящал свои досуги изящной словесности». А года через два-три вышел «Кипарисовый ларец», и тогда стало ясно, какое значение для русской поэзии имели эти «досуги».

Впрочем, догадаться об этом можно было бы и раньше, по «Тихим песням», вышедшим в начале столетия под псевдонимом Ник. Т-о. Но этот Ник. Т-о и его сборник, в котором несомненный дилетантизм причудливо сочетался с изощреннейшим, никому из современников и не снившимся мастерством, почти никто и не заметил.

Рецензии, правда, были. Брюсов со стереотипным высокомерием признанного мэтра рекомендовал поэту «поработать над собой». Блок подчеркнул «хрупкую тонкость», «настоящее поэтическое чутье» автора, но из ряда других книжек, о которых писал, все же сборника этого не выделил.

А в «Тихих песнях» было в зародыше все неповторимое своеобразие Анненского, все «скрипы и шорохи» его поэзии.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

171.

Послесловие к чему? — вправе спросить всякий, кому попадутся на глаза эти строки.

Ответить кратко и точно мне было бы трудно, а в качестве ответа возможного и даже подходящего хотелось бы повторить афоризм, которому у нас повезло, так как цитировался он часто: «Если надо объяснять, то не надо объяснять».

В самом деле, не очевидно ли без всяких разъяснений, что каждому из нас, литераторов, проведших полжизни, и даже больше, чем полжизни, в эмиграции, пора о «послесловии» подумать. О послесловии к тому, что было сделано, тобой или другими. О послесловии к нашей общей литературной участи, с неизбежной и, в сущности, нужной, необходимой долей внимания к самому себе, как той частице, той клеточке единого организма, которую лучше всего знаешь и сквозь которую отчетливо видишь, безошибочно угадываешь многое, что иначе расплылось бы туманным пятном. Кого же человек вправе судить, а может быть, и осудить, кроме самого себя, — и разве не именно о суде в данном случае речь? Конечно, найдутся люди, которые скажут: «Эгоцентризм, интеллигентский гамлетизм, запоздалые декадентские хитросплетения и домыс-

лы!» — тут же сославшись на «наше время, когда...», договорившись, пожалуй, даже до времени, видите ли, «динамического».

Но с этим нельзя считаться: «не надо объяснять». А так как на самого себя случается все же иногда взглянуть и со стороны, улавливая то, что может именно со стороны показаться досадным, то я колебался, не озаглавить ли эти заметки ироническим словом «мерси», в память Кармазинова, многословно «кладущего перо». Однако лучше обойтись без «мерси», да и уж слишком много злобы вложил Достоевский в этот свой пасквиль, впрочем, не спорю — гениальный.

172 (XL).

Отчего мы уехали из России, отчего живем и, конечно, умрем на чужой земле, вне родины, — которую, кстати, во имя уважения к ней, верности и любви к ней надо бы писать с маленькой, а не с оскорбительно-елейной, отвратительно-слащавой прописной буквы, как повелось писать теперь. Не Родина, а родина: и неужели Россия так изменилась, что дух ее не возмущается, не содрогается всей своей бессмертной сущностью при виде этой прописной буквы? На первый взгляд — пустяк, очередная глупая, телячье-восторженная выдумка, но неужели все мы так одеревенели, чтобы не уловить под этим орфографическим новшеством чего-то смутно родственного щедринскому Иудушке?

«Последнее прибежище негодяя — патриотизм», сказано в «Круге чтения» Толстого. Не всякий патриотизм, конечно, и сам Толстой основными черта-

ми своего творчества, смыслом и сущностью явления «Толстой» опровергает этот полюбившийся ему старый английский афоризм. Дело, по-видимому, в том, что приемлем патриотизм лишь тогда, когда он прошел сквозь очистительный огонь сомнения и отрицания. Патриотизм не дан человеку, а задан, он должен быть отмыт от всей эгоистической, самоупоенной мерзости, — *безотчетной или сознательной, все равно,* — которая к нему прилипает. С некоторым нажимом педали можно было бы сказать, что патриотизм надо «выстрадать», иначе ему грош цена. В особенности патриотизму русскому.

Отчего же все-таки мы уехали из России? Или, точнее: раскаиваться ли в том, что мы уехали из России, считать ли это ошибкой, даже несчастьем, исторически, может быть, и оправданным, но все-таки несчастьем, тяжкой бедой, на долю нашу выпавшей?

Не могу удержаться от того, чтобы сразу, до всяких объяснений, разъяснений *и соображений*, не сказать: нет, нет, нет, не было ошибки, да и несчастья нет, поскольку всякие практические *невзгоды*, с бесправным положением беженца, со скитальчеством и неуверенностью в завтрашнем дне, с холодно-вежливым безразличием иностранцев к самому факту эмиграции во всех *его* проявлениях, поскольку все это искупается с лихвой — *о*, с огромной, неисчислимой лихвой — ощущением какой-то почти метафизической удачи, решения долго смущавшей *загадки*! Даже больше: освобождения, — как бывает после трудного, страшного шага, который наконец сделан. Произошло то, что должно было произойти. Исторический рисунок, долго остававшийся бессвязным, вне-

запно оказался осмыслен, и линии его сошлись: *разумеется, я говорю только о литературе.* Надо было, чтобы именно было так, и в этом великое наше удовлетворение, даже если признать, что на неожиданном для нас экзамене мы, скорей, сплоховали... Братья-беженцы, — *не эмигранты, нет, порой склонные кичиться сознательностью твердо сделанного выбора, а именно беженцы, повсюду рассеянные,* одиночки-литераторы, поэты, известные и никому не известные, — мысленно мне хочется пожать руку тем из вас, которые это чувствуют, и я уверен, что *остались* руки, которые протянулись бы в ответ.

Оттого мы уехали из России, что нужно нам было остаться русскими в своем обличии, *по прямой наследственной линии нам переданному,* в своей внутренней тональности, и, право, политика тут ни при чем или, во всяком случае, при чем-то второстепенном. Да, бесспорно, революция дала нашей судьбе определенные бытовые формы, *и, разумеется,* отъезд фактический, а не аллегорический, был вызван именно революцией, именно крушением привычного для *нас* мира (*еще раз мелькает в сознании: «если надо объяснять...»*). Разумеется, возможность писать по-своему, думать и жить, *как хочешь,* пусть и без пайков, без разъездов по заграничным конгрессам и без дач в Переделкине, имела значение первичное. Кто же это отрицает, кто может об этом забыть? Но не все этим исчерпывается, а если бы исчерпывалось, то действительно осталось бы нам только «плакать на реках вавилонских». Однако слез нет и плакать не о чем. Понятие неизбежности, безотрадное и давящее, с понятием необходимости вовсе не тождественно: в данном случае была необходимость.

Есть две России, и уходит это раздвоение корнями своими далеко, далеко вглубь, по-видимому, *в то*, что сделал Петр, — сделал слишком торопливо и грубо, чтобы некоторые органические ткани не оказались порваны. Смешно теперь, после всего на эти темы написанного, к петровской хирургической операции возвращаться, смешно повторять славянофильские обвинения, да и преемственность-*то* тут едва намечена, и, думая о ней, убеждаешься, что найти для нее твердые обоснования было бы трудно. *За нее, в пользу нее говорит, главным образом, то, что на Западе раздвоения нет, или во всяком случае на Западе оно бесконечно слабее, оставаясь редким индивидуальным исключением на фоне дружного национального единодушия.* Есть две России, и одна, многомиллионная, тяжелая, тяжелодумная, — впрочем, тут подвертываются под перо *сотни* эпитетов, вплоть до блоковского «толстозадая», — одна Россия как бы выпирает другую, не то что ненавидя ее, а скорее не понимая ее, косясь на нее с недоумением и ощущая в ней что-то чуждое. Другая, вторая... для нее подходящих эпитетов нашлось бы меньше. Но самое важное в ее облике то, что она не сомневается в полноправной своей принадлежности к родной стихии, не сомневается и никогда не сомневалась. Космополитизмом она не грешна: «космополит — нуль, хуже нуля», сказал, если не изменяет мне память, Тургенев в «Рудине». На что бы она ни натолкнулась, в какие пустыни ни забрела бы, она — Россия, плоть от плоти ее, дух от духа ее, и никакими *общенародными*, охотнорядскими выталкиваниями и выпираниями, дореволюционными или *теперешними*, этого ее убеждения не поколебать.

Пишу и чувствую, что мимоходом задеваю старый, болезненный, «проклятый» вопрос о русской интеллигенции вообще. Надо, значит, остановиться. С интеллигенцией дело у нас до крайности сложно, но лишь искажая ее облик, можно было бы приписать ей то, что иногда сквозит в литературе: согласие на русское одиночество в России. Наоборот, она ищет связей, она своим отрывом обеспокоена и даже склонна его отрицать, и это теперь так же ясно, как было в прошлом. Литература же никакими житейскими, хотя бы и возвышенно-житейскими, расчетами не озабочена, и ей чуждо понятие практического риска. Ей нечего терять, нечего и выигрывать, и она может позволить себе роскошь быть правдивой, без компромиссов. В конце концов, литература — это честность с собой, толстовское «fais ce que dois, advienne que pourra», или это просто-напросто пустая игра.

Мережковский когда-то сказал в «Зеленой лампе», — и слова его поразили меня своей меткостью — или, может быть, *сомневаюсь* я теперь, тем неподражаемым умением преподносить эффектные афоризмы как глубоко-проникновенные мысли, которыми Мережковский отличался в своих словесных импровизациях *под занавес*, под конец публичных споров:

— Первым русским эмигрантом был Чаадаев.

Нет, это только поверхностно верно, хотя высочайший диагноз, признавший Чаадаева умалишенным, и совпадает с некоторыми *новейшими* утверждениями. Чаадаев очень умен, но *холоден*, надменен и в самом одиночестве своем, с примесью дендизма, как-то вызывающе-декоративен: нет, *москвичам*

гарольдов плащ решительно не к лицу. Но замечательно все-таки, что Мережковский уловил в исторической природе эмиграции нечто такое, что не одной только революцией было вызвано, а возникло задолго до нее. Не Чаадаев, так кто-нибудь другой, не одна книга, так строчка тут, полстранички там, обрывок стихотворения, вздох, не нашедший логического выражения, воспринятый современниками как нелепость, — но предвидение отрыва, отказа, освобождения, смутное предчувствие короткого, как молния, счастья средь повседневных наших дел, да, «лицемерных», средь «всякой пошлости и прозы».

Эмигрантская литература должна была бы это подхватить. От чаадаевского наследия ее отталкивает, однако, то, что она отнюдь не была склонна променять Россию на Запад и *что* никакой обетованной землей Запад для нее не был и не стал. Она искала родины, которая географически перестала быть Россией, она бежала в какое-то «никуда», «в глубь ночи», в русское рассеяние, внезапно наполнившееся смыслом, но не на Запад, как могло бы показаться на первый взгляд. Запад был случайностью, Запад «подвернулся». Она ничуть не была соблазнена блеском, скажем, парижской литературной культуры, хотя ясно этот блеск видела, полностью его признавала и отдавала себе отчет, что в Париже ей есть чему поучиться. Запад сиял перед ней во всем своем прочном, многовековом ореоле, а случаи вроде многим из нас памятной комически-высокомерной, расейски-заносчивой статьи Шмелева о Прусте были исключением. Но если бы нас спросили: «То ли это, чего вы ищете?» — ответ был бы: «Нет, не то». Дома на Западе мы не были.

173 (XLI).

Чего же мы хотели? Думаю — по крайней мере надеюсь, — что нет никого, кто не понял бы беспредметности такого вопроса. Настаивать на нем можно только при предвзятом *стремлении* изобличить, вывести на чистую воду, во что бы то ни стало *продемонстрировать* наготу короля. Мы знали, чего не хотим, но чего хотим — не знали. Однако в плоскости исторической кое-что можно было бы объяснить, сославшись на тот литературный период, который принято называть декадентством или модернизмом. К 1917 году он как будто выдохся, однако не совсем, и вскоре ожил *в новых формах, в новом «преломлении»*, правда, уже ослабленном, почти что призрачном виде.

Было в русском модернизме много глупого, шарлатански-крикливого, ребячески-вычурного: это бесспорно. Но было и что-то незабываемое, редчайшее, и, как никто другой, чувствовал это Блок, «трагический тенор эпохи», по определению Ахматовой, — трагический потому, что безнадежно и беспомощно ему хотелось в мечте обнаружить правду.

С Блоком у нас счеты трудные, до сих пор не *вполне ясные*. Но с каждым годом отчетливее вырисовывается то, что облик его возвеличивает. Блок дорог вдвойне: и тем, что он уловил в воздухе своего времени струйки, которыми никто прежде не дышал, и тем, что он отказался от них, подозревая — ошибочно или нет, как знать? — обман, иллюзию, «последнюю лесть горше первой». Блока *измучила совесть*, измучила потребность в этическом оправдании эстетики, и это дает ему среди даровитых и ученых современников, которые на учительство пре-

тендовали, *и претендовали основательно,* место исключительное. Блоку чужда была беспечность, столь характерная для остальных деятелей русского литературного Ренессанса, *или, как теперь повелось выражаться, — Серебряного века.* Блок — друг, верный спутник и потому-то и учитель: *чувствовалось,* что на полдороге он не бросит. Блок запутался, зашел в тупик, но потому-то и близок всякому, кто знает, что от тупика не застрахован. Замечание, которое, к сожалению, надо, наконец, сделать хотя бы *во имя* беспристрастия: по-видимому, Блок, при всем своем чутье, при глубокой интуитивной мудрости, не был умен в смысле сметливости, в смысле быстроты и точности *разума,* в том смысле, в каком обаятельно умен, например, Пушкин, — что отчасти и объясняет его срыв к «Двенадцати» (с удивительной авторской записью в дневнике: «Сегодня я — гений») или некоторые *признания* в письмах, *которые следовало бы ради его памяти уничтожить: погиб, например, «Титаник», Блок радуется, «есть еще океан»!* Блок, *по-видимому,* оказывался иногда беззащитен перед натиском той грошовой, лжемистической одури, которую культивировали *передовые декадентствовавшие дантисты и присяжные поверенные, с бесподобной иронией описанные Андреем Белым в воспоминаниях о нем.* Но в главном, в основном он остался на высоте, никем в то время не достигнутой. По внутренней линии он восходит, конечно, гораздо вернее к Толстому, чем к Вячеславу Иванову, — хотя помню, как Алданов, толстовец, так сказать, «дословный», сердился и с взволнованным недоумением разводил руками, когда я ему об этом говорил. Блок — нищета, предпочтен-

ная богатству, неизвестно каким путем нажитому, победа над себялюбивым удовлетворением под предлогом принадлежности к «элите», и в конце концов, именно в силу безупречной своей душевной честности, залог того, что не все в догадках русского модернизма было досужей блажью и выдумкой.

У нас было к этому «что-то» чувство верности, обостренное одиночеством и веяниями, доходившими из России. «Тень несозданных созданий...» — готовы мы были повторить как *пропускной* пароль. Нам представлялось, что надо бы это продолжить, — и тут же мы останавливались, смущенные воспоминанием о Блоке, его «трагическим» примером. *Мечта должна была стать правдой, сны — реальностью, без той постылой фразеологии, которая в таких случаях нередко привлекается на помощь: есть будто бы реальность высшая, а есть низшая, — чепуха, ложь, «слова, слова, слова», которыми, впрочем, бывают наполнены иные обманчиво-глубокомысленные трактаты, доставляющие их авторам почет и солидную известность. Возникали и сомнения, да и как могло их не быть?* В глубине души по складу своему «мы», — придавая этому личному местоимению значение самое собирательное, расширяя его до включения анонимных друзей, разбросанных волей судьбы по всему свету, — в глубине души, что же скрывать, мы были людьми толка скорей «достоевского», воспринимая Толстого преимущественно как упрек. И конечно, те леденящие, сулящие короткое головокружительное блаженство эфирные струйки, о которых я упомянул, проскользнули в нашу литературу при содействии Достоевского или еще до него, но еле-еле уловимо с Лер-

монтовым. Пушкин и Толстой — наши вершины, но беседа у нас легче налаживалась с Достоевским и Лермонтовым, они меньше нас стесняли, и в общении с ними *нам было больше по себе*. С Достоевским в особенности, по меньшей его, сравнительно с Лермонтовым, загадочности. В вольных, произвольных , нередко плохо кончающихся умственных странствованиях Достоевский даже казался вожатым с Бедекером в руках. Только заглянуть в книжку, полюбопытствовать насчет маршрута он нам не давал, — да и знал ли, что в ней содержится, сам?

174.

Несколько слов о Бунине.

Замечательно, что после смерти он «вернулся в Россию», один из всех, во всяком случае, первый из всех, и что долгая, ожесточенная его распря с ней оказалась причислена к недоразумениям. Еще раз это подтверждает, что политические расхождения не играют в творческой участи решающей роли. Скажут, может быть: Бунин — самый крупный, самый известный из эмигрантских писателей, оттого им и заинтересовались, а потом и оценили в России. Нет, дело не столько в размерах дарования, сколько в природе и свойствах его.

Довольно часто мне приходилось слышать, — и обычно я молчал в ответ: «вы, который так любите Бунина...», «вы, убежденный поклонник Бунина...» и так далее. Действительно, я любил и люблю Бунина, но иначе, и далеко не так безоговорочно, как могло бы показаться по некоторым моим писаниям о нем. Сейчас я пишу «послесловие», и

без Бунина в нем не обойтись. Надо, наконец, объясниться, «выяснить отношения», и это, думаю, поможет попутно разобраться в общих линиях наших здешних литературных стремлений.

Больше всего я любил Бунина как человека. Кто знал его, кому случалось провести в его обществе час-другой, в особенности, когда бывал он в ударе, согласится, что разговорной талантливости его нельзя было противостоять. Но при напускной резкости, при склонности все свысока вышучивать и надо всем посмеиваться в нем безошибочно угадывались и душевные сокровища, которых он как будто сам стеснялся. Нежность? Истрепанное, мертвое слово, которое не знаю, однако, каким другим заменить.

Огромные достоинства бунинских писаний очевидны. Ни к чему, значит, повторять то, что о них уже много раз было сказано. Особенно подчеркнуть сейчас мне хотелось бы только его острейшее, непогрешимое чутье ко всякой фальши, что необыкновенно отчетливо обнаруживается в его отзывах о чужих писаниях, — например, во второй части книги о Чехове, оставшейся незаконченной. Читая те или иные из его приговоров, хочется иногда вскрикнуть: браво, браво! — настолько они верны, большей частью расходясь при этом с общепринятыми, традиционными суждениями. По части чутья ко всякой фальши, ко всякой театральщине, во всех ее видах, даже самых утонченных, хитрых, усовершенствованных и приперченных, у Бунина не было соперников, и это неотъемлемый его «патент на благородство», гораздо более значительный, чем решили бы те, кто отнес бы это свойство к одной лишь области стилистической. Кое в чем, и кое в чем очень

важном, Бунин вернее и глубже прав, чем Блок, вернее и глубже прав, чем Достоевский, не говоря уже о Пастернаке. «Доктора Живаго» он прочесть не успел, но зная его привычку делать на полях критические замечания, помня некоторые его лаконические отметки с твердым, властным восклицательным знаком в подтверждение оценки, я мысленно представляю себе, чем оказался бы на полях испещрен пастернаковский роман.

Но чувство фальши неразрывно связано с отказом от творческого риска, — хотя снова надо бы тут сослаться на Толстого и Пушкина как на два наших верховных исключения из общего правила. В творчестве Бунина нет срыва, но нет в нем срыва вернее всего потому, что нет препятствий, которые надо было преодолеть. В творчестве этом нет борьбы. Под восхитительно раскрашенной поверхностью в нем ничего не происходит. Если бы восстановить внутреннюю биографию Толстого, или хотя бы только Блока, обнаружится драма с начальными данными, развитием и заключением. «Чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар» — писал Блок, и если даже не обязательно, чтобы все кончилось пожаром, возможность его скрыта во всем самом великом, что людьми было создано. В идеальном, «сублимированном» плане, все написанное Буниным — это «Война и мир», но без «Исповеди» или «Воскресения», которые «Войну и мир» с исключительной силой не только оттенили, а и углубили. Бунин — превосходный, великолепный, чудесный писатель, но как будто не подозревающий о возможности животворящей личной заинтересованности в том, на что обречено человечество, и вмес-

то того предпочитающий услаждать и очаровывать его. Правда, иногда и волновать, но и тут держась в раз навсегда установленных рамках.

Правильно ли было бы сказать, что «Жизнь Арсеньева», при всем ее стилистическом блеске, книга чуть-чуть пресная? Не уверен: пожалуй, чуть-чуть слишком ровная, гладкая — было бы справедливее. Когда-то Ходасевич в обманчиво-хвалебной статье, вскользь, мимоходом, заметил: «На кладбище ему грустно, на балу ему весело», — и Бунин сразу понял, как это вкрадчиво-язвительно и как зло. Два или три раза, на расстоянии нескольких месяцев, он повторил мне эту фразу, бледнея от ярости. Но Ходасевич сказал, может быть, самое меткое, что о Бунине вообще было сказано, — конечно, лишь в дополнение ко вполне заслуженным панегирикам и восторгам.

Бунин после смерти вернулся в ту Россию, с которой настоящей тяжбы никогда у него не было. Его и приняли там как сына, лишь случайно — блудного. После долгой разлуки его узнали без труда и беспокойства: им там, в возрождающейся России, с ее смешными и скучными литературными успехами, с литературными институтами, кружками, «учебой», со стремлением «овладеть мастерством ведения рассказа», со студийной «работой над эпитетом» и прочим, и прочим, прочим в том же роде, им там тоже на кладбище грустно, а на балу весело. Негодовать тут не на что, издеваться решительно не над чем. Иронический оттенок только что написанной мною фразы, сознаюсь, неуместен. Но опять, когда вспоминаешь, что Бунин, один из своего поколения, устоял перед соблазном декадентства, праведно воз-

мущаясь его вздорной оболочкой, но не праведно окарикатурив его таинственную сущность, опять хочется с удивлением отметить, что линии рисунка сходятся и что в нем есть закономерность.

175 (XLII).

Геббельс говорил, что при слове «культура» первая его инстинктивная реакция: схватиться за револьвер. Револьвера у меня нет. Но когда я слышу или читаю *в печати* размышления о «парижской ноте» русской поэзии, чувства у меня возникают отдаленно-геббельсовские.

Чем ближе был человек к тому, что повелось «парижской нотой» называть, чем настойчивее ему хотелось верить в ее осуществление, тем *несомненнее он знает, что ее не было*. Был некий личный литературный аскетизм, а вокруг него, или иногда в ответ ему, некое коллективное лирическое уныние, *по недоразумению принятое за школу*. Для образования школы подлинной вовсе не обязателен был бы признак географический, в данном случае — парижский. Состав пишущих был в Париже *ведь* случаен, отбор единомыслящих, единочувствующих *крайне* ограничен, и поэтическое содружество поневоле осталось искусственным. «Нота» могла бы сложиться иначе, — и к этому я снова возвращаюсь: могли бы, должны были бы найтись друзья, раскиданные по разным странам, одни, *может быть, совсем* молодые, другие — изведавшие все, что суждено было узнать тем, кого революция застигла взрослыми, духовные родственники, об одинаковом догадывавшиеся, одинаковое улавливавшие, готовые на-

ладить перекличку еще до стихов, еще до того, как влюбились они в Анненского и *выбросили Бальмонта с его последователями в сорную корзину*.

В Париже *«ноты» не возникло, — пожалуй, все-таки за двумя-тремя исключениями*, которым жизнь помешала *в согласном порыве* одушевить ее *и довести* до убедительной высоты и силы. Остальные, мнимые ее адепты — не в счет, по крайней мере в качестве адептов именно «нотных», да ведь и сообщено им было только то, чего *надлежит* избегать: то, что *следует* развить, *оставалось* тайной. *При отрицательном методе выработки стиля, внешнего и внутреннего, неудивительно, что поэтические парижане пристрастились к тонам серым, тусклым и к напевам тихим, меланхолическим вместо громоподобных гимнов, од или обличительных филиппик. В самом деле, им проповедовали возведение и эмоционального и словесного скептицизма в добродетель: бесцветность и была плодом ее. Мало кто догадывался, что бесцветность — лишь нечто вроде первой большой узловой станции на посвятительном пути к поэзии, со всевозможными разветвлениями вдаль, или если даже завершение пути, то лишь после преодоления всех красочных соблазнов. Поздно, впрочем, теперь об этом толковать, да и, повторяю, было все-таки два-три счастливых исключения...*

Утверждают, что авторство выражения «парижская нота» принадлежит Поплавскому, не имевшему, кстати сказать, к ней почти никакого отношения, творчески слишком непоседливому и в даровитости своей слишком расточительному, чтобы какую-либо дисциплину принять. *Пользуюсь этим словом в первый и, надеюсь, в последний раз, пользуюсь для удоб-*

ства, в качестве «рабочей гипотезы», и попробую вкратце рассказать, что заложено было в замысле «ноты», что неизбежно должно было привести к ее истаиванию и, может быть, все-таки в некоторых уединенных сознаниях к памяти о ней, как о чем-то таком, ради чего стоило остаться ни с чем.

В основе, в источнике было, конечно, гипнотически-неотвязное представление об окончательном, абсолютном, незаменимом, неустранимом — нечто очень русское по природе, связанное с вечным нашим «все или ничего» и с отказом удовлетвориться чем-либо промежуточным. *На Западе нам было не по себе,* на Западе мы не были «дома» именно потому, что здесь это «или—или» ни сочувствия, ни отклика не *встречало. В поэзии* французы предлагали нам оценить какие-нибудь необыкновенно смелые, *необыкновенно* меткие образы, а мы недоумевали: к чему они нам? Образ можно отбросить, значит, его надо отбросить. Образ, по существу, не окончателен, образ не абсолютен. Если поэзию нельзя сделать из материала элементарного, из «да» и «нет», из «белого» и «черного», из «стола» и «стула», без каких-либо украшений, то Бог с ней, обойдемся без поэзии! Виньетки и картинки, пусть и поданные на новейший сюрреалистический лад, нам не нужны *(как не нужна и футуристическая ругань Маяковского. Маяковский до конца жизни не почувствовал, что «к черту» или «наплевать» всего только изнанка манерности, по существу то же самое, что маркизы, пастушки, цветочки и птички).*

Для наглядности я упрощаю, отчасти и заостряю. Но основное было именно в ощущении: то, что может поэзией не быть, не должно ею *и* казать-

ся, недостойно ее имени. Поэзия — порыв, полет, говорили и говорят нам, поэзия — крылатое вдохновение, забвение обыденщины, веселое преображение, радость, торжество, свобода! Допустим. Но если поэзия — *это* порыв, полет и все прочее в том аспекте, в каком это вызывает «переходящие в овацию» аплодисменты любителей всего изящного и *прекрасного*, то разрешите, *товарищи или господа*, вернуть билет на вход в поэтические сады, *по примеру Ивана Карамазова*. Не интересно. «Нота», может быть, скучна, но это еще скучнее.

В поэзии должно, как в острие, сойтись все то важнейшее, что одушевляет человека. Поэзия в далеком сиянии своем должна стать чудотворным делом, как мечта должна стать правдой: если вдуматься, это то же самое. Но с каждой написанной строчкой приходилось горестно убеждаться, что это недостижимо, и оттого мы умолкали или же писали стихи, над которыми сами готовы были усмехнуться: писали по привычке, от нечего делать, как от нечего делать ходят в гости или обсуждают текущие новости.

Сравнение, которое давно уже было сделано: в руках у человека роза или, если угодно, кочан капусты, — поскольку роза ничуть не лучше и не хуже кочана капусты. Листик за листиком, лепесток за лепестком: не то, не то, ибо то, что единственно дорого, единственно нужно, таится в глубине, — пока не видишь, что нет в руках ничего! А подбирать и собирать рассыпанные лепестки нет ни малейшего желания: пусть подбирают те, кому они нравятся. Впрочем, они и не оборвали бы их! Не знаю, как сказать об этом яснее.

Зинаида Гиппиус, — *которую мне трудно вспомнить без того, чтобы не вспомнить, что Блок справедливо назвал ее «единственной»: да, единственная, хотя и притворщица неисправимая, выдумщица несносная, но единственная в способности все безошибочно уловить, все оценить и понять, — Зинаида Гиппиус когда-то* сказала мне: «В сущности, вы хотите, чтобы в стихах не было слов». Да, но не в фетовском значении «сказаться без слов», т. е. унестись на поэтических крылышках в поднебесную высь, — совсем не в этом смысле: нет, найти слова, которые как будто никогда еще не были произнесены и никогда уже не будут заменены другими. Их не было, и оставалось только свернуть с дороги, которая от волшебной удачи отдаляла и представление о ней искажала.

Довольно о «ноте». Добавлю еще одну только формулу, принадлежащую человеку, забыть которого мне еще труднее, чем Зинаиду Гиппиус, — Борису Поплавскому. После одного из долгих ночных монпарнасских разговоров он, помолчав, сказал, — будто подводя итог своим *доводам:*

— Знаете что это такое? Это — поэзия от Пилата.

Остроумно в высшей степени: умываю руки, не могу сделать того, что хорошо, но не хочу и участвовать в том, что плохо. *(Поплавский сказал именно «от», вероятно, вспомнив, что «Евангелием от Пилата» незадолго до того Мережковский назвал книгу Ренана).* В устах Поплавского это был упрек. Но ему было чуждо многое, что внушено было крушением нашего мира и образовавшейся *после исчезновения пестрых, долго державшихся декораций* пустотой. А «нота», конечно, была с этим связана:

хотелось *протереть глаза и* спросить себя, что́ без привычных подпорок надо мне в жизни сделать и куда без костылей могу я дойти?

Конечно, это — эмигрантская тема, одна из тех тем, которые в эмигрантской литературе должны были бы оказаться, *наконец, развиты, и по прямой линии* это наследие русского символизма в том, что не было им досказано. Отцы, может быть, отреклись бы от детей, но дети свою родословную знают, и в ней их не собьешь.

176.

Все, что пишешь здесь, почти все, о чем здесь думаешь, обращено туда: откуда мы уехали. Но попутно сводишь счеты и с самим собой, и может случиться, что в воображаемом, полуирреальном «там» не все окажется понятно, — не логически, а внутренне понятно: даже те, кто к пониманию расположен, восстановят ли рисунок, о котором речь? Дочертят ли мысленно линии, оставшиеся неясными?

«Le vent se lève, il faut tenter de vivre», «Поднимается ветер, попробуем жить», вспоминается мне строчка поэта в качестве необходимого комментария к сказанному, отчасти и к словам Поплавского. Вспоминаются и другие строчки:

Прошлое страстно глядится в грядущее,
Нет настоящего...

Значит, «продолжение следует». Должно бы последовать, если только не развеется в пустоте: предпочитаю, однако, наклонение сослагательное.

ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ <I>

177 (XLIII).

Оправдание черновиков — или апология записных книжек.

В статье, в книге одно *округляешь*, другое искусственно связываешь с тем, что в связи не нуждается. Нельзя без этого обойтись, как нельзя, идя в гости или на собрание, не придать себе более или менее *пристойный, общепринятый вид*. Уважение к читателю? Никто не спорит, к читателю действительно надо относиться с уважением. Но в результате остывшая мысль подогревается, разогревается и выдается за мысль живую. «В предыдущей главе мы указывали...», «из вышеизложенного следует...» и так далее. Часто случается, что главное, *именно* самое живое — моментальная фотография мысли — исчезает, бесследно растворившись в плавных, гладких периодах.

Да, бесспорно, за великими, основными человеческими книгами чувствуется долгая работа, огромное волевое усилие, проверка, охват темы во всем ее развитии, будто с птичьего полета. Оправдание черновиков может обернуться оправданием лени. Но иные, не «основные» книги выиграли бы, если бы остались в черновиках, как выиграла, например, посмертная книга Бунина о Чехове, которую он,

Бунин, наверное обезличил бы, если бы, готовя ее к печати, выбросил, сгладил отдельные, в сердцах сделанные замечания на полях прочитанного. Да и вообще, кто же из пишущих этого не знает: бывает, исправляешь, час-другой подчищаешь, а потом с удивлением убеждаешься, что восстановил именно тот текст, который написан был сразу.

Критики требуют от авторов стройной последовательности изложения, солидной согласованности суждений, сплошь и рядом не замечая под этой внешней связностью отсутствия внутреннего единства. А только оно, внутреннее единство, и способно что-то *действительно* удержать от развала, связать, одухотворить, при любых противоречиях и скачках от одного к другому.

Оправдание черновиков, апология записных книжек... Есть, однако, и опасность: болтовня, розановщина, излишек внимания к самому себе, развязность, кокетство. Но ведь в *каждом написанном слове* таится опасность, от этого не уйдешь, и в черновиках она всего только *более очевидна*. Риск «размахнуться Хлестаковым» сильнее, но тем сильнее и стремление остаться собой, каково бы твое «я» ни было. От себя тоже не уйдешь.

178 (XLV).

У нас, в нашей культуре, да и вообще на Западе, — поскольку мы все-таки — Запад и от него, надеюсь, не отречемся, — у нас есть только две большие темы: *афинская и иерусалимская*. Все сколько-нибудь значительное связано с их развитием, а в особенности с их скрещиванием, с их борьбой.

У французов до сих пор все идет по этим двум скрещивающимся и расходящимся линиям — линии Монтеня и линии Паскаля, — и духовная родословная каждого сколько-нибудь значительного французского писателя этими именами определяется. Да и могло ли быть иначе? Больше трехсот лет тому назад французам было в упор, без обиняков, разъяснено, в чем дело: разъяснено не с уклончивой объективностью свидетеля, а с нетерпимостью участника, не допускающего колебаний, требующего «да или нет», «со мной или против меня». Несколько строк мученика-Паскаля в упрек жизнелюбцу-Монтеню, — тот будто бы только тем и озабочен, чтобы «умереть безмятежно и малодушно»! — несколько этих строк так невероятно-проницательны, так гениальны в способности схватить сущность разлада, что нечего к ним и добавить.

У Сент-Бева, в одной из его понедельничных «Бесед», есть замечательная и фантастическая страница: похороны Монтеня.

За гробом учителя, «основоположника» идет вся французская литература. Мадам де Севинье рассказывает придворные сплетни и слухи. Буало, окруженный учениками, толкует о правилах построения трагедии. Вольтер, насмешливо косясь на Руссо, «обезьяну, вообразившую себя Сократом», тут же сочиняет на него эпиграммы, Виктор Гюго вполголоса декламирует новую оду — словом, все как обычно, каждый занят своим, до покойника никому нет дела.

Последним, вдалеке от других, идет Паскаль — и «только он плачет».

Это — несколько произвольный комментарий к монтене-паскалевскому расхождению. Но комментарий, полный смысла.

179 (XLVI).

В России дело осложнено тем, что в нашем Монтене, Толстом, неожиданно проснулся Паскаль, дремавший в нем смолоду, — и возненавидел, сжег все то, к чему *Толстой* предназначен был природой.

Но и для нас очерчен тот же круг *тем и* идей, с естественными индивидуальными особенностями двух писателей, которыми они отчетливее всего представлены: Толстым и Достоевским, конечно. Оттого-*то* мы постоянно о Толстом и Достоевском и говорим, и будем говорить еще долго, сколько бы ни удручало это *или* ни раздражало любителей новинок и так называемых «новых течений». Имена, *впрочем*, можно было бы и не называть, в разговоре мало что изменилось бы, разве что он потерял бы ясность.

Достоевский тоже плакал бы на похоронах Толстого и, вероятно, тоже плакал бы «один», — в особенности если представить себе Достоевского истинного, такого, каким он отражен в «*Карамазовых*», т. е. освободившегося от суетливой и завистливой мелочности, одолевавшей его в повседневной, внетворческой жизни.

Кстати: теперешняя Россия, советская, так страшно опровинциалилась, так обездарилась, несмотря на обилие несомненных талантов, *отчасти* именно потому, что, *усвоив и приняв с ленинскими оговорками, «постольку-поскольку», тему Монтеня,* она игнорирует тему Паскаля. Нет скрещения, нет трения, дающего огонь, и оттого все стало бесцветно и пресно. Кажется, в последние годы Россия начинает это чувствовать, и дай ей Бог *наконец* очнуться!

180 (XLVII).

По Альберу Камю, мечта каждого подлинного писателя: «усвоив все то, что есть в «Бесах», написать когда-нибудь «Войну и мир» или иначе: «ценой смирения и мастерства найти *секрет* общечеловеческого искусства».

Замечательно, что Камю упомянул о смирении, скромности, — «humilité» во французском тексте. Едва ли он знал, что Чехов сказал о Достоевском почти то же самое: «не достает скромности». Чехов о Достоевском говорил вообще неохотно, будто стесняясь *признаваться*, что не любит его, — как Чайковский стеснялся говорить, что не любит Шопена. Карамазовские бунты и неприятия мира, по-видимому, *были* ему не по душе: о чем тут толковать, все и так *достаточно* ясно, «пойдем лучше чай пить», как говорит старый профессор в «Скучной истории».

181 (XLIV).

Розановщина... Пренебрежительное это словечко вырвалось у меня почти безотчетно. Нет, Розанов все-таки замечательный писатель, и помню, было время, когда был он для меня писателем чуть ли не единственным, «властителем дум».

Шестов справедливо заметил, что из всех наших «новых христиан» один только Розанов умеет произносить имя Божие в верном тоне. У Бердяева и даже у Булгакова, священника, умения этого не было, и с марксистско-журнального лексикона они беспрепятственно перешли к темам религиозным, не уловив насущной необходимости писать и выражаться иначе. Розанов кощунствовал, называл Христа «ца-

рем ужаса», дошел в удивительных примечаниях к рассказу Сикорского *о терновских плавнях и сектантах-самосожженцах* до иного, худшего, но неизменно чувствовалось: нет, оскорбления Христу тут нет, это бунт человека, который и сам смутно тоскует, как бы «пострадать», он болен христианством, ранен, отравлен им, и он мечется, хорошо зная в глубине души, что никакого избавления не хочет.

«И да сияют *образа эти* вечно». Это ведь Розанов написал, и никогда Бердяеву не написать бы предисловия к «Людям лунного света», никогда он со своим сильным, ясным аналитическим умом не поднялся бы к тому, до чего неизвестно как договаривался в минуты просветления болтун и путаник Розанов.

Конечно, *он был болтуном*. Нельзя сравнивать его с Паскалем, как *делали* это некоторые неумеренные его поклонники. Не говоря уж о мощи разума, у Паскаля был дар молчания, остановки, оставшийся Розанову неведомым. Паскаль обрывает фразу, наполняя пустоту таинственным смыслом. Розанов говорит, говорит, пришепетывает, подмигивает, ухмыляется, намекает, сам себе возражает — и случается, иногда недоумеваешь: только-то и всего, Василий Васильевич? Нельзя ли было бы покороче? Ничего *не может случиться и отдаленно схожего* над книгой Паскаля.

А все-таки писатель замечательный, природно устремленный к «самому важному». Среди новых русских литераторов он один мог себе позволить решительно все, не «размахиваясь Хлестаковым», — потому, вероятно, что был до самозабвения искренен и меньше всего думал о впечатлении, которое слова его произведут.

17 Зак. 3049

(Давнее мое сомнение, упрек самому себе: отчего никогда не написал, — а теперь уже не напишешь, поздно! — о том, что́ ночью, когда не спится, обрывками проносится в мозгу, о том, что́ с первых лет юности, может быть, под воздействием Розанова, казалось *именно* «самым важным»: о Евангелии и о том, что́ в нем загадочно, об отсутствии «дна» в этой книге, о неистребимости надежды, которая *вдалеке мерцает и светит*, куда бы человек ни забрел, как бы ни запутался, *об исчезновении* отчаяния, о том, рассчитана ли была евангельская проповедь на тысячелетия или, наоборот, на представлявшийся неминуемо-близким конец мира, — да, отчего не попробовал написать, «средь всякой пошлости и прозы», попытавшись перенять у Розанова его непогрешимое чутье ко лжи и правде слова, продолжив его темы, заразившись его страстностью в этих темах, но оставшись все-таки собой. А потом спохватываешься: и хорошо, что не написал! Подумаешь, о «самом важном»! Что получилось бы? Тремоло в голосе, самолюбование, чернила, чернила, будто бы ставшие кровью. Пиши, голубчик, лучше о внутренних отличиях пятистопного ямба от четырехстопного, тут по крайней мере и сорваться трудно.

Это — к упоминанию о «розановщине».)

182 (XLVIII).

Надо бы установить, был ли когда-нибудь хоть один случай несомненного, бесспорного предвидения будущего. Говорят, св. Серафим Саровский видел убийство Александра II, рассказывают и о многом другом в том же роде... *Но было ли это в действительности?* Насколько все это достоверно?

Если можно видеть будущее, хотя бы только один-единственный раз увидеть его, значит, будущее где-то есть: есть. Нельзя видеть то, чего нет. Если кто-*то* видел будущее, значит, оно существует (но еще не дошло до нас или мы *еще* не дошли до него). Машина *мира*, очевидно, дала перебой, и в образовавшуюся на миллиардную долы секунды трещинку мелькнуло что-то, к данному времени не относящееся. Как на кинематографической ленте: сцена из другого эпизода.

А если будущее существует, то от нашей свободы воли, как в обосновании ее ни изворачивайся, не остается ровно ничего. Если в припадке философического отчаяния я даже покончил бы с собой, то и это в какой-то программе уже занесено и предопределено: ни вызова, ни своеволия. Кириллов попал впросак.

По-моему, это неопровержимо, т. е. неопровержима связь *видения и существования*.

Но тут же — холодный ветерок: а почему, собственно говоря, ты *так* «неопровержимо» уверен, что мир построен по законам, совпадающим с законами твоего разума? Ведь если даже в плане материальном далеко не все *с нашим разумом в мире согласовано* — в чем теперь уже *нельзя сомневаться*, — почему должно существовать согласие там, где и материи-то нет?

(Алданов справедливо сетовал на Зеньковского за умолчание о Лобачевском. В своей обстоятельной и добросовестной «Истории русской философии», где не обойден вниманием ни один приват-доцент, Зеньковский о Лобачевском просто-напросто забыл. А ведь догадка о том, что Эвклид вовсе не всегда и не вез-

де общеобязателен, ошеломляюще огромна в своих выводах. Достоевский это *понял* и в разговоре Ивана с Алешей об этом упомянул. Куда же, *в самом деле, мне* понять пути мироздания и «финальную гармонию», если даже того не в состоянии я понять, что параллельные линии могут где-то сойтись!)

183 (XLIX).

Не «стиль — это человек», а ритм — это человек, интонация фразы — это человек. Стиль можно подделать, стиль можно усовершенствовать, можно ему научиться, а в интонации фразы или стиха пишущий не отдает себе отчета и остается самим собой. Как в зеркале: обмана нет.

В нашей литературе было три гения интонации — Лермонтов, Толстой и Блок.

К Блоку следовало бы поставить эпиграфом последнюю строчку пушкинских «Цыган»: «И от судеб защиты нет». Удивительно *в его интонациях* чувство солидарности со всеми людьми перед лицом слепых «судеб», круговая порука, которой он себя связывает. «Будьте ж довольны жизнью своей, тише воды, ниже травы...» — незабываемо! Повторяя такие строчки, говоришь себе: «Нет, Блок — поэт единственный», и это в *сущности* верно, как мгновенный отклик читателя поэту. Но, читая Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова или Анненского, говоришь себе то же самое.

Лермонтов был близоруко *переоценен и* недооценен многими «мэтрами» нашего *«Серебряного»* века, которому, впрочем, лучше было бы называться веком «посеребренным». Им, как и когда-то Жуков-

скому, не по душе была его риторичность, порой в самом деле напоминающая юнкера Грушницкого. Но за «младенческой печалью» Лермонтова, за его «как будто кованым стихом» — по *иронической формуле* Брюсова — они не расслышали райского тембра, *присущего* его голосу. *Не расслышали и* не почувствовали, что риторику это искупает. Помню, Гумилев, сидя у высоких полок с книгами, говорил:

— Если мне нужен Баратынский, я не поленюсь, возьму лестницу, полезу хоть под самый потолок... А для Лермонтова нет. Если он под рукой, возьму, но тянуться не стану!

Насчет Баратынского спора нет, он заслуживает того, чтобы взять хоть десять лестниц: учитель, мастер, образец достоинства, правдивости, сдержанности. Но Лермонтов... как бы это объяснить?.. Лермонтов, *ведь* это совсем другое. «По небу полуночи...» — *хотя бы только эти полстрочки:* волшебство, захватывает дыхание.

Проверяю себя: неужели действительно эти полстрочки, *отдельно взятые*, так волшебны? Или сказывается самовнушение, гипноз? Допускаю, что, если бы эти полстрочки только полстрочками и остались, головокружения они не вызвали бы. Но они гениальны, как вступление к тому, что открывается дальше: все, что дальше сказано, *уже* в этих трех словах обещано, безошибочно предвещено. «По небу полуночи»: если бывает в поэзии магия — вот ее несравненный пример.

Иногда у Лермонтова слышна та же «круго-поручная» интонация, которая позднее развита была его учеником Блоком. «Я говорю тебе, я слез хочу, певец...» — «Подожди немного...» Или в начале

«Валерика» чудесное в своей прозаической непринужденности «во-первых», сразу дающее стиху особую его мелодию:

Во-первых, потому, что много
И долго, долго вас любил...

А риторика была, только не Брюсову бы о ней говорить.

184 (L).

Случайная цитата из Толстого, притом не из романа или повести, которые автором отделывались и исправлялись, а из письма к другу, Бирюкову, года за два до смерти. Толстой вспомнил о своем выступлении на суде, в начале шестидесятых годов, по делу унтер-офицера Шибунина, ударивщего своего ротного командира по щеке и затем расстрелянного, — вспомнил и писал:

«Ужасно возмутительно мне было перечесть эту мою жалкую, отвратительную защитительную речь. Говоря о самом явном преступлении всех законов Божеских и человеческих, которое одни люди готовились совершить над своим братом, я не нашел ничего лучшего, как ссылаться на какие-то кем-то написанные глупые слова, называемые законами. Ведь если только человек понимает то, что собираются делать люди, севшие в своих мундирах с трех сторон стола, воображая себе, что вследствие того, что они так сели, и что на них мундиры, и что в разных книгах напечатаны и на разных листах бумаги с *печатным заголовком* написаны известные слова, — что вследствие этого они могут нарушить веч-

ный, общий закон, написанный не в книгах, а во всех сердцах человеческих, то ведь одно, что можно сказать этим людям, это то, чтобы умолять их вспомнить *о том*, кто они и что они хотят делать...»

Никак нельзя сказать, что это «хорошо написано». Покойный Карсавин, даровитый человек и по-своему человек проницательный, настойчиво утверждавший, что Толстой писал плохо, неуклюже, «косноязычно», *вероятно*, с удовольствием сослался бы на эти строки. Ремизов, решившийся *в «Подстриженных глазах»* высказать мнение, что Толстой был «словесно бездарен», тоже им обрадовался бы как подтверждению своей оценки.

Да, нельзя сказать, что это «хорошо написано». Но можно и надо сказать, что самые совершенные образцы русской прозы тускнеют и кажутся *пустовато-легковесными* рядом с этим «косноязычием», изнутри оживленным библейской огненной несговорчивостью, и что с такой силой, с таким верным соответствием между «что» и «как» никто в России никогда не писал.

На цитату эту я натолкнулся, перелистывая для справки книгу Гольденвейзера «В защиту права». Перечел и подумал, что Горький-то, пожалуй, был прав: если человек может так писать, то действительно «Человек — это звучит гордо».

185 (LI).

У молодых есть все преимущества перед старыми. Все, кроме одного: старые знают, что каждое поколение приходит со своей правотой — и своими иллюзиями. Молодые видят только свою правоту.

Умный Базаров был бы еще умнее, если бы догадался, каким тупицей прослывет он у первых эстетов и декадентов.

186.

Теоретики «нового романа» по-своему правы, — но только частично правы, — упрекая прежних писателей в искусственных и произвольных психологических выдумках. Человек, утверждают они, знает только то, что думает и чувствует сам. О других людях мы судим по их словам, действиям, случайным поступкам, не зная, чем эти слова и поступки вызваны, сплошь и рядом ошибаясь в их истолковании. Как же решается писатель переходить от одного своего героя к другому, делая вид, что все творящееся в сознании этих различных людей ему в точности известно? Что получается? Марионетки, куклы, более или менее успешно выданные за живые существа. Писатель вправе говорить только о том, что видит и слышит, не устанавливая в потоке внешних впечатлений никакой внутренней связи. А читатель свободен: связь он может найти, может и остаться в недоумении, если ему кажется, что она отсутствует.

Доля правды в таких утверждениях есть. Действительно, было в прошлом, выходит и в наше время множество бытовых и психологических романов, в которых жизнь воспроизведена лишь призрачно-верно: читая их, мы ничего не узнаем общего и постоянного, ничем не обогащаемся. «Раскрыла книгу: “Вера сидела у окна...” А какое мне, в сущности, дело до Веры?» — писала когда-то на-

смешница Тэффи, ловя себя на мысли, знакомой, вероятно, многим читателям. Правильно: какое мне дело до Веры! Не все ли равно, выйдет она замуж или с горя станет монахиней? При любопытстве к житейским фактам и происшествиям можно удовлетвориться газетной хроникой: там по крайней мере все точнее и короче, да и обходится без постылых литературных блесток и стереотипных красот.

Но к Бальзаку или Диккенсу, к Толстому или Марселю Прусту упрек «новых романистов» отношения не имеет. У тех был дар перевоплощения, была особая «интуиция бытия», и читая их, мы узнаем что-то новое, важное, вечное о людях и жизни, а вовсе не только «убиваем время», как с Верой, сидящей у окна. У Флобера этот дар был, пожалуй, слабее, но он именно о нем думал, когда сказал, что «мадам Бовари — это я». Без способности перевоплощения самому искусному роману — грош цена, а что способность эта крайне редка, спору нет.

«Все можно выдумывать, нельзя только выдумывать человеческой психологии», — сказал Толстой о Горьком. Если бы запрещение обманчиво-реалистических выдумок и подделок «под жизнь» стало непреложным правилом, книжный рынок быстро оскудел бы, и вместо десяти тысяч романов в год появлялось бы два-три, не больше. Но сокрушаться об упадке культуры не было бы причин.

187.

Десять тысяч романов в год, «новых» или «старых», все равно. Конгрессы, съезды, делегации, декларации, обсуждение «творчески-актуальных» вопро-

сов, диспуты о жанрах, темах, направлениях — и так далее. Расцвет культуры, измеряемой цифрами. Не только там, в нашей захмелевшей России, где это совпадает с ленинским взглядом на литературу как на «часть общепролетарского дела», но и на Западе, где как будто никакого общебуржуазного дела нет.

Конечно, кое-что в пристрастии к конгрессам и прочему понять можно: в самом деле, мало на свете людей, которым не нужны были бы развлечения, «театр для себя» в любых видах. Каждый развлекается по-своему, а писатели — по-писательски, на свой лад, в своей среде. У нас в эмиграции была «Зеленая лампа»: два раза в месяц — смерть, вечность, Бог, свобода, загробное воздаяние, большевизм как доказательство существования дьявола, с прохладительными напитками и пирожками в антракте для вящего сходства с театром. Ну что же, ходили, спорили, горячились, но в глубине души знали: развлечение, только и всего! А ораторствует ли на эстраде Мережковский, Сартр или Эренбург, дела не меняет, и по существу это то же самое.

Писателю нужно только одно: стол, перо, уединение. И только одно есть у него дело: разговор с самим собой. Не монолог, а именно разговор, в котором вопросы бывают важнее ответов, а мысль неразлучна с сомнением, ее оживляющим и оттачивающим.

188 (LII).

Корни все усиливающегося в наше время внимания к Тейяру де Шардену, по-видимому, связаны со смутной, безотчетной тревогой: не изменяет ли

человек, *homo sapiens*, самому себе? Расширение, распыление культуры, — как бы *ни было оно в иных отношениях* нравственно оправдано, — не грозит ли *владычеством* тупости и «*всемством*», пугавшим Константина Леонтьева? Если миллиарды лет тому назад возникло одухотворение материи, если много, много позже началось — по Тейяру — «очеловечение» земли, с долгими веками той же работы впереди, то не приобретает ли понятие культуры оттенка метафизического? Не в том ли единственно важное человеческое дело, чтобы довести одухотворение и очеловечение до конца?

Далеко не все эпохи в себе сомневались. Восемнадцатый век, а за ним и девятнадцатый шли вперед в уверенности, что с пути свернуть уже не придется. «*Царство науки не знает предела*». Но история подставила заносчивому веку ножку, и он споткнулся, растерялся. К сожалению? Да, все-таки к сожалению. Путь был в общих чертах верен, только походка была не та, *что* нужно бы. Были шоры, была нетерпимость... Но теперь, после всех наших крушений и передряг, на развалинах прежнего мира, человек оглядывается, тревожится: не оказаться бы *нам предателями*? Тейяр именно о возможности предательства и напомнил, хотя сам *в нее не верил*.

ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ <II>

189 (LIII).

Сартр и Альбер Камю.

Эти два имени постоянно называются рядом, — вероятно, потому, что когда-то их связывали общие темы, были они друзьями, затем резко и шумно разошлись, и это их расхождение вызвало долгие споры. Это одна из тех литературных «пар», о которых сам собой возникает вопрос: кто же из них больше, выше? Вопрос бессмыслен, все с этим согласны, но отвыкнуть от него трудно: Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, Корнель и Расин... примеры классические, а есть и множество других, *более мелких*.

Вспомнил я Камю, однако, не для сравнения с Сартром, а потому, что им, его личностью, его писаниями отчетливо оттеняется то, что есть в Сартре особого. Сартр и Камю связаны, но и резко разделены: были разделены еще до ссоры. Два мира, друг другу противостоящих, два «мироощущения», чуть ли не две эпохи, — причем эпоха, которую предвещает Сартр, еще не совсем ясна, и он сам как будто еще отвергает предназначенное ему *во времени и* в развитии культуры место.

Не думаю, чтобы по *размеру* своего дарования Камю был подлинно великим писателем. Но это — писатель, у которого ум, совесть и сердце еще находятся в естественном и нерасторжимом согласии, можно бы даже сказать — в сотрудничестве. Это — человек в том смысле, в каком слово это действительно «звучит гордо» и в каком можно его отнести к великим писателям прошлого. У него в рабочем кабинете висело только два портрета: Толстой и Достоевский, — и, кстати, уместно вспомнить, что когда один из его советских посетителей стал ему жаловаться на недостаток внимания к России со стороны западной интеллигенции, Камю вместо ответа молча обернулся и указал ему на эти портреты.

Сартр необыкновенно умен. Ум, «острый галльский смысл», *по Блоку*, обнаруживается не только в его теоретических рассуждениях, но и в каждой написанной им фразе, в умении найти незаменимое, хотя порой и неожиданное слово, в безошибочной расстановке слов, в точности, в исчерпывающей меткости малейшего эпитета. При чтении требуется усилие, чтобы уловить и оценить не стилистическое мастерство в обычном значении этого понятия, вовсе нет, а именно ум, сквозящий в этой суховатой, обманчивой стилистической простоте. Какого бы современного французского писателя после Сартра ни взять, — *даже из самых прославленных*, — все кажется вялой словесной канителью.

Но ум находится у Сартра в положении самодержавного, неограниченного монарха. Он всем управляет и раздела власти не признает. При читательской рассеянности может — и даже должно — возникнуть впечатление противоположное: в самом

деле, нет сейчас писателя, который настойчиво твердил бы о морали и моральных вопросах. Сартр во всеуслышание заявляет, что *нельзя* заниматься сочинением романов и стихов, когда миллионы людей голодают и бедствуют, Сартр ратует за социальную и расовую справедливость, за равенство, за прекращение войн, за уничтожение последних остатков колониализма, и не случайно Мориак *в одном из своих «Блокнотов»* назвал его «Толстым в миниатюре». Сравнение, однако, явно насмешливо. Не говоря уж о Толстом, трудно найти пример подобного отсутствия эмоциональной заразительности, подобной выхолощенности прекрасных призывов и порывов, подобного торжества «литературы» при ожесточенном отрицании ее. Все от ума, все под диктовку ума — и оттого все как будто впустую! Защита угнетенных внушена исключительно ненавистью к угнетателям: ни одного слова, в котором чувствовалась бы жалость к жертвам и боль за них. Симона де Бовуар, друг и подголосок Сартра, писала в «Силе вещей», что «Камю отстаивал ценности буржуазные, в то время как Сартр верит в правду социализма». Вздор, который стыдно читать, — если только не подводить под понятие буржуазности все, что до сих пор называлось человечностью.

Надо все же без колебаний и с некоторой горечью признать, что Сартр гораздо значительнее, чем Камю, как явление, как голос из будущего. Сартр — это именно явление. Зловещие утопии, нарисованные Оруэллом, Хаксли или у нас Замятиным в «Мы», всегда представлялись мне домыслами из разряда «он пугает, а мне не страшно». Есть в этих книгах что-то торопливое, плохо проверенное, да и чисто литера-

турный их уровень не Бог весть как высок: оттого и мало было к ним доверия. Но как знать? Может быть, что-то в них *и* угадано? От книг Сартра, написанных скорей в опровержение оруэлло-замятинских фантасмагорий, чем в их поддержку, веет тем же ветерком ледяной справедливости, ледяного и неумолимого равенства. Ни одной оплошности в нравственно-социальных расчетах, ни одной уступки человеческим слабостям и мечтаниям. И человек задыхается. Сартр как будто первый пришелец из неведомого «оттуда», первый несомненно большой писатель с каким-то «кибернетическим» привкусом в творчестве, давший возможность почувствовать то, что, может быть, ждет людей в далеком или близком будущем. Он не пугает, но читателю страшновато.

190 (LIV).

Теперь постоянно приходится читать и слышать, что реализм выдохся. И это верно. Не говоря уж о реализме «социалистическом», почти все книги, вышедшие за последние десятилетия и написанные «под Толстого», «под Бальзака», «под Диккенса», не вызывают малейшего сомнения насчет того: *а не* превратились *ли* былые открытия в мелкообщедоступные, механизированные приемы? Почти все *такие* книги внутренне ничтожны. Это, в сущности, вагонное чтение, с подлинным творчеством имеющее мало общего. Их читают, чтобы «убить время», ни для чего другого.

Но если бы люди острее чувствовали неисчерпаемую таинственность повседневности, реализм мог бы продержаться еще века и века. Изменилась бы

манера, но сущность осталась бы той же. Глупые теперешние романы, где все «совсем, как в жизни», глупы потому, что жизнь в них и не ночевала. Повседневность фантастичнее всякой фантастики, сказочнее любой сказки, экзотичнее — если в нее вглядеться — самой изысканной экзотики. Достаточно *раскрыть* окно, выйти на улицу, сказать два слова *с первым* встречным, — и при этом, конечно, заставить себя вдруг очнуться от привычного житейского забытья, — чтобы *почувствовать*, до чего непонятно наше существование, даже в примелькавшейся *оболочке своей*. Что это все, вокруг нас? *Что это такое?* Где мы? Откуда? Есть какое-то малодушие в бегстве новых художников от непостижимости ощутимой, ближайшей, зримой, реальной, во всевозможные сны и выдумки. От реализма к «сюрреализму», хотя бы в самых обольстительных и усовершенствованных его формах.

191 (LV).

Алданов однажды сказал в присутствии Бунина:

— Великая русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате»...

Бунин покачал головой, поворчал: «Что-то, Марк Александрович, стали вы чересчур строги! Были и после Толстого неплохие писатели!» — но мне показалось, что ворчит он скорее так, для виду, чтобы не сразу сдаться, а на деле с Алдановым согласен.

Русская литература кончилась на «Хаджи-Мурате». Да, но было все-таки смутное, горестное, растерянное послесловие к *великой русской литературе* — Блок. Сказать с уверенностью, что Блок был талант-

ливее всех других писателей нашего века, нельзя. Но дело не столько в таланте, сколько в том, что поэзия Блока изнутри оживлена дыханием судьбы, присутствием судьбы. «Он весь дитя добра и света...»

У Бунина, у Горького нет судьбы. Одно очень хорошо, другое, пожалуй, слабее, но за словами ничего не происходит. Нечему гибнуть, нечему торжествовать.

192 (LVI).

Есть величина таланта и есть качество таланта: понятия, далеко не совпадающие, по существу, даже совсем разнородные. Мне никогда прежде не приходило это в голову, а когда внезапно пришло — не помню, над какой книгой, — многое в литературном прошлом и настоящем сделалось яснее. Привычная, традиционная табель о рангах оказалась нарушена, но лишь потому, что обнаружилась условность или ошибочность мерила, на котором она *была основана*.

Есть писатели, бесспорно, очень даровитые и все-таки ничтожные. Читаешь и думаешь: зачем я это читаю? Блестяще? Да, блестяще. Остроумно? Да, *чрезвычайно* остроумно. Но и при блеске, и при остроумии, и при стилистической виртуозности это все-таки плохой писатель. Плохой, т. е. как бы не питательный. Бумага, чернила. Нет воды и хлеба, без которых нельзя жить.

Кстати, о вопросе «зачем?».

Если писатель, как бы вдохновенен он ни казался, ни разу не остановился над своей рукописью и, неожиданно смущенный мыслями о суетности

своего дела и об искажении первоначального видения, не спросил себя: «зачем я пишу?», «какой смысл в том, что я пишу?», если он ни разу не был этим вопросом взволнован и озадачен, то едва ли это писатель подлинный, по призванию, пришедший с чем-то своим, до него *неведомым*. Пожалуй, плох именно тот писатель, который «творит» с неизменным *удовольствием, с непрерывным удовлетворением*, — как, бодро хлопнув себя по ляжкам, в разговоре с больным, отступавшим перед всяческими «зачем?» Тургеневым сказал Боборыкин («А я, наоборот, пишу много и хорошо!» Слышал удивительный рассказ этот от Мережковского).

193 (LVII).

Некоторая переменчивость оценок, мнений и суждений не есть результат общей их неустойчивости и еще менее «каприза», как нередко утверждают: для одних она непонятна, для других неизбежна.

И те, для кого она неизбежна, в ответ на упреки только разводят руками: как же может быть иначе? Разве иные великие, даже бессмертные произведения не написаны в форме диалогов? И разве не от того авторы их выбрали именно эту форму, что видели возражения, которые сами себе могли бы сделать, *и не считали* нужным их скрывать? В «Федоне», например, два центральных возражения Сократу глубже и значительнее всех его дальнейших цифровых выкладок, которые если что и доказывают, то лишь то, что разум в еще младенческом вдохновении своем, еще сам себе *и своей силе* изумляясь, возвел логику в верховное, непререкаемое божество.

Но оставим эти высоты, спустимся к нашим родным равнинам. Разве Герцен не двоится, не колеблется, не противоречит порой *самому* себе, в то время как Чернышевский неизменно долбит одно и то же, не удостаивая ни во что чуждое *ему* вдуматься? И разве не оттого это так, что Герцен бесконечно проницательнее, даровитее Чернышевского и видит в каждом явлении многое, чего тот и не подозревает? Я вовсе не хочу сказать, что все колеблющиеся, все, кому случается высказывать об одном и том же явлении противоречивые суждения, — в частности в литературной критике, — непременно умны и талантливы. Конечно нет. Колеблющихся тупиц на свете *хоть пруд пруди*. Но заранее требовать на протяжении всей жизни строгого единства оценок тоже нельзя. Хорошо сказал Толстой: «Я не воробей, чтоб всегда чирикать то же самое».

Помимо того: в литературе, в искусстве, во всем, что объединено общим словом «культура», речь в конце концов идет как бы о возведении некоего общего храма. Возникает чувство ответственности: не ошибиться бы в расчетах. Действительно ли нужно то-то, не окажется ли никчемным и даже вредным другое? Годы, годы *сомнений*, поисков, отступлений, самопроверок, на весь тот срок, который каждому из нас отпущен. А тут выскакивает какой-нибудь шалун и бойко всех расталкивает: позвольте, я в два счета приделаю здесь балкончик с резьбой, что это вы, в самом деле, — то работаете без устали, то разбиваете только что сделанное и часами стоите в оцепенении!

194 (LVIII).

Не помню, решился ли кто-нибудь, — при всесветной и, что же тут толковать, вполне оправданной славе Достоевского, при сложившемся на Западе, *в особенности* на Западе, убеждении, что уж если кто глубок и прозорлив, то именно он, при его ореоле, при необычайной его власти над новыми, по-новому встревоженными умами, — не помню, сказал ли кто-нибудь, *наконец*, что «Легенда о Великом Инквизиторе» — произведение опрометчивое и *легкомысленное*. Вспоминаю только восторги: «величайшее создание Достоевского», утверждает Мочульский, «залитые *немеркнущим* светом страницы», по Розанову, и так далее.

Не касаюсь оценок чисто литературных, эстетических, хотя даже и с этой точки зрения никак не могу согласиться, что декламационно-риторическая, театрально-эффектная «Легенда» представляет собой у Достоевского некую вершину. Нет, вершины у него другие. Но существенно не это.

Такие слова, как «опрометчивость», «*легкомыслие*», будучи отнесены к писателю, который признан гордостью России, могут вызвать возмущение, и даже наверно *вызовут его*. Возмущение, однако, было бы основательно лишь в том случае, если бы против Достоевского, как мишень, как предмет его сарказмов, не стояло нечто, что все-таки гораздо больше и его, и всех его книг, вместе взятых: христианская Церковь. Удивительно, что наши благочестивые авторы не обратили на это *достаточного* внимания! Правда, оклеветана в «Легенде» церковь католическая, а не православная. Но дело это меняет

мало, скорей даже ухудшает позицию Достоевского, ибо тут дает себя знать славянофильство, типично славянофильская смесь притворного смирения с ничуть не притворным патриотическим самоупоением и заносчивостью. В этом повинен даже мудрец Тютчев, обозвавший римского первосвященника «ватиканским далай-ламой»[1]. Будто бы в православии, в православном быту евангельская проповедь сохранилась во всей своей первоначальной сияющей чистоте, будто нам, русским, и упрекнуть себя не в чем, будто не все мы одинаково грешны одним и тем же. Не надо бы ведь забывать, что обличитель Рима, ревностный церковник Достоевский, называл себя единомышленником Победоносцева и, по собственным своим словам, восторженно следил за его «драгоценной деятельностью».

Основное утверждение «Легенды» верно и просто, как дважды два четыре: Церковь от Евангелия отступила и в течение веков не нашла в себе сил устоять перед соблазном житейских и государственных компромиссов. Этого отрицать нельзя, с этим всякий беспристрастный человек согласиться должен, тяжело ли ему это или нет. Но Достоевский в своем воинствующем антикатолицизме делает чудовищный скачок вперед: «Мы не с Тобой, мы с

[1] Тютчеву же принадлежит удивительное объяснение гибели французской армии в 1812 году. Наполеон, «воитель дивный», не предвидел, по его мнению, «лишь одного»: того, что противником его будет не Барклай де Толли, не Кутузов, а сам Христос. А стихотворение это — «Проезжая через Ковно» — само по себе необыкновенно хорошо: один из тютчевских шедевров.

ним», говорит у него Христу старик кардинал, «мы с ним», т. е. мы с дьяволом, — и здесь сразу напрашивается столько возражений, исторических, идейных, моральных, что не знаешь, с чего и начать. Памятник опрометчивости, — хочется мне повторить, непревзойденный образец полемического ослепления и клеветы! «Мы не с Тобой, мы с ним». Достаточно взглянуть на взвивающиеся к небу стрельчатые готические соборы, чтобы уловить в них ответ сошедшему с ума кардиналу.

Есть маленькая, исключительно содержательная книжка, вышедшая много лет после появления «Легенды», но касающаяся затронутых в ней тем, — «Евангелие и Церковь» Альфреда Луази. По причуде судьбы именно за нее Луази, бывший священник, ученейший церковный историк, основатель целой школы, оказался отлучен от церкви по обвинению в «модернизме». Между тем едва ли было когда-нибудь написано что-нибудь более страстное и проницательное в защиту и оправдание церкви как исторической необходимости, как установления, без которого христианство оказалось бы исторически неосуществимо. Луази спорит не с Достоевским — он его и не называет, — а с Адольфом Гарнаком, автором знаменитой «Сущности христианства», протестантом и, значит, противником Рима. Отчасти спорит он и с Ренаном, по-видимому, допускавшим, как и Гарнак, что евангельское учение рассчитано было на тысячелетия, что оно могло сквозь тысячелетия пройти и в них полностью уцелеть, и в связи с этим решившимся сказать, что «история Церкви есть история измены», т. е. умышленно сделанного отступнического выбора. Измена? — будто спраши-

вает Луази. Измена? Но ведь не будь этой измены, не осталось бы ровно ничего, все исчезло бы, все оказалось бы безвозвратно забыто, — приблизительно так же, скажу *я* от себя, как это происходит в рассказе Анатоля Франса о состарившемся Пилате, только и способном промямлить в ответ на расспросы друзей: «Не знаю, право, ничего не помню».

Читая Послания апостолов — не столько Павла, сколько другие, — убеждаешься ведь чуть ли не на каждой странице, что первые последователи Христа ждали конца мира и чудесного свершения того, что было им обещано, со дня на день, *с минуты на минуту*. А свершение откладывалось, оттягивалось, непостижимо опаздывало, и пришлось жить, устраиваться, ограничиваться, свыкаться, мечтать, надеяться, каяться, молиться — и по мере сил хранить остатки света. «Мы не с Тобой, мы с ним»: нет, остается только верить, что проживи Достоевский дольше, он сам пришел бы в ужас от этого безумного навета и вообще посоветовал бы своим неумеренным поклонникам поменьше «Легендой» восхищаться.

195 (LIX).

Ницше сказал о хоре пилигримов в «Тангейзере», что это — «самая католическая музыка в мире». Вот бы Достоевскому в нее вслушаться, расслышать в ней то, что уловил Ницше: упорство, волю, передаваемое из поколения в поколение согласие на подвиг, готовность нести Крест, отсутствие отречения и предательства...

Впрочем, Достоевский отозвался о Вагнере по-своему: «прескучнейшая немецкая каналья».

196 (LX–LXI).

Еще о Достоевском и его наследии.

Конечно, мир менее плоск, чем представляли себе это самоуверенные «передовые» люди в прошлом столетии, последыши Белинского. Конечно, мир загадочен, и сколько бы ни были ошеломительны новейшие научные открытия, «царство науки знает предел». *Окажись* это иначе, загадочность предстала бы еще бесконечно большей: как, значит, есть только то, что мы видим, *только* то, что мы понимаем, только то, что на крайность можно было бы уложить в математические формулы? Ничего другого? Да ведь это было бы в миллионы *миллионов* раз невероятнее и необъяснимеѐ, чем любая нарочитая непонятность! Тайны существуют, не могут не существовать. Но нам-то, — да и то мало кому, — видна лишь узкая-узкая щель и почти ничего за ней. Что-то как будто брезжит, что-то светится, но, может быть, это всего только мираж... А он широко распахнул воображаемые ворота, в которые и бросились вслед за ним бесчисленные ученые и полуученые комментаторы, и принялись они вкривь и вкось рассуждать о том, о чем возможны только слабые, смутные догадки.

Достоевский — великий, огромный писатель. Но многое из того, что им в критической литературе вдохновлено, многое, что о нем написано, до крайности тягостно.

У Карла Ясперса в его «Философской вере» сказано: «Человек неудовлетворен самим собой. В нем живет что-то несоизмеримое с его повседневным существованием, с его знаниями и его духовным миром».

Это почти дословно то же, что говорит Толстой о князе Андрее, которому хочется плакать, когда он слушает, как поет Наташа: несколько удивительных строк, достойных того, чтобы поставить их эпиграфом ко всей русской литературе. Эпиграфом и предостережением: не идите дальше, не выдумывайте ничего другого, потому что будут это именно только выдумки, только пустые домыслы. Больше о самих себе мы ничего не знаем и никогда не узнаем.

Ну а как же с интуицией, которую иные русские философы даже «обосновали», как же с иными гениальными метафизическими построениями, по праву составившими за две тысячи лет гордость и славу человечества? Когда-то за воскресным чайным столом в Кламаре, у Бердяева, рассуждавшего с одним из гостей о том, чего Бог требует от человека, и авторитетно, очевидно с полным знанием дела, растолковывавшего непонятливому посетителю, в чем эти божественные требования состоят, я вполголоса спросил хозяина: «Откуда вы все это знаете?» Бердяев обернулся, *рассмеялся* и ответил шуткой *какой-то*: «Вопрос, мол, ребяческий, глупый». Приблизительно то же произошло у меня однажды *и* со Степуном. Каюсь, может быть, вопрос в самом деле глупый. Действительно, не было бы некоторых величайших, вдохновеннейших философских систем, если бы невозможность ответа *была бы* принята за *правило и* преграду. Потеряны были бы великие богатства.

Но каюсь и в том, что эта невозможность ответа представляется мне все же бесконечно значительной, не менее полной смысла и духовного веса, чем любая метафизическая система. Кстати, тот же Яс-

перс, человек религиозный, в той же книге полностью признает, что доказывать существование Бога можно было только до Канта, а теперь заниматься этим способны только мыслители малодобросовестные (к которым он с оговоркой причисляет Гегеля). Вот именно! И не только доказывать существование Бога, а и логически рассуждать обо всем, что нашему разуму недоступно. (Лосский упрекает ненавистный ему пантеизм именно в том, что тот «не логичен». Как будто логика в этих догадках может иметь решающее значение, как будто заранее известно, что все беспредельное бытие логике нашей подчинено!) Уверенности нет, уверенности ни в чем быть не может, а «интуитивные» соображения и построения... что же, доступ к ним широко открыт всякому. Плохо, однако, то, что сколько бы их ни было, как бы стройны и убедительны они временами ни казались, все они расходятся. Единство недостижимо, его никогда не было и не будет. Каждый предлагает свое, личное, произвольное, ни для кого другого не обязательное и большей частью *противоположное* всему предложенному прежде.

И поневоле остаешься с князем Андреем и с одним только блаженно-мучительным сознанием невозможности самим собой удовлетвориться, чувствуя, что в *этом*-то и таится «бессмертья, может быть, залог».

197 (LXII).

Михайловского когда-то просили дать статью о свободе печати. Он ее написал, но потом признался, что писал с трудом — труднее, чем другие свои ста-

тьи. Всю жизнь думая о свободе печати, ища все новых доводов в ее защиту, он забыл основные доводы. Пришлось вспоминать, возвращаться к истокам.

Человек, который всю жизнь думал о поэзии, — в частности, о поэзии русской, во многом расходящейся с западной, — находится приблизительно в том же положении. Может быть, он плохо думал, путаясь, сбиваясь, противореча сам себе, а главное — принимая свои спорные, личные пристрастия за непреложные истины. Может быть. Но если думал он о поэзии всю жизнь, ему хочется «подвести итог», спросить себя, что же такое, в конце концов, поэзия, в чем ее сущность, в чем ее смысл и, пожалуй, даже в чем ее оправдание. Да, в чем ее оправдание, — в ответ тем, кто балуется стишками, пребывая притом в непоколебимой уверенности, что всякий стихотворец — существо избранное, отмеченное Богом и что поиски рифм и придумывание образов представляют собой занятие высшего порядка.

В чем сущность поэзии и в чем ее смысл? Чем настойчивее и упорнее об этом думаешь, тем неотвратимее втягиваешься в области почти метафизические.

Если бы в чем-нибудь метафизическом быть уверенным, ответ был бы ясен. По крайнему моему разумению, он заключался бы в том, чтобы служить единственно важному человеческому делу: одухотворению бытия, тому торжеству духа, которое, может быть, и свершится в далеких *грядущих* веках... Но сослагательное «бы» при раздумии мало-помалу теряет значение, перестает быть препятствием. Даже если бы все оказалось иллюзией, даже если ты со своим мнимым «одухотворением» всего только ра-

зобьешь себе голову о стену, другой ставки у нас нет. Да и риска в ставке нет: как в «пари» Паскаля, выиграть можно, проигрывать нечего. Поэты, «надо дело делать». Но как его делать? Как?

Конечно, не рассудочно-дидактически, с постоянной назойливой памятью о цели: рассудочность все засушила бы и убила. Нет, иначе. Не думая о «воздействии» на читателя, о «впечатлении», которое будет произведено. Отказываясь от всего, от чего отказаться можно, оставшись лишь с тем, без чего нельзя было бы *и* дышать. Отбрасывая все словесные украшения, обдавая их серной кислотой. Не боясь одиночества, ища в одиночестве — как бы сквозь себя — связи с миром и будущим, веря, что в одиночестве эта связь окажется *вернее и прочнее*, чем в рассеянном житейском общении. Будто бросая бутылку в море: кто-нибудь найдет, кто-нибудь поймет, кто-нибудь продолжит. Зная, что если есть солнце, то ни к чему развешивать разноцветные электрические гирляндочки... Трудно все это связно объяснить, не только другим, но и самому себе. Оттого, вероятно, и вспоминается мне Михайловский.

Формула «делать дело» обманчиво совпадает с требованиями, предъявляемыми к поэзии в Москве, хотя внутренне ничего общего с ними *и* не имеет: нельзя же смешивать дело с делишками и многовековую молчаливую духовную работу ощупью, приправленную бесчисленными западнями и внезапными пробуждениями в тупике, нельзя же отожествлять даже слабое подобие ее с одами, внушенными очередной партийной резолюцией и прочим. Не стоит об этом и говорить: лошади едят сено и овес.

Надо дело делать, — и, к великой чести Блока, следует сказать, что он чувствовал это глубже какого-либо другого нового русского поэта. Чем был бы без него русский модернизм, этот столь теперь восхваляемый «серебряный век», похожий на пир во время чумы? «Век» был вызывающе беспечен и беспечность свою с гордостью противопоставлял наследию столетия предыдущего. «Век» бессовестно играл в тайны, многозначительно давая понять, что узнал что-то важнейшее, открыл что-то вещее, — и многие из нас, из тогдашнего декадентствовавшего стада, из тогдашней желторотой литературной молодежи, откликались, ловились на удочку и с дрожью раскрывали «Весы» или даже поздний, уже *чуть-чуть салонный* «Аполлон», надеясь вот-вот прозреть, приобщиться, удостоиться посвящения[1].

Блок по природной честности своей не допускал обмана, верил не только Соловьеву, но и тем, кто на фальшиво-глубокомысленной интерпрета-

[1] Думаю все же, по далеким, дорогим воспоминаниям, что «что-то» загадочное, не поддающееся определению, «какой-то отблеск какого-то света» тогда действительно мелькнул в сознаниях. Но сколько было лживой шумихи, бесподобно описанной Андреем Белым, сколько было подделок, подлаживаний! Уже здесь, в Париже, у меня был об этом любопытнейший разговор с Зинаидой Николаевной Гиппиус, «бабушкой русского декадентства», разговор, о котором стоило бы когда-нибудь рассказать. Она отрицала то, что до сих пор представляется мне несомненным, настойчиво *повторяя*: «Нет, не было ничего!» — Но едва ли была она права.

ции соловьевских трех видений бойко делал литературную карьеру. А когда догадался, что был одурачен, сделался навсегда угрюм и печален, вплоть до революции, которая его не оживила, нет, а только гальванизировала. Не в этом ли ключ к «Двенадцати»: обида, счет за духовное шулерство, поиски хоть какого-нибудь выхода и избавления? Блока возвышает не столько самый талант, сколько требовательная и настороженная серьезность *этого* таланта, отталкивание от комедиантства, слух к ошибкам и горечь от сознания их, в частности своих личных, к которым перед смертью причислил он «Двенадцать» как ошибку тягчайшую. Блок знал, что поэзия должна быть делом, но как никто другой чувствовал пропасть, отделяющую «должна быть» от «становится, стала». Он запутался, погиб, но погиб в столкновении с силами, которые навсегда в русской литературе облагородили его облик. Даже стоя на этом берегу, он обращен был к берегу иному и весь озарен был его далеким сиянием.

198 (LXV).

Настоящая поэзия возникает над жизнью, все в себя вобрав, все претворив, а не в стороне от жизни, всего избегнув, всего испугавшись. «После» жизни, а не «до» нее.

«Краска стыда на лице Фета» (как у Ницше: «краска стыда на лице Платона»). Впрочем, не Фета подлинного, не Афанасия Афанасьевича, которого надо бы еще прочесть и перечесть по-новому, а Фета нарицательного, того, который возвеличен был со-

временниками в пику Некрасову, т. е. Фета как олицетворения «*поэтической* поэзии», со всеми позднейшими Фофановыми и Бальмонтами.

«Я зову мечтателей, вас я не зову» — Бальмонт. И не зовите, не трудитесь: все равно не пойдем!

199 (LXIII).

Один из молодых французских критиков, сын известного романиста, да и сам романист, один из тех преуспевающих литераторов, которые все понимают, за всем следят, все новое принципиально одобряют, обо всем высказывают самые утонченные, самые что ни на есть смелые мысли, суждения, — критик этот недавно писал:

«Мы теперь поняли, что поэзия тоже (“тоже”: очевидно, как и наука? — *Г. А.*) дает нам знание».

Я прочел и, усмехнувшись, вспомнил то, что сказал о поэзии Боссюэ: «La plus jolie de toutes les bagatelles» — «Самый хорошенький из всех пустячков». Конечно, Боссюэ не совсем прав или только в девяти случаях из десяти прав. Человек это был, бесспорно, гениальный, по мнению Поля Валери, даже первый французский писатель, стилистически первый, никем не превзойденный. Однако жил он в одну из тех повторяющихся в истории эпох, когда распространяется чувство, что все окончательно достроено и упорядочено, что остается только в мелочах усовершенствовать достигнутое, *и* нечего больше искать. Помимо того, истина, по его убеждению, была давно известна, она была полностью в католичестве, и, с великой страстью и нетерпимостью истину эту отстаивая, он не мог отнестись к

поэзии иначе, чем как к шалости. Вскоре, однако, мир стал давать трещины, все было мало-помалу подвергнуто пересмотру, — замечательная книга Поля Азара «Кризис европейского сознания 1680–1715», неужели не переведена она на наш язык? — и взгляд на поэзию не мог *остаться прежним*.

Но вернусь к утверждению *молодого* французского критика. Во-первых, как всегда в подобных обстоятельствах, надо бы спросить: кто это «мы»? А во-вторых, неужели можно положа руку на сердце отрицать, что если поэзия и обогащает *человека* чем-то смутно похожим на знание, то лишь в редкостно-редчайших случаях, раз или два в столетие, посреди бесчисленного количества «пустячков» всех видов, *школ и направлений*? Да и открывает это знание лишь то, что над нами есть «нечто», без имени, без образа, без ответа. У нас в России, может быть, единственный такой случай — Лермонтов: темное, иссиня-черное, таинственное небо над его стихами. Метафизичность Лермонтова сильнее, она у него вернее, чем у других наших поэтов, — в особенности у поэтов новых, вероятно, потому, что в новые времена возникла почти повальная болтливость. Болтливость, именно болтливость *преимущественно* отличает «серебряный» век от «золотого»: один с трудом и сомнением прорвавшийся у «золотых» намек «серебряные» с *пьяным* упоением принялись разжижать и многословно развивать, ничуть не делая, однако, мнимое знание полнее и отчетливее. Блок, дитя «страшных лет России», питомец окружавшей его среды, по сравнению с Лермонтовым (и конечно, с Пушкиным) болтлив, а о Пастернаке и говорить нечего: недержание догадок, призрачных

мыслей, снов, предчувствий, густо приправленное метафорами, очевидно, за отсутствием других подпорок. Разумеется, немедленно нашлись и критики, «литературоведы», готовые в каждом случайно подвернувшемся эпитете обнаружить глубокий смысл и, как когда-то Луначарский, поблескивая роговыми очками, авторитетно и солидно разъясняющие доверчивым аудиториям, в чем этот смысл состоит.

(Пишу и думаю: зачем? зачем пытаешься ты навести свою аскетическую одурь на тех, кому весело и занятно сочинять стихи, похожие на пирожки с кремом? А в особенности на тех, кто там, в России, в молодой своей модернистической резвости, отталкиваясь от внедряемых начальством прописей, ищут «ярких, блестящих образов», «необычайно острых ритмов» *и прочего? На тех, например, кто — как недавно было сообщено в газете — «плачут слезами благодарности», внимая блестящей дребедени Вознесенского?* Во-первых, все равно не наведешь. Во-вторых, если даже в правоте своей ты уверен, то неужели так же уверен, что истина должна всегда восторжествовать? Что правоте по самой природе ее обеспечено признание? Что рано или поздно жизнь ей подчиняется? Скорей наоборот, и очень многое в истории, от самого великого до самого малого, в этом убеждает. «Пора смириться, сэр».)

Молодые наши модернисты учились главным образом у Пастернака. При всем, что было в *нем* шаткого и как бы ветреного (в том смысле, в каком можно бы это сказать об Андрее Белом, но нельзя сказать о Блоке), *Пастернак* был, конечно, подлинным и большим поэтом. В этом не было бы сомне-

18 Зак. 3049

ний, даже не напиши он ничего, кроме пяти-шести таких стихотворений, как «Никого не будет в доме...». Но у Пастернака почти никогда не бывает преодолена выделка. Нет одухотворяющей небрежности. Словесная ткань чуть-чуть слишком «шикарна», чуть-чуть «воняет литературой», по выражению Тургенева. Изделие из очень хорошего магазина, сработанное очень искусным мастером, но это именно изделие, перед которым, как перед роскошной витриной, изнемогая и потея от вожделения, стоят зеваки-прохожие. Вместе с тем было в Пастернаке что-то «телячье-восторженное», слишком *откровенно*-лирическое, слишком демонстративно вдохновенное, вроде как у Ленского, с его кудрями черными до плеч. Ахматова сказала о нем, что «он одарен каким-то вечным детством», — и это постоянно приводится как дань восхищения. Но комплимент двусмыслен. Ни к одному из других больших русских поэтов отнести его было бы невозможно.

200 (LXIV).

Нельзя быть поэтом, не помня о смерти. Не может быть поэзии без ее отдаленного присутствия. Это, конечно, не значит, что слово «смерть» должно в стихах постоянно мелькать. Не значит и того, что стихи должны быть мрачны, унылы, «морбидны». Но это значит, что они должны быть во внутреннем ладу со строками Платона о связи творчества и смерти — строками, которые настолько поразили и *даже* околдовали Шестова, что он без конца их цитировал и на них ссылался. Правда, по Платону, смерть — источник и побуждение фи-

лософии[1]. Но поэзии — тем более. Если бы не было смерти, к чему поэзия, о чем поэзия? Так, для забавы, для мимолетной услады. *Но и только.*

Пушкин, удивительные в твердости и мужественности *тона* строки его: «И от судеб защиты нет», «И пусть у гробового входа...»: будто в подтверждение того, что помнит, о чем всегда помнить надо, в поучение неисправимым поэтическим весельчакам, готовым счесть его своим союзником. В одной малозамеченной, но умной книге о Пушкине, вышедшей лет тридцать тому назад где-то в Белграде или Софии, — «Пушкин и музыка» Серапина, — есть определение тональности пушкинской поэзии: «трагический мажор». Как верно! Одно из редких *и как бы* творческих замечаний о Пушкине, — если не считать, конечно, полезных, кропотливых, интересных, но все-таки мелко-интересных, второстепенно-интересных изысканий по вопросу о том, какая пушкинская строка по ошибке включена в такое-то стихотворение или с кем Пушкин в Москве, после свидания с царем, пил чай.

Во всем великом, что людьми было *создано*, смерть видимо или невидимо присутствует. Не всегда тема, но *зато* всегда фон, как и в нашем сущест-

[1] Платон, как всем известно, был врагом поэтов и обрек их на изгнание из своего идеального общества. Но не произошло ли тут недоразумения? Не сузил ли он понятие поэзии до условного, хотя и самого распространенного о ней представления? Если бы ему возразили, что он, величайший поэт древности, осуждает самого себя, каков был бы его ответ? Пример недоразумения — как у нас осуждение Шекспира Толстым.

вовании. То, без чего искуснейшее повествование, размышление или стихотворение неизбежно остаются плоскими. То, что оттеняет каждое слово. Нестерпимая бездарность казенной советской литературы, при явном обилии дарований, коренится именно в том, что смерть в ней забыта. Будто не стоит о ней *и* думать. Бессмертие, товарищи, в коллективе, в общей работе, в возведении нового общественного строя! Ни вызова, ни отчаяния, ни преодоления, ни света *впереди, ни хотя бы* мрака впереди, ничего из вечного человеческого достояния. Таблица умножения в отмену будто бы никчемных логарифмов.

201.

Перечитывая, припоминая стихи, чужие и свои, думая над ними, — знаешь, что искажает поэзию и уводит от нее, но не знаешь, что к ней ведет; знаешь, в чем измена, но не знаешь, в чем верность.

А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе?

202 (LXVI).

Отчего застрелился Маяковский? Ответы даны были разные, и, вероятно, в каждом из них есть доля правды. Люди редко кончают с собой по одной причине: одна причина, может быть, и была главной, но сплелась с другими, и все вместе они привели к самоубийству.

Мало вероятия, чтобы мое представление о будто бы «главной» причине смерти Маяковского оказалось правильным. Очень мало надежды на это. Но как хотелось бы, чтобы это было так!

Маяковский мог покончить с собой от сознания, что свой огромный поэтический дар он не то что растратил, нет, а погубил в корне. Оттого, что, будучи по природе избранником, он предпочел стать отступником. Оттого, что заключил союз с тайно-враждебными себе силами. Имею я в виду не большевизм, к которому он поступил на службу: объяснение упадка его творчества, дававшееся Пастернаком. Нет, дело не в этом, вовсе не только в этом. Маяковский с первых своих юношеских стихов принял нелепую, ребячески-наивную позу: громыхать, ругаться, поносить все без разбора. Мир подгнил, мир порочен, корыстен, темен, убог? Это не новость. Поэты, как ни в чем не бывало, пишут о ручейках и цветочках? Поощрять их не следует. Но есть другая поэзия, есть другой ее образ, и перед ним площадная демагогия *ничуть* не лучше цветочков. Пожалуй, даже хуже, потому что претенциознее и заносчивее, оставаясь столь же уныло-банальной. Перевоспитать читателей? Ну, допустим, перевоспитает (что отчасти Маяковскому удалось), допустим, читатели начнут восхищаться посрамлением цветочков — а что дальше? Допустим, будет «сублимировано» хамоватое панибратство с землей и небом, как в «100 000 000», — а что дальше? Нет, не могу понять, как Маяковского, — *с которым мне один только раз довелось беседовать о поэзии, ночью, в «Привале комедиантов», — не могу понять, как его* до конца жизни не стошнило от собственных его од, сатир и филиппик.

Пастернак *упрекает* Маяковского в уподоблении какому-то футуристическому Демьяну Бедному, делая исключение для последней его вещи — «Во весь голос»: она, по его мнению, гениальна. Да, она могла бы оказаться *замечательна*. Трагическое, почти некрасовское дыхание, ритмическая раскачка, какой-то набат в интонации: все это могло бы *быть* неотразимо. Но плоский, *хвастливый*, нищенский текст невыносимо противоречит ритму. Дыхание рвется к небу, а текст упирается в низко нависший потолок и под этой грошовой известкой отлично себя чувствует. На двухаршинный взлет он ведь всего только и был рассчитан! А слова, т. е. дословное содержание текста, в поэзии все-таки *значение имеют*, поскольку она не «проста, как мычание». Приходится угадывать то, чего в стихотворении нет, с унынием перечитывая то, что в нем есть...

Как возвеличена была бы память о Маяковском в русской поэзии, если бы верным оказалось предположение, что он ошибку свою понял и не в силах был с ней примириться! До крайности мало вероятия, что это было так. А все-таки «тьмы низких истин нам дороже...».

203 (LXIX).

В коммунизме загадочно то, что он до сих пор для тысяч и тысяч людей сохраняет свою притягательную силу. Даже после всех его российских метаморфоз.

А между тем многие, многие из этих людей твердо знают, что если бы в любой из теперешних буржуазно-либеральных стран произошел переворот, то

житься им в ближайшем будущем, на их веку, стало бы гораздо хуже, чем жилось прежде, — как бы мало прежняя жизнь их ни удовлетворяла, сколько бы ни накопилось в их сердцах обиды, зависти и мстительности. «Les lendemains qui chantent», по слащаво-картинному выражению Вайяна-Кутюрье, то есть царство справедливости и равенства, может быть, когда-нибудь и наступит. Если и в высшей степени сомнительно, что это царство *принесло бы* человечеству счастье, то все же мечта о нем понятна. Исторически такая мечта обоснована, счет предъявлен за долгое, долгое прошлое, так или иначе платить по нему приходится... Но в ближайшем-то будущем, после переворота, возникнет гнет, насилие, жизнь без отдушин, полицейщина, ограничения, все хорошо знакомое, все, по-видимому, неизбежное. Одно-два-три поколения окажутся принесены в жертву этому «певучему будущему», за исключением юркого меньшинства, вовремя прильнувшего к новым властителям. Остальным будет наверное хуже. Каждому отдельному человеку будет хуже, чем было. И все-таки эти остальные, эти отдельные люди сочувствуют, помогают, стараются, стремятся, борются, будто жертвуя собой для проблематического обещанного рая. Что это, действительно жертва, внушаемая каким-то действительно существующим многомиллионным темным «я», которое пренебрегает единичными лишениями и страданиями? Или это просто слепота, наивность, иллюзия?

«Лес рубят — щепки летят»: самая бесчеловечная из всех пословиц.

ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ <III>

204.

Отчего поэты большей частью «поют» свои стихи, а не декламируют их, оттеняя смысловое их значение, как делают актеры?

Оттого, что настоящий поэт с первого произнесенного слова чувствует недостаточность, не-полноту, не-окончательность этого содержания. Оттого, что даже в тех стихах, где строго соблюдено логическое развитие речи, далеко не все в это развитие укладывается, и поэт невольно «поет», безнадежно и беспомощно пытаясь хотя бы этой бедной своей мелодией дать представление о том, что хотел он сказать. В дополнение к смыслу слов, в поддержку и обогащение их. «Мысль изреченная есть ложь»: в стихах скорей — искажение. Актеры, очевидно, полагают, что стихи — это полностью то, что содержится в тексте. А настоящие стихи всегда больше текста, и всегда в них остается нечто, перерастающее непосредственный смысл слов и от него ускользающее. Так было, так будет, от первого настоящего стихотворения до последнего, при любых школах и направлениях. Если же публику «пение» вместо чтения слегка раздражает, то это, пожалуй, естественно: недоразумение неустранимо, и возникает оно еще до того, как поэт раскрыл рот.

Ахматова «пела» стихи, Мандельштам «пел» их демонстративнее, чем кто-либо другой, полузакрыв глаза, сам собой загипнотизированный. Блок, правда, не «пел», но произносил стихи сквозь зубы, глухим, лишенным всякого выражения голосом, будто давая понять, что все равно почти ничего передать не может, — незабываемо! А Качалов, читая того же Блока, размахивал руками, вскрикивал, шептал, улыбался, хмурился, делал многозначительные паузы, сменявшиеся вкрадчивой скороговоркой, — и было это, может быть, очень искусно, но и до крайности тягостно.

Свидетельство, которое я слышал от покойного В. В. Вырубова, родившегося в семидесятых годах прошлого века. В доме его бабушки (или прабабушки?) княгини Марии Андреевны Львовой Пушкин читал «Полтаву».

В глубокой старости княгиня не без удивления вспоминала:

— Пушкин не читал, Пушкин пел.

Напрасно, значит, новым поэтам приписывают выдумки и причуды, будто бы прежде не существовавшие.

205.

С первых лет революции московская печать молчала и до сих пор молчит о том, что давно уже, и не совсем удачно, повелось называть «религиозными вопросами»: молчала и молчит, если не считать глупых, невежественно-агитационных разъяснений, поучений и призывов. Именно поэтому здесь, в эмиграции, само собой, в противовес московско-

му обскурантизму, возникло усиленное внимание к этим «вопросам». Это оказалось естественной потребностью, это наше важнейшее здесь дело, недостаток верности которому был бы непростителен. Это прежде всего — верность России. «Что я делал в жизни? Читал Евангелие»: утверждение, по-видимому, относящееся к потусторонним встречам и испытаниям, принадлежит Мережковскому. Нет, можно было «делать в жизни» и другое, даже необходимо было делать и многое другое. Но делая, надо было в наши годы и в наших исторических условиях всегда помнить о том, о чем Россия поневоле молчит.

Только вот что хотелось бы добавить: память, внимание, интерес, тревога должны бы остаться вполне открытыми, свободными и в устремлениях, и в выводах, ничем заранее не предрешенными. Вера и сомнение должны бы остаться равноправными и равнозначительными. У нас теперь это далеко не так, и воинствующему безбожию все настойчивее у нас противопоставляется церковность, если и не воинствующая, то отталкивающая чуть ли не как мракобесов тех, кто склонен повторить — «помоги моему неверию!». В будущем нашем диалоге с Россией это может оказаться препятствием. Люди по-настоящему делятся ведь не на верующих и неверующих, не на тех, кто ходит к обедне и кто к обедне не ходит: люди делятся на тех, которые чувствуют загадочность жизни, наличие тайны в мироздании, и тех, которым все представляется просто, подлежащим рано или поздно уразумению. Богу, — сказал бы Бердяев, не отступавший перед возможностью ошибки в истолковании божественных требований, — Богу не оскорбительны ни сомнения, ни недоумения, Богу

оскорбительно равнодушие, отсутствие «трепета». Наш близкий или далекий диалог с Россией должен бы начаться с отказа от равнодушия, даже в самых скрытых, самых утонченных и соблазнительных новейших его формах. Россия оказалась в нескольких поколениях обездарена Лениным, человеком умным, но плоско-умным и в непоколебимой, в безграничной самоуверенности своей гнавшим и презиравшим как «поповщину» все то, что было и остается вечным достоянием человеческого ума и духа.

По всем доходящим до нас из России сведениям, там сейчас именно к Бердяеву растет интерес, растет внимание. Именно он, Бердяев, — в центре нескончаемых бесед и споров, вероятно, как в рудинские времена, ночью, в продымленной студенческой комнате, со стаканами остывшего чая перед спорящими. Радоваться ли этому? И да и нет, на мой взгляд. Бердяев много сказал очень верного, по нынешнему состоянию умов очень нужного: в частности, о свободе. Но самая очевидность, непреложность его главнейших утверждений, как насущным хлебом удовлетворяя пробудившийся к пытливости ум, отбивает охоту к дальнейшим поискам и проверкам. Бердяев немножко «рубит с плеча», и, помню, сам признавался, притом с удовлетворением признавался, что пишет большую книгу в месяц-два, а на обстоятельное ознакомление с большой книгой нового автора ему достаточно одного вечера. У Бердяева был ум сильный, трезвый, требовательный, но не было задумчивости, в противоположность Розанову или Шестову, несравненно более гибким, нередко колеблющимся, допускавшим к концу мысли то, что представлялось им невероят-

ным при ее зарождении. Отчасти это обнаруживается в стиле Бердяева, более «рубленном», чем у кого-либо другого из больших русских мыслителей.

Но, пожалуй, и хорошо, что очнувшаяся от спячки русская молодежь начинает с Бердяева. Ей нужны сейчас простые, первичные, оклеветанные истины: остальное придет потом.

206.

Утверждение одного из авторитетнейших современных биологов и химиков, нобелевского лауреата Жака Моно в замечательной вступительной лекции к курсу в «Коллеж де Франс».

Давно было сказано, что если представить себе обезьяну, которая в течение миллионов, миллиардов, триллионов лет сидела бы за пишущей машинкой и безостановочно стучала бы по клавишам, наугад, наудачу, не разбираясь в начертанных на них знаках, то могло бы оказаться, что в порядке почти невероятной, но теоретически допустимой случайности она выстукала бы полное собрание произведений Шекспира. Это было бы воспринято, как чудо, но это чудо, в опровержение возможности которого доводов нет.

А если возникло в мире величайшее чудо, подлинное чудо из чудес, человеческий мозг, центральная нервная система человека, и значит, как следствие, все относящееся к «ноосфере», все бесплотное и духовное, то должно было это произойти в результате такой же триллионной, квадриллионной случайности, бесконечного столкновения, сцепления, разлада слепых молекул, бесконечной их слепой

игры, начавшейся в непостижимые для нас времена и обреченной вместе с нами, вместе с нашим солнцем и землей бесследно исчезнуть. Вероятность образования человеческого мозга в процессе становления вселенной была не больше вероятности появления трагедий Шекспира под пальцами обезьяны.

Нельзя без оцепенения вчитываться, вдумываться в такие строки, невозмутимо и неумолимо логические, неумолимо убедительные в своем полном безразличии к убаюкивающим метафизическим домыслам Тейяра де Шардена, а заодно и к мнимонаучной «Диалектике природы» Энгельса.

Два возможных, достойных ответа.

Или пойти в церковь и сказать: «Отче наш, иже еси на небесех...».

Или застрелиться, — но не так, как Кириллов, чтобы «заявить своеволие», а от нестерпимого сознания финальной бессмысленности мироздания, если действительно оно таково, как допускает наука.

(Впрочем, возможен и другой ответ, в наше время все шире распространяющийся: ухватиться за эффектную тему «абсурдности» жизни, приняться с увлечением эту тему разрабатывать, сочинять соответствующие повести и романы и составить себе солидную, завидную репутацию писателя, «идущего в ногу с веком», модернистического властителя дум.)

207.

Не ответ, а, скорей, соображение в параллель и дополнение к словам Жака Моно о «чуде» и о неизбежности его финальной гибели. Чуть-чуть все-таки и в убаюкивание.

Ни симфония Моцарта, ни стихотворение Пушкина окончательно быть уничтожены не могут, что с нами и с нашим миром ни произошло бы. В них нет ничего поддающегося уничтожению и разрушению.

Для нас они обманчиво «осуществляются» каждый раз, как мы входим в общение с их бесплотной сущностью, беря в руки книгу или сидя в концерте. Но истинная их сущность остается и при этом вполне вневещественной, нигде окончательно не запечатленной. Они неуловимы, они остаются чем-то вроде платоновской «идеи». Книга, оркестр — нечто вроде зеркала, в котором они отражены, но и только. Исчезнет оркестр, который симфонию эту может исполнить, истлеют, сгорят рукописи с уже никому непонятными печатными знаками, умрет последний человек, который пушкинское стихотворение в состоянии вспомнить, повторить, но их пребывание в плане не поддающемся власти понятий временны́х и пространственных останется неизменным. Они существуют, и с момента их создания будут существовать всегда, может быть, оставаясь навеки неведомыми, никому недоступными, но и пребывая вне какой бы то ни было разрушающей досягаемости. При возникновении, при восстановлении памяти, невероятном, но допустимом, как предположение, мгновенно были бы восстановлены и они, без малейшего творческого усилия со стороны вспомнившего.

«Смерть и время царят на земле», по Владимиру Соловьеву. Не над всем царят.

208.

«Анна Каренина».

Большей частью предпочтение отдается «Войне и миру», хотя «Анну Каренину» многие считают «совершеннее». Это иносказательно признал Достоевский (в «Дневнике писателя» и в словах, переданных Н. Н. Страховым). Об этом, если не ошибаюсь, писал Конст. Леонтьев, говорили и другие.

Не думаю, чтобы это было в точности верно. Кое-где в «Анне Карениной» чувствуется, что Толстому, охваченному уже совсем иными мыслями, скучно и тягостно было ее писать. Временами он оживлялся, вдохновлялся и писал так, с такой силой, как в русской литературе не писал никогда никто («ни до, ни после него», повторял Лев Шестов). Но потом снова принуждал себя к работе над рукописью, и принуждение это в некоторых главах, — тех преимущественно, где Анна и Вронский отсутствуют, — дает себя знать.

А все-таки, даже при убыли прежнего гомеровски-безбрежного, безмятежного вдохновения, «Анна Каренина» едва ли не значительнее «Войны и мира», едва ли не глубже, и во всяком случае представляет собой ужасный и неотвратимый вывод из того, что в «Войне и мире» рассказано и показано.

«Война и мир» — это жизнь, бытие. Вот что такое жизнь, на всем протяжении своего повествования как бы говорит Толстой. «Анна Каренина» — другое, т. е. второй, следующий этап: вот что человек со своей жизнью делает, вот во что он может жизнь свою превратить. Не знаю, разделяет ли кто-нибудь мое чувство, но сколько бы я эту книгу ни

перечитывал, мне всегда хочется взять Анну за руку, остановить, сказать ей: что ты делаешь, зачем, по какому дьявольскому наваждению ты сама себя губишь? Особенно хочется это над несравненными, предсмертными ее страницами, начиная с той, где она смотрит на спящего Вронского, чуть ли не задыхаясь от любви, «не в силах сдержать слез нежности», и кончая уже близкой свечой, которая «затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла». Но ведь такое же чувство возникает и при чтении иных трагедий Шекспира, то же чувство возникает и в «Кольце Нибелунгов», когда Зигфрид доверчиво, в последний раз произнося дорогое имя, пьет братски предложенную ему отраву, лишающую его памяти, — да, чувство это лежит в основе, в идейной ткани некоторых величайших созданий человека, как бы ни были они различны по складу.

Толстой, вероятно, расхохотался бы, если бы ему сказали, что Анна кому-то напомнила Зигфрида. Но что с Толстого взять? Хохотал он над многим, не удостаивая заметить, что хохочет над самим собой, над лучшим, что проносилось в его сознании. Что ты с собой делаешь? Что все вы делаете со своей жизнью? Помочь нельзя, и крайне мало надежды, что люди одумаются и перестанут сами себя губить[1].

---

[1] Знаю, что упоминание о вагнеровских замыслах, да еще рядом с Шекспиром, многим покажется преувеличенным, почти нелепым. Ветер времени веет в другом направлении, люди снисходительно скучают над тем, что изумило и потрясло их отцов. Но Морис Баррес в конце прошлого века чуть ли не на коленях обращался к Нагорной проповеди и к «Федону», — как к

Мне приходилось читать и разбирать «Анну Каренину» с иностранными студентами, приходилось не раз беседовать о толстовском романе и с людьми постарше. В девяти случаях из десяти реакция была такая: «Да, вы правы, хороший роман, очень хороший, но все же, знаете, несколько устарелый... Женщина влюбилась, бросила мужа и сына, запуталась, кончила самоубийством, — что же тут такого замечательного? Теперь, когда в мире происходят такие события...» Руки опускались, я не знал, что ответить, ибо начать пришлось бы с таких далеких азов, которые и припомнить трудно. Действительно, женщина влюбилась, запуталась, погибла, совершенно верно, ничего замечательного в этом нет, да к тому же и бытовая оболочка романа устарела, верно, — но неужели вы не чувствуете, даже не столько в смысле слов, сколько в ритме их, неужели вы не чувствуете, что это весь мир гибнет вместе с нею, мы все гибнем, и неужели не содрогаетесь?

Кстати, по свидетельству Вал. Катаева, Бунин при давних, одесских встречах с ним, говорил, что хотел бы по-своему «переписать» толстовский ро-

---

лучшему, самому высокому, что мог вспомнить, — с мольбой «принять на свои высоты» именно это. И был по-своему прав. А что каждое поколение не только «переоценивает ценности», но и глохнет по отношению к тому, что слышали поколения предыдущие, известно давно. Правда, ни с Нагорной проповедью, ни с «Федоном» этого не произошло. Но тем более мольба, именно к ним обращенная, «принять на свои высоты» создание если и не столь долговечное, то все же с прорывами к вечному свету, сохраняет свое значение.

ман, кое-где подчистить его, кое-что выбросить. Нет сомнения, что Бунин сделал бы это мастерски, — хотя вспоминая то, что он говорил об «Анне Карениной» в самые последние годы жизни, удивляюсь, как могла прийти ему в голову такая мысль даже в молодости. Однако, допустим, Бунин написал бы «Анну Каренину» наново. Что получилось бы? Отличный, превосходный роман, вероятно, более короткий, чем у Толстого, и, может быть, более стройный. Но «Анна Каренина» — это не роман, отличный или не отличный, это целый мир, и как в живом, беспредельном мире, в ней есть, в ней не может не быть многого, что кажется лишним. Та или иная мелочь есть потому, что она есть, без объяснения и без оправдания, вовсе не потому, что она нужна. Таких мелочей еще больше в «Войне и мире». У Бунина почти все «лишнее», вероятно, исчезло бы, но стремясь очистить написанное Толстым, по-своему даже добившись этого, он исказил бы «Анну Каренину», умалил, снизил бы ее до неузнаваемости. Вероятно, он, например, убрал бы свечу, при которой Анна читала «исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу жизни». В самом деле, образ донельзя банален, и не только он, Бунин, но и Тургенев или, скажем, Флобер сочли бы недопустимым ввести его в свой текст. Им было бы стыдно, если бы он по недосмотру в книгу вкрался. Однако эта свеча вспыхивает и гаснет у Толстого как будто в первый раз с тех пор, как создан мир, и все стилистические усовершенствования и ухищрения становятся в ее прерывистом, предсмертном мерцании до смешного ничтожны.

209.

В последние годы, читая иные книги или статьи, прислушиваясь к некоторым разговорам, нередко вспоминаешь тургеневскую Кукшину, нигилистку из «Отцов и детей»: «Помилуйте, в наше время как же без эмбриологии!». Теперь об эмбриологии мало кто вспоминает, но по существу нравы изменились мало.

«Помилуйте, после Планка и теории квантов, после Нильса Бора...» «Помилуйте, после того, как Эйнштейн опроверг Ньютона...» «Теперь, после Фрейда, приписывать какое-либо значение разуму?..» — и так далее.

Бесспорно, во всех этих «после» доля правды есть, даже большая доля правды. Наука сделала в наше столетие головокружительный скачок и в разных областях обнаружила многое, еще недавно казавшееся невероятным. Главное, может быть, обнаружила она то, что в строении нашего мира есть нечто, если на крайность и укладывающееся в цифры, то ускользающее от понимания и рассудочного анализа, — о чем, впрочем, догадывались отдельные великие умы и в прошлом. Есть нечто непостижимое и в самом человеке. Да, это бесспорно так. Но ничуть это не оправдывает беззаботного, залихватского, веселого «все позволено», которым охвачены некоторые наши современники, не оправдывает ребяческого упоения внезапно представившейся возможностью болтать что угодно, предполагать что вздумается, красуясь при этом своей интеллектуальной авангардностью. Пожалуй, никогда еще человеческая суетность не была так очевидна, как те-

перь, «после Планка», — который, конечно, вместе с Эйнштейном, Фрейдом и другими великими учеными, никакой ответственности за подобное использование своих трудов не несет и, наверное, никакой суетностью не страдал. Но научные, подлинно творческие открытия — одно, а их вульгаризирование, их стремительная переработка в удобоваримую идейную пищу передовых весельчаков — нечто совсем другое[1].

Во-первых, милейшая Кукшина тоже была убеждена, что ей и ее эпохе открылась окончательная, неопровержимая мудрость, — и как знать, не усмехнутся ли над нами наши внуки и правнуки приблизительно так же, как теперь мы готовы усмехнуться над ней и ее незадачливой, будто бы все объясняющей «эмбриологией»? А во-вторых... во-вторых, люди все же обречены до конца дней жить в пространстве трехмерном, обречены жить, действовать, страдать, искать, рассуждать в соответствии с единственно нам доступным строем мышления, и никакие теоретические догадки о другом строе, с другими предпосылками, практически ничего изменить для нас не могут и с земли никуда

---

[1] Гаусс, не напрасно прозванный «королем математиков», предугадал до Лобачевского и Римана возможность построения не-евклидовой геометрии. Но, по-видимому, он был настолько ошеломлен своими прозрениями, что предпочел молчать. Если глухие, не совсем ясные сведения насчет этого, содержащиеся в его биографии, верны, то факт такого молчания мог бы заставить задуматься и людей от математики далеких. Потому что не только в математике тут дело.

нас не уведут. Разум понял, что он не все в состоянии понять, и откровенно в этом признался. Поняв свою ограниченность, он убедился в условности наших земных мерил. Но на деле в нашем существовании все для нас осталось таким же, как было испокон веков, как будет и впредь, до конца мира. Отрекаясь от разума, мы, в сущности, отрекаемся и от той великой новой ценности, которую можно было бы определить как «понимание непонимания».

«Друзья человеческого рода и всего, что для людей свято, не оспаривайте у разума того, что делает его высшим благом на земле: его права быть последним пробным камнем истины». Этим патетическим призывом оканчивается одна из статей человека, который с тех пор, как стоит свет, вероятно, больше и глубже кого-либо другого думал о природе разума и сам отчетливо установил его границы, предоставив свободу вере: это — слова Канта («Об ориентировке в мышлении»).

Правда, после Канта явились мыслители, с необычайным ожесточением восставшие против разума, — Ницше, Киркегаард, если назвать имена самые значительные и во всяком случае сейчас наиболее влиятельные. Но в их восстании был оттенок трагический, они бились головой об стену, сходили с ума, и не случайно Киркегаард сказал, что источник философии — отчаяние, вопреки древним, утверждавшим, что ее источник — удивление.

Все это, действительно, идейное содержание нашего времени. Но содержание это имеет до крайности мало общего с самодовольством бесчисленных нео-Кукшиных, в частности, облюбовавших новую

поэзию и под старым, истрепанным, полинялым знаменем «слова, как такового» стремящихся уйти в бесконтрольное мечтательство, прикорнуть в удобном, уютном уголке.

210.

Слушая «Весну Священную» Игоря Стравинского.

Слушая не в первый, а, вероятно, в десятый раз, но всегда с тем же смутным смятением, с какой-то горечью и печалью. По мнению знатоков, это произведение гениальное, и не мне, с моим музыкальным дилетантизмом, им перечить, — тем более что к смятению неизменно примешивается и удовлетворение дикой мощью звуков, безошибочно-ладным их сцеплением.

Но с этими звуками надвигается на нас тьма. Наше солнце заходит, будут другие, долгие дни, будет долгая, новая перелицовка единого человеческого духовного наследия. Но наш день кончается, наш чудный, ясный день, да, с его иллюзиями, заблуждениями, может быть, даже с каким-то его малодушием, но и с тем, что все-таки не напрасно мы любили, хотели удержать, отстоять, спасти. «Помедли здесь со мной над этим пепелищем твоих надежд земных». Кому это сказать, кто поймет, откликнется? Возраст роли не играет, и должны бы найтись люди совсем еще молодые, которые неотвратимость надвигающейся тьмы чувствуют — впрочем, в толпе тех, кто ей рукоплещет, высокомерно посматривая на тупых, по их убеждению, консерваторов.

Конечно, история движется скачками, а не по прямой линии, конечно, нельзя жить прошлым,

конечно, обновление в искусстве необходимо: конечно, лошади едят сено и овес. Но все-таки «помедли здесь со мной над этим пепелищем твоих надежд земных», — тем более что пепелище еще не совсем остыло, еще светится последними, дотлевающими огоньками.

Не знаю, как относится теперь к «Весне» ее автор. Но судя по всей его позднейшей деятельности, он ее отбрасывает, перечеркивает. «Звуки ничего выразить не могут» — упорно повторяет Стравинский. Нет, в мире не существует ни одного явления, которое ничего не выражало бы, и звуки исключения собой не представляют.

211.

Когда Россия станет Россией.

Не «снова станет Россией», как сказано в одной из статей В. В. Вейдле (в сборнике «Старые молодым»: «Пора России снова стать Россией»). Нет, не «снова», — потому что в действительности она никогда и не была окончательным свершением того, что, по предположению Бердяева, в данном случае перефразировавшего Соловьева, — «Бог задумал о России» и что только мелькнуло в некоторых редчайших русских сознаниях. Думая об этом, слово «снова», относящееся к пореволюционному огрублению былой, узкой и глубокой русской культуры, отбрасываешь еще и потому, что революция была и остается для России неким «страшным судом», экзаменом, который следовало бы выдержать, но на котором можно и сплоховать. Огрубение, измельчание культуры было неизбежно, по-своему даже

оправдано, если принять во внимание, что одному или двум многомиллионным русским поколениям, которые веками и десятилетиями пребывали в безграмотности или малограмотности, внезапно оказались доступны прежние духовные яства. С этим можно примириться, с этим надо примириться, как бы нам ни представлялось это тягостно, а нередко, к сожалению, и смешно. И дело все-таки не в этом.

Россия станет Россией, когда поймет, почувствует и во всеуслышание признает, что революция была нашим общим великим бедствием, пусть в первоначальном, теоретическом замысле своем и казалась она, — как почти все революции, — одушевленной справедливыми целями, правильными стремлениями. Россия станет Россией, когда поймет, почувствует и во всеуслышание признает, что никакие государственные достижения, — полностью отрицать которые невозможно иначе как по слепому упорству, — да, никакие государственные достижения, ни в каких областях, не искупают неисчислимых страданий, несчастий, моря крови, ожесточенного, беспощадного, бесстыдного сведения счетов с людьми лично ни в чем неповинными, словом, торжества тьмы и злобы. Россия станет Россией, когда возникнет ужас перед тем, что революцией было вызвано и во имя ее совершено, когда перестанут восхваляться и даже обожествляться деятели, политически, может быть, и выдающиеся, но примером своим, указаниями своими утвердившие бездушное, бесчеловечное, мертвящее представление о народе и истории.

Когда будут отвергнуты лживые, мнимоотвлеченные прописи насчет великих достоинств класса «восходящего» и неустранимых пороков класса

«нисходящего», когда исчезнут остатки волчьей ярости к тем, кто будто бы «нисходит», когда былые красные и былые белые поймут, что и тем и другим есть чему ужаснуться, а вопрос, кто должен бы ужаснуться сильнее, решающего значения не имеет. Все виноваты, все должны бы признать это и, как в стихотворении Хомякова, посвященном нашей истории, на коленях просить Господа Бога, «чтоб Он простил, чтоб Он простил», а при неверии в Бога просить прощения у своей искаженной, одурманенной совести, у всех других русских людей, «восходящих» или «нисходящих», одурманенных не меньше, чем они сами. И еще молить Бога, чтобы никогда больше в России ничего подобного не было, как бы порой ни казался общенародный переворот желателен, — ибо иначе, хотя бы и при другом характере взрыва, будет опять то же самое, будет та же слепая, звериная ненависть, слепое сведение счетов, бесчисленные жертвы, океан крови, все то же, чего искупить и забыть нельзя. Нужно постепенное отрезвление, мало-помалу внушаемое поколениями, революции не видевшими, но знающими понаслышке о ее истинной сущности.

Нет, такие мысли — не прекраснодушный, эмигрантский бред, заслуживающий всего только пренебрежительной усмешки. Если в прошлом уже бывали длительные общенародные кровавые бедствия, после которых никакого общенародного отрезвления умов и сердец не последовало, а, наоборот, последовали успокоительные разъяснения, что воспринимать их следует «en bloc», т. е. в целом, без деления на составные части, — насколько помню, термин этот принадлежит Клемансо и отно-

сится, конечно, к революции французской, — если это и бывало, то довод не убедителен, по крайней мере, для нас, для России не убедителен. Пусть, кому угодно, занимаются «блоками», превозношениями и всякими иными наркотическими передергиваниями. Пусть! Никто никому в этих делах не указ. Но Россия должна бы стать рано или поздно Россией, и когда вспоминаешь все то страстно-вдохновенное, что было о ней написано, полное страстно-вдохновенного убеждения, что у нас есть свое, особое назначение в мире, как не сказать себе: теперь или никогда! Теперь не в смысле «завтра», «послезавтра», а именно в предчувствии окончательного, последнего, далекого экзамена, на котором дай ей Бог не провалиться. Даже лучше, если бы далекого, — потому что при этом в личных надеждах исчезает эгоистический оттенок. Отпадает подозрение в эгоизме. Нет, нам лично уже не дождаться великого русского примирения и просветления после великого русского безумия. Нам лично уже «все равно». Но даже доживать свой век, даже умирать легче, веря, что просветление наступить должно, и тем тверже веря, что оттуда, из России, нет-нет да и доносятся новые, молодые голоса, на свой лад говорящие о чем-то очень близком и схожем.

ОПРАВДАНИЕ ЧЕРНОВИКОВ <IV>

212.

Для чего пишутся стихи?

В прошлом столетии, да еще и позднее, многие по-своему неглупые люди недоумевали: к чему, зачем писать стихи? То же самое можно ведь сказать прозой, и сказать яснее, вразумительнее. Не пора ли оставить эти смешные, ребяческие выдумки, рифмы, размеры и все прочее? Об этом не раз, с уверенностью в своей правоте, несколько свысока и насмешливо, говорил мне, например, покойный Осоргин. В ответ я отмалчивался: «руки опускались». Но надо бы все-таки когда-нибудь ответить, тем более что и вопрос и ответ частично затрагивают теперешний разлад между русской и западной поэзией и касаются упреков, которые с западной стороны нам делаются.

Стихи пишутся для того, чтобы выразить или хотя бы только отразить нечто, бродящее в сознании и не совсем укладывающееся в логически-ясные словесные формы, выразить или отразить нечто, не поддающееся пересказу. Нечто перерастающее слова. Стихи пишутся потому, что потребность выражения или отражения порой непреодолима. Стихи

пишутся потому, что рассудок не всегда в силах найти слова, которых безотчетно ищет духовная сущность человека.

Да, совершенно верно: если то, что в стихотворении выражено, могло бы полностью, без ущерба быть передано прозой, писать стихотворение не стоило. Смешная, устарелая выдумка, детская забава: совершено верно. Подобных смешных выдумок, иногда подписанных громкими именами, бессчетное количество блестящих, эффектных, звонких и все-таки никчемных. Их помещают в журналах, их декламируют на эстрадах, но все-таки писать их не стоило. Взрослым людям не пристало, как говорил Осоргин, заниматься пустяками.

Но ведь и поэт — не ребенок. Он знает, что от одного человека к другому не всегда доходит то, что дойти должно бы. В иные минуты он чувствует бессилие языка. Он ищет слов и звуков настолько слаженных, что рассудок в какой-то доле теряет над ними контроль. На Западе, в особенности во Франции, с ее тяжелыми для поэзии картезианскими традициями, с ее точным, твердым, как латынь, но бедным в оттенках языком, это было понято раньше, чем где бы то ни было. (Кстати, чего-то довольно близкого, именно в связи с французской поэзией, касается Левин в единственном своем разговоре с Анной.) Но мало-помалу, от отказа к отказу, от уступки к уступке, Запад, и Франция в особенности, дошли до крайнего решения: до разрыва логической связи слов, а заодно и до пренебрежения ко всем, будто бы чисто внешним отличиям стиха от прозы. Создан особый, будто бы именно поэтический речевой склад, у каждого автора, конечно, различный,

но неизменно свободный от последовательности и благодаря безудержной, иногда безумной образности будто бы способный передать от сознания к сознанию то, что обычной речью было бы искажено. Что же, в иных, исключительных случаях передача может быть и осуществлена! Есть леденящее величие в поэзии Малларме. Но гораздо чаще нарочитая бессвязность превращается в набор слов, вызывающий скуку и недоумение. Тоже «руки опускаются»: начинаешь читать, заставляешь себя вчитываться, а в конце концов отбрасываешь книгу, в которой кроме вывернутой наизнанку, но по-прежнему постылой риторики нет ничего.

Нас упрекают в отсталости, в нежелании или неспособности следовать новым, смелым, передовым западным литературным течениям. Дай нам Бог сил устоять перед соблазном! Рифма — не украшение, не игрушка, как и размер — не аркан, мешающий свободному дыханию, как и внутренняя перекличка звуков — не забава. Не забава и метрическая расстановка слов, с чувством особой тяжести в том из них, которое поставлено на нужном, незаменимом месте. Не забава и подчинение размеру со внутренними глухими подрывами его монотонности. Русский поэт давно знает, что «мысль изреченная есть ложь», пусть и не всякая мысль. Именно ради избавления от лжи он ищет помощи и как бы творческого сотрудничества в рифме, в повторяющемся напеве, в согласии или раздоре звуков. Мыслью, непосредственной, первичной смысловой внятностью он не жертвует, ею не к чему и незачем жертвовать. Жертва — слабость, снисхождение к самому себе. Но, порой мучительно наталкиваясь в повседневной речи на

какую-то стену, он чувствует, что уснащая ту же речь мнимыми «украшениями», он ее возвышает, обогащает, он что-то к ней добавляет.

«Выхожу один я на дорогу» вовсе не то же самое, что «На дорогу я выхожу один». «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была» вовсе не то же самое, что «Тогда я была, Онегин, моложе и, кажется, была лучше», хотя трудно было бы объяснить, в чем, собственно говоря, разница. Но только глухой этой разницы не уловит, только безнадежный тупица станет ее отрицать. Таинственное обогащение дословного смысла скрыто, и должно скрытым остаться. Тайне навязчивой, показной грош цена, как и грош цена назойливо-поэтическому набору метафор. Замечательно, кстати, что в русской поэзии, от Пушкина до Блока, всегда чувствовалось отталкивание от метафор, от образности. Замечательно, что в некоторых чудеснейших русских стихотворениях, — например, в «Я вас любил» Пушкина, сначала как будто бледноватом, даже вялом, но с истинно чудесной интонацией заключительной строки, или в «Мой дар убог» Баратынского, — замечательно, что в них нет ни одной метафоры. Ни одной. Стилистически речь проста и бедна. Но как в самой простенькой моцартовской мелодии остается и что-то неуловимое.

213.

Когда-то в «Цехе» Гумилев, говоря о новаторстве, сравнил поэтов с коллекционерами марок.

— Настоящий коллекционер иногда годами ищет недостающую в его собрании марку, обменивает одну

на другую ради пополнения такого-то отдела коллекции... Но может найтись и собиратель-шутник, который расположит в своем альбоме марки звездой, или одну наклеит прямо, а другую наискось, или умышленно смешает марки египетские с марками бразильскими. Именно таково в поэзии большинство приверженцев новизны во что бы то ни стало. Истинный коллекционер даже не усмехнется. Только пожмет плечами.

В дополнение.

Часто приходится слышать: нельзя через полтора столетия после Пушкина писать так, будто мы еще его современники. Да, в самом деле нельзя. Надо искать обновления, мелочь за мелочью, черту за чертой, слово за словом. Но это не значит, что надо «бесстрашно ломать установленные каноны», как с подлинно-телячьим восторгом писал один московский критик о Маяковском, который, кстати, вовсе не из-за этого своего «бесстрашия» был и остался большим поэтом. Если все позволено, то вскоре и все уничтожено.

214.

Венок на могилу «парижской ноты».

Что-то все-таки было. Но много меньше, чем хотелось бы. Почти ничего не удалось, да и не могло удасться.

Недавно я перечитывал, — вероятно, в десятый раз, — рассказ о смерти Сократа, в конце «Федона», одну из самых удивительных страниц в мировой литературе. Вот как надо бы писать, вот к чему наша несчастная «нота» безотчетно и беспомощно

тянулась! Отсутствие красок, все черное и белое. Ни одного сколько-нибудь напыщенного слова, ничего «красивого». А сказано так много, с таким проникновением в суть вещей, в суть жизни, что рядом все кажется ребячеством. Это упрек тому, что расцвело позже, упрек варварской обработке древнего наследия, упрек романтизму, даже упрек Шекспиру с его гениальной пышностью, гениальной, неистовой цветистостью.

Мы с нашей «нотой» были оставлены всеми. Россия казалась призраком, притом враждебным. Казалось, мы на поплавке, а вокруг бушуют волны. Впервые в истории возникло такое одиночество, и в ответ на одиночество хотелось произнести как бы последние, окончательные слова, тоже лишь черные и белые, не заботясь о каких-либо литературных «достижениях». Но могло ли это удасться?

215.

«Онегина воздушная громада».

Громада эта «воздушна» потому, что в ней отсутствует напряжение. Пушкин в каждой главе бывает умышленно небрежен, — умышленно или, может быть, безотчетно подчиняясь своему непогрешимому чутью. Строки и строфы незабываемые перемежаются с другими, «никакими». В письме Татьяны, например, после истинно прекрасных, как будто светящихся строк:

Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой...

немногим дальше, в том же письме:

Когда я бедным помогала,
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души.

Или в восьмой главе, по-моему, лучшей в «Онегине», на балу, до встречи Евгения с Татьяной, до строфы «С блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы», до монолога Татьяны «Сегодня очередь моя», до всего этого, строки, о которых без малейшей натяжки можно сказать, что написаны они «спустя рукава»:

К ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей,
Мужчины кланялись ей ниже,
Ловили взор ее очей.

Существует любители поэзии, поклонники и почитатели Пушкина, — безоговорочные, «inconditionnels», как говорят теперь во Франции о наиболее ревностных приверженцах генерала де Голля, — в беседе с которыми нельзя этого касаться. В ответ изумление, негодование: сноб, выскочка, капризный придира! Все у Пушкина будто бы одинаково хорошо, ни одного «кое-как». На солнце русской поэзии нет пятен. Но ведь эта пушкинская небрежность, — повторяю, умышленная или непроизвольная, — необходима, во всяком случае благотворна. Это передышка, облегчающая дальнейшее, более глубокое дыхание. У Баратынского в «Бале» напряжение непрерывно, и отчасти из-за этого поэмы Баратынского безнадежно увяли. В противоположность его стихам, в особенности коротким.

Но Пушкин то же делает иногда и в стихах. Начало знаменитого «Когда для смертного умолк-

19 Зак. 3049

нет шумный день...» тянется тяжеловато, и лишь со строки «Воспоминание безмолвно предо мной...» все взвивается к небу, как самолет после долгого пробега по земле. Кстати, это стихотворение повторял в старости Толстой, но хотел изменить «строк печальных» на «строк постыдных». Нет, «печальных» лучше. Если бы речь шла не о Толстом, хотелось бы повторить то, что Анненский писал в «Аполлоне» по поводу критиков, которые высмеивали строку «Дыша духами и туманами» в блоковской «Незнакомке»:

— Нельзя, нельзя без «туманами», педанты несчастные!

Нельзя без «печальных».

216.

Есть два типа писателей, и то же слово — «писатель» — объединяет людей, имеющих между собой до крайности мало общего.

Один кончает книгу и, отдохнув недельки две или больше, думает: о чем бы написать еще? Может быть, о скрытых причинах войны 1914 года? Или биографию общественного деятеля, когда-то видного и влиятельного, а теперь полузабытого? Материалы можно было бы подобрать любопытнейшие. Или роман с использованием недавно нашумевшей любовной истории, трагически оборвавшейся? Это, может быть, и не плохой писатель, опытный, умелый, но, прежде всего, это — «работник пера», обслуживающий известную аудиторию. Такими поневоле стали почти все советские литераторы с их поездками на целину или «ото-

бражением» последних партийных сдвигов. У них отнято право на замысел, основной, скрытый за фабулой. Основной замысел дан заранее, пересмотру не подлежит, он — неотъемлемая собственность людей, сидящих в Кремле. Но надо сказать правду: «работников пера», свободных, однако не чувствующих потребности спуститься к истокам бытия, тоже занятых лишь обслуживанием своей аудитории, таких «работников пера» очень много и на Западе.

Другой писатель берет перо в руки для того, чтобы что-то себе самому объяснить, что-то по мере сил сказать и передать другим, до чего-то договориться. И так всю жизнь, до последней строки.

Решать, кто из этих писателей даровитее, кто нужнее, — дело спорное. То один, то другой: мнения, вероятно, разделятся. Бесспорно только то, что ничего между ними общего нет, кроме внешних признаков: перо, бумага, печать.

217.

По поводу «Алеши-горшка», маленького посмертного рассказа Льва Толстого.

Бывало в гимназии: решаешь задачу, с логарифмами и прочим, бьешься, путаешься, сомневаешься, и вот, наконец, в заключение остается два числа, скажем, плюс 347 и минус 347. Результат, значит, ноль. Тогда знаешь, что решил задачу правильно: случаен ноль быть не может. Если бы в конце было 347 с одной стороны, а с другой 1826, уверенности не было бы. Но раз ноль, неверным решение быть не может.

В «Алеше-горшке» будто такой ноль в конце. Все решено верно. Все просто. А с Достоевским еще бьешься над логарифмами, не зная, к чему придешь, и сомневаясь, не вкралась ли в задание ошибка.

218.

Легенда о Фаусте основана на ложной предпосылке.

Конечно, «старость не радость», и старик рад был бы избавиться от разного рода немощей, связанных с возрастом. Старику хотелось бы снова быть здоровым, сильным, каким был он лет в сорок или даже в пятьдесят... Но все начать сначала, всю жизнь, со всей ее суетой и невзгодами? Приняться опять, со вступительных строк читать книгу, «исполненную тревог, обманов, горя и зла», — как сказано в «Анне Карениной», — опять быть двадцатилетним мальчишкой, со всеми мальчишескими иллюзиями, со всем тем, во что рано или поздно эти иллюзии превращаются? Нет, за это продать душу дьяволу согласятся лишь немногие.

Разве что дьяволу удастся перед заключением сделки помутить старику разум. Есть инстинкт конца, инстинкт ненужности, недопустимости повторения всего того, чему исполнился срок.

219.

«Новь» — вместе с «Отцами и детьми» — едва ли не лучший роман Тургенева. А успеха «Новь» имела мало, и до сих пор она причисляется к тургеневским неудачам. Зато сладковатое «Дворянское

гнездо», — «un roman facile», по меткому определению Андре Моруа, — читалось в «пароксизмах наслаждения», как было сказано вскоре после его появления, и длились эти пароксизмы в течение десятилетий.

Объяснение, вероятно, выходит за пределы чисто литературные. Объяснение в том, что социально-политическая окраска «Нови» пришлась поклонникам поэтического таланта Тургенева не по душе. Поклонники эти были в большинстве своем физиологически консервативны. Именно физиологически. Их оттолкнула попытка опоэтизировать народничество. Поэзия для них была одно, либеральные идеи, пусть и допустимые, — нечто совсем другое. Тургенев должен был, по их мнению, навевать сны золотые, в этом было его дело и призвание, а вовсе не в том, чтобы тревожить умы не совсем ясными социальными картинами и предвидениями.

Когда-то, довольно давно, я обедал с одним своим знакомым, состоятельным человеком, в дорогом парижском ресторане. Знакомый мой был социалистом, не то эс-эром, не то меньшевиком эс-деком. Тщательно и с большим знанием дела выбирая блюда и, вероятно, уловив мой несколько удивленный взгляд, он с улыбкой сказал:

— Знаете, я человек левых взглядов, совсем левых... но котлетки я люблю правые.

220.

Капитализм и социализм.

При всем том, что, казалось бы, должно расположить в пользу социализма, «последней мечты

оставленного Богом человека», за капитализмом остается преимущество, остается довод в оправдание его: он — не выдумка, он возник сам собой, непроизвольно, неизвестно когда и как, он отвечает бесконечному разнообразию природы, «цветению» ее, тому, что так остро чувствовал, чем мог еще так беззаботно-эстетически любоваться Конст. Леонтьев. Природа, однако, почти повсеместно уживается с джунглями, и надо бы, вопреки Леонтьеву (впрочем, к концу жизни сдавшемуся), ценой каких угодно эстетических утрат, добиться того, чтобы человеческое общество перестало быть на джунгли похоже, оставив в нем все-таки вольность, право дышать как хочется, жить и думать как хочется.

Социализм — именно выдумка, за ним теория, марксистская или другая, за ним долгие споры, пуды книг. Против его основного побуждения, — необходимости установления социальной справедливости, — возразить нечего. Опасность, однако, в том, что теория, дорвавшись до практики, становится слепа и глуха к насилию, к превращению человека в статистическую «классовую» единицу[1]. «Бесчеловечное владычество выдумки», точно и правильно сказано в романе Пастернака. Удастся ли когда-нибудь выдумку очеловечить, на деле, а не в теории,

[1] В хаотической, крайне односторонней и спорной по части анализа нашей истории, но все же удивительной книге Вас. Гроссмана «Все течет» есть слова, которых полстолетия ждала — и, наконец, дождалась! — советская литература: «Ленин и Сталин: кулаки не люди. Неправда это! Люди они! Все — люди!»

вопрос с каждым годом все менее ясный, несмотря на социалистов антиленинского толка, в этой возможности непоколебимо уверенных.

А несчастье социализма, — может быть, показательное, может быть, даже благотворное, для отрезвления умов и душ даже необходимое, — несчастье в том, что первый исторический экзамен ему устроен был в России. Провал оказался таков, что трем-четырем поколениям, в разных странах, придется держать переэкзаменовку, притом с неизвестным исходом. Как в старом, вероятно, всем известном московском анекдоте: «Если люди ученые это придумали, сначала на собаках бы попробовали!». Вот именно. И Россия за провал ответственна. Дух истории как будто умышленно решил: «А, вы мечтаете о социализме? Отлично, вот я продемонстрирую вам, что это такое, во что это неизбежно превращается!»

221.

Страничка из повести, очень давно прочитанной, но запомнившейся мне своей острой проницательностью и картинностью. Автор, если не ошибаюсь, — Яков Рыкачев, замечательный писатель, на которого у нас даже присяжные обозреватели не обратили должного внимания. Имя его в московской печати больше не встречается. Не знаю, жив ли он и какова его судьба.

Восстанавливаю по памяти.

Демонстрация в Москве, Первое мая или другой праздник. Стройные ряды рабочих на Красной площади. Вместе с рабочими идет старик профессорского, слегка вячеславо-ивановского типа. Седые

пряди, развевающиеся по ветру, широкополая шляпа, пенсне на черном шнурке. Да, он все это предвидел. Это то, о чем он мечтал, чему он учил. Братство, счастье. Сейчас они его не поймут, но не все ли равно? Поймут сыновья, внуки. Восторженный взгляд в сторону трибуны с сановниками. Да, он, может быть, смешон, он знает, что смешон, товарищи. Но это то, чего он всю жизнь ждал. Идти трудно. Как это у вас называется: кажется, в ногу? Он не привык идти в ногу. Он провел жизнь над книгами. Для вас, для вас. Пенсне упало, он споткнулся. Простите, дорогие товарищи, когда-нибудь вы поймете. Мы идем к свободе, к полноте счастья. Помните, что писал Гегель? Правда, Ницше опровергал, но я рассматриваю это как симбиоз. В своих трудах я утверждаю... да, вы, вероятно, не читали моих трудов. Счастье, дорогие друзья, светлые, сияющие горизонты!

А на трибуне Сталин. Вроде кошки, которая, полузакрыв глаза, притворившись сонной, но дрожа от сладострастного удовольствия, присматривает за лежащей в сторонке мышью. И чуть та дернется... хлоп!

Сталина, впрочем, в рассказе нет, не могло быть. Но он был бы там уместен.

222.

Читая газеты, большей частью попусту тратишь время. Но случается, что и в газете прочтешь несколько строк, заставляющих длительнее и как-то существеннее, полезнее задуматься, чем иные, даже содержательные, книги.

«Мы часто говорим о страдании, строим красивые фразы. Я сам грешил этим. Скажите нашим священникам, чтобы в проповедях они не говорили о страдании. Они не знают, что это такое».

Кардинал Вейо, парижский архиепископ, умиравший от рака.

223.

Если бы надо было ответить на вопрос: что в музыке перерастает поэзию? Конечно, ответ, выбор — «субъективен», значит, для многих неубедителен.

Моцарт, струнный квинтет с кларнетом, почти все для скрипки, отдельные части «Дон-Жуана» и последних симфоний. Моцарт не всегда на этом уровне, но когда до него возвышается, он недосягаем. «Ты, Моцарт, бог», — говорит у Пушкина Сальери (на что Моцарт с обворожительной пушкинской непринужденностью отвечает: «Но божество мое проголодалось»). Затем Шуберт, и, пожалуй, прежде всего средняя, будто вставная часть в квинтете с двумя виолончелями. Где-то я прочел, что Артур Рубинштейн хотел бы, чтобы это ему играли, когда он будет умирать, — и он прав: унести «туда» лучшее, что он слышал здесь. Многое у Шопена, который был истинным сыном Моцарта, хотя иногда и соблазнявшимся листовскими блестящими, слишком блестящими ювелирными ухищрениями. У Вагнера: дудочка пастуха над смертельно раненным Тристаном, возвращение памяти и смерть Зигфрида, предсмертные, блаженные его воспоминания, которые так хорошо, лежа на спине, пел-шептал, пел-задыхался Ершов. «Брунгильда... ждет меня... там».

И Бах, конечно. Не могу, не имею сил любить Бетховена, в особенности все самое позднее, после окончательной глухоты, «Большую фугу», последние квартеты, хотя и чувствую, что это, вероятно, самая «взрослая» музыка, которая когда-либо была написана.

Отчего русские поэты почти ничего не улавливают в музыке? И как жаль, что это так. Блок любил цыганщину и порой, даже в зрелости, срывался в соответствующий жанр, как в довольно плоском (а если тут же вспомнить Пушкина или Тютчева, то даже ужасающем) «Я послал тебе черную розу в бокале». Гумилев говорил: «Нет, отчего же, хороший военный марш я люблю». Гиппиус, Ахматова, из более молодых Одоевцева — полная глухота, впрочем, у Гиппиус тщательно скрываемая, в довольно для нее привычной, довольно досадной манере: «А вот и не догадаетесь!». Анненский сказал о Шестой симфонии Чайковского, что это «музыкальная победа над мукой». Едва ли, едва ли. Скорей «музыкальная сдача муке».

Французам, с их сравнительно суховатой поэзией, в этом отношении повезло. Малларме, Верлен и другие. У Катюль-Мендеса есть взволнованный рассказ о том, как в юности он видел Бодлера, уже больного, бледного, в концерте, где играли вступление к «Лоэнгрину»: его лицо, его глаза. Знаменитое письмо Вагнеру, не обратившему, впрочем, на него большого внимания («от какого-то поэта»), было, вероятно, уже отослано.

«Только благодаря поэзии и сквозь поэзию, только благодаря музыке и сквозь музыку душа улав-

ливает великолепия, находящиеся за гробом» — «entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau». Шарль Бодлер.

Даже если никаких «великолепий» за гробом нет и не будет, даже если за гробом нет ничего, есть все-таки великолепие до гроба: в неистребимости надежды, в сознании своей обреченности и в стремлении к своему освобождению, в том, что человек мог это почувствовать и сказать. Я прочел эти строки во французском оригинале, не называя имени автора, одному из рьяных приверженцев новейшей, структурно-формалистической критики. Он снисходительно улыбнулся: «Болтовня, водичка!»

224.

В критике, впрочем не только новой, а и в прежней, удивительно то, что за бесчисленными статьями и исследованиями, даже самыми проницательными, никогда, ни в одной не заметно недоумения: зачем, собственно говоря, статья написана? Существует «Война и мир», существует «Евгений Онегин», «Мадам Бовари», «Давид Копперфильд». Зачем нужно их разъяснять, разлагая по частям, будто труп под ножом студента-медика? Неужели Толстому, Диккенсу и другим требуются объяснения и комментарии? Не прав ли был Толстой, помнится, сказавший, — не помню только, где и кому, — что «критика, это когда глупые пишут об умных»? Неужели читатель сам, без подталкивания, не способен войти в еще незнакомый ему мир, осмотреться, вжиться, понять?

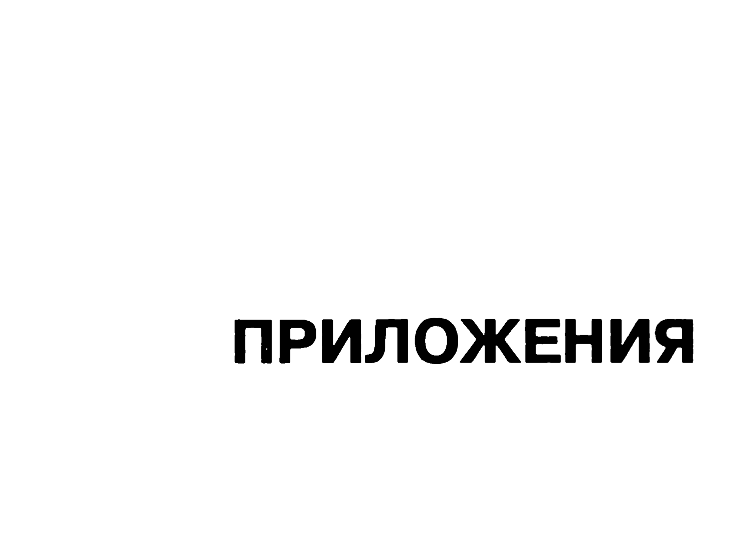
«Романы Достоевского полифоничны», «Такая-то повесть сделана так-то». Прекрасно, а что дальше? «Полифоничны», «сделана» так-то, но чем это меня обогащает, чем это может быть для меня интересно, — разве что для удовлетворения простого любопытства? Критика, в сущности, оправдана лишь тогда, когда пишущему удается сквозь чужой вымысел сказать что-то свое, т. е. когда по природному своему складу он вспыхивает, касаясь чужого огня, а затем горит и светится сам. Таков был, например, Сент-Бев, столь несправедливо теперь отвергаемый, Сент-Бев, читать которого всегда интересно, всегда «питательно», несмотря на некоторые грубые его оплошности в оценках. Не знаю, кого назвать у нас. Правду сказать, почти некого. У Белинского много исторических заслуг, но читать его и не интересно, и не питательно.

Теперь в прежней критике отрицается самый метод ее, основанный на внимании к личности, судьбе, эпохе и даже окружению писателя. Теперь царят формы, структуры, «слово как таковое», даже математические выкладки и все прочее, приводящее к мнимозначительным утверждениям и открытиям вроде того, как «сделана» такая-то повесть. Произведение оторвано от личности автора. Кто́ за повестью, что́ за ней, какие сомнения, надежды, горести, радости — об этом будто бы нет причины говорить. Болтовня, водичка! Любопытно было бы, однако, узнать, что скажут о новых критических властителях дум наши внуки, наши правнуки лет через пятьдесят? Если будет двадцать первый век, — в чем к концу жизни все настойчи-

вее сомневался Алданов, не в смысле существования планеты, конечно, а в смысле одичания и опустошения мира, — если все-таки будет двадцать первый век, едва ли не с большей язвительностью высмеет он теперешних преуспевающих «литературоведов», чем они своих предшественников. Что некоторые новые исследователи даровиты, остроумны, наделены лингвистическим чутьем, спору нет. Что реакция против критики импрессионистической, довольно-таки несносного айхенвальдовского типа, была неизбежна и благотворна, еще очевиднее. Но удручает нарочитое очерствение, обеднение, самодовольное вторжение пустоты, и если кто-нибудь мне возразит, что вы, милостивый государь, просто-напросто брюзжите, и главным образом брюзжите потому, что вам пора из мира уходить, «смываться», прав он будет только в ничтожной доле.

К чему, зачем литературная критика, огромная часть ее, и прежней, и тем более новой, той, которая теперь процветает и поощряется с высоты университетских кафедр? Повторяю этот свой вопрос, вполне допуская возможность убедительного ответа, раз критика существует сотни лет. Но лично ответа не вижу. Повторяю вопрос лишь в порядке «еретических мыслей», как в подобных случаях выражался Маклаков, без запальчивости и, надеюсь, мне поверят, без самоуверенности. Но нет слова более мертвого, мертвящего, нежели «литературовед», и когда поневоле употребляешь его, трудно обойтись без кавычек. (Очень хорошо у Беллы Ахмадулиной в стихотворном рассказе о приглаше-

нии на обед, где кавычки заменены насмешливой интонацией: дверь ей отворила «жена литературоведа, сама литературовед».) Труды, академические успехи, лекции, выписки, картотеки, подсчеты, сколько раз употреблено слово «зеленый», а сколько раз «красный», выводы из такого сопоставления, анализ стиля, нет, лучше не стиля, а «семантики» — и полная... удерживаюсь, однако, чтобы не вырвалось из-под пера словечко, которое бедной жене «литературоведа» показалось бы незаслуженно обидным.



ПРИЛОЖЕНИЯ

КОММЕНТАРИИ К «КОММЕНТАРИЯМ»

«Комментарии» — вершина эссеистической прозы Адамовича и одна из лучших русских книг этого жанра, написанных в XX веке. Адамович писал ее всю жизнь, то и дело возвращаясь к собственным рассуждениям, стремясь высказаться наиболее полно и точно, переделывая, переписывая, повторяясь и противореча себе, по многу раз на разном материале подходя все к одним и тем же, главным для него мыслям. Эта небольшая книжка — результат полувековой работы, и подступы к основному тексту зачастую не менее интересны, чем окончательный вариант.

По свидетельству Ю. Терапиано, «до войны 1939 года "Комментарии" определяли тон "Монпарнаса"», т. е. младшего поколения зарубежной литературы, — не только парижан, но и других центров нашего рассеяния в других странах.

Можно сказать без преувеличения, что ряд поэтов и писателей младшего поколения думал по Адамовичу, проверяя свои мысли и свое мироощущение по "Комментариям".

Так называемая "парижская нота", течение, возникшее в конце 20-х годов в Париже и сказавшее, несмотря на свою оторванность от России, "новое слово", в значительной мере была инспирирована Адамовичем»[1].

Схожие мнения высказывались также Г. Федотовым, Г. Струве, Ю. Иваском, И. Чинновым и многими другими литераторами и мыслителями эмиграции.

Лишь Н. Оцуп смотрел на ситуацию несколько иными глазами, видя в причине следствие. 14 ноября 1955 года он писал Глебу Струве, прочитав только что вышедшую книгу «Русская литература в изгнании»: «Неожиданно для себя я узнал от Вас, что вдохновителем и чуть ли не идейным

[1] *Терапиано Ю.* «Комментарии» // Русская мысль. 1978. 18 мая. № 3204. С. 10.

руководителем “Чисел” был Адамович. Было же как раз обратное: прижатый самодержавной волей Милюкова в “Посл<едних> нов<остях>” Ад<амович> только у меня в “Числах” распелся (“Комментарии” — лучшее, что им написано), т. к. я давал абсолютную свободу достойным ее сотрудникам. По этой же причине процвел в “Числах” Поплавский и многие другие. В истории литературы присутствие литератора, знающего, куда звать (пример Шарля Пеги), значит не меньше, чем внушенные или навеянные им чужие статьи, а иногда и чужие attitudes»[1].

Так или иначе, факт остается фактом. «Комментарии» Адамовича появились именно в «Числах», и с идеологией журнала, мировоззрением ближайших сотрудников и «парижской нотой» вообще они связаны самым непосредственным образом. «Комментарии» это мировоззрение одновременно выразили и во многом определили.

Это только при ближайшем рассмотрении упомянутый факт не кажется таким уж безусловным. И впрямь, поискав, обнаруживаешь, что название «Комментарии» у Адамовича в 1930 году, когда вышел первый номер «Чисел», — совсем не новость. Первая порция «Комментариев» появилась семью годами раньше, в четвертом, берлинском, номере альманаха Цеха поэтов. И позже «Комментарии» печатались отнюдь не только в «Числах», но и в «Круге», в «Современных записках», в «Новоселье», в «Опытах», в «Новом журнале». Да и «Комментариями»-то они назывались не всегда, а носили разные заголовки: «Из записных книжек», «Оправдание черновиков», «Послесловие».

И тем не менее в литературной истории эмиграции «Комментарии» Адамовича устойчиво ассоциируются с «Числами». Все дело, вероятно, в том, что молодым поэтам круга «Чисел» нужна была своя идеология, свое мировоззрение, поскольку все к тому времени существующие их не устраивали. Во всяком случае свою инаковость они чувствовали, хотя и вряд ли сумели бы объяснить, в чем

[1] Gleb Struve Papers. Hoover Institution Archives, Stanford University, Palo Alto, USA.

она заключается. В «Комментариях» и содержалось такое объяснение. Адамович к подобному образу мыслей пришел несколько раньше, шел он в своей критической прозе и к жанру «Комментариев», вероятно, в конце концов опубликовал бы нечто похожее и помимо «Чисел». Но «Числа» этот процесс кристаллизовали. Адамович, которому было что сказать, обрел в «Числах» не только свободную трибуну, чтобы высказаться, но и благодарную аудиторию, которая принимала сказанное как откровение.

Выгода была обоюдной. По словам В. Яновского, «Адамович был, разумеется, необходим для "Чисел". Поток возмущения и ревностных доносов, хлынувший в ответ на первые номера журнала, требовал заслона. Рецензии Адамовича в "Последних новостях", его участие в открытых вечерах "Чисел" и, главное, "Комментарии" в самом журнале отражали удары. В сущности, эти его статьи после прозы Поплавского и, может быть, Шаршуна самое оригинальное в "Числах"»[1].

Адамович же именно после первых порций «Комментариев» в «Числах» превратился в глазах эмигрантской элиты из бойкого газетного критика в нечто большее, уже серьезное. Свидетельств тому рассеяно по эмигрантской периодике предостаточно. «Комментарии» заставили обратить внимание на них самих и на новый журнал даже тех литераторов и мыслителей эмиграции, кто был далек от проблем и интересов молодой литературы.

М. Цетлин, говоря об Адамовиче, в первую очередь отмечал «его влияние на молодых поэтов, так как оно в значительной степени их сформировало, окрасив собою "Числа" и другие органы парижской литературной молодежи <...> Понятно, было бы преувеличением все типично "парижские" настроения свести к "дурному влиянию". Адамович только ответил уже существующим настроениям»[2].

[1] *Яновский В.* Поля Елисейские. Нью-Йорк, 1983. С. 256–257.

[2] *Цетлин М.* О современной эмигрантской поэзии // Современные записки. 1935. № 58. С. 454.

А. Бем, не соглашаясь с Адамовичем по большинству пунктов, признавался: «Есть область, где Г. Адамовича приходится брать всерьез, где он говорит свое и только свое. Но об этом пишет он изредка и не на страницах газеты. Его статьи в "Числах" показывают любопытный уклон его критической мысли, который может вызывать возмущение, но с которым надо посчитаться»[1].

Даже Ходасевич, в первые годы своей парижской жизни относившийся к Адамовичу и его литературной деятельности весьма скептически[2], вынужден был на этот раз отдать должное. Разбирая все десять номеров «Чисел» в своей очередной статье, он заявил, что в них «всерьез приходится считаться только с "Комментариями"»[3]. О том же свидетельствует и Ю. Терапиано:

«В. Ходасевич, который в ряде вопросов — например, в отношении к Толстому и Достоевскому — был несогласен с Георгием Адамовичем и не раз старался "поддеть" его на чем-нибудь, все же признавал значительность "Комментариев".

"Им недаром, — как-то подъязвил он, — так поклоняются у вас на Монпарнасе"»[4].

«Поток возмущения», о котором говорит В. Яновский, действительно, был, да его и не могло не быть. «Числа» изначально задумывались как издание элитарное, снобистское, не без претензий на новое слово в литературе. Правда, в чем эта новизна, объяснить толком затруднились бы и сами участники движения. Но сборники велись так, что новое литературное движение подразумевалось само собой. Немудрено, что и критика первым делом попыталась истол-

---

[1] *Бем А.* Письма о литературе: О критике и критиках (Статья вторая) // Руль. 1931. 6 мая. № 3173. С. 2–3.

[2] См. например, его отзыв в письме М. Карповичу от 3 июня 1925 // Oxford Slavonic Papers. 1986. Vol. XIX. P. 141.

[3] *Ходасевич В.* О задачах молодой литературы // Возрождение. 1935. 19 декабря.

[4] *Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека: 1924–1974. Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 164.

ковать и определить, в чем суть и смысл нового литературного движения и, по крайней мере, в чем его отличие. До конца убедительно это, впрочем, ни у кого не получилось.

В «Числах» усматривали и новый «Аполлон», и русских парнасцев. Г. Федотова настораживала их «воля к смерти» и «отрицание культуры»[1].

А. Бем выделял «одну черту, пожалуй, объединяющую, назовем условно, поэтов "Чисел". Это отнюдь не простота, а нечто совершенно иное. Так сразу этого и не объяснишь. Объединяет их, пожалуй, то, что они хотят своей поэзией больше "сказаться", чем "сказать". Поэзия для них не активный процесс преобразования мира через собственное его постижение, а только "отдушина" для личных переживаний»[2].

Язвительнейший Набоков в своем остроумном рассказе «Уста к устам» просто вывел лидеров «Чисел» мелкими жуликами[3].

Полемика с «Числами» началась в эмигрантской периодике сразу же после выхода первого номера, и одним из объектов наиболее страстных споров стали, конечно же, «Комментарии». То или иное положение «Комментариев» с жаром оспаривалось литераторами самых разнообразных групп и возрастов: от старших до младших. Значительность «Комментариев» как таковых вообще сомнению не подвергалась.

Еще больше было полемики неявной, скрытой. Вот только один пример, из книги Мережковского «Иисус Неизвестный»: «А мир-то все-таки идет не туда, куда звал его Христос, и как знать, не останется ли Он в ужасном одиночестве? — говорил мне намедни умный и тонкий

---

[1] *Федотов Г.* О смерти, культуре и «Числах» // Числа. 1930/1931. № 4. 143–148.

[2] *Бем А.* Соблазн простоты // Меч. 1934. 22 июля. № 11–12. С. 14–16.

[3] Подробный анализ этого рассказа в связи с «Числами» см. в диссертации С. Давыдова «"Тексты-матрешки" Владимира Набокова». Мюнхен, 1982. С. 10–51.

человек, до мозга костей отравленный чувством Конца, но, кажется, сам того еще не знающий, хотя постоянно уже думающий о Христе, или только кружащийся около Него и обжигающийся, как ночной мотылек о пламя свечи; говорил, как будто немного стыдясь чего-то, — может быть, смутно чувствуя, что говорит просто пошлость. Строго, впрочем, судить его за это нельзя: многие сейчас думают так, — можно даже сказать почти все люди мира сего»[1]. Умный и тонкий человек — несомненно, Адамович, и «Комментарии» полны подобных сомнений.

Элементы скрытой полемики можно обнаружить в самых неожиданных местах. Так, роман И. Лукаша «Бедная любовь Мусоргского», кроме всего прочего, содержит завуалированную полемику с идеями «парижской ноты» и, в частности, «Комментариев» и может быть прочтен и расшифрован и в таком ракурсе. «В романе Ю. Фельзена вы прямо найдете отрывки из "Комментариев" Г. Адамовича», — возмущался А. Бем[2].

Примеры можно было бы множить и множить. В каком-то смысле примером была бы вся эмигрантская литература тридцатых, и не только литература.

О чем же вообще «Комментарии»? На этот вопрос двумя фразами ответить невозможно. Слишком уж широк круг тем, затронутых в них: Запад и Россия, Россия и эмиграция, религия и литература, Толстой и Достоевский, Сартр и Камю, Тейяр де Шарден и Чаадаев, Монтень и Паскаль. Темы перетекают из одного фрагмента в другой, предстают в ином ракурсе, получая при этом дополнительную многозначность, сомнения остаются. Концы с концами не сходятся, вопросов всегда больше, чем ответов, и единой формулировки нет. Впрочем, если бы «Комментарии» можно было свести к единой формуле, их, может быть, и не стоило бы писать.

---

[1] *Мережковский Д. С.* Иисус Неизвестный. Белград, 1932. Т. 1. С. 11.

[2] *Бем А.* Письма о литературе: Столичный провинциализм // Меч. 1936. 19 января. № 3.

По определению Н. Андреева, «тематика статей, заключенных в том, значительно шире только эмигрантики и воспринимается, как “кредо” этого взыскательного, иногда парадоксального и, странным образом, не слишком конструктивного, но влиятельного критика; тем не менее подлинным его “местом битвы” являются “сердца” эмигрантских литераторов, “мэтром” части которых и оказался этот прекрасный поэт, превратившийся — с половины пятидесятых годов — в главного литературного “законодателя” эмиграции»[1].

В «Комментариях» Адамович нашел форму, позволяющую ему говорить о самом главном, отталкиваясь от любого факта, явления или мысли, а не обязательно от только что вышедшей книги, — форму фрагмента (отрывка, куска, наброска, главки — назвать можно как угодно, сам Адамович в предисловии употребил слово «заметка», но «фрагмент», кажется, все же точнее). Небольшой объем фрагмента — от двух-трех абзацев до двух-трех страниц — позволял Адамовичу изложить мысль, пока она не «остыла», и оборвать изложение в том месте, где противоречия, ее породившие, еще не уравновесились и не заставили отложить перо. Еще одно преимущество малого объема — его большая суггестивность, читатель воспринимает текст целиком и особенно ярко и полно переживает его.

В большинстве фрагментов «Комментариев» уже ничего нельзя выбросить, это чистая мысль о «самом важном» в данный момент, отталкивающаяся от какого-либо объекта размышления, чаще всего литературного, и взмывающая вверх, причем анализ объекта, обдумывание остается за пределами фрагмента, предшествует ему, а читателю выдается уже эссенция, выжимка, сгусток мысли, оформленный таким образом, что в изяществе стиля сняты или хотя бы примирены уже противоречия этого объекта.

[1] *Андреев Ник.* Об особенностях и основных этапах развития русской литературы за рубежом (Опыт постановки темы) // Русская литература в эмиграции: Сборник статей под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 32–33.

Единственная роскошь — роскошь цитат. «Комментарии» буквально пестрят цитатами, причем не анализируемых авторов, как обычно принято в критике, а строчками всей мировой поэзии и, реже, прозы. Адамович охотно пользуется ими для выражения собственных мыслей, исходя из принципа, что лучше все равно не скажешь, а еще чаще использует их как ассоциативный материал, молниеносно, в нескольких фразах набрасывая целый коллаж из знаменитых строк, гигантски увеличивая этим и так немалую полисемантику своей речи.

Постоянное стремление к внутреннему единству не позволило «Комментариям» окончательно превратиться в россыпь афоризмов. Афоризм, даже если он парадоксален, чаще все-таки остается однобоким, порожденным скорее логикой или изяществом фразы, чем стремлением отразить истину. Но самое главное, Адамович понимал, что афоризм — это не вся мысль, а только идея мысли или ее результат, статичный, остановившийся в своем развитии и потому объясняющий менее, чем мог бы. Адамович же стремился к «моментальной фотографии мысли»[1], т. е. мысли, захваченной врасплох, при самом своем рождении или в движении, в развитии, когда виден материал, из которого она рождается, видны концы и начала, когда связывается воедино этот материал и цель, куда она устремлена, но которой не достигает и достичь не может. Но в результате вспышки, вызванной этим соединением полюсов, хотя бы на секунду становится видно направление.

А. Бахрах вспоминал об Адамовиче: «Он писал — это почти была одна из его навязчивых идей — о черновиках, искренне считая, что именно черновики ценнее отшлифованных для печати версий, что только в них обнаруживается подлинное лицо автора»[2].

Главный недостаток газетно-журнальной критики и эссеистики П. Бицилли видел в заведомой заданности, ско-

---

[1] *Андреев Ник.* Об особенностях и основных этапах развития русской литературы за рубежом. С. 116.

[2] *Бахрах А.* Памяти Адамовича (К 10-летию со дня смерти) // Русская мысль. 1982. 28 февраля.

ванности темой, объемом и временем: «Сама форма, в которой публицист вынужден отливать мысли, способствует тому, чтобы через время его статьи, собранные и изданные вместе, были неудобными для чтения: публицист имеет перед глазами массу и массового читателя, которого надо оживить, на которого он должен воздействовать не столько убеждениями, сколько своеобразным внушением. Кроме того, публицист ограничен и местом, которое обычно уделяется одной "нормальной газетной" или журнальной статье. Он вынужден развивать мысли наспех. Оба эти условия ведут к неизбежным повторениям наряду с недосказанными мыслями»[1]. Но для Адамовича это оказалось благом. Именно вынужденная «ограниченность места», удивительным образом совпавшая с его коротким дыханием, породила новый жанр. Ну а насколько неудобны для чтения собранные и изданные вместе фрагменты «Комментариев», — судить читателю.

Впрочем, сам Адамович, собирая «Комментарии» в отдельное издание, многое в них изменил. В книге явственно ощущается неслучайность в расположении отдельных фрагментов. Необходимость нарушить «хронологический порядок заметок» ощущал и сам автор, оговорив в предисловии, что это казалось ему «нужным для внутренней цельности книги»[2]. Действительно, темы каждого фрагмента не остаются в его рамках, а перетекают в соседние, распространяясь таким образом на всю книгу и придавая друг другу и книге в целом дополнительную многозначность и выразительность. Кроме того, с годами Адамович на многие вещи стал смотреть по-иному, и кое-какие акценты в своих размышлениях предпочел изменить.

Пересказать «Комментарии» нельзя, и объяснить, в чем их прелесть, — весьма непросто. Но на вопрос, чем так привлекали они молодых писателей эмиграции, на этот вопрос ответить, пожалуй, можно.

В них, кроме всего прочего, содержались размышления о том, каким образом может существовать творчество

[1] *Бицилли П. М.* Избранное. Т. 1. София, 1993. С. 9.
[2] *Адамович Г.* Комментарии. Вашингтон, 1967. С. 3.

в изменившемся мире. Творчество в старом значении этого слова — не ремесло, не мастерство даже, не просто умение писать правильные стихи и прозу, но создавать произведения, которые бы значили для современников и самих авторов столько же, сколько классические строки литераторов золотого века, иными словами, создавать нечто им равное, не по форме и не по стилю, конечно, а по значению.

О том, как надо писать, в «Комментариях» ничего или почти ничего сказано не было. Гораздо больше в них говорилось о том, как писать не надо. И тем не менее при желании из них можно было извлечь вполне определенное, хотя и не сформулированное четко мировоззрение. И мировоззрение это оказалось наиболее актуальным и литературной молодежью наиболее востребованным из всего спектра эмигрантских настроений, идеологий и веяний.

В отличие от большинства других писательских установок: на мастерство (но во имя чего?), на читателя (но его не было), на общественный или политический резонанс (одна мысль об этом для молодых русских парижан была смешна), — в отличие от всего этого, образ мыслей, навеваемый «Комментариями», придавал единственно возможный в эмиграции смысл литературной деятельности и уже этим отличался от всех остальных.

Этот образ мыслей позволял вновь воспринимать литературу как Литературу — не игру, не ремесло, но нечто большее, иначе не стоило и огород городить.

И главная тема «Комментариев» — почему к ним так и тянулась молодежь, — не как надо и как не надо писать, а как жить и писать, и стоит ли вообще это делать, если это никому не нужно, да и нет полной уверенности, что нужно самому себе. Одно из немногих твердых убеждений вечно во всем сомневающегося Адамовича — сто́ит, вопреки всему, в том числе и очевидной ненужности. Сто́ит, если относиться к слову всерьез и быть до конца искренним с самим собой. Как у них на Монпарнасе принято было выражаться: «Кто поверит тебе, если ты не веришь себе сам?» Даже в этом случае, конечно, и даже при большой удаче в результате останется от силы несколько строк. Все прочее — литература. Но эти несколько строк перевесят все остальное.

По глубокому убеждению Адамовича, поэзия играет свою незаменимую роль в духовной жизни человека, занимает свое место, заполняя какую-то пустоту, которую ничто другое заполнить неспособно, — ни размышления, ни медитация, ни молитва. Поэзия была для него свидетельством об ином, более совершенном мире или, по крайней мере, надеждой на его существование. И верно найденные несколько слов пребудут вечно. И вечно будут свидетельством для других.

Таким образом, ставшие ненужными и бессмысленными занятия литературой, а вместе с ними и вся жизнь, вновь обретают смысл.

Все это Адамович и пытался объяснить самому себе и своим молодым парижским современникам, в чем отчасти и преуспел. По крайней мере, серьезность, «негромкость» и недоверие к высокопарным словам молодая литература эмиграции усвоила крепко. Это затронуло не только поэтов «парижской ноты», но и литераторов других группировок. Ю. Терапиано, человек «Перекрестка», писал в статье «Человек 30-х годов»: «“Не знаю”, “не умею”, “не могу об этом говорить” воспринимаются сейчас с большим вниманием, чем те концепции о Смерти, Боге и судьбах человека, где так много эрудиции и так мало искренности»[1].

Именно эта особенность «Комментариев» покорила, а отчасти и породила, по словам В. Яновского, «нашу новую литературу, обязанную всем Адамовичу!»[2].

В этом мнении В. Яновский был не одинок, на нем сходились многие из современников. Ю. Иваск в письме В. Маркову от 24 августа 1956 года, говоря об Адамовиче, был убежден, что «какая она там ни есть, он родил литературу эмигрантскую 30-х годов»[3].

По мнению В. Яновского, влияние Адамовича было даже гораздо шире: «...без него не было бы парижской школы русской литературы. Я говорю “школы литературы”, хотя

[1] *Терапиано Ю.* Человек 30-х годов // Числа. 1933. № 7/8. С. 211.

[2] *Яновский В.* Поля Елисейские. Нью-Йорк, 1983. С. 52.

[3] Собрание Ж. Шерона, Лос-Анджелес.

сам Георгий Викторович брал на себя ответственность (и то неохотно) только за "парижскую ноту" в поэзии. Это недоразумение. Его влияние, конечно, перерастало границы лирики. Новая проза, публицистика, философия, теология — все носило на себе следы благословенной "парижской ноты"»[1].

Это объясняет и причину того, что в знаменитой полемике с Ходасевичем многие из современников признавали победу Адамовича: Ходасевич, как и Набоков, стремился остаться в рамках литературы, для Адамовича эти рамки были тесны. Большинство молодежи склонно было согласиться с Б. Поплавским, отозвавшимся о литературной проповеди Ходасевича: «Верно, но не интересно». Ходасевич, имевший свои, не менее убедительные и куда более логичные взгляды на творчество, не сумел заставить молодых парижан разделять их до конца.

И в этом смысле Яновский, Иваск и другие правы, что «Адамович создал». Он убедил свое поколение и заставил его поверить в себя.

Разумеется, Адамович не был единственным властителем дум эмигрантской молодежи. Было влияние французских писателей, от Рембо до Пруста включительно, о чем часто упоминают, говоря об эмигрантской литературе, хотя до сих пор никто не взялся определить, в чем именно это влияние выразилось.

Большой популярностью пользовался, например, Бергсон. Увлечение им началось еще до революции в Петербурге, где он был весьма моден в акмеистских кругах[2]. Из ближайших сотрудников «Чисел» по крайней мере трое: Оцуп, Варшавский и Адамович, знакомство с идеями Бергсона считали для себя событием.

Еще более важно для духовной родословной русского Монпарнаса увлечение гностицизмом, преимущественно маркионитского толка. Это верно не только по отно-

[1] *Яновский В. С.* Ушел Адамович // НРС. 1972. 26 марта.

[2] См. об этом в работе: *Rusinko Elaine.* Acmeism, Post-symbolism and Henri Bergson // Slavic Review. 1982. Vol. 41. № 3. P. 494–510.

шению к Поплавскому, о чем нередко пишут, но и к Адамовичу, и ко всей «парижской ноте», как, впрочем, и к недолюбливавшему «ноту» Набокову[1].

Эта тема требует отдельного исследования, но во всяком случае, в сакраментальном восклицании Мережковского, патетически обратившегося с кафедры к собранию: «Так с кем же вы, со Христом или с Адамовичем?» — несмотря на юмористический оттенок, был и свой резон.

Для русской литературы увлечение гностицизмом — не новость. Весь серебряный век по своим творческим установкам насквозь гностичен в куда большей мере, чем православен, хоть его и принято считать эпохой «религиозного возрождения». А Адамович во всех смыслах — дитя серебряного века.

Но и Бергсон, и Маркион, и французские классики — для эмигрантской молодежи все это было влиянием извне, Адамович же был рядом.

И если по поводу его многочисленных критических статей могут быть, да и были, самые разные мнения, по поводу «Комментариев» даже наиболее резкие из оппонентов Адамовича высказывались куда определеннее. О собственных статьях случалось высказываться нелестно и самому Адамовичу, и его ближайшим друзьям и соратникам. Как-то в письме А. Гингеру 28 октября 1955 года Адамович стыдливо признался: «Я думаю, что имел тлетворное влияние на некоторых парижских юношей лет 40 и больше. Не сочтите это за самомнение: "имел влияние". Кажется, что-то имел, но то, что во мне было чем-то вроде "суеты сует" и безразличьем ко всему — т. е. слабостью — они приняли за общий стиль для всех, и вышло глупо. Это, собственно говоря, отчасти объясняет "Парижскую ноту"»[2].

[1] Наиболее подробно об этом в главе «Гностическая исповедь в романе «Приглашение на казнь» диссертации Сергея Давыдова «"Тексты-матрешки" Владимира Набокова». Мюнхен, 1982. С. 100–182.

[2] Письма Георгия Адамовича / Публ. и примеч. В. Крейда // Новый журнал. 1994. № 194. С. 276.

Но «Комментарии» он писал всерьез, для себя, и в них «безразличья» не было. Иным было и отношение к ним, и вполне закономерно, что именно стихи и «Комментарии» Адамовича стали его литературным завещанием, когда он подводил итоги в 1967 году, незадолго до смерти.

Две последние части «Оправдания черновиков» появились в печати уже после выхода книги. По свидетельству А. Бахраха, Адамович «не раз говорил, что не перестает делать отрывочные записи, которые должны были составить второй том лучшей в его литературном наследстве книги "Комментарии"»[1]. Увидеть этот второй том ему было не суждено.

Позже В. Вейдле писал, подводя итоги целой эпохи: «И о прозе, в заключение, скажу, что неповествовательная (то есть без вымысла обходящаяся) ее отрасль, столь долго находившаяся у нас в загоне, именно за рубежом дала новые ростки (в "Комментариях" Адамовича, например, а также у Ходасевича, Муратова)»[2]. Также и по мнению Ю. Иваска, «самое интересное, что дала эмигрантская литература, — это ее творческие комментарии к старой русской литературе»[3]. Редко соглашавшийся с Иваском Г. Струве пришел, по сути, к тому же выводу: «Едва ли не самым ценным вкладом зарубежных писателей в общую сокровищницу русской литературы должны будут быть признаны разные формы не-художественной литературы — критика, эссеистика, философская проза, высокая публицистика и мемуарная литература»[4]. «Комментарии» Адамовича занимают в этом ряду одно из самых почетных мест.

О. А. Коростелев

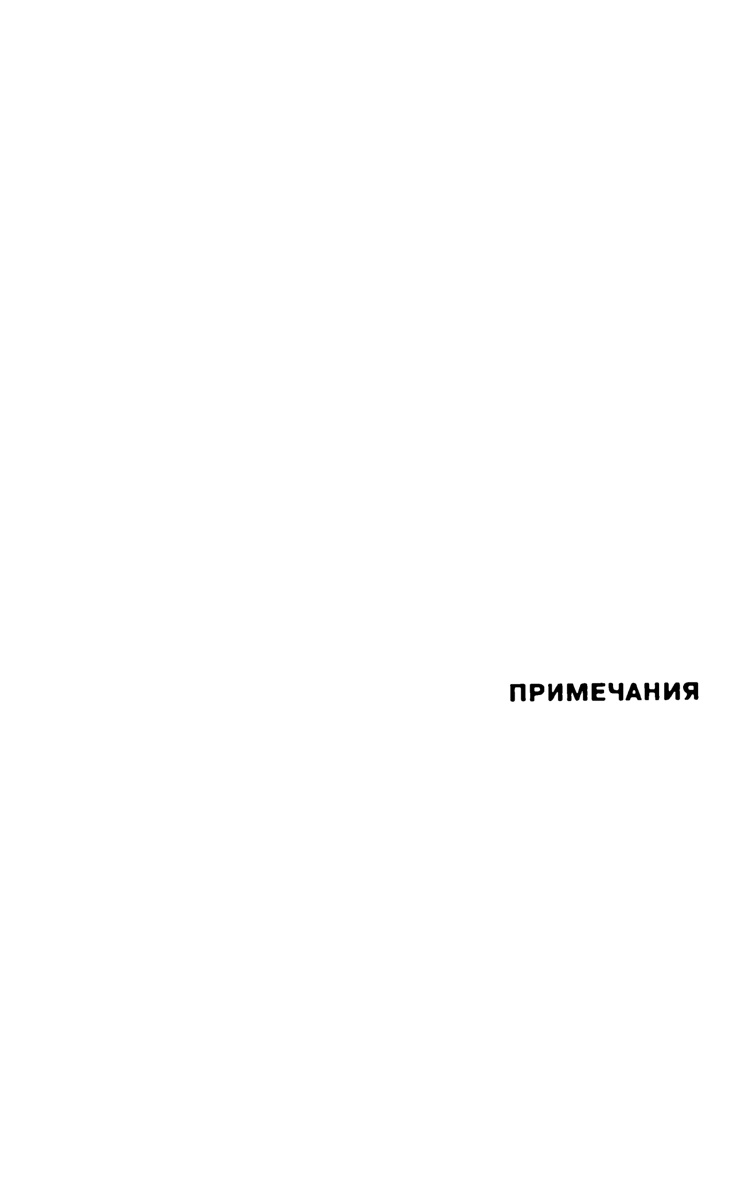
---

[1] *Бахрах А.* Памяти Адамовича (К 10-летию со дня смерти) // Русская мысль. 1982. 28 февраля.

[2] *Вейдле В.* Традиционное и новое в русской литературе двадцатого века // Русская литература в эмиграции: Сборник статей / Под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 12.

[3] *Иваск Ю.* Письма о литературе // Новое русское слово. 1954. 21 марта. № 15303. С. 8.

[4] *Струве Г. П.* Русская литература в изгнании. Paris: YMCA-Press, 1984. С. 371.



ПРИМЕЧАНИЯ

Книга «Комментарии» была подготовлена в издательстве В. Камкина (Вашингтон, 1967) и отпечатана в Германии в количестве 2000 экземпляров. Предшествовала этому долгая история ее создания.

На протяжении всей своей эмигрантской жизни — с 1923 по 1971 год — Адамович публиковал в разных журналах и альманахах («Цех поэтов», «Числа», «Современные записки», «Круг», «Новоселье», «Опыты», «Новый журнал») статьи необычного жанра, состоящие из отдельных фрагментов, сюжетно между собой не связанных, но объединенных, по его собственному высказыванию, «родством тем». Они выходили под разными названиями — «Комментарии», «Из записных книжек», «Оправдание черновиков», «Table talk», — но стилистически были едины. В книгу Адамович отобрал 83 фрагмента (всего он их опубликовал 224) и присовокупил к ним три близкие по духу и построенные по единому стилистическому принципу статьи.

По свидетельству Юрия Терапиано, «до войны "Комментарии" <...> в значительной мере определяли тон "Монпарнаса", то есть всего послереволюционного поколения, начавшего писать и печататься уже за границей <...> очень и очень многие молодые поэты и писатели зарубежья "думали по Адамовичу", воспитывались на нем, проверяли свое мироощущение по "Комментариям"» (*Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 163).

Но и после войны «Комментарии» продолжали обращать на себя внимание. В 1966 году Ю. Терапиано писал: «То, что "Комментарии" Георгия Адамовича до сих пор не

собраны в отдельную книгу <...> не только “досадно”, но просто возмутительно. Жизнь целого литературного поколения за полтора десятка лет, т. е. звено в общей цепи нашей поэтической традиции, выпало. Помимо отдельных дарований важно ведь содержание, т. е. как раз вся “музыка души”, которая с такой силой и с таким предельно искренним порывом выявилась в двадцатые и тридцатые годы, важен “человек тридцатых годов”, о котором так убедительно говорил Георгий Адамович» (РМ. 1966. 21 мая. № 2467. С. 6).

Почти каждая очередная порция «Комментариев» в журнале вызывала бурную полемику в эмигрантской периодике (среди участников полемики И. Лукаш, Г. Раевский, В. Ходасевич, А. Бем, Г. Федотов, Ю. Иваск, В. Марков), но после выхода книги рецензий на нее появилось немного, отчасти потому, что их уже некому было писать, отчасти же, как верно заметил Ю. Терапиано в своей рецензии на «Комментарии», потому, что очевидна была «несовместимость их с обыкновенным отзывом», ибо «они находятся в том плане, где такие оценки не нужны и неуместны» (РМ. 1967. 23 ноября. № 2662. С. 4).

Тем не менее отклики появились. Николай Ульянов охарактеризовал «Комментарии» «как одну из самых интересных книг последнего времени, как настоящую золотую кладовую литературных открытий и наблюдений, где рассыпаны блестящие мысли и образцы тонкого вкуса. Прошедший мимо нее рискует остаться провинциалом в вопросах литературы» (НЖ. 1967. № 89. С. 78).

Восторженно отозвался о книге Юрий Иваск: «“Комментарии” Георгия Адамовича так же трудно и даже невозможно пересказать своими словами, как лирические стихи. Сколько острых мыслей, верных наблюдений, но все неуловимо: всюду оттенки, намеки, и как будто нет никаких выводов, итогов <...> Книга прекрасно написана. Есть в ней зыбкость, как в лирике или музыке, но, вместе с тем, сколько в “Комментариях” рассыпано отточенных определений, которые Вяземский находил у Боратынского и называл их “аттическими”» (*Иваск Ю.* Эпоха Блока и Мандельштама // Мосты. 1968. № 13–14. С. 228–235).

Похожим был и отзыв Кирилла Померанцева: «На счету каждая строка, каждое слово <...> итог передуманного и перечувствованного за тридцать невероятных лет. “Это попросту грандиозно!” — сказал один советский поэт <...> все сконцентрировано и связано, не от чего оттолкнуться так, чтобы самому не попасть в водоворот собственных мыслей, вопросов, восхищений, протестов <...> Вся книга словно на лезвии ножа: Бог есть и Бога нет, свобода есть и свободы нет, верить можно и верить нельзя. Что перевесит, что переубедит? В том-то и дело, что все переубеждает, но не все перевешивает. Потому что последней инстанцией, последним арбитром остается не разум, а сердце. Сердце же переубедить нельзя» (*Померанцев К.* Мысли о нашем времени: Антикомментарии // РМ. 1968. 1 августа. № 2697. С. 4).

В иностранной печати появился отзыв Роджера Хэглунда (Russian Review. 1969. Vol. 28. № 3. P. 360). Предпринимались попытки перевода «Комментариев» на английский (Уильям Тьялсма). В. П. Камкин позже признал, что книга Адамовича осталась его лучшим издательским проектом (*Пальмова И.* След на земле: Страницы жизни Виктора Камкина. М.: Международная книга, 1995. С. 340).

В настоящем издании воспроизводится текст вашингтонского издания, сопровождаемый примечаниями фактологического характера, а в дополнениях приводятся все 224 фрагмента (в том числе и первые редакции фрагментов, вошедших в книгу) в порядке их появления в печати. В примечаниях к дополнениям указывается место первой публикации, приводятся полемические отклики в эмигрантской печати и дается реальный комментарий к фрагментам, не вошедшим в книгу, а также к реалиям, снятым в книжной редакции. Для удобства пользования текстами к изданию приложен библиографический указатель, раскрывающий соотношение первопубликаций отдельных фрагментов с книжной редакцией.

Тексты приводятся по современной орфографии, заведомые опечатки исправлены без оговорок, но сохранены индивидуальные особенности автора, его пунктуация,

характерные написания имен и многочисленные неточности цитирования. Примечания Адамовича к собственным текстам даны в подстраничных сносках, примечания составителя вынесены в конец книги.

Нумерация фрагментов принадлежит составителю. Римскими цифрами пронумерован канонический текст вашингтонского издания 1967 года, арабскими — все 224 фрагмента в порядке их появления на свет.

Список условных сокращений

В — Возрождение. Париж, 1925, 3 июня — 1940, 7 июня. № 1-4239.

ВП — Воздушные пути. Нью-Йорк, 1960-1967. № 1-5.

З — Звено. Париж, 1923-1928. (5 февраля 1923 — 19 июня 1927. № 1-229; 1 июля — 1 декабря 1927. № 1-6; 1 января — 1 июня 1928. № 1-6).

НЖ — Новый журнал. Нью-Йорк, 1942-.

НРС — Новое русское слово. Нью-Йорк, 1910-.

О — Опыты. Нью-Йорк, 1953-1958. № 1-9.

ПН — Последние новости. Париж, 1920, 27 апреля — 1940, 11 июня. № 1-7015.

РЗ — Русские записки. Париж; Шанхай, 1937-1939. № 1-20/21.

РМ — Русская мысль. Париж, 1947-.

РН — Русские новости. Париж, 1945-1970. № 1-1288.

СЗ — Современные записки. Париж, 1920-1940. № 1-70.

ЦП-4 — Цех поэтов. Альманах. № 4. Берлин, 1923.

Ч — Числа. Сборники. Париж, 1930-1934. № 1-10.

КОММЕНТАРИИ

I. — Ч. 1930. № 1. С. 136-137.

...после евразийства, после русского шпенглерианства... — Адамович имеет в виду популярные в эмиграции т. н. «пореволюционные течения» социально-общественной мысли. Русское шпенглерианство базировалось на философии истории Освальда Шпенглера (1880–1936), автора знаменитого «Заката Европы» (1918–1922), труда о гибели очередной, на этот раз европейской, цивилизации, на смену которой идет рождающаяся в муках цивилизация «русско-сибирская». Параллельно складывалось движение евразийцев, которые видели особое предназначение России уже в географическом положении ее между Востоком и Западом.

«Дорогие там лежат могилы» — неточно цитируются слова Ивана Карамазова из третьей главы 5 книги «Братьев Карамазовых» (1879–1880).

II. — Ч. 1930. № 1. С. 139.

«не поймет и не заметит» — из стихотворения Тютчева «Эти бедные селенья» (1855).

III. — Ч. 1930. № 1. С. 141.

«зачем ты меня оставил?» — слова Иисуса на кресте (Мф. 27, 46; Мк. 15, 34).

«последний ключ» — из стихотворения Пушкина «Три ключа» (1827).

IV. — Ч. 1930. № 1. С. 141–143.

...Не талант его иссякал, вопреки предположению Белинского... — Белинский неоднократно писал о «закате таланта» Пушкина («Стихотворения Александра Пушкина», 1835), о том, что Пушкин «кончился» («Литературные мечтания», 1834), «уже свершил круг своей художественной деятельности» («О русской повести и повестях г. Гоголя», 1835).

«непоправимо-белая страница» — из стихотворения Ахматовой «Вечерние часы перед столом...» (1913).

Рембо Артюр (1854–1891) — французский поэт, один из первых символистов. Бросил писать в девятнадцать лет.

V. — Ч. 1930. № 2/3. С. 169–170.

«Россия и славянство» — еженедельная газета, выходившая в Париже с 1928 по 1934 год под редакцией К. И. Зайцева, при ближайшем участии П. Б. Струве, «орган национально-освободительной борьбы и славянской взаимности». «День русской культуры» в эмиграции отмечался в первой половине июня, будучи приурочен к 6 июня, дню рождения Пушкина. Адамович имеет в виду 81-й номер «России и славянства» (1930. 14 июня), в котором были опубликованы бальмонтовский перевод «Слова о полку Игореве» (20–24 декабря 1929, 24 апреля 1930) и статья П. Б. Струве «Суворов». В передовой статье «Культура и борьба» Струве писал, что «борьба с нечестивым злом коммунистического владычества <...> должна быть одинаково напоена и ясной духовной свободой Пушкина, и душевным напряжением и страстью Достоевского, и упорной волей Суворова».

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — граф, русский государственный деятель, с 1808 г. ближайший советник императора Александра I, инициатор создания Государственного Совета (1810).

...«день русской культуры» с речью профессора Кульмана и хористками в кокошниках... — Адамович имеет в виду торжественное собрание, устроенное 14 июня 1930 г. Русской академической группой, Русским академическим союзом и Народным университетом (16, rue de la Sorbonne), на котором произнесли речи на тему «Санкт-Петербург» председатель Комитета по организации «Дня русской культуры во Франции» В. А. Маклаков и профессор Николай Карлович Кульман (1871–1940), выступали: Е. Н. Рощина-Инсарова, Н. П. Асланов, Л. Я. Липковская, Л. А. Гаршина, В. И. Браминов (отчеты см.: ПН. 1930. 16 июня; В. 1930. 16 июня; Россия и славянство. 1930. 21 июня).

VI. — Ч. 1930. № 2/3. С. 171–172.

VII. — Ч. 1930. № 2/3. С. 174–176.

Есть древняя легенда... — Адамович пересказывает гностический миф, популярный на русском Монпарнасе. Об увлечении гностицизмом, преимущественно маркио-

нитского толка, Адамович писал подробнее в статье «О христианстве, демократии, культуре, Маркионе и о прочем» (НРС. 1956. 25 марта).

«Могий вместити...» — Мф. 19, 12.

«Вперед без страха и сомнения» — неточно цитируется заглавная строка стихотворения А. Н. Плещеева.

VIII. — Ч. 1930. № 2/3. С. 176.

IX. — Новоселье. 1947. № 33–34. С. 103.

«средь всякой пошлости и прозы» — неточно цитируется стихотворение Некрасова «Внимая ужасам войны» (1855).

Вагнер Рихард (1813–1883) — немецкий композитор, дирижер, музыкальный писатель. Реформатор оперного искусства. Для молодого Адамовича, как и для многих людей серебряного века творчество Вагнера стало одним из главных откровений, оставивших след на всю жизнь.

«весь горизонт в огне» — из стихотворения Блока «Предчувствую тебя. Года проходят мимо...» (1901).

...пусть и старый фальшивомонетчик... может быть, Ницше и прав... — в четвертой части книги «Так говорил Заратустра» (1883–1885) Ницше писал, имея в виду Вагнера: «Перестань, комедиант, фальшивомонетчик! Закоренелый лжец! Я узнаю тебя!» (*Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 183).

«в ночь идет»... «плачет, уходя» — из стихотворения Фета «А. Л. Бржеской» (1879).

Иван Коневской (наст. имя Иван Иванович Ореус; 1877–1901) — русский поэт, близкий к старшим символистам, чрезвычайно высоко ценимый Брюсовым. Утонул, успев выпустить единственную книгу стихов «Мечты и думы» (1900).

...когда-нибудь, где-нибудь... — автоцитата из стихотворения «Там, где-нибудь, когда-нибудь...» (1927).

X. — Новоселье. 1947. № 33–34. С. 106.

XI. — Ч. 1933. № 7/8. С. 154–157.

...после папы Иоанна и Второго Ватиканского собора... — Иоанн XXIII (1881–1963), римский папа с 1958 г., стремился модернизировать католическую церковь в связи с изменившимися в мире условиями. Созвал Второй Ватиканский собор в 1962 г.

«Осанна сыну Давидову» — Мф. 21, 9.

«Мы свой, мы новый мир построим» — неточная цитата из русского перевода «Интернационала» (1871) Эжена Потье (1816–1887).

«Блаженны нищие» — Мф. 5, 3; Лк. 6, 20.

...рассказ о блудном сыне... — Лк. 11–15, 32.

«Отошел с печалью» — Мф. 19, 22.

«Кто не возненавидит отца своего... не может быть моим учеником» — Лк. 14, 26.

...предсмертный стон на кресте: «Боже мой, Боже мой...» — Мф. 27, 46; Мк. 15, 34.

«нельзя в это время... спать» — в переводе Первова: «неестественно употреблять свою жизнь не на то, чтобы приготовиться к будущей жизни» (*Паскаль Блез.* Мысли / Пер. П. Д. Первова. СПб., 1888. С. 36).

«О, свет вечерний» — литургический текст из Всенощного Бдения («Свете Тихий»).

«Если двое соберутся во имя Мое» — Мф. 18, 20.

«Где и один человек, Я с ним» — Мережковский цитирует найденное в Ливии апокрифическое евангелие, опубликованное немецким ученым Гейнеке. См.: *Мережковский Д. С.* Иисус Неизвестный. Белград, 1932. Т. 1. С. 108.

XII. — Ч. 1933. № 7/8. С. 157–158.

Рейнак — неясно, которого из трех братьев Рейнаков имеет в виду Адамович, скорее всего Соломона Рейнака (1858–1932), французского историка.

Луази Альфред (1857–1940) — французский теолог, священник (1879), профессор католического института в Париже (1881–1893). В 1908 г. отлучен от церкви за вольнодумные книги и со следующего года до 1931 г. занимал кафедру истории религий Collège de France.

«Вот зовет Илию» — Мк. 15, 35; Мф. 27, 47.

Тригорин — персонаж чеховской «Чайки» (1896), литератор.

XIII. — Ч. 1933. № 7/8. С. 158–159.

...всяческих римских Муциев Фабрициусов... — Адамович контаминирует Муция Кая, впоследствии прозванного Сцеволой, который сжег свою руку перед этрусским царем Порсеной и тем спас Рим, и Кая Фабриция Люру-

ку, римского полководца, отличавшегося вошедшей в поговорку неподкупной честностью, воздержанностью и умеренностью.

Цельсий (чаще: Цельс) — философ-эклектик, живший во втором веке нашей эры, автор сочинений, направленных против христианства.

«Воздадите кесарево...» — Мф. 22, 21; Мк. 12, 17; Лк. 20, 25.

XIV. — Ч. 1933. № 7/8. С. 159.

XV. — Ч. 1933. № 7/8. С. 159–161.

«Онегин, я тогда моложе» — монолог Татьяны из восьмой главы (1829–1830) «Евгения Онегина».

XVI. — Ч. 1933. № 7/8. С. 161–162.

«Новое время» — одна из крупнейших русских газет. Выходила в Петербурге с 1868 по 1917 г. (с 1869 г. — ежедн.). Первоначально — либеральная, с переходом к А. С. Суворину (1876) — консервативная, с 1905 г. — орган черносотенцев.

XVII. — Ч. 1933. № 7/8. С. 162–163.

XVIII. — Ч. 1933. № 7/8. С. 163–164.

XIX. — Ч. 1933. № 7/8. С. 164–165.

«Аполлон» — петербургский литературно-художественный журнал, выходивший в 1909–1917 гг. под редакцией С. К. Маковского. Богато иллюстрировался, был тесно связан с новейшими литературными течениями — символизмом, позднее акмеизмом.

«Русское богатство» — литературный, научный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1876–1918 гг. С 1892 г. — центр легального народничества, литературную политику журнала определяли Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко. После 1905 г. — орган «народных социалистов» (А. В. Пешехонов, Н. Ф. Анненский).

XX. — Новоселье. 1949. № 39–41. С. 148.

XXI. — Новоселье. 1949. № 39–41. С. 149.

XXII. — Новоселье. 1947. № 33–34. С. 102.

XXIII. — Новоселье. 1946. № 29–30. С. 78.

В 1938 году Н. Д. Татищев опубликовал часть дневниковых записей Поплавского отдельной книгой (*Поплавский Б.* Из дневников: 1928–1935. Париж: Т-во объеди-

ненных издателей, 1938). Адамович опубликовал отрывки из дневника Поплавского в «Последних новостях» и оценил его довольно высоко (ПН. 1938. 29 декабря. № 6485. С. 3). В эмиграции «Дневник» был встречен с большим интересом. Н. А. Бердяев счел, что «в нем было подлинное религиозное беспокойство и искание, была драма с Богом» (*Бердяев Н.* По поводу «Дневника» Б. Поплавского // Современные записки. 1939. № 68. С. 441–446). По свидетельству Адамовича, «вскоре после смерти поэта, на одном из парижских публичных собраний, Мережковский сказал, что если эмигрантская литература дала Поплавского, то этого одного с лихвой достаточно для ее оправдания на всяких будущих судах» (*Адамович Г.* Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 275). Собрание это, по всей вероятности, вечер памяти Поплавского, устроенный «Зеленой лампой» 9 ноября 1935 года. Вне всякого сомнения, Мережковский имел в виду прежде всего «роман с Богом» Поплавского, а не литературные достоинства его стихов. В свою книгу «Одиночество и свобода» Адамович включил несколько отрывков из дневника Поплавского, считая его «документом не столько литературным, сколько религиозным» (*Адамович Г.* Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 282). В последние годы появилось еще несколько публикаций неизданных дневниковых записей Поплавского, наиболее значительная в книге: *Поплавский Б.* Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма / Сост. и коммент. А. Богословского и Е. Менегальдо. М.: Христианское издательство, 1996. С. 91–238. По мнению публикатора А. Н. Богословского, противоречивость Адамовича, «вероятно, отражает ту двойственность, которая пронизывает дневник Поплавского: не зря Бердяев называл его человеком “двоящихся мыслей”». Адамовичу, как и многим другим, претит взвинченность, надрывность тона монпарнасского поэта (*Поплавский Б.* Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма / Сост. и коммент. А. Богословского и Е. Менегальдо. М.: Христианское издательство, 1996. С. 433).

Мориак Франсуа (1885–1970) — французский писатель-католик, лауреат Нобелевской премии (1952).

XXIV. — СЗ. 1935. № 58. С. 319–321.

...Париж... уютнее Петербурга... — Подробнее об этом Адамович писал в статье «Петербург и Париж» (ПН. 1939. 12 марта. № 6558. С. 4).

«глас вопиющего в пустыне» — Ис. 40, 3; Мф. 3, 3; Мк. 1, 3; Лк. 3, 4; Ин. 1, 23.

...история в «иловайском» значении слова... — Адамович имеет в виду широко распространенные с конца XIX в. учебники всеобщей и русской истории для разных возрастов, написанные Дмитрием Ивановичем Иловайским (1832–1920).

...роковая пустота, «в сердцах, восторженных когда-то» — из стихотворения Блока «Рожденные в года глухие...» (1914).

«Холод и мрак грядущих дней» — заключительная строка стихотворения Блока «Голос из хора» (1910–1914).

XXV. — СЗ. 1935. № 58. С. 321.

«без руля и без ветрил» — из лермонтовского «Демона» (1839).

XXVI. — СЗ. 1935. № 58. С. 322.

XXVII. — СЗ. 1935. № 58. С. 322–323.

«Оставь меня. Мне ложе стелет скука... красе?» — заключительная строфа стихотворения И. Анненского «О нет, не стан...» (1906).

XXVIII. — СЗ. 1935. № 58. С. 323-324.

...флоберовского «Юлиана» — имеется в виду «Легенда о святом Юлиане» (1875–1876) Гюстава Флобера (1821–1880).

Павлова Анна Павловна (1881–1931) — артистка балета. С 1899 г. в Мариинском театре, в 1909 г. участвовала в «Русских сезонах» (Париж), с 1910 г. гастролировала с собственной труппой по многим странам мира. Адамович считал ее непревзойденной балериной и много раз писал о ней (Павлова // З. 1928. № 6. С. 314–315; Анна Павлова // Ч. 1930. № 2/3. С. 288–289; Памяти Павловой // НРС. 1952. 4 марта; и др.).

XXIX. — СЗ. 1935. № 58. С. 324.

XXX. — СЗ. 1935. № 58. С. 325.

«Ум ищет божества, а сердце не находит» — из стихотворения Пушкина «Безверие» (1817).

Канцлер Мюллер — Фридрих фон Мюллер (1779–1849), канцлер с 1815 г., веймарский собеседник Гете (с 1808 г.).

«Это не может быть превзойдено» — 11 марта 1832 г. в беседе с Эккерманом Гете произнес: «Высот нравственной культуры христианства, озаряющей нас из евангелия, мы никогда не превзойдем! <...> И если меня спросят: соответствует ли моей натуре поклоняться солнцу? я также скажу: конечно. Ибо это тоже откровение высшего начала и притом самое мощное из всего того, что дано воспринимать нам, детям земли» (*Эккерман И. П.* Разговоры с Гете. М.; Л., 1934. С. 847–848).

XXXI. — О. 1956. № 6. С. 38–41.

«ватиканский далай-лама» — из стихотворения Тютчева «Ватиканская годовщина» (1871).

Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский филолог-востоковед, автор многочисленных трудов по истории религий, которые он пытался строить на научной основе, считая ключом к постижению истории филологию.

XXXII. — О. 1956. № 6. С. 40–47.

Айвазовский Иван Константинович (1817–1900) — русский живописец-маринист.

Минор Осип Соломонович (1861–1932) — журналист и общественный деятель, член Учредительного собрания, эсер, соредактор и сотрудник газеты «Воля России». В эмиграции был членом парижского Земгора и председателем Русского исторического архива во Франции. Отзыв Гиппиус о взглядах Минора на религию Адамович мог слышать, например, на собрании «Зеленой лампы» 18 февраля 1928 года, посвященном докладу Адамовича «Толстой и большевизм». В газетном отчете ее выступление было передано следующим образом: «Эмигрантское общество, по словам г-жи Гиппиус, пребывает по отношению к религиозным темам в полном “невежестве и даже безграмотности”». И дальше, в качестве примера, она приводит спор о «Днях», ведущийся Сухомлиным, Керенским, Скобцовой <...>

— Наконец пришел Минор, — говорит г-жа Гиппиус, — и тоже сказал свое слово. Может быть, неловко сказать, что написал Минор» (*Корин.* В «Зеленой лампе» // Дни. 1928. 20 февраля. № 1335. С. 3).

«Будьте как дети» — Мф. 18, 3.

...у Розанова... солнце — это и есть Бог... — См. главу «Последние времена» книги Розанова «Апокалипсис нашего времени» (Сергиев Посад, 1917. Вып. 2), а также фразу из 10-го выпуска: «Попробуйте распять Солнце, и вы увидите — который Бог» (Сергиев Посад, 1918).

quia absurdum — потому что абсурдно (*лат.*). Адамович цитирует часть выражения Credo quia absurdum (Верую, ибо абсурдно), принадлежавшего христианскому теологу и писателю Квинту Септимию Флоренсу Тертуллиану (ок. 160–после 220). См. его труд «О теле Христовом».

Символ Веры — краткое изложение христианских догматов, безусловное признание которых православная и католическая церкви предписывают каждому христианину. Был сформулирован Вселенским собором в 325 г., переработан между 362 и 374 гг.

«Чаю воскресения мертвых» — из последнего, одиннадцатого члена Символа Веры.

Федоров Николай Федорович (1828–1903) — русский религиозный мыслитель, представитель русского космизма. «Общим делом» человечества считал овладение природой и воскрешение предков.

XXXIII. — О. 1953. № 1. С. 93–94.

«прекраснейшем месте на земном шаре...» — неточная цитата из статьи Батюшкова «Прогулка по Москве» (1811–1812). См.: *Батюшков К. Н.* Сочинения. М., 1934. С. 299.

«Как сладостно отчизну ненавидеть» — заглавная строка стихотворения (1836?) Владимира Сергеевича Печерина (1807–1885), поэта, мыслителя, с 1836 г. живущего за пределами России. См. его «Замогильные записки» (Русское общество 30-х годов XIX в.: Мемуары современников. М., 1989. С. 161).

XXXIV. — О. 1953. № 1. С. 94–96.

...Розанова, признававшегося, что случается ему содрогаться при одном упоминании о русских... — У Розанова неоднократно встречаются подобные высказывания. См., например, в «Уединенном» (1912): «Вот и я кончаю тем, что все русское начинаю ненавидеть» (*Розанов В.* Уединенное. М., 1990. С. 65).

XXXV. — О. 1953. № 1. С. 96–98.

«Что есть истина?» — вопрос Пилата Христу (Ин. 18, 38).

...Андре Жид... на Достоевском споткнулся... — Творчество Андре Жида (1869–1951) с конца 1910-х гг. развивалось под сильным влиянием Достоевского, которому он посвятил цикл статей 1908–1922 гг., объединенных в книгу (1923). В Достоевском Андре Жид не разочаровался до самой смерти.

XXXVI. — О. 1953. № 1. С. 98-99.

«Тургенев переживет Достоевского» — из письма Л. Толстого Н. Н. Страхову, написанного после прочтения страховской биографии Достоевского (*Бирюков П. И.* Биография Л. Н. Толстого. М.; Пг., 1923. Т. 2. С. 215).

Бирюков Павел Иванович (1860–1931) — русский литератор и общественный деятель, пропагандист толстовства, автор первой подробной «Биографии Л. Н. Толстого» (выдержала несколько изданий: т. 1–2. М., 1906–1908; т. 1–4. М.; Пг., 1922–1923). С 1898 г. (с перерывами) жил за границей.

XXXVII. — О. 1953. № 1. С. 100–102.

Алэн — псевдоним французского литературного критика и философа Эмиля Огюста Шартье (1868–1951). На протяжении сорока лет был ведущим обозревателем парижского журнала «Nouvelle Revue Française» и оказал значительное воздействие на французскую литературу первой половины XX в., требуя чистоты стиля, трезвости и борясь с цветистыми фразами и штампами.

«Ces robustes pensées de l'age de fer» — прочные мысли железного века (*фр.*).

...в языке, еще не вполне сложившемся... — Вслед за Анненским, полагавшим, что «для стильности речи русскому сознанию недостает еще многого» (*Анненский И.* Книги отражений. Л., 1979. С. 489), Адамович считал, что русский язык, несмотря на то, что «велик и могуч», в отличие, например, от французского, «неповоротлив, не точен, не гибок и под внешней законченностью, внешней крепостью и стройностью обнаруживает рыхлость и прелость» (З. 1927. № 6. С. 312).

XXXVIII. — О. 1953. № 1. С. 102–104.

...незабываемую страницу Леонтьева об Александре Македонском... — имеется в виду неоднократно обсуждаемая Адамовичем и Г. Ивановым фраза Константина Леонтьева из статьи «Письма о восточных делах» (1883): «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что Эллины строили свои изящные акрополи, Римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы “индивидуально” и “коллективно” на развалинах всего этого прошлого величия?..» (*Леонтьев К.* Восток, Россия и славянство. М., 1885. С. 299).

«И от судеб защиты нет» — из пушкинских «Цыган» (1824).

XXXIX. — О. 1953. № 1. С. 104–106.

«Они нас ненавидят, и они нас боятся...» — возможно, имеется в виду выступление Мережковского на собрании «Зеленой лампы» 8 июня 1932 года, посвященном теме «Духовный кризис Европы (Леонардо да Винчи, Гете и мы)».

Маркиз де Кюстин — Астольф де Кюстин (1790–1857), французский путешественник и литератор, автор знаменитой книги «Россия в 1839 году» (1843).

«Без волнения смотреть невозможно» — перифраз строк стихотворения Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1840).

Нил Сорский (в миру Николай Майков; 1433–1508) — русский святой, пустынножитель, основатель монашеского скита на реке Соре, вблизи Кирилло-Белозерского монастыря. Автор «Монастырского», или «Скитского», устава.

Тэн Ипполит (1828–1893) — французский литературовед, философ, критик, родоначальник культурно-исторической школы.

Вогюэ Эжен Мельхиор де (1848–1910) — французский писатель и историк литературы, исключительно высоко оценивавший русский реализм.

XL. — ВП. 1963. № 3. С. 68–72.

«Последнее прибежище негодяя — патриотизм» — этот афоризм английского драматурга Бена Джонсона (1573–1637) Толстой включил в «Круг чтения» (9 декабря. № 4) вслед за собственным обращением к кружку молодежи «Любите друг друга» (*Толстой Л.* ПСС. М., 1957. Т. 42. С. 332).

«Плакать на реках вавилонских» — неточно цитируется Псалтирь, 136.

«Космополит — нуль, хуже нуля» — фраза Лежнева о Рудине (*Тургенев И. С.* ПСС. В 28 т. М.; Л, 1963. С. 349).

...статьи Шмелева о Прусте... — имеется в виду ответ Шмелева на анкету о Прусте, опубликованный в первом номере «Чисел», где Шмелев отказывал Прусту в новаторстве, утверждая, что задолго до него аналогичные новации были воплощены в творчестве Михаила Ниловича Альбова (1851–1911).

XLI. — ВП. 1963. № 3. С. 72–75.

«Трагический тенор эпохи» — заключительная строка стихотворения Ахматовой «И в памяти черной, пошарив, найдешь...» (1960) из посвященного Блоку цикла «Три стихотворения» (1944–1960).

«Сегодня я — гений» — запись Блока 29 января 1918 г., после завершения «Двенадцати» (*Блок А.* Полное собрание стихотворений: В 2 т. М., 1946. Т. 1. С. 677).

Бедекер — название путеводителей, издающихся до настоящего времени в Гамбурге и Штутгарте фирмой Бедекер (по имени ее основателя Карла Бедекера (1801–1859).

XLII. — ВП. 1963. № 3. С. 78-83.

XLIII. — НЖ. 1964. № 76. С. 115–116.

...посмертная книга Бунина о Чехове... — имеется в виду издание: *Бунин И. А.* О Чехове: Незаконченная рукопись. Предисл. М. А. Алданова; Вступ. ст. В. Н. Буниной. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955.

XLIV. — НЖ. 1964. № 76. С. 118–119.

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — философ, богослов, экономист, публицист. Выслан за границу в 1922 г. С 1925 г. — профессор богословия и декан Православного богословского института в Париже.

...Розанов назвал Христа «царем ужаса», дошел в удивительных своих примечаниях к рассказу Сикорского... и до худшего... — В свою книгу «Темный лик» (СПб., 1911) В. В. Розанов включил статью профессора психиатрии и нервных болезней Киевского университета св. Владимира Ивана Алексеевича Сикорского (1845–1919) «Эпидемические вольные смерти и смертоубийства в Терновских хуторах (близ Тирасполя). Психологические исследования» (опубликована во втором томе журнала «Вопросы нервно-психической медицины» (Киев, 1897), в том же году издана в Киеве отдельной брошюрой). Эту статью Розанов сопроводил обширными примечаниями, в которых доказывал, что стремление к добровольному уходу из жизни заложено в самой сути христианства, называл православие религией «ошибочной», «патологической», «отрицательной», пост — «началом самоуморения», монастырь — «коллективным саваном», а Христа — «ужасным», «безжалостным», «Богом ограничений и малости», имеющим «черное воображение, ненасытное человеческим страданием» (См. главу «Русские могилы» «Темного лика» в кн.: *Розанов В. В.* Религия и культура. М., 1990. Т. 1. С. 460–541). «Царем ужаса» Розанов назвал Христа в этих же примечаниях (С. 486).

«И да сияют эти образа вечно» — из предисловия В. В. Розанова к книге «Люди лунного света. Метафизика христианства» (СПб., 1913. С. XI).

XLV. — НЖ. 1964. № 76. С. 116–117.

...Несколько строк мученика-Паскаля в упрек жизнелюбцу Монтеню... — В переводе П. Д. Первова эти строки Паскаля о Монтене звучат так: «Нельзя извинить его совершенно языческих чувств по поводу смерти; ибо нужно отказаться от всякого благочестия, если не желать умереть по крайней мере по-христиански; а он во всей своей книге думает только о том, как бы свободнее и нежнее умереть» (*Паскаль Блез.* Мысли. СПб., 1888. С. 239).

Сент-Бев Шарль Огюстен (1804–1869) — французский критик и поэт-романтик, создатель биографического метода в литературоведении. В «Revue de deux Mondes» печатал этюды о французских писателях, составившие пятитомные «Литературно-критические портреты» (1836–1839). С 1849 г. на протяжении двух десятков лет писал для парижских журналов критические статьи, которые печатались по понедельникам и позже составили многотомную серию «Беседы по понедельникам» («Causeries du lundi»; 1851–1862) и ее продолжение «Новые понедельники» («Nouveaux lundis»; 1863–1870). Адамович считал себя учеником Сент-Бева. См. его письмо к И. В. Одоевцевой от 3 марта 1958 года: «Вы спрашиваете о Sainte-Beuve. Я чрезвычайно обожаю Sainte-Beuv'a, считаю себя его учеником и подражателем, хотя он иногда бывал туп и, например, в Бодлере не понял ничего» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955–1958) / Публ. О. А. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. 21. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1997. С. 471).

Мадам де Севинье (1626–1696) — маркиза, участница литературных салонов Парижа, превосходный стилист, довела до совершенства эпистолярный жанр.

Буало — Никола Буало-Депрео (1636–1711) — французский поэт и критик, теоретик классицизма.

XLVI. — НЖ. 1964. № 76. С. 117.

XLVII. — НЖ. 1964. № 76. С. 117–118.

«Усвоив все то, что есть в "Бесах", написать когда-нибудь "Войну и мир"» — Адамович цитирует статью Камю «Роже Мартен дю Гар» (1955). См.: *Камю Альбер.* Творчество и свобода. М., 1990. С. 149).

«недостает скромности» — В письме А. С. Суворину от 5 марта 1889 г. Чехов писал: «Купил в Вашем магазине Достоевского и теперь читаю. Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претензий» (*Чехов А. П.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 11. С. 339).

«Пойдем лучше чай пить» — В чеховской «Скучной истории» (1889) профессор на вопрос девушки, как ей теперь жить, отвечает: «По совести, Катя, не знаю... Давай, Катя, завтракать» (*Чехов А. П.* Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 6. С. 326).

XLVIII. — НЖ. 1964. № 76. С. 119–120.

Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин; 1760–1833) — иеромонах Саровской пустыни, один из наиболее почитаемых в русском православии святых (канонизирован в 1903 г.).

Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) — русский религиозный философ, историк русской философии. В эмиграции с 1919 г. В его двухтомной «Истории русской философии» (Париж, 1950) Лобачевский не рассматривался.

XLIX. — НЖ. 1964. № 76. С. 120–121.

«Будьте ж довольны жизнью своей...» — из стихотворения Блока «Голос из хора» (1910–1914).

«Младенческой печалью»... «как будто кованым стихом» — из стихотворения Брюсова «К портрету М. Ю. Лермонтова» (1900).

«По небу полуночи...» — из стихотворения Лермонтова «Ангел» (1831).

«Подожди немного...» — часть строки лермонтовского стихотворения «Из Гете (Горные вершины...)» (1840).

«Во-первых, потому что много...» — из стихотворения Лермонтова «Валерик (Я к вам пишу случайно, право...)» (1840).

L. — НЖ. 1964. № 76. С. 121–122.

Случайная цитата из Толстого... — О суде над солдатом Василием Шибуниным Толстой вспоминал в письме Бирюкову 24 мая 1908 г. (опубл. в кн.: *Бирюков П. И.* Л. Н. Толстой: Биография. М., 1913. Т. II. С. 94–104).

Карсавин Лев Платонович (1882–1952) — религиозный философ и историк. Выслан за границу в 1922 г. Жил в Берлине, а с 1926 г. — в Париже. Был близок к евразийцам. С 1938 по 1940 г. — профессор Каунасского университета. В конце 1947 г. арестован и сослан на северный Урал. Скончался в лагере.

LI. — НЖ. 1964. № 76. С. 122–123.

Тейяр де Шарден Пьер (1881–1955) — французский философ, ученый и католический теолог. Стремился обновить христианское вероучение в соответствии с современной наукой. Выделял три стадии эволюции: «преджизнь» (литосфера), «жизнь» (биосфера) и «феномен человека» (ноосфера). Появление человека считал не завершением эволюции, а ключом к предстоящему совершенствованию мира.

LII. — НЖ. 1964. № 76. С. 124–125.

LIII. — НЖ. 1965. № 81. С. 78–80.

«Острый галльский смысл» — из стихотворения Блока «Скифы» (1918).

Бовуар Симона де (1908–1986) — французская писательница экзистенциалистского толка, жена Сартра.

Оруэлл Джордж (наст. имя Эрик Блэр; 1903–1950) — английский писатель и публицист, автор романа-антиутопии «1984» (1949).

Хаксли Олдос (1894–1963) — английский писатель, автор сатирических антиутопий «О дивный новый мир» (1932), «Обезьяна и сущность» (1948).

Замятин Евгений Иванович (1884–1937) — русский писатель, автор романа-антиутопии «Мы» (1924).

LIV. — НЖ. 1965. № 81. С. 80–81.

LV. — НЖ. 1965. № 81. С. 81.

«Он весь — дитя добра и света...» — из стихотворения Блока «О, я хочу безумно жить...» (1914).

LVI. — НЖ. 1965. № 81. С. 81–82.

...бодро хлопнув себя по ляжкам... от Мережковского... — Бунин, прочитав об этом случае в книге «L'autre patrie» (Paris, 1947), возмущенно писал Адамовичу 16 ноября 1947 г.: «Как это Мережковский мог быть у Тургенева в присутствии Боборыкина? Когда? Где? Сколько

лет было тогда Мережковскому? Все это Мережковский соврал. Я помню, что читал где-то эту историйку, эту "Scene", но, кажется, могу ручаться, что Боборыкин сказал, что он пишет "много и хорошо", вовсе не Тургеневу, а кому-то другому и вовсе не в присутствии мальчишки Мережковского <...> Боборыкин был очень умный человек, — уверяю Вас <...> и очень любил шутить, пошутил, разумеется, и в данном случае, а Мережковский сдуру принял его слова за чистую монету» (Письма И. А. Бунина к Г. В. Адамовичу / Публ. проф. А. Звеерс // Новый журнал. 1973. № 110. С. 168–169).

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) — русский писатель, почетный академик Петербургской АН (1900). С начала 90-х гг. жил за границей. Ср. письмо Тургенева М. Е. Салтыкову от 31 октября 1882 г.: «То, что Вы мне пишете о Боборыкине, меня не удивляет. Я легко могу представить его на развалинах мира, строчащего роман, в котором будут воспроизведены самые последние "веяния" погибающей земли. Такой торопливой плодовитости нет другого примера в истории всех литератур! Посмотрите, он кончит тем, что будет воссоздавать жизненные факты за пять минут до их нарождения» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. Т. 13. Кн. 2. Л., 1968. С. 90).

LVII. — НЖ. 1965. № 81. С. 82–83.

«Я не воробей, чтобы всегда чирикать то же самое» — А. М. Горький в своих воспоминаниях «Лев Толстой» приводит такие слова Толстого вскоре после упоминания о зяблике, у которого «На всю жизнь одна песня»: «Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с "Крейцеровой сонатой", он распустил по всей бороде сияние улыбки и ответил: "Я не зяблик"» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1960. Т. 2. С. 422).

LVIII. — НЖ. 1965. № 81. С. 83–85.

«Величайшее создание Достоевского» — Адамович неточно цитирует строку из биографии Достоевского, написанной Константином Васильевичем Мочульским (1892–1948) и впервые изданной в Париже в 1947 г. (*Мочульский К.* Достоевский. Жизнь и творчество. Париж, 1980. С. 481).

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — русский государственный деятель, в 1880–1905 обер-прокурор Синода, имел исключительное влияние на Александра III.

«Евангелие и церковь» Альфреда Луази... О Луази см. примечание к фрагменту XII. Адамович не совсем точен. Луази был отлучен не за одну книгу «Евангелие и церковь» (1902). Кроме нее в Индекс попали еще четыре его работы, в частности, «Автор одной небольшой книжки» (1903).

Гарнак Адольф (1851–1930) — протестантский богослов, профессор Берлинского университета, признанный вождь и глава церковно-исторической науки в Европе. Свои основные воззрения на христианство сформулировал в 16 лекциях (1899–1900, изданы под заглавием «Сущность христианства» (Лейпциг, 1901), несколько раз переводились на русский язык в начале века).

Рассказ Анатоля Франса о состарившемся Понтии Пилате... — Имеется в виду рассказ Анатоля Франса «Прокуратор Иудеи».

LIX. — НЖ. 1965. № 81. С. 85–86.

«Тангейзер» (1845) — опера Вагнера.

«Прескучнейшая немецкая каналья» — из письма Достоевского жене от 7 (19) августа 1879 г. (*Достоевский Ф. М.* ПСС: В 30 т. Л., 1988. Т. 30. Кн. 1. С. 100).

LX. — НЖ. 1965. № 81. С. 86–87.

LXI. — НЖ. 1965. № 81. С. 87–88.

Карл Ясперс (1883–1969) — немецкий философ-экзистенциалист и психиатр. Его работа «Философская вера» впервые переведена на русский язык в 1990 г. Цитируется Адамовичем, вероятно, во французском переводе.

...интуиция, которую иные русские философы даже обосновали... — Имеется в виду работа Николая Онуфриевича Лосского (1870–1965) «Обоснование интуитивизма» (1906).

Степун Федор Августович (1884–1965) — философ, историк и социолог культуры, писатель. Выслан из России в 1922 г. С 1926 по 1937 г. профессор социологии в Дрездене. Соредактор журнала «Новый град» (с 1931 по 1939 г.). Встречался с Адамовичем на собраниях «Зеленой лампы», в «Круге» у Бунакова-Фондаминского и т. д.

LXII. — НЖ. 1965. № 81. С. 88–90.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — русский публицист, социолог и литературный критик, лидер народничества. Сотрудник «Отечественных записок», «Северного вестника», с 1894 г. редактор «Русского богатства».

«Пари» Паскаля — имеется в виду известный аргумент Паскаля в пользу веры. Паскаль предлагал, взвесив шансы «за» и «против», как в азартной игре, делать ставку на то, чего можно «меньше всего проиграть»: «Взвесим выигрыш и проигрыш в случае, что Бог есть... если вы выигрываете, то выигрываете все, если проигрываете, то не теряете ничего. Без колебаний держите пари за то, что Бог есть, поскольку, если вы поставите на то, что Бога нет, то ничего не выиграете в земной жизни, но проиграете загробную жизнь» (*Паскаль Блез*. Мысли / Пер. П. Д. Первова. СПб., 1888. С. 115–121. См. также: *Паскаль*. Мысли о религии / Пер. С. Долгова. М., 1892. С. 66–70).

LXIII. — НЖ. 1965. № 81. С. 91–93.

Один из молодых французских критиков... — Возможно, имеется в виду Клод Мориак (р. 1914), французский литературовед, писатель, сын Франсуа Мориака.

Боссюэ Жак Бенинь (1672–1704) — французский писатель-католик, богослов, епископ (с 1669 г.), воспитатель наследника престола. В «Рассуждении о всеобщей истории» дал обзор истории человечества в духе провиденциализма: Бог непосредственно управляет судьбами народов.

Фрейд Зигмунд (1856–1939) — австрийский невропатолог, психиатр, основоположник психоанализа.

Юнг Карл Густав (1875–1961) — швейцарский психолог и психиатр. В 1907–1912 гг. один из ближайших сотрудников Фрейда, впоследствии порвавший с учителем. Основатель одного из направлений глубинной психологии — «аналитической психологии».

...книга Поля Азара «Кризис европейского сознания 1680–1715»... — Поль Азар (1878–1944), французский историк литературы и культуры, крупнейший представи-

тель компаративизма. «La crise de la conscience europeenne». V. 1–3. (1935), один из наиболее значительных его трудов, на русский язык не переводился.

«Дитя страшных лет России» — измененная строка стихотворения Блока «Рожденные в года глухие...» (1914).

«Пора смириться, сэр» — из стихотворения Блока «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» (1912).

«Одарен каким-то вечным детством» — неточно цитируется стихотворение Ахматовой «Поэт (Борис Пастернак)» (1936).

LXIV. — НЖ. 1965. № 81. С. 93–94.

«И пусть у гробового входа» — из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

«Пушкин и музыка» Серапина... — С. Серапин (наст. имя: Сергей Александрович Пинус; 1875–1927), до революции преподаватель истории, сотрудник «Весов», в гражданскую — подпоручик Великого войска Донского, помощник редактора фронтовой казачьей газеты «Сполох» (Мелитополь), сотрудник газеты «Донские ведомости» (Новочеркасск), в эмиграции преподавал в софийской Русской гимназии, редактировал журнал «Казачьи думы» (София, 1922–1924), с 1925 г. сотрудничал в газете «Русь» (София). См. о нем некролог Ю. Айхенвальда «Борьба без оружия» (Руль. 1927. 31 марта. № 1926). Книга «Пушкин и музыка: Опыт выявления литературно-музыкальной проблемы» была опубликована софийским издательством «Юго-Восток» в 1926 г. и рецензировалась Адамовичем (*Адамович Г.* Литературные беседы // З. 1927. 15 мая. № 224. С. 1–2). Кроме Адамовича, ее высоко оценили Ю. Айхенвальд (Сегодня. 1926. 24 июля. № 161), П. Бицилли (СЗ. 1927. № 31. С. 468–471), Б. Шлецер (ПН. 1926. 14 сентября. № 2001. С. 3) и другие эмигрантские критики.

LXV. — НЖ. 1965. № 81. С. 90–91.

«Краска стыда на лице Платона» — из книги Ницше «Сумерки идолов»: с наступлением «светлого дня» и «возвращением здравого смысла» упраздняется идея «истинного мира» и опровергается положение «я, Платон, есмь

истина», в результате — «краска стыда Платона» (*Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 572).

Фофанов Константин Михайлович (1862–1911) — русский поэт.

«Я зову мечтателей, вас я не зову» — из стихотворения Бальмонта «Я не знаю мудрости...» (1902).

LXVI. — НЖ. 1965. № 81. С. 94–96.

«100. 000. 000» — имеется в виду поэма Маяковского «150 000 000» (1919–1920, первое издание без имени автора — 1921). Адамович рецензировал первое издание поэмы (Альманах «Цеха поэтов». Кн. 2. Пг., 1921. С. 72–74).

«Проста, как мычание» — одна из книг Маяковского называлась «Простое как мычание» (Пг., 1916).

«Тьмы низких истин нам дороже» — из стихотворения Пушкина «Герой» (1830).

LXVII. — НЖ. 1961. № 66. С. 94–96.

Эдуард Род (1857–1910) — швейцарско-французский писатель. С 1878 г. жил в Париже. Начинал как натуралист, затем перешел к семейно-психологической прозе. Высоко ценил русский классический роман.

...в Тенишевском полукруглом зале... — В зале Тенишевского училища (создано в 1900 г.) на Моховой улице, 33, часто устраивались литературные мероприятия. Вечер, посвященный десятилетней годовщине со дня кончины В. С. Соловьева, состоялся 14 декабря 1910 г. Речь Блока «Рыцарь-монах», произнесенная на вечере, опубликована в сборнике «О Владимире Соловьеве» (М., 1911). Кроме Блока, на вечере выступили: историк литературы Ф. Д. Батюшков, Вяч. Иванов, сестра В. С. Соловьева, писательница и художница П. С. Соловьева (Allegro); стихи читали Ю. М. Юрьев, М. А. Ведринская, Д. М. Мусина, Ю. Э. Озаровский и др. 16 декабря 1910 г. Блок писал матери: «Соловьевский вечер прошел вяло, так что лучше бы его не было. Нагнали актрис, а потом сами жалели. Я демонстративно ушел от чтения Мусиной из первого ряда и Ведринскую не стал слушать. Я начал второе отделение, думал все время, как бы выпить чаю и промочить горло. Публика, встретившая и проводившая хлопками, не по-

нимала или пряталась в себя, так что я стал сокращать. Единственно хороша была Поликсена Сергеевна» (*Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. С. 760).

«Ночные часы: Четвертый сборник стихов (1908–1910)» (М.: Мусагет, 1911), *«Земля в снегу*: Третий сборник стихов» (М.: Журн. «Золотое руно», 1908) — книги стихов Блока.

Михайлов Михаил Ларионович (Илларионович) (1829–1865) — поэт, публицист, переводчик. Автор сборника переводов «Песни Гейне» (1858). В статье «Гейне в России» Блок писал, что Михайлов «по качеству своих переводов не превзойден никем» (*Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 118).

«Горит моя старая рана» — Адамович неточно цитирует строку стихотворения Гейне «Гренадеры» в переводе Михайлова (первая редакция — 1846 г.; окончательная — 1858 г.). Блок писал об этом переводе: «“Гренадеры” сами по себе представляют такую ценность, с которой расстаться жалко» (*Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. Т. 6. С. 127). Под названием «Два гренадера» этот перевод используется русскими певцами для исполнения романса Шумана.

У меня было письмо Блока... стихи ему не понравились... — На письме Адамовича, сопровождавшем сборник стихов «Облака», Блок написал: «Получ. 23 янв., ответил довольно много 24 янв. (очень плохие его стихи)» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 2. Ед. хр. 20). Местонахождение ответного письма Блока неизвестно.

LXVIII. — НЖ. 1961. № 66. С. 85-86.

...в своем «Дневнике» он одобрительно отозвался о коротком докладе, прочитанном мною... — 25 марта 1930 г. состоялись очередные Франко-русские собеседования. Они были посвящены теме «Творчество и влияние Андре Жида». Со вступительным словом с «русской» точки зрения выступил Адамович (с «французской» точки зрения — Луи Мартен-Шофие). Андре Жид, присутствовавший на собрании, заинтересовался докладом Адамовича и записал у себя в дневнике 30 мая: «Souvenon-nous du nom de Georges Adamovitch. Nul n’a parle de mes livres mieux que lui

(Запомнить это имя: Георгий Адамович. Еще никто не говорил так умно о моих книгах)» (*Gide A.* Ouevres complete. Vol. XV. Journal. P. 287).

LXIX. — НЖ. 1965. № 81. С. 96.

«Les lendemains qui chantent» — «певучее будущее» (*фр.*).

Вайян-Кутюрье Поль (1892–1937) — французский писатель и общественный деятель. Один из основателей Французской компартии (1920), член ее ЦК, главный редактор газеты «L'Humanite» (с 1926 г.). Ю. Терапиано в своих воспоминаниях приводит один инцидент, произошедший на вечере, посвященном «книге Андре Жида, только что вернувшегося из Советского Союза и разочаровавшегося в тамошних достижениях. Вечер был устроен на французском языке, и вот — под предводительством тогдашнего коммунистического лидера Вайяна-Кутюрье — коммунисты заполнили зал. Пользуясь своей многочисленностью, они устраивали обструкции всем "буржуазным ораторам", от докладчика Георгия Адамовича до Мережковского и Федотова, пытавшихся спасти вечер, который был все-таки сорван коммунистами» (*Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974). Париж; Нью-Йорк, 1987. С. 127–128).

LXX. — НЖ. 1961. № 66. С. 96.

Кестлер Артур (р. 1905) — английский писатель, психолог, член компартии Германии с 1931 г., после испанской войны разочаровался и перешел в антикоммунисты, написал книгу «Тьма в полдень» (1940).

LXXI. — НЖ. 1961. № 64. С. 115–116.

Поразивший меня чей-то рассказ... — Эту историю опубликовал Ремизов в «Верстах»: «На Пасху в Москве у Гужона — рельсопрокатный завод (с детства помню, по вечерам из окна видно полыхающее зарево — Гужон — московская Бельгия) — устроили собрание с антирелигиозными целями от какой-то "безбожной" ячейки. Собралось народу видимо-невидимо — сколько одних рабочих на заводе! — тысячи. А выступал докладчиком сам нарком А. В. Луначарский. А видите ли, слыхал я ораторов: Федор Степун (во Фрейбурге под Дрезденом сидит),

не переслушаешь, или Виктор Шкловский (в Москве), такой отбрыкливый, ничего не подцепишь, а Луначарский — ну тот (собственными ушами слышал и не раз!) прямо рекой льется. И по окончании речи (часа два этак) выносится единогласно через поднятие рук резолюция, что ни Бога, ни Светло-Христова Воскресения нет и быть не могло, предрассудок. И тут же на собрании этот самый поп Иван ныряет: в оппоненты записался. “Да куда, говорят, тебе, отец, нешто против наркома! да и уморились канителиться”. А ему — и Бог его знает, с чего это пристукнуло? — одно только слово просит. Ну, и пустили: “слово — гражданину Ивану Финикову”. И вылезает — ну, ей Богу, Ваш! Ваш, бессловесный, самый русский природный, без которого круг жизни не скружится, а чего-то стесняющийся, плечо на бок — “Христос воскрес!” — и поклонился, так полагается на Пасхе, приветствие, как здравствуйте, трижды: “Христос воскрес!” — “Воистину!” — загудело в подхват собрание, все тысячи, битком набитый завод, Гужон с полыхающим вечерним заревом красных труб, московская Бельгия, — “Воистину воскрес!”» (*Ремизов А.* Воистину: Памяти В. В. Розанова // Версты. 1926. № 1. С. 85–86).

Историю эту пересказывали на «воскресеньях» Мережковских. Запись о ней осталась и в блокнотах Е. Замятина: «На митинге религиозном о Боге — председателем выбран... клоун Владимир Дуров.

На религ<иозном> митинге Луначарскому вышел возражать сельский священник и сказал:

— Христос воскресе!

Публика:

— Воистину воскресе!» (Bakhmeteff Archives. Columbia University. New York).

Юрий Трубецкой, ознакомившись с «Table talk» Адамовича, привел свой вариант этой истории: «В 1921 году, в одной из аудиторий (не помню в какой именно), устраивался диспут на тему “Есть ли Бог?”. Диспут вел сам Луначарский в сообществе с другими членами партии. В конце диспута Луначарский произнес приблизительно

такую фразу: — я много путешествовал, посещал соборы, церкви, монастыри, но, кроме икон, изображений и символов, я нигде не видел и не ощущал присутствия Бога. Также говорят, что у человека есть душа, но никто этой души не видел и не может доказать, что душа действительно существует!

Часть аудитории наградила докладчика, самого Луначарского, аплодисментами. Тогда Луначарский обратился к залу с предложением высказаться или возразить. Это было как раз на Пасхальной неделе.

На эстраду поднялся небольшого роста старичок, очень бедно одетый, седой, с маленькой, как бы общипанной бородкой. "Я хочу возразить гражданину Луначарскому! — Я доктор медицины и доктор богословия. Священник к тому же. Когда я вскрывал трупы и распиливал черепную коробку, я никогда не видел присутствия ума, а между тем гражданин Луначарский, видимо, умный человек. Где же у него находится ум? Несомненно, в голове, в мозгах. А можно его увидеть? Так и душа. А что касается Бога, то он в сердцах людей, что я вам сейчас докажу: — Христос Воскресе, православные!

Из зала раздался хор голосов: Воистину Воскресе! — Старичок быстро сошел с эстрады и смешался с толпой» (*Трубецкой Ю.* «Table talk» // Русская мысль. 1961. 22 августа. № 1724. С. 4).

LXXII. — НЖ. 1961. № 64. С. 106-107.

У Блока в дневнике... «потому, что он царь над всеми Адриановыми»... — Адамович неточно цитирует фразу не из дневника Блока, а из его письма к В. Н. Княжнину (Ивойлову) от 9 ноября 1912 г.: «И право, мне, не понимающему до конца Мережковского, легче ему руки целовать за то, что он — царь над Адриановыми, чем подозревать его в каком-то самовосхвалении» (*Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 405). В эмиграции это письмо было перепечатано из советского издания газетой «Дни» в составе публикации «Письма А. Блока» (Дни. 1926. 18 июля. № 1057. С. 3). Сергей Александрович Адрианов (1871–1942) — критик, публицист, переводчик, приват-доцент Петербург-

ского университета. Лекции на литературные темы, с которыми он выступал в различных городах России, пользовались широкой популярностью в начале века. По словам А. М. Ремизова, «в годы между революциями — когда на всех собраниях и вечерах гремели три имени на "А": Аничков, Арабажин и Адрианов — они говорили, когда угодно, о чем угодно и сколько влезет» (*Ремизов А.* Мышкина дудочка. Париж, 1953. С. 45).

«И долго на свете томилась она...» — из стихотворения Лермонтова «Ангел» (1831).

LXXIII. — НЖ. 1961. № 66. С. 88–89.

LXXIV. — НЖ. 1961. № 66. С. 89.

Поэт Верге или Вернье — не удалось установить.

Оден Уистэн Хью (1907–1973) — английский поэт, эмигрировавший в США в 1939 г., христианин-экуменист. Адамович интересовался поэзией Одена и встречался с ним в Нью-Йорке у В. С. Яновского. См.: *Яновский В.* Ушел Адамович // Новое русское слово. 1972. 26 марта.

LXXV. — О. 1954. № 3. С. 94–96.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) — немецкий философ и ученый.

Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) — русский публицист, социолог и естествоиспытатель, идеолог панславизма. В книге «Россия и Европа» (1869) изложил свою теорию исторического круговорота, предвосхитив аналогичные построения Шпенглера.

...о «России и революции»... о «Римском вопросе»... — имеются в виду политические статьи Тютчева «Россия и революция» (1848) и «Папство и римский вопрос» (1849).

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — русский публицист, религиозный философ, поэт, основатель славянофильства.

Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) — русский философ, литературный критик и публицист, основатель славянофильства.

Григорий VII Гильдебранд (между 1015 и 1020–1085) — римский папа с 1073 г., деятель Клюнийской реформы. Запретил куплю-продажу церковных должностей, узаконил

обязательное безбрачие католического духовенства. Добивался верховенства пап над светскими государями.

Лютер Мартин (1483–1546) — немецкий мыслитель и общественный деятель, глава бюргерской Реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма (лютеранства).

«Эти бедные селенья, эта скудная природа» — заглавная строка стихотворения Тютчева (1855).

LXXVI. — О. 1954. № 3. С. 96–101.

«Французская большая революция... насилием» — Адамович своими словами, не очень точно, пересказывает дневниковую запись, сделанную Толстым 20 августа 1904 г., после чтения Тэна (вероятнее всего, книги «Происхождение современной Франции» (В 6 т. 1876–1894), направленной против Великой Французской революции). См.: *Толстой Л.* ПСС.: В 90 т. Т. 55. С. 81–82.

LXXVII. — О. 1954. № 3. С. 102.

«Я понял кровавую любовь Марата к свободе» — В письме В. П. Боткину 27–28 июня 1841 г. Белинский писал: «Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную» (*Белинский В. Г.* ПСС. М., 1956. Т. XII. С. 52).

LXXVIII. — О. 1954. № 3. С. 104–107.

Бицилли Петр Михайлович (1879–1953) — литературовед, профессор истории в Одессе, а затем в Софии. Сотрудник «Современных записок», «Нового града», автор многочисленных исследований и статей по истории, литературе и социологии. Ему принадлежит рецензия на книгу стихов Адамовича «На Западе» (РЗ. 1939. № 69. С. 383–384).

«Смирись, гордый человек!» — из речи Достоевского о Пушкине, произнесенной 8 июня 1880 г. (*Достоевский Ф. М.* ПСС.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 139).

«Кладу перо»... «мерси, мерси» — слова из произведения Кармазинова «Мерси» — пародии Достоевского на тургеневское «Довольно» в первой главе третьей части романа «Бесы» (*Достоевский Ф. М*. ПСС.: В 30 т. Л., 1974. Т. 10. С. 367–369).

«Зеленый зимний край неба в окне» — 4 ноября 1882 г. смертельно больной Тургенев писал Я. П. Полонскому: «С июня месяца я буквально только два раза видел из окна голубое небо. Дождь и ветер, ветер и дождь — и небо похоже на грязное, худо вымытое белье» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. Т. 13. Кн. 2. Л., 1968. С. 94).

LXXIX. — О. 1954. № 3. С. 107–109.

LXXX. — О. 1954. № 3. С. 109–110.

«Учитесь властвовать собой» — неточная цитата из четвертой главы (1824–1826) «Евгения Онегина».

LXXXI. — О. 1954. № 3. С. 111.

LXXXII. — О. 1954. № 3. С. 111–112.

LXXXIII. — О. 1954. № 3. С. 112–114.

Архиепископ Иоанн — Дмитрий Алексеевич Шаховской (1902–1988), князь, в эмиграции с 1920 г. Будучи студентом Лувенского университета, издавал журнал «Благонамеренный» (Брюссель, 1926), в котором печатался Адамович. Постригся в монахи на Афоне (1926), позднее был архиепископом Сан-Францисским и Западно-Американским. Его послевоенная переписка с Адамовичем опубликована Е. А. Голлербахом: К истории русской зарубежной литературы: Материалы из архива архиепископа Иоанна Сан-Францисского (Д. А. Шаховского) // Russian studies: Ежеквартальник русской филологии и культуры. СПб., 1996. Т. II. № 2. С. 231–295. Письма Адамовича к Шаховскому двадцатых годов опубликовал сам адресат в своей книге «Биография юности: Установление единства» (Париж: YMCA-Press, [1977]. С. 257–261).

«Хождение по мукам» (1922–1941) — трилогия А. Н. Толстого. См. рецензию Адамовича на вторую часть трилогии «Восемнадцатый год» (ПН. 1928. 5 июля. № 2661).

Наследство Блока. — НЖ. 1956. № 44. С. 73–87.

К этой теме Адамович обращался неоднократно на протяжении всей своей жизни, рассматривая ее под тем или иным ракурсом. Вот перечень только основных его размышлений о судьбе и творчестве Блока: «Смерть Бло-

ка» (Цех поэтов. Кн. 3. Пг., 1922. С. 48–51), «Литературные беседы» (Звено. 1927. 19 мая. № 226. С. 1–2), «О Блоке» (ПН. 1929. 16 мая. № 2976), «Восьмая годовщина» (ПН. 1929. 15 августа. № 3067), «Александр Блок» (СЗ. 1931. № 47. С. 283–305), «Через пятнадцать лет» (ПН. 1936. 27 августа. № 5634), «Александр Блок» (РН. 1946. 9 августа. № 65), «Сумерки Блока» (НРС. 1952. 10 и 24 августа).

«миленьким маленьким Пушкиным» — из статьи Писарева «Пушкин и Белинский» (1865). См.: *Писарев Д. И.* Сочинения. М., 1956. Т. 3. С. 376.

«и не ночевала» — выражение Тургенева в письме Я. Полонскому от 13 января 1868.

«Вседержитель моей души!» — строка стихотворения Цветаевой «Ты проходишь на запад солнца...» (1916) из цикла «Стихи к Блоку» (1916–1921).

«Будьте ж довольны жизнью своей» — из стихотворения Блока «Голос из хора» (1910–1914).

...Писемский о молодом «офицеришке» Толстом... — имеется в виду шутливое восклицание Алексея Феофилактовича Писемского (1821–1881): «Этот офицеришка всех нас заклюет» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1960. Т. 1. С. 19).

«дети страшных лет России» — из стихотворения Блока «Рожденные в года глухие...», впервые опубликованного в «Аполлоне» (1914. № 10).

message — весть (*фр.*).

...читал свою пушкинскую речь... — Блок выступал в Доме литераторов на вечере памяти Пушкина с речью «О назначении поэта» 11 февраля 1921 г. (повторно — 13 февраля). Адамович в своих статьях неоднократно вспоминал этот вечер. Наиболее подробно в статье «Александр Блок» (СЗ. 1931. № 47. С. 288–305).

«я не прощу никогда»... «душа твоя невинна» — неточная цитата заключительных строк стихотворения З. Н. Гиппиус «А. Блоку» (1918).

...о «детях добра и света»... — из стихотворения Блока «О, я хочу безумно жить...» (1914).

21 Зак. 3049

«темно и вяло», *«что символизмом мы зовем»* — перифраз строк Пушкина из шестой главы (1826) «Евгения Онегина».

«гибельный пожар» — неточно цитируется стихотворение Блока «Как тяжело ходить среди людей...» (1910).

«Все на земле умрет...» — стихотворение Блока, написанное в 1909 г..

«узкие ботинки»... «влюбляясь в хладные меха» — из стихотворения Блока «На островах» (1909).

«французский каблук» — из стихотворения Блока «Унижение» (1911).

«Анна, Анна, сладко ль спать в могиле...» — из стихотворения Блока «Шаги Командора» (1910–1912).

«В самом чистом, в самом нежном саване...» — из стихотворения Блока «Поздней осенью из гавани...» (1909).

...замечание о «скупых нищих»... — В статье «О поэзии Иннокентия Анненского» (Аполлон. 1910. № 4) Вячеслав Иванов писал: «Анненский становится на наших глазах зачинателем нового типа лирики, нового лада, в котором легко могут выплакать свою обиду на жизнь души хрупкие и надломленные, чувственные и стыдливые, дерзкие и застенчивые, оберегающие одиночество своего заветного уголка, скупые нищие жизни» (*Иванов Вяч.* Борозды и межи: Опыты эстетические и критические. М.: Мусагет, 1916. С. 311).

«Прошлое страстно глядится в грядущее...» — неточная цитата из стихотворения Блока «Художник» (1913).

«роковой о гибели вестью» — из стихотворения Блока «К музе» (1912).

«То не ели, не тонкие ели...» — первая строка стихотворения Блока «Посещение» (1910).

«О, весна без конца и без краю... « (1907) — стихотворение Блока из цикла «Заклятие огнем и мраком» (1907).

...Гумилев... о «царственном безумии, влитом в полнозвучный стих»... — В рецензии на «Антологию» книгоиздательства «Мусагет» 1911 г. (Аполлон. 1911. № 10) Гумилев писал: «Александр Блок является в полном расцвете своего таланта: достойно Байрона его царственное

безумие, влитое в полнозвучный стих» (*Гумилев Н. С.* Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 126).

...над «промотавшимся отцом»... — из стихотворения Лермонтова «Дума» (1838).

«Он нашел весьма банальной...» — из стихотворения Блока «Все свершилось по писаньям...» (1913).

«Над кем смеетесь, над собой смеетесь?» — слова Городничего из гоголевского «Ревизора» (1835).

...улыбка леонардовской Моны Лизы по Флоренскому... — имеется в виду рассуждение П. Флоренского в книге «Столп и утверждение истины»: «Загадочная улыбка всех лиц Леонардо да Винчи, выражающая скептицизм, отпадение от Бога и самоупор человеческого "знаю", есть на деле улыбка растерянности и потерянности: сами себя потеряли, и это особенно наглядно у "Джиоконды". В сущности, это — улыбка греха, соблазна и прелести, — улыбка блудная и растленная, ничего положительного не выражающая (в том-то и загадочность ее!), кроме какого-то внутреннего смущения, какой-то внутренней смуты духа, но — и нераскаянности» (*Флоренский П.* Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 174).

«Живым и страстным притворяться»... «Хозяйки-дуры и супруга-дурака» — из стихотворения Блока «Как тяжко мертвецу среди людей...» (1912).

«Служенье муз не терпит суеты...» — из стихотворения Пушкина «19 октября» (1825).

...слова о магическом кристалле... — имеются в виду строки из восьмой главы (1829–1831) «Евгения Онегина»: «И даль свободного романа / Я сквозь магический кристалл / Еще не ясно различал».

...Гибнет «Титаник»... «есть еще океан»... — Узнав о катастрофе, Блок записал в дневнике 5 апреля 1912 г.: «Гибель Titanic'а, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан)» (*Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 139).

«не счастья, а правды» — 13 января 1912 г. Блок записал в дневнике: «Собираюсь (давно) писать автобиографию Венгерову <...> надо написать, что "есть такой

человек” (я), который, как говорит З. Н. Гиппиус, думал больше о правде, чем о счастьи» (*Блок А*. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 123).

Поэзия в эмиграции. — О. 1955. № 4. С. 45–61.

Рецензируя очередную книгу «Опытов», Г. Аронсон писал: «В отделе статей на первом месте отметим умную и интересную статью Г. Адамовича о “парижской ноте” в русской эмигрантской поэзии, — статью поминальную, оценивающую полосу, принадлежащую прошлому, и выдержанную почти в покаянных тонах, как всегда, встречаются у автора меткие и острые определения, порой спорные и парадоксальные: о “принципиально хмурящемся” Ходасевиче, о Гиппиус, “которая понимала в поэзии все, кроме стихов”, о Цветаевой, одной стороной своей личности напоминавшей “княжну Джаваху” из институтской повести Чарской. Покаянные настроения вызывают у Г. Адамовича готовность признать, что, пожалуй, парижская школа, некоронованным главой которой он был, выдвинула всего двух-трех поэтов, — а остальные — “какие-то нео-нытики, аккуратно перекладывающие в пятистопные ямбы свои скучные мысли и чувства”. И вдруг, с немотивированной неожиданностью критик делает заявление, которое не могут ослабить никакие оговорки: поэзии русской “почти нечему научиться” у французской, хотя последняя “явление замечательное и значительное”. Почему? По каким “причинам внутренним”? Эта мысль не досказана и не доказана» (*Аронсон Г*. «Опыты». Книга 4 // Новое русское слово. 1955. 1 мая. № 15709. С. 8).

...о Бедекере говорил уже Блок... — В статье «О современном состоянии русского символизма» (Аполлон. 1910. № 8. С. 21–30) Блок писал: «Я избираю язык поневоле условный <...> к моим же словам прошу отнестись как к словам, играющим служебную роль, как к Бедекеру <...> для тех, для кого туманен мой путеводитель, — и наши страны останутся в тумане» (*Блок А*. О литературе. М., 1989. С. 245–246).

...мелодии «Тристана»... — имеется в виду опера Вагнера «Тристан и Изольда» (1859).

...предсмертное отрезвление Зигфрида... — в опере Вагнера «Зигфрид» (1869), третьей части тетралогии «Кольцо Нибелунгов» (1854–1874).

...Ницше Вагнеру противопоставил: «Кармен»... — 27 декабря 1888 г. Ницше писал К. Фуксу: «Вам не следует принимать всерьез то, что я говорю о Бизе; мне самому нет до Бизе никакого дела. Но как ироническая антитеза Вагнеру, он действует весьма сильно; ведь было бы невообразимой безвкусицей, вздумай я, скажем, отталкиваться от похвалы Бетховену. Ко всему Вагнер был обуян бешеной завистью к Бизе: “Кармен” побила все рекорды успеха в истории оперы и намного превзошла число постановок всех вагнеровских опер в Европе» (*Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 791).

«Как некий херувим» — эту строку Пушкина из 1 сцены «Моцарта и Сальери» Цветаева, чуть изменив, включила в свое стихотворение «Как слабый луч сквозь морок адов...» (1920).

«княжна Джаваха» — героиня многих произведений Лидии Алексеевны Чарской (Чуриловой; 1875–1937), одноименный роман «Княжна Джаваха» (1908).

...Цветаева была, несомненно, очень умна... — Вера Николаевна Муромцева-Бунина записала в дневнике 6 августа 1929 г.: «Был Адамович. Он считает Марину Цветаеву умнее Ходасевича, хотя Ходасевич никогда не скажет глупости, тогда как она — сколько угодно» (Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под редакцией Милицы Грин. В 3 т. Франкфурт-на-Майне, 1981. Т. 2. С. 208).

«нет в мире лучше края» — цитируется монолог Чацкого из пьесы «Горе от ума», действие III, явление 22 (*Грибоедов А. С.* Сочинения в стихах. М., 1987. С. 131).

Превер Жак (1900–1977) — французский поэт, начинал как сюрреалист.

le rêve — сон (*фр.*).

Des roses sur le néant — розы над бездной (*фр.*).

«снов золотых» ... «навеваемых» — из стихотворения Беранже «Безумцы» (1833).

...Он вел свою родословную от Теофиля Готье... — В статье-манифесте «Наследие символизма и акмеизм» (1912) Гумилев в качестве учителей и предтеч называл четыре имени: Шекспира, Рабле, Вийона и Теофиля Готье. «Каждое из них краеугольный камень для здания акмеизма» (*Гумилев Н. С.* Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 58).

«во имя его святое» ... «целует вечерний снег» — цитируется стихотворение Цветаевой «Ты проходишь на запад солнца...» (1916) из цикла «Стихи к Блоку» (1916–1921).

...отправиться в Абиссинию торговать лошадьми... — имеется в виду Артюр Рембо, который во второй половине 1870-х гг. отошел от литературы и в 1880 г. стал агентом торговой фирмы в Эфиопии.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874–1952) — русская писательница и переводчица.

endimanchée — наряженной по-праздничному (фр.).

...по Апостолу совершенная любовь, — «изгоняет страх»... — 1 Ин. 4, 18.

...лермонтовская проза богаче и гибче пушкинской, и при том «благоуханнее»... — В XXXI главе «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1846) Гоголь сказал о Лермонтове: «Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой» (*Гоголь Н. В.* ПСС. М., 1952. Т. 8. С. 402).

«торжественное и чудное» — измененная цитата из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

«Из-под таинственной холодной полумаски...» — заглавная строка стихотворения Лермонтова (1840 или 1841).

«меж детей ничтожных мира всех ничтожней» — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Поэт» (1827).

«просияла и погасла» — измененная цитата из стихотворения Тютчева «Как над горячею золой...» (1830?).

Невозможность поэзии. — О. 1958. № 9. С. 33–51.

Юрий Иваск, возражая Адамовичу, в статье «Возможность поэзии» писал: «Если требовать от искусства спасения, то оно, конечно, невозможно, хотя и всегда живет этой тоской по окончательному совершенству, которое в поэзии уже не нуждается. Поэтому будем к искусству снисходительны! Поэзия в лучшем случае — игра в рай, игра в блаженство, еще недоступное... Требования же невозможного от искусства, утверждения невозможности поэзии, если и абсурдны, то все же они должны поэту, художнику предъявляться, как и любому человеку — всегда, везде! Сознание невозможности, отчаяние — приводят к самоубийству или к творческой победе» (Воздушные пути. 1960. № 1. С. 257). Позже с отдельными положениями статьи Адамовича спорил Д. И. Шаховской (О поэзии и не-государственной службе // Русская мысль. 1971. 25 марта. № 2835. С. 9. Подп.: Странник).

Федотов Георгий Петрович (1866–1951) — историк-медиевист, преподаватель богословия, выдающийся эмигрантский публицист, сотрудник «Нового града» и «Современных записок».

en grand — в целом (*фр.*).

Nous autres — мы другие (*фр.*).

...у Анненского... вкрадчиво-ядовитой настойчивостью... — имеется в виду рассуждение Анненского в главе «Умирающий Тургенев (Клара Милич)» первой из «Книг отражений» (СПб., 1906).

«Пора, мой друг, пора...» — заглавная строка стихотворения Пушкина (1834).

«Лучшие слова в лучшем порядке» — афоризм английского поэта-романтика Сэмюэля Тэйлора Кольриджа (1772–1834) из его «Застольных бесед» («Table talk»): «Определение хорошей прозы — нужные слова на нужном месте, хорошей поэзии — самые нужные слова на самом нужном месте».

«Служенье, алтарь и жертвоприношенье» — из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828).

«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли» — заключительная строка переведенной (1839) В. Жуковским драматической поэмы «Камоэнс» Ф. Мюнх-Беллинсгаузена, писавшего под псевдонимом Фридрих Гальм (*Жуковский В. А.* Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 430).

...статейке... о смертной казни... — имеется в виду статья Жуковского «О смертной казни» (Собр. соч. В. Жуковского: Изд. 6-е. Т. 6. Соч. в прозе В. Жуковского. СПб., 1869. С. 611–617).

«Он имел одно виденье» — из стихотворения Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829).

Друэ Мину (наст. имя Мари-Ноэль Друэ, р. 1947) — французская поэтесса-вундеркинд, выпустившая в девятилетнем возрасте сборники «Мой друг дерево» (1956) и «Стихотворения» (1956).

Шар Рене (р. 1907) — французский поэт.

Сен-Жон Перс (наст. имя Алекси Леже; 1887–1975) — французский поэт, лауреат Нобелевской премии (1960). Один из первых переводов на русский принадлежит Адамовичу с Г. Ивановым (Сен-Жон Перс. Анабазис. Париж: Поволоцкий, 1926). По мнению Николая Татищева, «в 20-х годах тон здешней литературы задавали Поль Валери и Перс, автор “Анабазиса”, тогда же переведенного на русский язык Г. Адамовичем и Г. Ивановым» (*Татищев Н.* Среди книг // О. 1956. № 7. С. 72). Это утверждение позабавило Адамовича, и в письме от 17 июня 1956 г. он просил Одоевцеву: «Скажите Жоржу! — что Татищев написал, что русская поэзия началась с нашего перевода С.-Ж. Перса! А мы и не знали» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды: Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову / Публ. О. А. Коростелева // Минувшее: Исторический альманах. 21. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1997. С. 429).

images — образы (*фр.*).

Малларме Стефан (1842–1898) — французский поэт-символист.

Валери Поль (1871–1945) — французский поэт, сформировавшийся под влиянием символистов, особенно С. Малларме, к группе которого был близок.

Клодель Поль (1868–1955) — французский поэт и писатель-католик. В 1962–1967 гг. опубликовано его восьмитомное религиозное сочинение «Комментарии и толкования».

Томас Дилан (1914–1953) — английский поэт, в творчестве которого находили «абсолютную поэзию» в духе Элиота, противоположную «интеллекту», «рационализму», «идеологии».

«In memoriam Dylan Thomas» — «Памяти Дилана Томаса» (*лат.*).

Шенберг Арнольд (1874–1951) — австрийский композитор, теоретик и педагог. Представитель музыкального экспрессионизма, глава новой венской школы. Основоположник додекафонии.

Веберн Антон фон (1833–1945) — австрийский композитор и дирижер новой венской школы.

«бесстрашно ломал установившиеся каноны» — вероятно, Адамович перефразирует схожие выражения из вступительной статьи Н. Плиско «Владимир Маяковский» к полному собранию сочинений поэта (*Маяковский В.* Полн. собр. соч. М., 1935. Т. 1. С. III–XIX).

Несчастливцев — персонаж пьесы А. Н. Островского «Лес» (1871).

«расстаюсь вечным расставанием» — так в первом коробе «Опавших листьев» (1913) Розанов расставался с «позитивистом» (*Розанов В.* Сумерки просвещения. М., 1990. С. 414).

Иваск Юрий Павлович (1907–1986) — поэт, литературовед, критик, профессор, один из главных пропагандистов Адамовича и «парижской ноты» в США в послевоенный период.

...в ночь, когда распространился слух об убийстве Распутина... — Убийство Распутина произошло в ночь с 17 на 18 декабря 1916 г. ст. ст.

«В начале бе слово...» — Ин. 1, 1.

«се аз умираю» — I Цар. 14, 43.

...у Анненского в монологе Фамиры после состязания с Музой... — В «вакхической драме» И. Анненского «Фамира-кифаред» (1906) Фамира был казнен забвением му-

зыки и музыкальной глухотой, после чего сам себя ослепил, чтобы сохранить неоскверненным последний отзвук невозродимой мелодии.

...«лимонад», о котором говорил Державин... — имеются в виду строки оды Державина «Фелица» (1872): «Поэзия тебе любезна, Приятна, сладостна, полезна, Как летом вкусный лимонад».

Чиннов Игорь Владимирович (1909–1996) — русский поэт. С 1922 г. жил вне России. В 1930–1950-е гг. придерживался канонов «парижской ноты», позже изменил творческую манеру.

«Écrire en moi naturel. Tels écrivent en moi dièse» — «Писать своим естественным голосом. А эти пишут на полтона выше» (*фр.*).

«moi bémol» — «на полтона ниже» (*фр.*).

«будет ли еще в Европе что-нибудь великое» — См. размышления Валери на эту тему в статьях «Кризис духа» (1919), «Взгляд на современный мир» (1938), «Заметки о величии и упадке Европы» (1930). (*Валери Поль*. Избранное. М., 1936. С. 69–81, 251–294.)

«будет ли двадцать первый век?» — Неточно цитируется «Диалог о тресте мозгов» М. Алданова: «Вы совершенно уверены, что 21-е столетие будет?» (*Алданов М.* Ульмская ночь. Нью-Йорк, 1953. С. 234).

«все выпито, все съедено...» — из сонета Верлена «Истома» (1883) или, в переводе Б. Пастернака, «Томление».

plus rien à dire — больше нечего сказать (*фр.*).

Василиск Гнедов (наст. имя Василий Иванович Гнедов; 1890–1978) — поэт-авангардист, до первой мировой войны один из лидеров «Ассоциации эгофутуристов», тяготеющий к кубофутуристическому экспериментаторству. «Поэма конца» — наиболее скандальное, но отнюдь не единственное его произведение. С 1913 по 1918 г. Гнедов довольно часто печатался как в футуристских альманахах и сборниках, так и отдельными книгами. После активного участия в обеих революциях от литературы отошел и в 1925 г. вступил в ВКП(б).

«Царь небес! Успокой...» — стихотворение Баратынского «Молитва» (1842 или 1843).

«Инония» — поэма (1918) С. Есенина.

«без волненья внимать невозможно» — из стихотворения Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1840).

...одобрение пустомели Белинского... учить вас уму-разуму... — См. статьи Белинского «О стихотворениях г. Баратынского» (1835) и «Стихотворения Е. Баратынского» (1842).

«смиренно преклонить колени»... «учитель перед именем твоим»... — неточно цитируются некрасовские «Сцены из лирической комедии “Медвежья охота”» (1867).

«Да приидет царствие твое!» — Мф. 6, 10.

ДОПОЛНЕНИЯ

В дополнениях приводится полный текст всех 224 фрагментов «Комментариев» в том виде и хронологии, как они появлялись в эмигрантской периодике. Тексты печатаются по первым публикациям. Снятые или измененные при включении в книгу (Вашингтон, 1967) абзацы, отдельные фразы и слова выделяются курсивом. Полужирный шрифт обозначает слова, выделенные автором (в оригинале при этом в разных случаях мог использоваться полужирный шрифт, разрядка или курсив). В примечаниях к дополнениям комментируются только те реалии, которые не были прокомментированы в основном корпусе книги. Приводятся также отклики и полемические возражения в эмигрантской периодике на очередные порции «Комментариев».

Комментарии <I>. — ЦП-4. С. 59–64.

Критикой первая порция «Комментариев» была встречена с недоумением. Вадим Андреев, рецензируя четвертый выпуск альманаха «Цех поэтов», отнесся к нему в целом весьма негативно и, в частности, написал: «В “крити-

ческом" отделе альманаха помещены бесцветные статьи Адамовича, Оцупа и уже совсем нецензурная по тону и безвкусице статейка Г. Иванова. Да, в конце концов, и самому Цеху придется согласиться с фактом, что он живет не своим собственным именем, а именем Гумилева, нечаянно, должно быть, напечатавшего в первом сборнике Цеха свою великолепную поэму "Дракон"» (Накануне. 1924. 6 февраля. № 30 (547). С. 6. Подп.: В. А.).

Нина Берберова, более благосклонно оценивая стихи Цеха в своей рецензии на альманах, откликнулась на «Комментарии» одной фразой: «Статья Адамовича проникнута недорогим эстетизмом» (Современные записки. 1924. № 19. С. 432. Подп.: Ивелич).

1.

На одном из обычных диспутов... В. Шкловский возмущался... — Адамович имеет в виду свое первое выступление за границей — берлинский вечер Цеха поэтов (28 февраля 1923 года, кафе «Леон»), на котором он выступал с докладом о современной поэзии и читал свои стихи вместе с Г. Ивановым, И. Одоевцевой и Н. Оцупом. Оппонировали ему И. Эренбург и В. Шкловский. (См. отклики в прессе о вечере: Накануне. 1923. 25 февраля. № 270. С. 5; Руль. 1923. 3 марта; Накануне. 1923. 10 марта. № 281. С. 4; Новая русская книга. 1923. № 2. С. 41, 44. Подробнее см. в примеч. к 10 фрагменту.)

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967) — поэт, вместе с Гумилевым один из руководителей первого Цеха поэтов, куда Адамович «был со всем церемониалом принят обоими синдиками, Гумилевым и Городецким, на квартире Городецкого» (Новый журнал. 1988. № 172–173). Городецкому принадлежат два отзыва на ранние стихи Адамовича в обзорах поэзии: *Городецкий С.* Поэзия для себя // Лукоморье. 1916. 6 февраля. № 6. С. 15–16; *Городецкий С.* Поэзия, как искусство // Лукоморье. 1916. 30 апреля. № 18. С. 19–20. Несмотря на свое положение «синдика» и некоторое имя в поэтическом мире, настоящим авторитетом в Цехе Городецкий не пользовался даже

в самом начале, после же революции своим сервилизмом по отношению к новой власти и стихами в советской прессе, направленными против Гумилева, вызывал у молодых членов Цеха чувства, близкие к презрению.

Савонарола Джироламо (Savonarola; 1425–1498) — настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции. Призывал церковь к аскетизму, осуждал светскую культуру (организовывал сожжение произведений искусства).

«Сашка» (1835–36, 1839), *«Ангел»* (1831) — произведения Лермонтова.

«Здорово, Юрьев, лейб-улан» — из стихотворения Пушкина «Юрьеву (Здорово, Юрьев имянинник...)» (1819).

«Заклинание» (1830), *«Полтава»* (1829) — произведения Пушкина.

2.

Руссо Жан-Жак (Rousseau; 1712-1778) — французский философ-просветитель.

Вертер — имеется в виду роман Гете «Страдания молодого Вертера» (1773).

...фигура человека со скрещенными на груди руками... — имеется в виду Наполеон I Бонапарт.

3.

За два года до смерти Пушкин писал о «глубоком и жалком упадке» современной ему французской литературы... — О «глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы» Пушкин писал в предисловии к «Песням западных славян» (1834). Подобные суждения он неоднократно высказывал и раньше, например, в письме к Погодину (сентябрь 1832), черновой редакции «Путешествия из Москвы в Петербург» (1833–1834) и др.

...романы... Успенского... — ни Глеб Иванович Успенский (1843–1902), которого, очевидно, имеет в виду Адамович, ни его двоюродный брат Николай Васильевич Успенский (1834?–1889) романов не писали, работая в жанре очерка, рассказа и повести.

et caetera — и так далее (*фр.*).

5.

Парнасцы — группа французских поэтов, отказавшаяся от романтического бунта и придерживавшаяся идеи «искусства для искусства»; название утвердилось после выхода сборника «Современный Парнас» (1866).

Леконт де Лиль Шарль (Leconte de Lisle; 1818–1894) — французский поэт, глава парнасцев.

Каин, Сигурд — персонажи произведений Леконта де Лиля.

6.

Банвиль Теодор де (Banville; 1823–1891) — французский писатель, обосновывавший принцип «искусства для искусства» в «Маленьком трактате о французской поэзии» (1872).

«Art poetique» («Поэтическое искусство»; 1674) — трактат в стихах Буало, в котором сформулированы эстетические принципы французского классицизма.

7.

драма об Эсфири — имеется в виду драма Расина «Эсфирь» (1689).

8.

Декаденты стали употреблять в своем словаре слова: звезда, луч... — Здесь, как и в некоторых других ранних статьях Адамовича, явственно слышатся отголоски разговоров, ведущихся в Цехе поэтов и в какой-то мере общих для всех акмеистов и околоакмеистской молодежи. Схожие, а порой и дословно совпадающие суждения встречаются, например, в критических статьях Мандельштама того же времени: «Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Для символиста ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза — подобие солнца, солнце — подобие розы...» (*Мандельштам О.* О природе слова. Харьков: Истоки, 1922. С. 10).

9.

«Какой тяжелый, темный бред!» — первая строка стихотворения И. Анненского «Смычок и струны».

10.

...каждое поколение отрицает наследие предыдущего... Эта легкомысленная теория имеет и свою формулу: ход коня... — начало печатной полемики Адамовича с В. Шкловским и всем формализмом вообще. «Ход коня» (М.; Берлин, 1923) — книга В. Шкловского.

«топчется на месте» — Адамович цитирует возражения И. Эренбурга и В. Шкловского на его собственный доклад о поэзии, прочитанный на вечере Цеха поэтов 28 февраля 1923 года в берлинском кафе «Леон». В газетных отчетах эти возражения были переданы следующим образом: «Контраст миролюбивости стиха “цехистов” со страшной агрессивностью их доклада подчеркнули оппоненты Эренбург и Шкловский. Ими было указано, что группа “Цеха” является весьма искусственным образованием и напрасно думает, что говорит новые слова. Они лишь топчутся на месте и рабски реставрируют старые формы. В то время, как московские поэты, против которых так восстают петроградские “цехисты”, действительно говорят новые слова» (Руль. 1923. 3 марта); «И. Эренбург, отдавая должное стихам Оцупа и Адамовича, вооружился против доклада. Он утверждал, что Расин никак не вершина французской поэзии. Агрессивный тон доклада, по мнению Эренбурга, не гармонирует с нивелированным строем прочитанных стихов. Формальных завоеваний у московских футуристов больше, чем у поэтов петербургского Цеха. Виктор Шкловский, возражая на доклад, говорил, что Адамович иначе понимает Пушкина, чем это нужно» (Накануне. 1923. 10 марта. № 281. С. 4. Подп.: Г. Л-о.).

«сбросить с парохода современности» — неточная цитата из манифеста будетлян, опубликованного в сборнике «Пощечина общественному вкус. В защиту свободного искусства» (М., 1912). По свидетельству А. Крученых, «открывавший сборник коллективный манифест писали долго и спорили из-за каждой фразы, слова, буквы. Крученых предложил: “Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина”. Маяковский добавил: “С парохода современности”. Маяковский: Сбросить — это как будто они там были, нет,

надо бросить с парохода» <...> Получилось: <...> «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности» (Цит. по: *Крусанов А.* Русский авангард: 1907–1932. Т. 1. Боевое десятилетие. СПб.: Новое литературное обозрение, 1996. С. 91–92).

Комментарии <II>. — Ч. 1930. № 1. С. 136–143.

Опубликованные в «Числах» семь фрагментов вызвали многочисленные возражения в эмигрантской периодике, особенно фрагмент «Конец литературы». Г. Раевский в статье «О “конце” искусства» писал: “Что-то есть нехорошее в этой игре с обреченностью <...> в грозном и радостном, в трагическом танце, — искусство проносится над такими глубинами и безднами, которые и не снились сознательно углубляющим “обрывы”» (В. 1930. 1 мая. № 1794. С. 3–4). Раевского поддержал И. Лукаш: «У Адамовича полное пренебрежение к единственно-важному в искусстве, к его основному таинству: “листики” для него — “данное”, и он это “данное” с аппетитом уничтожает, а между тем, “листики” никогда не данное, а всегда искомое, и только немногими, единственными, изредка, в течение веков находилось» (*Лукаш И.* Заметки на полях: О литературном движении // В. 1930. 21 августа. № 1906. С. 3–4).

Полемизировал с «Комментариями» также С. Г. Шерман в рецензии на первый номер «Чисел»: «Расплывчатой и в конечном счете неразрешимой является намеченная в талантливых “Комментариях” Г. Адамовича проблема ухода русской литературы от обольщений “благополучного” Запада. Перенести в литературу европейские настроения автор не решился — слишком скомпрометированы они в науке и политике. Вопрос поставлен гораздо шире, настолько шире, что, собственно, перестает быть вопросом. “Ненавидя всякие обольщения” в поисках конечной простоты, правды и глубины для воплощения сокровеннейших душевных движений, писатель не находит в языке “настоящих слов” и о самом важном в жизни умолкает. Произвольна и спорна попытка Адамовича иллюстрировать это положение последним периодом творчества

Пушкина, но сама по себе его мысль до банальности правильна. Человеческая душа, конечно, глубже творимого ею искусства, и даже музыке, проникающей дальше слова, здесь положены некие пределы. Г. Адамович освещает и комментирует пути литературы, в конце которых “точка, т. е. отрицание пространства, и в нем можно задохнуться и умолкнуть”. На этих путях нового литературного направления не создать» (Руль. 1930. 26 марта. № 2837. С. 2. Подп.: А. Савельев).

Марк Слоним, давая отзыв о новом эмигрантском журнале, заявил: «Наиболее интересна в “Числах” статья Г. Адамовича, в которой совершенно правильно указывается на основное различие между литературой русской и французской, на ту иную атмосферу, которой дышит русский писатель и читатель. Нам тоже кажется, что основного этого различия не стоит забывать и тем из молодых русских писателей, которые, живя за рубежом, естественно подчиняются западноевропейским художественным влияниям. Тут опасна не только возможность подражательности, но и некоторой утраты основной русской литературной традиции. Статья Адамовича в этой своей части находится как бы в некотором противоречии с тем художественным материалом, который предлагает журнал» (Воля России. 1930. № 3. С. 301. Подп.: М. Сл.).

Отзыв К. Зайцева был, напротив, предельно отрицательным: «“Литературные комментарии” Георгия Адамовича утомляют и раздражают. Какая-то бесконечная “спираль”. Кружит человек, кружит, то суживает круги, то расширяет, “паря” над предметом. Все ждешь, когда же он, наконец, сядет — не дождавшись, добредаешь до подписи и с досадой переворачиваешь страницу» (*Зайцев К.* «Числа» // Россия и славянство. 1930. 5 апреля. № 71. С. 3).

А. Бем, давая общий обзор эмигрантской критики, довольно нелестно отозвался об Адамовиче, но в заключение заявил: «Есть область, где Г. Адамовича приходится брать всерьез, где он говорит свое и только свое. Но об этом пишет он изредка и не на страницах газеты. Его статьи в “Числах” показывают любопытный уклон его кри-

тической мысли, который может вызвать возмущение, но с которым надо посчитаться» (*Бем А.* О критике и критиках. II // Руль. 1931. 6 мая. № 3173).

Гораздо позже, уже после войны с отдельными положениями Адамовича, высказанными в этой порции «Комментариев», полемизировал Ю. Иваск (ВП. 1960. № 1. С. 248–257).

13 (I).

Кок Поль Шарль де (Kock; 1793–1871) — французский писатель, имя которого стало нарицательным обозначением «фривольной» литературы.

французиков, тех, «из Бордо» — отсылка к монологу Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума».

«bien au chaud» — «в теплом месте» (*фр.*).

15.

«Люблю тебя, Петра творенье!» — из поэмы Пушкина «Медный всадник» (1833).

17.

«fur sich» — для себя (*нем.*).

TSF — telegraf sans fil, беспроволочный телефон (*фр.*).

18.

«Как я могу написать... дамы не было...» — Адамович неточно передает слова Л. Толстого из рассказа В. Микулич (Лидии Ивановны Веселитской; 1857–1936) о посещении Ясной Поляны в октябре 1893: «А вот я уже совсем не могу теперь писать беллетристики. Ну, как я буду рассказывать, что шла по Невскому дама в коричневом платье? А она никогда там не шла. Не могу уже этим заниматься. Совестно как-то...» (*Микулич В.* Тени прошлого. СПб., 1914. С. 52).

20 (IV).

Незадолго до публикации Адамович читал доклад на тему «Конец литературы» на очередном, семнадцатом по счету, собрании «Зеленой лампы» (Salle Debussy, 8, rue

Daru, 3 марта 1929). Отдельные положения доклада и легли в основу этого фрагмента «Комментариев». Спору с докладчиком посвятил свою очередную статью Марк Слоним:

«Как объяснить немоту, внезапно сковывающую уста поэта? Случайность ли она, вызванная чисто внешними обстоятельствами, или следствие того внутреннего процесса, который должен возникнуть в душе каждого, кто творит в слове? В середине своего жизненного пути почти все писатели останавливаются перед вопросом: зачем писать, для чего продолжать работу над стихом, над слогом или композицией? Очарование литературы перестает владеть ими: отказ, молчание кажутся им предпочтительнее, правильнее суетного лепета музы, красивость или красота оставляют их холодными, — и этот страшный перелом — знак гибели, конца литературы. Конца субъективного, разумеется, ибо в целом литература продолжается. Но, быть может, индивидуальное соответствует и общему, и не случайно, что мы переживаем в Европе какое-то разочарование искусством. Не только замыкаются уста у отдельных поэтов, как это было с Рембо или Малларме, но и падает притяжение искусства и вера в него, господствовавшие за последние пятьдесят лет. И, пожалуй, литература заканчивает тем же, к чему приходит и литератор: белой страницей.

Таковы основные положения доклада Г. В. Адамовича, прочитанного им в парижском кружке “Зеленая лампа”. В заключительном слове, возражая автору этих строк, докладчик указал, что едва ли не основным в его речи был тон. Мережковский назвал его “свирельным”: о конце мира пела свирель пастушка в рассказе Чехова. И действительно, безнадежностью были проникнуты слова Адамовича, и все казалось, будто заключил он себя в какую-то глухую и темную каморку, и нет выхода на Божий свет из этой добровольной тюрьмы.

Но дело, конечно, не в субъективной окрашенности изложения, а в правильности выводов.

Не приходилось бы спорить с Адамовичем, если бы о “молчании” в литературе он говорил как о трагедии, пе-

реживаемой теми или иными писателями, — потому ли, что они в литературе разочаровались, потому ли, что, наоборот, предъявляли к ней чересчур высокие требования. Но и здесь нужно было бы различать трагедию эстетическую — сознание бессилия в выражении своего внутреннего мира, внезапное омертвение литературных форм, ложь изреченной мысли, и — трагедию нравственную, когда к искусству подходят с моральными или социальными требованиями, и когда убеждение в том, что оно их не удовлетворяет, приводит к уходу из литературы.

Для первой особенно типичен Артюр Рембо <...> Совершенно иной характер носит уход Толстого или Гоголя. Они задают себе тот вопрос о цели и смысле искусства, который и в голову не приходил Рембо. “Зачем литература? Чему служит искусство?” — вот что их волнует больше всего. Им необходимо оправдать искусство перед лицом тех высших религиозных ценностей, которым они служат. Они не приемлют искусства-игры, как Шиллер. Они хотят, чтобы художество было столь же необходимо для человека, как вера или нравственное учение. Они к искусству подходят с точки зрения религиозного утилитаризма, и они отвергают его, если не находят ему места в системе тех идей и действий, которые ведут к единственной цели — духовному спасению личности. Искусство для них — величина подчиненная, второстепенная, и от него отказываются они подобно тому, как монах бежит прелести мирской. Аскетизм моральный приводит к иконоборству эстетическому. Но это не значит, что отринута всякая литература, что уничтожена всякая красота. Художество возможно только тогда, когда добро и красота сливаются, когда искусство из безделки превращается в насущный фактор человеческого восхождения и совершенствования.

Вопрос о моральной ценности искусства всегда стоял перед большими писателями, и каждый из них так или иначе отвечал на него и имел свою “эстетическую теорию”. Достаточно вспомнить Шиллера и Гете, Байрона и Леопарди, Флобера и Достоевского. Большинство из них преодолело свои сомнения и муки; впрочем, если бы

дело обстояло не так, то мы имели бы повсюду повторение Рембо и пепел рукописей, брошенных в огонь. То обстоятельство, что эти писатели продолжали творить, несмотря на возникавшую перед ними проблему о ценности искусства, показывает, что если не рационально, то органически, они этот вопрос перебороли и пережили. Те, кто не сделали этого, от литературы ушли. В этом отношении глубоко неправ Адамович, для которого, как будто, конец литературы, — точно неизбежный закон, которому подвержены избранные. Его можно понять так, будто это высшая ступень сознания, и ее достигают, пройдя через дешевый обман искусства, заплатив дань увлечения творчеством. Стоицизм отказа от литературы кажется ему и высоким, и всеобщим явлением <...>

"Зачем писать?" — спрашивает Адамович. Но тогда надо спросить шире, больше: зачем жить? Адамович воспользовался этими моими словами, чтобы бросить легкий упрек в наивности: "а вы знаете, зачем жить?" — задал он иронический вопрос оппонентам.

Но ирония эта не к месту. Так же не знаем, зачем жить, как не знаем, для чего писать. В конечном счете, ничего не знаем о смысле всех наших человеческих деяний или дум — если только во что-нибудь не верим, если не изобретаем смысла в мире, какого-то большого смысла, от которого начинают светиться все маленькие частные смыслы <...>

Настроения, выраженные Адамовичем, законны для него одного. Отказ и иной раз и самосжигание — факт общеизвестный. Можно утверждать, что чересчур преувеличены его обобщения о разочаровании, снедающем якобы европейскую литературу, потерявшую прежнюю восторженную веру в искусство, но доля правды в этих утверждениях имеется. Но только надо прибавить, что явление это распространяется в определенной среде, что оно ограничено во времени, что оно как бы сопровождает ту смену литературных направлений, которая происходит в Европе и которую можно кратко назвать крахом эстетизма <...>

Не отказом и немотой будет побеждена угроза литературе, если таковая действительно имеется, а преодолением и возвышением. Другого пути не может быть ни отдельного художника, ни у искусства в целом <...>» (*Слоним Марк.* Литературный дневник: Гибель литературы: От эстетизма к художественной значительности // Воля России. 1929. № 3. С. 53-63).

Комментарии <III>. — Ч. 1930. № 2/3. С. 167-176.

В очередной порции «Комментариев» эмигрантские критики обратили внимание прежде всего на тему смерти. Георгий Федотов: «Г. Адамович роет, сверлит, закладывает мины <...> усваивает себе гностический миф о том, что “мир вырвался к бытию против воли Бога”. Отсюда в душу закрадывается соблазн: — не надо ли “погасить мир”, то есть на это “работать”. Из этого соблазнительного мифа может вытекать и отречение от культуры» (*Федотов Г.* О смерти, культуре и «Числах» // Ч. 1930/1931. № 4. С. 143-148).

Аналогично восприняла публикацию Зинаида Гиппиус в «Литературных размышлениях»: «Не действовать ли так, чтобы “погасить” мир? Не это ли — действие “в верном направлении”? Адамович лишь спрашивает, но Поплавский уверен» (Числа. 1930/1931. № 4. С. 155. Подп.: Антон Крайний), а также Марк Слоним: «Тема смерти оборачивается в “Числах” темой нирваны. Для Адамовича является соблазн “погасить мир”, вернее, работать над этим» (*Слоним Марк.* О «Числах» // Новая газета. 1931. 15 марта. № 2. С. 3).

Борис Поплавский усмотрел в тезисах Адамовича «христианскую аскезу <...> воинствующее христианство, борющееся с грехом» (*Поплавский Б.* По поводу «новейшей русской литературы» // Ч. 1930/1931. № 4. С. 167).

Кроме того, очередная порция «Комментариев» обсуждалась молодыми литераторами на вечерах, посвященных очередному номеру «Чисел»: на вечере «Кочевья» о них говорил в своем докладе А. Эйснер (*Эр.* Вечер «Кочевья» // Ч. 1930/1931. № 4. С. 257-258), на вечере Союза молодых поэтов — Ю. Софиев и Л. Кельберин в своих вы-

ступлениях (*Закович Б. Г.* Вечер Союза молодых поэтов // Ч. 1930/1931. № 4. С. 258–259).

А. Бем, возмущенный «Комментариями» в первом и втором-третьем номерах «Чисел», особенно «противоположением Лермонтова Пушкину» и рассуждением о том, что «Пушкин иссякал», а также выражением «гершензоновская ахинея», написал в качестве опровержения целую статью, которая положила начало многолетней односторонней полемике А. Бема с Адамовичем. (О попытках А. Бема участвовать в полемике между Ходасевичем и Адамовичем подробнее см.: *Задражилова М.* Безответный триалог // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами... Сборник докладов. Прага, 1995. С. 181–196). Статья Бема, посвященная «Комментариям», ниже приводится целиком.

А. Бем. **Культ Пушкина и колеблющие треножник**

В русском национальном самосознании гений Пушкина утвержден бесповоротно. После пророческой речи Достоевского возвращаться к этой теме уже не приходится. Тут все сказано, и можно только стремиться глубже проникнуть в тайну, оставленную нам Пушкиным. Со времени исторической речи Достоевского о Пушкине русская критическая мысль много сделала из завещанного ей. Но остался невыполненным еще один завет, который лежит на нашем поколении и едва ли не на нас, — русской эмиграции. Я имею в виду приобщение Запада к постижению гениальности Пушкина. Только тогда, когда этот круг будет завершен, мы сможем сказать, что Пушкин не только наш национальный гений, но и русский гений всечеловечества. Рано или поздно это будет признано, словесно часто признается и сейчас, но далеко еще не вошло в сознание в той мере, как стало, например, с Сервантесом, Данте, Шекспиром и Гете.

Наше изгнание поставило нас в новые отношения к Европе. Мы входим в ее повседневную жизнь, соприкасаемся, каждый в своей области, с ее верхним культурным слоем в порядке будничного общения. Я знаю, что все мы

с чувством большого огорчения говорим о замкнутости западной жизни, о невозможности проникнуть в тщательно отгораживаемый мир чужой жизни. Жалобы имеют свои основания, но все же — этого нельзя отрицать — за прошедшие годы почти у каждого завязались какие-то связи, почти каждый приносит в западную жизнь свое понимание явлений русской культуры. Это общение нередко принимает более устойчивые формы, напомню хотя бы «франко-русские встречи» в Париже. Только что отпразднованный «День русской культуры» является тоже показателем роста наших культурных связей. Участие иностранцев в этом празднестве становится явлением обычным. И все это создает весьма благоприятную обстановку для сознательного утверждения культа Пушкина на Западе.

И прежде всего — среди народов славянских. На торжественном собрании в «День русской культуры», устроенном чехами в Праге, проф. Милош Вейнгарт в своем приветственном слове от имени Славянского института выразил радость, что русская интеллигенция все чаще рассматривает торжество русской культуры как торжество культуры славянской, что праздник культуры русской становится тем самым праздником культуры славянской. И утверждение гения Пушкина есть торжество не только русское, но и всеславянское. Разве может подлежать сомнению, что славянство имеет своего, столь же бесспорного гения, как и немецкая литература в лице Гете? Но, в отличие от немцев, славянству не хватает внутренней спайки и сознания огромности значения этого факта. В привитии этого сознания нужна воля и настойчивость. Большие успехи в изучении Пушкина, сделанные за последние десятилетия русской историко-литературной наукой, увеличивают и на Западе интерес к Пушкину. Свидетельством являются такие специальные работы, посвященные Пушкину, как, например, книга проф. Вацлава Ледницкого (Краков, 1926). Еще показательнее новые переводы из Пушкина. Один уже только перевод «Медного всадника» Юлианом Тувимом является огромным шагом на пути такого утверждения гения Пушкина среди славянства.

Я уверен, что недалек тот день, когда «Маленькие трагедии» Пушкина станут открытием для Европы, таким же открытием, каким недавно явилась «Пиковая дама» для французов после появления нового ее перевода. Надо сделать только еще одно усилие, надо с очевидной убедительностью показать, что уже весь Достоевский, со всей его проблематикой, был дан в Пушкине, чтобы Запад понял всю непререкаемость его гениальности. Но для этого надо самим быть убежденным в этой последней глубине пушкинского гения.

Вот тут-то и наступает наша обычная несостоятельность перед возложенной на нас историей задачей. Как раз в тот момент, когда усилиями целого поколения «пушкинистов» подготовлена была почва для более широких обобщений, когда подошло время для синтеза, в это время — именно среди тех, кто должен был нести весть Пушкина в Европе, — раздаются голоса не только сомнения в Пушкине, но и произносится прямая хула на него.

Уже В. Ходасевич в своем недавнем фельетоне (см. «Возрождение» от 28-го мая) дал должную отповедь тем, кто не понимает значения научно-исследовательской работы над Пушкиным. Подхихикивание и подтрунивание над «анализом поджелудочной железы теток Пушкина» лишний раз показывает, до какой меры мы не умеем ценить умственного труда, до чего мы пропитаны «нигилистическим» отношением к нашим культурным ценностям.

Но, кроме этих выводов, в конце концов не заслуживающих особого внимания, намечается и прямой поход против Пушкина, напоминающий собою недоброй памяти «писаревщину». Теоретиком этого нового антипушкинского движения является Г. Адамович, а органом, его приютившим, — журнал «Числа». Уже давно, насколько помню, еще в 1928 г., на страницах покойного «Звена» Г. Адамович сделал вылазку против Пушкина в связи с отзывом о Пастернаке. Но тогда он снабдил свое мнение типичным для него «кажется». Помнится, он тогда писал, что «...кажется, мир сложнее и богаче, действительно, чем представлялось Пушкину». Это «кажется» я хорошо помню по реп-

лике В. Ходасевича в его ответной статье: «если кажется — перекрестись!» Но Г. Адамович предпочел не креститься, а отбросить это «кажется». И вот в «Числах», начиная с первой книжки, он ведет свой подкоп против Пушкина. Осмелел он с тех пор чрезвычайно. Ему ничего не стоит мимоходом сказать «барабанное»... «люблю тебя, Петра творенье», безапелляционно заявить, что в «“Медном всаднике” нет уже внутренней уверенности». Невольно поражаешься, почему критик, столь робкий в своих суждениях по отношению к своим современникам, так необычайно отважен в «низвержении кумиров». Но и к своим предшественникам, уже сошедшим в могилу (к живым, особенно живущим под боком, он очень мягок), Г. Адамович относится с большим презрением. Работы Гершензона о Пушкине для нашего критика просто «гершензоновская ахинея». Но что же представляют утверждения самого Г. Адамовича, противопоставленные этой «ахинее»?

Видите ли, Пушкин для Г. Адамовича слишком «прост», недостаточно сложен, до подозрительности ясен. Его литературная непогрешимость, словесное совершенство, в сущности, привели и его самого, и всю русскую литературу в тупик... «Вот мы читаем “Безумных лет...” — нечто вполне законченное, закругленное, скорее “вещь”, чем “мир”. А дальше что? Именно то, что раньше пленяло, теперь стало смущать, ибо этот “дивный состав” все-таки чем-то подкрашен, чтобы даже на цвет быть таким приятным, чем-то все-таки подслащен, чтобы убит в нем был горький, извечный привкус творчества... Нет выхода для “дальше”, это не оборванная линия, а круг, все само в себя возвращается, все само себе отвечает...» Восприятие чужого творчества, конечно, субъективно, и тут ничего не поделаешь. Приходится только удивляться, как Г. Адамович, поэт с несомненным поэтическим дарованием, может так поверхностно воспринимать Пушкина. Утверждать, что Пушкин «прост», т. е. недостаточно глубок в своей поэзии, это значит просмотреть Пушкина, с его — и это с самых первых шагов творчества — неустанным тяготением к темам смерти, совести, самозванства, преступления, страс-

ти и индивидуализма. Напоминать об этом как-то неловко, особенно сейчас, когда до такой степени стала ясна связь «Преступления и наказания» с «Пиковой дамой», «Подростка» со «Скупым рыцарем», когда «Маленькие трагедии» воспринимаются как самые насыщенные драмы человечества. Для Г. Адамовича это — «гершензоновская ахинея», он никаких «мировых бездн» в Пушкине не обнаружил. По его убеждению, «в плоскости “знающих”, средь детей ничтожных мира, Пушкин нисколько не замечателен и, если “мировые бездны” у Пушкина имеются, то, признаемся, это бездны довольно скромные». Каждому дано видеть только то, что он может видеть. Достоевский, Мережковский, тот же Гершензон, и многие другие (напомню, кстати, небольшую, но очень значительную книжечку Д. Дарского «Маленькие трагедии Пушкина», 1915 г.) эту глубину Пушкина не только увидели, но сумели и нам показать. Наконец, там, где отпадает уже субъективность, в области историко-литературной науки, удалось установить, что русская литература в ее самых сложных проблемах укоренена в Пушкине.

Еще характернее другое утверждение Г. Адамовича. Он пришел к выводу, что Пушкин сам себя исчерпал в своем творчестве, что литературная его смерть опередила его трагическую гибель. Тридцатые годы — это уже не годы расцвета Пушкина, а его увядания. «Пушкин иссякал в тридцатых годах, и не только Бенкендорф с Натальей Николаевной тут повинны. Пушкина точил червь простоты. Не талант его ослабел, — нет. Но, по-видимому, не хотелось ему того, чем этот талант удовлетворялся раньше, мутило от неги и звуков сладких, претил блеск... “Полтава” еще струится, играет, “блистает всеми красками”. Но в “Медном всаднике” нет уже внутренней уверенности. Рука опытнее, чем когда бы то ни было, но ум и душа сомневаются, и все чуть-чуть, чуть-чуть отдает будущим Брюсовым. А в последних стихах нет даже и попытки что-либо от себя и других скрыть». Для всякого, кто занимался Пушкиным, в этих обобщениях Г. Адамовича все полно противоречий и заставляет предполагать или легкомыс-

лие, или желание быть пооригинальнее, или простое незнание Пушкина. Ведь тридцатые годы — это Болдинская осень, вершина творческих достижений и постижений поэта, это — «Не дай мне Бог сойти с ума», «Странник», «Отцы-пустынники», «Когда за городом задумчив я брожу...», чтобы назвать только главнейшее, что вспомнилось. Почему — «оставалась только проза»? Разве в прозу Пушкин бежал от стихов? Разве «Арап Петра Великого» писался в период «иссякания» поэтического таланта Пушкина? Пушкин «соскальзывал с одной ступеньки на другую», и поэтому и в прозе его ждало неизбежное снижение. В этом Г. Адамович уверен, хотя для прозы даже он не может найти внешних признаков такого ослабления творческого дара Пушкина.

Что может быть ошибочнее, чем утверждение, что жизнь Пушкина оборвалась тогда, когда его поэтический путь приходил к концу. «Что было бы дальше, — вопрошает Г. Адамович, — если бы Пушкин жил, — кто знает? — но пути его не видно, пути его нет (в противоположность Лермонтову)». Это противоположение Лермонтова Пушкину, как начала живого, творчески жизненного началу замкнутому, не дающему выхода творческому напряжению — это показательно для небольшой группки современной критики. Мне когда-то пришлось проделать специальную работу по изучению т. н. «самоповторений» в творчестве Лермонтова. Эта работа привела меня тогда к выводу, что именно Лермонтов в своем поэтическом творчестве необычайно статичен, что в противоположность Пушкину, все время развивавшемуся, Лермонтов стоит почти на одном уровне. Под непосредственным впечатлением этих выводов, я назвал тогда Лермонтова «окаменевшим гением». Сейчас я, вероятно, формулировал бы несколько осторожнее свои выводы, но в основном я остаюсь при своем убеждении. Если уже высказывать предположения — «что было бы дальше», то больше оснований говорить о тупике у Лермонтова, чем у Пушкина.

Наконец, о хуле на Пушкина. Так, мимоходом, в виде афоризма, Г. Адамович бросает в своей статье мысль, что

собственно пушкинское совершенство не столько объективная его заслуга, сколько «литературная удача». А Б. Поплавский подхватывает эту мысль и дополняет ее: «...все удачники жуликоваты, даже Пушкин». И затем, в полное противоречие себе, но, очевидно, для некоторой пряности, под пушкинскую ясность и простоту подводится Г. Адамовичем мина. Пушкин это «чудо» — но чудо — «непонятно-скороспелое», подозрительное, вероятно, с гнильцой в корнях, — ибо без этого слишком уж непонятное, — на веки веков канонизируется ее главной, единственной, важнейшей вершиной.

Так мы подходим к концу. В основе новой «писаревщины» лежит все тот же наш интеллигентский нигилизм. Мы смертельно боимся всякого культа, всякой канонизации. Для нас это равносильно застою и смерти. «Алтарь» вызывает прежде всего потребность низвергнуть божество и поколебать треножник. Неужели мы никогда и не поймем, что без культа прошлого нет и достижений будущего. Пушкин, действительно, высочайшая вершина нашего национального гения, и в этом можно только черпать веру в наше будущее. «Пушкин наше все», — это было убеждением всей жизни Достоевского, и убеждение это не помешало ему самому стать выразителем русского гения для Запада. Неужели его правде мы должны предпочесть «правду» Г. Адамовича? (Руль. 1931. 18 июня. № 3208).

На спор о Пушкине отозвались и в СССР. Не упоминая имен, В. Ермилов писал: «Центральной литературной проблемой, занимающей “сливки” эмиграции, является сейчас проблема: Пушкин или Лермонтов? Тут, впрочем, нет дискуссии: в один голос белогвардейские критики и писатели доказывают, что Пушкин, собственно, просто пошляк, не понимающий “трагедийности” жизни, вульгарный “краснощекий” оптимист, — а Лермонтов — это настоящий художник, понимающий “трагедийность”» (*Ермилов В.* За работу по новому // Красная новь. 1932. № 5. С. 161–162).

Комментарии <IV>. — Ч. 1931. № 5. С. 144–147. Подп.: Г. А.

Рецензенты очередного номера «Чисел» особое внимание обратили на «Комментарии» даже несмотря на то, что на этот раз они не были подписаны полным именем: «Обзор третьей книги “Чисел” следует, пожалуй, начать с маленькой заметки Г. А. “Проблема критики”, являющейся продолжением, а вероятнее всего, заключением спора о том, возможна ли в наших условиях правдивая литературная критика. Автор разделяет общепризнанный взгляд, что такой критики у нас не существует, и по-человечески просто объясняет это тем, что иной раз совершенно невозможно сказать настоящую правду» (*Литовцев С.* Числа // ПН. 1931. 2 июля. № 3753. С. 3).

На очередную порцию «Комментариев» вновь отозвался А. Бем: «“Комментарии” Г. Адамовича меня, по крайней мере, раздражают несоответствием литературной формы с их внутренним содержанием. Это эстетствующее перебрасывание мыслями, над содержанием которых нельзя не задуматься, это сочетание плоского бессмыслия с глубокими мыслями, это снобское неуважение к читателю и самолюбование собою находится в таком глубоком несоответствии с нашей трагической, по самому существу своему, эпохой, властно требующей своего строгого и сурового в своей трагичности стиля, что вызывает непроизвольное чувство отталкивания» (*Бем А.* «Числа» // Руль. 1931. 30 июля. № 3244).

Позже А. Бем, перечисляя немногочисленные запомнившиеся ему публикации эмигрантских критиков, назвал только фельетоны Ходасевича и «вызывающие на отпор, но интересные и не лишенные остроты “Комментарии” Г. Адамовича в “Числах” <...> Остальное проваливается куда-то в серые будни эмигрантской жизни» (*Бем А.* «Магический реализм» // Молва. 1932. 2 октября).

28.

Буало-Депрео Никола (Boileau-Despreaux; 1636–1711) — французский поэт, теоретик классицизма (трактат в стихах «Поэтическое искусство», 1674). Оказал большое влияние на эстетическую мысль и литературу XVII–XVIII вв. многих европейских стран.

Лессинг Готхольд Эфраим (1729–1781) — немецкий драматург, теоретик искусства и литературный критик Просвещения. Отстаивал эстетические принципы просветительского реализма («Лаокоон», 1776; «Гамбургская драматургия», 1767–1769).

«Taine, qui ne comprenait absolument rien...» — «Тэн, который не понимал абсолютно ничего...» (*фр.*).

Рокфеллер Джон (1839-1937) — американский миллионер, основатель одной из крупнейших финансово-промышленных групп США.

29.

cogito ergo sum — мыслю, следовательно, существую (*лат.*). *ergo* — следовательно (*лат.*).

30.

...о рожке пастуха над умирающим Тристаном... — в сцене I третьего действия оперы Вагнера «Тристан и Изольда» (1859).

Эти слова я слышал от одного знаменитого музыканта... — Знаменитым музыкантом был Игорь Федорович Стравинский (1882–1971), с которым Адамович встречался на вилле своей тетки в Ницце. См. об этом: *Адамович Г.* Встречи с Игорем Стравинским // НРС. 1970. 20 апреля; то же: РМ. 1970. 22 апреля.

32.

Ницшевское замечание о писании кровью... — Имеется в виду афоризм Ницше из книги «Так говорил Заратустра» (1883–85): «Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью — и ты узнаешь, что кровь есть дух» (*Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 28).

Комментарии <V>. — Ч. 1933. № 7/8. С. 153–165.

33.

arriere gout — привкус (*фр.*).

34.

«Je me fais coiffer par Тютькин» — «Меня причесывает Тютькин» (*фр.*).

Этот Тютькин в свое время многих поразил... — См., например, у К. Леонтьева в статье «Анализ, стиль и веяние»: «Минутный проблеск смешного, веселого и добродушного посреди всех ужасов душевного смятения. Это часто случается, особенно с людьми живого характера; в самые жестокие минуты жизни приходит неожиданно на ум какой-нибудь забавный и веселый вздор. Но связи с будущим действием это верное и тонкое наблюдение не имеет» (*Леонтьев К.* Собр. соч. М., 1912. Т. 8. С. 254).

«Я лютеран люблю богослуженье...» — заглавная строка стихотворения (1834) Тютчева.

35 <XI>.

...новоградско-утвержденская модернистическая кашка... — Адамович имеет в виду идеологию христианского социализма, которая пропагандировалась редакцией журнала «Новый град» (Париж, 1931–1939. №№ 1–14. Под ред. И. Бунакова, Ф. А. Степуна и Г. Федотова) и в какой-то мере разделялась редакцией «органа объединения пореволюционных течений» «Утверждения» (Париж, 1931–1932. №№ 1–3).

Комментарии <VI>. — СЗ. 1935. № 58. С. 319–327.

Ознакомившись с этими фрагментами, А. Бем написал еще одну статью, которая ниже приводится целиком:

А. Бем. Исповедь «героя нашего времени»
(О «Комментариях» Г. В. Адамовича):

Комментарии» Г. Адамовича из «Чисел» перекочевали в «Современные записки» (см. книгу 58-ю). На страни-

цах этого «общественно-политического» журнала острые, почти «розановские» — по скрытому в них яду — строки размышлений Г. Адамовича вызывают совершенно другие чувства. Невольно ищешь примечание редакции, в котором она себя отгораживает от мыслей, высказываемых в статье. Но этого примечания нет. Оно оказалось зато под статьей Г. Федотова, сравнительно безобидной. Кажется, редакция так и не заметила, что «Комментарии» Г. Адамовича задевают уже не только репутацию «отдельных эмигрантских группировок», а ставят под вопрос ценность и смысл существования каких бы то ни было группировок вообще. Да не подумает читатель, что я призываю «Современные записки» к бдительности и обращаю внимание редакции на проникновение «идеологически чуждого» материала на страницы журнала. Нет, я очень ценю «Комментарии» Г. Адамовича и рад, что после длительного перерыва они снова появились. Хотелось только отметить, что по-иному воспринимаются они на страницах «Современных записок» и по-иному приходится их оценивать. Если в «Числах» они могли рассматриваться как остро поднесенные афоризмы, то теперь они становятся явлением порядка общественного, с которым необходимо считаться всерьез.

Меня, однако, «Комментарии» интересуют сейчас исключительно как особый род литературных произведений. Им принято давать заглавие «исповедь» или «записки». То, что автор их назвал «Комментариями», меня мало смущает. Ведь в литературе уже не раз (вспомним хотя бы «Признания» Мюссе или «Героя нашего времени») исповедь выдавалась за «портрет, составленный из пороков всего поколения, в полном их развитии». Кажущиеся столь объективными размышления Г. Адамовича о судьбах нашей эпохи — тоже только исповедь «раненого сердца» (да простится мне этот сентиментальный эпитет). Его желание выдать свою личную (говорю не о Г. Адамовиче, а о герое «Комментариев») духовную болезнь за «болезнь века» мне понятна, но верить ему как критик я не обязан.

Герой «Комментариев» не любит, когда говорят о «разложении» («ходкое сейчас — и глупое — слово «разложение»), но сам о нем то и дело говорит. И вполне законно: ибо основной симптом его болезни — это «распад» личности, потеря единства, целостности. Он, конечно, проецирует этот распад вовне, перенося свое личное на современного человека вообще. Одна мысль, что может существовать «целостная» психология, что возможна психическая собранность м единство, приводит его в раздражение. Чтобы собрать распавшееся, надо, не без презрения говорит герой исповеди, «снова стать земским врачом». Распад личности, по его убеждению, в условиях европейской культуры сегодняшнего дня не только неизбежен, но и законен. Законен, ибо в основе кризиса культуры лежит «исчезновение или убыль христианства». Итак, другой симптом — и чрезвычайно существенный: неверие, невозможность осмыслить жизнь, найти ей высшее оправдание. Что наряду с процессом «убыли» христианства идет и другой процесс — его углубления, этого «дитя века» опять не видит и каждого, кто позволит себе высказать такую мысль, немедленно низведет в «земские врачи» или в «барабанные» оптимисты. От всякого здоровья его мутит, как здорового от гнильцы.

Душевно опустошенный, он свою «роковую пустоту» распространяет на весь мир. И те, кто ищет выхода на путях оздоровления, а не «загнивания», для него превращаются в «охранителей», в слепцов, которые не понимают роковой болезни. Отсюда и своеобразное презрение нашего героя к тому, что он именует «активизмом». Ведь активизм — это вера в победу здоровых начал над больными, это убеждение в возможности сознательными усилиями воли остановить процесс гниения и распада. Такая вера вызывает в нем не только презрительное пожимание плечами, но и простое отталкивание*. Посмотрите, как в «Коммента-

---

* Такое чисто психологическое отталкивание очень ярко сказалось в недавней заметке Г. Адамовича о выступлении В. Смоленского на вечере, посвященном теме «непримиримости» (см. «Последние новости» от 1-го июня). Вполне понятен отпор, ко-

риях» изображается все то, что носит положительный, творческий характер. Все, что связано с понятиями патриотизма, охраны традиций, с готовностью к их защите встречается со скептической усмешкой и берется под подозрение. Допустить, что есть люди, для которых за этими понятиями сохранился полновесный смысл, что среди этих людей могут быть и такие, которые вовсе не утратили способности различать «смрад и гной» (хотя, может быть, находят их не там, где их ищет автор исповеди), допустить этого он никак не может.

Самый простой способ борьбы с противником — сделать себе чучело, его изображающее, и наносить ему удары. Победы это не дает, но самоудовлетворение получается вполне. Такое чучело автор себе изготовил и прикрепил к нему ярлык: «охранитель». С ним он победоносно расправляется. Охранитель-де не видит, что внутри организма больного гной и «нужно сделать разрез, хотя снаружи ничего не видно». «Приверженцы цельности (сколько опять презрения!) согласны на цельность с гноем внутри, а чем это может кончиться, им как будто и безразлично. Были бы крепкие, здоровые, лучше всего "национальные" (непременно в кавычках!) чувства. Была бы "непримиримость", хотя бы и звериная. Были бы звонкие фразы. Был бы там, в глубине, старый застоявшийся смрад, — и шагали бы с поднятой рукой какие-нибудь неоударники, торжествовало бы "волевое начало", под безмятежный звон ко всему привыкших православных колоколов». Сколько внутреннего раздражения, сколько зависти об утраченной цельности, сколько боли, да, боли — от невозможности приобщиться к «здоровым процессам жизни»*. Ведь стилисти-

торый эта заметка вызвала в печати. К сожалению, выступление газеты «Возрождение» по этому поводу носило совершенно недопустимый характер.

* Ради Бога, не подсовывайте мне только «гитлеризма»: под «здоровыми процессами» я понимаю способность сопротивления организма. Стилизация под «гитлеризм» с «поднятой рукой» это и есть «чучело», которое себе для большего удобства изготовил автор «исповеди».

чески это близко к «Запискам из подполья». И этот почти бред больной души «нового человека» выдается за «комментарии» к современности, за объективный анализ нашей действительности! Понятно, что этот бред переходит в апофеоз «разложения». И с каким восторгом упоения преподносится эта задача «разложения» всего, что носит хотя бы тень веры в возможность здорового преодоления болезни. «О да, это надо “разложить”. И не только это, в такой именно форме — но и все родственное, как бы оно ни называлось, в искусстве, в культуре, в литературе...» Конечно, наш герой, волоча на сожжение чучело ненавистного ему «чемберлена», сам в петлицу вдел «незабудку нежности». Да, разложить, но только «из верности тому, что достойно верности, и, как сказано где-то у Рильке, «за мировую нежность против мировой грубости», потому что в ней, в нежности — жизнь, все лучшее, «печаль и музыка мира». Однако, цену этим «незабудкам нежности» мы знаем. Неслучайно герой с упоением декламирует стихи:

Оставь меня. Мне ложе стелет скука.
Зачем мне рай, которым грезят все?
И если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе?

Не в плане художественном, а как выражение жизненной программы воспринимаются эти стихи. И опять — обобщение: вместо «я» уверенное «мы». «Это мы говорим вовсе не в припадке безнадежного, декадентски хмельного восторга, с готовностью тут же сдать позиции. Нет — с твердым сознанием торжества, победы и бессмертия».

От чьего лица эта гордая тирада? Откуда эта убежденность в право на «бессмертие»? В плане личном это звучало бы для Г. Адамовича и нескромно, и слишком «приподнято». Для «исповеди» это почти неизбежная черта, без которой образ героя был бы неполон. Именно «манифестом» должен был закончить свою исповедь наш герой.

«Комментарии», даже в их отрывочном виде, лучшее из всего, что до сих пор написал Г. Адамович. Это подлинное художественное произведение, дающее цельный,

законченный образ «героя». Его идеология нам чужда. Но стоит ли спорить с идеологией «героя» художественного произведения? Это значило бы отождествлять его с автором «Комментариев». На этот путь я отнюдь не намерен вступать (Меч. 1935. 21 июля. № 28).

Комментарии <VII>. — Круг. 1938. № 3. С. 133–138.

55.

У Алданова есть в «Началах и концах»... — Первая часть романа Алданова «Начало конца» была опубликована парижским издательством «Русские записки» в 1939 году, вторая часть печаталась с сокращениями в «Современных записках» (1939–1940. № 68–70), пропущенные главы и окончание напечатаны уже во время войны (НЖ. 1942. № 2–3). Первое полное издание романа вышло в переводе на английский язык: *Aldanov M.* The Fifth Seal. Transl. by N. Wreden. London: Cape, 1946. На русском языке полное издание впервые напечатано лишь недавно: *Алданов М.* Сочинения. В 6 книгах. Кн. 4.: Начало конца. М.: АО «Издательство "Новости"», 1995.

«человек с шу» — герой романа Вермандуа так трактовал это понятие: «У китайцев есть будто бы понятие шу, означающее уважение: не уважение к чему-нибудь в отдельности, а уважение к жизни, ко всему, за все, или, вернее, способность уважения вообще. С каждым годом Вермандуа все лучше понимал и значение этого понятия, и то, что сам он был от природы человек без шу» (*Алданов М.* Сочинения. В 6-ти книгах. Кн. 4.: Начало конца. М.: АО «Издательство "Новости"», 1995. С. 73).

Комментарии <VIII>. — СЗ. 1939. № 69. С. 265–271.

56.

«Ah, tout est bu, tout est mangè, plus rien á dire» — «Все выпито, все съедено, больше сказать нечего» (*фр.*). Из стихотворения Верлена «Томление» (1883).

...Пушкин... покрикивавший от удовольствия после «Бориса Годунова»... — В письме Вяземскому от 7 ноября 1825 года Пушкин писал: «Трагедия моя кончена; я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

...какой получилась бы у Пушкина «Война и мир»... — Имеется в виду пространное рассуждение К. Леонтьева в статье «Анализ, стиль и веяние», где он вывел, что в «Войне и мире» Л. Толстого «нас подчиняет не столько дух эпохи, сколько личный гений автора», в пушкинском же романе «мы подчинились бы, вероятно, в равной мере и гению автора, и духу эпохи... И лица, и "веяния", и сами изображенные люди, и личная музыка их творца-рассказчика — дышали бы не нашим временем» (*Леонтьев К.* Собр. соч. М., 1912. Т. 8. С. 328–331).

«Холодный ключ забвенья» — из стихотворения Пушкина «Три ключа» (1827).

contra — против (*лат.*).

«человеческое, слишком человеческое» — Книгой под названием «Человеческое, слишком человеческое» (1878) Ницше ознаменовал разрыв с Вагнером, а также христианством, эллинством и метафизикой.

58.

«A consommer de suite» — Употреблять сразу (*фр.*).

«Жанна д'Арк, оратория... Клоделя» — Имеется в виду опера-оратория французского композитора Артюра Онеггера (1892–1955) «Жанна д'Арк на костре» (1935) на слова Поля Клоделя.

...с лас-казовской трибуны... — Объединение писателей и поэтов в Париже устраивало вечера поэзии в зале Социального музея (5, рю Лас-Каз).

59.

«кровь его на нас и на детях наших» — Мф. 27, 25.

60.

«помоги моему неверию» — Мк. 9, 24.

«Да не смущается сердце ваше...» — Ин. 14, 1.

Из записной книжки <I>. — Новоселье. 1946. № 29-30. С. 74-78.

63.

«родилась в передней и не пошла дальше гостиной» — неточная цитата из ранней редакции статьи Пушкина «О ничтожестве литературы русской» (1834). У Пушкина: «французская словесность родилась в передней и дальше гостиной не доходила».

64.

Неназванный по имени герой этого фрагмента — явно Д. С. Мережковский.

66.

«Ces beaux jours de cristal du debut de l'automne...» — «Эти прекрасные дни хрустального начала осени...» (досл. пер. с фр.).

«День как бы хрустальный...» — из стихотворения Тютчева «Есть в осени первоначальной...» (1857).

Так взял он у Паскаля мыслящий тростник... — См. стихотворение Тютчева «Певучесть есть в морских волнах...» (1865) и «Мысли» Паскаля (*Паскаль Блез*. Мысли / Пер. П. Д. Первова. СПб., 1888. С. 47; *Паскаль*. Мысли о религии / Пер. С. Долгова. М., 1892. С. 26).

67.

«Опыты» Брюсова — Имеется в виду книга: *Брюсов В.* Опыты по метрике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам: (Стихи 1912-1918 г.) / Со вступ. ст. авт. М.: Геликон, 1918.

Il n'en faut jamais — Вот этого не надо (*фр.*).

Из записной книжки <II>. — Новоселье. 1947. № 33-34. С. 102-106.

73.

Огоньки впереди, как у Короленки... — Имеется в виду популярное в начале века стихотворение в прозе Королен-

ко «Огоньки» (1900): «Свойство этих ночных огней — приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своей близостью... Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, и они еще далеко. И опять приходится налегать на весла... Но все-таки... все-таки впереди — огни!» (*Короленко В. Г.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1953. Т. 1. С. 379).

75.

...с вечной своей Лелей... — Неназванный по имени герой этого фрагмента — эмигрантский прозаик Юрий Фельзен (наст. имя Николай Бернардович Фрейденштейн; 1894–1943), связанный с Адамовичем давними дружескими отношениями. Леля — его возлюбленная и героиня большинства его произведений.

Из записной книжки <III>. — Новоселье. 1949. № 39-41. С. 144–149.

79.

...князь Андрей слушает, как поет Наташа... — в романе Л. Толстого «Война и мир» (Т. 2. Ч. 3. XIX).

81.

«Я ищу свободы и покоя» — из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

«Покоя нет... покой нам только снится» — из первого стихотворения блоковского цикла «На поле Куликовом» (1908).

82.

«Tout ce qui est exagere est insignifiant» — «Все, что преувеличено — несущественно!» (*фр.*).

84.

«Я не хочу истины, я хочу покоя» — из книги В. Розанова «Уединенное» (СПб., 1912).

«Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти» — из книги В. Розанова «Уединенное» (СПб., 1912).

«*Разрушающий и созидающий миры*. По поводу 80-летнего юбилея Толстого» (Русская мысль. 1908. № 1), «*Дерзновения и покорности*» (СЗ. 1922. № 13; 1923. № 15) — работы Льва Шестова.

91.

«*sublime*» — «возвышенное» (*фр.*).

Le sublime chez Racine. Le sublime chez Victor Hugo — Возвышенное у Расина. Возвышенное у Виктора Гюго (*фр.*).

Комментарии <IX>. — О. 1953. № 1. С. 93–106.

Очередная порция «Комментариев», впервые появившаяся после войны в популярном литературном издании, вновь вызвала многочисленные полемические выступления.

Григорий Аронсон отметил, что «Комментарии» Адамовича, как всегда его статьи, талантливы и могли бы по-новому поставить ряд вопросов и о литературе, и о жизни. Но есть какая-то «червоточина» в рассуждениях критика, что-то «розановское», лукавое и соблазнительное» (*Аронсон Г.* Опыты. Книга первая // НРС. 1953. 24 мая. № 15002. С. 3).

По мнению Юрия Терапиано, «несмотря на очень много верных и острых замечаний Г. Адамовича по поводу Достоевского, он все-таки прошел как-то мимо главного в Достоевском — его муки в поисках Бога, его стремления верить» (*Терапиано Ю.* По журналам // НРС. 1953. 19 июля. № 15058. С. 8).

Кирилл Померанцев, напротив, именно рассуждения Адамовича о Достоевском счел «самым интересным в “Комментариях”, которые, по его мнению, несут на себе отпечаток “интеллигентского социального заказа” <...> всецело принадлежат дореволюционному времени и пространству» (*Померанцев К.* Зарубежная литература и современность // Возрождение. 1953. [Ноябрь—декабрь]. № 30. С. 170–74).

Комментарии <X>. — О. 1954. № 3. С. 94–114.

По отзыву Г. Аронсона, «Комментарии» Г. Адамовича, на этот раз посвященные только частично литературе и сосредоточенные главным образом на размышлениях политического характера (о революции, о феврале и октябре, о диктатуре и свободе и пр.), не все равноценно интересны. В сущности, все это больше постановка вопросов, чем ответы» (*Аронсон Григорий*. Опыты. Книга третья // НРС. 1954. 18 апреля. № 15331. С. 8).

106.

Fais energiquement ta longue et lourde tache, / Puis un jour, comme moi, souffre et meurs sans parler. — Упорно и тяжело трудись, потом, как я, страдай и умри молча (*фр.*).

Комментарии <XI>. — О. 1956. № 6. С. 38–51.

Редактор «Опытов» Ю. Иваск сопроводил «Комментарии» своими «Заметками читателя», восхищенный тем, что у Адамовича «за каждым его словом есть реальность, есть отклик-отзыв. Он всегда будит мысль... Вызывает спор, дискуссию» (*Иваск Ю.* Заметки читателя // О. 1956. № 6. С. 52–60).

В следующем номере «Опытов» на мысли обоих откликнулся Н. Татищев: «Главное и самое ценное в Адамовиче, думается мне, это его трагическое недоумение не перед чудесами, а перед тайной свободы, перед ее темной стороной. Свобода человека безгранична, и она чаще всего реализуется в эгоизме, эксплуатации. Никакое учение, отвечает ему Иваск, никакой христианский катехизис разрешить загадку темной стороны свободы не может. Может это сделать только личность Христа <...> В общем, спор Иваска и Адамовича сводится вот к чему: Адамович еще смешивает две области, область религиозную и церковную» (*Татищев Н.* Среди книг. 2 // О. 1956. № 7. С. 72–77).

Г. Аронсон заметил, что в журнале «о Г. Адамовиче пишут почти все, — в специальных статьях Г. Андреев и Н. Татищев, а также — Ф. Степун, В. Вейдле и др. Роль

Георгия Адамовича в “Опытах” в известном смысле особая: с ним не столько соглашаются, сколько, отталкиваясь от его высказываний, определяют таким путем свои воззрения. Своим талантливым импрессионистским пером он как бы со стороны стимулирует “самоопределение” журнала и служит трамплином для тех, кто стремится к превращению “Опытов” в подобие парижского “Нового града”» (*Аронсон Г.* Опыты. Книга 7-я // НРС. 1957. 3 февраля. № 15926. С. 8).

113.

«Не оживет, аще не умрет» — 1 Кор. 15, 36.

«У ней особенная стать...» — из стихотворения Тютчева «Умом Россию не понять...».

Темы. — ВП. 1960. № 1. С. 43–50.

115.

lier — связывать, соединять (*фр.*).

116.

Ларошфуко Франсуа де (1613–1680) — герцог, французский мыслитель и литератор, один из лидеров Фронды. Автор знаменитой книги афоризмов «Максимы и моральные размышления» (1665).

«И после глупой жизни придет глупая смерть» — из «Смерти Ивана Ильича» Л. Толстого.

о «словесно бездарном Толстом» — из воспоминаний Ремизова «Подстриженными глазами: книга узлов и закрут памяти» (Париж, 1951).

119.

«черная роза в бокале» — из стихотворения Блока «В ресторане» (1910).

Меня все чаще корят Цветаевой... — Особенно в этом усердствовал Ю. Иваск как в письмах Адамовичу, так и в печати. См., в частности: *Иваск Юрий.* О читателях Цветаевой // НРС. 1957. 30 июня. № 16073. С. 8.

«Рояль был весь раскрыт» — из стихотворения Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» (1847). Эту строку Цветаева считала «потрясающей своей зрительностью» (*Цветаева М.* Мать и музыка // СЗ. 1935. № 57. С. 263). В письме Штейгеру 21 августа 1936 года Цветаева еще раз отозвалась с восхищением: «изумительные стихи <...> Я бы все свои стихи отдала за строки» (*Цветаева М.* Письма. Т. 7. С. 583). Адамович вслед за Гумилевым к поэзии Фета относился неприязненно, считая его «типичным образцом второразрядного поэта» (З. 1925. 5 января. № 101. С. 2). Об отношении Гумилева к Фету см.: *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме // Russian Literature. 1981. IX. P. 177. «Довольно бездарным человеком» считала Фета и З. Н. Гиппиус (Антон Крайний. Современность // Числа. 1933. № 9. С. 143). После нескольких отзывов Адамовича о поэзии Фета Глеб Струве заметил в частном письме: «Я подозреваю, что он Фета давным-давно (или вообще) не читал. Прочтет и “откроет”» (Письмо Г. П. Струве В. Ф. Маркову от 11 июня 1961 г. // Собрание Ж. Шерона, Лос-Анджелес).

120.

«горький пустячок» — Сергей Павлович Бобров (1889–1971) в статье «Символист Блок» писал: «Знаменитые “Двенадцать” фактически писаны покойником, только до конца опустошенное сердце в ответ на такие страсти человеческие могло соорудить эту стилизованную под мещанские романсики Глинки и современные частушки безделушку, отлакированную с таким тщанием, что так до сих пор и не разобрать: о чем говорит автор? <...> Лучшая книга Блока — несомненно “Ночные часы” <...> За этой книгой идут многочисленные переиздания с многократными исправлениями (не всегда удачными) старых стихов. Затем идет “Соловьиный сад”, неинтересный пустячок, горькая безделушка “Двенадцати” и “Седое утро” — совершенно мертвая книга» (*Бобров С.* Символист Блок // Красная новь. 1922. № 1 (январь—февраль). С. 245, 249–250).

123.

«геттингенская» душа... «кудри до плеч» — из «Евгения Онегина».

124.

«Аркадий, не говори красиво» — из «Отцов и детей» Тургенева.

Достоевского... иногда и неловко читать... — Юрий Иваск в статье «Памяти ушедших» привел цитату из письма Адамовича от 14 февраля 1972 г.: «Я недавно в записках "для себя" записал, что трех писателей мне читать неловко... В нисходящем порядке: Достоевский, Розанов, Цветаева» (НЖ. 1972. № 106. С. 287).

125.

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — социолог и публицист, активный участник народнического движения.

Table talk <I>. — НЖ. 1961. № 64. С. 101–116.

25 октября 1960 г. Адамович написал Гулю о своем новом замысле: «У меня есть еще проект: нечто вроде пушкинских Table talk. Всякие мелочи обо всех, кого знал» (Письма Георгия Адамовича к Роману Гулю / Публ. Г. Поляка и В. Крейда // НЖ. 1999. № 214. С. 214–215). Проект был одобрен, и 16 февраля 1961 г. Адамович послал Гулю рукопись, сопроводив ее словами: «Вот те заметки, которые я давно уже собираюсь написать. Надеюсь, подойдет» (НЖ. 1999. № 214. С. 215). Гуль припомнил, что некоторые мелочи он уже где-то читал. В письме от 27 февраля 1961 г. Адамович ответил: «В моих заметках — Вы правы — кое-что уже не совсем ново. Но все — мое — т. е. если об этом уже что-нибудь появилось, то потому, что писал я (некоторые разговоры Бунина, З. Гиппиус, забывшая Пушкина). В частности, о Буренине-Волынском я писал года три тому назад в статье о московском балете в "Нов<ом> р<усском> слове". Удивлен — и даже польщен — что Вы это запомнили. Никто, кроме меня, этого написать не мог: я был почти один в столовой "Дома искусства", когда Буре-

нин туда пришел. Кажется, был В. Шкловский, но не уверен» (НЖ. 1999. № 214. С. 215). После выхода номера “Нового журнала” Адамович в письме Гулю от 6 июня 1961 г. заметил: “Никак не ждал, что Table talk будет иметь “буйный успех”» (Ваши слова)» (НЖ. 1999. № 214. С. 216).

«la petite histoire» — «малая история» (*фр.*).

126.

Андрей Белый рассказывает в своих воспоминаниях, что у Сологуба... Патти... — Гостя у Иванова-Разумника в Детском Селе в мае—июне 1926 г., Белый встречался с Сологубом, который «так красиво говорил, вспоминая свои впечатления от певицы Патти, что, Патти не слыша, я как бы заочно услышал ее» (*Белый А*. Начало века. М., 1990. С. 490).

129.

visite de courtoisie — визит вежливости (*фр.*).

132.

Буренин Виктор Петрович (1841–1926) — литературный и театральный критик, поэт, пародист. В 1865–1875 гг. сотрудник «Санкт-Петербургских ведомостей», а с 1876 г. — «Нового времени», где пользовался безграничной свободой, грубо ругая и пародируя любого не понравившегося ему писателя от Бунина до Блока включительно. Получил репутацию «бесцеремонного циника, часто пренебрегающего правилами приличия в печати» (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома. 1976. Л., 1978. С. 212).

Минский Николай Максимович (наст. фам. Виленкин; 1855–1937) — поэт, один из зачинателей символизма. С 1906 г. жил за границей. В начале двадцатых годов был председателем берлинского Дома искусств. Адамович писал о нем Гулю 27 февраля 1961 г.: «Насчет Минского. Я его лично не знал. Но помню, что Георгий Иванов и Оцуп рассказывали мне, что когда в Берлине они пришли к нему условливаться о зале для какого-то вече-

ра, он спросил: "А сколько вас будет человеков?". И что Гиппиус что-то говорила о его произношении, помню твердо» (НЖ. 1999. № 214. С. 215).

133.

Ср. запись в «дневнике петербуржца, причастного к литературе», отрывки из которого Адамович опубликовал под названием «Рукопись» в 1934 г., не назвав имени автора (возможно, им был М. Слонимский): «Сегодня у Волынского был необычайный гость: Буренин. Старый, испуганный, согнувшийся, но старающийся еще держаться барином, чистенько выбрит и даже пахнет одеколоном <...> Волынский говорит, что принял его как мог любезнее, желая тем подчеркнуть, что старая смертельная вражда и разные ядовитые пакости не влияют на деловые отношения. Ему приятна, конечно, роль победителя» (ПН. 1934. 20 декабря. № 5019. С. 3). См. также статьи: *Волковыский Н.* За независимость русского писателя (Памяти А. Л. Волынского) // Дни. 1926. 18 июля. № 1057. С. 2; *Струве П. Б.* Заметки писателя: В. П. Буренин и А. Л. Волынский // В. 1926. 2 сентября. № 457. С. 6.

134.

Вариант этого диалога, по-иному литературно обработанный, Адамович привел в своей статье «Из разговоров с З. Н. Гиппиус» (Встреча. Сб. 2. Париж, 1945. С. 31–32).

135.

Талин-Иванович — «В. П. Талин» и «Ст. Иванович» — псевдонимы Семена Осиповича Португейса (1880–1944), журналиста, сотрудника «Последних новостей», регулярно публиковавшего в «Современных записках» статьи на политические темы. Подробнее о нем см. некролог (НЖ. 1944. № 8). Вероятно, имеется в виду его выступление в прениях на собрании «Зеленой лампы» 25 марта 1929 г., посвященном собеседованию на тему «Спор Белинского с Гоголем».

137.

...Толстой... смотрел на Мережковского... я где-то даже написал об этом... — Адамович со слов Зинаиды Гиппиус писал о посещении Мережковским Ясной Поляны в статье «Люди и книги: Мережковский»: «рассказ, который я слышал несколько раз. Толстой будто бы, прощаясь вечером, — после общей беседы, остановился и уже в дверях, долго-долго, внимательно и пристально, пронизывающими своими, глубоко запавшими глазами поглядел на гостя... Мережковский, в исторических работах, очень часто говорит "может быть" — и дальше рассуждает, как будто вместо вероятия была бы достоверность. Позволю и я себе догадку: Толстой смотрел на Мережковского с удивлением и даже любопытством, как жадный, ненасытный художник, встретивший что-то такое, чего до сих пор видеть ему не приходилось. Может быть, безотчетно он уже подыскивал и перебирал эпитеты и описательные слова. Толстой в гениальной своей обычности, как удесятеренный в жизненной силе средний человек, изучал диковинное исключение, чувствуя неодолимую, тихую, упорную в нем враждебность... Не могло быть иначе — по глубокой розни натур. Приблизительно то же изображено на какой-то старинной мифологической гравюре, где встречается день с ночью» (СЗ. 1934. № 56. С. 287). Позже Адамович включил эту запись в несколько измененном виде в главу о Мережковском своей послевоенной книги (*Адамович Г.* Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 49).

138.

музыковед Б. — Николай Александрович Бруни (1891–1937?), выпускник Тенишевского училища и Петербургской консерватории, член первого Цеха поэтов, с 1918 г. священник, с 1929 г. — авиаконструктор. См. о нем подробнее: *Лугин Г.* 28° 14' 30" восточной долготы. Рига: Грамату драугс, 1933. С. 32–33.

139.

Публичные выступления о евразийстве, о которых идет речь, состоялись в Париже 5 и 12 февраля 1927 г.

Уже отправив рукопись, Адамович передумал публиковать этот фрагмент и написал Гулю 27 февраля 1961 г.: «Еще к Вам просьба: выбросьте кусок о Милюкове и евразийцах, т. е. совсем уничтожьте. Мне он не по душе, и эта “Азиопа” — на границе пристойности. Если когда-нибудь соберусь продолжить, то напишу об этом иначе» (НЖ. 1999. № 214. С. 216). Гуль эту просьбу не удовлетворил и напечатал «Table talk» целиком.

Ширинский-Шихматов Юрий Алексеевич (1890–1942) — князь, сын обер-прокурора Святейшего Синода, правовед, кавалергард, военный летчик, в эмиграции — шофер такси, первый проповедник «национал-максимализма», инициатор первого съезда (Париж, июль 1933) представителей «пореволюционных течений», редактор журнала «Утверждения» (1931–1932). Женат на вдове Бориса Савинкова Евгении Ивановне. Погиб в немецком концлагере.

140.

Сазонова Юлия Леонидовна (Слонимская; 1887–1957) — прозаик, поэт, театральный критик, режиссер кукольного театра. С 1920 г. в эмиграции.

147.

«Кочевье» (Париж, 1928–1938) — «свободное литературное объединение», которым руководил М. Слоним. Устраивало вечера, посвященные как эмигрантским, так и советским писателям, а также доклады, диспуты, «вечера устных рецензий» и коллективных читок, в начале тридцатых выпускало коллективные сборники. В работе объединения активно участвовали Б. Поплавский, Г. Газданов, А. Гингер, А. Присманова, В. Андреев и др. По словам современника, «никакой определенной идеологии “Кочевье” не выдвигало, поэтому на его вечерах выступали многие» (*Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924–1974): Эссе, воспоминания, ста-

тьи. Париж; Нью-Йорк: Альбатрос; Третья волна, 1987. С. 133), тем не менее руководитель и некоторые из участников «Кочевья» находились в оппозиции к «Перекрестку» и «парижской ноте», «ориентируясь на Цветаеву, Пастернака и молодую советскую прозу, в первую очередь на "Серапионовых братьев", Бабеля и Леонова» (*Малевич О.* Три жизни и три любви Марка Слонима // Евреи в культуре русского зарубежья. Т. 3. Иерусалим, 1994. С. 86). Наибольшей популярностью «четверги» «Кочевья» пользовались в первые пять лет, затем, к середине тридцатых годов, активность «Кочевья» снижается. По выражению В. Яновского, «когда «гайки» были окончательно завинчены первой пятилеткой, говорить больше не о чем стало (в смысле искусства). Мы это сразу поняли; все, за исключением Слонима, человека самонадеянного и самоуверенного. И "Кочевье", захирев, протянуло ноги» (*Яновский В.* Поля Елисейские: Книга памяти. Нью-Йорк: Серебряный век, 1983. С. 238).

Волконский Сергей Михайлович, князь (1860–1937) — директор императорских театров в 1899–1902 гг., театральный критик, мемуарист, с 1921 г. в эмиграции.

увлечение кн. Волконским — Цветаева познакомилась с Волконским в эмиграции и исключительно высоко отзывалась о нем и его творчестве. Первое столкновение Адамовича с Цветаевой по поводу князя Волконского относится к 1924 г., когда Цветаева написала восхищенную «апологию» о книге Волконского «Родина» (Записки наблюдателя. Прага, 1924. № 1. С. 138–164). Адамович на это заметил: «Князь Волконский, как все знают, человек очень культурный, даровитый и умный, писатель сдержанный и спокойный. Не думаю, чтобы он мог без усмешки прочесть статью, в которой его ежеминутно сравнивают с Гете, с Лукрецием и Бог весть с кем еще» (*Адамович Г.* Литературные заметки // З. 1924. 6 октября. № 88. С. 2). 17 октября 1924 г. Цветаева писала О. Е. Колбасиной-Черновой: «Рецензию в "Звене" прочла. Писавшего — некоего Адамовича — знаю. Он был учеником Гумилева, писал стихотворные натюрморты, — петербуржанин — прези-

рал Москву. Хочу послать эту рецензию Волконскому, а отзыв на нее Волконского — Адамовичу. Пусть потешится один и омрачится другой» (*Цветаева М.* Собр. соч. М., 1995. Т. 6. С. 683).

«Князь Волконский всех учит русскому языку, а сам изъясняется со средне-княжеской грамотностью» — имеется в виду запись Блока в дневнике 10 ноября 1911 г. о Волконском: «Что-то сухое и выжатое в его нарочитой сочности, и нарочито дворянский и чистый язык его — просто хороший средний язык, мало краски, жизни» (*Блок А.* Собр. соч. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 84–85). В середине двадцатых годов Волконский и Адамович вместе с Бицилли, Мочульским и Кульманом вели полемику в эмигрантской печати о русском языке.

148.

«На лужайке у кринички...» — Георгий Иванов в письме В. Ф. Маркову от 28 мая 1956 г. привел эту есенинскую частушку целиком, добавив: «по-моему, грациозно»:

На лужайке у кринички
Зайчик просит у лисички,
А лисичка не дает —
Зайчик лапкой достает.

(Georgij Ivanov / Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov: 1955–1958. Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. — Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1994. S. 33–34).

Кремер Иза Яковлевна (1890–1956) — эстрадная певица, исполнявшая песни на собственные стихи.

149.

Литературный вечер эфемерного общества «Арзамас»... — Общество «Арзамас» (и одноименное издательство при нем) создавалось весной 1918 г. при непосредственном участии Адамовича и Г. Иванова. 7 апреля 1918 г. Адамович обратился к Блоку с предложением «издать "Двенадцать" для начала нового издательства "Арзамас"

(типа некрасовского)» (*Блок А.* Записные книжки. М., 1965. С. 398). 21 апреля 1918 г. с тем же предложением обратился к Блоку Г. Иванов: «У Любы днем Георгий Иванов (зовет нас выступать на вечере и хочет издавать "Двенадцать")» (Там же. С. 401). Блок дал предварительное согласие участвовать в вечере. Было объявлено, что вечер петербургских поэтов состоится 13 мая в Тенишевском зале (открывался вечер «Прологом Арзамаса», который сочинил Адамович, а центральное место в нем отводилось «Двенадцати» в исполнении Л. Д. Блок).

10 мая 1918 г. Пяст, Ахматова и Сологуб печатно отказались участвовать в литературном вечере «Арзамаса», поскольку в программе стоит исполнение поэмы «Двенадцать» (Дело народа. 1918. 10 мая. № 38). Узнав об этом, Блок также отказался от участия в вечере. Адамович уговаривал по телефону Л. Д. Блок и написал письмо Блоку с просьбой изменить это решение, после того, «что сплелось вокруг Вас и "Двенадцати" <...> быть самому на вечере и читать стихи» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 2. Ед. хр. 20). Блок «таки пошел на вечер и читал (с успехом). Люба, говорят, читала хорошо» (*Блок А.* Записные книжки. М., 1965. С. 407). О вечере см.: *Рождественский В.* Страницы жизни. М.; Л., 1962. С. 219–221.

150.

«Заплечный мастер, иначе палач...» — стихотворение В. Пяста, опубликованное 19 декабря 1917 г. в газете «Воля России», должно было открывать цикл «Галерея современников». Выступление Пяста, о котором идет речь, состоялось 20 февраля 1919 г. после «вечера поэтов» в «Привале комедиантов», на «гала-приеме» у В. А. Лишневской перед тем как Луначарский приступил к чтению своей поэмы «Маги». Подробнее см.: *Конечный А. М., Мордерер В. Я., Парнис А. Е., Тименчик Р. Д.* «Артистическое кабаре "Привал комедиантов" // Памятники культуры. Новые открытия. М., 1988. С. 149–150. См. также: *Адамович Г.* Рукопись // ПН. 1934. 26 июля. № 4872. С. 3.

Лишневская Вера Александровна (1894–1929) — дочь архитектора А. Л. Лишневского. Первый муж — архитектор В. Н. Кашницкий, второй (с осени 1914 г.) — Б. К. Пронин.

Пяст Владимир Алексеевич (наст. фам. Пестовский; 1886–1940) — поэт, переводчик, близкий к символистам, друг А. Блока.

Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) — сов. парт. гос. деятель, однокашник Пяста по Петербургскому университету. Член ВКП(б) с 1904 г., участник всех революций. В 1917 г. — член Петроградского военно-революционного комитета, прапорщик. С 9 ноября 1917 г. — Верховный главнокомандующий, затем председатель Верховного трибунала (с 1918 г.). Репрессирован.

Духонин Николай Николаевич (1876–1917) — генерал-лейтенант (1917). С 3 (16) ноября взял на себя обязанности врио главнокомандующего; решением СНК 9 (22) ноября отстранен от должности. После занятия Ставки в Могилеве революционными войсками убит солдатами.

151.

Оболенский Владимир Андреевич, князь (1869–1951) — журналист, общественный деятель.

152.

Собрание у Ильи Исидоровича Фондаминского-Бунакова... — И. Бунаков — псевдоним Ильи Исидоровича Фондаминского (1881–1942), общественного деятеля, члена ЦК партии эсеров, в эмиграции публициста, редактора, организатора многих общественных начинаний русского Парижа. На квартире Фондаминского (130, Авеню де Версай) собирался религиозный кружок «Православное дело», «Новый град», «Круг» (с 1935 г.), «внутренний "Круг"» (с 1938 г.), младоросский «круглый стол», Пореволюционный клуб Ширинского-Шихматова и др.

«Незамеченное поколение» — так назвал В. С. Варшавский свою книгу (Нью-Йорк, 1955) о молодом поколении первой волны русских эмигрантов.

Мать Мария (Елизавета Юрьевна Пиленко, по первому мужу Кузьмина-Караваева — с 1910 г., по второму Скобцова — с 1919 г., в 1932 г. приняла постриг под именем матери Марии; 1891–1945); Адамович неточно называет ее первую книгу стихов «Скифские черепки» (СПб., 1912).

Яновский Василий Семенович (1906–1989) — прозаик, мемуарист. В альманахе «Круг» были опубликованы его произведения «Розовые дети» (№ 1) и «Ее звали Россия» (№ 2).

...митрополит Филарет в знаменитом эпизоде с доктором Гаазом... — Филарет (Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867) — русский церковный деятель, с 1826 г. митрополит Московский.

Федор Петрович Гааз (1780–1853) — русский врач-гуманист, главный врач московских тюрем (с 1828 г.), добился улучшения содержания заключенных, организации тюремной больницы (1832), школ для детей арестантов. Упоминаемый Адамовичем эпизод привел Розанов в статье «Смысл аскетизма» (1897): митрополит Филарет «остановил Гааза в тюремном комитете: “Вы, Федор Петрович, все говорите о невинно осужденных; таких нет: они осуждены и, следовательно, виновны”. Тут Гааз и “вскочил”, а Филарет поправился: “Нет, не я о Христе забыл, а Христос в эту минуту обо мне забыл”» (*Розанов В. В.* Религия и культура. М., 1990. Т. 1. С. 226).

Table talk <II>. — НЖ. 1961. № 66. С. 85–98.

Переписку с Гулем о второй порции «Table talk» Адамович вел осенью 1961 г., и 29 октября отослал рукопись (НЖ. 1999. № 214. С. 216–217). Весь следующий, 1962 г. Адамович обещал Гулю написать третью порцию, но так и не собрался.

154.

Той же зимой я встретился с Андре Жидом у Бунина в Грассе... — Адамович и Андре Жид были приглашены в Грасс к завтраку 16 сентября 1941 г. (Устами Буниных. Т. 3. 1982. С. 111).

Пятью годами раньше, на обеде у Полонских 28 ноября 1936 г., у Адамовича было столкновение с Буниным по поводу Андре Жида: «в связи с его книгой “Retour de l'URSS” — Адамович выступил с публичным докладом, где назвал Жида высокоморальным писателем. Утверждая, что он аморальный писатель, И. А. Бунин очень горячо поддержал Любу против Адамовича:

— Ну, какой же вы критик, вы ведь ничего не понимаете!.. — Но сказал это очаровательно, как все, что он говорит» (Дневник Я. Б. Полонского. Иван Бунин во Франции // Время и мы. 1980. № 5. С. 275).

«un monstre d'ennui» — «чудовище скуки» (*фр.*).

Толстой и Достоевский: рано или поздно разговор должен был их коснуться... — Уже при первом знакомстве Андре Жида с Буниным 27 августа 1941 года выяснилось несходство вкусов и эстетичеких позиций обоих писателей. 28 августа 1941 года, после визита к Бунину в Грасе, Андре Жид записал в дневнике: «Его преклонение перед Толстым коробит меня так же, как и его пренебрежение к Достоевскому, Щедрину, Сологубу. У нас с ним нет общих святых, общих богов — это ясно» (Цит. по: Литературное наследство. Т. 84. М., 1973. Кн. 2. С. 384). Подробнее о разных подходах обоих писателей к литературе см. в публикации А. К. Бабореико и Т. Л. Мотылевой «Бунин в споре с Андре Жидом» (Литературное наследство. Т. 84. М., 1973. Кн. 2. С. 380–387).

160.

Осоргин Михаил Андреевич (наст. фам. Ильин; 1878–1942) — писатель, журналист. Эмигрант в 1906–1916 гг., затем с 1922 г. В переписке Адамовича и Гиппиус неоднократно встречаются довольно нелестные оценки критических способностей и вкусов Осоргина.

Чуковский Корней Иванович (наст. имя Николай Васильевич Корнейчуков; 1882–1969) — литературный критик, детский писатель, историк литературы. На составленную им анкету об отношении к поэзии Некрасова в 1919–1920 гг. отвечали Андрей Белый, Вяч. Иванов,

Д. С. Мережковский, М. Горький, Ахматова, Блок, Кузмин и другие. Опубликована анкета в «Летописи Дома литераторов» (1921. № 3. 1 декабря).

161.

«Страстный к страданию человек» — В декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. в главе «Смерть Некрасова» Достоевский писал: «Это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незакрывающаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает».

«Господи, воззвах к тебе, услыши мя» — церковнославянский текст 140 псалма, молитва из всенощного бдения.

«Сердце мое, исходящее кровью...» — неточная цитата из стихотворения Некрасова «Муж и жена» (1877).

162.

«Генерал Федор Карлыч фон Штубе...» — из стихотворения Некрасова «Крещенские морозы» (между 1863 и 1865) цикла «О погоде. Уличные впечатления» (1858–1865).

«На диво слаженных», как «возок» княгини Трубецкой... — имеется в виду строка из второй части поэмы Некрасова «Русские женщины» «Княгиня Трубецкая»: «На диво слаженный возок».

163.

«Риголетто» (1851) — опера Джузеппе Верди (Verdi; 1813–1901).

Россини Джоаккино (Rossini; 1792–1868) — итальянский композитор.

...два «Юрия Милославских»... — слова Хлестакова из гоголевского «Ревизора» (1836).

164.

Дмитрий Николаевич Крачковский (1882–?) — литератор, в эмиграции с 1920 г., жил в Праге, позже в Ницце.

165.

Зубов Платон Александрович (1767–1822) — последний из фаворитов Екатерины II.

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) — историк-марксист, автор пятитомной «Русской истории с древнейших времен» (М., 1910–1913), позже партийный и государственный деятель, академик АН СССР (с 1929 г.).

166.

«Не пожелай жены ближнего своего...» — Исх. 20, 17; Втор. 5, 21.

170.

«покойный посвящал свои досуги изящной словесности» — Адамович имеет в виду некролог, написанный Б. В. Варнеке и целиком посвященный педагогической деятельности Анненского, за исключением единственной фразы: «досуги свои покойный отдавал литературе» (Журнал Министерства народного просвещения. 1910. XXIV. № 3. Отд. IV. С. 46–48).

«Тихие песни» (СПб.: Т-во худож. печати, 1904) — первая книга стихов Анненского, опубликованная под псевдонимом «Ник. Т-о».

Рецензии, правда, были... — рецензия Брюсова (Весы. 1904. № 4. Подп.: Аврелий.), Блока (Слово. 1904. 6 марта. № 403. Лит. прил. № 5). В письме Г. И. Чулкову от 19 июля 1905 г. Блок отозвался о книге Анненского гораздо восторженнее: «Ужасно мне понравились “Тихие песни” Ник. Т-о. В рецензии старался быть как можно суше; но, мне кажется, это настоящий поэт, и новизна многого меня поразила» (*Блок А.* Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 8. С. 132).

Послесловие. — ВП. 1963. № 3. С. 67–83.

171.

«Если надо объяснять, то не надо объяснять» — афоризм Григория Адольфовича Ландау (1877–1941) из книги «Эпиграфы» (Берлин: Слово, 1927) дословно звучит так: «Если близкому человеку надо объяснять, то не надо объяснять».

174.

«Чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар» — из стихотворения Блока «Как тяжело ходить среди людей...» (1910).

«на кладбище ему грустно, на балу весело» — из статьи Ходасевича «О поэзии Бунина» (В. 1929. 15 августа). У Ходасевича: «Весною он счастлив, ночью задумчив, на кладбище печален и т. д.».

Оправдание черновиков <I>. — НЖ. 1964. № 76. С. 115–125.

186.

«Мадам Бовари — это я» — изречение Флобера, известное со слов некой дамы, знакомой Амели Боске, в передаче историка литературы Р. Дешарма (*Флобер Г.* О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 485).

187.

«часть общепролетарского дела» — из работы Ленина «Партийная организация и партийная литература» (1905). У Ленина: «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела» (*Ленин В. И.* ПСС. Т. 12. С. 100–101).

Оправдание черновиков <II>. — НЖ. 1965. № 81. С. 78–96.

По мнению Ю. Терапиано, «чрезвычайно интересно и полно множества ценнейших замечаний “Оправдание черновиков” Г. Адамовича <...> Поэзию А. Вознесенского Георгий Адамович судит, мне кажется, слишком строго. Конечно, советские молодые поэты, в частности — Вознесенский, до сих пор еще не замечают, насколько стара и беспомощна их “новизна”, все эти “треугольные груши” и прочие заимствования у футуристов 1913 года, но все же у них есть и “свое”, правда еще не до конца сознанное мироощущение» (*Терапиано Ю.* «Новый журнал». Книга 81. Часть литературная // Русская мысль. 1966. 12 февраля. № 2425. С. 6).

201.

«А если грязь и низость — только мука...» — из стихотворения И. Анненского «О нет, не стан...» (1906).

Оправдание черновиков <III>. — НЖ. 1968. № 90. С. 81–95.

204.

«Мысль изреченная есть ложь» — из стихотворения Тютчева «Silentium!» (1830).

Качалов Василий Иванович (наст. фам. Шверубович; 1875–1948) — актер МХТ (с 1900 г.).

Вырубов Василий Васильевич (1879–1963) — племянник первого председателя Временного правительства князя Львова, в 1917 г. помощник начальника штаба по гражданской части Верховного главнокомандующего, в 1919 г. управляющий делами Русского политического совещания в Париже, друг Маклакова, хороший знакомый Адамовича в последние годы своей жизни. В парижском издательстве Вырубова вышли брошюры Адамовича «Л. Н. Толстой» (1960) и «Вклад русской эмиграции в мировую культуру» (1961; последняя написана в ответ на просьбу Вырубова). Адамовичу принадлежат некрологи «Памяти В. В. Вырубова» (РМ. 1963. 10 августа. № 2032; 1965. 14 августа. № 2347; Вестник объединения русских лож Д. и П. Ш. У. 1964. № 12. С. 7).

«Что я делал в жизни? Читал Евангелие» — вольный пересказ рассуждения Мережковского о Евангелии: «Маленькая книжечка <...> зачитало ее человечество, и, может быть, так не скажет, как я: “Что положить со мной во гроб? Ее. С чем я встану из гроба? С нею. Что я делал на земле? Ее читал”» (*Мережковский Д. С.* Иисус Неизвестный. Белград, 1932. Т. 1. С. 6).

206.

Моно Жак Люсьен (1910–1976) — французский биохимик и микробиолог, лауреат Нобелевской премии (1965).

207.

«Смерть и время царят на земле» — из стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887).

208.

«Анну Каренину» многие считают «совершеннее»... Достоевский... — Имеется в виду глава «"Анна Каренина" как факт особого значения» («Дневник писателя», июнь—июль 1877), в которой Достоевский писал: «"Анна Каренина" есть совершенство как художественное произведение».

...Бунин... хотел бы по-своему «переписать» толстовский роман... — См. книгу В. П. Катаева «Трава забвенья» (1967).

Баррес Морис (1862–1923) — французский писатель-католик.

209.

Планк Макс (1858–1947) — немецкий физик, один из основоположников квантовой теории, лауреат Нобелевской премии (1918).

Бор Нильс Хенрик Давид (1885–1962) — датский физик, автор теории атома и трудов по философии естествознания, лауреат Нобелевской премии (1922).

Эйнштейн Альберт (1879–1955) — физик-теоретик, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии (1921).

Ньютон Исаак (1643–1727) — английский математик, механик, астроном и физик, создатель классической механики.

Гаусс Карл Фридрих (1777–1855) — немецкий ученый, специалист по теоретической и прикладной математике, внутренней геометрии поверхностей.

Лобачевский Николай Иванович (1792–1856) — русский математик, создатель неевклидовой геометрии (1826).

Риман Бернхард (1826–1866) — немецкий математик. Основы Римановой геометрии разработал в 1854 г.

Киркегаард (Кьеркегор) *Серен* (1813–1855) — датский теолог, философ-иррационалист, писатель.

210.

«Весна Священная» (1913) — балет русского композитора и дирижера Игоря Федоровича Стравинского (1882–1971), с 1910 г. жившего за рубежом.

211.

«Пора России снова стать Россией» — из статьи В. В. Вейдле в сборнике публицистики «Старые — молодым» (Мюнхен, 1960. С. 36–37).

«Чтоб Он простил, чтоб Он простил» — из стихотворения Хомякова «Не говорите: “То былое...”» (1844).

Клемансо Жорж (1841–1929) — премьер-министр Франции в 1906–1909, 1917–1920 г., один из организаторов антисоветской интервенции. Стремился к установлению военно-политической гегемонии Франции в Европе.

Оправдание черновиков <IV>. — НЖ. 1971. № 103. С. 76–89.

215.

«Онегина воздушная громада» — из стихотворения Ахматовой «И было сердцу ничего не надо...» (1962).

«inconditionnels» — абсолютные, безусловные (*фр.*) (приверженцы де Голля).

«Нельзя, нельзя без “туманами”» ... — В статье «О современном лиризме» (Аполлон. 1909. № 1–3) Анненский, приводя строки Блока, восклицает в скобках: «Не придирайтесь, Бога ради, не спрашивайте, почему туманами — а не, например, слишком пряными, туманами лучше — нельзя иначе как туманами» (*Анненский И.* Книги отражений. М., 1979. С. 362).

219.

«un roman facile» — легкий, доступный роман (*фр.*).

220.

«последней мечты оставленного Богом человека» — автоцитата из стихотворения «Социализм — последняя мечта...» (1920; опубл. в 1965).

Гроссман Василий Семенович (1905–1964) — советский писатель. Роман «Все течет» (1955–1963) в 1961 г. конфискован, с 1963 г. в Самиздате, опубликован в 1970 г. во Франкфурте-на-Майне.

221.

Рыкачев Яков Семенович (1893–1952) — советский писатель, за творчеством которого Адамович следил и несколько раз писал о нем. См. статьи Адамовича «Двойная жизнь» (ПН. 1936. 2 января. № 5397), «Сложный ход» (ПН. 1936. 9 января. № 5404) и др.

223.

Ершов Иван Васильевич (1867–1943) — певец, один из выдающихся исполнителей партий в операх Вагнера. В 1894–1929 гг. в Мариинском театре.

224.

«Романы Достоевского полифоничны». «Такая-то повесть сделана так-то»... — Имеются в виду, в частности, работы Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» и Эйхенбаума «Как сделана “Шинель”».

Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) — лидер правого крыла партии кадетов, адвокат. В 1917 г. посол Временного правительства во Франции. Один из политических лидеров эмиграции. Адамович написал его биографию «Василий Алексеевич Маклаков» (Париж, 1959).



БИБЛИОГРАФИЯ

В библиографии учтены все публикации Адамовича, написанные в жанре «Комментариев» и опубликованные им в эмигрантской периодической печати под разными названиями. Отдельные фрагменты пронумерованы составителем в хронологическом порядке, по мере опубликования. Вторая, римская, цифра (в круглых скобках) показывает, в каком порядке фрагменты вошли в книгу (Вашингтон, 1967).

Комментарии <I> // Цех поэтов. 1923. Кн. 4. С. 59–64.

1. На одном из обычных диспутов...
2. Нельзя не прийти в уныние...
3. За два года до смерти Пушкин...
4. Едва ли надо объяснять...
5. На Западе было назидательное явление: парнасцы...
6. Банвилль...
7. Расин есть прекраснейший из поэтов...
8. Есть предрассудок...
9. Еще о декадентах...
10. Часто приходится слышать: — Нет хороших и дурных эпох...
11. Часто приходится слышать: — Это тупик!..
12. Красноармейская частушка...

Комментарии <II> // Числа. 1930. № 1. С. 136–143.

13 (I). После всех бесед... (сокращено)
14. Конечно, этот важнейший...
15. «... И возникают в ней виденья...»
16 (II). Как бы это сказать... (с изменениями)

23 Зак. 3049

17. Русская литература мало занималась человеком...
18. Есть творчество — внутрь...
19 (III). А. говорил мне...
20 (IV). «Конец литературы»... (с изменениями)

Комментарии <III> // Числа. 1930. № 2/3. С. 167–176.

21. Крах идеи художественного совершенства...
22. «Грациозный гений Пушкина...»
23 (V). За что вы любите Толстого?.. (сокращено)
24 (VI). В судьбе и деятельности Толстого...
25. Из писем А.
26 (VII). Есть древняя легенда...
27 (VIII). Кажется, тайна писательства...

Комментарии <IV> // Числа. 1931. № 5. С. 144–147.

28. Проблема критики...
29. Попытка доказательства бессмертия души...
30. «Обратите внимание, евреи в оркестрах...»
31. Когда человек слышит...
32. Ницшевское замечание о «писании кровью»...

Комментарии <V> // Числа. 1933. № 7/8. С. 153–165.

33. История литературы...
34. Толстой, в «Анне Карениной»...
35 (XI). Как можно не видеть... (в книге объединено с 36)
36 (XIa). Не опровергнуто христианство, конечно...
37 (XII). Веяние подлинности...
38 (XIII). Он говорил с людьми решительно обо всем...
39 (XIV). Письма А.
40 (XV). Кто-то вполголоса... (с изменениями)
41 (XVI). Когда-то Александр III заметил...
42 (XVII). О советской России...
43 (XVIII). Иногда думаешь...
44 (XIX). В оправдание стихов...

Комментарии <VI> // Современные записки. 1935. № 58. С. 319–327.

45 (XXIV). Одно из последних, поздних...
46 (XXV). Пример.
47 (XXVI). Искусственная, насильственная...
48 (XXVII). Это все, может быть, очень современно...

49 (XXVIII). Было это в середине прошлого века...
50 (XXIX). А. когда-то заметил...
51 (XXX). «Ум ищет божества: а сердце не находит...»
52. По поводу ходкого сейчас — и глупого — слова «разложение»...

Комментарии <VII> // Круг. 1938. № 3. С. 133–138.
53. Поэзия и разум...
54. Наблюдение...
55. У Алданова есть в «Началах и концах»...

Комментарии <VIII> // Современные записки. 1939. № 69. С. 265–271.
56. У литературы есть странное...
57. Перечитывая Шекспира...
58. Годами ходишь «вокруг да около»...
59. Литературное собрание с христианскими разговорами...
60. Доклад читал совсем молодой человек...

Из записной книжки <I> // Новоселье. 1946. № 29–30. С. 74–78.
61. Мне говорили о нем: очень умный человек...
62. Прекрасная Франция...
63. Пушкин о французской литературе...
64. Заслуги, труды, седины...
65. Кстати, нет человека...
66. Случайно раскрыл томик мадам де Севинье...
67. Мастерство поэта...
68. Стиль (догадки)...
69. (XXIII). Дневники.

Из записной книжки <II> // Новоселье. 1947. № 33–34. С. 102–106.
70 (XXII). «Du choc des opinions...»
71. Странное слово: своеволие...
72 (IX). Годами, годами думает человек о чем-либо...
73. А. говорит мне...
74. Проверяя себя...
75. Он пришел ко мне бледный...
76 (X). После доклада Бердяева...

Из записной книжки <III> // Новоселье. 1949. № 39–41. С. 144–149.

77. Воскресенье в Кламаре у Бердяева... (значительно расширено)
78. Вы что же, оказывается, позитивист...
79. У Толстого князь Андрей слушает, как поет Наташа...
80. Приходит Ф. и рассказывает...
81. Покой в русской литературе...
82. Сопоставление Блока... (с изменениями вошло в «Невозможность поэзии»)
83. Три дня подряд, случайно вспомнив...
84. Еще о покое...
85. Редко что доставляло мне такое удовлетворение...
86. Если верно, что из Пушкина...
87. Не только книги, но и отдельные стихотворения...
88 (XX). Ходасевич считал лучшими стихами...
89. Все дело в том, где ложь и где правда...
90 (XXI). По поводу «Пророка»...
91. Нет ни одной французской книги...

Комментарии <IX> // Опыты. 1953. № 1. С. 93–106.

92 (XXXIII). Перечитывая Чаадаева...
93 (XXXIV). Колебания, конечно, этим и вызваны...
94 (XXXV). Молодой человек...
95 (XXXVI). При всем том, что произошло...
96 (XXXVII). «Проблемы»...
97 (XXXVIII). В сущности, Достоевский... (с изменениями)
98 (XXXIX). «Они нас ненавидят...»

Комментарии <X> // Опыты. 1954. № 3. С. 94–114.

99 (LXXV). Думая о том, что происходит в мире...
100 (LXXVI). Более полутораста лет тому назад Карамзин... (с изменениями)
101. Зачем...
102 (LXXVII). У Белинского в письме к Боткину...
103. В какие времена мы живем...
104 (LXXVIII). В дополнение ко всему тому основному...
105 (LXXIX). А. говорил мне...

106 (LXXX). У меня нет сына... (с изменениями)
107 (LXXXI). Вспоминая свою молодость...
108 (LXXXII). Было время, я любил читать новые книги...
109. Страх смерти...
110 (LXXXIII). «Люди не могли бы жить...
«Комментарии <XI> // Опыты. 1956. № 6. С. 38–51.
111 (XXXI). Непротивление злу у Достоевского...
112 (XXXII). В наше время мало осталось людей...
113. «Во дни сомнений...»
Темы // Воздушные пути. 1960. № 1. С. 43–50.
114. «Поэзия возникает из света и безнадежности»...
115. У Толстого вовсе не самые люди живы...
116. Давно известно, что твердость...
117. Вторжение разночинцев в нашу литературу...
118. «Проблема» — не совсем то же самое...
119. От поэзии условно-поэтической...
120. Кстати, по поводу «Двенадцати»...
121. Хамы и снобы...
122. По Гете, духовная культура складывается...
123. У Пастернака в романе много такого...
124. «Об уменьшительной степени у Достоевского...»
125. Едва ли не самая важная тема нашего времени...
Table talk <I> // Новый журнал. 1961. № 64. С. 101–116.
126. Андрей Белый рассказывает...
127. Бунин о Достоевском...
128. У постели больного Бунина...
129. Вернувшись из Стокгольма...
130. На одном из парижских собраний...
131. Некий молодой писатель...
132. Зинаида Гиппиус вспоминает...
133. Буренина я видел только один раз...
134. Зинаида Гиппиус о поэзии...
135. «Зеленая лампа»...
136 (LXXII). Мережковский был и остается для меня загадкой...
137. Зинаида Николаевна не раз...
138. Гумилев был полнейшим профаном...

139. Милюков у евразийцев...
140. Кто-то из сотрудников «Последних новостей»...
141. Зинаида Гиппиус жалуется...
142. История, которую мог бы рассказать Чехов...
143. Поздно вечером в кафе «Мюра»... (с изменениями вошло в «Наследство Блока»)
144. Алданов на каком-то банкете...
145. Тэффи, чуть-чуть смеясь глазами...
146. Мережковский и Лев Шестов...
147. Марина Цветаева на собрании «Кочевья»...
148. В Петербурге, где-то на Моховой...
149. Литературный вечер эфемерного общества «Арзамас»...
150. Тот же 1919 год...
151. Кн. Владимир Андреевич Оболенский...
152. Собрание у Ильи Исидоровича Фондаминского...
153 (LXXI). Поразивший меня чей-то рассказ... (с изменениями)

Table talk <II> // Новый журнал. 1961. № 66. С. 85–98.

154 (LXVIII). Андрэ Жид...
155. Той же зимой я встретился с Андрэ Жидом у Буниных...
156. Толстой и Достоевский...
157 (LXXIII). Перечитываю — в который раз! — Достоевского...
158 (LXXIV). Было это в Париже, незадолго до войны...
159. У Бунина был очень острый ум...
160. В полутемном коридоре редакции...
161. Самое верное и глубокое...
162. Гумилев, особенно чувствительный...
163. Ницца — и Алданов...
164. В Ницце доживал свой век...
165. Алданов любил разговоры исторические...
166. Бунин...
167. В парижском кружке русской молодежи...
168 (LXVII). Блока я знал мало...
169 (LXX). У Бердяева, в его кламарском доме...
170. Как я видел Иннокентия Анненского...

Послесловие // Воздушные пути. 1963. № 3. С. 67–83.
171. Послесловие к чему...
172 (XL). Отчего мы уехали из России... (с изменениями)
173 (XLI). Чего же мы хотели...
174. Несколько слов о Бунине...
175 (XLII). Геббельс говорил...
176. Все, что пишешь здесь...
Оправдание черновиков <I> // Новый журнал. 1964. № 76. С. 115–125.
177 (XLIII). Оправдание черновиков...
178 (XLV). У нас, в нашей культуре...
179 (XLVI). В России дело осложнено...
180 (XLVII). По Альберу Камю...
181 (XLIV). Розановщина...
182 (XLVIII). Надо бы установить...
183 (XLIX). Не стиль, это человек...
184 (L). Случайная цитата из Толстого...
185 (LI). У молодых есть все преимущества...
186. Теоретики «нового романа»...
187. Десять тысяч романов в год...
188 (LII). Корни все усиливающегося...
Оправдание черновиков <II> // Новый журнал. 1965. № 81. С. 78–96.
189 (LIII). Сартр и Альбер Камю...
190 (LIV). Теперь постоянно приходится читать...
191 (LV). Алданов однажды сказал...
192 (LVI). Есть величина таланта...
193 (LVII). Некоторая переменчивость оценок...
194 (LVIII). Не помню, решился ли кто-нибудь...
195 (LIX). Ницше сказал о хоре пилигримов...
196 (LX–LXI). Еще о Достоевском и его наследии... + У Карла Ясперса...
197 (LXII). Михайловского когда-то просили...
198 (LXV). Настоящая поэзия возникает над жизнью...
199 (LXIII). Один из молодых французских критиков...
200 (LXIV). Нельзя быть поэтом, не помня о смерти...
201. Перечитывая, припоминая стихи...

202 (LXVI). Отчего застрелился Маяковский...
203 (LXIX). В коммунизме загадочно то...

Оправдание черновиков <III> // Новый журнал. 1968. № 90. С. 81–95.
204. Отчего поэты большей частью «поют» свои стихи...
205. С первых лет революции...
206. Утверждение одного из авторитетнейших...
207. Не ответ, а, скорей, соображение...
208. «Анна Каренина»...
209. В последние годы, читая...
210. Слушая «Весну Священную»...
211. Когда Россия станет Россией...

Оправдание черновиков <IV> // Новый журнал. 1971. № 103. С. 76–89.
212. Для чего пишутся стихи...
213. Когда-то в «Цехе» Гумилев...
214. Венок на могилу «парижской ноты»...
215. «Онегина воздушная громада»...
216. Есть два типа писателей...
217. По поводу «Алеши-горшка»...
218. Легенда о Фаусте...
219. «Новь»...
220. Капитализм и социализм...
221. Страничка из повести...
222. Читая газеты...
223. Если бы надо было ответить на вопрос...
224. В критике, впрочем, не только в новой...

В последние годы отдельные фрагменты «Комментариев», а также статьи из книги перепечатывались в нескольких изданиях. Ниже перечислены наиболее крупные публикации.

Адамович Г. Комментарии // Новое русское слово. 1980. 20 апреля.

Адамович Г. Комментарии / Пред. В. Шохиной // Знамя. 1990. № 3. С. 153–184; (фрагменты I–II, IV–VI, VIII, X–XIII, XV–XVIII, XXV–XXVII, XXIX–XXXI, XXXIII, XXXV–XXXVI, XXXVIII–XLI, XLVII, LIII, LV–LVII, LXI, LXII, LXIV, LXVI, LXIX–LXXII, LXXIV, LXXVIII, LXXXIII).

Адамович Г. Невозможность поэзии / Пред. О. А. Коростелева // Литературная учеба. 1991. № 1. С. 142–148.

Адамович Г. Стихотворения. Критическая проза / Пред. и сост. В. П. Смирнова // Лепта. 1991. № 2. С. 159–168; (Наследство Блока. Невозможность поэзии).

Первая эмиграция о Маяковском / Публ. и вст. ст. Л. А. Селезнева и В. Н. Терехиной // Литературное обозрение. 1992. № 3–4. С. 33–45; (фрагмент LXVI и отрывок из статьи «Невозможность поэзии»).

Адамович Г. Несобранное / Публ. и примеч. И. Васильева // Литературное обозрение. 1992. № 5–6. С. 36–49; (фрагменты 14–15, 17–18, 21–22, 25–26, 29–31, 56–60);

Адамович Г. Сомнения и надежды / Публ. В. Денисова // Лепта. 1993. № 1. С. 117–123.

Адамович Г. Комментарии (главы из книги) // Русская идея: В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья / Вступ. ст. и сост. В. М. Пискунова, коммент. Н. Б. Злобиной. М.: Искусство, 1994. Т. I. С. 428–506; (фрагменты I–III, VI, X–XI, XVI–XVII, XX–XXI, XXIII–XXVII, XXIX–XXXI, XXXIII–XXXIV, XXXVI, XXXVIII–XLII, XLV–XLVII, L–LII, LIV–LV, LXII–LXXXIII.

Адамович Г. Критическая проза / Пред., сост. и примеч. О. А. Коростелева. М.: Издательство Литературного института, 1996. С. 305–336. (Наследство Блока. Невозможность поэзии).

Адамович Г. Одиночество и свобода / Сост., пред. и примеч. В. Крейда. М.: Республика, 1996. С. 162–241, 323–325, 345–355, 364–377; (целиком вашингтонское издание, а также фрагменты 113, 126–135, 137–152, 155–157, 159–170, 174, 203–224).

Адамович Г. Комментарии // Современное русское зарубежье / Сост., вступ. ст., справ. и метод. материалы П. В. Басинского, С. Р. Федякина. М.: Олимп; ООО «Фирма "Издательство АСТ"», 1998. С. 23–84; (фрагменты вашингтонского издания I–V, VIII, X, XII–XIII, XVIII–XXI, XXIV, XXVI–XXVII, XXX, XLVIII–XLIX, LI, LIV–LVII, LXXI, LXXXIII, Невозможность поэзии; а также фрагменты 126–131, 134–135, 137–138, 141–143, 147–151, 159–160, 162–164, 166–167, 170).

КРАТКАЯ ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Г. В. АДАМОВИЧА

1892 — 7 (19) апреля в семье Московского уездного воинского начальника полковника Виктора Михайловича Адамовича и его второй жены Елизаветы Семеновны (урожденной Вейнберг) родился младший ребенок Георгий. Семья — Виктор Михайлович, Елизавета Семеновна, старший сын Владимир (родился 9 декабря 1886), дочери Ольга (29 июля 1889) и Татьяна (18 января 1891) — проживала в казенной квартире, предоставленной полковнику Адамовичу в Крутицких казармах.

1898 — 4 мая полковник В. М. Адамович назначен и. д. начальника Московского военного госпиталя, а 6 декабря произведен в генерал-майоры с утверждением в должности. Семья переезжает в Лефортово, ул. Госпитальная, д. 1 (здание госпиталя).

1902 — А. поступает во 2-ю московскую гимназию.

1903 — 21 апреля после продолжительной болезни скончался В. М. Адамович. Елизавета Семеновна с детьми переезжает в Петербург и снимает квартиру в Гродненском переулке, д. 3. Владимир, окончив 1-й московский кадетский корпус, становится юнкером Павловского военного училища, Татьяна поступает в Смольный институт, Георгия предполагалось отдать в Царскосельский лицей, но затем было решено ограничиться 1-й петербургской гимназией.

1910 — Окончив гимназию, поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета.

1911–1913 — В университете, в «Бродячей собаке», знакомится с Н. Гумилевым, А. Ахматовой, О. Ман-

дельштамом, К. Мочульским и другими петербургскими литераторами и начинает писать стихи, прозу, статьи.

1913 — 13 октября на лекции К. Чуковского о футуризме в зале Тенишевского училища знакомится с Георгием Ивановым.

1914 — В начале года «со всем церемониалом принят обоими синдиками, Гумилевым и Городецким, на квартире Городецкого» в Цех поэтов. У Гумилева в это время — продолжительный роман с Татьяной Адамович, которой он посвятил свою книгу «Колчан».

1915 — 18 февраля в 8-м номере петербургского журнала «Голос жизни», редактировавшимся Д. В. Философовым при участии З. Н. Гиппиус, — первая публикация: рассказ «Веселые кони». Затем регулярно публикует рассказы, стихи, повесть, поэму, статьи в сборниках и альманахах, в журналах «Огонек», «Аполлон», «Новый журнал для всех», «Голос жизни», «Северные записки», газете «Биржевые ведомости». Постоянно принимает участие в поэтических чтениях, вечерах поэтов и других литературных мероприятиях. В самом конце 1915 года в издательстве «Альциона» выходит из печати первый сборник стихов «Облака», датированный 1916 годом (на большей части тиража «Альциона» была заменена маркой издательства «Гиперборей»).

1916 — 23 января посылает письмо А. Блоку с просьбой высказаться о сборнике стихов «Облака». Блок «ответил довольно много» о том, что нужно «сильнее раскачнуться на качелях жизни».

Летом и осенью совместно с Георгием Ивановым пытается возродить Цех поэтов, не возобновлявший свою работу с лета 1914 года, после того как Н. Гумилев ушел на фронт добровольцем.

20 сентября, на квартире А. (ул. Верейская, д. 11, кв. 2), состоялось первое, не слишком удачное, собрание Второго цеха поэтов. Осенью и зимой Цех собирался еще несколько раз.

1917 — Оканчивает университет, принимает участие в литературных мероприятиях Петербурга.
Осенью Второй цех поэтов окончательно рассыпался.

1918 — Принимает деятельное участие в организации литературного кружка «Арзамас», пытаясь привлечь А. Блока, участвует в вечерах поэзии кружка искусства «Арион».

1919 — Зимой уезжает из холодного и голодного Петербурга и работает учителем в Новоржеве Псковской губернии.

1919–1921 — Преподает русский язык и историю в 1-й новоржевской советской школе, при всяком удобном случае выбираясь к друзьям в Петроград.

1921 — Весной возвращается в Петроград и вместе с недавно поженившимися Г. Ивановым и И. Одоевцевой селится в пустой квартире своей тетки — Веры Белэй, вдовы миллионера англичанина (ул. Почтамтская, д. 20, кв. 7). Активно участвует в работе Третьего цеха поэтов, состоит действительным членом «Дома литераторов», членом литературного отдела «Дома искусств», переводит Вольтера, Бодлера, Эредиа и других для издательства «Всемирная литература». Печатает стихи и статьи в альманахах Цеха поэтов, в газете «Жизнь искусства».

1922 — В январе в издательстве «Петрополис» публикует вторую книгу стихов «Чистилище».

1923 — В самом начале года вслед за своими соратниками по Цеху поэтов Г. Ивановым, Н. Оцупом, И. Одоевцевой уезжает за границу.
23 февраля читает доклад о современной русской поэзии на вечере Цеха поэтов в Берлине, в помещении кафе «Леон». Принимает участие в четвертом, берлинском альманахе Цеха поэтов и вскоре уезжает в Ниццу, к матери и сестрам, живущим на вилле тетки Адамовича Веры Белэй.
Осенью приезжает в Париж и начинает печататься в еженедельнике «Звено», редактировавшемся М. Винавером и М. Кантором.

1 ноября принимает участие в первом парижском вечере Цеха поэтов.

1923–1926 — Публикует ряд статей и стихотворений в «Звене», постоянный участник собраний Цеха поэтов, чаще всего состоящихся в кафе «La Bolée».

1925–1927 — Еженедельно публикует «Литературные беседы» в «Звене», участвует в мероприятиях Союза молодых поэтов и писателей в Париже. Знакомится с И. Буниным, З. Гиппиус и другими писателями эмиграции.

1926 — Начинается многолетняя литературная полемика с В. Ходасевичем, продлившаяся до 1939 года и ставшая одним из центральных событий литературной жизни эмиграции.

1927 — Вместе с З. Гиппиус, Д. Мережковским и Г. Ивановым задумывает и организует собрания «Зеленой лампы» в Париже, на которых часто выступает в прениях или с докладами, заслужив прозвище «златоуста эмиграции».

5 февраля — первое собрание «Зеленой лампы» в помещении Торгово-Промышленного Союза.

С июля «Звено» превращается из еженедельника в ежемесячный журнал, и хотя А. по-прежнему печатается в каждом номере, денег не хватает, приходится искать дополнительный заработок.

Публикует первую большую статью в самом известном журнале эмиграции «Современные записки».

В октябре—декабре печатает несколько статей в газете Керенского «Дни».

1 ноября — открывает цикл лекций и практических занятий по современной русской и современной французской литературе.

1928 — Первую половину года продолжает сотрудничать в «Звене» и в «Днях», читает лекции о современной литературе, участвует в вечерах «Кочевья» и других литературных мероприятиях русского Парижа.

В марте посвящен в масоны, член ложи «Юпитер» до 1932 года.

В июле «Звено» прекращает выходить, и А. начинает печататься в самой известной газете эмиграции «Последние новости», редактировавшейся П. Н. Милюковым.

1928–1940 — Постоянный литературный обозреватель «Последних новостей».

1929–1931 — Ведет рубрику «Литературная неделя» в журнале «Иллюстрированная Россия».

1929 — Вместе с Н. Оцупом, Г. Ивановым, Н. Рейзини и З. Гиппиус создает «журнал молодых» «Числа», участвует в литературных вечерах «Чисел».

1930 — В феврале под редакцией Н. Оцупа и И. де Манциарли выходит первый номер «Чисел», в котором были опубликованы фрагменты «Комментариев», вызвавшие бурную полемику в эмиграции. В этом же номере была опубликована статья Г. Иванова о творчестве В. Сирина, ставшая одной из причин многолетней литературной войны В. Набокова с Г. Ивановым и Адамовичем.

25 марта выступает на очередном собрании Литературных франко-русских собеседований с вступительным словом на тему: «Творчество и влияние Андрэ Жида». Присутствовавший на собрании Андрэ Жид записал в своем знаменитом «Дневнике»: «Souvenons-nous du nom Georges Adamovitch. Nul n'a parle de mes livres mieux que lui» (Ouevres completes d'Andre Gide. — Vol. XY. Journal. P. 287). Текст выступления Адамовича опубликован в «Cahiers de la Quinzaine» 5 апреля 1930 г.

1934 — В январе—июне совместно с М. Кантором редактирует основанный ими журнал «Встречи».

1935 — В конце года выходит антология эмигрантской поэзии «Якорь», составлявшаяся Адамовичем и М. Кантором во второй половине 1934 — первой половине 1935 г.

1937 — в январе возобновляет членство в масонской ложе «Юпитер», к концу года радиирован повторно.

1937–1938 — Входит в созданное И. И. Бунаковым-Фондаминским объединение «Круг», печатается в издаваемых объединением одноименных альманахах.

1939 — В феврале в серии «Русские поэты» (издательство «Дом книги») публикует третий сборник стихов «На Западе».

Участвует в редактировавшемся З. Н. Гиппиус «свободном сборнике» «Литературный смотр».

В «Последних новостях» печатает несколько политических статей откровенно советофильского характера, ссорится с Г. Ивановым.

В сентябре, сразу же после обращения Эдуарда Даладье к французскому народу, записывается добровольцем во французскую армию. Службу проводит в лагере Septfonds на юге Франции, под Монтобаном.

1940 — В сентябре, так и не успев повоевать из-за молниеносного завершения «странной войны», демобилизуется и возвращается в Ниццу в большой депрессии.

1940–1945 — Живет в Ницце, нигде не печатается из-за закрытия русской прессы, нуждается. Общается с И. Буниным, Л. Зуровым, А. Бахрахом, Я. Полонским, Л. Сабанеевым.

1945 — Возвращается в Париж и начинает печататься в редактируемой А. Ф. Ступницким газете «Русские новости» просоветского направления.

В сентябре последний раз посещает З. Н. Гиппиус незадолго до ее смерти.

1945–1949 — Постоянный литературный критик «Русских новостей». Одновременно печатается в нью-йоркском журнале «Новоселье», редактируемом С. Прегель, парижских альманахах «Встреча», «Русский сборник», «Орион».

1947 — Печатает публицистическую книгу на французском языке о военном времени: «L'autre patrie» (Paris: Egloff, 1947).

1949 — В феврале возобновляет чтение цикла лекций о современной французской литературе.

1950 — возвращается в масонскую ложу «Юпитер», вскоре присоединен и к ложе «Лотос».

1950–1972 — Периодически публикует статьи в нью-йоркской газете «Новое русское слово». Одновременно печатается в лучших эмигрантских изданиях того времени: «Опытах», «Новом журнале», альманахах «Мосты», «Воздушные пути» и др.

1951 — По рекомендации Б. И. Элькина получает место преподавателя русского языка и литературы в Манчестерском университете.

1951–1960 — Лектор Манчестерского университета.

1954 — Налаживает «худой мир» с Г. Ивановым и возобновляет переписку.

1955 — В нью-йоркском издательстве имени Чехова публикует книгу об эмигрантской литературе «Одиночество и свобода».

1956–1972 — Печатается в парижской газете «Русская мысль».

1959 — На правах рукописи публикует жизнеописание «Василий Алексеевич Маклаков» (Париж: Изд. друзей В. А. Маклакова, 1959).

1960 — летом в Париже и Ницце дает ряд интервью Юрию Иваску, получившему грант для работы над проектом по акмеизму.

3 декабря выступает на собрании в Париже с речью о Л. Толстом, которая вскоре была опубликована отдельной брошюрой: «Л. Н. Толстой» (Париж: Изд. В. Вырубова, 1960).

1961 — Публикует брошюру «Вклад русской эмиграции в мировую культуру» (Париж: Изд. В. Вырубова, 1961).

1961–1967 — Пишет скрипты и время от времени выступает на радио «Свобода».

1964 — В октябре переносит первый сердечный приступ.

1965 — Выходит из масонской ложи в группе «диссидентов».

1967 — Публикует отдельной брошюрой избранные тексты собственных выступлений на радиостанции «Сво-

бода»: «О книгах и авторах. Заметки из литературного дневника» (Париж, 1967).

Печатает две свои главные книги, своего рода литературное завещание: сборник стихов «Единство. Стихи разных лет» (Нью-Йорк: Русская книга, 1967) и книгу избранных эссе «Комментарии» (Вашингтон: Victor Kamkin, Inc., 1967).

Американский славист Roger Hagglund защищает докторскую диссертацию об Адамовиче-критике: «A Study of the Literary Criticism of G. V. Adamovic» (Seattle: University of Washington, 1967).

1970 — Radio-Diffusion Francaise снимает фильм об Адамовиче для серии «Архивы XX века».

1971 — В ноябре—декабре посещает США, выступая перед университетскими аудиториями в Нью-Йорке, Кембридже, Нью-Хэйвене и Вашингтоне.

1972 — 5 января вылетает из Нью-Йорка в Париж.

В конце января уезжает в Ниццу, намереваясь вернуться в Париж к 1 марта.

21 февраля в Ницце скончался от второго сердечного приступа и похоронен на местном русском кладбище.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

24 Зак. 3049

СОДЕРЖАНИЕ

КОММЕНТАРИИ

ДОПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Директор издательства:
О. Л. Абышко
Главный редактор:
И. А. Савкин

Художественное оформление:
А. Бондаренко
Н. И. Пашковская

Редакторы:
Н. М. Баталова
Н. П. Дралова

Оригинал-макет:
А. Б. Левкина

ИЛ № 064366 от 26.12.1995 г.

Издательство «Алетейя»:
193019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 13
Телефон издательства: (812) 567-2239
Факс: (812) 567-2253
E-mail: aletheia@spb.cityline.ru

Сдано в набор 10.10.1999 г. Подписано в печать 25.01.2000 г.
Формат $70\times100/_{32}$. 24 п. л. Тираж 1500 экз. Заказ № 3049

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Академической типографии «Наука» РАН
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

Printed in Russia



ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЕТЕЙЯ»: НОВЫЕ КНИГИ О ГЛАВНОМ

Санкт-Петербургское издательство «Алетейя» существует с 1992 г. (первоначально как редакционно-издательская группа, с марта 1993 г. как самостоятельное предприятие). Его создатели — молодые философы, два выпускника философского факультета С.-Петербургского Университета. Это обстоятельство предопределило выбор названия для издательства (в переводе с языка древнегреческих мыслителей на современный русский «алéтейя» означает «истина», «правдивость», «открытость»), и выбор основного направления в деятельности нового издательства: издание и распространение классического наследия, т. е. сохранившихся первоисточников по мировой и отечественной истории, классической литературе, религии, философии, а также издание современных исследований по основным отраслям гуманитарного знания.

Визитная карточка издательства — быстро ставшие известными книжные серии: «Античная библиотека» (издается с 1993 г.), «Византийская библиотека» (издается с 1996 г.); «Памятники религиозно-философской мысли» (издается с 1993 г.); «Исследования по истории русской мысли» (издается с 1996 г.), «Российские социологи» (издается с 1996 г.), французская серия «Gallicinium» (издается с 1998 г.); «Античное христианство» (издается с 1998 г.), «Российские психологи. Петербургская научная школа» (издается с 1998 г.), «Классики русской философии права» (издается с 1999 г.), мемуарная «Петербургская серия»

(издастся с 1999 г.) и некоторые другие. Всего, включая многочисленные внесерийные издания, «Алетейя» выпустила в свет уже более 200 названий книг.

Издательство «Алетейя» сегодня — это:

— высококачественные переводы классических и современных философских, научных и т. д. текстов на русский язык с основных древних и любых современных языков;

— академическая подготовка публикуемых текстов (научный комментарий, сопроводительные статьи, справочный аппарат), осуществляемая лучшими специалистами в своей области;

— высокое качество полиграфического исполнения и художественного оформления изданий (лучшие материалы и лучшие типографии города) при сжатых сроках прохождения заказа;

— возможность размещения и сопровождения малотиражных полиграфических заказов (книги в твердых переплетах, тиснение фольгой) на самых льготных условиях;

— эффективная технология оптовой торговли специальной, научной литературой, удачный опыт представления лучших образцов отечественного научного книгоиздания на крупнейших книжных ярмарках России и Европы (во Франкфурте, Лондоне, Париже, Лейпциге, Барселоне, Варшаве и др.).

Наши книги знают, ценят, любят и ждут во многих уголках нашей необъятной России, откуда мы получаем сотни писем благодарных читателей с повторяющимся вопросом: где можно приобрести очередные книги издательства «Алетейя»? Отвечаем: это можно сделать, заказав их через отдел «Книга — почтой» Санкт-Петербургского Дома Книги, прислав

заказы по адресу: 191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 28, e-mail: motja@cbs.spb.ru, тел.: (812) 219-6301. Книги нашего издательства продаются и в Москве: магазин «Библио-Глобус» (м. «Лубянка»); в книжной лавке «У Сытина» (тел.: (095) 236-7258; ул. Пятницкая, 73); Московский Дом Книги (м. «Арбатская»); магазин «У Кентавра» (м. «Новослободская», Миусская пл., д. 6; тел. (095) 214-5446); магазин «Ad marginem» (м. «Павелецкая», 1-й Новокузнецкий пер., д. 5/7; тел. (095) 951-9360); еженедельная книжная ярмарка в «Олимпийском» (м. «Проспект мира»). В Петербурге весь ассортимент книг издательства «Алетейя» представлен в специализированных магазинах и отделах: Дом Книги (Невский пр., 28, отдел «Общественных наук и учебной литературы»); в магазинах издательства Санкт-Петербургского университета (Университетская набережная, д. 7/9); Российская Национальная (б. Публичная) Библиотека (м. «Гостиный Двор», книжный киоск при входе в Научные Читальные Залы на площади Островского); в магазинах и киосках «Академкниги»; в магазинах издательско-торгового дома «Летний Сад»: Большой пр. П.С., 82 (тел. (факс) (812) 232-2104), В.О., Менделеевская линия, 5, Невский пр., 3; в ассортиментном кабинете «Петербургского книжного центра» (Стремянная ул., 20) тел. (812) 113-1012; на еженедельной книжной ярмарке в ДК им. Крупской (м. «Елизаровская»).

Среди книжных новинок издательства особенно хочется отметить наши новые переводы, первые издания на русском языке:

— «Древнегреческая элегия»;

— Гигин «Мифы», «Об астрономии»;

— Нонн Панополитанский «Подвиги (Деяния) Диониса»;

— М. Нильссон «Греческая народная религия»;

— Евагрий Схоластик «Церковная история»;

— А. Мацейна «Великий инквизитор», «Тайна беззакония»;

— Ж. де Местр «Санкт-Петербургские вечера»;

— Дарет Фригийский «Повесть о разрушении Трои»;

— Н. Аббаньяно «Мудрость жизни», «Мудрость философии», «Введение в экзистенциализм»;

— Дж. Беркли «Алкифрон, или Мелкий философ»;

— Дитрих фон Гильдебранд «Что такое философия?», «Новая Вавилонская башня», «Сущность христианства», «Сущность любви»;

— К. Барт «Очерк догматики»;

— Ж.-П. Сартр «Идиот в семье»;

— Симона де Бовуар «Второй пол» и многие другие.

К бесспорным успехам издательства можно отнести трехтомную «Историю Византии» выдающегося русского историка-византиниста Юлиана Кулаковского, «Алексиаду» Анны Комниной, новое русское издание Павсания «Описание Эллады» (в 2-х томах), издание итоговой книги размышлений об истоках и судьбах русской литературы Дмитрия Лихачева «Историческая поэтика русской литературы», а также возвращение из небытия книги знаменитого русского мыслителя Алексея Лосева «Имя», собранной на основе материалов, переданных его семье из архивов ФСБ, авторскую версию «Основ средневековой религиозности» Л. П. Карсавина, сборник исторических свидетельств «Суд над Сократом», альманах «Древний мир и мы», сочинения в двух томах основателя рус-

ской социологии М. М. Ковалевского («Социология», «Современные социологи»), книги серии «Античное христианство» с параллельными текстами и многие другие издания.

Издательство «Алетейя»
(Санкт-Петербург)

в серии «АНТИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»
выпустило в свет

В разделе «Литература»:

— Марк Валерий Марциал «Эпиграммы» (1994 г.);

— Ювенал «Сатиры» (1994 г.);

— «Античные поэты об искусстве» (1996 г.);

— Гигин «Поэтическая астрономия» (1997 г.);

— Катулл «Избранная лирика» (в новых переводах с параллельными текстами) (1997 г.; издание 2-е, исправленное — 1999 г.);

— «Древнегреческая элегия» (1997 г.).

В разделе «История»:

— Ксенофонт «Греческая история» (1993 г.) (2-е изд. — 1996 г.);

— Арриан Флавий «Поход Александра» (1993 г.);

— Геродиан «История императорской власти» (1995 г.);

— Аммиан Марцеллин «Римская история» (1994 г.) (2-е изд. — 1996 г.);

— Аппиан «Римские войны» (1995 г.);

— Секст Юлий Фронтин «Военные хитрости» (1996 г.);

— «Греческие полиоркетики. Вегеций: Краткое изложение военного дела» (1996 г.);

— Павсаний «Описание Эллады» в 2-х томах (1996 г.);

— Гигин «Мифы» (1997 г.);

— «Суд над Сократом» (сборник исторических свидетельств) (1997 г.);

— Нонн Панополитанский «Деяния Диониса» (1997 г.);

— Дарет Фригийский «Повесть о разрушении Трои» (с параллельными текстами) (1998 г.);

— Гай Светоний Транквилл «О жизни цезарей. О блистательных мужах» (1998 г.).

В разделе «Философия»:

— Ксенофонт «Сократические сочинения» (1993 г.);

— Плотин «Сочинения» (1995 г.).

В разделе «Исследования»:

— Вяч. Иванов «Дионис и прадионисийство» (1994 г.);

— В. С. Дуров «Нерон, или Актер на троне» (1994 г.);

— Е. В. Герцман «Музыка Древней Греции и Рима» (1995 г.);

— П. Гиро «Частная и общественная жизнь греков» (1995 г.);

— П. Гиро «Частная и общественная жизнь римлян» (1995 г.);

— А. С. Степанова «Философия древней Стои» (1995 г.);

— Ф. Ф. Зелинский «Из жизни идей» (1995 г.);

— Ф. Ф. Зелинский «Соперники христианства» (1995 г.);

— Ф. Ф. Зелинский «Возрожденцы» (1997 г., 2-е издание — 1999 г.);

— Ф. Ф. Зелинский «Древний мир и мы» (1997 г.);

— В. В. Латышев «Греческие древности». Часть 1 — «Государственные и военные древности», часть 2 — «Богослужебные и сценические древности» (1997 г.);

— М. Нильссон «Народная греческая религия»;

— М. В. Скржинская «Скифия глазами эллинов»;

— Т. Гомперц «Греческие мыслители» (в 2-х томах) (1999 г.);

— Р. Пёльман «Очерк греческой истории и историографии» (1999 г.);

— А. А. Тахо-Годи, А. Ф. Лосев «Греческая культура в мифах, символах и терминах» (1999 г.);

— «Ранняя греческая лирика» (1999 г.);

— Ф. Ф. Зелинский «Римская империя» (пер. с польского) (1999 г.);

— Д. О. Торшилов «Античная мифография: мифы и единство действия» (1999 г.).

В серии «Античная библиотека» готовятся к изданию многие новые книги, среди которых:

— А. О. Маковельский «Софисты»;

— «Античные мифографы» (полный корпус сочинений греческих и латинских авторов, под ред. М. Л. Гаспарова);

— Аппиан «Римская история» (новый перевод с обширными комментариями);

— Фюстель де Куланж «Афинская община»;

— А. Ф. Лосев «Античная философия истории»;

— «Эллинская культура»;

— Ф. Ф. Зелинский «Римская республика», «Аттические сказки»;

— «Римская элегия»;

— Лукиан «Сочинения» в 2-х томах (впервые полностью публикуются все тексты великого сатирика древности);

— «Ватиканские мифографы».

Эти и некоторые другие книги выйдут уже в этом году.

В серии «ВИЗАНТИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
вышли следующие книги:

В разделе «Источники»:

— Анна Комнина «Алексиада» (1996 г.);

— Иордан «О происхождении и деяниях гетов (Гетика)» (1997 г.);

— Иоанн Кантакузин «Диалог с иудеем» (перевод с греческого);

— Прокопий Кесарийский «Война с вандалами. Война с персами. Тайная история» (перевод с древнегреческого, издание 2-е, исправленное и дополненное);

— Евагрий Схоластик «Церковная история»;

— Олимпиодор Фиванский «История» (с параллельным греческим текстом).

В разделе «Исследования»:

— Ю. А. Кулаковский «История Византии» в 3-х томах (1996 г., готовится новое издание);

— Е. В. Герцман «В поисках песнопений греческой церкви. Преосвященный Порфирий Успенский и его коллекция греческих музыкальных рукописей»;

— А. П. Рудаков «Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии»;

— И. П. Медведев «Византийский гуманизм»;

— Г. Г. Литаврин «Как жили византийцы»;

— Г. Г. Литаврин «Византийский лечебник XIV в.»;

— А. А. Чекалова «Константинополь в VI в. Восстание Ника»;

— А. П. Каждан «Византийская культура»;

— М. В. Бибиков «Византийская историческая проза»;

— И. В. Кривушин «Ранневизантийская церковная историография»;

— А. П. Лебедев «Духовенство древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X века»;

— А. П. Лебедев «Очерки внутренней истории византийско-восточной Церкви в IX, X и XI веках»;

— А. П. Лебедев «Исторические очерки состояния Византийско-восточной Церкви от конца XI до середины XV века (От начала Крестовых походов до падения Константинополя в 1453 г.);

— А. П. Лебедев «История разделения Церквей»;

— А. П. Каждан, Г. Г. Литаврин «Византия и южные славяне»;

— А. А. Васильев «История Византийской империи» в 2-х томах;

— Я. Н. Любарский «Византийские историки и писатели»;

— Г. Г. Литаврин «Византия и славяне»;

— «Византия между Востоком и Западом»;

— В. П. Буданова «Готы в эпоху Великого переселения народов».

В наших ближайших планах выпуск в свет следующих уже подготовленных для печати книг в серии «Византийская библиотека»:

— Михаил Пселл «Хронография. Малые исторические сочинения»;
— «Советы и рассказы Кекавмена»;
— Константин Багрянородный «Об управлении империей»;
— С. П. Карпов «Трапезундская империя»;
— М. В. Бибиков «Византия, Русь, славяне»;
— М. В. Бибиков «Византийские источники по истории Древней Руси»;
— Прокопий Кесарийский «Война с готами (перевод с древнегреческого, издание 2-е, исправленное и дополненное);
— Е. Ч. Скржинская «Византия, Италия, Русь»
и многие другие книги.

Телефон редакции: (812) 567–2239,
fax: (812) 567–2253
E-mail: aletheia@spb.cityline.ru
Пишите нам по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 13,
издательство «Алетейя»

СТИХИ, ПРОЗА, ПЕРЕВОДЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БЕСЕДЫ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

«ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА»

«КОММЕНТАРИИ»

СТАТЬИ ОБ ИСКУССТВЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

ПИСЬМА